



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

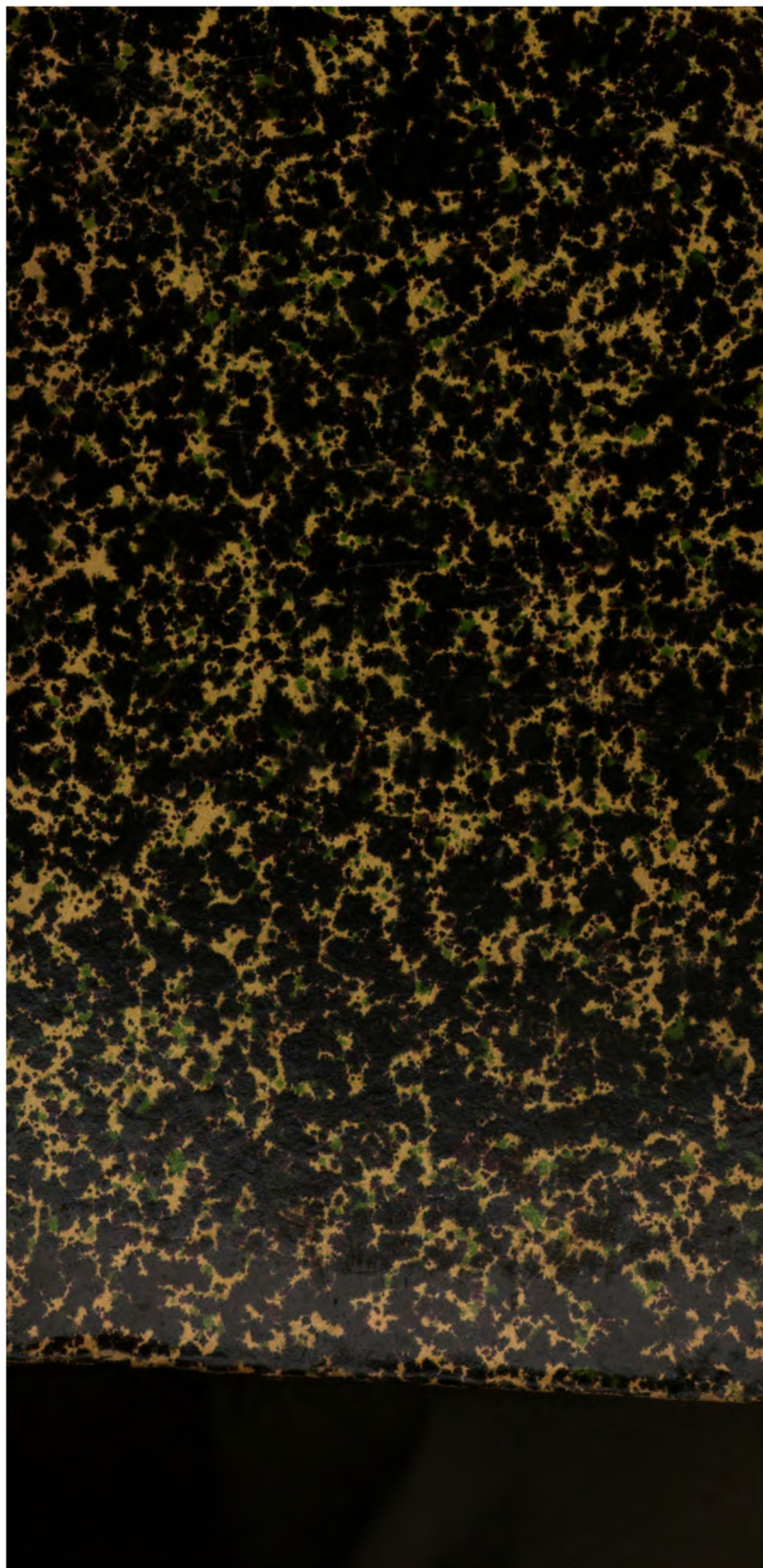
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



1875

Р. 236. 4 (1875 / 10)

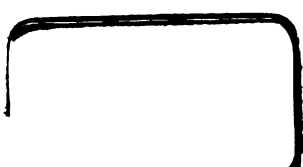
ПРОВЕРЕНО
1940

ПРОВЕРЕНО
1955, г.

HC 2341



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



ДѢЛО

ЖУРНАЛЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

№ 10.

9
1875
10

ИЗВ. № 24492



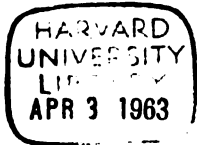
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ В. ТУШНОВА, по НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39.

1875.

△
P8... - 236.4 (1875)
✓

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 14 октября 1875 г.



6312

ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

Ж.-Ж. РУССО.

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ.)

IV.

Объ отсылкѣ въ Дижонъ сочиненія знали только Дидро и новый другъ Руссо, Гриммъ. Ни они, ни самъ авторъ не были твердо увѣрены въ успѣхъ. Между тѣмъ средства Руссо нѣсколько поправились; Дюпенъ увеличилъ его содержаніе, а потомъ Франкюель далъ ему мѣсто кассира. Руссо нанялъ отдѣльную квартиру, въ которой поселился вмѣстѣ съ Терезой и ея родителями. Почти семь лѣтъ прожилъ онъ здѣсь, какъ онъ выражается, „мирно и пріятно, наслаждаясь столь полнымъ семейнымъ счастьемъ, какое только возможно при слабости человеческой. Сердце моеи Терезы было ангельское; наша взаимная привязанность возрастала по мѣрѣ того, какъ мы узнавали другъ друга, и съ каждымъ днемъ мы все сильнѣе чувствовали, что мы созданы другъ для друга“. Привязанность къ Терезѣ заставляла Руссо смотрѣть сквозь пальцы на свою отвратительную въ нравственномъ отношеніи тещу, которая своимъ постояннымъ вмѣшательствомъ въ семейную жизнь отравляла ея радости. Тереза родила третьяго ребенка, и Руссо, по обыкновенію, отдалъ его въ воспитательный домъ. Первыхъ двухъ дѣтей онъ сбылъ съ рукъ подъ вліяніемъ тещи и потомъ все-таки его немного мучила совесть за такой поступокъ; теперь-же онъ изобрѣлъ для оправданія себя цѣлую теорію, по которой выходило, что онъ даже обя-

занъ бросать своихъ дѣтей ради ихъ собственной пользы. Рожденіе этого третьяго ребенка и разлука съ нимъ не нарушили поэтому мирнаго теченія жизни Руссо и она шла своимъ обычнымъ порядкомъ, посвященная служебнымъ занятіямъ, развлеченіямъ, бесѣдамъ съ друзьями. Но Руссо снова поразила серьезная болѣзнь; одинъ изъ пользовавшихся его медиковъ сказалъ, что больной не проживетъ и полгода, и Руссо началъ готовиться къ смерти. Въ это время сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь прежде, онъ почувствовалъ пошлую сторону своей жизни, противорѣчіе между своими убѣжденіями и поступками; чувство нравственного достоинства пробудилось въ немъ съ горячей энергіей, и Руссо рѣшился, въ случаѣ своего выздоровленія, исправиться и провести всю остальную жизнь согласно съ своими убѣжденіями. Онъ созналъ, что человѣкъ можетъ быть „свободнымъ, добродѣтельнымъ и счастливымъ“ только при полной независимости отъ общества, при полной нравственной самостоятельности, которая невозможна при тѣхъ воображаемыхъ потребностяхъ, какія прививаетъ человѣку общественная жизнь. Ради удовлетворенія ихъ люди „расточаютъ свои силы въ тщетныхъ стремленіяхъ къ славѣ или къ богатству, жертвуютъ своимъ человѣческимъ достоинствомъ и истиннымъ счастьемъ жизни“. Необходимо освободиться отъ этихъ узъ и обратиться къ „простой жизни, сообразной съ природой и разумомъ“. Рѣшившись совершить радикальный переворотъ въ образѣ своей жизни, Руссо началъ тѣмъ, что отказался отъ должности кассира и для приобрѣтенія куска хлѣба занялся перепискою нотъ. Затѣмъ слѣдовала реформа костюма, необходимая, между прочимъ, и вслѣдствіе уменьшенія доходовъ. Нѣкоторые друзья Руссо, напр., Дидро, не обращали на костюмъ никакого вниманія и вообще игнорировали внѣшнія приличія; но Руссо считалъ это цинизмомъ и хотѣлъ придать своей внѣшности отпечатокъ своихъ чувствъ, но отпечатокъ „приличный“. Модныя украшенія костюма были сняты, бѣлье чулки и шага брошены, затѣйливый парикъ замѣненъ простымъ, часы проданы; только съ своимъ тонкимъ бѣльемъ Руссо не имѣлъ силъ разстаться, но ему помогли воры, и съ тѣхъ поръ онъ носилъ обыкновенное полотно. Реформа костюма, такимъ образомъ, была въ дѣйствительности далеко не такою радикальною, какою представлялась она въ мечтахъ. Для окончательнаго разрыва съ обществомъ у Руссо не было силъ; онъ былъ убѣж-

день въ пошлости этого общества, въ необходимости бѣжать изъ него, но въ то-же время онъ любилъ его и, несмотря на возвышенность своихъ утопій, находилъ удовольствіе въ салонахъ генеральныхъ откупщиковъ и въ будуарахъ свѣтскихъ львицъ. Раньше онъ благоговѣлъ передъ свѣтомъ и боялся его; теперь онъ презиралъ нравственную пустоту свѣта, но по-прежнему любилъ его блескъ и наслаждался сознаниемъ своего превосходства. „Я былъ, рассказываетъ онъ,—уже не тѣмъ боязливымъ, скорѣе застѣнчивымъ, чѣмъ скромнымъ человекомъ, который, бывало, не смѣлъ ни выказывать себя, ни говорить, конфузился каждой шутки и краснѣлъ при взглядѣ женщины. Я выступалъ всюду смѣло, гордо, неустрашимо, съ самоувѣренностью. Презрѣніе, которое я питалъ къ нравамъ, принципамъ и предразсудкамъ моего вѣка дѣлало меня нечувствительнымъ къ насмѣшкамъ тѣхъ, которыя, прибѣгали къ нимъ, и я уничтожалъ ихъ пошлыя остроты своими сентенціями, какъ раздавливаютъ насѣкомое между пальцами. Прошло немного времени — и весь Парижъ повторялъ горькіе, ѣдкіе сарказмы того человѣка, который раньше напрасно старался придумывать, что и какъ говорить“. Отношенія къ свѣту, такимъ образомъ, измѣнились, но они сдѣлались даже менѣе искренними, чѣмъ были прежде, когда Руссо втирался въ этотъ свѣтъ и стѣснялся въ немъ. Его конфузливость смѣнилась напускною развязностью, а страхъ передъ законами и формами хорошаго тона перешелъ въ склонность попирать ихъ ногами; будучи не въ силахъ усвоить себѣ правила свѣтскаго обхожденія, Руссо дѣлалъ видъ, что стоитъ выше ихъ и презираетъ ихъ. Впрочемъ, это настроеніе, очень фальшивое вначалѣ, сдѣлалось скорѣ болѣе искреннимъ, такъ-какъ и самъ Руссо убѣдился окончательно въ своемъ превосходствѣ надъ свѣтомъ, и свѣтъ призналъ великость его дарованій. Дижонская академія удостоила его диссертацию преміи, а Дидро напечаталъ ее. Она имѣла небывалый успѣхъ. Весь образованный Парижъ пришелъ отъ нея въ страстное одушевленіе, въ литературныхъ кружкахъ столицы диссертация произвела „нѣчто въ родѣ революціи“. О ней всѣ говорили, какъ о чудесномъ явленіи, внезапно появившемся на литературномъ горизонтѣ, и не находили словъ для выраженія восторга. Самъ Руссо сдѣлался внезапно идоломъ, передъ которымъ преклонялись, благоговѣли, заискивали его вниманія.

Диссертация, дѣйствительно, была явленіемъ необыкновеннымъ для того времени,—необыкновеннымъ прежде всего по своей смѣлости и оригинальности. Наука, искусство, разумъ пользовались только величайшимъ уваженіемъ, а образованность была божествомъ, передъ которымъ преклонялись не только свѣтскіе и государственные люди, но и духовенство. Представители науки, исполненные увѣренности въ силахъ разума и знанія, составляли изъ себя своего рода священную корпорацію, значеніе которой не подвергалось въ толпѣ ни малѣйшему сомнѣнію, и, конечно, ни одинъ изъ членовъ джонской академіи не ожидалъ отрицательнаго отвѣта на заданный ими вопросъ. Руссо очень хорошо понималъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, и во введеніи прибѣгъ къ такому *captatio benevolentiae*: „какъ я осмѣлился передъ однимъ изъ ученѣйшихъ обществъ Европы порицать науки и восхвалять невѣжество въ знаменитой академіи, какъ могъ я соединить презрѣніе къ знаніямъ съ уваженіемъ къ истиннымъ ученымъ?“ Но я, говоритъ онъ, „не нападаю на науку, а только защищаю добродѣтель передъ добродѣтельными мужами“, и затѣмъ начинаетъ свою похвалу умственному прогресу человѣчества. „Великое и прекрасное зрѣлище представляетъ человѣкъ, который собственными своими усиліями поднимается изъ ничтожества, силою своей умственной прозорливости разсѣиваетъ тьму, которою окружила его природа, превосходитъ самого себя и умомъ своимъ восходитъ на небеса, гигантскими шагами, подобно солнцу, обтекаетъ вселенную и, что гораздо важнѣе и труднѣе,—возвратившись къ себѣ, изучаетъ и узнаетъ человѣка, его природу, его обязанности, его назначеніе. Это чудо повторилось снова, когда человѣчество вышло изъ варварства среднихъ вѣковъ. Съ того времени науки и искусства приобрѣтали постоянно все больше и больше вліянія и уваженія. Ихъ значеніе продолжало возрастать все сильнѣе съ тѣхъ поръ, какъ было признано важнѣйшее преимущество, которое даетъ занятіе ими, именно, что они дѣлаютъ людей болѣе общественными, внушая имъ желаніе нравиться другъ другу произведеніями, достойными ихъ общаго уваженія. Въ самомъ дѣлѣ, ужь если потребности тѣла служатъ основами общественной жизни, то потребности духа украшаютъ ее. Между тѣмъ какъ законы и правительства заботятся о безопасности и благосостояніи людей, науки и искусства обвиваютъ гирляндами цвѣтовъ желѣзные око-

вы, которыми они обременены, и дѣлаютъ изъ нихъ то, что обыкновенно называется цивилизованными народами. Цивилизованныя націи обязаны имъ нѣжными и утонченными вкусомъ, кротостью характера и тою вѣжливостью нравовъ, которая дѣлаетъ взаимныя отношенія людей столь легкими и пріятными, — однимъ словомъ, цивилизованныя націи обязаны имъ тѣмъ, что обладаютъ тѣнью всѣхъ добродѣтелей, не имѣя въ сущности ни одной изъ нихъ. Подобною тонкостью обращенія отличались въ дни своего блеска Афины и Римъ. Ею-же нашъ вѣкъ и наша нація превосходятъ несомнѣнно всѣ времена и народы“.

„Нужно сознаться, что если-бы наше внѣшнее поведеніе было всегда отраженіемъ внутреннихъ чувствъ, если-бы приличіе могло представлять собою добродѣтель, если-бы мы руководились въ жизни своими принципами и истинная философія была неразлучна съ названіемъ философа, то наша жизнь была-бы въ высшей степени спокойна и пріятна. Но добродѣтель не любитъ блестящихъ рядовъ, а здоровая тѣлесная сила живетъ только подъ грубой одеждой. Когда искусство не настроило еще по одному образцу нашего внѣшняго поведенія и не научило наши страсти искусственному языку, наши нравы, можетъ быть, не были лучше, но они были просты и естественны. Люди выдавали себя за то и казались тѣмъ, чѣмъ они были; особенности характера выражались свободно и безъ всякаго стѣсненія въ словахъ и поступкахъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ скрупулезныя изысканія и утонченный вкусъ возвели въ принципъ и систематически развили искусство нравиться, въ нашихъ нравахъ царствуетъ всеобщее, обманчивое однообразіе. Умы кажутся скроенными по одной мѣрѣ, постоянно слѣдуютъ обычаю, а не влеченіямъ собственной природы; никто не смѣливается казаться тѣмъ, что онъ есть, и никто не знаетъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло“.

„Въ этой неизвѣстности — источникъ безчисленныхъ пороковъ. Она не допускаетъ ни беззавѣтной дружбы, ни дѣйствительнаго уваженія, ни полнаго довѣрія. Подозрительность, злоба, страхъ, скрытность, холодность, ненависть постоянно скрываются подъ этимъ однообразнымъ, измѣнническимъ покровомъ прославленной вѣжливости, которымъ мы обязаны высокой изобрѣтательности нашего вѣка. Имя Господне не профанируется болѣе грубыми проклятіями, но его оскорбляютъ богохульствами, которыхъ не пу-

гается нашъ ученый слухъ. Собственными заслугами уже не хвалятся, но за то унижаютъ заслуги другихъ, и врага уже не обижаютъ болѣе грубою бранью, но вредятъ ему искусною клеветой. Національная ненависть, правда, исчезла, но вмѣстѣ съ нею исчезъ и патриотизмъ. Мѣсто презрѣннаго невѣжества занялъ опасный духъ сомнѣнiя. И если есть преступленiя, которыя наказываются, и пороки, которые считаются безчестными, за то есть и другiе, которые считаются доблестями и которые каждый долженъ имѣть или притворяться, что имѣетъ ихъ“.

Развращенiе нравовъ достигло высшей степени, и это „развращенiе усиливалось по мѣрѣ того, какъ развивались искусства и науки. Рядомъ съ умственнымъ прогрессомъ идетъ нравственная испорченность, и это не только въ наше время, но во все время и у всехъ народовъ, достигавшихъ высокой степени цивилизацiи. Древнiе Египетъ, Грецiя вообще и Афины въ частности, Римъ и Византiя доказываютъ намъ, что съ процвѣтанiемъ наукъ и искусствъ у отдѣльныхъ личностей, равно какъ и у цѣлыхъ народовъ, умираютъ здоровыя силы тѣла и души, а поэтому исчезаютъ частныя и общественныя добродѣтели. Въ подтвержденiе этой истины настоящее время, независимо отъ примѣра нашей страны, представляетъ еще другое, не менѣе поразительное доказательство. Нигдѣ наука не пользуется такимъ уваженiемъ, какъ въ Китаѣ; она одна почти открываетъ тамъ доступъ ко всемъ высшимъ должностямъ; ученые тамъ — правители государства, и положенiе писателя даетъ почести и власть; богатая литература пробуждаетъ и питаетъ умственныя потребности народа, который имѣетъ полную возможность пользоваться ею, благодаря многочисленнымъ и превосходно-организованнымъ школамъ. И при всемъ томъ нѣтъ въ мирѣ народа, столь развращеннаго, какъ китайцы. Они заражены всевозможными, самыми гнусными пороками, и ужаснѣйшiя преступленiя — самыя обыкновенныя явленiя въ небесной имперiи. Столь-же трусливый, сколько пошлый въ своихъ чувствахъ и поступкахъ, этотъ народъ ученыхъ сдѣлался легкою добычею грубыхъ и невѣжественныхъ татаръ“.

„Но если умственное развитiе всюду соединено съ паденiемъ нравственности, то, съ другой стороны, нужно замѣтить, что чистота и энергiя нравственнаго чувства живутъ въ очень боль-

помѣ согласіи съ невѣжествомъ и умственной грубостью. Вспомнимъ древнихъ персовъ, у которыхъ добродѣтель была такимъ-же предметомъ обученія, какъ у насъ наука, и которые могли хвалиться тѣмъ, что исторію ихъ учрежденій можно читать, какъ философскій романъ. Недостатокъ умственного развитія не помѣшалъ имъ покорить въ короткое время всю цивилизованную Азію. Не выше, чѣмъ ихъ, была культура древнихъ скифовъ и германцевъ, простодушіе, невинность и добродѣтели которыхъ изобразило перо, уставшее описывать преступленія и пороки народа богатаго и образованнаго. Римъ тоже былъ богатъ добродѣтелями, пока былъ нищъ умомъ. Даже въ наши дни мы видимъ, какъ необразованная нація, наперекоръ несчастной судьбѣ, не теряетъ мужества и не нарушаетъ вѣрности, несмотря на дурные прикѣры, которые даются ей со всѣхъ сторонъ. Для полнаго-же уясненія противоположности, о которой идетъ рѣчь, мы должны сравнить невѣжественную, но добродѣтельную и нравственную Спарту съ Афинами, съ городомъ ораторовъ и философовъ, центромъ хорошаго вкуса и утонченнаго образованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ источникомъ и сѣдалищемъ постыднѣйшихъ пороковъ, когда-либо позорившихъ человѣчество“.

„Прошедшее и настоящее оставляютъ вѣдъ всякаго сомнѣнія, что если невѣжество и добродѣтель не всегда соединены между собой, то безнравственность и умственное развитіе, если мы будемъ имѣть въ виду не отдѣльныхъ лицъ, а цѣлыя народы, постоянно идутъ рука объ руку. Такое постоянное совпаденіе не можетъ быть приписано случайности. Повидимому, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ необходимымъ результатомъ одной и той-же причины, однообразно дѣйствующей вездѣ. И въ самомъ дѣлѣ, подвергая науки и искусства точному разсмотрѣнію, изслѣдуя ближе мотивы, цѣли и вліянія ихъ, мы не можемъ не придти къ заключенію, что въ занятіи ими заключается корень и источникъ нравственнаго развращенія“.

„У египтянъ и грековъ было древнее преданіе, по которому науки изобрѣтены богомъ, враждебнымъ спокойствію человѣка. Достоверно, что своимъ происхожденіемъ онѣ обязаны нашимъ порокамъ. Астрономія, напр., возникла изъ суевѣрій; краснорѣчіе—изъ честолюбія, ненависти, лести и лжи; геометрія—изъ корыстолюбія; физика—изъ пустого любопытства; всѣ-же вообще,

даже мораль, произошли отъ человѣческой гордости. Каковъ источникъ, таковы и дѣла. Что значили-бы искусства безъ роскоши, которая питаетъ ихъ? къ чему служило-бы право, если-бы прекратились несправедливости людей? что стало-бы съ исторіей, если-бы не было ни тирановъ, ни войнъ, ни заговорщиковъ? Нечего возражать, что дѣль науки есть познаніе истины. Истина остается вѣчно скрытою для людей, да если-бы даже она была достижима, то черезъ какой рядъ заблужденій можно было бы дойти до нея! Ложь является въ безчисленныхъ формахъ, истина-же одна. Да и кто ищетъ ее вполне искренно? и при искренности какъ можно найти ее? и даже если она найдена, кто дѣлаетъ изъ нея хорошее употребленіе?“

„Искусства и науки питаютъ праздность, изъ которой они возникли, и тѣмъ наносятъ непоправимый вредъ человѣческому обществу. Въ политикѣ, какъ и въ морали, недѣланіе ничего хорошаго—великое зло, и каждый бесполезный гражданинъ долженъ считаться вреднымъ человѣкомъ. Бесполезны-же даже творенія нашихъ просвѣщенныхъ ученыхъ, потому что они весьма мало содѣйствуютъ нашему матеріальному и нравственному благосостоянію. Вся-же остальная сволочь неизвѣстныхъ писакъ и праздныхъ ученыхъ только пожираетъ жизненные соки государства, не производя ничего. Даже хуже—эти пустыне болтуны хлопчуть изо всѣхъ силъ о томъ, чтобы подрывать основы вѣры и искоренять добродѣтели. Они дерзко надсмѣхаются надъ истинными словами: *отечество* и *религія*, и обращаютъ свои таланты и свою философію къ разрушенію и униженію всего, что считается священнымъ для людей“.

„Если злоупотребленіе временемъ большое зло, то еще большее зло—роскошь. Она возникаетъ, подобно искусствамъ и наукамъ, изъ праздности и тщеславія, потому-то она и является постоянно въ ихъ свитѣ; рѣдко она существуетъ безъ нихъ, они-же безъ нея—никогда... Роскошь стоитъ въ діаметральной противоположности съ добрыми нравами; наклонность къ блеску и пышности рѣдко соединяется въ одной и той-же душѣ съ любовью къ доброму и прекрасному. Уму, унижаемому множествомъ мелочныхъ заботъ, положительно невозможно возвыситься до чего-нибудь великаго, да у него и не хватитъ необходимой для этого смѣлости. Роскошь неизбѣжно ведетъ къ развращенію нра-

вовъ, а послѣднее имѣеть своимъ результатомъ порчу вкуса. Каждый художникъ ищетъ одобренія своихъ современниковъ, и чтобы получить его въ то время, когда образованіе, ставшее модой, сдѣлало задавателями тона распущенныхъ юношей и пустыхъ жевщицъ, онъ унижаетъ свой талантъ, припоравливая его къ требованіямъ дня. Великія, мужественныя красоты, которыя могли бы создать онъ, онъ приносить въ жертву фальшивой изысканности и пріятности; онъ позоритъ себя дѣтскими и пошлыми произведеніями, ибо въ противномъ случаѣ ему грозитъ опасность погибнуть въ неизвѣстности и нищетѣ“.

„Между тѣмъ, какъ пріятности жизни умножаются, искусства совершенствуются и распространяется роскошь, истинная доблесть духа теряетъ свои силы, а воинственныя способности исчезаютъ. Это тоже дѣло наукъ и искусствъ, разрабатываемыхъ въ кабинетномъ уединеніи. Спокойная сидячая жизнь, которой они требуютъ, ослабляетъ тѣло и душу. Конечно, такой образъ жизни не устраняетъ воинственной бодрости и храбраго поведенія въ день битвы, но онъ дѣлаетъ для человѣка положительно невозможнымъ долговременное перенесеніе разныхъ трудовъ и лишеній, требуемыхъ войною. Но если занятіе науками и искусствами иѣшаетъ развитію физическихъ силъ, то оно еще болѣе препятствуетъ образованію нравственныхъ зачатковъ. Посмотрите только на бессмысленное воспитаніе нашего времени. Юношество учатъ всевозможнымъ предметамъ, только не его обязанностямъ; оно не въ состояніи отличить истину отъ лжи, но превосходно знакомо съ искусствомъ представлять ихъ въ ложномъ свѣтѣ посредствомъ софизмовъ. Если оно и слышитъ слова: великодушіе, умѣренность, справедливость, любовь къ людямъ, то не понимаетъ ихъ значенія; сладостное имя „отечество“ не поражаетъ его слуха, и если ему говорятъ о Богѣ, то для того лишь, чтобы внушить страхъ, а не святое благоговѣніе. Оно видитъ передъ собою изображенія испорченности сердца и ума, эти прославленныя мифологическія статуи и картины, украшающія наши сады и галереи. Повидимому, заботятся о томъ, чтобы представить взорамъ его образцы зла даже прежде, чѣмъ оно научится читать“.

„Всѣ эти печальныя явленія имѣютъ свой источникъ въ томъ пагубномъ неравенствѣ, которое появилось среди людей вслѣдствіе предпочтенія таланта и игнорированія добродѣтели. Это

самое очевидное порожденіе нашего образованія и опаснѣйшій изъ его результатовъ. Теперь спрашиваютъ не о томъ, честенъ-ли человекъ, но талантливъ-ли онъ; не о томъ, полезна-ли книга, но хорошо-ли она написана. Остроуміе награждается расточительно, а добродѣтель рѣшительно не въ чести. Вслѣдствіе этого у насъ есть ученые и художники всякаго рода, но нѣтъ людей и гражданъ, а если ихъ и есть немного, то, разбѣянные по странѣ, они погибаютъ въ бѣдности и презрѣніи“.

„Конечно, говорить Руссо, имѣя въ виду своихъ судей,—зло еще не такъ велико, какимъ оно могло-бы сдѣлаться. Академіи, эти мудрыя созданія великаго монарха, полагаютъ границы угрожающему бѣдствію... Уже самое существованіе ихъ служитъ новымъ доказательствомъ, что есть зло, для подавленія котораго онѣ назначены. Равнымъ образомъ несомнѣнно, что однимъ уже своимъ существованіемъ онѣ усиливаютъ и безъ того слишкомъ большое значеніе ученой дѣятельности и обращаютъ къ ней умы. Дѣло поставлено такъ, словно у насъ чувствуется излишекъ рабочихъ и недостаетъ философовъ. Каждый долженъ пройтись лопату и плугъ на перо. Какъ-будто намъ мало еще постоянно возрастающей массы бесполезныхъ или вредныхъ сочиненій. Къ чему служатъ эти образцовыя произведенія философствующаго ума, въ которыхъ уничтожаются вѣра въ Бога, истинность добродѣтели, достоинство человека? Къ чему еще болѣе опасныя произведенія такъ-называемой изящной литературы, въ которыхъ развращеніе нашихъ нравовъ находитъ свое вѣрное изображеніе, отравляющее чистоту чувства и невинность сердца? Нужно сознаться, что язычество, хотя оно и было предоставлено всѣмъ заблужденіямъ человѣческаго разума, не оставило потомству ничего подобнаго тѣмъ постыднымъ памятникамъ, которые подъ владычествомъ евангелія увѣковѣчиваются искусствомъ книгопечатанія, этимъ по-истинѣ ужаснымъ изобрѣтеніемъ, при томъ употребленіи, какое изъ него дѣлаютъ“.

„Въ томъ, что дѣла идутъ такъ, виноваты преимущественно тѣ, которые освобождаютъ отъ всѣхъ препятствій доступъ въ храмъ музъ и открываютъ толпѣ святилище наукъ, вступать въ которое она недостойна. Желательно было-бы, чтобы тотъ, кто неспособенъ произвести что-нибудь важное въ области науки, съ самаго начала былъ-бы устраненъ отъ нея и обращенъ къ по-

лезному занятію. Кто избранъ природою къ тому, чтобы имѣть учениковъ, тотъ не нуждается въ учителяхъ, и занятіе науками можетъ быть дозволяемо только тому, кто чувствуетъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы пролагать новые пути и превзойти своихъ предшественниковъ. Только этимъ немногимъ прилично воздвигать памятники славы ума человѣческаго. Они не нуждаются въ поощреніи; имъ достаточно одной надежды на положеніе, въ которомъ они могутъ служить счастію народа, который они учатъ мудрости. Если-бы государи призывали въ свой совѣтъ мудрыхъ учителей народа и довѣряли первостепеннымъ ученымъ управленіе царствами, то мы увидѣли-бы, что могутъ произвести для счастія рода человѣческаго добродѣтель, наука и власть, воодушевленные благороднымъ соревнованіемъ“.

„Мы-же, обыкновенные смертные, которыхъ небо не одарило великими талантами и не предназначило къ столь высокой славы, предоставимъ другимъ заботы учить людей ихъ обязанностямъ и ограничимся хорошимъ исполненіемъ собственныхъ. Для познанія добродѣтели, этой возвышенной науки простыхъ душъ, не нужно много труда и времени. Заповѣди ея начертаны во всѣхъ сердцахъ, а чтобы узнать законы ея, стоитъ только углубиться внутрь себя и въ состояніи, невозмущаемомъ страстями, прислушаться къ голосу совѣсти. Вотъ истинная философія. Мы можемъ ограничиться изученіемъ ея. И не завидуя славы тѣхъ мужей, которые, благодаря своимъ ученымъ трудамъ, дѣлаются бессмертными, попытаемся между ними и собою установить то-же различіе, которое давно уже замѣчено между двумя великими народами, изъ которыхъ одинъ умѣлъ хорошо говорить, а другой хорошо дѣйствовать.“

Таково содержаніе знаменитой диссертациі Руссо, которая, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, отличается замѣчательными достоинствами. Пафосъ, съ которымъ она написана, волновалъ сердца и страстный голосъ Руссо пробуждалъ чувство, которое заглохло въ обществѣ, подавленное псевдоклассическою литературою, сухою, бесплодною наукою, самою неестественною, хотя и блестящею обстановкою жизни, и холоднымъ скептицизмомъ, подбопавшимъ старня вѣрованія и незамѣнившимъ ихъ новыми.

Проповѣдь Руссо была чѣмъ-то въ родѣ проповѣди Лютера. Впрочемъ, нужно замѣтить, что большинство слушавшихъ ее бы-

ли не столько увлечены внутреннимъ смысломъ ея, сколько изумлены блескомъ и силою слова. Что-же касается поклонниковъ на уки, то всё они смѣло выступили на защиту ея, начиная съ академій и кончая королемъ Польши. Но ихъ нападки и опроверженія были направлены не туда, куда слѣдуетъ, и Руссо не трудно было отразить ихъ, тѣмъ болѣе, что его убѣжденія были вполне прочувствованы и вмѣстѣ съ силою ума поддерживались всѣмъ пыломъ его страстнаго сердца.

Мелкія ошибки и утопіи Руссо совершенно ясны для современнаго читателя. Но его основная идея, которою были проникнуты всё другія его сочиненія, тоже не выдерживаетъ критики. Идея естественнаго состоянія, которой увлекался Руссо, давно уже отвергнута наукой, а развитіе пороковъ, свойственныхъ цивилизованному состоянію, зависитъ, какъ извѣстно, вовсе не отъ наукъ...

V.

Литературная слава могла-бы доставить Руссо и хорошую должность, и богатые средства, но, упорствуя въ своей рѣшимости жить независимымъ трудомъ, онъ продолжалъ переписывать ноты и не искалъ богатства. Тереза и ея родительница, конечно, не понимали такой добровольной бѣдности и добывали Руссо своими попреками. Многіе хотѣли-бы помогать Руссо, но онъ отвергалъ всё подобныя предложенія; Тереза-же, подобно какой-нибудь корыстной супругѣ добродѣтельнаго русскаго исправника, зазывала приносителей съ задняго крыльца, и Руссо былъ не въ силахъ прекратить такое принятіе вспомоствованій. Кругъ его знакомствъ значительно расширился въ литературныхъ кружкахъ; черезъ Дидро онъ познакомился, между прочимъ, съ барономъ Гольбахомъ, въ богатомъ салонѣ котораго сосредоточивались почти всё представители либеральныхъ мнѣній. Но матеріалистъ и атеистъ Гольбахъ былъ противенъ Руссо, да и всё другія знакомства скоро начали надоедать ему, тѣмъ болѣе, что по своей бѣдности онъ не могъ стоять съ знакомыми въ равныхъ отношеніяхъ, а это чрезвычайно огорчало его самолюбіе. Дома противъ него были жена и теща, и Руссо чаще и чаще сталъ исчезать изъ города, бродя по его окрестностямъ или посѣщая одного

знакомаго ему сельскаго священника, которому онъ посвятилъ сатирическое изображеніе парижской жизни. „Въ этомъ городѣ, говоритъ онъ, — величайшіе негодяи Франціи тиранствуютъ надъ честными людьми; шарлатанство и нахальство уничтожаютъ скромные таланты и дѣлаютъ фортуна своюю рабыней; топтатели мостовой и уличные шалопаи дѣлаются людьми государственными; молодой и красивый чиновникъ выставляетъ на видъ свой парикъ, какъ единственную заслугу, и ученый у какой-нибудь Фрины или Аспазіи продаетъ свой умъ за хорошій обѣдъ“. Написанныя Руссо въ это время (1751 г.) для упомянутаго аббата „Надгробное слово при погребеніи герцога Орлеанскаго“ и разсужденіе на тему, предложенную корсиканской академіей: „Какая добродѣтель самая необходимая для героя?“ — не имѣютъ никакого особеннаго значенія. Они писаны безъ всякаго одушевленія, а все, что Руссо ни писалъ хорошаго, онъ написалъ въ состояніи такъ-называемаго вдохновенія. Въ слѣдующемъ году, посѣщая часто въ окрестностяхъ Парижа своего земляка Мюссара, Руссо былъ очарованъ сельскою обстановкою его жизни и его обществомъ, въ числѣ котораго была извѣстная племянница Вольтера, Дени. Возбужденный всѣмъ этимъ, Руссо написалъ идиллическую оперетку „Деревенскій пророкъ“, которая имѣла огромный успѣхъ и была поставлена на придворномъ театрѣ въ присутствіи двора и автора. Руссо былъ посаженъ въ переднемъ ряду и на такомъ мѣстѣ, на которомъ всѣ могли разсматривать этого чудака въ бѣдномъ кафтанѣ и съ длинной бородой. Король, желая дать ему пенсію, потребовалъ, чтобы на завтра-же Руссо представился ему. Руссо подъ разными предлогами уклонился отъ представленія; но въ этомъ случаѣ онъ поступилъ такъ самостоятельно, во-первыхъ, вслѣдствіе своей застычивости, а во-вторыхъ, боялся сдѣлать скандалъ: болѣзнь мочевого пузыря, заставлявшая его постоянно выходить изъ комнаты, могла прервать церемонію представленія въ самый существенный моментъ ея. Но несмотря на отказъ Руссо, король прислалъ ему 100 да г-жа Помпадуръ 50 ливровъ. Слава Руссо, какъ композитора, упомянутою опереткою была упрочена и онъ съ новымъ одушевленіемъ занялся музыкой, стремясь реформировать ее въ томъ-же духѣ простоты и естественности, въ какомъ онъ дѣйствовалъ и на литературномъ поприщѣ. Его музыкальная дѣятельность подняла большой шумъ

и сопровождалась оживленной полемикой; но, оставляя все это въ сторонѣ, мы остановимся здѣсь на томъ противорѣчїи, какое заключается между страстнымъ увлеченїемъ Руссо музыкой и поэзіей и его мрачными взглядами на искусства и науки. „Бто самъ пишетъ стихи и музыкальнныя пьесы, говоритъ Руссо,—тому, кажется, не подѣ-стать унижать искусство и науку. Но авторъ думаетъ, что это противорѣчіе, если-бы даже оно существовало, не говорить нисколько ни противъ его искренности, ни противъ справедливости его мнѣній. „Я, продолжаетъ онъ,—раздѣлялъ предрасудки и заблужденія вѣка, и имъ-то принадлежать эти пьесы“. „Онъ—незаконныя дѣти, которыхъ съ удовольствїемъ ласкаешь, хотя и краснѣешь за то, что ты отецъ ихъ“. Но упомянутого противорѣчїя вовсе нѣтъ. „Если есть причина удалить отъ себя науку и ученыхъ, то въ то-же время есть другія важныя основанія приближать ихъ и оказывать имъ всевозможное покровительство. Они, конечно, не могутъ превратить снова въ хорошее то, что уже сдѣлалось дурнымъ, но они въ состоянїи предотвратить ухудшенїе зла. Они мѣшаютъ порокамъ, порожденнымъ отчасти ими-же самими, превращаться въ преступленія; они покрываютъ ихъ лакомъ, который не дозволяетъ яду распространяться такъ свободно и безпрепятственно, какъ это было-бы безъ него. Поэтому слѣдуетъ заботиться объ академіяхъ, университетахъ, театрахъ и другихъ подобныхъ увеселенїяхъ, такъ-какъ они ограничиваютъ дурныя свойства людей и мѣшаютъ имъ заниматься болѣе опасными предметами. Такимъ образомъ падаетъ противорѣчіе, какое замѣчаютъ между мнѣніями и поступками автора, и онъ поступаетъ вполне послѣдовательно, предаваясь занятїямъ, поощренїе которыхъ онъ одобряетъ“.

Музыкальная полемика произвела сильное охлажденїе между Руссо и многими его друзьями. Его ученые друзья, впрочемъ, и безъ этой полемики должны были во многихъ отношенїяхъ быть не по душѣ ему. Они были главнымъ образомъ пропагандистами реформъ въ государствѣ и церкви, Руссо-же имѣлъ въ виду прежде всего *человѣка*. Они были свептиками, онъ—основателемъ секты и проповѣдникомъ нравственности, требованія которой онъ сплошь и рядомъ нарушалъ, они-же попирали ногами. „Интриги писателей, ихъ жалкія перебранки, недостатокъ искренности въ ихъ сочиненїяхъ, ихъ надменность бы-

ли ненавистны и противны“ Руссо, при всѣхъ его недостаткахъ. Въ особенности онъ не могъ выносить модныхъ въ то время насмѣшекъ надъ религіей и издѣвательствъ надъ какою-нибудь личностью. Однажды въ обществѣ его друзей какой-то деревенскій священникъ прочелъ свои вирши и желалъ знать сужденіе знатоковъ; всѣ присутствующіе, желая потѣшиться надъ простакомъ, начали превозносить до небесъ его поэтической талантъ; Руссо взорвало и онъ прямо объявилъ священнику, что его стихи — чепуха, которою стыдно заниматься. Чрезвычайно самолюбивый Руссо вообще не любилъ людей и, сталкиваясь съ ними, замѣчалъ прежде всего ихъ слабости и пошлости. Вѣря, что человекъ сотворенъ отъ природы добрымъ, онъ не находилъ осуществленія своихъ идеаловъ ни въ себѣ самомъ, ни въ другихъ, и полный душевный покой могъ чувствовать только въ возможномъ удаленіи отъ людей, на лонѣ природы. Часть лѣта 1753 г. онъ провелъ въ окрестностяхъ Сен-Жермена, наслаждаясь прекрасной погодой и обсуждая тему, только-что заданную дижонской академіей: „О происхожденіи неравенства между людьми“. „Углубляясь въ лѣсъ, говоритъ онъ,—я искалъ и находилъ въ немъ образъ тѣхъ первобытныхъ временъ, исторію которыхъ я составлялъ, и сравнивая общественнаго человѣка (*l'homme de l'homme*) съ естественнымъ, я видѣлъ въ его мнимомъ усовершенствованіи источникъ его несчастій“. Душа Руссо, „увлекаемая возвышенными идеями, поднималась до божества“, работа шла быстро, тѣмъ болѣе, что Дидро много помогалъ своими совѣтами, и новая диссертація скоро была готова.

„Между людьми, говоритъ Руссо,—есть два рода неравенства, которые необходимо различать одно отъ другого. Одно, которое можно назвать естественнымъ или физическимъ неравенствомъ, состоитъ въ различіи возраста, здоровья, тѣлесныхъ силъ и душевныхъ способностей. Другое-же слѣдуетъ назвать моральнымъ или политическимъ неравенствомъ, потому что оно зависитъ отъ своего рода уговора и основано или, по крайней мѣрѣ, утверждено согласіемъ людей. Оно состоитъ въ извѣстныхъ опредѣленныхъ преимуществахъ“, напр., въ силѣ, власти, особой почетности, богатствѣ, и обыкновенно далеко не обусловливается естественнымъ неравенствомъ. Общественныя различія такъ-же древни,

какъ и само общество, вмѣстѣ съ которыми они возникли изъ естественнаго состоянія.

Первобытный „естественный человекъ“ ѣсть, пить и спать; этими тремя функциями почти и ограничивается его жизненная дѣятельность. Она не требуетъ никакого особеннаго напряженія жизненныхъ силъ; сынъ природы утоляетъ свой голодъ подѣ ка-
вниш-нибудѣ дубомъ, свою жажду — изъ ближайшаго ручья и имѣетъ готовое ложе подѣ тѣмъ-же самымъ деревомъ, которое дало ему пищу. На-сколько просты его потребности, на-столько-же ему легко и удовлетворять ихъ. Земля еще обладаетъ своимъ плодородіемъ во всей полнотѣ его и искусственное воздѣлываніе еще не ослабило ея производительной силы; въ своихъ неизмѣримыхъ лѣсахъ повсюду предлагаетъ она человѣку разнообразныя плоды, которые, вѣроятно, самая подходящая пища для него. Во всякомъ случаѣ онъ легко и безъ труда находитъ то, что необходимо для его существованія“.

„Естественный человекъ“ пользуется хорошимъ, постояннымъ здоровьемъ. Сильный и крѣпкій отъ рожденія, онъ еще болѣе укрѣпляется тѣмъ образомъ жизни, какой онъ вынужденъ вести. Слабыя отъ рожденія природа такъ-же мало терпитъ, какъ древняя Спарта, и оставляетъ ихъ на погибель. Но кто вступаетъ въ жизнь здоровымъ и нормально сложеннымъ, того закаляютъ и укрѣпляютъ постоянное пребываніе на чистомъ воздухѣ, ранняя привычка къ самымъ разнообразнымъ перемѣнамъ погоды и неизбежная борьба, которую онъ долженъ вести съ враждебными ему животными. Необходимость заставляетъ его по-возможности развивать природныя тѣлесныя силы. Тѣло служитъ ему единственнымъ орудіемъ, которымъ онъ можетъ пользоваться; ему еще неизвѣстны искусственные инструменты, употребленіе которыхъ людьми цивилизованными вовсе не помогаетъ развитію ихъ естественныхъ силъ и ловкости... Естественный человекъ вовсе не исполненъ дикой воинственной ярости, онъ не стремится только къ борьбѣ и нападенію, какъ думаетъ Гоббсъ. Но если онъ не склоненъ подвергать себя опасности безъ нужды, то, съ другой стороны, онъ вовсе не избѣгаетъ ея, если она встрѣтится. Мнѣніе тѣхъ, которые считаютъ естественнаго человека существомъ робкимъ и боязливымъ, такъ-же неосновательно, какъ и противополо-

ложное ему. Конечно, нужно согласиться, что при видѣ новаго, необыкновеннаго явленія онъ нѣкоторое время можетъ чувствовать страхъ, пока не узнаетъ, добра или зла ему ждать отъ него и въ состояніи-ли онъ бороться съ могущими встрѣтиться опасностями. Но явленія этого рода бывають только исключительными въ естественномъ состояніи, гдѣ все идетъ своимъ правильнымъ, однообразнымъ ходомъ. Вообще естественному человѣку не представляется поводовъ къ страху, такъ-какъ дикія животныя, его единственные враги, являются такими только въ тѣхъ случаяхъ, когда ихъ побуждаетъ инстинктъ самосохраненія, и не внушаютъ ему никакой особенной боязни, потому что онъ чувствуетъ себя способнымъ къ борьбѣ съ ними“.

„Ему нечего бояться и тѣхъ, еще болѣе страшныхъ враговъ, которыхъ поднимаетъ противъ человѣка непобѣдимая слабость его собственной природы. Конечно, подобно всякому живому существу, онъ подвергается и безпомощному безсилію дѣтства, и возрастающимъ тягостямъ старости; но онъ испытываетъ ихъ только въ очень слабой степени. Ребенокъ, крѣпкій и здоровый отъ природы, скоро достигаетъ того, что можетъ жить безъ материнскаго ухода, который продолжается только до тѣхъ поръ, пока онъ настоятельно необходимъ. У старика-же уменьшеніе потребностей идетъ параллельно съ паденіемъ силъ; онъ умираетъ постепенно, и едва замѣчаютъ, когда кончается жизнь его. Смерть приходитъ только отъ нормальнаго истощенія жизненной силы, а не отъ тѣхъ безчисленныхъ болѣзней, которыя, съ своими разнообразными страданіями, преслѣдуютъ цивилизованнаго человѣка отъ колыбели до могилы. Природа не знаетъ этихъ злѣйшихъ враговъ человѣческаго счастья; почти всѣ они созданы нами самими и являются печальнымъ плодомъ противоестественныхъ отношеній нашей общественной среды. Можно сказать, что исторія гражданскихъ обществъ есть въ то-же время исторія человѣческихъ болѣзней. Правда, рядомъ съ постепенно возрастающимъ зломъ развивается медицинское искусство, но не слѣдуетъ придавать ему большого значенія. Еще далеко не доказано, что по мѣрѣ его развитія увеличивается средняя продолжительность человѣческой жизни, да этого и быть не можетъ, такъ-какъ число вновь появляющихся болѣзней гораздо больше, чѣмъ средствъ,

которыя въ состояніи предложить медицина *). Во всякомъ случаѣ, естественный человѣкъ легко обходится безъ этого двусмысленнаго искусства; онъ не знаетъ другихъ болѣзней, кромѣ старческой слабости и ранъ, получаемыхъ въ борьбѣ, да и тѣ обыкновенно заживаютъ сами собой. Само собой понятно, что у естественнаго человѣка вовсе нѣтъ тѣхъ утонченныхъ потребностей, какія въ безчисленныхъ формахъ порождаются общественною жизнью“. Естественный человѣкъ Руссо лишенъ всѣхъ общественныхъ свойствъ, это вовсе не *человѣкъ*, такъ-какъ даже самый примитивный дикарь болѣе или менѣе существо общественное.

Само собою понятно, что не можетъ быть и рѣчи о неравенствѣ между подобными существами. „Даже естественныя различія тѣлесныхъ и душевныхъ силъ не могутъ имѣть у нихъ никакого особеннаго значенія, такъ-какъ они являются главнымъ образомъ плодомъ разнообразій въ образѣ жизни и воспитанія, свойственныхъ развитому обществу. Гдѣ жизнь такъ проста и однообразна, какъ въ естественномъ состояніи, гдѣ всѣ употребляютъ одну пищу и ведутъ одинаковый образъ жизни, тамъ личныя особенности отдѣльныхъ людей не могутъ быть значительны.

„Итакъ, пока люди жили въ своемъ первобытномъ состояніи, между ними не было никакого или почти никакого замѣтнаго неравенства. Является вопросъ: какимъ образомъ оно могло возникнуть и развиться? Безъ сомнѣнія, въ природѣ человѣка лежалъ уже зародышъ того, чѣмъ онъ сдѣлался впоследствии. Способность къ общественной жизни была прирождена ему, развитіе же ея совершилось подъ вліяніемъ разныхъ случайностей, которыхъ могло и не быть и безъ которыхъ онъ всегда оставался бы въ своемъ первобытномъ состояніи“.

„Тотъ первый, говоритъ Руссо, — кто вздумалъ присвоить себѣ влочежъ земли, утверждая, что онъ принадлежитъ ему, и успѣлъ увѣрить въ этомъ людей, былъ основателемъ гражданскаго общества“. Но это возможно было только послѣ ряда предшествовавшихъ перемѣнъ въ естественномъ строѣ жизни. „Кажется, первый шагъ изъ естественнаго состоянія заставила сдѣлать не-

*) Увеличеніе средней продолжительности человѣческой жизни въ настоящее время уже фактъ несомнѣнный; см., напр., „Исторію культуръ“, Кольба, статью „Statistik“ въ Staats-Lexikon и т. д.

обходимость тѣлесныхъ упражненій, нужныхъ для преодоленія естественныхъ препятствій. Известная сила и ловкость нужны уже были для пріобрѣтенія пищи, для защиты нерѣдко отъ дикихъ звѣрей, а по временамъ — и отъ подобныхъ себѣ; вслѣдствіе этого та и другая развивались. Затѣмъ слѣдовали, какъ дополненіе личныхъ силъ, естественныя орудія, камни, дубины и т. д., въ употребленіи которыхъ человѣкъ достигалъ все большей и большей ловкости“.

„Другое, весьма важное для дальнѣйшаго развитія условіе заключалось въ различіи естественныхъ отношеній, въ которыя были поставлены люди. Природа страны, климатъ, время года вели за собою многочисленныя разнообразія въ образѣ жизни. Люди раздѣлялись на звѣролововъ, рыбаковъ и т. д., облекались въ звѣриныя шкуры, когда того требовала низкая температура, и при повторявшихся время отъ времени не совсѣмъ обыкновенныхъ естественныхъ событіяхъ, въ родѣ жаркаго лѣта, суровой зимы, наводненія и т. п., ради собственной безопасности и самосохраненія, привыкали къ осторожности и предусмотрительности. Вскорѣ познакомились они съ огнемъ, потомъ съ искусствомъ добывать его и пользоваться имъ. Понятно, что этой ступени развитія они не могли достигнуть безъ того, чтобы не войти одновременно съ этимъ въ частныя сношенія другъ съ другомъ и съ прочими животными. Эти сношенія неизбѣжно породили въ нихъ умъ представленія о тѣхъ отношеніяхъ, которыя мы называемъ большимъ, малымъ, сильнымъ, слабымъ, скорымъ, медленнымъ и т. д. При сравненіи, почти произвольномъ, этихъ отношеній явился родъ рефлексіи или механическаго благоразумія, которое дало людямъ предохранительныя правила, необходимыя для ихъ безопасности. Развившаяся осмотрительность усилила превосходство надъ другими животными; человѣкъ почувствовалъ себя царемъ творенія, чтобы скорѣе за-тѣмъ сдѣлаться бичемъ его. Съ первымъ взглядомъ, устремленнымъ имъ на себя или въ себя, пробуждается и первое движеніе гордости“. Видѣть съ сознаниемъ своего превосходства надъ природой является сознаніе человѣческаго единства и стремленіе къ союзу съ другими людьми. Но первобытныя союзы „имѣютъ крайне случайный характеръ. Одно мгновеніе заключаетъ и разрушаетъ ихъ; они постоянно измѣняются и служатъ только случайнымъ общимъ потребностямъ за-

щиты и нападенія. Основа и цѣль ихъ заключаются въ одномъ только физическомъ само сохраненіи“.

Вторая ступень общественнаго развитія начинается, по Руссо, съ основанія прочныхъ жилищъ, для постройки которыхъ необходимы достаточно зрѣлый умъ и хоть какіе-нибудь инструменты. Въ жилищѣ возникаетъ семейная жизнь, мужчина и женщина начинаютъ удалаться отъ своего первобытнаго однообразія, ихъ половыя различія развиваются, и вмѣстѣ съ привычкою къ новымъ удобствамъ появляются новыя потребности. „Представленія умножаются, расширяются и сердце начинаетъ жить; въ немъ пробуждаются самыя истинныя и самыя чистыя чувствованія, къ какимъ способно оно,—супружеская и родительская любовь“. Вмѣстѣ съ тѣмъ языкъ достигаетъ большаго развитія и вскорѣ общественный союзъ переходитъ на болѣе высокія ступени. Отдѣльныя семейства примыкаютъ одно къ другому, образуются союзы семей, наконецъ—нація. „Семейства сначала находятся въ такой-же изолированности, въ какой раньше жили индивиды. Но продолжительное сосѣдство незамѣтно ведетъ къ разнообразнымъ сношеніямъ. Прежде всего отношеніе обоихъ половъ принимаетъ болѣе интимный характеръ; молодые люди сближаются между собой, приучаются отличать, сравнивать, и достигаютъ до такихъ представленій о достоинствахъ и красотѣ, изъ которыхъ возникаетъ произвольное предпочтеніе. Чѣмъ чаще видятся, тѣмъ меньше могутъ быть другъ безъ друга. Въ душу проникаютъ нѣжныя и кроткія чувствованія; рождается любовь, а съ нею, конечно, ревность, и самая нѣжная изъ человѣческихъ страстей начинаетъ требовать кровавыхъ жертвъ. Чѣмъ больше умъ и сердце человѣка обогащаются представленіями и чувствами, тѣмъ сильнѣе становится его склонность обиживаться ими съ подобными себѣ. Близость жилищъ подаютъ поводъ къ частымъ сходбищамъ; пѣсни и танцы, эти дѣти любви и праздности, скоро дѣлаются любимѣйшимъ увеселеніемъ, даже почти главнымъ занятіемъ людей, несвязанныхъ никакою опредѣленною дѣятельностью. При этомъ постоянно представляются случаи выставить на видъ личныя преимущества; выдающіяся дѣйствія возбуждаютъ одобреніе собравшейся толпы; благодаря имъ, люди получаютъ большее значеніе и общественный почетъ. Вотъ первая ступень къ неравенству, а съ нимъ и къ пороку. Тщеславіе и униженіе дру-

гихъ съ одной, стыдъ и ненависть съ другой стороны заражаютъ сердца, и пагубная игра этихъ злыхъ страстей начинается уничтожать счастье и несчастье людей. Личное отличіе становится цѣлью, къ которой стремится каждый, и оспаривающій его подвергается всевозможнымъ нападеніямъ. Каждая несправедливость кажется личною обидою и требуетъ тѣмъ сильнѣйшаго наказанія, чѣмъ выше цѣнить себя обиженный. Местъ становится все злѣе и злѣе, а люди ужаснѣе и кровожаднѣе. Въ такомъ состояніи находится большая часть извѣстныхъ намъ дикихъ народовъ. Заблуждаются тѣ, которые думаютъ найти у нихъ характеръ и жизнь первобытнаго человѣка“. Дикое состояніе — уже начало цивилизаціи.

„Пока люди занимались трудомъ, который можетъ быть выполненъ однимъ человѣкомъ, безъ содѣйствія многихъ другихъ рукъ, они жили свободно, здорово и счастливо. Но съ того мгновенія, какъ одинъ почувствовалъ нужду въ помощи другого“, начался переходъ къ новому порядку, возникло невольничество, „лѣса превратились въ улыбающіяся нивы, на которыхъ вмѣстѣ съ плодами выходили и росли рабство и бѣдность. Этотъ совершенно новый порядокъ вещей наступилъ съ того времени, какъ сдѣлались извѣстны земледѣліе и обработка металловъ. Желѣзо и хлѣбъ цивилизовали людей и погубили человѣчество. Трудно понять, какъ было пріобрѣтено знаніе металловъ и ихъ употребленія, но природа приняла всѣ предосторожности, чтобы скрыть отъ человѣка эту роковую тайну“. Познакомившись съ желѣзомъ, человѣкъ сталъ обрабатывать землю, дѣлить ее на участки, обмѣниваться своими продуктами съ другими производителями и т. д. „Естественное различіе способностей и талантовъ проявилось тутъ съ полною силою. Большая сила и ловкость даютъ возможность производить больше и лучше; отъ нихъ-же зависятъ не только состояніе, но также власть и уваженіе. Нѣтъ ничего удивительнаго, что всѣ стремятся воспользоваться своими преимуществами, даже въ ущербъ другимъ. У кого-же нѣтъ преимуществъ, тотъ притворяется, что имѣетъ ихъ; стараются казаться не тѣмъ, что есть, и впадаютъ во всѣ пороки, которые сопровождаютъ импонирующую роскошь и хитрое коварство. Съ другой стороны, по мѣрѣ возрастанія своихъ потребностей, человѣкъ становится зависимѣе, какъ отъ природы, такъ и отъ подобныхъ

себѣ. Если онъ бѣденъ, то нуждается въ чужой помощи, если богатъ, то не можетъ обойтись безъ услугъ другихъ, работъ которыхъ онъ дѣлается, будучи господиномъ ихъ. Каждый долженъ заботиться, чтобы заинтересовать въ свою пользу другихъ или, по крайней мѣрѣ, заставить ихъ вѣрить, что его выгода есть въ то-же время и ихъ выгода. Хитрый и коварный съ одними, онъ жестокъ и деспотиченъ съ другими; всѣхъ-же, въ комъ онъ нуждается и не можетъ дѣйствовать на нихъ страхомъ, онъ неизбежно долженъ обманывать“. Вотъ тутъ-то, по мнѣнію Руссо, — и выступаетъ на сцену война всѣхъ противъ всѣхъ, которую Гоббсъ относитъ къ естественному состоянію. „Наступаетъ всеобщая ужасная анархія“, съ цѣлью избавленія отъ которой люди, путемъ свободнаго соглашенія, устанавливають государство.

Идеи Руссо о государствѣ въ этой диссертациі тѣ-же самыя, какія онъ впоследствии развилъ въ „Общественномъ договорѣ“, и мы будемъ разсматривать ихъ дальше. Здѣсь-же замѣтимъ только, что исторію государствъ онъ считаетъ логическимъ довершеніемъ до-государственнаго состоянія. Современное ему состояніе общественныхъ государственныхъ учреждений представляло собою такую незавидную картину, что сравнивая его съ своимъ естественнымъ состояніемъ человѣка, онъ отдавалъ рѣшительное предпочтеніе послѣднему. „Нѣтъ болѣе рѣзкаго различія, чѣмъ существующее, между естественнымъ и цивилизованнымъ человекомъ; первый — пріямая противоположность послѣдняго, и то, что для того составляетъ величайшее счастье, можетъ повергнуть этого въ крайнее отчаяніе. Все-же это различіе основано въ сущности на томъ, что естественный человѣкъ живетъ въ себѣ и изъ себя, а общественный — постоянно внѣ себя, только въ мнѣніи другихъ, и можно сказать, что даже чувство собственнаго существованія почерпаетъ изъ чужого приговора. Необходимымъ результатомъ такого самоотчужденія является господство внѣшности и лжи; социальный человѣкъ, даже по своему наружному виду, обманчивъ и распущенъ; онъ обладаетъ только самолюбіемъ безъ добродѣтели, умомъ безъ мудрости, удовольствіемъ безъ счастья“.

Въ научномъ отношеніи эта диссертациія Руссо ничто иное, какъ историческая утопія, и самъ онъ считаетъ свое естественное состояніе не больше, какъ гипотезой, въ справедливость которой

онъ, впрочемъ, вполне вѣрилъ. Основная ошибка Руссо состояла въ самомъ методѣ изслѣдованія; принимая на вѣру историческій мифъ объ естественномъ состояніи, онъ выкинулъ изъ своей картины всѣ черты общественности и получилъ изображеніе своего рода рая. Считая быть дикихъ народовъ неимѣющимъ ничего общаго съ первобытною жизнью, плохо знакомый съ этнографіей и лишенный пособія несуществовавшей еще тогда новѣйшей антропологіи, Руссо неизбѣжно долженъ былъ впасть въ цѣлый рядъ ошибокъ. Но вѣсть съ этими недостатками диссертация имѣетъ не мало положительныхъ научныхъ достоинствъ и содержитъ въ себѣ много блестящихъ гипотезъ, въ родѣ мнѣнія о причинѣ болѣзней, вполне принятаго новѣйшею наукою. Естественное состояніе выдуманно не Руссо, но его предшественники занимались имъ только какъ формою жизни, предшествующею государству; Руссо-же показалъ, что государство было высшею ступенью длиннаго ряда формъ общественной жизни. Наконецъ, большое значеніе имѣла его гипотеза объ органическомъ единствѣ животнаго міра. Что-же касается второй части диссертации, то, изображая пороки и недостатки современнаго ему общества и призывая людей снова приблизиться къ природѣ, Руссо былъ далекъ отъ мысли о возможности вернуться въ первобытное естественное состояніе или нивелировать общество во вкусъ дикого коммунизма. Абсолютное равенство онъ считалъ возможнымъ только въ естественномъ, животномъ состояніи. Онъ считалъ возможнымъ только относительное осуществленіе принциповъ, которые пропагандировалъ, и чувствовалъ приближеніе того перелома, до котораго онъ не дожилъ.

Лѣтомъ 1754 г. Руссо отправился на родину въ Женеву, которую онъ такъ любилъ и свободными учрежденіями которой всегда гордился. Здѣсь онъ былъ принятъ съ полнымъ радушіемъ и уваженіемъ и почувствовалъ сильное желаніе снова сдѣлаться женевскимъ гражданиномъ, перейдя изъ католицизма обратно въ кальвинизмъ. Обратившись снова къ вѣрѣ отцовъ своихъ, онъ еще болѣе усилилъ расположеніе къ себѣ женевцевъ и свою упомянутую диссертацию посвятилъ женевской республикѣ при особомъ адресѣ. „Равенство, говорится въ этомъ адресѣ,—которое природа установила между людьми, и неравенство, которое ввели они сами, мудро соединены здѣсь (въ Женевѣ) самымъ счастливымъ образомъ. Когда я искалъ лучшихъ принциповъ, какіе

здравый умъ можетъ положить въ основу государства, то былъ изумленъ до такой степени, вида всё ихъ осуществленными у васъ, что если-бы даже я родился не въ вашихъ стѣнахъ, то все-таки считъ-бы своимъ долгомъ посвятить вашей общинѣ эту картину человѣческаго общества всѣхъ народовъ". Крайній идеалистъ въ своемъ изображеніи естественнаго состоянія, Руссо является эмпирикомъ, когда начинаетъ излагать по женеvскому образцу свой государственный идеалъ. „Прежде всего необходимо, говорить онъ,—чтобы величина государства была ограничена размѣромъ человѣческихъ силъ. Это *conditio sine qua* non хорошаго управленія. Выполненіе этого условія возможно только въ обществѣ, пространство территоріи и число жителей котораго ограничены. Только въ такомъ обществѣ каждый можетъ самъ выполнять свою обязанность и никто не вынуждается передавать другимъ принадлежащія ему функціи. Кроме того, въ маленькомъ государствѣ люди стоятъ лично близко другъ къ другу, они знаютъ другъ друга и наблюдаютъ взаимно надъ собой. Ни пороки, ни добродѣтели не могутъ здѣсь укрыться отъ общественнаго вниманія и сужденія, а пріятный обычай личныхъ сношеній ведетъ къ тому, что любовь къ отечеству относится здѣсь больше къ гражданамъ, чѣмъ къ землѣ". Далѣе, верховная власть и народъ должны стоять въ такихъ отношеніяхъ, чтобы „они имѣли одни общіе интересы и всѣ движенія государственной машины были направлены къ общему благу". Наставляя на отдѣленіи административной власти отъ судебной, Руссо говоритъ, что „ни тою, ни другою изъ нихъ народъ не долженъ пользоваться непосредственно, но долженъ посредствомъ новыхъ ежегодныхъ выборовъ передавать ихъ особымъ чиновникамъ, отличающимся талантомъ и безупречнымъ характеромъ". Эти выборные должны быть головой и руками народнаго тѣла, правителями массъ, къ которой Руссо, какъ истый бюргеръ, относится свысока; онъ боится ея непостоянства, ея склонности къ повизнѣ. Новизны-же, безпокойныя перемѣны противны ему; онъ предпочитаетъ старое, уже испытанное, тѣ учрежденія, въ долговременномъ существованіи которыхъ заключается гарантія ихъ дальнѣйшаго успѣха. Впрочемъ, нужно замѣтить, что государственныя идеи Руссо, изложенныя имъ въ адресѣ, не могутъ считаться вполне искреннимъ выраженіемъ его взглядовъ: при изложеніи ихъ онъ поддѣ-

ливался къ образу мыслей членовъ женеваго совѣта и опускалъ то, что могло не понравиться имъ.

За это посвященіе и за обратный переходъ въ кальвинизмъ Руссо ждалъ себѣ награды, въ родѣ гражданскаго звѣна или какой-нибудь синеюры, но не получилъ ничего, кромѣ прозвища *citoyen de Genève*. Во Франціи-же его диссертация далеко не имѣла того успѣха, какъ первая. Дижонская академія не удостоила ее преміи, а нѣкоторые французскіе писатели подняли на смѣхъ идеальное естественное состояніе Руссо. Въ одной комедіи, напр., секретарь главнаго дѣйствующаго лица, утрируя принципы своего господина, ходитъ на четверенькахъ и т. д. Въ то же время Вольтеръ писалъ къ Руссо: „я получилъ вашу новую книгу противъ рода человѣческаго и благодарю за нее. Вы поправитесь людямъ, но не исправите ихъ. Никогда не было потрачено столько ума, чтобы превратить насъ въ скотовъ; прочитавъ ваше произведеніе, получаешь охоту ходить на четверенькахъ. Но такъ-какъ я уже болѣе шестидесяти лѣтъ бросилъ эту привычку, то, къ несчастію, чувствую себя не въ силахъ снова обратиться къ ней. И я предоставляю это естественное положеніе тѣмъ, которые болѣе достойны его, чѣмъ вы и я“. Но подобныя насмѣшки даже не раздражали Руссо, — такъ онъ былъ увѣренъ въ себѣ и въ своихъ идеалахъ.

С. Ставринъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

ИСПОВѢДЬ СТАРИКА.

РОМАНЪ

ИПОЛИТА НЬЕВО.

(Переводъ съ итальянскаго.)

ГЛАВА XV.

ПУТЕШЕСТВІЕ.—ПРИБЫТІЕ ВЪ МИЛАНЪ.—ПРАЗДНЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ.—ИЗВѢСТІЯ О ЗНАКОМЫХЪ.—ЦИЗАЛЬПИНСКІЯ ВОЙСКА И ПАРТЕНОПЕЙСКІЙ ЛЕГИОНЪ ЭТТОРЕ КАРАФА.—МОЕ ПОСТУПЛЕНІЕ ВЪ НЕГО ВЪ ЧИНЪ ОФИЦЕРА.

Я собирался прочесть Аглаурѣ проповѣдь, напомнить ей о родителяхъ, о долгѣ, нравственности и религіи, увѣрить ее, что любовь ея—минутная фантазія, что притомъ сердце мое уже занято и что всѣ усилія овладѣть имъ были-бы тщетны. По счастью, дѣвушка не дала мнѣ времени приступить къ этимъ разглагольствованіямъ и тѣмъ спасла меня отъ крайне комичнаго положенія.

— Не осуждайте меня прежде, чѣмъ выслушаете, сказала она, удерживая меня жестомъ.—Эмилио—мой женихъ; когда онъ познакомился со мной, ему и въ голову не приходило впутываться въ политическія дѣла, въ заговоры и махинаціи; я сама втолкнула его во все это; я довела его до изгнанія; я послала его, бѣднаго, одинокаго, лишеннаго родныхъ и друзей, съ слабымъ здоровьемъ, страдать и, можетъ быть, умереть въ чужомъ краю. Теперь судите: не обязана-ли я была покинуть все, всѣмъ пожертвовать, чтобы загладить по-возможности несчастье, на которое я обрекла его?

Видите, что Спиро былъ не правъ, удерживая меня. Я покинула родителей не изъ-за любви только, а по чувству долга, религіи и состраданія. Пусть я погибну, только-бы на совѣсти моей не осталось такого ужаснаго упрека.

Я обомлѣвъ и такъ растерялся отъ признанія неисправимой глупости, которую чуть-было не сдѣлажь, что едва могъ пробормотать что-то въ отвѣтъ. Я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія объ этомъ интересномъ Эмилио, который оказывался женихомъ Аглауры, но о которомъ я никогда не слыхалъ ни слова отъ ея родныхъ. Она-же, повидимому, была увѣрена, что мнѣ все дѣло извѣстно, и продолжала:

— Прошлую недѣлю меня мучила мысль самоубійства; но узнавъ, что вы ѣдете въ Миланъ, я возмѣтила другую мысль, болѣе утѣшительную. Я рѣшилась ѣхать съ вами, потому что Эмилио тоже въ Миланѣ. Одной ѣхать мнѣ было страшно. Подумайте, я привыкла никогда изъ дому одна не выходить. Можетъ быть, у меня хватило-бы мужества, но я слишкомъ неопытна, и богъ-вѣсть въ какія передраги могла-бы попасть по неопытности. Поэтому я рѣшилась ѣхать съ вами. Принявъ это рѣшеніе, я стала думать о томъ, сообщить-ли вамъ мое намѣреніе или послѣдовать за вами безъ вашего вѣдома, пока обстоятельства не вынудятъ меня открыться вамъ? По природной откровенности я предпочла-бы первое, но страхъ отказа и желаніе сохранить тайну заставили меня предпочесть второе. Оставалось побѣдить главное препятствіе—брата. Мы съ нимъ такъ сжились, что мысли одного передаются сами собой другому. Онъ понялъ мое намѣреніе почти въ ту-же минуту, какъ я задумала его; я не говорю, что онъ догадался о моемъ желаніи уѣхать съ вами, но онъ прочелъ въ моихъ глазахъ рѣшимость бѣжать въ Миланъ. Это дѣлало побѣгъ очень затруднительнымъ, почти невозможнымъ. Братъ такъ любитъ меня, что предпочелъ-бы смерть разлукѣ. Вы представить себѣ не можете, какъ я должна была хитрить, чтобы разсѣять въ немъ это подозрѣніе! Только тотъ, кто чувствуетъ себя побуждаемымъ самой священной обязанностью и самымъ настоятельнымъ требованіемъ совѣсти, можетъ, не умирая отъ стыда и раскаянія, сознаться въ такомъ обманѣ и лицемѣріи, на какіе была вынуждена я. О, я плачу и теперь! но такова была воля Божія! Итакъ, я всѣхъ обманула, и нынче утромъ, когда я читала молитву съ ма-

терью и здоровалась съ отцомъ, никому, конечно, въ мысль не могло придти, что я рѣшилась черезъ полчаса бѣжать. Ну, теперь дѣло сдѣлано! За родителей я не очень беспокоюсь. Не знаю почему, потому-ли, что я дѣвушка, или потому, что я въ самомъ дѣлѣ не заслуживаю любви, или потому, что въ ихъ лѣта люди склонны къ эгоизму, — только они никогда не обнаруживали большой любви ко мнѣ. Иногда мать какъ-будто раскаивается въ долгомъ равнодушіи ко мнѣ и осыпаетъ меня ласками, но я чувствую, что онѣ не искренни; отецъ-же рѣшительно равнодушенъ ко мнѣ и смотритъ на меня, какъ на временную гостью въ домѣ. И дѣйствительно, дочери для отцовъ только временная забава. Поэтому я знаю, что родители мои спокойно перенесутъ нашу разлуку, если будутъ знать, что я жива и здорова; но я беспокоюсь о Спиро. Богъ-вѣсть, на что онъ способенъ въ отчаяніи! Впрочемъ, я ему напишу, успокою, и буду всегда молить небо, чтобы оно позволило намъ соединиться.

Во время ея рѣчи мнѣ вспомнились слова моего отца, который говорилъ мнѣ, что я найду въ ней сестру, — и вотъ слова его сбывались. Аглаура ввѣрялась мнѣ какъ сестра, и я твердо рѣшился помогать ей, какъ сестрѣ. Я, однако, не измѣнилъ своего плана путешествія, намѣреваясь дойти пѣшкомъ до какой-нибудь сосѣдней деревни, нанять тамъ повозку до другого мѣста, и такимъ образомъ, перебираясь отъ деревни до деревни, избѣгая городовъ, добраться до Гардскаго озера и переѣхать на лодкѣхъ на бресчанскій берегъ. Но прежде, чѣмъ приняться за исполненіе первой части этого плана, я спросилъ Аглауру торжественнымъ тономъ, точно-ли этотъ Эмиліо ея женихъ и дѣйствительно-ли находится онъ въ Миланѣ.

— Женихъ-ли мой Эмиліо? Развѣ вы не знаете Эмиліо Торрони? воскликнула Аглаура съ удивленіемъ; — развѣ Спиро ничего не говорилъ вамъ?

— Ничего.

— Это странно, отвѣчала она сквозь зубы. Затѣмъ она сказала мнѣ, что еще до возвращенія Спиро изъ Греціи, гдѣ онъ пятнадцать лѣтъ прожилъ у дяди, за нее посватался Эмиліо Торрони, очень хорошій молодой человекъ, по ея словамъ, и одной изъ лучшихъ фамилій Истріи, служившій въ Венеціи офицеромъ при арсеналѣ. Сначала свадьбу замедлило возвращеніе брата и нѣко-

торыя денежныя затрудненія, сдѣлавшія необходимымъ это возвращеніе; потомъ случилась революція, которая все отсрочила, а потомъ Эмилио пришлось бѣжать, подобно другимъ, отъ несчастныхъ послѣдствій кампоформійскаго трактата. Она опять упрекала себя за то, что вовлекла его въ вакханалии этой эфемерной свободы и такимъ образомъ погубила всю его будущность. На этотъ разъ я сталъ возражать ей, говоря, что мужчина всегда самъ отвѣтственъ за свои поступки. Но Аглаура стояла на своемъ — что ея обязанность ѣхать къ нему, чтобы облегчить его положеніе. Что же касается его болѣзни и пребыванія въ Миланѣ, то она въ этомъ не сомнѣвается, потому что въ послѣднемъ письмѣ онъ писалъ ей, что не выѣдетъ изъ Милана, и что если она не будетъ получать отъ него дальнѣйшихъ писемъ, это будетъ знакъ, что онъ или умеръ, или тяжело болѣнъ.

Въ этихъ разговорахъ мы дошли до первой деревни, гдѣ наняли телѣжку до Читаделлы. Аглаура философски переносила всѣ невзгоды этого путешествія на солдатскій ладъ. Мы ночевали обыкновенно въ какой-нибудь деревенской харчевнѣ, гдѣ существовала большею частью одна только комната съ одной постелью. Правда, комната бывала такъ велика, что могла вмѣстить цѣлую роту, но все-же это не выкупало другихъ неудобствъ. Приходилось первымъ дѣломъ тушить свѣчу, послѣ чего Аглаура раздѣвалась и ложилась въ постель, а я укладывался гдѣ-нибудь на столѣ или на стульяхъ. Такимъ образомъ, перенося неудобства, но весело болтая, мы прошли виченцскую и веронскую области и на четвертый день достигли Бардолино, селенія на берегу голубого Бенако. Не взирая на огорченіе и усталость, я вспомнилъ *Виргилія* и привѣтствовалъ его стихами прекрасное озеро, бурно вздувающее иногда свои волны. Вдали виднѣлась смутно *Сермїона*, воспитанница озера, царица его острововъ и полуострововъ, какъ называетъ ее *Катуаль*, нѣжный любовникъ *Лесбіи*.

Пока хозяинъ гостиницы готовилъ намъ на ужинъ небольшую форель и нѣсколько сардинокъ, мы пошли гулять по горамъ. Аглаура шла подлѣ меня, грустная и задумчивая. Луна освѣщала ея лицо, обрисовывая ея изящный профиль во всей прелести его греческихъ очертаній. Въ моемъ классическомъ настроеніи, подъ влияніемъ поэзіи *Виргилія*, она казалась мнѣ музой трагедіи, когда она въ первый разъ, задумчивая и строгая, явилась *Эсхилу*. Мы

дошли до окраины пропасти. Подъ нами разстилось молчаливо темное зеркало озера, въ которомъ небо отражалось, не освѣщая его, какъ всегда бываетъ, когда лунный свѣтъ падаетъ на озеро прямо сверху. Я впалъ въ задумчивость, смутно перебирая въ своей памяти спокойные горизонты и зеленые дуга Фраты и чудную панораму бастиона Аттилы. Меня пробудилъ отъ этихъ думъ глубокий вздохъ моей спутницы; я посмотрѣлъ на нее и увидѣлъ, что она склонилась надъ пропастью и, бросившись вдругъ впередъ, мгновенно исчезла за краемъ обрыва. Я на секунду онѣмѣлъ; потомъ закричалъ такимъ неистовымъ голосомъ, что самъ испугался своего крика; волосы встали на моей головѣ дыбомъ и я чувствовалъ, какъ мною овладѣваетъ ужасная притягательная сила пропасти. Я не могъ рѣшиться заглянуть въ нее, въ увѣренности, что увижу на днѣ обезображенные, окровавленные останки Аглауры. Вдругъ послышался внизу, подо мной, слабый стонъ. Я наклонился надъ пропастью и прислушался; стонъ повторился явственнѣе; сомнѣнія не было — она была еще жива. Напрягая зрѣніе, я рассмотрѣлъ, наконецъ, на кустѣ ежевики какую-то черную массу, какъ-бы висящую и похожую на человѣческое тѣло. Нетерпѣливо желая поскорѣе подать ей помощь и избавить отъ ежеминутной опасности, которой грозила ей каждая некрѣпкая вѣтка или каждый неплотно укрѣпленный въ землѣ корень, я смѣло сталъ спускаться по почти вертикальному обрыву скалы. Не понимаю, какимъ чудомъ достигъ я, цѣлъ и невредимъ, до куста, удержавшаго ее при паденіи. Мѣсто спуска, гдѣ росъ этотъ кустъ, выдавалось въ видѣ карниза; отцѣпивъ ее плащъ отъ кустарника, я положилъ ее осторожно на выступъ земли и сѣлъ подлѣ нея. Въ такомъ положеніи, безъ воды и безъ всякой помощи, я ничего не могъ сдѣлать и мнѣ приходилось пассивно ждать, что она умретъ или очнется. За неимѣніемъ другихъ средствъ, я принялся изо всѣхъ силъ дуть ей въ глаза и на виски, съ трепетомъ наблюдая за ея малѣйшимъ движеніемъ. Наконецъ, она раскрыла глаза; я вздохнулъ, какъ-будто у меня сняли жерновъ съ груди.

— Ахъ! Я еще жива! пробормотала она.—Значить, воля Божія!..

— Аглаура, Аглаура! сказалъ я ей на ухо нѣжнымъ и умоляющимъ голосомъ,—неужели вы не имѣете никакой вѣры въ меня?

Мое покровительство, мое общество сдѣлали вамъ жизнь въ тягость?

— Вы вѣрнѣйшій и самый дорогой другъ, какого я встрѣчала, отвѣчала она еще слабымъ голосомъ; — ради васъ я, если нужно, готова обречь себя протянуть свою жизнь вдвое дольше срока, опредѣленнаго судьбой. Но кому и на что нужна моя жизнь?

— Какъ кому, Аглаура? Во-первыхъ, вашимъ родителямъ, вашему брату, который обожаетъ васъ; во-вторыхъ, есть на свѣтѣ еще сердце, имѣющее право на вашу любовь. Вы любите, Аглаура; этимъ вы потеряли право лишать себя жизни, если-бы даже такое право существовало для кого-бы то ни было.

— Да, правда, я люблю, отвѣчала дѣвушка страннымъ тономъ, который могъ происходить или отъ ея слабости, или отъ горькой ироніи въ ея сердцѣ.—Я люблю, повторила она, на этотъ разъ съ полнымъ чистосердечіемъ.—Я должна жить для любви; вы правы, другъ мой. Дайте мнѣ руку, вернемся!

Я замѣтилъ ей, что отсюда нельзя безопасно ни спуститься, ни подняться, и во всякомъ случаѣ неосторожно трогаться съ мѣста тотчасъ послѣ такого глубокаго обморока.

— Я больше гречанка, чѣмъ венеціанка, отвѣчала она, бодро подымаясь на ноги;—я лишилась чувствъ оттого, что у меня захватило дыханіе, а не отъ боли или страха,—увѣряю васъ. Если намъ нельзя взобраться отсюда наверхъ, то, во всякомъ случаѣ, можно спуститься. Вѣдь спустились-же мы до этого мѣста!

Мои колѣни еще дрожали отъ этого спуска, а что касается до нея, то, разумѣется, такого способа передвиженія ей нельзя было предпринимать два раза сряду. Однако я не сталъ противорѣчить ей, побоявшись, что она найдетъ меня больше венеціанцемъ, чѣмъ грекомъ.

— Внизу, по берегу озера, идетъ тропинка, ведущая, должно быть, прямо въ портъ Бардолино. Только-бы намъ до нея добраться, мы были-бы на прямомъ пути.

— Въ томъ-то и дѣло, чтобы добраться до нея, сказалъ я.

— Смотрите и слѣдуйте за мной, сказала она, схватывая крѣпкую вѣтвь и опускаясь на ней за край карниза; оттуда она стала сплзать внизъ, цѣпляясь руками и колѣнями за малѣйшія неровности, и вскорѣ очутилась на мягкомъ и влажномъ прибреж-

номъ пескѣ, гдѣ волны озера расходились и замирали съ тихимъ плескомъ. Приходилось и мнѣ послѣдовать по этому пути, что и сдѣлать, къ великому ущербу своего платья и сапоговъ, не считая собственной кожи. Очутившись внизу, я за то вздохнулъ такъ глубоко, какъ не вдыхалъ никогда въ жизни. Моя спутница уже шла по тропинкѣ вдоль берега, такъ легко и бодро, какъ-будто выходила съ бала, а не совершила только-что отчаяннаго скачка съ высоты двухъ колоколенъ. Она была такъ жива и весела, какою я еще ни разу ее не видалъ, ни дома, ни въ путешествіи. Только когда я заговаривалъ о ея поступкѣ, она хмурилась и отелоняла разговоръ и, наконецъ, перебила меня, нетерпѣливо сказавъ:

— Ну, я сдѣлала глупость, и довольно объ этомъ.

Я замолчалъ, а она опять стала болтать о постороннемъ и, подходя къ гостинницѣ, сказала:

— Бѣда только въ томъ, что намъ придется ѣсть форель холодную, а сардинки пережаренны!

Сказать по-правдѣ, мнѣ было не до форели и не до сардинокъ, но чтобы не выказать слабости, я отвѣчалъ въ томъ-же шутовскомъ тонѣ, что берусь вознаграждать ее за это, состряпавъ ей яичницу.

— Дѣло доброе, подхватила она весело;—я сама собью яйца.

Сафо, страпающая яичницу часъ спустя послѣ левеадскаго прыжка,—личность довольно новая въ великой драмѣ человѣческой жизни. Тѣмъ не менѣе, могу увѣрить васъ, что эта личность не карикатурная поэтическая фикція, а живой человѣкъ, котораго я видѣлъ своими глазами. Форель была умышленно олеветана, ради исполненія этой фантазіи, осуществленіе которой было, надо правду сказать, превосходно. Когда яичница была съѣдена, мы отдали позднюю справедливость и форели, а затѣмъ и сардинкамъ, такъ-что въ концѣ ужина я могъ придти къ заключенію, что ничто такъ не возбуждаетъ аппетитъ, какъ маленькая попытка на самоубійство за часъ передъ ѣдой. Очищая послѣднюю рыбку, я былъ уже въ такомъ розовомъ настроеніи духа, что мечталъ про себя о томъ, какое блаженство было-бы пожить съ Пизаной на этихъ очаровательныхъ берегахъ. Послѣ ужина, провозжая Аглауру въ ея комнату (бардолинская харчевня имѣла претензію на званіе гостинницы), я не удержался, чтобы не сказать:

— Не правда-ли, Аглаура, вы больше не будете такъ пугать меня?

— Нѣтъ, клянусь вамъ, отвѣчала она, пожимая мнѣ руку.

На другой день мы переѣхали озеро и слѣдующіе дни путешествовали по свѣжеиспеченнымъ департаментамъ цизальпинской республики. Во время этого путешествія я нѣсколько разъ пытался разспросить Аглауру о причинѣ, побудившей ее къ ея странному прыжку, но она всякій разъ отвѣчала, что уже сказала, что сдѣлала глупость, и больше не хочетъ говорить объ этомъ. Наконецъ, мы пріѣхали въ Миланъ, гдѣ Бонапарте съ нѣсколькими ломбардскими либералами хлопоталъ состригать карикатурную копію единой и нераздѣльной французской республики.

Это было 21 ноября. Огромная праздничная толпа занимала всѣ улицы отъ восточныхъ воротъ до Лазаретнаго поля, переименованнаго въ поле Федерациі. Пушки палили; развѣвались тысячи трехцвѣтныхъ знаменъ; всѣ колокола звонили; граждане махали шляпами, платками, и въ городѣ гулъ стоялъ отъ криковъ восторга. Мы вошли въ гостинницу, только чтобы оставить вещи, и поспѣшили на улицу, Аглаура въ своемъ матросскомъ костюмѣ. Мы пришли на площадь, гдѣ архіепископъ благословлялъ знамена среди алтарей Бога и отечества, окруженныхъ несмѣтными толпами взволнованнаго народа. Новыя власти только-что учреждаемаго правильнаго и прочнаго правительства цизальпинской республики стояли передъ алтаремъ отечества, и между ними, на особомъ почетномъ мѣстѣ, — Бонапартъ. Торжественность этого зрѣлища потрясла меня. Да, это была настоящая народная жизнь, и кто-бы ни пробудилъ ее, французы или турки, все равно — она была пробуждена. Эта толпа была полна энтузіазма; эти крики ея возвѣщали великія надежды; это внезапное согласіе столькихъ разнородныхъ провинцій, освободившихся изъ-подъ разныхъ гнетовъ, чтобы слиться въ одно независимое отечество, являли великій историческій фактъ. Когда президентъ новой директоріи, Сербалони, произнесъ клятву именами Бурція, Катона и Сцевола защищать, хотя-бы цѣною жизни, конституцію и законы новой республики, эти великія имена прозвучали вполне умѣстно въ общемъ тонѣ торжества. Теперь намъ это все смѣшно, когда мы знаемъ будущее этого прошлаго, когда мы знаемъ, что въ моментъ, когда съ высоты алтаря отечества раздавались эти имена, тутъ-же сидѣлъ будущій повелитель-иноземецъ. Но въ то время всѣ

были потрясены. Венеціанцы, присутствовавшіе при празднествѣ, плакали отъ умиленія, а не отъ грусти. Надежды оживали. Думали, что кампоформійскій трактатъ былъ временной необходимостью; что невозможно, чтобы, давъ свободу провинціямъ, такъ давно коснѣвшимъ въ рабствѣ и равнодушнымъ къ свободѣ, Франція отказала въ ней тѣмъ, которыя всегда ею пользовались и показали себя до конца преданными ей. Увидавъ то, что было сдѣлано Франціей въ цизальпинской, я пересталъ удивляться, что въ послѣднихъ письмахъ своихъ Амильяръ казался мнѣ вылеченнымъ отъ своего брутовскаго фанатизма и что Лючилю и Джуліо дель-Понте записались въ ломбардскій легіонъ, зерно будущей итальянской арміи.

Я искалъ глазами этихъ друзей въ рядахъ войскъ, разставленныхъ на Лазаретномъ полѣ, но вмѣсто нихъ увидѣлъ, во главѣ одной французской роты, своего пріятеля Сандро, бывшаго мельника, съ огромнымъ плюмажемъ на киверѣ и въ мундирѣ, расшитомъ галунами. Я спросилъ Аглауру, видитъ-ли она своего Эмилію, но она отвѣчала отрицательно и разсѣянно, потому что была увлечена праздникомъ, и ея крики и рукоплесканія раздавались громче всѣхъ тамъ, гдѣ мы стояли.

— Аглаура, сказалъ я ей на ухо, — вспомни, что ты женщина!

— Не все-ли равно? отвѣчала она. — Поклонники свободы не имѣютъ различія пола. Всѣ—герои.

— Bravo! Bravo! Хорошо сказано! Это мужчина! Нѣтъ, женщина! Да здравствуетъ республика! Да здравствуетъ Бонапартъ! Да здравствуетъ мужественная женщина! стали кричать окружающіе, слышавшіе слова Аглауры, и мы поспѣшили убраться, чтобы избѣжать оваціи. Мы перешли на другой край площади, биткомъ набитый женщинами. Тутъ мы наслушались самыхъ нелѣпыхъ толковъ.

— Ахъ, говорила одна кумушка другой, — лучше-бы одѣтъ директоровъ въ красное, а то въ зеленомъ съ серебромъ они похожи на церемоніймейстеровъ прежняго губернатора.

— Молчи ты, глупая, возражала другая: — республиканская скромность требуетъ темныхъ цвѣтовъ.

— Скромность! вѣшалась третья. — Хороша скромность! Если-бы ты знала, что сдѣлали два французскихъ поручика съ дочерью моей сестры.

— Э, враки! Это навѣрное переодѣтые іезуиты! Да здравствуетъ равенство!

— Пускай себѣ здравствуетъ, а все-таки директоры изъ знати.

— Это вѣрно, душа моя. Слышала ты, они очистились?

— Какъ-же это очистились?

— А ты не знаешь? Не видала развѣ въ церкви Сан-Кали-меро картину *Очищенія*? Приносятъ въ церковь пару голубей и пару горлицъ...

— И что-же?

— Ну, остальное знаютъ патеры; я знаю только, что они очищены, а какъ—мнѣ все равно. Эй, Лукреція, каковъ твой братъ-то, съ шарфомъ и кокардой! Красота!

— Вижу! Не будь онъ мнѣ братъ, я влюбилась-бы въ него. Знаешь, онъ поклялся убить всѣхъ враговъ нашей родины!

— Будто? Молодецъ! О, онъ способенъ сдержать слово. Я сама видѣла, какъ онъ расквасилъ морду одному собиру, который задѣлъ его въ тавернѣ. Да здравствуетъ республика!

— Послушайте, спросила робко своихъ товарокъ та, что хотѣла нарядить директоровъ въ красное, — что это за Республика? Ее не видать. Можетъ быть, она какъ Марія-Терезія: та тоже жила все въ Вѣнѣ, а сюда посылала своихъ подмастерьевъ.

— Смерть нашимъ врагамъ! закричала одна изъ кумушекъ и стала объяснять, что Республика, все равно, какъ добрая барыня, ни во что не входитъ, живетъ себѣ и другимъ жить даетъ.

— Видишь, прибавила она, — ее никто никогда не видалъ, Республику-то; поэтому никто ее не боится; всякій можетъ дѣлать, что хочетъ: кричать, шумѣть, бѣгать, какъ-будто вовсе нѣтъ никакого начальства.

— Какъ никакого? вступилась Лукреція охрипшимъ отъ крика голосомъ.—А французы? А чизальпины?

— Вотъ еще, опять спросила первая:—что это за Чизальпина такая?

— Чизальпина—имя, все равно, что Терезина, Джузепина или другое.

— Нѣтъ, нѣтъ, врешь, прервала опять Лукреція.— Не слушай ее, она ничего не знаетъ.

— Какъ не знаю? Ты, видно, учена!

— А то какъ-же? И учена! Я плясала у дерева свободы, да у меня брать въ республиканскомъ легіонѣ.

Авторитетъ ея былъ признанъ всѣми и всѣ стали ждать отъ нея объясненія. Я тоже былъ такъ заинтересованъ ея опредѣленіемъ цизальпинской республики, что пересталъ слушать мантуанскихъ депутатовъ, ораторствовавшихъ въ это время передъ Директоріей.

— Ну, ну, что-же это за Республика Чизальпина? спросила одна, самая нетерпѣливая.

— Что это значить? гордо сказала Лукреція. — Это значить, что теперь у насъ Чизальпина, а Республика съумѣетъ поддержать ее. И Сербеллони сказалъ это, и поглялся. И генералъ Бонапартъ заодно съ ними.

— Мнѣ онъ не нравится: худъ, какъ селедка, и волоса такіе жесткіе, какъ гвозди.

— Это еще что; то-ли будетъ! Это отъ пыла сраженій такъ худѣютъ и волоса такъ грубѣютъ. Вотъ увидишь брата, какъ вернется съ войны: небойсь, и шляпы надѣтъ будетъ не на что.

— Ахъ, Лукреція, пожалѣй ты свою невѣстку; что ты о ней говоришь?

Раздался хохотъ; кончилось тѣмъ, что бабы побранились; сосѣди стали кричать на нихъ, чтобы онѣ не шумѣли. Появленіе французскаго капрала укротило всѣхъ. Начальство несомнѣнно было: и чизальпины, и французы, но особенно французы.

Вечеромъ, расположившись въ двухъ маленькихъ комнатахъ въ скромной меблированной квартирѣ на Корсо-ди-Порта-Романа, я заговорилъ съ Аглаурой объ Эмилио, о которомъ она, на мой взглядъ, очень мало заботилась втеченіи всего этого дня, увлеченная празднествомъ федераціи.

— Помилуйте, отвѣчала она,—я только и дѣлала, что цѣлый день искала его въ толпѣ, и не моя вина, если не нашла. Но у васъ въ Миланѣ много друзей, и вы намѣревались нынче-же вечеромъ идти искать ихъ. Идите-же и приводите ихъ сюда; можетъ быть, я что-нибудь отъ нихъ узнаю. Я между тѣмъ надѣну женское платье, которое вы мнѣ купили. Ахъ, другъ мой, какъ я вамъ благодарна за все! Если встрѣтите Спиро, ни слова ему обо мнѣ. Очень вѣроятно, что онъ раньше насъ пріѣхалъ въ Миланъ.

Я обѣщаль все это исполнить, взявъ и съ нея обѣщаніе немедленно написать родителямъ. Я отправился прежде всего на почту, гдѣ получилъ четыре письма, изъ нихъ три для меня, и изъ этихъ трехъ два отъ Пизаны. Въ первомъ она рассказывала мнѣ о провѣщеніяхъ послѣ моего побѣга; второе было наполнено плачемъ, вздохами и жалобами на мое отсутствіе. Она сообщала мнѣ любопытныя новости. Его превосходительство Наваджеро выгналъ свою тещу, графиню, изъ дому, и она поселилась у сына, который сохранилъ свою жалкую должность на службѣ. Старый Венквередо былъ взбѣшенъ, что мнѣ удалось убѣжать, и кричалъ о конфискованіи всего моего имущества; но узнавъ, что оно заключается только въ небольшомъ домѣ, успокоился, и Пизана спокойно жила въ домѣ. Повидимому, она была обязана этимъ заступничеству Раймондо, которому хотѣлось задобрить ее и войти къ ней въ милость; онъ уже подсылалъ къ ней свою Доретту, чтобы какъ-нибудь завязать знакомство. Партистаньо получилъ чинъ кавалерійскаго капитана въ австрійской арміи, но по-прежнему продолжалъ кричать на всю Венецію, что его невѣсту, Клару, жестокіе родители насильно посадили въ монастырь, и ежедневно прохаживался мимо монастыря, гремя шпорами и саблей, такъ что мать Редента должна была просить губернатора приставить къ монастырю часового, который только и дѣлалъ, что отдавалъ честь проходившему мимо Партистаньо. Но этого мало. Партистаньо скупалъ долговныя обязательства фамиліи Фрата, очевидно съ злымъ умысломъ, на что его, безъ сомнѣнія, подстрекалъ старый Венквередо, который со времени своей катастрофы поклялся мстить Фратамъ до послѣдняго поколѣнія. При этихъ маневрахъ Партистаньо, при воровствѣ Фульдженціо и при нерадѣннн графа Ринальдо, семейство пришло къ окончательному разоренію. Замокъ превращался въ развалину; только въ комнатѣ монсеньера окна и двери оставались еще въ цѣлости; остальное было все выломано и распродано по мелочамъ; украли даже стекла и задвижки изъ оконныхъ рамъ. Маркетто покинулъ замокъ и изъ курьера превратился въ причетника въ какой-то церкви, какъ многіе прежніе сбиры, оставленные за ненадобностью. Графиня получала изъ Фраты вмѣсто денегъ только векселя и угрозы взысканій, однако продолжала играть, проигрывая приданое Пизаны и послѣднія крохи сына. Всѣ эти извѣстія были получены Пизаной отъ родственниковъ Чистерна, ко-

торыя недавно поселились въ Венеціи, разсчитывая пристроить выгодно дѣтей, пользуясь покровительствомъ австрійцевъ. Чему тутъ было удивляться, когда самъ венеціанскій Катонъ, Франческо Пезаро, первый принималъ отъ своихъ согражданъ присягу на вѣрность австрійскому императору! Повезло и падре Пендола, который получилъ каноникатъ св. Марка.

Третье письмо было отъ старика Апостулоса. Онъ извѣщалъ меня о побѣгѣ дочери и о жѣрахъ, принятыхъ имъ для отысканія ея во всѣхъ городахъ, кромѣ Милана. Здѣсь это порученіе возлагалось на меня. Я долженъ былъ разыскать ее и, смотря по обстоятельствамъ, отослать въ Венецію или оставить подъ своимъ наблюденіемъ. Онъ говорилъ, что не хочетъ пользоваться родительскими правами въ отношеніи непокорной, бѣглой дочери; что провлинать ея онъ не будетъ, а просто постарается забыть. Въ постскриптумѣ онъ повторялъ, что если сумасшествіе дочери, по-моему, легче исцѣлимо въ Миланѣ, чѣмъ въ Венеціи, то чтобы я оставилъ ее тамъ. Эти слова были подчеркнуты. Я принялъ ихъ за намекъ на бракъ съ Эмилио, но не понялъ, почему объ этомъ говорится такъ иносказательно. Въ этой семьѣ всякій считалъ меня повѣреннымъ прочихъ, и всѣ говорили мнѣ намеками, въ которыхъ я ничего не понималъ. Отъ моего отца не было никакихъ извѣстій, и до Рождества нельзя было ожидать, но вообще вѣсти съ Востока были хорошія.

Прочитавъ эти письма въ кафе, куда я зашелъ, я освѣдомился, гдѣ находятся казармы цизальпинскаго легіона. Мнѣ отвѣчали: въ Санта-Виченцина, близъ Военной площади. Я съ трудомъ отыскалъ это помѣщеніе. Въ казармѣ дисциплина была далеко не примѣрная: всѣ входили и выходили, какъ въ трактирѣ. Шумъ и безпорядокъ были неописанные. Начальство красовалось въ новыхъ мундирахъ и побѣждало женскія сердца; второстепенные начальники препирались съ подчиненными, потому что первымъ хотѣлось повелѣвать, а вторые не хотѣли подчиняться. У насъ въ Италіи всегда трудно добиться согласнаго дѣйствія, потому что всякій болванъ расположенъ принимать на свой счетъ знаменитое „*Tu regere imperio populos*“ Виргилія.

„*Ed un Marcel diventa,*

Ogni villan che parteggiando viene“,

сказалъ еще Данте.

Здѣсь можно было-бы вклеить длинное разсужденіе по поводу мнѣнія, ожидающаго отъ славянъ послѣдняго усовершенствованія цивилизаціи, приписывающаго будущность германцамъ, а намъ, несчастнымъ ублюдкамъ Рима, оставляющаго только минувшую славу первыхъ начатковъ. Но было-бы напрасной потерей времени писать новые томы противъ ненавистниковъ латинской расы; довольно уже того, что написано. Пусть будетъ такъ. Италіи принадлежитъ прошлое, Франціи — настоящее, а будущее?.. Оставимъ его хоть славянамъ, хоть нѣмцамъ, пожалуй, потому что будущее всегда останется будущимъ.

Я освѣдомился о докторѣ Віанелло, объ Амилъкарѣ Досси и о Джуліо дель-Понте у одного грязнаго и свирѣпаго на видъ солдата, неистово чистившаго сапоги своего товарища за умѣренную плату — полбутылки.

— Они въ первой ротѣ; ступайте налѣво, отвѣчалъ мнѣ этотъ плоть равенства.

Я повернулъ налѣво и повторилъ свой вопросъ другому воину, еще болѣе грязному, чистившему ружье.

— Чортъ ихъ возьми, будь они прокляты, я всёхъ ихъ знаю, отвѣчалъ этотъ любезный воитель: — Віанелло — ротный врачъ; онъ-то насъ всёхъ и обдираетъ по приказанію французовъ, которымъ мы надобли... Знаете, гражданинъ, вѣдь заперли залу общественнаго преподаванія?

— Нѣтъ, не знаю; но какъ-бы мнѣ...

— Погодите; итакъ, Віанелло — нашъ врачъ, Досси — знаменщикъ нашей роты, а дель-Понте — капраль, такая дохлая тварь, что едва стоитъ на ногахъ и сваливаетъ на меня всю тяжесть службы. Вотъ, видите, мнѣ приходится чистить его ружье. Это послѣ утрешняго-то праздника! Продержали насъ десять часовъ, не давъ шевельнуться, подъ зимнимъ вѣтромъ. Чортъ побери, мы записались въ солдаты, чтобы воевать, истреблять враговъ, а не носить свѣчи въ процесіяхъ передъ Директоріей! На это лучше пригодились-бы скороходы губернатора. Просто срамъ! Во весь день едва выпилъ стаканчикъ кането... На кой-же прахъ мы республиканцы! Гражданинъ, не соблаговолите-ли ссудить на пинту? Джакомо делла Порта, фланговый первой роты чизальпинскаго легіона, къ услугамъ вашимъ.

Я далъ ему лиру, разумѣется, заимообразно, съ просьбою све-

сти меня къ одному изъ моихъ трехъ друзей. Онъ схватилъ деньги, бросилъ ружье и масляную тряпку и неистово устремился къ двери, добѣжавъ до которой, показалъ мнѣ носъ и исчезъ.

Но неподалеку въ коридорѣ я наткнулся на другого солдата, опратнаго, съ бѣлыми руками, одѣтаго почти изящно и отвѣтственнаго очень любезно на мое привѣтствіе, называя меня гражданиномъ съ такою учтивостью, съ какою нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ называлъ-бы меня синьеромъ. Это былъ, очевидно, какой-нибудь молоденькій маркизъ или графъ, увлеченный любовью къ свободѣ; изъ этихъ людей и тогда, и впослѣдствіи у насъ выходили истинные герои, но вначалѣ они были всегда нѣсколько комичны, когда попадали въ чуждую для нихъ сферу. Онъ прелюбезно проводилъ меня до комнаты друзей, и у дверей мы раскланялись другъ передъ другомъ, какъ два дипломата.

Я вошелъ. Не берусь описывать удивленіе и радость Лючилио и Джуліо; Амилькара не было. Они встрѣтили меня какъ брата. Цѣлуя Джуліо губами, на которыхъ, можно сказать, еще не обсохли поцѣлун Пизаны, я почувствовалъ нѣкоторое смущеніе совѣсти; но меня утѣшилъ и успокоилъ его видъ, который, несмотря на тревоженія и неудобства солдатской жизни, былъ лучше, чѣмъ въ Венеціи. Лючилио подтвердилъ, что болѣзнь его не дѣлаетъ успѣховъ. Они были полны надеждами и ожиданіями. Возрожденіе, по ихъ словамъ, начиналось уже въ Римѣ, Генуѣ, Пьемонтѣ, Неаполѣ; движеніе объединенія обнимало всю Италію; ожидали скорого присоединенія къ цизальпинской Болоньи, Модены, даже отдаленныхъ Пезаро и Римини.

— Когда мы дойдемъ до Средиземнаго моря, кто помышляетъ намъ коснуться Адриатическаго въ Венеціи? сказалъ Лючилио.

— А французы?

— Французы — намъ необходимая помощь, потому что самимъ намъ не справиться. Но, конечно, надо глядѣть въ оба и не даваться въ обманъ плуताмъ, какъ Вильгаръ. Главное-же, надо зубами и ногтями держаться за наши вольности и не уступать ихъ ни за какія сокровища.

Я сообщилъ ему кое-какія неутѣшительныя наблюденія мои надъ неразвитостью народа и недостаткомъ дисциплины въ формирующемся войскѣ.

— Да, это такъ, отвѣчалъ онъ, — но средство исправленія для обоихъ этихъ золь одно. Для войска нужна дисциплина, для образованія честныхъ и развитыхъ гражданъ нужны свобода и просвѣщеніе. Ни солдаты, ни республиканцы разомъ не родятся; всѣ родятся просто людьми. А согласись, что правительства, которыя до сихъ поръ у насъ были, не могли воспитать насъ ни солдатами, ни гражданами.

— Ну, это еще вопросъ! возразилъ я. — Изъ Рима Тарквиніевъ вышелъ Римъ Брутовъ.

— Ну, Тарквиніевъ у насъ было довольно... Но довольно объ этомъ. Расскажи намъ о себѣ. Почему ты такъ долго оставался въ Венеціи? Какъ ты ухитрился до сихъ поръ просуществовать тамъ?

Я опять заговорилъ, въ оправданіе, о смерти Леопардо и о дѣлахъ отца, но, наконецъ, собравшись съ духомъ, произнесъ имя Пизаны. Тутъ оба пристали ко мнѣ съ разспросами о ея происшествіи съ корсиканцемъ, которое надѣлало шуму и въ Миланѣ. Я рассказалъ, какъ было дѣло, и объяснилъ, что затруднительное положеніе, въ которое она была поставлена этой исторіей, заставило меня принять въ ней участіе. Я особенно подробно рассказалъ свой побѣгъ, чтобы показать имъ, съ какимъ рискомъ было сопряжено для меня пребываніе въ Венеціи, и этимъ убѣдить ихъ, что я имѣлъ важную причину оставаться тамъ. Чтобы переменить затѣмъ разговоръ, я сообщилъ имъ послѣднія венеціанскія новости, между прочимъ, появленіе Венквередо, повидимому, пользующагося большимъ вліяніемъ.

— Еще-бы! сказалъ Лючилио. — Онъ служилъ курьеромъ между австрійскими властями въ Горицѣ и Директоріей въ Парижѣ.

— Или, вѣрнѣе, Бонапартомъ въ Миланѣ, поправилъ Джуліо.

— Да, правда; Бонапартъ не могъ передѣлать то, что было уже сдѣлано Директоріей. Какъ-бы то ни было, Венквередо получилъ хорошую награду; но надѣюсь, что впрокъ она ему не пойдетъ, потому что излишнее усердіе наказывается.

— А что вы мнѣ ничего не скажете о братскомъ Сандро! спросилъ я; — я видѣлъ его утромъ на праздникѣ сіяющимъ всѣми знаками зодіака.

— Нынче онъ называется капитанъ Алессандро Джорджи, пѣшихъ стрѣлковъ, отвѣчалъ Лючилио. — Онъ отличился при подавленіи возмущеній между поселянами въ Генуэзской области. Идетъ

въ гору. Въ одинъ мѣсяцъ сдѣлался поручикомъ, потомъ капитаномъ. Правда, изъ его роты въ живыхъ осталось четверо, такъ что поневолѣ пришлось сдѣлать его капитаномъ; остальные трое были два чернорабочихъ и пастухъ; какъ и слѣдовало, выбрали мельника. Ты увидишь его; увидишь, какъ онъ надуть важностью. Но добрый малый, предлагаетъ всякому свою протекцію, будетъ предлагать и тебѣ.

— Что-же, я приму.

— Не теперь; пока ты долженъ быть съ нами и съ Амильбаромъ.

Я спросилъ о Бруто Проведони, который опредѣлился въ солдаты вмѣстѣ съ Сандро. Онъ воевалъ гдѣ-то въ Лигурскихъ горахъ, гдѣ французы ухитрились постоянно поддерживать войну, хотя пьемонтскій король былъ вѣрный другъ и низайшій слуга Директоріи. Они подстрекнули лигурскую республику, ихъ собственнаго издѣлія, объявить ему войну, а ему запрещали защищаться, такъ что въ томъ краю выходили самыя странныя отношенія. Хорошо, что Пьемонтъ не похожъ на Венецію, а то вышель-бы какой-нибудь позоръ, какъ тамъ. Здѣсь позоръ былъ, но весь цѣликомъ доставался французамъ. Тутъ кстати я освѣдомился и объ Эмилио Торрони. На мой вопросъ Лючилио выпятилъ губы и ничего не сказалъ, а Джуліо отвѣчалъ мнѣ, подмигивая, что этотъ господинъ уѣхалъ въ Римъ съ одной красивой миланской графиней, вѣроятно, дѣлать революцію. Все это возбудило во мнѣ сомнѣнія насчетъ качествъ этого Эмилио, но я не сталъ больше расспрашивать. Въ это время вернулся Амильбаръ. Послѣдовали новые поцѣлуи и восклицанія. Онъ сдѣлался черенъ, какъ арабъ, и голосъ его подходилъ къ раскатамъ перестрѣлки; мнѣ объяснили, что онъ охрипъ, обучая рекрутовъ. Мы долго болтали, и все не могли наговориться. Наконецъ, забилъ барабанъ, и Лючилио сказалъ, что пора расходиться, но Амильбаръ возразилъ, пожавъ плечами:

— Вотъ вздоръ; развѣ офицерамъ приходится слушаться барабана?

— А я считаюсь въ госпиталѣ, прибавилъ Джуліо.

Такимъ образомъ, мы проговорили до 9 часовъ вечера, послѣ чего имъ вздумалось проводить меня до дому. Дойдя до гостиницы, я не пригласилъ ихъ зайти, и, сверхъ того, они замѣтили

сквозь занавѣски очертанія женской фигуры въ моей комнатѣ; по этому поводу Джуліо и Амилькаръ стали подшучивать надо мной, поздравлять меня съ успѣхомъ и строить разные предположенія. Наконецъ, Лючіліо увелъ ихъ, и я могъ войти къ Аглаурѣ, чтобы передать ей письмо. Она взяла его, распечатала и стала читать со вздохами и со слезами.

— Могу я спросить, отъ кого письмо? сказалъ я.

Она отвѣчала—отъ брата, который думаетъ, что она въ Миланѣ со мной. Больше она мнѣ ничего не сказала, и я былъ удивленъ, что Спиро, при своей любви къ ней и угадывая, гдѣ она, не пріѣхалъ за нею самъ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ былъ посаженъ въ тюрьму за помощь, оказанную мнѣ въ побѣгѣ; письмо это было писано изъ тюрьмы, и вотъ почему, читая его, дѣвушка была такъ тронута. Она спросила меня, получили ли я письма изъ Венеціи, и на мой утвердительный отвѣтъ пожелала знать, что мнѣ пишутъ. Я передалъ ей письмо ея отца и то письмо Пизаны, въ которомъ были извѣстія о венеціанскихъ событіяхъ. Она прочла ихъ равнодушно; только дочитавъ до имени Раймондо Венквередо и Доретты, удивилась и повторила про себя имя этой женщины.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ я.

— О, ничего, но я имѣю нѣкоторое понятіе объ этой дамѣ, и удивилась, встрѣтивъ имя ея въ письмѣ къ вамъ. Если-бы я знала, что Венквередо родомъ изъ вашего края, мнѣ не показалось-бы это такъ страннымъ.

— Почему вы знаете Венквередо?

— Знаю, и все тутъ. Впрочемъ, я, пожалуй, скажу. Онъ былъ въ какой-то перепискѣ—я полагаю, дѣловой—съ Эмилио.

— Кстати: имѣю сообщить вамъ печальную новость.

— Что такое?

— Синьеръ Эмилио Торрони уѣхалъ въ Римъ.—(О графинѣ я умолчалъ.)

— Я знаю; вернется, отвѣчала Аглаура какимъ-то вызывающимъ тономъ.—Пока я попрошу васъ узнать завтра, здѣсь-ли находятся синьеръ Асканіо Минато, адъютантъ генерала Бараге д'Илье, и синьеръ д'Отвиль, секретарь генерала Бертье. Эти лица могутъ доставлять мнѣ свѣденія объ Эмилио.

— Извольте.

— Скажите, вы больше ничего о немъ не слыхали?

— Ничего.

— Ничего, рѣшительно ничего?

— Увѣрю васъ—ничего.

Я былъ очень удивленъ, слыша, какъ эта дѣвушка толкуетъ о разныхъ генералахъ и ихъ адъютантахъ; но не хотѣлъ передавать ей неблагоприятныхъ отзывовъ объ Эмилио моихъ друзей, зная, какъ дурно принимаютъ влюбленные всякое слово не въ пользу своихъ возлюбленныхъ.

— Аглаура, сказалъ я, — вы необыкновенно таинственны; согласитесь, однакожь, что моя скромность и расположеніе къ вамъ...

— Несравненны, подсказала она.

— Нѣтъ, я не то хотѣлъ сказать; я хотѣлъ сказать, что заслужилъ немножко довѣрія съ вашей стороны.

— Это правда, другъ мой. Спрашивайте меня, я готова отвѣчать вамъ.

— Если вы будете такъ строги и серьезны, точно царица, слова замрутъ у меня въ горлѣ. Отчего вы не веселы теперь такъ, какъ въ первый вечеръ нашего соединенія? Ну вотъ, ну вотъ, такъ хорошо!.. Скажите-же мнѣ, почему вамъ такъ хорошо знакомы имена и фамиліи всѣхъ этихъ господъ французскаго генеральнаго штаба? Вы сейчасъ говорили точно генералъ, отдающій приказанія наканунѣ битвы.

— Больше вы ничего не желаете знать?

— Ничего; въ настоящую минуту меня интересуетъ только это.

— Хорошо; я знаю этихъ господъ потому, что они были друзья Эмилио.

— И синьеръ Минато?

— Больше всѣхъ; онъ изъ нихъ лучшій, т.-е. наименѣе подлый изъ этихъ мошенниковъ.

— Что вы, Аглаура? Что съ вами? Вы еще сегодня утромъ были, кажется, въ восторгѣ отъ французовъ.

— Я? Я радовалась тому, что эта страна, наконецъ, освободилась отъ иноземнаго владычества, а вовсе не восторгалась тѣми, кто помогъ этому освобожденію. Иногда и ослу случается быть нагруженнымъ драгоцѣнностями. Впрочемъ, комнатные негодяи могутъ быть героями на полѣ; правда, героями-мясниками, а не...

— Скажите теперь: Спиро пишетъ, что прїѣдетъ за вами или зоветъ васъ въ Венецію?

— Къ чему этотъ вопросъ? Развѣ вамъ надоѣло возиться со мной?

— Покойной ночи, Аглаура; поговоримъ завтра; сегодня вы не въ духѣ.

Я ушелъ въ свою комнату и легъ въ постель, думая о Пизанѣ, о ея одиночествѣ и тягости ея положенія. Я очень опасался вліянія на нее Розы и Доретты; Веневередо тоже засѣлъ мнѣ камнемъ въ голову. Думалъ я также объ Аглаурѣ и ея странностяхъ и рѣшилъ, что ее не разберешь. Отъ Падуи до Милана она не переставала изумлять меня и теперь была похожа не на влюбленную дѣвушку, а на романиста, сочиняющаго какой-то романъ съ замысловатой интригой. Утромъ я написалъ письмо Пизанѣ и другое Апостулосу, давая ему свѣденія о дочери, и отнесъ ихъ на почту. Около полудня я сошелся съ Лючилио въ Соборномъ кафе, въ то время самомъ модномъ; онъ былъ очень огорченъ, что не могъ записать меня въ свой легіонъ, гдѣ всѣ мѣста были заняты, но сказалъ, что употребить всѣ усилія, чтобы такой человѣкъ, какъ я, не оставался въ праздности.

— Теперь я поведу тебя, сказалъ онъ, — къ твоему генералу, командиру, капитану или товарищу, какъ хочешь, потому что онъ можетъ быть чѣмъ угодно. Онъ одинъ изъ тѣхъ людей, до того превосходящихъ прочихъ, что могутъ нисколько не стоять за свое вѣдшее превосходство. Нельзя себѣ представить, чтобы въ немъ была душа одного только человѣка; его огромная дѣятельность утомила-бы цѣлую дюжину обыкновенныхъ людей. При этомъ онъ спокоенъ и добръ. На полѣ онъ одинъ можетъ выиграть цѣлое сраженіе, только-бы пуля не вышибла ему глазъ, въ которыхъ заключенъ точно какой-то талисманъ силы. Онъ неаполитанецъ, и въ Неаполѣ сказали-бы, что у него дурной глазъ.

— Кто-же этотъ фениксъ?

— А вотъ увидишь.

Мы вышли изъ кафе и направились за городъ, къ бастионамъ Новыхъ Воротъ, вошли въ большой домъ, дворъ котораго былъ полонъ людей, лошадей, сѣделъ, яселъ, какъ дворъ кавалерійской казармы. На лѣстницѣ взадъ и впередъ ходили солдаты, сержанты, ординарцы, какъ въ главной квартирѣ. Въ комнатахъ — опять

солдаты и множество оружія, то собраннаго въ трофей, то лежавшаго кучами; въ одномъ углу возвышалась цѣлая гора солдатскихъ мундировъ, панталонъ и штиблетъ.

„Что за арсеналъ?“ думалъ я.

Лючилио шель, ни у кого не справляясь, какъ свой человѣкъ, и, подойдя къ двери, у которой стоялъ ординарецъ, самъ отперъ ее, не приказывая доложить о себѣ, и вошелъ, давая мнѣ знакъ слѣдовать за нимъ.

Насъ встрѣтилъ высокій человѣкъ лѣтъ тридцати, чистѣйшій типъ авантюриста, живой портретъ средневѣковыхъ Орсини, Колонна, Медичи, этихъ желѣзныхъ людей, вся жизнь которыхъ была непрерывнымъ рядомъ битвъ, грабежей, дуэлей и заключеній. То былъ Этторе Карафа, прославившій свое славное имя своею любовью къ свободѣ и отечеству. За свои республиканскія интриги онъ вытерпѣлъ долгое заключеніе въ знаменитомъ замкѣ Сант-Эльмо, потомъ бѣжалъ, скрывался въ Римѣ и явился въ Миланъ формировать легіонъ на собственный счетъ для освобожденія Неаполя. Его геройская душа вся отражалась на его лицѣ ослѣпительной красоты, но между бровями его маленькій рубецъ мертвенной блѣдности казался роковой отмѣткой несчастной судьбы. Онъ всталъ съ кресла, пожалъ руку Лючилио и, посмотрѣвъ на меня, сказалъ, что очень радъ имѣть такого офицера, какъ я.

— Какой я офицеръ, сказалъ я:—военное дѣло я знаю только по наслышкѣ.

— Хватить у васъ духу дать убить себя на защиту отечества и своей чести? спросилъ Карафа.

— Будь у меня сто жизней, я всѣ ихъ отдаю-бы на это, отвѣчалъ я.

— Ну, другъ мой, значить вы превосходный солдатъ.

— Солдатъ, положимъ, вмѣшался Лючилио,—но офицеромъ ему быть рано.

— Посмотримъ; умѣете вы ѣздить верхомъ, заряжать ружье и владѣть саблей?

— Умѣю.—(Умѣниемъ этимъ я былъ обязанъ Маркетто и въ эту минуту горячо поблагодарилъ его въ душѣ.)

— Ну, такъ вы офицеръ. Въ легіонъ, какъ мой, который будетъ вести войну въ разсыпную, вѣрный глазъ и твердое сердце лучше всякой науки. Зайдите ко мнѣ вечеромъ. Я отрекомендую

васть вашей ротѣ, и будьте увѣрены, что черезъ три мѣсяца мы завоеуемъ Неаполитанское королевство.

Мнѣ показалось, что я слышу Роберта Гискара или какого-нибудь ариостовскаго паладина. Но Карафа говорилъ это совершенно серьезно и просто. Помявшись, я спросилъ его, могутъ ли я имѣть ночлегъ не въ казармѣ. Онъ улыбнулся и сказалъ, что офицеры имѣютъ это право.

— Понимаю, прибавилъ онъ: — по ночамъ вы на службѣ у другого полковника.

Я смутился; Лючилио тоже улыбнулся; въ дѣйствительности-же я боялся, что буду вынужденъ покинуть Аглауру одну. Я вскорѣ очень привязался къ Этторе Карафѣ, и всегда буду съ удовольствіемъ вспоминать это время своей жизни. По утрамъ я ходилъ на ученье, потомъ обѣдалъ съ друзьями, а вечеромъ бесѣдовалъ съ Аглаурой, которая все ждала Эмилио и не хотѣла возвращаться въ Венецію. Отъ времени до времени приходили кислосладкія письма отъ Пизаны. Такъ дожили мы до революціи въ Римѣ, которая должна была дать возможность Карафѣ открыть военныя дѣйствія въ Неаполитанскомъ королевствѣ.

ГЛАВА XVI.

Римскія дѣла. — Фосколо, Парини и другія личности цизальпинской республики. — Развязка невѣроятнѣйшей семейной драмы. — Мантуа, Флоренція и Римъ. — Стоянка на неаполитанской границѣ. — Нимфа Эгерія Гектора Карафы. — Встрѣча съ Пизаной.

Февраля 15-го 1798 г. пять нотаріусовъ на Кампо Вакчино составили актъ освобожденія народа римскаго. Присутствовалъ въ качествѣ освободителя тотъ самый Бертье, который въ Бассано предалъ венеціанскую республику. Папа сидѣлъ взаперти въ Ватиканѣ среди швейцарцевъ и патеровъ; онъ отказался сложить свѣтскую власть и за отказъ этотъ былъ арестованъ и отправленъ въ Тоскану подъ конвоемъ. Такимъ образомъ, восьмидесятилѣтній Анджело Браски, развратникъ и пустой фатъ, одинъ выказалъ въ Италии мужество передъ завоевателями, предпочтя умереть плѣнникомъ,

чѣмъ подписать свое отреченіе. Римъ, уже ограбленный по трактату въ Толетино, подвергся новому грабежу, къ которому предлогомъ послужило убійство генерала Дюфо. Цѣлые ящики драгоценныхъ камней, взятыхъ изъ церкви, отправлялись во Францію, между тѣмъ какъ французскія войска въ Италіи терпѣли недостатокъ во всемъ и бунтовали противъ Массены, смѣнившаго Бертье. По деревнямъ шли смуты и убійства; начиналась одна изъ тѣхъ социальныхъ драмъ, которыя возможны только на югѣ Италіи и въ Испаніи. Легионъ Карафы, совершенно готовый, ждалъ только разрѣшенія французскаго главнокомандующаго, чтобы выступить.

Я былъ въ большомъ затрудненіи. Аглаура желала отправиться со мной, потому что ей хотѣлось побывать въ Римѣ, гдѣ она надѣялась встрѣтить Эмилію. Я не могъ отказать ей, но меня пугала мысль брать ее съ собою въ такое дальнее путешествіе въ подобныя времена. Я писалъ въ Венецію, но отвѣта не получилъ. Отъ Пизаны также давно не было извѣстій. Всякій день ждали разрѣшенія на выступленіе; Карафа бѣсился на проволочки, а я, напротивъ, радовался имъ. Мои друзья съ частью ломбардскаго легиона уже выступили къ Риму. Я оставался одинъ, если не считать общества великолѣпнаго капитана Сандро.

Въ довершеніе распространился слухъ о моемъ сожительствѣ съ прекрасной гречанкой, и пріятели подтрунивали надо мной по этому поводу. Одинъ Богъ знаетъ, какъ пламенно я желалъ, чтобы Эмилію поскорѣе разстался съ своей графиней и вернулся къ Аглаурѣ въ Миланъ, хотя я не могу сказать, чтобы она была мнѣ въ тягость; но слухъ этотъ раздражалъ меня до крайности, и, самъ не зная почему, я не выносилъ этихъ подозрѣній. Утѣшеніемъ для меня было короткое знакомство, которое я завязалъ съ Фосколо, находившимся въ Миланѣ, бывшемъ тогда средоточіемъ всѣхъ замѣчательныхъ итальянскихъ личностей. Альдини, Парадизи, Разори, Джойя, Фонтана, Джанни, оба Пиндемонте находились тутъ. Черезъ Фосколо я познакомился, между прочимъ, съ Монти и Парини. Серьезная, но ясная и привѣтливая личность Парини навѣки осталась въ моей памяти; его большыя ноги обрекали его на неподвижность, но душа горѣла въ немъ живымъ пламенемъ. Письмо Якопо Ортиса, въ которомъ онъ рассказываетъ свой разговоръ съ Парини, — историческая быль; я самъ не разъ видалъ собственными глазами спокойнаго аббата и пылкаго юношу сидящими ря-

домъ подъ деревомъ въ предмѣстьи за восточными воротами. Да, это былъ тотъ самый Парини, который на возгласъ: „Да здравствуетъ республика, смерть тиранамъ!“ отвѣчалъ: „Да здравствуетъ республика, и смерти никому!“ То былъ тотъ самый Фосколо, который охарактеризовалъ себя словами: „Только смерть успокоитъ меня“.

Фосколо былъ также офицеромъ въ цизальпинскихъ войскахъ. Офицеры росли тогда какъ грибы. Врачи, адвокаты, литераторы — всѣ брались за шпагу, и тога, дѣйствительно, уступала оружію. Юноши благороднѣйшихъ фамилій подавали первые примѣры терпѣнія и уступчивости; несмотря на нѣкоторые безпорядки и на республиканское отсутствіе дисциплины, понемногу формировалось ядро будущей итальянской арміи. Наконецъ, Карафа дождался желаннаго разрѣшенія. Перваго марта легіонъ долженъ былъ выступить по пути въ Римъ и присоединиться къ французско-цизальпинской арміи для дальнѣйшихъ дѣйствій. Ждать больше было нечего. Приходилось брать съ собой Аглауру, и я долженъ былъ покинуть Миланъ, ничего не зная о Пизанѣ и объ отцѣ. Въ отчаяніи отъ долгаго молчанія Пизаны я написалъ Агостино Фруміеру, умоляя его дать мнѣ свѣденія о близкихъ мнѣ людяхъ. Долго ждалъ я напрасно отвѣта отъ него и уже потерялъ надежду, какъ вдругъ получилъ отвѣтъ, но не отъ Фруміера, а отъ кого-бы вы думали? Отъ Раймондо Венквередо! Фруміеръ побоялся вступить въ переписку съ эмигрантомъ и поручилъ это дѣло Раймондо, который писалъ мнѣ, что въ Венеціи всѣ очень удивлены моимъ вопросамъ о Пизанѣ, такъ-какъ полагали, что я лучше всѣхъ знаю, гдѣ она; что она, должно быть, находится въ Миланѣ, съ моего вѣдома и соучастія; что онъ потому такъ долго не писалъ мнѣ, что считалъ мой вопросъ просто хитростью, имѣвшей цѣлью обмануть стараго Наваджеро и графиню. Я былъ очень удивленъ. Что означалъ отъѣздъ Пизаны изъ Венеціи? Неужели она въ Миланѣ и не увѣдомляетъ меня? Это казалось мнѣ невозможнымъ. Объ Апостулосахъ Раймондо ничего не писалъ, и вообще извѣстія изъ Венеціи не только не успокоили меня, а еще болѣе растревожили. За то Карафа, повидимому, успокоился. Однажды онъ взялъ меня въ сторону и подвергъ очень странному допросу, точно опекунъ, допрашивающій юношу по возвращеніи домой съ перваго курса университета. Онъ спрашивалъ, кто такая

прекрасная гречанка, съ которой я живу, отчего я съ ней живу, были-ли у меня любовницы, кто онъ и гдѣ. Я былъ очень смущенъ и отвѣчалъ неясно. Наконецъ, онъ сказалъ мнѣ:

— Итакъ, вы увѣряете, что любите одну женщину въ Венеціи и живете въ Миланѣ въ невинныхъ отношеніяхъ съ красавицей гречанкой?

— Да, это правда.

— Удивительно! Невѣроятно! Нѣтъ, какъ хотите, я не вѣрю. Прощайте, Карлино!

Онъ сказалъ это, смѣясь и съ такимъ веселымъ и сіяющимъ видомъ, точно это доставляло ему величайшее удовольствіе. Я удивился его странной фантазіи, но въ сущности мнѣ было теперь не до его подозрѣній: мнѣ было очень тяжело уѣзжать изъ Милана, ничего не зная о Пизанѣ.

День отъѣзда приближался. Однажды вечеромъ мы съ Аглаурой сидѣли въ своихъ двухъ комнатахъ, среди опустошенныхъ шкафовъ и комодовъ, передъ двумя уложенными чемоданами. Съ нѣкотораго времени я чувствовалъ противъ нея непріятное чувство. Я находилъ безсердечіемъ съ ея стороны уѣзжать со мной изъ Милана, не заботясь о родныхъ, о которыхъ она не имѣла никакихъ извѣстій, и, кромѣ того, мнѣ было непріятно брать съ собой въ путь такую обузу. Но въ этотъ вечеръ она была такъ добра и мила, что я растаялъ и не утерпѣлъ, чтобы не излить передъ нею свою тоску по Пизанѣ, которая такъ долго мучила меня своимъ молчаніемъ и теперь уѣхала изъ Венеціи, даже не извѣстивъ меня о своемъ отъѣздѣ.

— Да! воскликнулъ я,—глупо было-бы еще обманывать себя! Она опять стала таковой, какою всегда была. Любовь ея не устояла противъ разлуки. Она навѣрно отдалась другому, можетъ быть, какому-нибудь богачу, который потѣшитъ ее годъ или два, а тамъ... О, Аглаура, какая мука презирать единственное существо, которое любишь больше жизни!

Аглаура страстно схватила меня за руку; глаза ея сверкали, поздри раздувались и двѣ слезы выкатились изъ глазъ.

— Да! воскликнула она внѣ себя. — Проклинайте, проклинайте и за себя, и за меня подлецовъ и измѣнниковъ!

Я понялъ, что разбередилъ въ ея сердцѣ тайную болѣзненную рану, и симпатія моего горя съ ея горемъ расположила меня къ

откровенности и состраданію. Я почувствовалъ, что имѣю въ ней истиннаго друга, который тѣмъ легче пойметъ мою скорбь, что самъ испытываетъ ее. Въ принадлежѣ чувствительности мы расплакались и бросились другъ другу въ объятія.

Вдругъ дверь съ шумомъ распахнулась, и человѣкъ въ плащѣ, засыпанномъ снѣгомъ, появился на порогѣ; увидавъ насъ, онъ вскрикнулъ, сбросилъ плащъ — и передъ нами предсталъ Спиро.

— Кажется, я опоздалъ! сказалъ онъ такимъ голосомъ, что я никогда потомъ не могъ забыть его.

Я первый бросился ему на шею.

— О, какъ я радъ! Какъ давно жду я тебя! Спиро, милый Спиро! говорилъ я.

Онъ оттолкнулъ меня, сильно отдернулъ свой воротникъ, какъ-будто задыхался, и на мои поцѣлуи отвѣчалъ только провлятіемъ.

— Что съ тобой, Спиро? робко спросила его Аглаура, обнимая его.

Онъ вздрогнулъ, бросилъ на меня свирѣпый взглядъ, оттолкнулъ Аглауру и нѣсколько времени постоялъ среди комнаты, бросая на насъ взоры, отъ которыхъ мы оба невольно оробѣли.

— Послушай, Аглаура, сказалъ онъ, наконецъ, усиливаясь говорить сдержанно: — я хотѣлъ бѣжать вслѣдъ за тобой, когда меня арестовали. Въ тюрьмѣ я только о томъ и думалъ, какъ-бы мнѣ убѣжать, чтобы ѣхать искать тебя и спасти отъ пропасти, въ которую ты пала. Наконецъ, мнѣ удалось бѣжать. Я прибылъ въ Равенну, отсюда хотѣлъ ѣхать въ Миланъ, потому что сердце говорило мнѣ, что ты тамъ. Но въ Болоньѣ венеціанскіе эмигранты сообщили мнѣ, что Эмиліо Торрони былъ тамъ проѣздомъ изъ Милана въ Римъ, съ дамой. Ты понимаешь, что мнѣ было некогда наводить справки, кто эта дама. Я былъ увѣренъ, что это ты; я поспѣшилъ въ Римъ и пріѣхалъ туда уже по провозглашеніи республики. Теперь знай, Аглаура! Твой Эмиліо былъ подлецъ, измѣнникъ, какъ я тебѣ всегда говорилъ! Онъ измѣнилъ тебѣ ради одной знатной непотребницы въ Миланѣ! Онъ измѣнилъ венеціанцамъ для французовъ, французамъ — за императорскіе цехины, которые Венквередо привозилъ ему изъ Горица. И въ Римъ онъ поѣхалъ, чтобы измѣнять. По рекомендаціи одного венеціанскаго реверенда онъ вошелъ въ милость къ одному кардиналу, чтобы эксплуатировать довѣріе папы, выдавая себя за довѣренное лицо

Бертъе. Въ то-же время онъ обманывалъ и Бертъе, продавая въ свою пользу значительную часть римской добычи. Народъ схватилъ его въ тотъ моментъ, когда онъ распоряжался грабежомъ одной церкви; французы и римляне пришли въ одинаковое негодование, и онъ былъ торжественно повѣшенъ въ Капитоліѣ! Его потаскуша уѣхала за нѣсколько дней до того въ Анжону съ своимъ короткимъ пріятелемъ Асканіо Минато.

Во время этой рѣчи Аглаура то краснѣла, то блѣднѣла. Когда онъ кончилъ, она сказала твердымъ голосомъ, спокойно глядя на Спиро:

— Хорошо, правосудіе совершилось. Богъ не допустилъ, чтобы я замарала въ его крови свои руки. Благодарю Бога.

— Ага, такъ вотъ какъ? сказалъ Спиро, снова обращая на меня негодующій взоръ. — И вамъ не стыдно сознаваться мнѣ? Вы его больше не любите? О, Аглаура, трепещите! Я однимъ словомъ могу отомстить вамъ за ваше безстыдство!

— Я боюсь только Бога и моей совѣсти, спокойно отвѣчала Аглаура. — А скоро не буду бояться никого.

— Что вы замышляете? спросилъ ее Спиро съ угрозой въ голосъ.

— Убить себя! холодно отвѣчала она.

— Нѣтъ, ради всѣхъ святыхъ! закричалъ я; — вы мнѣ поклонились; вы сдержите клятву.

— Вы правы, Карлино, отвѣчала она; — нѣтъ, я не убью себя. Мы оба несчастны; будемъ заодно. Женимся, а тамъ что Богъ дастъ.

Не успѣлъ я опомниться отъ этого неожиданнаго предложенія, какъ меня потрясъ до глубины души страшный крикъ Спиро. Онъ бросился на насъ, какъ безумный. Я загородилъ ему дорогу къ Аглаурѣ. Онъ остановился передо мной, блѣдный и неистовый, и раскрылъ ротъ, чтобы заговорить. Но вдругъ онъ замеръ. Съ яростью укусилъ онъ себя за руку и пробормоталъ:

— А если уже?..

И, преодолевъ свою ярость, онъ сѣлъ. Я былъ пораженъ его неистовствомъ и не могъ понять, чтобы досада за поступокъ сестры могла доводить человѣка до такого бѣшенства. Однако, я ничего ему не говорилъ и постылилъ поддержать начатый имъ разговоръ. Между прочимъ, онъ сказалъ мнѣ, что отецъ его не

писалъ мнѣ потому, что былъ вынужденъ внезапно отправиться въ Албанію и Грецію, откуда еще не возвращается.

— Итакъ, Аглаура, обратился онъ снова къ сестрѣ, — вы не хотите вернуться со мной въ Венецію, гдѣ я теперь совершенно одинокъ, лишенный всякаго счастья и утѣшенія?

— Нѣтъ, Спиро, я не могу ѣхать съ вами, отвѣчала она, потупляя глаза подъ пламеннымъ взоромъ брата. Спиро опять взглянулъ на меня, какъ-будто желая уничтожить меня взоромъ, и снова обратился къ Аглаурѣ:

— Какая-же надежда осталась у васъ на свѣтъ, Аглаура? Умоляю васъ, скажите мнѣ. Вѣдь имѣю-же я право знать это; какъ-бы то ни было, я вамъ братъ! Скажите мнѣ, имѣете-ли вы какія-нибудь постороннія обязанности или привязанности? Клянусь я помогу вамъ освятить ихъ. При этихъ словахъ онъ злобно улынулся.

— Я не имѣю никакихъ, отвѣчала дѣвушка.

— Отчего-же вы не хотите слѣдовать за мной? спросилъ Спиро, вставая передъ ней, какъ господинъ передъ рабыней.

— Полагаю, вы сами знаете это, отвѣчала Аглаура медленнымъ голосомъ, и слова эти разомъ укротили его пылъ.

Онъ отвернулся, обвелъ всю комнату испытующимъ взглядомъ и вышелъ, сказавъ, что придетъ завтра и что надо такъ или иначе покончить это. По уходѣ его я тщетно просилъ у Аглауры объясненія многого, оставшагося мнѣ непонятнымъ въ ихъ разговорѣ. Она плакала, но ничего мнѣ не объяснила. Я сидѣлъ въ своей комнатѣ далеко за полночь, раздумывая объ этой неприятной сценѣ, какъ вдругъ въ дверь мою постучались. Я подумалъ, что это посланный отъ Карафы, и сказалъ: войдите. Вошелъ Спиро. Онъ былъ совершенно другой; сталъ просить у меня прощенія, умолялъ меня попросить за него прощенія у Аглауры, и, наконецъ, вскричалъ внѣ себя, что любить ее.

— Ну, такъ что-же, отвѣчала я:—это совершенно естественно: вы ей родной братъ; кого-же вамъ и любить, какъ не ее?

— Вы не понимаете меня, Карло, возразилъ онъ. — Поймите: Аглаура мнѣ не сестра; она дочь вашей матери; братъ ея—вы!

Слова эти были произнесены имъ громко. Аглаура услышала ихъ изъ другой комнаты, вбѣжала стремительно ко мнѣ и съ плачемъ бросилась мнѣ въ объятія, говоря:

— Я чувствовала это, но не смѣла подумать!

Я былъ пораженъ изумленіемъ, но преобладающее чувство во мнѣ была радость. Я не сомнѣвался, не спрашивалъ объясненій, но съ горячей любовью прижалъ губы къ заплаканному лицу Аглауры. Спиро смотрѣлъ на насъ, молча, радуясь нашему счастью и раскаяваясь въ своемъ гнѣвѣ. Затѣмъ онъ разсказалъ намъ, что наша мать родила Аглауру въ госпиталѣ, отправила ее къ его отцу и черезъ нѣсколько дней умерла. Узнавъ объ этомъ, мой отецъ написалъ Апостолосу изъ Константинополя, гдѣ въ то время находился, что принимаетъ на себя обязанность обезпечить дитя своей жены, но просить своего друга оставить его у себя и воспитать, какъ свою дочь, чтобы дѣвочкѣ не приходилось терпѣть стыдъ незаконнорожденной и краснѣть за свою мать. Кто-бы могъ предположить столько деликатности и нѣжности въ сердцѣ моего отца? Слушая этотъ разсказъ, я чувствовалъ къ отцу глубокую любовь и думалъ, что сердце его—алмазь въ грубой оболочкѣ. Спиро узналъ тайну рожденія Аглауры еще мальчикомъ, до отъѣзда своего въ Грецію, отъ своей матери, неосторожно проговорившейся при немъ. По возвращеніи черезъ пятнадцать лѣтъ онъ почти съ перваго взгляда влюбился въ свою названную сестру, но она уже любила Эмилию. Эта любовь была для него тѣмъ тяжелѣе, что онъ зналъ Эмилию за негодяя, въ чемъ, повидимому, убѣдилась, наконецъ, и Аглаура.

— О, да, конечно! вскричала она. — Затѣмъ-же я изъ Венеціи убѣжала, какъ не за тѣмъ, чтобы наказать его за измѣну отечеству?

— Затѣмъ-же вы всегда защищали его противъ меня? спросилъ Спиро.

— Противъ васъ... отвѣчала Аглаура смущеннымъ тономъ;— я боялась, боялась тебя, братъ!

— О, да, это правда! воскликнулъ Спиро:—я долженъ былъ казаться вамъ чудовищемъ! Но какъ было совладать съ собой? Какъ было мнѣ обращаться съ вами какъ съ сестрой, когда я зналъ, что вы мнѣ не сестра, и когда я питалъ къ вамъ совѣмъ другого рода любовь? Простите мнѣ, Аглаура! Грѣхъ мой былъ невольный!

— О, я вамъ прощаю, конечно! отвѣчала Аглаура со слезами;— вины тутъ ничьей не было.

Я спросилъ, въ свою очередь, Спиро, почему онъ не сообщилъ мнѣ такого радостнаго для меня извѣстія три часа тому назадъ, а предпочиталъ вмѣсто того разыгрывать такую ужасную сцену ревности. Онъ сначала замылся, но, наконецъ, сказалъ, что когда узналъ, что дама, сопровождавшая Эмилію, была не Аглаура и что Аглаура жила все время со мной въ Миланѣ, въ немъ возникло чудовищное подозрѣніе.

— Когда я вошелъ сюда, сказалъ онъ,—и увидѣлъ васъ въ объятіяхъ другъ друга, подозрѣнія эти обратились въ увѣренность. Боже мой, какое несчастье! Говорю: несчастье, потому что вини тутъ не было-бы, но бываютъ роковыя обстоятельства, оставляющія въ душѣ такія-же ужасныя угрызения совѣсти, какъ самыя страшныя преступленія. Понимаете меня, Карло? Я былъ сумасшедшій!

Въ самомъ дѣлѣ, я даже вздрогнулъ отъ мысли, какъ онъ долженъ былъ страдать отъ своихъ подозрѣній.

— Однако, вы намъ ничего не сказали.

— О, была минута, одна минута только, когда я былъ готовъ все сказать вамъ.

— И удержались?

— Удержался изъ состраданія, Карло. Я подумалъ, что если зло уже сдѣлано, то жестоко будетъ наказывать невинныхъ. Лучше мнѣ удалиться, унося съ собой свое отчаяніе, свою ревность и оставляя вамъ счастье, не превращая его въ вѣчное мученіе совѣсти.

— О, Спиро, какъ вы великодушны!

Аглаура плакала, я былъ тоже недалеко отъ слезъ.

— Скажите мнѣ, спросилъ я,—куда вы уходили?

— Прежде всего я выбѣжалъ искать свѣжаго воздуха, одиночества, вдохновенія; потомъ принялся разспрашивать о васъ хозяйевъ дома и привратниковъ. Мнѣ начинало казаться, что это дѣло невозможное, что невысказано, чтобы такіе люди, какъ вы, сдѣлались жертвой столь роковой ошибки. Все, что я услышалъ о васъ, окончательно разубѣдило меня; всѣ единогласно говорили, что вы живете какъ братъ съ сестрой, и я проявлялъ свою опрометчивость и рѣшился вернуться просить у васъ прощенія и сказать вамъ все. Аглаура, я не заслужилъ вашей любви, но, умоляю васъ, ради состраданія, сохраните обо мнѣ память въ уголкѣ вашего сердца! Если-же присутствіе мое возбуждаетъ въ васъ тягостныя воспоминанія, то...

Дѣвушка прервала его, взявъ его руку и вложивъ ее вмѣстѣ съ своею въ мою.

— Довольно, Спиро, сказала она.— Вотъ нашъ отвѣтъ! Составимъ всѣ вмѣстѣ одну семью.

Остальные часы ночи прошли въ сердечной бесѣдѣ и въ чтеніи бумагъ, привезенныхъ Спиро изъ Венеціи. Бумаги эти доказывали несомнѣнно рожденіе Аглауры въ госпиталѣ отъ моей матери. Имя отца не упоминалось, и, понятно, никто изъ насъ не обратилъ вниманія на этотъ значительный пробѣлъ; мы пропустили его, какъ-будто отецъ былъ совершенно лишнимъ фигурантомъ въ таинствѣ рожденія; я довольно зналъ о безпорядочности послѣднихъ лѣтъ жизни моей матери, горько сожалѣлъ о ней, но ни мое уваженіе къ ея памяти, ни уваженіе къ чести отца не позволяли мнѣ выставлять это на видъ. Я принялъ Аглауру отъ души въ сестры, но порѣшилъ съ ней, что, имѣя одну мать, мы будемъ имѣть и одного отца. Аглаурѣ, впрочемъ, въ первое время нелегко было перейти отъ идей смерти, мести и ненависти къ новымъ мыслямъ мира, любви и свадьбы; однако съ моею и Спиро помощью переходъ этотъ благополучно совершился. Въ то время не требовалось много формальностей для заключенія брака, такъ что еще до выступленія легіона изъ Милана я имѣлъ удовольствіе увидѣть Аглауру женой Спиро. Карафа позволилъ мнѣ проводить ихъ до Мантуи, откуда я долженъ былъ догнать легіонъ во Флоренціи, черезъ Феррару. Этотъ кратковременный промежутокъ семейнаго счастья благодѣтельно подѣйствовалъ на меня. Въ это время я получилъ черезъ Спиро извѣстія объ отцѣ, если не прямыя, то и недурныя. Изъ Венеціи писали, что онъ въ Константинополѣ и дѣла его идутъ успѣшно. Я не зналъ, находится-ли въ связи съ ними поѣздка стараго Апостулоса въ Грецію; Спиро на этотъ счетъ или не зналъ ничего, или не могъ мнѣ ничего сказать, но обѣщалъ доставлять мнѣ свѣденія объ отцѣ всюду, гдѣ я буду.

Изъ Мантуи мы выѣхали въ самый день официальнаго присоединенія ея къ цизальпинской республикѣ. Горестъ нашего разставанія заглушалась радостью общихъ надеждъ. Я только-что нашелъ сестру; мнѣ казалось возможнымъ пріобрѣсти теперь и отечество, и мы назначили себѣ свиданіе въ свободной, республиканской Венеціи. Спиро съ женой покатили въ коляскѣ по веронской

дорогѣ, а я пѣшкомъ вернулся въ городъ, откуда отправился въ Болонью въ такъ-называемомъ *бирочино*—экипажѣ, дающемъ путешественнику сладкую иллюзію, будто сидишь въ каретѣ, но вытрясающемъ эту иллюзію на первыхъ-же ста шагахъ. Но мое финансовое положеніе (жизнь въ Миланѣ съ Аглаурой нанесла порядочный ущербъ тысячѣ дукатовъ, взятыхъ у Апостулоса) и солдатская скромность не позволяли мнѣ другого способа передвиженія. За то, прибывъ въ Болонью съ болью во всѣхъ суставахъ и перевернутыми внутренностями, я рѣшился продолжать путь пѣшкомъ черезъ Аппенины. О, какое чудное путешествіе! Какія райскія сцены! Я готовъ былъ-бы воскликнуть, какъ св. Петръ: „Господи, раскинемъ здѣсь шатры!“ Говорятъ, что въ этихъ горахъ дуютъ рѣзкіе вѣтры; но въ то время, въ самомъ началѣ весны, въ этомъ уголкѣ міра все дышало такимъ покоемъ, блистало такимъ богатствомъ красокъ, вѣяло такимъ тепломъ, что сразу можно было догадаться, что находишься на пути во Флоренцію и Римъ. Дойдя до Пратолино, откуда развертывается видъ на всю Тоскану, разстилающуюся подъ ногами, я пришелъ въ восторгъ. Умѣя я рифмовать и слагать стихи, я тутъ-же сочинилъ-бы гимнъ. Какъ ты прекрасна, какъ ты велика, о, родина моя, въ каждой своей части! Гдѣ ни взгляни на тебя,—на пѣнистыхъ-ли берегахъ твоихъ морей, на безконечной-ли зелени твоихъ равнинъ, на волнующихся и дышащихъ свѣжестью лѣсахъ твоихъ холмовъ, на голубыя-ли вершины Аппенинъ или на бѣлосвѣжныя—Альпъ,—вездѣ ты улыбка, красота, очарованіе! Гдѣ-бы ни искать твоего духа и славы—въ вѣчныхъ-ли страницахъ исторіи, въ краснорѣчивомъ-ли величій твоихъ памятниковъ, въ живой-ли благодарности народовъ,—вездѣ являешься ты великой, мудрой, царственной! Когда тебя ищешь въ насъ и вокругъ насъ, ты отъ стыда закрываешь себѣ лицо; но надежда ободряетъ тебя, потому что ты чувствуешь и знаешь, что изъ всѣхъ націй міра ты одна бессмертна!

Въ то время Италия была въ первой порѣ третьяго періода своей жизни. Та пора была настоящая пора дѣтства, смутная и бессознательная. Въ Тосканѣ, какъ въ Пьемонтѣ, представлялось странное зрѣлище мѣстнаго государя, царствующаго подъ властью французскаго генерала. Они напоминали царей Вифиніи, Каппадокіи и Пергама, которые умирали, завѣщая свои царства народу

римскому; но ни Лукуллъ, ни Сулла, ни французскіе генералы не совѣстались брать и себѣ доли наслѣдства... Во Флоренціи я нашелъ Карафу, но легіонъ его ушелъ въ Анконе, по случаю нейтралитета великаго герцога. Этторе былъ задумчивъ, взволнованъ и въ разговорѣ со мной разразился бранью на женщинъ, говоря, что стыдъ и срамъ родиться на свѣтъ отъ такихъ бѣсовъ:

— Чортъ возьми, капитанъ, сказалъ я, расхохотавшись, — отъ кого-же вы желали-бы родиться?

— Отъ Этны, отъ Везувія, отъ бушующихъ волнъ моря, а не отъ этихъ ядовитыхъ чудовищъ, которыя даютъ намъ жизнь, чтобы потомъ выточить ее изъ насъ по каплѣ.

— Вы, вѣрно, несчастливы въ любви, капитанъ?

— И какъ еще! Да и какъ быть счастливымъ съ любовницей, которая и любить, и не любить меня; то-есть, она любила меня и позволяла мнѣ любить ее, какъ я хочу, въ продолженіи недѣли; а теперь хочетъ любить меня на свой манеръ, самый странный и невыносимый.

— Что-же это за манеръ?

— На манеръ финиковъ, изъ которыхъ одинъ растетъ въ Сициліи, а другой въ Африкѣ.

Я разсмѣялся этому сравненію.

— Попробуйте затронуть ея гордость, сказалъ я: — импровизируйте ей соперницу.

— Посмотримъ, отвѣчалъ онъ; — ты поѣзжай пока въ Анконе. Въ Римѣ я тебѣ скажу, какъ подѣйствовало твое средство, которое, впрочемъ, кажется, очень старо и испортилось отъ долгаго употребленія.

— Старый опытъ дастъ новые плоды, возразилъ я.

Отъ береговъ Арно до береговъ Адриатики я добрался въ три дня, а оттуда до Рима пропутешествовалъ десять дней, потому что шелъ уже со всѣмъ легіономъ. На этомъ походѣ я убѣдился, что злѣйшіе враги новобраннаго войска — куры и патеры. Не помогали ни угрозы, ни выговоры, ни взысканія. Куры значатъ мародерство, а патеры — бражничество. Куръ убивали, чтобы поѣдать въ патерскомъ домѣ, запивая патерскимъ виномъ. Если при этомъ патеръ оказывался человѣкомъ сколько-нибудь политичнымъ, разставались друзьями и одного патера было достаточно, чтобы на цѣлый день внушить цѣлому легіону расположеніе къ Пію шестому.

Наконецъ, мы пришли въ Римъ. Римъ безъ папы былъ болѣе мертвъ, чѣмъ когда-либо. Другомъ вся страна кишѣла разбоями. Мюратъ вѣшалъ и разстрѣливалъ разбойниковъ, которыхъ одни называли мучениками, другіе — злодѣями, но которые не переводились. Французы владычествовали, какъ вездѣ въ Италіи. Правда, торжественно праздновали федерацію римской республики и выбили по этому случаю медаль съ надписью на одной сторонѣ — *Besthier restitutor urbis*, а на другой — *Gallia salus generis humani*; но пять директоровъ республики сжѣнялись при каждой фантазіи французскаго главнокомандующаго.

Такъ-какъ вся окрестная страна находилась въ возмущеніи, то отъ арміи, которая была вся почти собрана въ городѣ, высылались подвижныя колонны и гарнизоны въ разные укрѣпленные города и мѣстечки. Благодаря этому, мнѣ удалось пробить нѣсколько дней вмѣстѣ съ Лючилио, Амильваромъ и Джуліо и поѣхать съ ними достопримѣчательности Рима и окрестностей. Потомъ Джуліо и Амилькаръ были посланы въ Сполето, а я съ Лючилио остался въ замкѣ св. Ангела. Мой легіонъ ждалъ Карафу, который замѣшкался во Флоренціи; къ тому-же слабость французскихъ силъ и чрезвычайныя вооруженія короля Фердинанда не обѣщали въ то время удачи предпріятію на Неаполь. Обреченному на бездѣйствіе Карафѣ было все равно просиживать дни въ флорентинскихъ кафе или въ римскихъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, я объяснялъ себѣ его промедленія.

Въ Римѣ я получилъ извѣстія отъ сестры и зятя, а черезъ нихъ и отъ отца изъ Константинополя; онъ писалъ мнѣ, чтобы я надѣялся и ждалъ. О Пизанѣ не было ни слуху, ни духу; въ Венеціи поговаривали уже о продажѣ ея имущества, полагая или надѣясь, что она умерла; меня взбѣсило это намѣреніе, въ которомъ я узналъ безчеловѣчную жадность графини. Вообще мнѣ было невесело; къ мучительной неизвѣстности о Пизанѣ прибавлялись и политическія неудовольствія. Французскій посланникъ Труве, поддерживаемый французскими штыками, передѣлывалъ въ реакціонномъ духѣ конституцію цизальпинской республики; тиранія французовъ съ каждымъ днемъ становилась все грубѣе и дерзче. Глухая, но глубокая ненависть къ нимъ уже готовила въ Италіи почву новому австрійскому нашествію.

Карафа прибылъ, наконецъ, изъ Флоренціи, мрачный и строгій.

Тотчасъ по прїѣздѣ онъ выслалъ легіонъ, и меня въ томъ числѣ, изъ Рима и расположилъ его близъ неаполитанской границы, въ Веллетри, сельскомъ городѣ, какихъ такъ много въ римской Кампаньи, издали живописномъ, но внутри отвратительномъ, грязномъ и пыльномъ, днемъ полнымъ телѣгъ, плуговъ, быковъ и лошадей, а по ночамъ увеселяемомъ пѣніемъ пѣтуховъ и мычаніемъ коровъ. Самъ Карафа квартировалъ за городомъ, въ монастырѣ, разграбленномъ французскими республиканцами; онъ привезъ туда изъ Рима разныхъ вещей, чтобы устроиться если не роскошно, то, по крайней мѣрѣ, удобно. Его охраняла немногочисленная стража и пара горныхъ орудій на мулахъ. Во внутреннія комнаты никто не проникалъ, кромѣ его камердинера, имѣвшаго въ легіонѣ репутацію колдуна. Говорили, однако, что въ окнахъ монастыря показывалась иногда женщина необыкновенной красоты, вѣроятно, любовница Карафы. Самые старые солдаты легіона, хорошо знавшіе своего начальника, не вѣрили этимъ розсказнямъ и думали, что если дѣйствительно у него живетъ какая-нибудь женщина, то или колдунья, или какая-нибудь неаполитанская принцеса, которую онъ хочетъ посадить на престолъ на мѣсто королевы Каролины. Я, съ своей стороны, не раздѣлялъ этого мнѣнія, находя очень естественнымъ, что Карафа, несмотря на всю прежнюю воздержанность свою, могъ, наконецъ, влюбиться. Отъ скуки и дурного расположенія духа я въ это время былъ очень задоренъ, и однажды заспорилъ объ этомъ очень рѣзко; слово-за-слово, я поддержалъ съ товарищами пари, что пойду въ монастырь и лично удостовѣрюсь, что тамъ дѣлается. Такое предпріятіе было не безопасно, потому что Карафа строжайше запретилъ всѣмъ приближаться къ монастырю, который стоялъ почти на самой границѣ, и неаполитанская армія находилась въ очень близкомъ разстояніи отъ него; поэтому предлогомъ запрещенія служило опасеніе, чтобы между легіонерами и неаполитанскими войсками не завязалась какъ-нибудь нечаянно перестрѣлка, если первые будутъ подходить слишкомъ близко къ границѣ. Но это запрещеніе только еще болѣе подстрекало меня, потому что могли-бы сказать, что я не рѣшился исполнить своего обѣщанія изъ страха наказанія. Я рѣшился предпринять свою экспедицію вечеромъ перваго воскресенья.

Я составилъ слѣдующій планъ: кривою поднять тревогу въ монастырѣ, и когда весь гарнизонъ его выскочитъ встрѣчать мнѣ-

маго непріятеля, перелѣзть стѣну и черезъ садъ забраться внутрь. Въ воскресенье, по случаю праздника, войска были вечеромъ въ разбродѣ, и большой тревоги, по моимъ соображеніямъ, выйти не могло. Ошибка объяснится, а я между тѣмъ все развѣдаю, прежде, чѣмъ офицеры соберутъ солдатъ. Карафа, уѣзжавшій по вечерамъ дѣлать распоряженія, не могъ увидѣть меня, а прочіе обитатели монастыря не знали меня; единственная опасность состояла въ томъ, что я могъ быть замѣченъ при выходѣ изъ монастыря; но я заготовилъ на этотъ случай отговорку, что спасся въ монастырскій садъ отъ непріятельскихъ кавалеристовъ. Впрочемъ, я готовъ былъ на все, лишь-бы выполнить свою фантазію, хотя-бы мнѣ пришлось заплатить за нее головой.

Дѣйствительно, въ воскресенье при заходѣ солнца я съ нѣсколькими товарищами, посвященными въ мою затѣю, нашли удобный предлогъ въ облагѣ пыли, поднявшемся на склонѣ горы напротивъ монастыря, чтобы броситься туда съ крикомъ о приближеніи непріятеля; мы кричали гарнизону монастыря приготовиться къ защитѣ, пока мы побѣжимъ въ Велетри поднять тревогу и привести помощь. Въ предвидѣніи подобной атаки, Карафа, бывшій дома, держалъ въ самомъ монастырѣ только пару часовыхъ, а остальная стража держалась въ засадѣ влѣво отъ дороги; онъ рассчитывалъ, что эти люди всегда успеютъ отступить въ монастырь, а тѣмъ временемъ главные силы, выступивъ изъ Велетри, возьмутъ непріятеля между двухъ огней. Пока онъ располагалъ своихъ людей цѣпью на холмахъ, увѣчаннныхъ кипарисами и лаврами, окаймлявшихъ дорогу слѣва, и съ своей обычной дѣятельностью устанавливалъ свои двѣ пушки, я съ товарищами, смѣясь своей продѣлкѣ, пробирались полемъ къ заднему фасаду монастыря, гдѣ были его сады. Здѣсь они остановились ждать, а я живо вскарабкался на стѣну и спустился въ огородъ, гдѣ сожженная солнцемъ капустаная расада свидѣтельствовала о прерванномъ постѣ изгнанныхъ капуциновъ. Подойдя къ зданію монастыря, я искалъ окна или двери, чтобы пробраться внутрь. Но окна были снабжены толстыми желѣзными рѣшетками, а двери наглухо заперты. Среди этихъ поисковъ я увидѣлъ переносную лѣстницу, вѣроятно, служившую монастырскому садовнику для сбора персиковъ, и подумалъ, что могу взобраться по ней до оконъ второго этажа, котораго, вѣроятно, не такъ неприступны, какъ

внизу. Такъ я и сдѣлалъ, и, дѣйствительно, легко отворилъ окно верхней комнаты, каковой-то кладовой, обращенной Карафой въ складъ оружія. Я было-занесъ ногу, чтобы спрыгнуть въ комнату, какъ вдругъ услышалъ по-близости шумъ, выстрѣлы и крики, такъ-что замеръ, какъ былъ, верхомъ на подовонникѣ. Передо мной, за той самой стѣной, которую я перелѣзъ, появилась треугольная шляпа, потомъ вторая, третья и еще нѣсколько. Люди эти, повидимому, торопились перелѣзть стѣну хотя-бы съ опасностью сломать себѣ шею. Одинъ изъ нихъ былъ уже наверху стѣны, какъ вдругъ грянулъ выстрѣлъ, и онъ упалъ съ распротертыми руками. Но прочіе не обратили на это вниманія и уже бѣжали по капустѣ къ монастырю; я только-что призналъ ихъ за моихъ товарищей, какъ вдругъ за ними появились другія шляпы, другія головы, и цѣлая толпа уже перелѣзала стѣну.

— Неаполитанцы! Неаполитанцы! кричали мои товарищи, добѣгая до монастыря и отчаянно цѣпляясь за ступеньки лѣстницы, наверху которой я сидѣлъ.

— Тише, осторожнѣе! кричалъ я имъ въ отвѣтъ;—иначе вы всѣ убитесь прежде, чѣмъ они васъ убьютъ.

Дѣйствительно, лѣстница трещала и колебалась подъ ними. Я благоразумно соскочилъ въ комнату и помогалъ имъ только совѣтами:

— По одному! Не толкайте другъ друга! Не опрокиньте лѣстницу!

Вдругъ грянули выстрѣлы и засвистали пули; подлѣ меня выбитое въ окнѣ стекло со звономъ разлетѣлось въ дребезги. Семеро товарищей вскочили ко мнѣ въ комнату; восьмой полетѣлъ внизъ, убитый наповалъ; съ тѣмъ, который былъ застрѣленъ на стѣнѣ, счетъ выходилъ полный: насъ было десять человекъ. Тутъ я въ первый разъ понюхалъ пороху. Не скажу, чтобы я вовсе не ощутилъ страха, однако, на-столько еще сохранилъ мужества, что высунулся въ окно и сдѣлалъ очень выразительный жестъ неаполитанскимъ солдатамъ, которые стояли подъ окномъ, не солоно хлебавши, потому что мы имѣли присутствіе духа втащить за собою лѣстницу наверхъ. Жестъ мой вызвалъ со стороны непріятеля ружейный залпъ; наша комната была полна оружія, и мы завязали перестрѣлку, въ которой ихъ пули пробивали намъ шляпы, а наши прострѣливали имъ насквозь брюха и груди.

Однако, мы были въ недоумѣніи: откуда взялись эти проклятые неаполитанцы? Какимъ образомъ Карафа не подозрѣвалъ ихъ присутствія здѣсь? Значитъ, они забрались сюда по болоту въ то время, какъ мы поднимали фальшивую тревогу со стороны горъ. Такъ и было, и моя глухая продѣлка могла дорого стоить всему легиону; простая шутка могла получить значеніе предательства. Между тѣмъ перестрѣлка продолжалась съ успѣхомъ для насъ. Мы готовы были уже прокричать побѣду, какъ вдругъ подъ ногами нашими раздался страшный трескъ взрыва и вскорѣ затѣмъ въ нижнемъ этажѣ шумъ бѣготни, крики и ругательства. Ужасъ охватилъ насъ. Мы догадались, что пока насъ занимали перестрѣлкой, главныя силы атакующихъ взорвали внизу дверь помощью мины и что монастырь полонъ теперь непріятелями. Подъ вліяніемъ чувства своей вины я смѣло бросился впередъ изъ кладовой, крича товарищамъ:

— Друзья, погибнемъ, но не пустимъ ихъ въ верхній этажъ! Подумайте о вашей чести, о чести легиона!

Мы бросились къ лѣстницѣ и стали загоразивать ведущую къ ней дверь шкапами, столами и всякой мебелью, бывшей у насъ подъ руками. Неаполитанцы взбирались самоувѣренно, но, увидавъ барикаду и торчащія въ ней ружейныя дула, потѣснились назадъ.

— Смѣлѣй, друзья, кричалъ я, — помощь не замедлитъ!

И дѣйствительно, я былъ увѣренъ, что Этторе поспѣшитъ на шумъ перестрѣлки. Между тѣмъ непріятель не рѣшался штурмовать нашу барикаду. Мы начинали ободряться, но вскорѣ убѣдились, что онъ предпринялъ нѣчто для насъ гораздо худшее. Дымъ полѣзъ сквозь щели пола, давая намъ знать, что подъ нами зажженъ пожаръ; скоро послышался его трескъ и начало пробиваться пламя. Мы побѣжали въ сосѣднюю комнату, и едва успѣли выбѣжать, какъ полъ обрушился. Но и въ другихъ комнатахъ было не безопасно; пожаръ быстро распространялся, потому что внизу были склады соломы. Приходилось или выходить, или горѣть живьемъ. Товарищи мои, взявъ въ руки пистолеты, а сабли въ зубы, выскакивали изъ оконъ и, пользуясь замѣшательствомъ непріятелей, созерцавшихъ пожаръ, благополучно бѣжали на гору. Одинъ только, сломавшій себѣ при паденіи изъ окна ногу, былъ изрѣзанъ въ куски разсвирѣпѣвшими врагами. Я не послѣдовалъ за товарищами.

Меня озарила мысль, что въ монастырѣ могутъ быть еще живыя существа, которымъ моя преступная неосторожность приготовила ужасную гибель. Какъ безумный бѣгалъ я по лабиринту безконечныхъ коридоровъ, комнатъ, закоулковъ, клича изо всѣхъ силъ, есть-ли тутъ кто. Вездѣ было пустынно и тихо; только на дворѣ слышались выстрѣлы, крики и внизу трескъ пламени. Воздухъ былъ невыносимо жаркій и душный. Полы обваливались, и въ нѣкоторыхъ комнатахъ мнѣ приходилось пробѣгать по нѣсколькимъ уплѣвшимъ еще, дымящимся половицамъ. Наконецъ, я очутился передъ запертой дверью и принялся неистово стучать въ нее кулаками, крича: отворите, отворите! Мнѣ отвѣчалъ крикъ, показавшійся мнѣ женскимъ, и въ то-же время въ растворившуюся дверь высунулись два пистолетныя дула, раздались два выстрѣла, и пули, обжегши мнѣ волосы, ударились въ противоположную стѣну.

— Свои, свои! вопилъ я. Новый крикъ былъ мнѣ отвѣтомъ, и опять пуля пролетѣла, окровавивъ мнѣ руку.

Я съ разбѣга вскочилъ въ комнату, весь закопченный, окровавленный, съ обожженными волосами и платьемъ. По комнатѣ, въ отчаяніи заламывая руки, бѣгала женщина. Другая женщина бросилась отъ двери къ окну съ явнымъ намѣреніемъ броситься въ него; я успѣлъ удержать ее въ ту минуту, какъ верхняя часть ея тѣла уже свѣсилась надъ окномъ. Пламя, выходящее изъ оконъ нижняго этажа, поднялось ей на встрѣчу; нѣсколько выстрѣловъ привѣтствовали наше появленіе въ окнѣ; я оттащилъ ее отъ него, крича ей, что я свой, что я хочу спасти ее, чтобы она не боялась, иначе мы погибнемъ. Вдругъ она повернула ко мнѣ свое лицо, прекрасное выраженіемъ отчаянной рѣшимости... Я чуть не упалъ пораженный... То была Пизана!.. Пизана! Боже мой, какъ выразить бурю, поднявшуюся въ моемъ сердцѣ? Какъ назвать смѣсь всѣхъ страстей, вспыхнувшихъ во мнѣ? Любовь была первая и сильнѣйшая, и она придавала мнѣ нечеловѣческія силы и отвагу.

Я взвалилъ ее на плечи и черезъ пламя и дымъ, среди обваливающихся стѣнъ и грохота разрушающихся сводовъ, по горящимъ балкамъ и пылающимъ лѣстницамъ вышелъ изъ замка. Какъ безумный, прорвался я съ саблей въ рукѣ съвозъ цѣпь изумленныхъ моимъ появленіемъ неаполитанскихъ солдатъ и, точно загоренный отъ пули, выбрался въ поле. Я шелъ къ тѣмъ высотамъ,

гдѣ была расположена засада Карафы. Но уже судьба боя измѣнилась. Карафа опрокинулъ непріятеля и шель теперь разогнать поджигателей монастыря. Я встрѣтилъ его съ его легіонерами. Сдавъ Пизану на руки двумъ солдатамъ съ приказаніемъ нести ее въ Велетри, я послалъ третьяго сказать начальнику, что извѣстная ему особа спасена, а самъ пошелъ въ городъ, едва волоча ноги отъ усталости. Страшное напряженіе всѣхъ силъ довело меня до изнеможенія, сердце мое разрывалось ревностью и яростью, заступившими теперь мѣсто любви. Въ Велетри я уложилъ Пизану въ свою постель, велѣлъ цирюльнику пустить ей кровь и вышелъ на улицу. Монастырь пылалъ и при свѣтѣ пожара видны были вдали легіонеры Карафы, преслѣдующіе бѣгущаго непріятеля. Побѣда была одержана.

Когда я вернулся, Пизана уже сидѣла на постели и приняла меня съ меньшимъ смущеніемъ, чѣмъ я ожидалъ. Она первая заговорила со мной, привѣтствовавъ меня словами:

— Карло, зачѣмъ ты не далъ мнѣ умереть геройской смертью и заслужить себѣ мѣсто въ новомъ Пантеонѣ Рима?

— Если-бы я оставилъ тебя тамъ, отвѣчалъ я, — то и самъ остался-бы. И сознаюсь, Пизана, была минута, когда я хотѣлъ убить тебя и умереть.

— О, зачѣмъ ты не сдѣлалъ этого! воскликнула она съ искреннимъ отчаяніемъ.

— Я не сдѣлалъ этого потому, что... люблю тебя, отвѣчалъ я, потупивъ глаза, какъ-бы въ сознаніи своего стыда.

Она не только не была унижена этимъ, но приподнялась съ оскорбленнымъ видомъ и заговорила:

— А, ты меня любишь! Измѣнникъ, лжець, предатель! Ты надругался надо мной, какъ надъ рабой, обманулъ меня, какъ дуру; въ моихъ объятіяхъ ты замышлялъ измѣну, которую привелъ потомъ въ исполненіе! О, счастье твое, что нашелся человекъ, вставшій между нами, вырвавшій у меня изъ рукъ мою месть и давшій мнѣ другую, составляющую мученіе и позоръ каждаго моего дня, каждой минуты! Иначе я всадила-бы тебѣ кинжалъ въ сердце на груди твоей любовницы, и рука моя была-бы довольно сильна, чтобы однимъ ударомъ пронзить васъ обоихъ. Теперь наслаждайся моимъ униженіемъ и своимъ торжествомъ! Ты спасъ мнѣ жизнь! Ты великодушень! Ты заслужилъ цивическій вѣ-

ночь! Но у меня хватить храбрости отвергнуть подонки чаши позора, которую меня заставляют выпить. У меня станетъ духу раздражить эту яростную любовь, которой я бѣшено отдалась. Вотъ уже шесть мѣсяцевъ, какъ я оскорбляю его; теперь выведу окончательно изъ терпѣнія. Местъ за местъ! Пусть онъ поразитъ меня кинжаломъ! Этотъ ударъ освободитъ меня отъ жизни, а твоему малодушному сердцу принесетъ безконечное мученіе совѣсти.

Сначала я слушалъ, пораженный дерзостью этой женщины, которая осмѣливалась упрекать меня, — меня, постоянно хранившаго къ ней любовь, — меня, только-что спасаго ей жизнь съ опасностью собственной жизни, — и когда-же? когда я только-что нашелъ ее любовницей другого! Наконецъ, я не могъ больше выдержать и заговорилъ голосомъ, заглушаемымъ слезами:

— Довольно, Пизана, я не могу больше этого слушать! Твои теперешнія слова подлѣе, гнуснѣе твоей измѣны. Тебѣ-ли, тебѣ-ли упрекать меня? Ты безстыдно сама сознаешься мнѣ въ величайшемъ преступленіи, которое любовница можетъ совершить противъ своего любовника, и при этомъ еще упрекаешь меня и грозишь мнѣ какой-то местию, которая никогда не будетъ хуже того, что ты со мной уже сдѣлала! Молчи, Пизана; ни слова больше; иначе я забуду все святое, я вырву изъ груди честь и брешь ее, какъ негодную тряпку, псамя!

Пизана плакала, закрывъ лицо руками; потомъ вдругъ вскочила съ постели, гдѣ лежала одѣтая, и бросилась къ двери; я остановилъ ее.

— Куда ты?

— Къ Этторе Карафа; сейчасъ ведите меня къ Этторе!

— Синьеръ капитанъ занятъ теперь преслѣдованіемъ неаполитанцевъ и его не такъ-то легко найти; впрочемъ, я извѣстилъ его о твоёмъ спасеніи, и когда ему можно будетъ, онъ, конечно, не замедлитъ явиться, сказалъ я съ ироніей.

— Бѣда ему или бѣда тебѣ! воскликнула она.

— Бѣды никому не будетъ, холодно возразилъ я, — хотя у меня руки чешутся кого-нибудь ухлопать.

— Отчего-же ты меня не ухлопаешь? спросила она съ наивнымъ видомъ.

— Оттого, оттого... что ты слишкомъ прекрасна и, я помню, была прежде добра.

— Замолчи, Карло, замолчи! Ты думаешь, Этторе придетъ скоро?

— Говорю тебѣ, какъ только ему можно будетъ.

Мы оба замолчали. Она была въ величайшемъ волненіи, то молдилась, то сжимала яростно кулаки, то плакала, то вдругъ принимала спокойный и рѣшительный видъ. Я молча наблюдалъ за нею. Такъ прошло около часа. Наконецъ, вошелъ Карафа, безъ шляпы, потерянной въ битвѣ, безъ сабли, отъ которой висѣли только ножны, а клинокъ остался въ разрушенной головѣ неаполитанскаго драгуна; рубецъ его бѣлѣлъ особенно яркой бѣлизной. Онъ поклонился, сѣлъ между мной и Пизаной и ждалъ, чтобы кто-нибудь изъ насъ заговорилъ. Пизана не заставила его долго ждать и, обратившись къ нему повелительно, приказала ему повторить исторію моей любви съ прекрасной гречанкой. Карафа, попросивъ у меня позволенія, рассказалъ, не смущаясь, все, что было извѣстно объ этой любви въ миланскихъ кружкахъ, упомянувъ о необыкновенной красотѣ этой дѣвушки и о моей ревности, державшей ее взаперти, вдали отъ всѣхъ взоровъ.

— Вотъ все, что я вамъ рассказалъ, Пизана, сказалъ онъ въ заключеніе, — когда вы явились ко мнѣ въ Миланѣ узнавать все, что я знаю о Карло Альтовити и объ его любви, которая возбуждала такъ много толковъ именно по своей таинственности. Передавая вамъ все это, я только повторялъ то, что всѣ говорили, и, конечно, это нисколько не унижало чести героя этой исторіи. Я не считаю, что поступилъ дурно, а больше я ни въ чемъ не обязанъ никому отчетомъ.

Пизана обратилась ко мнѣ, какъ судья къ подсудимому по выслушаніи убійственнаго свидѣтельства.

— Что вы такъ смотрите на меня, Пизана? спросилъ я.

— Что? воскликнула она. — Потому, что я васъ ненавижу, презираю; потому, что я хотѣла-бы нанести вамъ позоръ еще хуже того, который нанесла, бросившись въ объятія другого.

Я ужаснулся такому цинизму; она замѣтила это и заметала; ей стало непріятно, что она выказала себя въ ярости такой ужасной фуріей; но это не остановило ее и она прибавила съ еще лучшимъ остервененіемъ:

— Да, я могла всякій день мѣнять любовниковъ послѣ того, что ты клялся мнѣ вѣчно любить меня, а въ то-же время задумывалъ похитить Аглауру!

— Сумасшедшая! закричалъ я, кидаясь въ моему чемодану и добывая изъ него пачку писемъ сестры.— На, читай! прибавилъ я, бросая ихъ на столъ.

Судьба благоприятствовала мнѣ: въ письмахъ не было ни малѣйшаго намека на то, что я не зналъ о своемъ родствѣ съ Аглаурой во время нашего побѣга изъ Венеціи; я, конечно, не объяснилъ этого, чтобы еще больше не запутать эту тяжелую сцену. Она прочла письма и передала ихъ Этторе, сказавъ:— Прочтите и вы!— Сама-же была, повидимому, очень удивлена и раздосадована и говорила сквозь зубы:— Меня обманули... это былъ заговоръ... Проклятые, проклятые! Всѣхъ-бы ихъ уничтожила!

— Нѣтъ, Пизана, сказала я,— никто тебя не обманывалъ, а вотъ ты дѣйствительно измѣнила мнѣ. Да, ты во всемъ виновата, не оправдывайся! Не злись на меня! Если-бы ты искренно любила меня, то любила-бы, хотя-бы я дѣйствительно былъ подлецомъ, измѣнникомъ и клятвopреступникомъ. Я знаю, что говорю, Пизана! Я знаю это, потому что самъ это чувствую. Мнѣ стыдно связать, но я скажу, что и теперь я тебя люблю, боготворю! Не пугайся! Я убѣгу отъ тебя, я никогда больше не увижу тебя. Но моей единственной местию будетъ, что ты должна будешь знать, что сдѣлала на-вѣки несчастнымъ человѣка, для котораго могла-бы на всю жизнь быть радостью и счастьемъ.

Карафа прочелъ письма и передалъ мнѣ ихъ со словами:

— Извините меня; меня ввела въ заблужденіе общая молва, но я не имѣлъ намѣренія обманывать.

Я видѣлъ, какихъ усилій стоило его сатанинской гордости произнести эти слова, и это тронуло меня. Пизана плакала, стыдясь и меня, и его. Онъ, должно быть, сжалился надъ ней, потому что предложилъ мнѣ перейти съ нимъ въ другую комнату. Здѣсь онъ рассказалъ мнѣ свое первое свиданіе съ Пизаной, которая явилась къ нему за справками обо мнѣ; сообщенныя имъ извѣстія возбуждали въ ней бѣшеную ревность, а онъ почти съ перваго взгляда влюбился въ нее. Думая, что я блаженствую съ гречанкой, онъ не считалъ непозволительнымъ для себя воспользоваться счастьемъ, которое предлагала ему ревность Пизаны, и втеченіи нѣсколькихъ дней наслаждался имъ вполнѣ. Но эти дни опьяненія быстро миновали. Скоро Пизана совершенно измѣнилась. Она слѣдовала за

нимъ изъ Милана во Флоренцію и Римъ, молчаливая, надменная, безчувственная, и на всѣ его мольбы отвѣчала холодно:

— Я и то ужъ слишкомъ отомстила.

— О, какъ я страдалъ, Карло, какъ страдалъ! говорилъ онъ. — Клянусь вамъ, вы отомщены! Я умолялъ ее, плакалъ передъ ней, а она не хотѣла узнавать меня. Я прибѣгалъ даже къ подкупу, платилъ деньги ея горничной, одной венеціанкѣ, съ которой она никакъ не хотѣла разстаться...

— Кто такая? Какъ ее звали? спросилъ я.

— Звали Розой; тварь, готовая продать родную сестру за десять карлиновъ. Но сегодня ее постигло страшное наказаніе: я видѣлъ ея обуглившееся тѣло среди развалинъ монастыря. Но и услуги этой несчастной не помогли мнѣ. Я привезъ ее въ эту пустыню, думая скукой побѣдить ея сопротивленіе, — все напрасно. Я понималъ, что какая-то непобѣдимая страсть навсегда отняла ее у меня послѣ почти невольной минутной уступки. Я рассказалъ вамъ всю правду, хотя она для меня нелестна; судите, какъ хотите, и поступайте, какъ знаете. Завтра я переносу свою квартиру въ Фраскати, потому что главнокомандующій Шанпione предписалъ общее отступленіе. Поговорите съ Пизаной. Мой домъ всегда открытъ ей, потому что я не забываю ни оказанной мнѣ любви, ни моихъ обѣщаній.

Съ этими словами онъ пожалъ мнѣ руку и вышелъ, а я вернулся къ Пизанѣ и сталъ ждать, чтобы она заговорила.

— Куда ушелъ синьеръ Карафа? спросила она послѣ нѣкотораго молчанія.

— Распорядиться отступленіемъ на Фраскати.

— А меня здѣсь оставляетъ? И даже не сказалъ, куда отправляется?

— Онъ поручилъ мнѣ передать вамъ, что его домъ въ вашемъ распоряженіи. Какъ видите, онъ исполняетъ всѣ обязанности вѣжливости и не отказывается выполнить свои обязательства въ отношеніи васъ.

— Обязательства въ отношеніи меня? Онъ? Удивляюсь! У него могло-бы быть одно обязательство: возвратить мнѣ то, что онъ у меня похитилъ; но эти вещи невозвратимы. Ну, что-же, я буду не первая женщина, которой приходится самой постоять за себя,

безъ помощи шпаги паладина. Сдѣлайте одолженіе, позовите мою горничную.

— Вы забыли, гдѣ мы ее оставили. Она сгорѣла.

— Какъ? Роза? Роза умерла? Ахъ, я несчастная! Это я ее погубила! Я забыла о ней, когда мнѣ слѣдовало думать объ ея спасеніи. Проклятая я! На мнѣ кровь невинной жертвы!

Я тщетно напоминала ей, что она сама погибла-бы безъ моей помощи и никакъ не могла-бы спасти Розу. Она горько плакала, и мнѣ было такъ жалъ ея, что моя любовь готова была вернуться, ласковая и покорная, по первому ея знаку.

— Карлино, вдругъ спросила она меня, — уѣзжая изъ Венеціи, вы не знали, что Аглаура ваша сестра? Иначе вы сказали-бы мнѣ.

— Не зналъ, отвѣчалъ я.

— И все-таки вы жили съ ней, какъ братъ съ сестрой?

— Иначе нельзя было.

— Сколько-же времени вы прожили вмѣстѣ?

— Нѣсколько мѣсяцевъ.

Пизана задумалась, потомъ сказала:

— Вамъ не будетъ неприятно, если я буду спать въ этомъ креслѣ?

Я отвѣчалъ, что она можетъ лечь на кровать, потому что внизу есть еще постель, на которой я могу переночевать. Она, повидимому, была довольна этимъ позволеніемъ, но подождала воспользоваться имъ, пока я не вышелъ на лѣстницу. Тамъ я остановился на минуту прислушаться и слышалъ, какъ она осторожно, чтобы не слышно было, заперла дверь на ключъ.

Въ слѣдующіе дни о прежнемъ не было и помину. Мы путешествовали вмѣстѣ въ дружескихъ отношеніяхъ, по-товарищески, но о чувствахъ и разговорѣ не было. Конечно, такъ было по наружности, а въ душѣ происходило совсѣмъ другое. Пизана казалась счастливой, что я терплю ее; она была покорна, послушна, весела и скромна, какъ дочь при отцѣ. Можетъ быть, это былъ нѣмой способъ просить прощенія; во всякомъ случаѣ, онъ былъ излишенъ, хотя по наружности я сохранялъ свое достоинство. Мы путешествовали очень весело въ Сполето, Аквапенденте, Перуджію, вездѣ, куда Шанпюне водилъ войско, чтобы собирать разбросанные отряды его.

Между тѣмъ король Фердинандъ съ своимъ генераломъ Макомъ

вошли торжественно въ Римъ, и римская республика рухнула, какъ карточный домикъ. Затѣмъ Макеъ занялся стратегическими дѣйствіями для изгнанія французовъ изъ Италіи, но вдругъ Шанпоне обернулся на него, одинъ за другимъ разбилъ всѣ его корпуса, заставилъ Макеа и его короля бѣжать въ Неаполь, восстановилъ римскую республику, а вслѣдъ затѣмъ вспыхнула революція въ самомъ Неаполѣ.

(Продолженіе будетъ.)

СЪ СЪВЕРА НА ЮГЪ.

РОМАНЪ.

КНИГА III.

(Окончаніе.)

XXIV.

Сады „диванъ-веги“ Мать-Ніаза.

Отъ Хивы недалеко, на другомъ берегу Аму, версть за сто, не болѣе, есть маленькій городишко хивинскій съ крѣпостцею „Курганомъ“; называется онъ „Шура-ханъ“.

Отъ этого Шура-хана на востокъ, доброму коню на четверть часа ходу, зеленѣютъ густые, тѣнистые сады, окруженные высокими стѣнами, зубцами нарѣзанными.

Высоки эти стѣны, а еще того выше кудрявые карагачи да тонкоствольные тополи, и далеко видны они всякому конному и пѣшему человѣку, словно лѣсъ густой сивѣютъ они на рубежѣ, гдѣ песчаные наносы соедней мертвой пустыни надвинулись на мѣста человѣкомъ отвоеванныя, киркою и плугомъ воздѣланныя.

Много неусыпныхъ трудовъ, много силъ прикладываетъ здѣшній земледѣлецъ, чтобы удержать эти пески, не дать имъ придвигаться все ближе и ближе, не дать имъ заспать обработаннаго пространства.

Вода лучшій другъ, лучшій союзникъ человѣку въ этой борьбѣ.

Издаലെка проводить работникъ драгоцѣнную влагу, поднимаетъ ее все выше и выше, заливаешь мертвые, сухіе участки и будить въ нихъ жизнь, богъ-вѣсть когда, въ какія отдаленныя времена уснувшую.

И день, и ночь почти не разгибаются голыя, потныя, словно бронзовыя, рабочія спины, согнувшіяся подъ тяжелымъ гнетомъ подневольнаго труда. Много работы надъ разчисткою водопроводныхъ арыковъ, надъ проведеніемъ новыхъ, надъ копкой прудовъ „хаузовъ“. Дня прозвать нельзя надъ работою: нагонить вѣтеръ песчанныя тучи и засыпетъ снова все вырытое.

Какъ аму-дарьинская вода, поднимаясь все выше и выше, струится по арыкамъ, развѣтвляясь въ стороны, изъ большихъ канавъ въ болѣе мелкія, такъ точно на встрѣчу, по тѣмъ-же самымъ арыкамъ, ползутъ сыпучіе пески, забиваютъ канавы, выступаютъ изъ ихъ береговъ, покрываетъ поля,—и не узнать человѣку, не отыскать даже того мѣста, что недавно еще имъ самимъ было обработано.

Отъ земледѣльцевъ, чимбайскихъ кара-калпаковъ, ханъ разъ какъ-то собралъ чуть не весь рабочій народъ на свои работы, на казенныя значить, меньше году продержалъ ихъ, назадъ отпустилъ. И не нашли бѣдняки, вернувшись домой, полей своихъ, только высохшія тычины да опустѣлыя, полузасыпанныя; саклюшви торчали изъ-подъ песку разомъ погибло все, что сотни лѣтъ подъ рядъ отъ дѣда къ отцу, отъ отца къ сыну, наследственнымъ трудомъ было завоевано.

Вотъ на такомъ-то мѣстѣ хорошемъ и раскинулись тѣнистые, диковинные сады Мать-Ніазовы, лучшее украшеніе чуть не всего правобережнаго оазиса.

Много рабочихъ рукъ требовалось для ихъ поддержки, много и денегъ было въ сундукахъ и мѣшекахъ важнаго хозяина. Но больше, чѣмъ денегъ, было силы и власти у Мать-Ніаза: *„по его слову печать ханская плясала, на какую хочешь бумагу, не спросяся хана, часто садилась“*.

Ну, а съ такою послушною печатью можно и не платя денегъ стогнать сюда со всѣхъ концовъ безобидныя, молчаливыя, все возносящія силы рабочія.

Какъ-же при такомъ положеніи не цвѣсти, не зеленѣть густолиственнымъ садомъ, не выглядывать съ усмѣшкою изъ-за высокихъ

стѣнъ: „гдѣ, моль, вы тамъ, эй! пески эти сыпучіе, для другого кого, только не для насъ, страшные“.

Въ одномъ изъ этихъ садовъ стоялъ и самый домъ Мать-Ніаза. Построенъ онъ былъ большимъ покоемъ; выступы этого покоя обращены были къ саду и между выступами устроенъ былъ высокій навѣсъ, поддерживаемый двумя толстыми, точеными изъ дерева, столбами; къ навѣсу вели четыре широкія ступени, вымощенныя плитнякомъ, и полъ подъ навѣсомъ тоже былъ вымощенъ плитвами изъ кирпича обожженного. Отсюда внутрь первой сакли продѣланы были три двери: одна широкая посрединѣ, двѣ другихъ, поуже, по сторонамъ. Двери были сдѣланы изъ темнаго орѣха и покрыты хитрою ручною рѣзбою, а надъ дверями красивымъ вырѣзомъ продѣланы были окна, съ гипсовыми рѣшетчатыми рамами, затянутыми ярко-красною матеріей. Когда двери притворены да заглянетъ солнышко прямо въ эти красныя окошки, словно огонь охватитъ всю внутренность просторной сакли, устланной коврами тюркменской да персидской работы, такими коврами, что въ глазахъ пестритъ отъ ихъ мелкаго, хитро переплетеннаго узора.

Эта сакля была „кунацкая“: въ ней Мать-Ніазъ своихъ гостей принималъ и другихъ посѣтителей, кто поважнѣе; а прочихъ всѣхъ, черный народъ, къ тѣмъ на дворъ выходилъ или подъ навѣсъ; тутъ онъ и судъ чинилъ, и расправу, когда случаи выходили къ тому подходящіе.

Въ боковыхъ выступахъ дома-дворца были особныя помѣщенія, гостямъ для ночлега; изъ нихъ двери во внутренній дворъ вели, гдѣ уже самъ хозяинъ помѣщался, а изъ его сакель узенькій ходъ шелъ къ третьему дворику, совсѣмъ отъ чужого глаза спрятанному. Тутъ жила семья Мать-Ніазова: шесть его жонъ и сестра его матери покойной, старуха уже, также какъ и сама мать хозяйина, бывшая рабыня-персіянка, теперь хозяйка и главная надсмотрщица за всѣми шестью женами.

Ближе къ этому двору шелъ рядъ сакель для женской прислуги. Высокая стѣна отдѣляла эту завѣтную половину отъ прочихъ частей дома, гдѣ тянулись помѣщенія для хозяйскихъ нуверовъ, конюховъ и прочей мужской прислуги.

Къ этой стѣнѣ пристроены были навѣсы для лошадей и закрытые денники для любимыхъ жеребцовъ хозяйскихъ. Вдоль навѣсовъ проходилъ широкій аркъъ съ вѣчно протечною водою; отъ него, подъ стѣнами, проложены были желоба и трубы глиняныя и по нимъ уже вода заходила и во внутренніе прудики, выложенные по дну и бокамъ плитнякомъ бѣлымъ. Вокругъ того прудика, что посреди женскаго двора находился, росли густыя кусты розъ и бѣлаго жасмина; сами жены отъ скуки забавлялись ими, подчищали, окапывали, подрѣзали, разсаживали, — однимъ словомъ, садоводствовали.

Въ саду отъ главнаго навѣса шла широкая, прямая дорога; по обѣимъ сторонамъ ея стояли столбы и между ними рѣшетка, густо обвитая виноградными лозами; съ одной стороны на другую перекидывались цѣпія вѣтви, путались между собою, сплетались. Густая тѣнь ложилась отъ нихъ на всю дорогу, солнечный лучъ развѣ украдкою пробивался кое-гдѣ сквозь темную зелень вырѣзной листвы и рисовалъ на красномъ пескѣ дороги крохотныя свѣтлыя кружочки.

Въ двухъ мѣстахъ дорогу эту пересѣкали большіе квадратные пруды, обсаженные столѣтними, развѣсистыми карагачами. Въ тѣни этихъ деревьевъ лѣтомъ ставили легкія палатки, свѣтло-зеленаго цвѣта, съ пестрымъ шелковымъ подбоемъ. Мать-Ніазъ любилъ иногда отдохнуть въ нихъ и смотрѣть отсюда на заплесневѣвшую поверхность прудовой воды, какъ прытко бѣгаютъ и снуютъ по ней водяные паучки или какъ ровно расходятся круги отъ всплеска только-что прыгнувшей съ берега толстобрюхой лягушки.

Отъ средней, большой дороги вправо и влѣво тянулись другія, поменьше, разбивая весь садъ на ровныя четырехугольныя участки; эти дорожки были обсажены тополями или тутовникомъ, а между ними росли рядами фруктовые деревья: вишни, яблони, шаптала (персики), урюкъ, сливы и другое что прочее. Въ самомъ дальнемъ углѣ сада росъ кустарный мелкій виноградъ, что надъ самою землею стелется; тутъ-же и двѣ водокчалки, „чигири“, стояли. День и ночь скрипѣли ихъ несмазанныя колеса, накачивая воду на всю потребу суточную, а потреба эта была не малая.

Мать-Ніазъ не любилъ цвѣтовъ и въ его саду кромѣ розовыхъ кустовъ мало чего было замѣтно, за плодами же онъ шибко

присматривалъ и собственноручно наказывалъ подчасъ садовниковъ своихъ, если находилъ по этой части хотя малѣйшее упущеніе.

Хорошаго садовника онъ всегда умѣлъ отличать и дорожилъ имъ, но только, обороня Аллахъ, чтобы этотъ любимецъ не забывался. Разъ, иранцу одному, за то, что тотъ особый сортъ виноградной лозы выходилъ, подарилъ халатъ шелковый и работницу молодую въ жены, а потомъ, чуть не на другой-же день, отнял все да еще палками вздуть велѣлъ, за то, что узналъ, что тотъ передъ прочею дворнею его господскою милостью бахвалился.

Мать-Ніазъ хотя и засѣдалъ въ ханскомъ „Диванѣ“ (совѣтѣ) первымъ совѣтникомъ, правою рукою Сеидъ-Рахимъ-Багодуръ считался, однако въ Хивѣ не жилъ, навѣдывался только туда разъ въ недѣлю, а все остальное время жилъ дома, въ своихъ садахъ, потому и порядокъ такой строгій держался по его хозяйству, что подъ своимъ глазомъ и рукою все находилось.

Съ раннаго утра, бывало, еще и солнце путемъ не взошло, а уже пестрый халатъ Мать-Ніаза, сшитый изъ дорогихъ шалей персидскихъ, мелькаетъ между деревьями, бѣлая чалма его кесеиная надъ виноградниками колыхнется... Востро держутъ ухо въ ту пору садовники, изъ кожи просто лѣзутъ, стараются...

Были между рабами Мать-Ніаза всякіе люди: были и свои, мусульмане тоже; они хоть и не считались настоящими рабами, только разницы большой отъ того для нихъ не было; были и иранцы, кызыль-баши по-здѣшнему, этихъ всего больше; были и богъ-вѣсть кто такіе, какаго такого народа выродки; были и наши землячки, русскіе, только этихъ немного, всего четыре человѣка: одинъ солдатикъ плѣнный, два казака оренбургскихъ, изъ тѣхъ, что еще изъ подъ Акъ-мечети выловлены были, да купческаго званія одинъ человѣкъ, хлудовскій прикащикъ... Лучшими работниками считалъ Мать-Ніазъ русскихъ, больше всего на нихъ надѣялся, довѣрялъ даже больше, кромѣ развѣ только послѣдняго, потому какъ проворовался тотъ, съ прежней привычки, годъ тому назадъ, такъ съ тѣхъ поръ ключи всѣ отъ него отобрали и, продержавши на цѣпи, на солнцепекѣ, два мѣ-

сяца, приставили у водочаоловъ быковъ погонять, что колесо ворочали.

Трое другихъ, солдатъ и казаки, въ садовникахъ числились, за всѣмъ присматривали, а для черной работы имъ человекъ десятиковъ францевъ пристроили.

Жили всѣ рабы вмѣстѣ; семейнымъ которымъ, тѣмъ особня саялюшки отведены были, на томъ-же дворѣ, а выхода изъ двора того не было другого, какъ мимо главныхъ воротъ, гдѣ ну-керы ханскіе стояли и входъ сторожили.

Кормили рабовъ ничего, порядочно: двѣ лепешки кукурузныхъ утромъ, въ полдень мясное варево, а къ ночи еще двѣ лепешки; воды изъ аршекъ вволю, а чаемъ не баловали. Русскимъ только Мать-Ніазъ велѣлъ выдавать на всѣхъ троихъ „кадагъ“ чаю (немного меньше фунта) на двѣ „луны“; ну, и насчетъ дынь, арбузовъ и винограду изъ хозяйскаго сада имъ запрету не было.

— Пускай сами пробуютъ, что выращиваютъ, говорилъ Мать-Ніазъ, — лучше стараться будутъ.

И, точно, старались его работники, такъ старались, что хозяинъ не разъ говорилъ про нихъ:

— Глядѣть — у нихъ по двѣ руки у каждаго, а по работѣ — словно по дюжинѣ къ каждому плечу подвѣшено.

Жалѣлъ только Мать-Ніазъ, что за послѣднее время привозу совсѣмъ съ русской стороны живого товару не было, особенно за послѣдніе два года, совсѣмъ русскій рабъ перевелся на базаръ, вздорожалъ такъ, что и богатому человеку не всегда подъ силу.

На всякій случай велѣлъ онъ кое-кому, кто рыцетъ больше, приниматься да приглядываться, и ежели что найдется, дать сейчасъ знать ему, объ деньгахъ не спрашивать, потому безъ разговору, безъ торгу платить, лишъ-бы „товаръ“ былъ такой, какой требуется.

XXV.

Услуга за услугу.

Разъ, часъ эдакъ спустя послѣ полудня, лежалъ Мать-Ніазъ въ палаткѣ у прудика, — крестецъ у него разболѣлся, такъ от-

леживался старый, потѣлъ на солнышкѣ; слышать — скрипитъ песокъ подъ чьими-то башмаками, все ближе и ближе шаги эти подвигаются.

Выглянулъ хозяинъ — Дмитрій-ходжа идетъ, веселый такой, улыбається, ротъ свой беззубый показываетъ, издали еще руки къ желудку поджимаетъ въ знакъ почтенія, на ходу кланяется.

— Эге! проговорилъ Мать-Ніазъ. — Гдѣ пропадашь долго, шатался? Ну, аманъ, ходжа! садись тутъ. Какія вѣсти принесъ, что новаго слышно? Ты, я слышалъ, на низы, къ кара-калпакамъ ѣздилъ?

— Аманъ, таксыр! Аллахъ да благословить домъ твой и семью твою, и слугъ твоихъ, и всю скотину. Аллахъ да пошлетъ тебѣ всякой прибыли, женамъ твоимъ каждой по двойнѣ. Въ кладовня — добра всякаго...

— Будеть, будетъ, отмахнулся рукою хозяинъ. — Давно изъ Хивы? Кого видѣлъ?

— Ханъ велѣлъ тебѣ кланяться, поторопился сообщить Дмитрій-ходжа. — Народъ на „низахъ“ много пустого болтаетъ. „Мурадъ“ въ тюрьменамъ побѣжалъ, ханскую бумагу повезъ.

— Давно это? нахмурился хозяинъ. — Ты врешь вѣдь все, въ говорѣ правды ото лжи не отличаешь.

— Въ Мервь побѣжалъ. Вотъ ей-богу самъ видѣлъ; письмо везетъ, сто человекъ нукеровъ съ нимъ.

Не отвыкъ еще Дмитрій-ходжа божиться по-русскому: гдѣ только къ слову придется, такъ въ свою татарскую рѣчь и влѣпитъ. Насчетъ побранки отечественной тоже не забывалъ, любилъ даже очень.

„Надѣлають они бѣды, задумался Ніазъ. — Та еще придется ли, а *эта* дастъ себя знать скоро“.

— Джандаралъ въ Ташкентѣ къ хану писалъ... большую бумагу писалъ. Во!..

— Знаю, самъ читалъ.

— Говорить: „пошелъ вонъ изъ Хивы, Хива русскому царю нужна. Всю воду, отъ верху вплоть до моря, требуетъ. Свою вѣру сюда принесутъ, поповъ пригонять и крестить всѣхъ будутъ...“

— Вздоръ мелешь... Ничего нѣтъ такого.

— За народомъ говорю. Всѣ люди такъ говорятъ, и я го-

ворю за ними. Мать-Мурадъ вонъ тоже... Онъ хану говорилъ, что безъ тюрменъ нельзя отъ русскихъ отстояться. Ханъ звать велѣлъ тюрменъ; по всѣмъ городамъ гонцовъ разослалъ, и подарки послалъ, на двадцати арбахъ. Тюрмены придуть, въ степи русскихъ дожидаться будутъ, сюда, на воду, не пустять... Зададутъ имъ...

— Смотри, какъ-бы нашимъ прежде они не задали. Придутъ русскіе или нѣтъ, это еще никому, кромѣ Бога, неизвѣстно, а напустять сюда эту саранчу—напачетесь съ нею.

— Такъ... Нуверъ ханскій „Омаръ-ша“, глазастый такой, губы красныя, помнишь? Омаръ-ша, авганецъ...

— Ну?..

— Померъ, третьяго дня померъ. Ханъ въ мечеть поѣхалъ, Омаръ-ша за нимъ; лошадь споткнулась, Омаръ-ша голову о стѣну разбилъ; день жилъ, ночь жилъ, а къ утру и померъ.

— Жаль. Сеидъ-Рахимъ очень, думаю, жалѣеть. Другого такого нувера не скоро отыщешь.

— Гмъ!.. потушился Дмитрій-ходжа.— Можетъ и лучше найдется... можетъ...

Хлопнулъ тутъ два раза въ ладоши хозяинъ, прибѣжали два человѣка изъ домашней прислуги; велѣлъ имъ Мать-Ніазъ калынь принести да чаю.

— Въ домъ пойдемъ, говорить хозяинъ гостю, — жарко становится, тамъ подъ навѣсомъ садемъ.

Пошли.

Хозяинъ просто идетъ себѣ, по сторонамъ поглядываетъ, гдѣ вѣтка сухая или листокъ желтый, ломаетъ дорокою. Гость шагаетъ около, важно, прямо глядитъ, голову къ верху задралъ, руки назадъ заложилъ подъ верхній халатъ. Пѣтухъ-пѣтухомъ выступаетъ. Какъ-же ему не заважничаться, коли въ гостяхъ у такого человѣка именитаго, словно равный у равнаго, по-просту, да о политикѣ разговариваютъ.

Пришли подъ навѣсъ, сѣли; большой подносъ мѣдннй со сластями передъ ними поставили, дыню положили желтую, шафранную, и винограду цѣлую корзинку.

— А хорошіе рабы эти русскіе, словно случайно замѣтилъ ходжа, кивнувъ на мелькнувшую въ зелени рубаху садовника.—

Хорошіе рабы. Я приторговалъ одного въ Чимбай; двѣсти тилли запросили.

— Купилъ, что-ли?

— Купилъ.

Протянулъ Мать-Ніазъ руку къ корзинѣ, отщипнулъ ягоду, высосалъ, кожуцу отбросилъ.

Загребъ цѣлую кисть Дмитрій-ходжа, всласть жуеть, инда вода бѣжить по его сѣдой бородѣ.

— А я-же тебя просилъ для меня поискать, коли случится, заговорилъ хозяинъ.—Ты вотъ обѣщаль...

— Я свое обѣщаніе помню. Дмитрій-ходжа что обѣщаль, того не забываетъ. Такъ-то...

— Молодой?

— Не старій, лѣтъ подъ тридцать, не болѣе... силенъ какъ джунъ-барсъ, а смиренъ какъ баранъ... до-о-обрыи!..

Посидѣли немного, пожевали, помолчали. Дмитрій-ходжа зѣвнулъ, ротъ прикрывши.

— Тюркмены въ Чимбай пріѣзжали тоже, заговорилъ гость.— Изъ „Чодоровъ“ іомудовъ четыре человѣка были. Говорятъ: коней уже набѣзжаютъ да потнять *), готовятся значить.

— Они ко всякому случаю придратъся готовы, задумался Мать-Ніазъ.—Они рады. Дурной народъ!

— Шибко они тебя не любятъ, а Мать-Мурада любятъ, общилъ Дмитрій-ходжа.

— Силы нѣтъ у хана, а то-бы я давно ихъ скрутилъ. Гдѣ же тотъ-то? Съ тобой, что-ли?

— Въ „Шабасъ-Валѣ“, дома оставилъ. Да ты не сомнѣвайся. Въ какой здоровый „кулъ“, такая животина!

— Пришли.

— Приведу самъ. Да. Такъ померъ „Омаръ-ша“, такой хорошій нукеръ померъ. Ахъ, да! сынишка мой тутъ на большомъ дворѣ сидитъ. Вели позвать. Оставилъ я его да и забылъ совсѣмъ.

Крикнулъ Ніазъ прислужника, распорядился.

*) Потнять. Передъ походомъ или набѣгомъ тюркмены всегда тренируютъ своихъ лошадей, держутъ ихъ подъ двойными попонами и насаживаютъ, „потъ выгоняютъ“, лишній жиръ спускаютъ.

— Тамъ такой парнишка, „бала“, красный халатъ на немъ! крикнулъ Дмитрій вслѣдъ прислужнику.

— Я завтра думаю самъ въ Хиву поѣхать. Смutilь ты меня своими розсказнями.

— Вотъ хорошо, и я съ тобою. Мать-Мурада нѣту теперь. Хорошо теперь. Саднѣкъ тоже собирается.

— Куда это, въ Хиву, что-ли?

— Не знаю куда. Вчера мимо егѣ садовъ проѣзжалъ, такъ говорили. Я не заходилъ къ нему самъ. Ну его!

— Этотъ волкъ тоже чуетъ, когда падалью воняетъ. Заодно съ Мурадомъ. Имъ хорошо: придетъ бѣда — снялись да откочевали на ту сторону, хоть къ текинцамъ, а намъ здѣсь оставаться.

— Эге! Ну, Балта, поди сюда. Вишь какой онъ у меня молодецъ сталъ, подросточекъ!

Изъ-за угла савли къ навѣсу подошелъ сыннишко Дмитрія-ходжи, поклонился Мать-Ніазу, руки ко лбу приложилъ, по лицу смазалъ себя и присѣлъ на нижнюю ступеньку.

Прямо сверху свѣтило на него яркое солнышко, большая бѣлая чалма, словно снѣжная глыба, горѣла на головѣ мальчика, голубая тѣнь легла отъ нея по всему лицу, длинныя темныя рѣсницы опустились, полныя щеки зардѣлись.

— Хорошъ? залюбовался на него отецъ.—Тринадцатый годъ пошелъ всего. Весь въ мать вышелъ.

Взглянулъ „Балта-Ніазъ“ на отца, словно слезинки въ черныхъ, влажныхъ глазахъ заискрились, и снова потупился, рукавами поясъ свой перебираетъ, красныя, шитыя шелками, полы халатныя оглаживаетъ.

— На вотъ, ѣшь! кивнулъ Мать-Ніазъ на сласти.—Садись, иди ближе. Онъ скромный.

— Нѣжный, ласковый, затараторилъ Дмитрій-ходжа. — Ну, пойди, пойди, кушай вотъ виноградъ. Это хорошій виноградъ, такого у самого хана нѣту, особенный.

— Да, хорошъ, дѣвольно такъ улыбнулся Мать-Ніазъ.—Подъ своимъ присмотромъ у меня выращивали. Изъ Тегерана лозы прислали. Я вотъ веду двѣ корзины такого навьючить, хану свезу. Ну, Балта, ѣшь!

Поклонился мальчикъ, показалъ на горло рукою, значить сытъ очень, икнулъ даже легонько въ рукавъ и отказался. Отецъ бросилъ ему на колѣни вѣточку, тотъ принялъ и опять поклонился хозяину.

— Онъ у тебя хорошо воспитанъ, похвалилъ Дмитрія-ходжу Мать-Ніазъ.

— Во дворецъ къ хану отвези—и тамъ держать себя съужьветъ. Не киргизенокъ какой, самъ училъ.

Опять помолчали, опять пожевали. За кальянъ взялись. Забурлила подъ навѣсомъ эта курительная посуда. Въ угольномъ свѣткѣ душистая смола была подсыпана, запахъ такой хорошей заструился вмѣстѣ съ облачками синеватого дыма табачнаго. Зѣвнулъ хозяинъ, зѣвнулъ гость, зѣвнулъ и Балта-Ніазъ и улыбнулся при этомъ.

— А что, началъ Дмитрій,—Омаръ-ша покойникъ не лучше былъ, какъ ты думаешь?

— Не лучше, посмотрѣлъ Мать-Ніазъ на мальчика.

— Ты посмотри, какъ онъ верхомъ ѣздитъ. Красота, да и только. Я не потому хвалю, что отецъ, а правда того требуетъ. Спроси вотъ кого хочешь, кто его видѣлъ только, иначе и не называютъ его, какъ „розонъ-мальчишка“. Да что тутъ говорить, у самого глаза есть, самъ видишь. Такому нукеру, только и жить, что при дворцѣ ханскомъ. Вѣрно?

— Это ты его на мѣсто „Омаръ-ша“ прочишь? улыбнулся хозяинъ.

— А отчего-бы и нѣтъ? сказалъ Дмитрій-ходжа. — Отчего-бы ему и не замѣстить авганца?

— Такъ.

И опять замолчали, опять подъ навѣсомъ минутъ десять никто не проронилъ ни слова.

— Что-же, похлопочи для пріятеля. Вотъ поѣдемъ вмѣстѣ въ Хиву, его возьмемъ съ собою. Въ добрый часъ хану покажемъ. Я ужъ знаю, какое время для того выбрать, а ты слово замолви. Похвали только. Остальное само собою все сладится.

— Что-же тебѣ выгоды въ томъ? повосился на него Мать-Ніазъ.

— Лестно тоже. Спросятъ: гдѣ, молъ, Дмитрій-ходжа, сынъ твой? А сынъ мой, Балта-Ніазъ, отвѣчаю я, у самого хана

Сеидъ-Рахима-Багодурѣ любимымъ нуверомъ служить. За хвостомъ жеребца ханскаго первыиъ ѣдетъ. Вотъ какъ! Ну, а мнѣ, старому человѣку, утѣха тоже.

— Подарки хорошіе ханъ Омаръ-Ша дѣлалъ, думаешь и твоему то-же будетъ. Борысть тебя мучить. Говори лучше правду. Ты что получилъ отъ хана за жидовку, что у серкера перекупилъ? Ну-ко, сколько тиллей загребъ? Мнѣ вѣдь говорили.

— Цсъ! Не вѣрь людскимъ лъзкамъ. Стану я отъ хана за такой навозъ деньги брать! Халать, точно, получилъ, вотъ этотъ самый, что на мнѣ надѣтъ, а больше ничего. Предлагалъ, точно, мнѣ ханъ денегъ, много предлагалъ, да Дмитрій-ходжа не такъовъ. „Халать съ плеча твоего ханскаго, говорю я, — дороже мнѣ денегъ всякихъ“. Вотъ я какой.

— Ты не дуракъ, что говоришь. Былъ-бы дуракомъ, не сидѣлъ-бы у меня гостемъ. Это правда.

— Гмъ!.. ослабился Дмитрій-ходжа и погладилъ себя по брюху отвислему. — Ты, Балта, вотъ что: поѣзжай домой, возьми съ собою Степана и сюда приведи. Къ ночи вернуться поспѣешь. Да одежду свою забира, самую лучшую, а лошадь осѣдай для себя рыжую съ лысиною. Понялъ? Мы съ тобою завтра, можетъ, къ хану поѣдемъ. Мать-Ніазъ съ собою возьметъ. Ну, поклонись, дурачекъ, да поблагодари хорошенько.

— Торопишься ты что-то.

— Что-же время терять? Ступай, Балта. Дома скажи, чтобы раньше недѣли назадъ не ждали.

Выждалъ Дмитрій-ходжа, когда сынъ его ушелъ, ближе нагнулся къ Мать-Ніазу, почти шопотомъ, на ухо заговорилъ, чтобы не слышалъ кто, кому не слѣдуетъ:

— Это тебѣ въ подарокъ Степана привезъ. Денегъ не возьми. Хотя и дорого онъ мнѣ стоилъ, насилу-насилу выторговалъ, ну, да для друга не жалко. А ужъ ты того, похлопочи насчетъ моего парнишки. Ты только хвали погромче, только хвали. Скажи, молъ, такъ: „Ну, гдѣ противъ него Омаръ-Ша покойнику“, только эти слова скажи. Идетъ, что-ли?

— Нечего съ тобой дѣлать, пожалъ плечами Мать-Ніазъ.

Тутъ нуверъ пришелъ, говорить: люди пришли какіе-то съ „арзомъ“ (просьбою); споръ вышелъ у нихъ изъ-за воды, такъ разсудилъ-бы ихъ Мать-Ніазъ по совѣсти да по закону.

Поднялся Дмитрій-ходжа.

— А мнѣ тутъ въ Шура-ханѣ побывать надо, повидать одного человѣка. Такъ ужь прощай. Да пошлетъ тебѣ Аллахъ благодать и широко отворить двери на небо, въ рай самый, такъ-же, какъ и ты самъ радушно отворяешь путнику двери жилища своего.

— Благодарю. Благословить пророкъ твой путь. До завтра. Я чѣмъ свѣтъ вѣзжаю.

— Догоню дорогою у переправы, пообщалъ Дмитрій-ходжа, и пошелъ черезъ садъ къ выходнымъ воротамъ, совершенно довольный и увѣренный, что съ помощью вліятельнаго сановника пристроить онъ своего сынишку на хорошее и прибыльное, хотя и нивѣсть какое почетное, мѣстныо.

XXVI.

Смутныя времена.

Только успѣла разнестись по хивинскому ханству грозная вѣсть: „идутъ бѣлыя рубахи“,—всполошился народъ по обоимъ берегамъ Аму-Дарья, всполошились и сосѣднія степныя становища.

Кому горе пришло да заботы о добрѣ своемъ, о семьяхъ, о своей головѣ: уцѣлѣетъ еще на плечахъ?—кому время настало желанное, давножданное, время веселья и радости, безшабашной удали, время, удобное для легкой и богатой поживы.

Городскіе люди, земледѣльцы, купцы, промышленники, всѣ, кто крѣпко привязанъ къ одному мѣсту, кому уйти некуда, всѣ головы повѣсили... Туремны за то съ Талдыка, изъ Чандыра, отъ Атрена до самаго Мерва отдаленнаго лихо, ястребами стали поглядывать изъ-подъ своихъ бараньихъ шапокъ... „Что же, думаютъ, безъ насъ не обойдется, погрѣшемъ руки на чужомъ пожарищѣ, въ взыбаломученной водѣ половимъ рыбицы!“

Не успѣлъ Мать-Мурадъ кличь кликнуть къ этимъ разбойникамъ, не успѣлъ ханъ разослать имъ халаты почетныя да подарки „призывныя“, а ужь тѣ и нагрянули.

Мало имъ было заботы о русскихъ: „придутъ, либо нѣтъ; не разъ въ прежнія времена собирались, пробовали даже, да не

доходили...“ Со стороны песковъ, отъ кызыль-кумской стороны, прїѣзжали люди. „Тамъ, говорятъ, и не пахнетъ еще въ воздухъ „бѣлою рубахою“. Ну, а пока что разсыпались волки по городамъ и кишлакамъ, словно саранча голодная разползлась по зеленому полю.

„Мы-де васъ защищать пришли. Безъ насъ вѣдь все равно пропадете: русскіе солдаты... вы еще не видали ихъ пока, а мы уже не разъ силами мѣрились, мы знаемъ... Они васъ всехъ какъ мухъ переморятъ; въ вашихъ крѣпостяхъ, „горшкахъ глиняныхъ“, пушки-то ваши—воробьямъ ночевать норы, своихъ бьютъ больше, чѣмъ врага,—онѣ вамъ не помогутъ... На насъ однихъ, „бывалыхъ“, только и надежда вся ваша, ну, и чувствуйте это, растворяйте шире ворота домовъ вашихъ, встрѣчайте гостей дорогихъ угощеніемъ да почетомъ заслуженнымъ.

„Мы налегѣвъ изъ дому вышли; харчей для себя, для коней нашихъ продовольствія намъ не таскать съ собою: ваше дѣло о томъ и другомъ позаботиться. Одежу свою тоже вотъ мы изнашиваемъ, треплемъ,—тащи намъ халаты на смѣну... Опять жены наши гдѣ? всѣ дома остались, ну а человѣку безъ жены никакъ невозможно. Поняли вы, мирные граждане? Опять и съ пустыми руками дохой намъ ворочаться не приходится—тѣмъ живемъ, сами знаете...

„Не отдашь добромъ, честью не вступишь—все равно, ворвемся силою; самъ ханъ для насъ ни казны, ни харчей, ничего не жаждеть; вонъ какія грамоты выслалъ намъ: „любимымъ воинствомъ Аллаха великаго“ называетъ, „оплотомъ престола ханскаго“ величаетъ... Такъ и знайте-же, что на то есть его воля ханская.

„Ни суда на насъ нѣтъ, ни расправы. Все равно: мы уйдемъ—и вы сами, и добро все ваше гаурамъ невѣрнымъ достанется. Ну, а даромъ головы свои подставлять подъ пули да пушки русскія, горластыя, намъ не приходится...“

Житія просто не стало мирному человѣку, землепашцу да горожанину.

А тутъ еще новыя вѣсти принесло вѣтромъ: „съ трехъ сторонъ идутъ полки русскіе, не съ одного Ташкента,—и изъ-за моря Аральскаго пруть, и съ кавказской стороны двигаются, на

Иркиябай валать, а ужь на Адамъ-Брыганъ самыя страшныя, самыя грозныя батальоны подходятъ“.

Не знаетъ ханъ, въ какую сторону и броситься, не знаетъ слушать кого, совсѣмъ потерялъ голову.

Не время ему разбирать мелкія жалобы на безчинства „любимаго войска аллахова“ — всякъ о себѣ, значить, думай и заботься, ладь какъ хочешь, — если сила есть, постой за себя хоть силою.

Далеко еще были отсюда — „бѣлыя рубахи“, широкія степи, мертвыя пески ихъ отдѣляли, а ужь въ ханствѣ не разъ слышались звуки выстрѣловъ, не разъ поднимались къ небу черныя столбы дыма пожарнаго, не разъ закаленная сталь шашекъ и ножей, мирное желѣзо кирокъ и лопать горячею кровью обливалось.

Расходились тюркмены такъ по всѣмъ городамъ и кишлакамъ ханства, какъ и у насъ на Руси казачья вольница въ тяжелую годину междуцарствія.

XXVII.

Земляки-товарищи.

Съ недѣлю времени прошло, какъ Дмитрій-ходжа привелъ въ садъ Матъ-Ніаза свой „живой подарокъ“.

Сейчасъ-же назначили Степана-Малыша въ садовники. Велѣли сначала приглядываться къ дѣлу, пока пруды чистить, тину да листья палые сволокивать съ ихъ поверхности, дорожки мести и выпалывать, арбы копать, — черную все больше работу дѣлать.

Ожилъ просто новый садовникъ, между своими очутившись, между земляками, шибко имъ обрадовался; да и тѣ тоже довольны были новымъ товарищемъ, ласково такъ приняли, другъ передъ другомъ угождать ему спѣшили.

Первымъ дѣломъ о житіи своемъ непрерывно рассказывать начали, высказаться словно торопились новому человѣку, потому что его самого стали спрашивать, такъ и засыпали парня перекрестными вопросами.

Всѣ отдыхи да ночное время безъ сна, въ разговорахъ проходило, за работою даже межъ кустовъ да градъ перекрикивались, особливо какъ *самого* въ саду не было; при немъ стихали...

Казаки, Мартышевъ и Пашка Рубчиковъ, тѣ все про свою станицу Хабарную разспрашивали; только Степанъ мало чего могъ рассказать имъ объ ихъ родномъ углѣ. Помнилъ только, что лѣтъ эдакъ пятокъ тому назадъ проходили они обозомъ, когда къ Орску шли, мимо Хабарной, тутъ еще гора такая была крутая, каменная.

— Ну, вотъ-вотъ, она самая, гора эта, Лисуха прозывается, перебивали другъ друга Мартышевъ и Пашка Рубчиковъ.— Она самая; тутъ это гора, а внизу-то мосточекъ былъ, ива такая росла около него развѣсистая, душлястая.

— Можетъ, и росла, не помню, говорилъ Степанъ;— гдѣ помнить: пять годовъ, почитай.

— Была, голубчикъ, была Лисуха гора; знаетъ онъ, видалъ Лисуху-то нашу, поталкивалъ въ бокъ Мартышевъ Пашку;— слышалъ, нѣтъ, ты слышалъ? Вѣдь вотъ живой человекъ говорить.

— Лн-суха... тянулъ Пашка Рубчиковъ и глаза даже щурить, самъ къ своему слову прислушивался.

— Не слыхать, милый человекъ, про хозяина нашего, Михайлу Алексѣича? пыталъ тутъ Степана и бывшій прикащикъ Хлудовскій;— сказывали, будто выкупъ онъ хотѣлъ прислать за меня, значить?

— Не слыхалъ, сердешный, не слыхалъ про такого, печалился Степанъ;— про Михайлу Алексѣича, говоришь ты?

— Хлудова, значить. Это. братецъ, такой хозяинъ, что рубахи своей не пожалѣетъ. И какъ былъ я у него первымъ человекомъ, почитай правою рукою, всѣ обороты мною обработывались, по конторской части тоже все я...

— Да ну! отстраняли его казаки.— Не помнишь-ли ты, другъ, въ Хабарной Дужнина, Прокофія? во какая борода рыжая, вплоть до пояса? Домъ у него отъ угла третій, съ почтовою станціею рядомъ.

— Не помню, голубчикъ, не помню, сокрушался Степанъ, на себя даже взглядъ, какъ онъ ничего такого не помнить и не

знаеть. Какъ-бы теперь эти ребята обрадовались! все одно, какъ благовѣсть праздничный.

Егоръ Власовъ, солдатикъ, тотъ больше всѣхъ со Степаномъ сдружился. Былъ онъ уже пожилой человѣкъ, старо-служилый ундеръ; коли-бы въ плѣнъ не попался, давно-бы въ чистую отставку вышелъ-бы. Грамоту бойко зналъ, насчетъ политики тоже кое-что понималъ, понатерся на службѣ.

Про слухи о скоромъ нашествіи русскихъ на земля хивинскія онъ первый развѣдалъ.

— Ну, говорить разъ какъ-то,—чуветь мое сердце, что скоро шабашъ житью нашему собачьему.

Хорошо, что никто изъ чужихъ не слыхалъ этихъ его словъ, а то-бы ему Мать-Ніазъ показавъ *шабанизъ*. Не посмотрѣлъ-бы на его медали да шевроны, избавляющіе отъ „*тѣлеснаго*“.

Потихоньку, шопотомъ, украдкою бродила молва эта радостная между плѣнниками; повеселѣли всѣ, подбодрились. Только Степану одному было отъ той молвы какъ-будто ни тепло, ни холодно. Не радовали его особенно эти вѣсти, да и не печалили очень тоже.

Глубоко забрался паренъ въ свою колею, „въ волю Божью“, слѣпо идетъ онъ по ней, машина словно какая, колесо безсловесное, куда, молъ, Господь этою колеєю его выкатить?

И не рассказывалъ онъ даже никому, какъ онъ попалъ сюда, въ неволю, кого онъ тутъ разыскиваетъ. Насчетъ послѣдняго спрашивать страшно какъ-то было, языкъ не поворачивался... А ну, молъ, какъ скажетъ кто: „пропала давно совсѣмъ твоя Марина“? Незнатье все-таки лучше такого извѣстія, а насчетъ перваго, такъ съ чимбайской побывки зароевъ молчать даль...

„Еще, пожалуй, какъ на тѣхъ двухъ братьевъ, бѣду какую своею болтовнею накличешь“, думалъ паренъ. „Съ берега, изъ рыболовной артели выловили“, отвѣчалъ онъ тѣмъ, кто его о томъ спрашивалъ.

Поздоровѣлъ Степанъ скоро на новомъ своемъ мѣстѣ, поправился. Работа не то чтобы слишкомъ тяжелая: цѣлый день въ саду, на вольномъ воздухѣ,—куда лучше, чѣмъ у братьевъ на озерахъ, съ комарами да въ сырости... Тутъ тебѣ птички разныя порхаютъ, чиликаютъ, и желтобобенья, и красногрудки, какихъ-какихъ только нѣтъ!.. По ночамъ, на заряхъ соловьи

заливаются въ густыхъ виноградникахъ... Аисты долгоногіе гнѣзда себѣ строятъ на вышкахъ, косматны такіа, птенцовъ выводятъ на глазахъ у человѣка, не боятся его, не прячутся,—домашняя птица! Вода бѣжитъ змѣйками по аркамъ, веселая такая, чистая, духъ такой хорошій отъ фруктовыхъ деревьевъ поднимается, молоденькіе тополи смолою пахиваютъ... Рай земной, да и только, особливо послѣ побывки у Дмитрія-ходжи, въ тѣсныхъ сакляхъ, въ „Шабасъ-Вали“ городѣ, гдѣ онъ конецъ зимы доживалъ, пока его сюда на предоставили...

Чѣмъ не житье? Одно только бѣда, что за стѣнами высочини, подневольное...

А тутъ еще и земляки нашлись, есть съ кѣмъ слово съ русскимъ, роднымъ перемолвиться. Молиться станешь—никто изъ чужихъ не видитъ тебя, не насмѣхается... Иранцы только, собачьи черномазны, хихикаютъ изъ-за кустовъ... Ну, да Господь съ ними!..

Самъ ину пору пѣсню свою какую затынешь—съ другого конца сада откликнется землячокъ, подтянетъ, подголосокъ донесется... Ну, и встрепенется сердце, разыграется жалость. Ину пору даже совсѣмъ весело станетъ... Нѣтъ, ничего, жить можно!

— А тамъ Господь Богъ пошлетъ. Онъ вѣдь все можетъ, все въ Его святой волѣ... пошлетъ Господь, найду я ее, увижу, заговорю, значить... Такъ скажу: ну, Марина Денисьевна, здравствуй... Вотъ я это... то-есть... какъ, значить...

И не знаетъ Степанъ, что онъ скажетъ ей дальше такое, какую рѣчь поведетъ, встрѣтившись... Подступятъ слезы къ горлу у него, какъ только вспомнитъ о ней, на половинѣ замаха рука рабочая остановится и тихо опустится на землю тяжелая лопата...

— Э-гмъ! покашливаетъ чуть слышно старикъ-хозяинъ бѣдовый, легко такъ топчуть по утрамбованному песку его сапоги остроносые, съ острыми, кованными серебромъ каблучками; шелестятъ шелковныя полы халатныя, живые глаза вправо и влево такъ и бѣгаютъ, за работниками да за дѣломъ ихъ зоркоглядываютъ.

— Ну, ну, не стой такъ, шепчетъ тихонько Степану Егоръ Власовъ, ундеръ,—хоть для виду помахивай; нашъ-то сѣдобородый лють, бѣда не любитъ этого...

И снова заерзаетъ по песку дорожки желѣзо Степановой лопаты, заглушить немного тяжелую тоску работа усиленная...

— Мать-Ніазъ опять что-то въ Хиву собирается, сказалъ въ тотъ вечеръ прикащикъ хлудовскій.—Я у нукеровъ на переднемъ дворѣ навозъ убиралъ, такъ слышалъ, разговаривали какъ объ этомъ.

— Скоро, братцы, скоро, голубчики, говорилъ тутъ, себѣ-на-умѣ, ундеръ-политикъ;—чуетъ мое сердце, чуетъ, доброжь въ воздухѣ запахло... Недаромъ мнѣ четвертую вотъ ночь ротная собака „Буцый“ все снится: подбѣжить это песикъ, лизнетъ въ рыло: „вставай, дескать, Егоръ Власовъ, поднимай капральство на ноги, въ авангардѣ уже подьемъ ударили, верблюдовъ вьючить начали“... Не проста все это!.. Скоро...

XXVIII.

Жаловы на овидчиковъ лютыхъ.

Съѣздивъ еще разъ Мать-Ніазъ въ Хиву, вернулся назадъ скоро, и трехъ сутокъ не былъ въ отлучкѣ.

— Ну, вѣрно, что-то не ладно, говорилъ одинъ изъ нукеровъ подь навѣсомъ, когда лошадей убирали.

— Да, сердить шибко, говорить другой,—меня вотъ ни за что, ни про что сапогомъ въ скулу двинулъ, когда я его съ лошади снималъ... А брови-то у него словно срослись надъ носомъ, хмурится.

— Съ Мурадомъ поругались, должно быть...

— Не безъ того, видно...

— А Саднкъ вольницу собираетъ, всѣ дворы заставлены лошадьми, рассказывалъ третій, изъ тѣхъ, что виѣтѣ съ Мать-Ніазомъ въ Хиву ѣздивъ.—Мы проѣзжали—даже встрѣтить не вышелъ, Саднкъ-то, а прежде всегда у него мы останавливались, хорошо принималъ.

— „Вьючекъ“ *) у насъ одинъ чудно какъ пропалъ доро-

*) Вьючная лошадь.

гою: сзади бѣжалъ, безъ повода; только-только завернули за уголъ, у топодей Булгаева сада, глядимъ—нѣтъ... Двое насъ вернулись, прогнали обратною дорогою версты четыре—нигдѣ не видать, сгинулъ, да и все тутъ!

— Можеть, раньше отсталъ гдѣ, а вы не доглядѣли... проглядѣли, ворони! На переправѣ глядѣли?

— Лошадь старая, никогда на шагъ не отставала, особенно ежели къ дому дорога... Нѣтъ, ужъ это навѣрное украли.

— Что мудренаго по теперешнему времени, что мудренаго... Что везли на вычкѣ-то?

— Пустое дѣло: коржунъ съ ячменемъ да котель... Бониса теперь: какъ-бы самъ-то не хватился...

— Ну, да найдется! *Намъ* велить разыскать—изъ-подъ земли выкопаетъ да доставятъ. Бывало ужъ такъ-то.

— Не то теперь... Нѣшто на *нихъ* найдешь управу?... *Они* вотъ кромѣ Мурада знать никого не хотятъ.

— Ну, нечего сказать, пришло времячко...

И точно что сердить шибко вернулся Мать-Ніазъ съ этой своей послѣдней поѣздки къ хану... Отъ хана Сеидъ-Рахима-Багодуря никакого толку добиться не могъ; и туда, и сюда тотъ, какъ волкъ въ тенетахъ, мечется, всякаго равно слушаетъ, въ день по десяти приказаній дѣлаеть, одно другому напротивъ. Войско ханское, пѣхота то-есть, на половину поразбѣжалась; что собралъ Ніазъ, велѣлъ на этотъ берегъ переправляться; пушки совсѣмъ таскать за собою невозможно: колеса разохлись—разсыпаются, только съ мѣста ихъ стронешь; всѣхъ армянскихъ мастеровъ сбиль Мать-Ніазъ на работу, на пушечный дворъ. Мать-Мурадъ въ глаза смѣется: „гдѣ, говорить, тебѣ съ этимъ супротивъ русскихъ пушекъ становиться. Мои туркмены, вотъ тѣ такъ сѣумѣютъ постоять... А ужъ ты, другъ, лучше съ своими сарбазами и не суйся... Сидите по крѣпостямъ да изъ-за стѣнъ воронъ пролетныхъ пугайте“. Пробовалъ Мать-Ніазъ о переговорахъ съ русскими заговорить съ ханомъ, такъ на него всѣ мушкетеры, весь духовный народъ озлился, убить даже грозилась... Провѣзжалъ Ніазъ базаромъ хивинскимъ, самъ за спиною слышалъ, какъ его „прихвостникомъ русскихъ“ обозвали.

Садныкъ, собака, шатунъ степной, какъ юлилъ прежде, его милостью только и дышалъ, изъ-подъ его руки все норовилъ

дѣлать, за каждымъ совѣтомъ къ нему прѣвзжалъ, а теперь вишь какъ носъ поднялъ: диванъ-беги мимо дома его ѣдетъ, а онъ не то что самъ не вышелъ, а и „дастарханъ“ *) не выслалъ, почетной палатки не велѣлъ на дорогѣ поставить... Хорошо-же!

Вездѣ гонцовъ разослали, народъ отъ работы рвутъ въ самое трудное, посѣвное время... Туркмены дома грабятъ, женщинъ воруютъ, отъ хана никакой нѣтъ защиты,—что мудренаго, если приходу русскихъ обрадуются, съ хлѣбомъ-солью ихъ встрѣтятъ? Нѣтъ, плохо, когда властелинъ не въ народѣ своемъ, а съ чужой стороны поддержку имѣетъ...

Не на-столько глупъ Мать-Ніазъ, чтобы не видѣть, чѣмъ все это должно кончиться; руки у него просто опускаются отъ всѣхъ этихъ неудач... Какъ ни бейся, какъ ни мечись изъ стороны въ сторону, а все равно одинъ конецъ всему будетъ, и конецъ этотъ—гибель ханства хивинскаго.

Одна надежда на Аллаха осталась... Посмотримъ теперь, насколько онъ хивинскому народу покровительствуетъ!

Не успѣлъ Мать-Ніазъ отдохнуть порядкомъ съ дороги, какъ передъ садовымъ навѣсомъ столько народу набралось, что всю площадку заняли... Сидятъ всѣ густыми рядами, чалмы да шапки точно грибы скучились,—говоръ глухой носится по саду: всякъ хоть тихонько, шопотомъ говорить, да много ихъ больно, вотъ и слышно; черезъ дворъ да черезъ сагли до самаго уха Мать-Ніазова этотъ гомонъ доходить... Разбудили хозяина, дѣлать нечего.

— Съ арвомъ пришли люди да съ жалобами, докладываютъ Мать-Ніазу.—Тебя выйти просить.

Вышелъ.

Разомъ взвылъ народъ, какъ только показался розовый халатъ диванъ-беги... Наперерывъ всѣ заговорили; кто плачетъ да одежду рветъ на себѣ руками, кто рожу царапаетъ до крови. Одинъ старикъ такъ ползкомъ ближе всѣхъ подобрался, нагнулся, землю ѣстъ да на голову себѣ сыплетъ.

*) Угощеніе.

— Заступись, разсуди по-правдѣ, выручи! — только и можно разобратъ слова эти въ общемъ говорѣ...

Махнулъ рукою Мать-Ніазъ, нукеровъ крикнулъ, унять велѣлъ. Тѣ принялись — живо уняли.

— Разсказывай всякъ по порядку, говорить диванъ-беги, — что такое случилось?..

Начали разсказывать.

— Пришли, говорить, ко мнѣ два „чодора“ *)... Я самъ на полѣ былъ, табакъ окапывалъ; прибѣжалъ ко мнѣ мальчишка-сынъ, кричитъ: „ата, ата, каракъ **), бѣду въ кибиткахъ дѣлаютъ!“ Я туда, сосѣда Ибрагима крикнулъ; прибѣгаю, а ужъ они всѣ ковры пообдирали съ кибитки, въ тѣни свернули да на мою-же арбу наваливаютъ... Только сунулъ я къ нимъ, а одинъ какъ цапнетъ меня!.. Вонъ какъ разсадилъ щеку, погляди, таксыръ, вонъ какъ!

И жалобщикъ сталъ развертывать окровавленную тряпку, которою пол-лица завернуто было...

— У меня двухъ кобылъ и ишака украли въ прошлую ночь, съ приколовъ, у самого дома обрѣзали...

— Всю траву съ сѣянаго поля выкосили, пшеницу потоптали, на цыпочки поднялся, ореть черезъ головы третій. — Чѣмъ теперь я свою скотину кормить буду, чѣмъ?..

— Не заботься о ней, о скотинѣ-то, ворчитъ сосѣдъ: — гляди и ее отберутъ, заботу съ тебя о кормѣ снимутъ.

— Таксыръ, таксыръ, прикажи дочь мою воротить, рыдалъ пожилой узбекъ. — Всего тринадцать лѣтъ дѣвочкѣ; прикажи воротить!.. Отняли ее у меня, увезли... Я знаю кто, я скажу, прикажи воротить только!.. Ассаль моя, Ассаль!.. Аллахъ, Аллахъ, что только они съ нею дѣлаютъ?..

— Двухъ рабовъ отняли, домъ сожгли, жену чуть не убили... словно про себя, въ бороду, бормочетъ высокій, сухой старикъ, и мнетъ пальцами кончики своего растрепаннаго пояса...

— Лавку мою съ халатами всю до-чиста обокрали, жаловался купецъ изъ Шабасъ-Вали. — Я выслѣдилъ, куда повезли; все къ Дмитрію-ходжѣ, и у него въ домѣ спрятали... Онъ теперь

*) Названіе одного изъ родовъ туркменскихъ.

***) Ата — отецъ.

заодно съ турменами, Дмитрій-ходжа-то... Покрываетъ ихъ, лишь-бы только его самого не трогали...

Нахмурился Мать-Ніазъ, какъ про Дмитрія-ходжу заговорили. зубы заскрипѣли инда съ досады, потянулъ изъ кальяна сильно, закашлялся, побагровѣлъ весь.

— Ну, говоритъ, рассказывай дальше... Ты зачѣмъ пришелъ? говори, всё, всё говори.

Выдвинулся тутъ человѣкъ весь въ лохмотьяхъ вмѣсто одежды, грудь до самаго брюха голая, на спинѣ тоже тѣло избитое просвѣчиваетъ, руки трясутся, а глаза какъ у помѣшаннаго смотрятъ.

— Видишь, видишь, говоритъ этотъ оборванецъ, — видишь? что, хорошъ я, а? какво нарядился?..

Сталъ онъ вертѣться передъ Мать-Ніазомъ, то спину показываетъ, то передъ, и плачетъ, и смѣется вмѣстѣ, — видимое дѣло — человѣкъ умою тронулся!..

— А былъ я богатый, — еще недавно былъ богатый, бормочетъ онъ. — Три жены имѣлъ, шесть лошадей, карамаль много, кибитки двѣ, въ городѣ лавку... а теперь ничего нѣтъ, ничего... Вторую недѣлю, какъ уже ничего нѣту... Я хорошо одѣвался прежде, спроси кого хочешь, а теперь... Эге!.. о-го-го!.. Бара-кельды... Бара-кельды!..

И онъ снова завертѣлся передъ диванъ-беги, даже запрыгалъ на мѣстѣ и въ ладоши захопалъ.

— Ассаль моя, Ассаль... хныкалъ узбекъ. — О, разбойники, о, собаки... Да будете вы прокляты!.. Ассаль, Ассаль, бѣдная моя дочь, несчастная дѣвочка!..

— Ну, довольно, не выдержалъ больше Мать-Ніазъ. — Что я могу вамъ сдѣлать?.. Ничего не могу... Нѣтъ больше на то моей силы прежней... Больше ко мнѣ съ жалобами не приходитъ... Ступайте... Терпите, пока терпится... Времена переимѣнятся; можетъ, лучше будетъ... Молите о томъ Аллаха всемогущаго...

Повернулся онъ, пошелъ къ двери, ступилъ одною ногою черезъ порогъ... Какъ громомъ пораженная стихла разомъ толпа, тишина такая настала... Обернулся неволью Ніазъ — всё глаза на него смотреть... рты беззубые, стариковскіе, такъ и остались открытыми. Полоумный даже пересталъ коверкаться...

— Поймайте мнѣ хоть одного, хоть одного живымъ приве-

дите... О, я знаю, что надо сдѣлать, я знаю!.. Съ живого шкуру велю содрать, на медленномъ огнѣ изжарю... Только приведите...

Сказалъ это Мать-Ніазъ и хлопнулъ за собою рѣзною дверью, а тамъ и другая дверь, дальняя, слышно было, какъ завизжала на желѣзныхъ петляхъ и о косяки щеленула... Ушелъ.

И долго еще молча стояла толпа жалобщиковъ, потому одинъ по одному расходиться стала, и опустѣла, наконецъ, площадка передъ навѣсомъ дворца Мать-Ніазова, только лоскутъ тряпья какого-то красноватаго лежалъ на утоптанномъ пескѣ. То помѣшанный оторвалъ и бросилъ свою послѣднюю халатную полу.

Въ ту-же ночь весь дворъ Мать-Ніазовъ поднялся на ноги. Стукотня такая раздавалась въ ворота, что чуть тѣ съ петлей не поскакали... Голоса слышались, все отворить поскорѣе просили... Что такое случилось?

Выглянули осторожно нуверы черезъ зубцы стѣнъ,—все тотъ-же народъ, что и утромъ приходилъ... Между ними только нѣсколько чужихъ видно; лежать на землѣ эти чужіе, словно кульки какіе, по ногамъ, по рукамъ связаны, пошевелиться не могутъ, мычатъ только да ругаются.

Отперли ворота, впустили. Мать-Ніаза разбудили... Всѣ сошлись глядѣть: что такое?

— Ты намъ сказалъ: одного хоть приведите, живого, говорятъ жалобщики Мать-Ніазу.—Мы вотъ тебѣ семерыхъ притащили... Все наши обидчики, всѣхъ въ лицо узнали... Мы ихъ сонныхъ перевязали, и лошадей ихъ отобрали, и оружіе все. Вотъ оно, получай, и суди разбойниковъ по справедливости.

Свалили въ ногамъ Мать-Ніаза нѣсколько ельничей (сабель) да два бултука фитильныхъ, ножей связку и одну пику, длинную-предлинную, съ тонкимъ остриемъ и волосаюю кистью, изъ хвоста конскаго.

— Этихъ оставьте, сказалъ имъ Мать-Ніазъ,—а сами съ Богомъ уходите; завтра утромъ придете—судъ начну... А, разбойники, попались въ мои руки, ну, теперь Мать-Мурадъ васъ не выручить... это вѣрно!

— Ни въ чемъ мы не виноваты... они вонъ сами разбойни-

ки, на спящихъ людей накиннулись... А ты отпусти-ко насъ добромъ, не пожалѣешь послѣ, проворчалъ одинъ изъ связанныхъ.

— Гляди, какъ-бы самому за насъ худо не было, проворчалъ другой.—Берегись, Нязъ, слышишь?..

— Замажь-ко имъ глотки хорошенько да свали пока въ яму, распорядился Мать-Нязъ.

Бросились нукеры его на туркменовъ, поволокли на задворокъ,—по землѣ такъ и потащили...

— Позволь намъ тутъ, въ твоемъ дворѣ, остаться до утра? просили жалобщики.—Какъ мы домой поидежь?.. Ихніе тамъ стерегутъ, можетъ, всѣхъ насъ порѣжутъ,—позволь тутъ остаться.

— Оставайтесь, ладно...

Велѣлъ Мать-Нязъ ворота заперѣть крѣпко-на-крѣпко, калитки какія повалялись чѣмъ, по стѣнамъ сторожей разставить и глядѣть, пока что, въ оба.

Народу плову сварить велѣлъ, барана зарѣзать, самъ домой досыпать ушелъ, а на дворѣ разложили большой костеръ, яркій такой, всѣ углы освѣтило, кони даже съ непривычки въ стойлахъ забились, увидавъ на стѣнахъ свои собственныя тѣни вытянутыя.

Сталъ народъ грѣться, обступили огонь тѣснымъ кругомъ, руки протягиваютъ, разминаются...

— Ну, братцы, говоритъ своимъ прикащикъ хлудовскій,—у насъ на завтра такое дѣло готовится, что поглядѣть занятно... только-бы для насъ бѣдою какою это дѣло не выгорѣло...

И оказались эти его слова словами пророческими, вѣщими.

XXIX.

Судъ и расправа.

Только разсвѣтъ занялся, опять поднялась во дворѣ тревога: пятеро плѣнниковъ ушли, двое только остались на мѣстѣ... И какъ это случилось—никто и догадаться не могъ.

Яма глубокая, а выползли; на плечи, звать, другъ дружкѣ становились, иначе никакъ невозможно. Нижнихъ двухъ вытащить не успѣли, должно бытъ; а что развязались, такъ ужъ это

имъ помочь кто изъ нашихъ, потому сами не могли никакимъ образомъ.

Поискали по двору да по садамъ сначала, не здѣсь-ли, молъ, спрятались, да на слѣдн наткнулись, какъ они подь стѣну, прыкомъ, что воду проводилъ, проползли, ну и искать, значить, больше незачѣмъ.

— Ну, и эти двое за всѣхъ отдются, рѣшилъ Мать-Ніазъ, когда узналъ о ночномъ побѣгѣ.

Оробѣли шибко жалобщики, да и нукеры Мать-Ніазовы неспокойны были. Вѣдь тѣ-то, бѣжавшіе, пожалуй, своихъ соберутъ да на выручку явятся. Какъ-бы худо чего не было, до рупкопашной не дошло-бы.

— Наказать-бы этихъ только палками да отпустить... зачѣмъ рѣзать?.. не надо проливать ихъ крови, стали тихонько межъ собою поговаривать домочадцы и слуги Мать-Ніазовы.

— Пожалуй, что и такъ можно; что ихъ раздражать! сталъ подумывать и самъ Мать-Ніазъ, когда успокоился да вышелъ утромъ чинить судъ и расправу.

— Въ твоихъ рукахъ, о, Аллахъ, и жизнь наша, и головы наши! вздыхали только опечаленные жалобщики.

А человѣкъ до ста конныхъ уже спѣшили по двумъ дорогамъ къ Мать-Ніазовымъ садамъ: которые еще далеко скачутъ, только пыль видна по дорогамъ, между садами да стѣнками, которые доскакали уже, у воротъ толпятся запертыхъ да вокругъ ѣздять, коней успокоиваютъ.

Между ними и тѣ пятеро бѣжавшихъ. На крупахъ чужихъ лошадей сидятъ, за поясъ передняго руками держутся. Ихъ-то кони въ Мать-Ніазовыхъ конюшняхъ заарестованы, такъ вотъ выручать пріѣхали.

Сбилъ Мать-Ніазъ всѣхъ нукеровъ своихъ, человѣкъ пятьдесятъ насчиталъ; подержаться за стѣнами можно. Выслалъ одного изъ своихъ переговорить: „Что, молъ, надо, да зачѣмъ пріѣхало столько?..“ будто самъ и не знаетъ, не догадывается даже.

Начались переговоры.

Съ внутренней стороны, изъ-за зубцовъ, говорятъ, а снаружи, съ лошадей, ругаются, оружіемъ грозятся.

— У васъ тутъ люди наши спрятаны! кричать тюркмены.—
Подавай ихъ назадъ, что-ли!..

— Есть, говорятъ со стѣны,—у насъ два вора пойманныхъ,
а ваши они или чьи другіе—не знаемъ. Вотъ накажутъ ихъ по
закону и отпустятъ.

— Не воры то! Сами вы воры, разбойники!.. Только смѣйте
пальцемъ тронуть слугъ первыхъ ханскихъ, за одного десяти-
рышъ горло порѣжемъ; выдавай ихъ сейчасъ, коли головы свои
дороги.

— Первый слуга ханскій самъ хозяинъ нашъ, диванъ-бѣги,
Мать-Ніазъ, по его волѣ все дѣлается... а вы вотъ на его дождь
силою прете. За это тоже вамъ и отъ хана достанется, не по-
хвалятъ.

Стали тутъ тюркмены перешептываться между собою. Точно,
оно дѣло-то северное. Мелкій народъ щипать, ну, ничего еще,
можно, а какъ тутъ такого крупнаго гуся тронуть?—не въ при-
вычку тоже, опять-же и помнить они, что Мать-Ніазъ, когда
расходится, тоже шутить не любитъ. Неловко!..

— Отъ насъ еще пятеро бѣжало, говорятъ со стѣны.—Вонъ
они, тѣ пять-то, съ вами теперь. Вы намъ должны ихъ сейчасъ
головами выдать, а не супротивничать. Всѣ мы одному хану,
подъ однимъ закономъ служимъ, не враги какіе, что другъ про-
тивъ друга должны желѣзо точить, порохъ жечь даромъ.

— Ну, вы-то слуги плохіе, съ нами не равняйтесь, бахва-
лятся разбойники. — Коли-бы хороши были, насъ-бы не звали.
Такъ какъ-же насчетъ дѣла нашего? Выдавайте, что-ли!..

— Всполосуемъ имъ спины, какъ слѣдуетъ, тогда и выда-
димъ. Зализывайте имъ языками рубцы, получайте съ Богомъ,
небойсь чержать не станемъ; даромъ кормить ихъ, что-ли!..

— Береги свои спины лучше, добромъ говорятъ!.. Не мало
насъ сюда съѣхалось, вонъ и еще народъ собирается. Ой, худо
будеть!

— Да и насъ тоже здѣсь не два человѣка; не показывай
больно зубовъ: гляди, какъ-бы не вышибли.

Только и слышно, вмѣсто переговоровъ настоящихъ, что ру-
гань одна; никакого толку не выходитъ.

— Пускай Мать-Ніазъ самъ выйдетъ! кривнулъ одинъ изъ конныхъ.— Или насъ впустятъ, все равно.

— Что васъ пускать, не гости какіе. Уходите по-добру, по-здорову. Самъ выйдетъ, онъ васъ погонитъ.

— То-то вонъ онъ и прячется. Пожалуй, теперь со страху подъ одъяло къ женамъ забился.

— Прочь отъ стѣнъ, собаки! прочь, воры ночные, стрѣлять будемъ! Гайда, отходи!

— Ну, полегче. А что, давай ворота высаживать? Слѣзай съ лошадей. Гей-гей, сюда, собирайся!

Плохое дѣло задумали туркмены, и впрямь стали съ коней слѣзать. Много ихъ столпилось у воротъ, не боятся даже, что сквозъ зубцы глядятъ на нихъ концы мултуковъ и фитиля дыматся.

Мать-Ніазъ пришелъ тутъ. Онъ все почти слышалъ; какъ смерть идетъ блѣдный, только не со страху, надо полагать. За нимъ плѣнныхъ тѣхъ двоихъ волокутъ. Исполосовали-таки ихъ порядочно, чуть дышать; къ воротамъ привели, наверхъ, между башень, на площадку потащили.

А тутъ къ туркменамъ изъ садиковской вольницы стали приставать. Тѣ пуще всѣхъ орутъ, ругаются нехорошими словами— диванъ-беги поносятъ, да и самому имени ханскому достается порядочно.

Народъ мирный, что былъ на поляхъ кругомъ, глядѣлъ сначала, весь попрытался, потому видятъ: быть худу, какъ-бы не подвернуться подъ расходящуюся руку.

Только Мать-Ніазъ взобрался наверхъ по каменнымъ ступенямъ, затряслись ворота: тяжелымъ камнемъ въ нихъ хватили, въ самую створку; щеколда отскочила наружная, внутренняя подалась, погнулась. Кинулись нукеры припирать ворота плотнѣе, бревномъ подперли.

— А, если такъ, рѣшилъ диванъ-беги, — стрѣлять въ нихъ, разбойниковъ!..

— Брось, уходи!.. еще разъ попытался крикнуть кто-то наверху.— Уходи, пока цѣлы!

— Урь, урь! (бей) откуда голосъ взялся, — заоралъ одинъ изъ связанныхъ, какъ своихъ увидѣлъ.

Вдругъ бѣлый клубъ дыма появился между зубцовъ, рядомъ другой вспыхнулъ. Только одну лошадь задѣли вылетѣвшіе изъ мултуковъ пули, да и то такую, что стояла невдалекѣ, на привязи.

А тѣмъ временемъ на шею плѣнникамъ накиннули веревочныя петли и затянули ихъ, упершись колѣнкомъ въ спину. Захрипѣли бѣдняги, глаза у нихъ выкатились, лица синими сдѣлались.

— Урр, урр, урр! реветъ толпа, раздраженныя выстрѣлами, и разомъ кинулась къ воротамъ. Нукеры плотно сжались, клинчи изъ ноженъ повтыскивали, ждуть.

— Берите себѣ вашихъ собакъ, ловите! крикнулъ Мать-Ніазъ. — Вотъ они оба.

Темная масса полетѣла внизъ, да на сажень отъ земли разомъ остановилась и затряслась. Это скинули со стѣны „наказаннаго“, да не отвязали другого конца веревки, которой его удавили, вотъ ея до низу самаго и не хватило. Нарочно такъ было сдѣлано.

Еще одно тѣло рухнуло и тоже повисло рядомъ съ первымъ.

— Всѣ стѣны унижу вашими тѣлами, кричалъ, захлебываясь отъ злости, Мать-Ніазъ. — На всѣхъ зубцахъ будутъ торчать ваши головы. Бунтовщики, хуже гауровъ, волки, а не мусульмане.

Отшатнулись тюремны, къ лошадямъ своимъ бросились. А тутъ ворота открыли наши, самъ диванъ-беги нукеровъ своихъ вывелъ и въ рядъ поставилъ; подняли тѣ мултуки, стали цѣлиться въ отступившихъ.

— Ну васъ къ чорту! заговорили изъ садиковской вольницы, и тягу поскорѣе. Видятъ, что за пѣшими людьми и конныхъ нѣсколько выѣхало изъ воротъ; какъ-бы кого не поймали, что за нужда повиснуть рядомъ вонъ съ тѣми; ишь какъ они страшно качаются, точно живые еще.

— Насъ ханъ самъ разсудитъ! крикнулъ-было одинъ изъ тюремнъ, изъ старшихъ видно, и велѣлъ своимъ отступать, оставить пока за Мать-Ніазомъ сегодняшнюю схватку.

XXX.

НЕ МЫТЬЕМЪ, ТАКЪ КАТАНЬЕМЪ ДОНЯЛИ.

Цѣлый день только и разговоръ было, что про утреннюю баталію. Мать-Ніазъ письмо написалъ къ хану, гонца послалъ; черезъ часъ еще послалъ двухъ вершниковъ съ бумагою, гдѣ приказывалъ сарбазовъ пѣшихъ привести къ нему, хоть сотню. Самъ даже собирался еще разъ ѣхать въ Хиву.

— Я, говорить, этого не прощу имъ... Все, говорить, это Мать-Муратовы козни, ничьи другія...

Убрали все въ порядокъ во дворѣ, повѣшенныхъ оставили еще на день, для страха другимъ. Воронье налетѣло сейчасъ стаями, обсыпало всѣ зубцы сосѣдніе, надъ воротами съ крикомъ носится. Тамъ такой подняли, что не слышно ничего за ихъ карканьемъ.

Садовники наши струхнули-было сначала—они съ тополей все видѣли, что за стѣнами дѣлалось. Рассказывалъ имъ тогда Егоръ Власовъ, что „Боже упаси, тюремны-бы верхъ взяли! Прощай тогда ихъ житье хорошее! натерпѣлись-бы волюю они всякой всячины. Ну, да Богъ миловалъ!“

— У нихъ бѣда! говорилъ Пашва Рубчиковъ.—Нашъ урядникъ у нихъ вотъ шестнадцать годовъ выжилъ, совсѣмъ извелся человекъ, отъ того житья. Ни корму тебѣ настоящаго, ни одежи, и вѣкъ-то весь съ веревки не спускаютъ. А ужъ насчетъ тычка, такъ это собакъ забитой позавидуешь... право слово!

— Что ужъ за житье у тюремна, „поштрѣли нечистый его въ бороду!“ хмурился Мартышевъ.

— Войство-то хозяина нашего больно плохое, крутилъ свои усы унтеръ-офицеръ Егоръ Власовъ; — нѣшто такъ надо? Эхъ, даль-бы имъ волю, я-бы ихъ вымуштровалъ. Сейчасъ это пальба залпами; опосля того „въ штыва“, на ура!.. Только-бы ихъ и видѣли... А то можно „въ цѣпь“—это по-за камешками да по-за кусточкамъ... Пафъ да пафъ... Нѣтъ, у нихъ не модель... плевое дѣло. Азіаты, извѣстно!..

— Я-бы убѣжалъ... трихнулъ головою прикащикъ хлудовскій.—Я-бы, какъ только-что...

Поглядѣли на него казаки, покосился и Егоръ Власовъ, усмихнулся, сплюнулъ легонько.

— Нѣтъ, братъ, отъ нихъ, отъ туркменъ, не больно притко убѣжишь. Почтище тебя пробовали.

— Отъ судьбы нѣшто уйти можно, сказала и Степанъ-Малышъ.—Какъ, значить, человѣку на роду написано...

— Вотъ это вѣрно!

Не варили въ тотъ день плову на обѣдъ, не до того было; лепешекъ, однако, выдали, по двѣ на брата. Съели наши садовники въ уголъ сада, около чигирей, у стѣнки, огонекъ разложили, кунганчикъ согрѣли, стали чай пить. Въ тотъ день и Мать-Ніазъ только одинъ разъ выходилъ въ садъ, и то не надолго, не докучалъ садовникамъ своимъ присмотромъ.

Передъ вечеромъ отъ Саднеа люди пріѣхали къ Мать-Ніазу; прислалъ, молъ, „батыръ“ о здоровьѣ справиться, жалѣетъ, говорятъ, что не зналъ о разбоѣ, непременно-бы самъ прискакалъ на выручку. Обѣщаль, хитрый, переловить главныхъ зачинщиковъ и къ диванъ-беги на судъ ихъ доставить.

Лошадь прислалъ Саднеа Мать-Ніазу въ подарокъ и двухъ собакъ борзыхъ своего заводу; просилъ принять и не забывать въ своихъ молитвахъ „всегда ему преданнаго и дружелью-бываго сосѣда“.

— Наше взяло верхъ. Вишь какъ онъ хвостъ поджалъ, говорили мать-ніазовцы. — Ну, значить, теперь можно спать спокойно, долго будутъ помнить *они* науку. Вотъ какъ мы!.. Да, вотъ какъ наши!..

„Экой языкъ двуконечный“, подумалъ только про себя Мать-Ніазъ, однако, ничего, подарки принялъ, притворился, что не гнѣвается, вѣрить сосѣду. „Худой миръ, молъ, все-таки лучше“.

Все позатихло мало-по-малу и успокоилось, а къ ночи такъ даже народъ полевой, напуганный, изъ своихъ нѣръ выползъ, и забѣлѣлись между грядъ да по полямъ рубахи мирныхъ работниковъ.

Вѣтромъ потянуло со степи, мелкую пыль нанесло, даль затуманило, солнце словно за тучу опустилось; ночь наступила темная, непроглядная. Еще на открытомъ мѣстѣ туда-сюда, а въ садахъ, подъ деревьями, совсѣмъ стало хоть глазъ выколи.

Слышитъ Степанъ, толкаетъ его въ бокъ кто-то, окликаетъ шопотомъ. Проснулся.

— Встань-ко, землякъ, да пойдешь, послушаемъ, что за оказія, говоритъ ему Егоръ Власовъ:—Что-то нечисто.

Всталъ мужикъ, потянулся, зѣвнулъ раза два. Только-было разоспался какъ слѣдуетъ, согрѣлся

— Что такое? спрашиваетъ.

— Да вотъ пойдешь, самъ услышишь. Захвати что на всякій случай, кипень этотъ, что-ли!

Взяли, пошли; дорогою Пашку и Мартышева подняли, а тутъ и прикащикъ подошелъ къ нимъ. Ведетъ ихъ всѣхъ Егоръ Власовъ унтеръ за чигири водоподъемные, въ самый дальній уголъ, къ заваленной калиткѣ.

Вся густо заросла бурьяномъ и крапивою эта калитка. Давно ужъ она, по приказанію хозяина, была заколочена и землею завалена. Мосточекъ, что съ той стороны черезъ ровъ перекинутъ былъ, когда еще здѣсь ходъ полагался, тоже давно былъ разобранъ, и стѣна садовая прямымъ отвѣсомъ на дно этого рва спускалась.

— Слышите, братцы? шепчетъ унтеръ.—Вотъ затихли что-то, а то явственно было. Тсъ!

Затаили духъ, словно коты надъ мышиною щелью: царапаются, точно, съ той стороны; земля, слышно, осыпается. Вотъ камень вывалился, покатился, бульнулъ, словно въ воду какому попалъ; вотъ желѣзо звякнуло; опять стихло все, опять скребутся.

„Подрываютъ!“ не сказалъ, просто подумалъ про себя Егоръ Власовъ.

— А ну-ко подсади, другъ, я на дерево взгляну, можетъ, что черезъ верхъ увижу, говоритъ Пашка.

— Темень, покачалъ головою Мартышевъ.

— Я сейчасъ, братцы, добегу къ нукерамъ да сюда ихъ кликну, сунулся-было прикащикъ хлудовскій.

Иранцы-работники тоже кое-кто попроспались, сюда подошли, глядятъ, что это русскіе здѣсь собрались? Близо не подходятъ, а видно, какъ стоятъ кучкою за фиговыми кустами.

Только успѣлъ прикащикъ отбѣжать шаговъ съ десять, по-

сыпалась глина ужь съ этой стороны; косякъ верхній деревянный вывалился, — разомъ наперли снаружи.

— Воры! крикнулъ унтеръ, взмахнулъ кипменемъ и ударилъ наотмашь первую высунувшуюся голову. — Держись, братцы; пока со двора не придутъ! Это они, утрешніе!..

— Что ты! кто это? рванулся Степанъ.

Ухватили его крѣпко сзади за локти, за шею тоже прихватили и на землю валить.

— Ой, батюшки! смерть моя пришла! ой, батюшки! слышитъ Степанъ-Малышъ, кто-то стонетъ по-близости, — по голосу, должно быть, Пашка Рубчиковъ, — потомъ захрипѣлъ и стихъ, надо полагать — кончился.

А тутъ зарево красное вспыхнуло надъ самыми конюшнями. Клеверъ тамъ сухой сложенъ былъ на крышахъ, вотъ онъ-то и загорѣлся, да еще съ нѣсколькихъ мѣстъ разомъ. Деретъ просто пламя, хлопья огненные несетъ по вѣтру. Всполошились нуверы, кинулись тушить, снопы горячіе раскидывать; которые лошадей стали выводить; нейдутъ, испуганные пожаромъ, кони, упираются. Суматоха поднялась, крикъ, гамъ, никто и не обращаетъ вниманія, что такое говоритъ имъ прикащикъ хлудовскій, куда зоветъ ихъ.

Бросился онъ назадъ въ садъ, не добѣжалъ до мѣста: свалили его въ аркъ головою, живо скрутили веревками и потащили волокомъ по градамъ да виноградникамъ, не разбирая дороги.

— Это тебѣ, Мать-Ніазъ, за тѣхъ двоихъ отместка! кричитъ откуда-то тотъ-же голосъ, что утромъ „ханскимъ судомъ“ страшалъ. — Еще разъ тронешь кого изъ нашихъ — вдвое хуже достанется!

Бъ утру только унялась суматоха. Пожаръ большихъ бѣдъ не надѣлалъ. Крыши-то всѣ землю сверху на пол-аршина засыпаны и глиною смазаны, не скоро ихъ огнемъ проберешь. Въ садахъ-же много наломано было и натоптано. У разбитой калитки, за чигирями, тѣло нашли мертвое, съ головою на-двое расколотою; признали въ немъ одного изъ русскихъ садовниковъ.

Еще много кое-гдѣ кровавыхъ слѣдовъ было, и на стѣнѣ, да и по кустамъ, на листьяхъ остались; гряды помяты, чигирь одинъ свороченъ на сторону. Изъ русскихъ никого не осталось, кромя убитаго, да и изъ иранцевъ человѣкъ восемь пропало—бѣжали, должно быть, безпорядкомъ ночнымъ воспользовавшись. На дворѣ три нукера ранены и уведены двѣ лучшія лошади Мать-Ніазовы; уведена и та, что отъ Садька въ подарокъ была прислана. Тѣла двухъ повѣшенныхъ тюремень тоже сняты были и увезены, на стѣнахъ только висѣли два веревочные конца обрѣзанные.

Мать-Ніазъ и не выходилъ эту ночь изъ своихъ внутреннихъ сакель: оробѣвъ немного онъ, помолился, да и ждалъ врага, когда тотъ самъ къ нему явится.

XXXI.

ПѢШІЕ КОННЫМЪ ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ТОВАРИЩИ.

Жаркій день былъ послѣ этой тревожной ночи. Тишина въ воздухѣ, ни одного облачка на небѣ.

Тяжело идти пѣшкомъ въ такую пору, и верховой человѣкъ норовить пристать гдѣ подъ тѣнью да выждать вечерней прохлады, чѣмъ себя и лошадь свою томить дорожною мукою.

Оно-бы ничего еще, привычному человѣку идти можно-бы, не спѣша, вольною волею, выбирая дорогу, съ пріостановками. Ну, а межъ лошадей да на привязи, съ веревкою на локтяхъ и на шеѣ, гдѣ рысцою, а гдѣ и въ припрыжку, чтобы отъ коня не отстать, нѣтъ, лучше-бы ужъ пришлибли до смерти, хотя изъ жалости, все-бы одинъ конецъ, чѣмъ нести такіа мученія!..

Горло пересохло, на языкѣ липкая слюна накипѣла, въ груди колотье острое, духъ занимаетъ, ноги подкашиваются; упаль-бы, да веревка крѣпка, не оборвется, все равно волокомъ потащутъ.

Жажда морить. Хоть-бы глоточекъ воды хлебнуть!.. Вонъ она, вода-то, много ея: и здѣсь, и тамъ струятся, журчатъ, переливаются по аркамъ благодѣтельныя струйки, пруды-хаузы словно зеркала сквозь группы тѣнистыхъ деревьевъ свѣтятся; да, вишь ты, вода, да не про насъ она. На ходу-бы зачерп-

нуть рукою — не дотянется, да и руки-то крѣпко-на-крѣпко за спиною связаны.

И рѣжетъ арканъ волосяной, сквозь кожу, сквозь мясо, до самыхъ костей вѣдается. Саднать отъ солонцовой пыли рубцы кровавые, вздулись, налились жилы перетянутыя, кровь въ голову бьетъ. Словно угарь какой, словно похмѣлье мучительное стоять въ головѣ, и кажется несчастному, что вотъ-вотъ не выдержать и лопнетъ надвое черепъ его, швы темные разойдутся...

— Гайда, гайда! покрикиваютъ туркмены конные. — Гей! Гайда-джурь!.. Яманъ уруссь, гайда!..

То пинкомъ остроносаго, кованнаго сапога норовятъ въ спину голую, межъ лопатокъ, толкнуть, то плетью, словно шута, по плечамъ да по шеѣ похлестываютъ, по ушамъ задѣть норовятъ.

Тяжело дышать плѣнники, хрипятъ совсѣмъ, спотыкаются, торопятся. Не жалуются, ничего не просятъ у своихъ мучителей. Да и зачѣмъ?.. Все равно, кромѣ „гайда!“ ничего въ отвѣтъ не услышатъ, развѣ только пинга лишняго дождутся да надсмѣха какого.

Эхъ, хоть-бы ужъ до рѣки, что-ли, скорѣе добраться!

Бѣжить между лошадей Степанъ-Малышъ, бѣжить между другой пары конныхъ Мартышевъ казакъ, бѣжить за нимъ и прикащикъ хлудовскій, плачетъ чего-то, всѣмъ святымъ молится. Виднѣтся впереди, сквозь пыль, широкая спина Егора Власова ундера, а по бокамъ ея два крупя конскихъ, поповами коврами покрытыхъ. Только Пашки Рубчикова нѣту съ ними. Тому теперь хорошо, много противъ ихнаго лучше. Тотъ, счастливый, уже ни пинка, ни устали, ни позору, ни жажды смертельной не чувствуетъ.

Бѣгутъ и иранцы Матъ-Ніазовы, особнякомъ, кучкою, несвязанные, на волѣ. Боковыя тропиночки выбираютъ, собаки, гдѣ потверже да потѣнистѣе; къ волѣ подбѣгутъ—головы помочуть, глаза промоютъ. Нѣтъ за ними присмотру никакого, если и торопятся, отъ конныхъ не отстаютъ, такъ по своей волѣ значить, не по нуждѣ какой. Одинъ изъ тѣхъ иранцевъ такъ даже на лошади ѣдетъ, — судя по сбруѣ, не изъ-подъ сѣдла, а изъ арбы дорогою гдѣ выпрагли.

Пыль столбомъ стоитъ надъ бѣгущими. Вотъ такіе-же столбы

пыли, только погуще, на встрѣчу приближаются. Много народу идетъ пѣшаго, красные халаты такъ и алѣютъ на солнцѣ, ружья блестятъ, значки отрепанные, съ конскими хвостами, на длинныхъ древкахъ, въ облакахъ пыли высоко колышутся.

Это сарбазы идутъ ханскіе, по письму Мать-Ніаза высланные, опоздали только немного!..

Три пушки везутъ они съ собою; лошадей головъ по двѣнадцати въ каждую въпряжено, быковъ пара къ одной даже прицѣплена. Тяжелы, громоздки эти „зимбарекы“ *) хивинскаго хана.

Визжать и стонуть оси немазанныя, трещать колеса разохшіяся, цѣпи да гайки развинченныя звякаютъ и дребезжатъ такъ, что глухому за версту слышно..

Идутъ сарбазы толпами, въ безпорядкѣ, серединою дороги пруть, башмаками дыравыми густую пыль чѣсятъ; которые по сторонамъ разбрелись, въ кибитки да въ сакли чужія заглядываютъ, навѣдываются, что подъ руку попало перехватываютъ.

Скотину некупленную съ собою гонятъ, головъ съ десятокъ, арбы тянутся за ними тяжело нагруженныя, лошади и быки горбатыя въ арбахъ этихъ маются, приставать уже готовятся.

Одна арба впереди всѣхъ, впереди даже войска пѣшаго ѣдетъ. Навѣсъ надъ этою арбою устроенъ изъ боковыхъ стѣнокъ походной палатки; ярко такъ играютъ на солнцѣ полотнища цвѣтныя, узорныя; днище арбяное коврами для мягкости устлано, подушки туда положены. Лежитъ на тѣхъ подушкахъ халатъ красный, золотомъ вышитый, и шапка черная торчитъ изъ мелкой мерлушки.

За арбою конь осѣдланый идетъ на привязи; два человѣка рядомъ идутъ, несутъ на плечахъ по котлу, затынутому бараньей кожей; зашѣсто барабана такіе котлы служатъ.

Это самъ „юсъ-баши“ (сотникъ), начальникъ этого отряда пѣшаго, ѣдетъ.

Вотъ поравнялись съ туремениами; раздались тѣ по сторонамъ, пропускаютъ воинство ханское.

— Откуда? нычтъ въ арбѣ красный халатъ, съ просонковъ на встрѣчныхъ шурятся.

*) Зимбарекъ — пушка.

— Откуда Аллахъ несетъ? спрашиваетъ еще кто-то.— Гдѣ наловили?.. Аманъ мулла, откуда?

— А вонъ оттуда, уклончиво отвѣчаютъ туркмены и мимо гонять поскорѣе, шагу надбавили.

— Э-гмъ! мычить всѣ-баши, осовѣлъ совсѣмъ отъ жару, разоспался; зѣвнулъ онъ эдакъ, до слезъ даже, клюнулъ носомъ и снова завалился на свои подушки.

Что за нужда, молъ, важному начальству всякимъ встрѣчнымъ человѣкомъ себя обезпокоивать?

Цѣлые сутки такъ гнали, безъ отдыха, нашихъ садовниковъ; на Аму-Дарью пришли—отдохнули. Перехватили туркмены какъ-то большой, стоялъ подъ крутымъ берегомъ на привязи, заняли его, нагрузились, да и стали внизъ спускаться.

Развязали тутъ плѣнниковъ, сбили всѣхъ на одинъ конецъ лодки, въ покоѣ пока оставили.

То-то пить принялись бѣдняги, какъ до воды вольной дорвались! Съ казакомъ Мартышевымъ такъ даже колотья въ животѣ сдѣлались, а прикащикъ хлудовскій за бортъ чуть не перекинулся.

Напились, обмылись, штаны холщевые порвали на себѣ, тряпки намочили и въ рубцахъ стали прикладывать. Егоръ Власовъ училъ, какъ дѣлать все это надо.

Сперва ни о чемъ больше и не думали, какъ только, чтобы поскорѣе оправиться,—заставила вода все горе забыть на первое время, развеселила даже. Дали имъ туркмены на всѣхъ большую ногу баранью, вареную. На-те молъ, поѣшьте, что въ васъ толку въ истомленныхъ такихъ, замученныхъ.

Только съ иранцами потѣшная тутъ оказія приключилась: только дошли до рѣки—окружили ихъ конные и вазать вдругъ начали, не по одиночкѣ, а цѣпью, другъ къ другѣ; такъ гуртомъ и на какъ согнали.

— За что да зачѣмъ? спрашиваютъ тѣ.—Мы, молъ, вамъ помогли. Сами намъ волю обѣщали, черезъ свои становища пропустить на родину хотѣли, а теперь? Грѣхъ обижать такъ людей бѣдныхъ!..

— Чудаки вы, говорятъ имъ тюремны;—нѣшто намъ отъ васъ прибыль или корысть большая? да идите себѣ съ Богомъ!.. Только проку отъ того не будетъ вамъ большого. Ну, мы васъ отпустимъ, черезъ наши становища вы пройдете благополучно, а тамъ другіе роды сидятъ, тѣ уговору съ вами никакого не дѣлали, тѣ васъ все равно повяжутъ и домой не пустятъ, да еще искалѣчутъ, можетъ, какого, коли совсѣмъ не ухлопаютъ... Нѣтъ, ужъ живите у насъ. Теперь-же кстати „война“, мы дома сидѣть не можемъ; кто сторожить наши стада будетъ, пока мы не воротимся? Вотъ вы и пригодитесь. Оно и съ руки выходитъ; кстати вы и народъ такой, что одно бабье наше приглядѣть за вами сумѣетъ, а когда придется, то и справится... Ну, цыцъ, больше не разговаривать!.. Эй, другъ, я тебя уйму; я вѣдь понимаю по-вашему, слышу, какъ ты себѣ подъ носъ нехорошими словами ругаешься! Отлились волкамъ овечьи слезы!..

XXXII.

Въ тюремнскихъ становищахъ.

Какъ пригнали плѣнныхъ въ становища, разбили ихъ по ночевъ, разрознили, сдали бабамъ своимъ подъ присмотръ, сами всѣ опять на правый берегъ Аму-Дарьи отправились.

А тутъ и впрямь къ ханству хивинскому съ трехъ сторонъ стали подходить русскіе.

Ждали ихъ, давно ждали, а подошли, такъ словно неожиданные, негаданные, словно снѣгъ середь лѣта на головы обрушился.

Пошло все вверхъ дномъ въ ханствѣ, на правомъ берегу. Сюда, въ кочевья да въ становища тюремскія, бѣлыя рубахи пока не заглядывали, только вѣсти о нихъ доходили, для кого грозныя, печальныя, для кого веселыя, радостныя.

Недалеко отъ стараго города, развалинъ одиѣхъ, нежилыхъ, давно брошенныхъ, Кунья-Ургенча, есть озерко небольшое, „Порсу“ называется. Съ одной стороны, отъ развалинъ, къ этому озеру пески подступаютъ, а съ противоположнаго конца подходитъ большой аркъъ „Зайданъ“, и отъ этого арка вправо и влѣво тянутся змѣйками оросительныя канавки, дающія жизнь всему уро-

чищу, занятому большимъ, разбросаннымъ ауломъ „Чербакъ-ата“, а въ аулѣ томъ живутъ около сотни семей тюрменъ, родомъ „чодоровъ“. Къ нимъ-то вотъ и попали изъ нашихъ двое: Степанъ-Малышъ и прикащикъ бывшій хлудовскій.

Аулы богаче это были, просторно раскиданы. Зимовки стояли все глинобитныя, прочныя, съ камышевыми крышами, а кибитки кошенины, не то что у бѣдняковъ кара-калпаковъ, по стѣнамъ коврами богатыми, узорными обложены.

Которыя кибитки на открытыхъ мѣстахъ стояли, которыя совсѣмъ въ густой тѣни деревьевъ садовыхъ прятались, только и узнать, гдѣ такія, по дыму можно было, что столбомъ поднимался надъ развѣсистыми вершинами карагачей да надъ вырѣзною листовою густыхъ виноградниковъ.

Большія поля, изрѣзанныя на мелкіе квадратикіи оросительными арками, засѣяныя пшеницею, тянулись чуть-ли не до самыхъ песковъ; ярко зеленѣли клеверныя участки, колосилась высокая джугара, стебли въ руку толщиной, пріютъ всякой мелкой пташки, особенно вороватыхъ розовыхъ скворцовъ, небожавшихся даже страшныхъ пугалъ и вертушекъ, разставленныхъ на поляхъ заботливою хозяйскою рукою.

Пески, что примыкали къ озеру, не были совсѣмъ мертвыя, голыя, какъ тѣ, что отъ кызыль-кумской стороны надвигались. На здѣшнихъ пескахъ, особенно по низкимъ мѣстамъ, много растетъ полныя, колючки и особой осоки степной—„рангу“, лучшаго корма для всякой скотины.

Большія стада лошадей, овецъ и верблюдовъ, долгоногихъ, одногорбыхъ, самыхъ дорогихъ „наровъ“, пасутся на этихъ пескахъ и находятъ себѣ корму достаточно, даже и въ зимнее время, потому что снѣга здѣсь рѣдко бываютъ, а и выпадаютъ, такъ совсѣмъ не глубокиѣ, не всю землю покрываютъ даже.

Богатая сторона здѣсь, и люди все живутъ тутъ вольные, не бѣдные. Да и какъ не жить хорошо? Земля хорошо родить, да и не она одна источникъ доходовъ. Станетъ тюрменъ самъ съ пашнями возиться,—на то рабы есть, да жены, да подростки въ семействахъ. Ну, въ горячую рабочую пору, когда жатва начинается или другое что, много сразу рукъ рабочихъ требующее, тогда всѣ уже дома, и кипитъ работа не по днямъ,

а по часамъ, въ концу подходитъ; а чуть посвободнѣе станетъ время, тюремену уже не сидится дома. Не станетъ онъ также въ чайныхъ лавкахъ, какъ узбекъ или горожанинъ какой, по цѣлымъ днямъ нѣжится, не станетъ и съ женами долго на коврахъ валяться; сѣдлаютъ коней боевыхъ, собираются въ партіи и идутъ добывать себѣ счастья то къ персидскимъ границамъ, то на правый берегъ, то на степные караванные пути выѣзжаютъ, сторожить длинныя цѣпи верблюжьи. Къ нашимъ русскимъ землямъ, даже между Араломъ и Каспіемъ, прорываются.

Положимъ, не всегда имъ удача въ этихъ набѣгахъ, не всегда счастье улыбается: случается, что цѣлое лѣто прошляются, назадъ съ пустыми руками вернутся да еще въ своихъ недочетъ проявится, лишнія вдовы и сироты въ вольныхъ кочевьяхъ окажутся; за то и такъ случается, что за одинъ разъ привезутъ столько, что мирнымъ трудомъ въ нѣсколько лѣтъ не заработаешь.

Сами себѣ хозяева, сами себѣ судьи, знаютъ только своихъ старшинъ да шаячныхъ батырей, плевать хотятъ на всякую власть, хоть-бы на хана самого хивинскаго Сеидъ-Рахимъ-Багодура; шлютъ только ему обычную часть съ добычи, въ видѣ подарковъ, почетъ одинъ оказываютъ, и на случай войны какой, вотъ хоть-бы теперешней, нукеровъ ему своихъ высылаютъ, „любимое войско Аллаха великаго“.

И женщины-тюркменки — не то, что другія мусульманки: лицъ подъ сѣткы не прячутъ, отъ встрѣчнаго взгляда не сторонятся, сами норовятъ заставить другого глаза свои въ землю потупить. Рослыя все, стройныя, красивыя, и старость-то ихъ не безобразитъ; ходятъ въ рубахахъ цвѣтныхъ, долгополныхъ, да въ накидкахъ, въ родѣ халатовъ, шелковыхъ; накидки эти по бортамъ, до самаго низа, монетами серебряными усажены да подвѣсками металлическими; на рубахахъ нагрудники тяжелые, тоже все золотыми и серебряными монетами выложены, на ходу звенять и побрякиваютъ; на головахъ ихъ чалмы легкія, красиво такъ повязанныя, съ концами ниже плечъ спускающимися, или-же высокіе джавлуки, все тѣми же монетами да подвѣсками украшенныя.

Лица у женщинъ не скуластыя, какъ у киргизокъ, а правильныя, глаза большіе, живые такіе, черныя, брови дугою выведены, носы длинныя, съ горбинкою, зубы, какъ снѣгъ, бѣлыя; смѣются

когда, словно жемчужины между сочныхъ, красныхъ губъ свѣтятся.

Побоевъ мужскихъ не переносятъ вольныя жены, сами не дадутъ спуску, и голосъ и почетъ наравнѣ съ мужчинами имѣютъ, въ домахъ своихъ настоящими хозяйками считаются, не наложницами.

Шибко любятъ тюркмены волю свою и свободу, смертельные враги они всякому, кто на эту волю покусится. Вѣка прошли цѣлые—не было руки надъ ними, не находилось противника сильнѣйшаго. И крѣпко чаяли они, что еще пройдутъ вѣка, за ними еще, такъ до самой вѣчности, не измѣнятся ихъ порядки, не потускнѣетъ ихъ солнышко.

„Не тюркмень—не человекъ“—сложилась у нихъ давно. споконъ вѣку, такая поговорка, и рабу несчастному, въ ихъ руки попавшемуся, плохо приходится. Рабочимъ скотомъ его считаютъ, хуже собаки всякой жить у нихъ; прекословить станеть, супротивничать—расправа короткая и скорая.

Минуты нѣтъ рабу такому отдыха. При домѣ когда, все за работою тяжелою мается. Воду таскаетъ, землю копаетъ, арыки чистить, съ мѣста на мѣсто, что надо, словно скотина вьючная, перетаскиваетъ, да все изъ-подъ палки, подъ крикомъ, подъ руганью. Кормить, точно что, хорошо кормить, силу берегутъ, ну да и собакъ всякой при тюркменскихъ становищахъ мяса и корму прочаго вдоволь бываетъ, все равно дѣвать некуда.

Только и отдыху несчастному рабу, когда ушлиютъ его скотину пасти въ песокъ; хоть и солнцемъ печетъ тамъ, хоть и вѣтеръ знойный все лицо обжигаетъ, все-таки отдыхъ есть хоть какой-нибудь, все-таки не ругаютъ тебя, не грозятъ плетью да палкою поминутно; скотина молчалива, она добрѣй человека, от нея другой разъ за уходомъ да присмотръ и ласки дождешься.

Труденъ побѣгъ съ этой стороны: крѣпко другъ за дружку роды тюркменскіе держутся, все равно поймаютъ и назадъ приведутъ. Ну, тогда ужъ плохо; дешево еще отдѣлаешься, если мѣсяцъ послѣ наказанія больной проваляешься, а въ другой разъ такого бѣгуна и на колъ посадятъ, на страхъ другимъ и въ будущую науку.

Повезло Степану-Малышу сразу счастье: на третій-же день, какъ привели его сюда, сдали на руки женщинамъ; послала его хозяйка новая барановъ пасти за „Порсу“ озеро; съ нимъ еще двое ушло: персіянинъ одинъ, старикъ сѣдой, хилый, и мальчишка-киргизенокъ по своей охотѣ увязался.

Тутъ-то, по-близости, уже все было вытравлено, такъ велѣли пастухамъ гнать скотину верстъ за двадцать, ночевать не ворочатся, а сгонять барановъ на ночь къ озеру, къ западному берегу; за пищею чтобы мальчишка присылать одинъ разъ въ двое сутокъ. А пища вся въ мѣшеѣ джугары состояла; мясного пастухамъ не отпускалось, потому, думала хозяйка, „все равно барана украдутъ да сожрутъ, на шлюковъ свалить послѣ“.

XXXIII.

О т г о л о с к и .

Довелось теперь Степану-Малышу вволю о своемъ дѣлѣ надуматься. Никто не мѣшалъ ему въ этошъ.

Старикъ-персіянинъ, какъ только пригонять стадо на холмы песчаные, сейчасъ халатишко свой съ себя сниметъ, на клюку распялить, тѣнь себѣ отъ солнца устроить, и спать тотчасъ-же завалится, подложивши подъ голову косматую баранью шанку. Спать онъ, словно сурокъ зимою, безъ просыпу, на мягкомъ пескѣ, пригрѣтый солнышкомъ.

Мальчишка-киргизенокъ нивѣсть гдѣ пропадаетъ, а то ушлютъ зачѣмъ назадъ, въ становища. А Степанъ сидитъ-себѣ одинъ-одинешенекъ да на скотину смотритъ, какъ та между барханами бродитъ, молодую колючку да стрѣльчатые, тонкіе ранговые побѣги скусываетъ.

Велико стадо было, а трехъ дней не прошло, всякую голову пастухъ нашъ по примѣтамъ узнавалъ.

Разъ какъ-то пришлось перегонять атары на новыя мѣста—на старомъ уже все было вытравлено. Старикъ говоритъ: „туда вонъ пойдемъ, я знаю“, а Степанъ не прекословилъ: „туда, такъ туда“; погнали.

Переползли одинъ гребень, на другой стали подниматься, гля-

дять—а вонъ и сосѣдніе верблюды пасутся вдаль; которые „на-ры“ на вершини холмовъ взобрались, такъ тѣхъ далеко видно, скотина-то крупная.

Вонъ на одномъ верблюдѣ человѣкъ сидитъ, пастухъ, значить, „тютяча“. Ближе стали подходить—чинить этотъ человѣкъ свою рубаху, досугомъ пользуется; сюда спиною повернулся, лица не видно.

Спина голая его хоть и сильно загорѣла съ затылка да на плечахъ, а все-таки видать, что бѣлая, не здѣшняя дубленая. Знать, кто изъ русскихъ.

— То, говоритъ киргизенокъ,—балхатскіе верблюды; у нихъ, въ Балхатѣ, аулѣ, значить, тамъ есть русскій, пастухъ Ванька; это онъ самый!

Обернулся Ванька этотъ, какъ услышалъ блеяніе овечьей атары, глаза рукою прикрылъ, бросилъ свою починку.

Узналъ тутъ Степанъ прикащика хлудовскаго, обрадовался шибко земляку. Вотъ уже мѣсяцъ скоро, какъ не видѣлись.

— Эге, Степанъ! здорово! кричитъ Ванька съ верблюжьей спины.—Какъ поживаешь другъ, все-ли въ полномъ благополучіи?

Бѣгомъ пустился къ нему Степанъ-Малышъ, собаки его съ лаемъ впередъ погнали, на встрѣчу имъ чужія собаки изъ-за холмовъ вылетѣли, грызться сейчасъ сдѣлились, инда шерсть полетѣла клопьями; псы степные все злые, на волка травленные.

Киргизенокъ врюкомъ взмахнулъ, разнимать кинулся; заковылялъ и старикъ туда-же.

— Ты у кого живешь, да какъ Господь милуетъ? спрашиваетъ прикащикъ хлудовскій.

Спустился онъ сперва со спины на шею верблюжью, оттуда уже на земь сползъ, поцѣловался съ землякомъ.

— У кого живу? А кто его знаетъ! отвѣтилъ Степанъ;—у хозяйки, значить. Живу по-маленьку, какъ Богъ велитъ, такъ и живу. Ты какъ?

— А я первымъ сортомъ, пока въ свое удовольствіе. Хорошо тебя кормятъ?

— Даютъ поѣсть, ништо. Слава те, Господи!

— Такъ. Вьютъ, чай, шибко? Слусти-ко рубаху, покажи спину. То-то, чай, исполосована!

— Одного раза досталось, а чтобы очинно, такъ пока не ви-

далъ. Самого не трогали, а двоихъ такъ, точно, шибко намедни драли; я думалъ, такъ до смерти зашибить хотѣли. Бабы-то здѣсь все злющія, ровно тигры лютые. У васъ нѣшто не бьютъ?

— У насъ? Никакими манеромъ. У насъ такого заведенія не положено. Обхожденіе чудесное!

— Вишь ты!

— Да, братецъ, У меня хозяйка добрая: и кормить хорошо, и поблажаетъ всеѣмъ нашего брата. Вѣришь-ли: меня увидала—словно земляку обрадовалась, по-нашему заговорила.

— Изъ себя какова?

— Чего?

— Изъ себя какова? переспросилъ Степанъ появственнѣе.

Горло у него словно перехватило чѣмъ, горячій песокъ сразу похолодѣлъ подъ босыми ступнями.

— Баба изъ себя видная, шибко красивая, не черномазая. Зовутъ ее... А вотъ и не знаю, какъ зовутъ. Заходи, когда слободно, самъ увидишь. Хочешь, вотъ теперь пойдѣмъ, передъ вечеромъ, вмѣстѣ.

— Не пустятъ наши, задумался Степанъ.—Скажутъ, пожалуй, убѣжать хочешь; какъ-бы чего...

— Ну, наша-бы пустила!.. Гдѣ ты живешь? Я-бы къ тебѣ самъ навѣдался. За озеромъ, что-ли?

— Недалече; какъ это пойдешь ты по лѣвому берегу арника большого, такъ, часа на три ходьбы, высокіе тополи влѣво будутъ видны, около нихъ самыхъ... Еще тутъ мазарочка будетъ, махонькая такая, сводикомъ выведена, аистъ на ней гнѣздо свиль, тутъ вотъ и кибитки стоятъ наши.

— Зайду, что-же, намъ запрету нѣтъ.

— Спроси ты у ней...

— У кого это?

— У хозяйки своей... потушился Степанъ.— А то, постой, можетъ, и не она; пойти ужъ нѣшто?

— Слушь, братъ, чудное дѣло я тебѣ расскажу... Вотъ, голубчикъ, такъ диковина! просто, я те доложу, разодолжила. Ахъ, ты, Господи, Боже ты мой!

— Да что такое?

— Пѣсню запѣла разъ, хозяйка-то. Сидѣла это она подъ вечеръ, на корожекъ изъ кибитки вышла. Сидѣла эдакъ, подпер-

шись рукою, я гляжу издали. А тихо было такъ кругомъ, разошлись всё куда-то, и вдругъ, слышу это я, запѣла, душа добрая, нашу пѣсню запѣла, російскую!

— Какую? задохнулся Степанъ этимъ вопросомъ, голова у него закружилась.

— „Травушку пожелѣлую“, во какую! Скажи кто мнѣ тогда: „Иванъ Дормидонъчъ, хочешь билетъ ломбардный въ тысячу рублей—получай, хочешь—еще пѣть будетъ; выбирай, значить“. Да что, сотенъ тысячъ не пожалѣлъ-бы я, если-бы были такія. Замеръ я на мѣстѣ, не дохну. Вотъ, думаю, оборони Богъ, перестанетъ; нѣтъ, до конца дотянула, послѣ вздохнула эдакъ и рубахою, подоломъ, утерлась... Ты что, братъ?..

Видитъ рассказчикъ, что землякъ-то его отвернулся, на солнце, не сморгнувъ, глядитъ, а слезы у него такъ и бѣгутъ изъ глазъ, такъ и струятся по щекамъ. Рука правая тихо такъ, тихо поднимается, пальцы для креста сложились, словно на-откашъ осѣнить себя хочетъ Степанъ крестнымъ знаменіемъ.

— Степанъ, Степа... что ты это, дружище... Степанъ! Что, братъ, проняло небоишь насевозь!..

Звукъ какой-то изъ груди Степана вырвался, долгій такой, протяжный, такъ и хватилъ онъ прямо за сердце; за тѣмъ звукомъ-стеномъ другой вслѣдъ понесся по степи, за нимъ еще. А слезы все шибче и шибче катятся, и дрожать эти слезы свѣтлыя на рѣсницахъ пѣвца, дрожать и въ каждомъ звукѣ родной, знакомой пѣсни...

— Она самая! Ея голосъ слышу. Она такъ-же вотъ пѣла. Вотъ-бы вамъ виѣсть! заторопился, заволновался Иванъ Дормидонъчъ;—какъ есть она это, „травушка“... Землячекъ, а землячекъ!

Не допѣлъ Степанъ, голосъ у него оборвался. Стоитъ онъ да плачетъ, а, глядя на него, и прикащикъ хлудовскій нивѣсть чего разревлъся. Такъ и вторять они другъ дружкѣ...

Глядитъ на нихъ, выпуча глаза, черномазый киргизенокъ, лежа на брюхѣ, подпершись кулаками въ подбородокъ; косится однимъ глазомъ горбатый верблюдъ и сонитъ надорваннымъ отъ кривка носомъ; столпились въ кучу лупоглазые бараны и ѣсть перестали; взвыла чего-то и собака поджарая, задравъ морду свою острую вверху; поглядѣлъ на нихъ и старикъ-персіянинъ—чего

это они оба, въ самомъ дѣлѣ?—и сталь вгонять въ песокъ свою палку, тѣнь обычную для спанья прилаживать.

XXXIV.

КРОВЬЮ ЗАПАХЛО.

Услали киргизенка въ тотъ вечеръ за мукою въ аулы. Захватилъ мальчуганъ мѣшокъ, побѣжалъ въ припрыжку. Думали, назадъ онъ черезъ сутки вернется, не ранѣе, а подпасокъ въ ту-же ночь воротился, на ишакѣ пригналъ, и съ пустымъ мѣшкомъ, говоритъ: „не дали“.

— Тамъ, у насъ, на Зайданъ-арыкѣ, что-то неладно, рассказываетъ мальчикъ.—Мужчины вернулись, человекъ двадцать, недобрня вѣсти привезли. Хозяйка велѣла атару домой гнать, въ самые аулы не приходитъ, а держаться по-близости, въ зимнихъ загоняхъ.

— Да что такое? пытается Степанъ, — что такое случилось, какая тамъ бѣда, рассказывай толкомъ.

Шибко не по сердцу пришлось ему это хозяйское распоряженіе. Думалъ онъ сбѣгать, куда его землякъ звалъ, только и ждалъ ночного времени да условнаго часу, а теперь — на-вотъ тебѣ, совсѣмъ неспособно стало.

— Русскіе, слышно, подъ Хивою стоятъ, говоритъ киргизенокъ; слѣзь съ ишака своего, пустялъ его къ овцамъ, самъ на корточкахъ сѣлъ и песокъ ковыряетъ пальцемъ.—Ханъ бѣжалъ куда-то. Сарбазы его побиты, пушки позабирали у него. Въ одномъ мѣстѣ горить, въ другомъ горить, народъ попрятался... Такой погромъ идетъ въ ханствѣ, что страсть!..

Вздохнулъ Степанъ, вспомнилъ тутъ про слова Егора Власова ундера, какой вѣтеръ добрый ему чулся.

— Сюда, къ намъ, не придутъ, вздохнулъ чего-то и старикъ персіянинъ,—нѣтъ, не придутъ.

— Тамъ вотъ то-же думаютъ. Говорятъ: пускай только сунутся.

Стали пока атары стягивать; понеслись собаки по холмамъ, живо сбѣли въ кучу. Глазомъ просто не окинешь, море цѣлое головъ бараньихъ; погнали.

— Ты, старій, садись, указалъ киргизенокъ персіянину на

своего ишака, самъ сзади пошелъ и прутикомъ подгоняетъ. Степанъ рядомъ идетъ, крикомъ по песку бороздитъ. Привычная скотина плотно идетъ; которая овца въ сторону норовить, ту собака сейчасъ направитъ; не тихо, не скоро, а подвигаются.

— У нашихъ большая неустойка вышла, рассказываетъ подпасокъ;—дорогою много народу побито. Мать-Мурадъ съ ханомъ бѣжалъ, а Нязъ, такъ тотъ уже успѣлъ сдружиться съ русскими, такую лисою передъ ташкентскимъ джандараломъ вертится!.. У нашей хозяйки сына убили старшаго: пуля русская, вотъ такая длинненькая, а сзади у ней ямочка, вотъ эта пуля ему въ скулу попала и всю голову разворотила. Теперь вотъ плачь идетъ по всему дому... Мать грозится, что первому русскому горло перегрызетъ зубами. Ты ужь, Степанъ, лучше къ ней и на глаза не подвертывайся. У сосѣдей *самого* изранили: Ходжа-Рахмана знаешь? вотъ его самага. Привезли его чуть живого, дышать еще дышетъ, а языкъ уже не ворочается, заостенѣлъ совсѣмъ, и не узнаетъ никого, такъ и лежитъ съ закрытыми глазами, а издали видѣлъ... Какую лошадь привелъ Абдала, афганецъ, ну такъ лошадь! рыжая сама, на солнцѣ горитъ, словно золотомъ окована. Ахъ, какая лошадь!..

Всю дорогу рассказывалъ имъ киргизенокъ, что видѣлъ да слышалъ въ аулахъ. Стали ближе подходить—издали еще необычное волненіе, гомонъ людской въ становищахъ слышится...

Коннаго народу много пестритъ по дорогамъ, во всѣ стороны мечутся, рыскаютъ. На поляхъ никого не видать—всѣ, знать, къ домамъ собрались... Вонъ и плачь слышенъ, да не въ одинъ голосъ, а хоромъ воютъ,—бабы, должно, судя по голосу.

— Видишь, я говорилъ, видишь? зашептавъ чего-то киргизенокъ.—Вонъ, плачутъ, тамъ и наша плачеть.

Дѣвка-тюркменка вдругъ изъ-за кустовъ выскочила, верхомъ на неосѣдланной, бѣлой кобылѣ; сзади жеребенокъ прыгаетъ; увидала Степана, какъ мимо ѣхала, ни за что, ни про что, веревкою ударила по загривку, сама дальше погнала.

— Эхъ! только крякнулъ парень; мальчишка въ сторону шарахнулся, подъ брюхомъ ишака проскочилъ.

Остановили атары на Зайданъ-арыкѣ, не доходя съ версту, загнали въ камышевыя загороди.

А въ аулы, тѣмъ временемъ, уже всѣ мужчины вернулись, а съ ними и вѣсти пришли новыя, одна другой печальнѣе, одна другой грознѣе.

„Пала Хива, заняли ханство „бѣлыя рубахи“; ханъ съ повинною къ русскому генералу явился, всѣ новыя порядки безпрекословно принялъ; не миновать и тюркменскимъ родамъ этихъ порядковъ, если не „подпилять зубы“ врагу кичливому, не сломать „иноземную силу“. Слышно, что уже къ юмудамъ посланы гонцы съ требованіемъ покорности; сюда тоже не нынче, завтра пришлютъ такихъ-же“.

— Пускай пришлютъ—шеуры съ живыхъ снимаемъ, съ словъ этихъ, ворчатъ недовольные.

— Мы въ сторонѣ, Аллахъ за нами. Не разъ обходилось, обойдется и теперь тоже, говорятъ тѣ, которые не потеряли еще надежды на поворотъ дѣлъ къ лучшему. Сами себя бодрятъ и другихъ утѣшаютъ.

— Хазавать, хазавать! орутъ муллы, старики закоснѣлые.— Хазавать (священная война)! И отцы, и сыновья, и жены, и дочери — всѣ должны за *жельзо* взяться, всѣ, у кого поднять ножъ силы хватить. Дороги затопимъ, стада и добро все въ пески угонимъ, сожжемъ наши поля и сакли, деревья порубимъ... Не допустимъ врага осквернять наши земли... И скорѣй на всѣхъ деревьяхъ нашихъ будутъ висѣть тѣла русскія; скорѣе на поляхъ нашихъ, какъ арбузы на бахчѣ, выростутъ русскія головы, чѣмъ коснется рабская веревка свободной шеи тюркменской!

Много было тѣхъ, кто вслѣдъ за муллами „хазавать“ кричали. Не вѣрилось еще въ силу русскую... А тутъ и изъ другихъ родовъ пришли вѣсти: слышно, всѣ поголовно, и впрямь, поднимаются. Тысячъ двадцать уже собралось вольнаго войска тюркменскаго, и на „Ильдахъ“ стоятъ, на „Кызыль-Тавырѣ“ полѣ. Въ здѣшніе роды гонцы пріѣхали, сказать, чтобы тоже собирались и гнали на сборное мѣсто, не теряя времени.

— Русскій генералъ денегъ велѣлъ собрать съ народа хивинскаго, „сто верблюдовъ серебра да десять верблюдовъ золота“ *); хивинскій ханъ половину платитъ, а другую половину на

*) Наввное опредѣленіе величины военной контрибуціи,—опредѣленіе, и до сихъ поръ сохранившееся въ народной памяти.

насъ наложили, на тюрмень; не будемъ платить—сюда придуть сами и отберуть силою. Дѣвокъ и женъ молодыхъ тоже всѣхъ отберуть и своимъ солдатамъ отдадутъ... Взрослыхъ мужчинъ перерѣжутъ, а дѣтей водою обливать стануть, въ свою вѣру переводить.

Вотъ какія страшныя вещи рассказывали гонцы, а имъ какъ не знать, они сами тамъ были, сами слышали, и отъ главныхъ старшинъ сюда присланы.

Дня не прошло—прискакали новыя гонцы, еще вѣсть привезли, да такую, что у всѣхъ даже духъ заняло.

Перешли русскіе на эту сторону, сюда, прямо въ сердце тюрменскихъ земель, идутъ... Ведетъ ихъ сюда генераль, толстый, высокій, за одинъ разъ барана съѣдаетъ, а саблю махнетъ — такъ десятокъ головъ разомъ валится... Пушки везутъ съ собою „невѣрныя собаки“, конница съ ними отдѣльными партіями идетъ, стороною тянется, рыскаетъ, на аулы врасплохъ нападаетъ.

Прискакало вечеромъ еще двое, оборванные такіе, безъ шапокъ; у одного голова чѣмъ-то разсѣчена, весь халатъ въ крови; лошади чуть дошли до мѣста, одна такъ тутъ-же издохла отъ усталости.

— Что такое?

— Мы тамъ были, говорятъ, сами задыхаются.—Слава Аллаху милостивому, унесли мы свои головы... Солнце только разъ поднялось съ тѣхъ поръ, какъ мы русскихъ видѣли. Въ ухахъ у насъ еще выстрѣлы ихъ пушекъ слышатся! Близко!..

— Къ Чандыру идутъ, черезъ Ильялы, на Кызыль-Тақырь; немного идти имъ осталось, скоро схватятся. Аллахъ, Аллахъ! чей-то верхъ будетъ, кому даруешь ты побѣду, справедливый, много-милостивый: намъ-ли, правовѣрныхъ сынамъ твоимъ, или тѣмъ, гяурамъ, кяфирамъ, псамъ, вѣрнъ святой поносителямъ?..

Вотъ теперь-то и поднялась въ становищахъ на Зайданъ-арыкѣ настоящая тревога.

XXXV.

Гонецъ отъ Маринны Денисьевны за Степаномъ-Малышомъ присланъ.

Спрятался Степанъ въ загородахъ, безъ особой нужды носу не показывалъ, на глазъ не попадался.

— Ты, говорилъ ему киргизенокъ,—хоть первое время пережди... О тебѣ пока забыли, а увидятъ—какъ-бы чего не было худого; ииъ-бы только злость свою сорвать на комъ.

Вчера вотъ проѣзжали мимо двое, а Степанъ у арныа стоять и рубаху моетъ.

— Что, вричитъ одинъ изъ проѣзжихъ,—къ смерти готовишь-ся?—это хорошо!

— Да, кяфиръ, теперь скоро тебя зарѣжутъ. „Ана“ (мать) уже ножъ точить велѣла.

Попутили они этакъ-то, посмѣялись и прочь поѣхали, а Степану-то каково ихъ путиа слушать! Не разъ душа у него въ пятки уходила. Твердилъ онъ, точно: и что-же, молю, воля Божья, отъ судьбы не уйдешь“. Такъ-то такъ, а все-таки поберечься не мѣшаетъ.

— Года два тому назадъ, рассказывалъ персиянинъ,—одна партия изъ здѣшнихъ къ персидской границѣ ходила, да не по-счастливилось: двадцать два человекъ на мѣстѣ оставили. Что-же ты думаешь? Четырехъ иранцевъ, товарищей моихъ, порѣзали въ отместку, меня только и оставили, и то ребенокъ хозяйскій за меня заступился. Вырѣзалъ я ему наванунѣ дудочку изъ камыша, и другую обѣщаль сдѣлать, онъ и просилъ: не рѣжьте, говорить, бабая (старика), пока онъ мнѣ не исполнить обѣщаннаго. Тѣ посмѣялись и не тронули меня, такъ и забыли. И про тебя вотъ тоже забудутъ, только потерпи, теперь вотъ не под-вертывайся.

Ночью, какъ стемнѣло совсѣмъ, пошелъ Степанъ на арныа, покупаться захотѣлось. Темно такъ въ густыхъ камышахъ, только вода сквозь нихъ свѣтится, и то съ этого берега, а другого и совсѣмъ не видно; чуть-чуть только черный гребель крутого берега отъ неба отдѣляется.

Раздѣлся Степанъ, полѣзъ въ воду, раздвигаетъ руками камышъ, слышитъ: вотъ и на томъ берегу что-то булькнуло, да тяжело такъ, словно большое что-то, грузное, глыба никакъ глинистая обвалилась, водою подмытая.

Вонъ кругъ свѣтлый расходится, расплываются по черной водѣ словно обручи серебристые, вонъ сюда подвигаются; плыветъ никакъ кто-то, голова зачернѣлась посрединѣ расходящагося круга. Мельче стало, звать ногами дно тронуть,—высунулись изъ

воды плечи; опять спрятались, опять влявь... Дыханье ужь чьето слышно, ногою болтуль по водѣ плывущій... Замѣтилъ-ли онъ Степана на этомъ берегу, услышалъ-ли что подозрительное, только разомъ остановился и подь воду нырнулъ, спрятался.

Пождалъ Степаяъ полминутки—плеснуло у камышеваго куста, отъ него неподалеку, опять голова показалась, духъ переводить.

— Это ты, землякъ, что-ли?.. А я-то какъ напугался! шепчеть.—Экъ онъ у васъ, аркъъ-то, широкій.

— Иванъ Дормидончъ!.. Вотъ не ждалъ, обрадовался Степанъ-Малышъ.—Ишь ты, нагишомъ!..

— Ничего, одежда на томъ берегу, подь корнемъ спрятана. А я, другъ, за тобой.

— Что такое?

Влявъ Иванъ Дормидоновичъ на берегъ, вода такъ и бѣжитъ съ него, трясется весь, изьябъ, зубъ-на-зубъ не попадаетъ... Накинуль на него Степанъ свой халатишко рванный.

— Пойдемъ, тамъ у изгороди огонь горѣлъ, такъ тлѣеть еще зола горячая, погрѣйся.

— Невогда, дорогою побѣжимъ—распаримся. Ты плаваешь, что-ли? Тутъ въ одномъ мѣстѣ страсть, днища не достанешь, опять подь кручею тоже.

— Какъ-же это? куда пойдешь?

— Да такъ-же, Марина Денисьевна звать приказала. Рассказалъ я ей про тебя, она говоритъ: чтобы сейчасъ... Время теперъ такое, что все единственно, либо пропадать, либо наша взяла, а ужь она тебя не выдасть,—она тамъ сила! Ну, не мѣшай, плыви за мною, пока темно.

Только сказалъ прикащикъ хлудовскій слово одно: „Марина Денисьевна“, а Степанъ уже на половицѣ арнка саженьками отмѣриваетъ; почудилось ему, что на томъ берегу „она“ вотъ тутъ-же сидитъ и его дожидается,—крылья словно у него разомъ за плечами выросли, сила взялась нивѣсть откуда богатырская, подвернись кто—сквозь цѣлую толпу пробѣтается.

Выползли на тотъ берегъ, отыскалъ свою одеженку Иванъ Дормидончъ, рубаху Степану отдалъ, штаны самъ надѣлъ; подѣлились, пошли ходко по песчаной дорожѣ вдоль берега, бѣгутъ просто.

— Говорю это я ей, какъ и что, про пѣсню твою тоже, какъ зовутъ тебя сказаль, а она какъ расплачется, а потомъ „уйди ты, уйди скорѣе“, говоритъ мнѣ, рукою махнула и въ кибитку спряталась, кошку даже за собою спустила. Ушелъ я; слышу, вечеромъ этакъ, вчера, сама кличетъ. „Что прикажешь?“ спрашиваю, а она: „Гдѣ-же Степанъ-то?“ „Да тутъ, говорю, недалеко, сутки ходу, полсутки бѣгу“. „Пушай придетъ“, говоритъ, и опять спряталась въ кибитку, увидала, чай, кого изъ бабъ тамошнихъ. Здѣшнія бабы всѣ на нее зубы точатъ; чужая она имъ, а власть имѣеть, мужъ ея все по-ейному дѣлаеть. Ну, а мужъ-то въ отлучкѣ теперь. Думаю я, раздумываю, какъ это тебѣ вѣсточку дать; прибѣжалъ ко мнѣ снишишко ея....

— Снишишко... повторилъ Степанъ, спотыкнулся на бѣгу, при-остановился, духъ перевелъ и опять погналъ.

— Да, снишишко; кричитъ мальчишекъ: „ступай скорѣе, Ванька, куда мама тебя посылаетъ“. Только это я собрался уходить, гляжу—сама хозяйка вышла, на меня не глядитъ, а эдакъ въ сторону идетъ, будто въ садикъ пройти хочетъ; я тоже иду, забрала влѣво, чтобъ поближе быть, а она, не глядя на меня, словно про себя, однако слышно, говоритъ: „Скажи Степану, что его Марина Денисьевна дожидается...“ Такъ и сказала: „Марина Денисьевна“; впервой я имя ея слышу здѣсь настоящее: „Кызыль-Суть“ (красное молоко) ее здѣсь всѣ величаютъ, другого и названія нѣту. Да ну, не такъ скоро, поспѣемъ! Ты-то съ отдохну, а я ужъ сколько проперъ, не поспѣю за тобою.

— Эхъ, Ваня, голубчикъ мой, Ванюша, вѣкъ то-есть не забуду. Вѣдь какъ я люблю-то ее! Вѣдь я и сюда-то своею волею, для нея только. Ахъ ты, Господи! Никонъ сказалъ мнѣ: „коли что, разныщи, разуннай“... Никона-то въ кандалахъ въ Сибирь угнали... Знаешь Никола?

А откуда Ивану Дормидоновичу знать про ихъ дѣла? Слушаетъ это онъ, что такое мелеть Степанъ дорогою. „Вишь, думаетъ, парень съ радости заговариваться началъ“.

— Родная ты моя, желанная... Да какъ-же это... Вотъ она, судьба-то. Го-го! я говорилъ, что Господь знаетъ, что посылаетъ. Коли захочетъ, Онъ, Милостивецъ, приведетъ... Вотъ и привелъ. Ваня, скажи ты мнѣ: „Степанъ, сдѣлай то-то“, да я вотъ сейчасъ. Вѣкъ не забуду. Ваня!.. Я вѣдь съ нею... Она

миѣ все равно, какъ жена вѣнчанная... да что жена! — жена наплевать! Больше того... Она миѣ... А у ней вонъ слишкомъ, скажешь ты, дѣтище, отъ татарина значить, отъ Салтыка проклятаго, чтобы ему... Ахъ ты, Господи!..

— Потихе, братъ, вишь тамъ огоньки свѣтятся, аульчикъ, надо полагать; потихе, какъ-бы не услышали... Орешь ты ужъ больно громко... Возьмемъ лѣвѣе, тамъ, по-за кустами...

— Разшибу, только сунься кто! стиснулъ Степанъ зубы, до крови губы прикусилъ. — Только сунься!

— Опалѣлъ ты, я вижу.

— Опалѣешь... Пятый годъ вотъ не видались, пятый годъ! Эвось сколько...

— Тсъ!..

Пробѣжало тутъ что-то кустами, натенулось на нашихъ, въ сторону шарахнулось, зубами зацелвало, не то завыло, не то голосомъ ребячьимъ заплакало... А тамъ и еще выскочило что-то, на собаку похожее...

— Чекалки, гадины. Фу ты, право, перепугали! присѣлъ было Иванъ Дормидончъ. — Эхъ, кабы намъ до свѣту песчаный мысокъ перебѣжать; мѣсто-то больно видное, открытое. Напитъся нѣшто?..

Добѣжали они до арычка маленькаго, что чуть-чуть змѣвился между двумя насыпными валами, черезъ заросли, отъ рисоваго поля, въ большому арыку вель... Добѣжали, полегли на брюхо, припали губами въ водѣ и принялись тянуть безъ передышки... Разгорѣлись за дорогу шибко, должно быть.

XXXVI.

Тревожный день, хлопотливая ночь.

Какъ ни торопились наши, однако, свѣтать начало, порядочно не добѣжали они до песчанаго мыска, до этого открытаго мѣста... А тутъ, видать имъ изъ-за кустовъ, народъ зашевелился въ становищахъ, возня поднялась, засновали всюду и пѣшіе, и конные; какъ тутъ быть? увидать — остановять непремѣнно; надо прятаться.

Взвѣлъ даже Степанъ отъ досады да горя, а дѣлать нечего, цѣлый день прождать придется, до самаго заката солнечнаго, до темноты... Сидѣть и ждать, когда...

Ну, и показался-же ему длиненъ этотъ день проклятый, словно вѣкъ цѣлый тянулся, солнце словно остановилось на небѣ, ни назадъ, ни впередъ двигаться не хочетъ, глядитъ на нихъ сверху, печетъ, жаритъ и будто подсмѣивается надъ ихъ бѣдою: что, голубчики, попались, а я вотъ вижу васъ, вижу; хочу—скажу, хочу—промолчу... Прячьтесь, прячьтесь, а все-же вижу... Вонъ, вонъ пятки голыя торчатъ! Ну-ко я ихъ прижгу хорошенько.

— Наплевать дѣло выходить, ворчитъ Иванъ Дормидончъ, прикашикъ хлудовскій.

— И за что только муку эдакую посылаешь ты, Господи? не утерпѣлъ Степанъ, возропталъ впервые.

Нашли они саклюшку пустую; сгорѣла эта саклюшка лѣтъ десять тому назадъ еще, крыша провалилась, обгорѣлыя бревна давно уже повытаскали оттуда, ну а стѣнки остались, икъ, глинобитнымъ, ничего отъ огня не сдѣлалось, только водою ихъ послабъ размыло и обвалило мѣстами.

Никто этими развалинами не воспользовался, такъ и стояли онѣ въ сторонѣ, забытыя, брошенныя, и нашимъ прятальщикамъ шибко теперь пригодились.

Со стороны дороги пробѣзжей, съ самаго опаснаго мѣста, заросли густые кустарники: терновникъ колючій и джида душистая такъ между собой перепутались, что стѣна стѣною стали, собакъ негдѣ пробраться; а отъ воды, отъ арька, тоже не видать: не на самомъ берегу саклюшка, берегъ высоко, кручею поднимается, ну, и заслоняетъ воду, да и старый карагачъ, до половины высохшій, тутъ разросся, чудесно!..

Забрались туда наши, забились въ уголъ, сидятъ да пережидаютъ... Иванъ Дормидончъ выползалъ по временамъ къ кустамъ, приглядывался, что дѣлается. Тоже и Степанъ, нѣтъ-нѣтъ, да и полюбопытствуетъ.

Вонъ и здѣсь какая суматоха идетъ, тоже конные цѣлыми партіями рыскаютъ, вонъ арбы запрягаютъ. Что это? кибитки снимаютъ, войлоки въ тюки сворачиваютъ, рѣшетки отдѣльно складываютъ... Аль перекочевку не въ пору затѣяли?

Скотину сгоняють, конныя дѣвки и бабы съ вѣсками да арканами носятъ, за испуганными быками гоняются, а тѣ, задравъ хвосты, зря, прямо по огородамъ рышутъ. Вонъ верблюдъ вырвался медовьюченней, дорогою бѣжить въ перевалку, тѣки по бокамъ треплются, между ногами путаются, длинный конецъ веревочный за нимъ тянется, пыль глубокую бороздитъ... Жалобно реветъ горбатый звѣрь и ходу надааетъ; сбиль съ ногъ кого-то, натянулся на арбу, что поперегъ дороги стояла, затрещало что-то... А-а, поймали!..

— А чтобъ тебѣ, проклятый! шарахнулся назадъ Иванъ Дормидончычъ,—чего сюда прешь?

Видятъ они, что бычекъ одинъ молоденькій, бѣлый весь, голова, какъ уголь, черная, прямо къ нимъ дуетъ, къ вустамъ ихнимъ. Близо уже подбѣгаетъ.

— Выдастъ, анафемскій, выдастъ, шепчетъ прикащикъ хлудовскій.— Нѣшто намъ, Степанъ, подъ берегъ поскорѣе да въ воду? Вотъ такъ оказія! Куда ты, широколобий! пошелъ прочь! бѣги въ сторону!

Словно услыхалъ быкъ ихъ шопотъ испуганный, словно понималъ, что людей добрыхъ губить, и, точно, свернулъ въ сторону, перескочилъ канавку, остановился, поглядѣлъ еще назадъ, не гонятся-ли, и сталъ спокойно пастись на зеленомъ клеверномъ полѣ, дорвался рогатый до корму сочнаго.

Вздохнули свободнѣе Степанъ-Малышъ съ прикащикомъ хлудовскимъ.

Какъ ни тянулся день томительный, однако пришелъ-таки къ концу. Спустилось солнышко, смилостивилось.

Набѣжали на землю тѣни длинныя, вмѣстѣ слились, поднялся паръ отъ полей взрытыхъ, разогрѣтыхъ, отъ воды потянулись туманныя полосы. Стемнѣло.

Выползли наши изъ своей саклюшки, дальше пошли.

Пришлось имъ переходить песчанымъ мыскомъ. Что за диковина? Тутъ вотъ аулъ былъ неподалеку, отсюда стѣны должны быть видны. Иванъ Дормидончычъ хорошо помнилъ, что видѣлъ такіе, когда сюда шелъ, а теперь темно, не слышать даже ничего, собаки не лаятъ,—снялись. должно быть.

Прошли еще съ версту—стороною голоса слышны, топотня, оси

арбяння визжать. Ползеть по пескамъ что-то длинное, черное, — обозъ большой тянется.

Прилегли опять, пропустили мимо себя. Арбы все идутъ, тяжело нагруженныя, верхники по сторонамъ плетутся; мужчинъ мало, все больше бабье.

Какъ только прошла послѣдняя арба, поднялись наши на ноги. Опять что-то чернѣетъ правѣе, опять арба. Только эта уже стоитъ, лошадь выпряжена, а грузъ весь на мѣстѣ; никого около нѣту, брошена, значить; либо не подъ силу пришлась, либо сломалось что. Только чего-же это они торопятся таеъ, что добро даже на дорогѣ бросать?

— Теперь вотъ недалеко, говорить прикащикъ хлудовскій. — Видишь, вонъ чуть-чуть сады маячатъ, вонъ на свѣтлой полосѣ, на самомъ краю неба, видны? за тѣми садами какъ-разъ, рукою подать; теперь близко.

— Близко! повторилъ Степанъ. — Скажу это я ей сейчасъ: „Марина Денисьевна, здравствуй. Вотъ я...“

— Неладное что-то по этимъ мѣстамъ творится, промолвилъ Иванъ Доримончъ. — Вотъ это самое мѣсто мулла одинъ жилъ, вонъ въ этой саклѣ; тоже ушелъ, пусто, двери настезь отворены. Тсъ!..

Видна имъ крыша плоская этой сакли, видѣнь стожокъ клеверный на крышѣ, словно шапка какая, черная, большущая, стоитъ; вонъ зашевелилось тамъ, поднялось.

Жалобно такъ завyla собака, почувавъ прохожаго, по крышѣ бѣгаетъ, хвостомъ вертитъ, а внизъ не слѣзаетъ, не хочетъ дома своего оставлять, мѣста нагрѣтаго, не пошла, знать, за хозяевами.

Красное зарево чуть вспыхнуло, далеко-далеко. Не въ той сторонѣ, куда обозы шли тюркменскіе, а совсѣмъ въ противоположной. Разгорѣлось это зарево ярче, полосами потянулось по небу, пятнами багровыми запылало.

— Горить... проборноталъ Степанъ, покосившись въ ту сторону. — Вишь ты, загорѣлось.

— Да, дереть шибко, качнулъ головою прикащикъ хлудовскій. — Экъ его, экъ его разбираетъ. Ну, пожаръ!

Еще рядомъ что-то загорѣлось, слилось пожараще вмѣстѣ, инда свѣтло становится.

— Вѣдь вотъ, подумаешь, оказія, вотъ неудача. Совсѣмъ чело-
вѣку пройти неспособно. Сюда!

Свернули вправо, пошли по-за канавою, около живой изгоро-
ди. Чудесно!

— Только-бы намъ до Салтыковой межи добраться, а тамъ
ужь дома, тамъ вольготно.

— Салтыкъ... проворчалъ Степанъ.

— Хозяинъ ейный, пояснилъ Иванъ Дормидончъ,—онъ са-
мый. Въ отлучкѣ онъ въ настоящее время; мѣсяцъ уже, какъ
дома не былъ. Въ той шайкѣ, что насъ забрала, братъ его на-
ходился, онъ-то меня сюда и доставилъ... Чу-кось?..

Остановились оба.

— Ничего не слыхалъ, а? Вонъ въ той сторонѣ... тамъ
вонъ. Стой, не дыши. Слушай!

— Пальнулъ кто-то.

— То-то стрѣляютъ. Мнѣ вонъ тоже показалось, а можетъ,
почудилось. Вишь ты... опять... слышалъ?

— Явственно, однако, далеко.

— Ну, ходу, ходу! Вотъ и межа. Отъ этой, братецъ, кана-
вы—все *наше*. Эхъ, кабы до свѣту!..

Добѣжали, точно, наши до свѣту до своего мѣста, да и ста-
ли, какъ опалѣлые. Запалась заря утренняя, освѣтила все мѣ-
сто, гдѣ богатое, людное становище было раскинуто.

Знать, и отсюда въ ночь все порекочевало, ни души не ви-
дать человѣческой.

XXXVII.

„Бѣлыя рубахи“.

Заглянулъ Иванъ Дормидончъ въ одну саялю, съ большимъ
дворомъ, высокою стѣною огороженнымъ,—никого нѣту. Насорено
тамъ во дворѣ — солома, снопы неоклощенные такъ, зря, валя-
ются; арба сломанная въ самыхъ воротахъ застряла; въ углу,
гдѣ закопченное мѣсто на стѣнахъ видѣлось, гдѣ таганы стоя-
ли, тамъ еще догораетъ огонекъ, чуть дымится, все къ сухому
мусору мало-по-малу добирается, вотъ-вотъ затлѣютъ перегорѣ-
лыя кучи навоза, разгорятся пожаращемъ. Безъ присмотру огни,
видно, брошены.

Куры бродятъ забытыя, пѣтухъ красный по краю крыши ходить, шею вытягиваетъ, крыльями хлопаетъ, не то крикнуть собирается, не то внизъ прыгнуть хочетъ, удобное мѣсто выглядываетъ.

— Это сосѣдскія, говорить прикащикъ хлудовскій, затюлокъ почесываетъ. — Выѣхамши, значить. Вотъ такъ оказія! Третьяго дня былъ—все, какъ есть, на мѣстѣ... разговору никакого не было... а тутъ...

Вышли со двора, черезъ заборъ перелѣзли; лужайка тутъ была зелененькая, два большихъ черныхъ круга на ней видны, травы на тѣхъ кругахъ нѣту и на сыровой землѣ что-то плетеное отпечаталось. Тутъ кибитки стояли, да, должно быть, только-что сняты, потому мѣсто не успѣло даже просохнуть какъ слѣдуетъ.

Густой дымъ, черный такой, валить изъ-за тополей, горитъ что-то, а что—не видно. Стелется этотъ дымъ по-надъ деревьями, далеко несетъ его вѣтромъ, все гуще и гуще клубы его становятся.

— Мы подходили, не было видно, покачалъ головою Ванька;—также, знать, огонь не убрали.

— Занялось, значить, промолвилъ Степанъ.

Осленокъ тутъ выбѣжалъ имъ навстрѣчу, хвостъ вверху задралъ, уши впередъ насторожилъ, морду вытянулъ, оретъ, что есть мочи. Аисты летаютъ, кружатся надъ дымомъ, видимо покоятся чего-то; то въ самый дымъ рванутся, пропадутъ тамъ совсѣмъ, то назадъ, на свѣжій воздухъ вылетятъ. Горятъ вмѣстѣ съ жильемъ человѣческимъ и ихъ косматыя гнѣзда, да и не пустыя, можетъ, дѣтеныши ихъ тамъ въ огнѣ гибнутъ, и кружатся надъ ними несчастныя птицы, видятъ гибель птенцовъ своихъ, а помочь не могутъ.

— Туда, братецъ; это самое мѣсто наше. Вонъ гдѣ горитъ-то! вскрикнулъ Иванъ Дормидоничъ.

Пустился бѣгомъ, за нимъ Степанъ; да не туда попали, на стѣнгу наткнулись; въ обходъ пришлось искать пролазу. Нашель тутъ прикащикъ хлудовскій арычекъ, что подъ стѣнгу проходилъ, трубою; дыра для него внизу продѣлана, человѣку пролѣзть можно, особливо какъ они, совсѣмъ, почитай, безъ одежды. Иванъ впередъ поползъ, Степанъ сзади; такъ и пах-

нуло имъ въ носъ гарью да прѣлнмъ запахомъ горѣлаго навоза.

Заволокло все дымомъ, ничего не видно, вѣтеръ-то въ ихъ сторону; глухо горитъ, въ одномъ мѣстѣ красные языки прорываются и трещать обгорѣлыя балки. И опять никого народу, опять пусто.

Само собою загорѣлось-ли брошенное жилье, отъ огня забитаго занялось, или врагъ поджогъ пришлый, а можетъ, и сами хозяева свое добро огню предали: не доставайся, молъ, никому, — кто его знаетъ!

Обошли кругомъ наши пріатели-земляки все пожарище, на мулушку взобрались, отсюда повыше мѣсто, далеко кругомъ видно.

И всюду, во все стороны, только и видны были имъ наскоро брошенныя, опустѣлыя становища.

Чешетъ Степанъ затылокъ свой, боится спросить, боится глаза векинуть на Ивана Дормидончыча. Чешетъ и тотъ загривокъ, глядеть тоже потупившись, разговору не начинаетъ.

Долгонько эдакъ-то они постояли; Степанъ не выдержалъ, терпѣнья не хватило.

— Ну, спрашиваетъ земляка, — какъ же теперь? Она-то гдѣ-же?

— А ужъ, братецъ ты мой, не знаю, промолвилъ въ отвѣтъ прикащикъ хлудовскій. — Ума, то-есть, не приложу, дружокъ, что такое это дѣлается!..

Чу! опять выстрѣлы, да явственно такъ. По дорогѣ конскій топотъ слышится, быстрый такой, во всю мочь лошадиную дуютъ. Хлопъ! опять пальнулъ кто-то, ну вотъ совсѣмъ надъ ухомъ.

Кубаремъ свалились съ крыши мулушки Иванъ со Степаномъ.

— Прячься, другъ, скорѣе! шепчетъ первый.

А куда спрятаться? мѣсто открытое, имъ не видать за дымомъ только. Нѣшто за мулушку? Опять, кто его знаетъ, съ которой стороны проѣдутъ; въ нутро забраться — двери-лазейки впопыхахъ не разнпуть. Прилегли ничкомъ наги — была-не-была, авось пронесетъ Господь бѣду мимо.

Лежать притаившись, духъ заняли, лица подъ лопухи спрятали, — широкіе выросли они, на ихъ счастье, какъ-разъ на этомъ мѣстѣ.

Ближе да ближе. Мимо проносятся всадники. Ыони замылены, попоны растрепаны. Припали, прижались совсѣмъ къ вытянутымъ конскимъ шеямъ, назвѣдъ даже не озираются, только крикомъ хриплымъ, надорваннымъ, лошадой своихъ поговяютъ.

Поотсталъ одинъ; онъ-то и пальнулъ, должно полагать, потому мултукъ у него въ рукахъ еще, не успѣлъ за спину закинуть. Этотъ не робѣетъ, коня даже сдерживаетъ, полной воли не даетъ, и въ густой дымъ пожараща разгорѣвшимися глазами воззрися.

Поверхъ шапки чалма у него повязана; распустилась она, и вдоль спины, вплоть до крупа конскаго, концы бахромчатые треплются; халатъ дорогой верхній не связанъ поясомъ, свободно полы его по вѣтру развѣваются. Словно окрыленный, всадникъ гарцуетъ въ дыму. Вотъ совсѣмъ остановилъ онъ коня, вотъ опять приложился. Да струйка крови лить съ темени, черезъ лобъ, по лицу, глаза слѣпить, смотрѣть мѣшаетъ, да и конь не стоитъ, волнуется, вслѣдъ ускокавшимъ ржетъ звонко, пугливо косится въ другую сторону, откуда принеслись вершники.

Словно дождь крупный по убитой, сухой дорогѣ, словно дробь глухая барабанная слышится мелкая рысь, плотная такал, солидная. Знать, густою толпою ѣдутъ, не по одиночкѣ, какъ эти, горячки не порятъ, а, какъ медвѣдь въ погонѣ, шагъ-за-шагомъ, безъ устали, безъ задержки подвигаются.

Не выпалилъ джигитъ, кивнулъ ружье и пустилъ вольно поводья. Круто на заднихъ ногахъ повернулся его конь, свакнулъ козломъ черезъ аркы—и только его и видѣли, только чуть мелькнуло мимо лежащихъ молодое лицо, черная, запыленная борода, носъ крючковатый и большіе глаза, блестящіе, какъ угли, оттѣненные длинными рѣсницами.

— Салтыкъ! не вытерпѣлъ, волкомъ взвылъ Степанъ. Сразу призналъ своего ненавистника. На ноги-было вскочить хотѣлъ, да Иванъ Дормидончъ, спасибо, ухватилъ его за шиворотъ, къ землѣ прижалъ.

— Что ты, лѣшій! иль рехнулся! Лежи смирно, пока цѣль. Пропадемъ ни за грошъ, какъ собаки паршивыя. Ишь вѣдь, опять несеть ихъ нелегкая...

Вотъ въ одномъ мѣстѣ, тамъ, гдѣ дымъ черезъ дорогу пере-

палзывалъ, сталъ этотъ дымъ гуще, бѣловатѣе. Это пыль къ нему прибавилась, поднятая сотнею копытъ конскихъ.

Замахали тамъ косматыя гривы и хвосты лошадинныя, заблѣбли рубахи холщевыя на всадникахъ, заблестѣли стволы винтовокъ, мѣдныя рожки у трубачей засверкали на солнышкѣ.

А наши все лежатъ ничкомъ, глянуть боятся, думаютъ — чужіе ѣдутъ.

— Ну, ребятушки, еще немного... еще съ часокъ погонимъ, да и баста, подбодриваетъ казаковъ кто-то, усастый такой, толстенный, мячикомъ на сѣдлѣ прыгаетъ.

— Передай-ка сюда бутылку. Эй, Шаплыгинъ, у тебя она, что-ли?

— Здѣсь!

— А „поштрѣли тѣ въ пузо!“ Мой-то сивый чортъ опять на лѣвую заднюю припадаетъ.

— „На хвостъ“, ребята! Не отставать, по сторонамъ не зѣвать, не развѣзжаться!

— Ваше скоблагородіе, ваше скоблагородіе, сунженцы въ обходъ на озеро погнали?..

— Генераль приказаль...

— Что такое?

— Генераль приказаль...

И не слыхать совѣмъ, что такое генераль приказаль, потому усталъ совѣмъ молоденькій офицерикъ, еле догналъ ушедшую далеко впередъ казачью сотню, запыхался, языкъ не ворочается, больше руками эдакъ объяснилъ, что, молъ, его превосходительству требуется.

— А, хорошо. Э-гмъ!.. Сотня, сто-о-й! Такъ, значить, ждаль приказаль? Ладно. Ярыгинъ, грей чайники; Демка, закуску! Михайло Васильевичъ, что у васъ этого оранжамеру осталось еще Слѣ-ѣ-ѣзай, выводи лошадей!.. Ну, ужъ мы и проперли!

— Безъ малаго восемьдесятъ верстъ въ ночь, вотъ какъ! сообщилъ тутъ, должно быть, самый Михайло Васильевичъ, потому у него въ рукахъ была бутылка съ остатками „оранжамеру“...

Разглядѣли зоркіе оренбургцы нашихъ прятальщиковъ, разглядѣли и Иванъ со Степаномъ, въ чемъ дѣло, — выползи.

Началось тутъ ухаживаніе да подчиваніе... Весь бивакъ сбѣжался смотрѣть на „освобожденныхъ“. „Кто такіе, да откуда, да какъ попали?“ со всѣхъ сторонъ посыпались вопросы.

Одѣли ихъ сейчасъ во что пришлось, чаемъ напоили, водки поднесли; генераль узналъ — къ себѣ потребовалъ. Вѣстового прислалъ, чтобы доставить немедленно.

— Здорово, ребята! началъ его превосходительство. — Ого!.. отошала порядкомъ.

Сняли шапки, поклонились низко Иванъ со Степаномъ, стоятъ, переминаются.

— Ну, что, рады?

— Ужь такъ-то рады, ваше превосходительство, просто ликуемъ. Не думали, не гадали... Вотъ оно, что значить предопредѣленіе, какъ кому... Сегодня — червь, завтра... И во всякомъ прочемъ. Ура!

Не простой человѣкъ Иванъ Доржидоничъ, не мужикъ какой, безграмотный, у хозяина, самъ рассказывалъ, всю конторю заправлялъ, умѣетъ, какъ надо, съ высокопоставленными лицами разговаривать. Опять-же и выпито было имъ тоже порядочно на радостяхъ.

— Рады, извѣстно! вздохнулъ Степанъ-Малышъ; — что-же, извѣстно, земляки... одной вѣры то-есть... Однако, все-таки обидно...

Расплакался парень ни съ того, ни съ сего, такъ и разливается... Видитъ генераль, что уже наугощались ребята. Вино-то не свой братъ, особенно съ отвычки, на всякаго дѣйствуетъ разное: кого въ разгулъ ударить, кто печалиться начнетъ, покойныхъ родителей поминать. Только Степану эти родители, надо полагать, не лѣзли въ голову.

— Ну, пу, хорошо, махнулъ рукою генераль. — Идите, отдохните. Позвать ко мнѣ Густодуева полковника!

Выслалъ имъ его превосходительство по красненькой, а на продовольствіе къ пятой оренбургской сотнѣ приписать велѣлъ. Повели „освобожденныхъ“ по его назначенію.

Снялся отрядъ, отступать началъ... До послѣдняго предѣла тюрменскихъ становищъ дошли, — не гоняться-же за тѣми, кому помогъ Аллахъ въ пески спрятаться... Довольно!

На другой день и Егоръ Власовъ отыскался, ундеръ; самъ пришелъ и явился отрядному начальнику.

Разговорились земляки, развязалъ свой языкъ Степанъ-Малышъ, да и Иванъ Дормидонъчъ помогъ ему въ этомъ, живо все разболталъ, и стало его горе извѣстно всѣмъ и каждому.

XXXVIII.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ БУМАГА.

Прошелъ цѣлый мѣсяцъ съ того времени.

Все успокоилось, все пришло въ порядокъ, забралось въ свою обычную колею; стихли пока, на-время, кровавыя смуты въ ханствѣ хивинскомъ; затанувъ злобу, неволью покорившись могучей силѣ „бѣлой рубахи“, стихли и туркменскія становища; вернулся вольный народъ на погорѣлое, разгромленное мѣсто и всплалъ побѣдителямъ своихъ старшинъ съ изъявленіемъ полной покорности.

По избитой, пыльной дорогѣ ѣхала арба, въ одну лошадь; на арбѣ сидѣлъ Степанъ-Малышъ и его пріятель закадычный, Иванъ Дормидонъчъ; за этою арбою верхомъ ѣхалъ Ата-бекъ, туркменскій старшина, а на халатѣ Ата-бека болталась русская медалька на засаженной уже красной ленточкѣ съ желтыми полочками по краямъ.

Съ ними еще челоуѣка два трепались, изъ приставшихъ по своей волѣ; арбакешъ наемный пѣшкомъ шелъ, рядомъ съ лошадью. Поѣздъ подвигался медленно.

Степанъ сидѣлъ сосредоточенный такой, задумчивый, все губами шевелилъ и руками нѣтъ-нѣтъ, да и разведетъ, словно съ кѣмъ-то разговариваетъ... Иванъ Дормидонъчъ, того просто словно иголками покалывало снизу, такъ вотъ и вертѣлся все онъ и торопилъ арбакеша. Ата-бекъ ѣхалъ солидно, грудь съ медалью выпатилъ, а изъ-за пазухи у него уголъ бумаги какой-то торчалъ, четверо сложенной... Приставшіе двое, тѣ такъ-себѣ трусили, въ сторонкѣ, на русскихъ поглядывали да между собою переговаривались.

Всѣхъ плѣнныхъ и рабовъ освободить велѣно, отобрать ото-

всюду, гдѣ только таковыя появляся, и приказаніе это давно уже было оповѣщено по всѣмъ окрестностямъ.

Теперь вотъ Степанъ самъ ѣхалъ за своею Мариною Денисьевною, открыто, не украдкою, среди бѣлаго дня, никого не боявшись... А чтобы, въ случаѣ чего, оборони Богъ, какая задержка не вышла или недоразумѣніе, такъ на этотъ конецъ съ нимъ старшину тюркменскаго послали, муллу Ата-бека, а муллу этого снабдили предписаніемъ, съ генеральскою подписью и большою печатью красною,—такимъ предписаніемъ, что только вынь да покажи — все остальное само-собою сдѣлается.

Вотъ это-то предписаніе и торчало изъ-за пазухи Ата-бека, должно быть, по той причинѣ и грудь такъ старшины тюркменскаго гордо выпячивалась.

— Теперь ужъ наша взяла, ёрзалъ по арбѣ прикащикъ хлудовскій.—Теперь наше дѣло въ шляпѣ. То-то вотъ она обрадуется, родная наша хозяйка, душа добрейшая! А какъ пѣла она эту „травушку“, ахъ ты, Господи!.. Вотъ вѣдь голосъ-то: не горломъ, душою выводила, прямо отъ сердца... Ну-ка, братъ, какъ? ты вѣдь точь-въ-точь умѣешь.

Не отвѣчаетъ Степанъ, все самъ съ собою разговариваетъ, и лицо у него такое свѣтлое, праздничное, хоть и не веселое съ перваго взгляду... Послѣ исповѣди къ причастію съ такимъ вотъ точно лицомъ христіане подходятъ.

Катится арба, по колдобинамъ прыгаетъ, потрескиваетъ, осями визжитъ, просто по уху рѣжетъ. Дремлетъ Ата-бекъ на своемъ аргамакѣ, отстали попутчики, зачѣмъ-то послѣзали съ лошадей.

— Ты, братъ, слушай! знай все пристаешь къ Степану Иванъ Дормидоничъ, — ты слушай: меня чтобъ непременно въ „посаженье“, непременно! Я и образъ на свой счетъ, въ серебряной ризѣ, справлю, и все угощеніе гостямъ жертвую.

Все молчитъ Степанъ-Малышъ, не слышитъ будто словъ друга своего болтливаго.

— Погоняй! проснулся Ата-бекъ и кругомъ оглядѣлся.—Гайда-джуръ! Гайда!..

— Слушай, Степа, когда крестить, такъ ужъ ты и знай — меня въ крестные. Помни, братъ. Я разъ у полковника крестилъ, въ Ташкентѣ, ей-богу!.. Смотри-же, не забудь!.. Эхъ, Степа,

Степа! не будетъ у тебя друга лучшаго, какъ Кривошлотевинъ, Иванъ Дормидоничъ!.. Помни ты мое это слово... Эй ты, чухея полосатая, скуластое рыло, трогай!..

Вотъ и мѣста пошли знакомыя... Вонъ синѣть за садами Зайданъ-аршегъ... Вонъ опять дымъ столбами поднимается. Только это дымъ не тревожный, пожарный, злой дымъ... Привѣтливо манить онъ къ себѣ путника, тепло ему сулитъ, кусокъ вкусный... Вонъ голоса дѣтскіе слышатся... Маленькія тѣла черномазья въ арнкѣ купаются, плещутся; увидали арбу съ чужими людьми—выскочили изъ воды, въ кусты попрятались.

Вонъ и мать прошла, гордая такая, стройная; чуть взглянула на проѣзжихъ, брови сдвинула сердито, проворчала что-то, знать выругалась по-своему.

Вонъ и „сабанъ“ (плугъ) землю роетъ, бороздитъ полосами поле; а на полѣ томъ не успѣло еще вѣтромъ разнести золу черноватую, что осталась послѣ сожженной на корню золотистой жатвы...

— Намъ прямо дорога, говоритъ Иванъ Дормидоничъ. — „Къ тебѣ“ вонъ куда, совсѣмъ въ сторону. А помнишь, другъ, какъ я къ тебѣ нагишомъ черезъ Зайданъ плылъ? Это тамъ вонъ, подъ тою кручею, самое то мѣсто и есть... Теперь скоро!

— Теперь скоро! повторилъ Степанъ.

— Что ты, братяга, аль не радъ? что какъ-будто развеселился? пристаешь пріятель.—Что такое, ась? Экой ты, голубчикъ, право... Ну-ну, не буду; я, братъ, сосну пока немного, что-то глаза липнуть. О-хо-хо-хо! посунь-ко мнѣ этотъ мѣшечекъ подъ голову.

Послышалось Ивану Дормидоничу, что Степанъ ему „отстанъ“ сказалъ. Вотъ онъ и отсталъ, навзничъ разлегся на арбѣ, закрылъ себѣ лицо полою халатною отъ мухъ да отъ солнца, позѣввалъ, почесался, гдѣ надобность была, и сталъ выводить носомъ разныя трели подъ ладъ скрипу оси арбяной немазанной.

Притомился конь, стали на отдыхъ подъ вечеръ. Думали часъ-другой постоять, а тутъ арбакешъ заупрямился: я, говорить, ночевать буду. Шибко озлились Степанъ съ Иваномъ, хотѣли было пѣшкомъ идти, да Ата-бекъ не пустилъ.

— Я, говоритъ, за васъ отвѣчаю передъ генераломъ, и нѣ васъ цѣлыхъ, невредимыхъ поручили,—такими-же я васъ и назадъ долженъ доставить. Сидите!..

Такъ и пришлось имъ цѣлую ночь безъ сна промаяться.

— Колибъ еще такую-же—не выжить просто, говорилъ Степанъ, когда рано утромъ снова въ путь тронулись.

XXXIX.

М А Т Ъ.

Перешли песчаную косу, спустились на ту сторону... Снова раскинулись передъ ихъ глазами изрѣзанныя аръеами, зеленѣющія поля, занестрѣли разбросанныя межъ садовъ сакли и вибитки многолюднаго становища.

Молчить теперь и Иванъ Дормидончъ, не до разговору ему, не до болтовни... Во всѣ глаза глядитъ онъ впередъ, на арбѣ даже привсталъ... Не сидится Степану, мается онъ, бѣдный, какъ въ лихорадкѣ дрожить, то въ жаръ, то въ ознобъ его кидаетъ... Слѣзъ онъ, пѣшкомъ идетъ впереди; рысить за нимъ лошадь арбяная, чуть поспѣваетъ.

Много народу навстрѣчу идетъ, многіе обгоняютъ, многіе со стороны, изъ садовъ да изъ-за стѣнокъ глядятъ на нихъ... Съ Ата-бекомъ заговариваютъ, на русскихъ косятся... Не разъ Степанъ имя Салтыка слышалъ, ножомъ словно по сердцу рѣзало его это слово ненавистное.

Пріѣхали.

Густою толпою окружалъ народъ вибитки и сакли Салтыка Аблаевича. Всѣ двери заперты, снаружи стоятъ люди; одна только вибитка настѣжъ распахнута, тентюкъ верхній открытъ; свѣтомъ солнечнымъ залито все, что внутри этой вибитки.

По-праздничному тамъ все убрано, пестрые ковры развѣшаны, синій дымъ кальяна струится вверху, мѣдная посуда блеститъ и угощеніе разное на подносахъ разложено.

Самъ хозяинъ сидитъ на почетномъ мѣстѣ, спокойно ждетъ гостей. Не ожидаемые къ нему пріѣхали эти гости, вѣсть объ нихъ давно ужъ сюда пришла, опередила ѣдущихъ. Все къ приему успѣло приготовиться.

Спокойно глядѣть Салтыкъ Аблаевичъ, волнуется народъ кругомъ. Ни одного не видно, чтобы съ пустыми руками стоялъ, — у кого ножъ за поясомъ, у кого кинчи, а кто, такъ и ружья съ собою принесли, и стоять, словно часовые, на мултуки опершись.

Замѣтилъ это Ата-бекъ, старшина, нахмурился, прямо къ кибиткѣ пошелъ, а русскихъ двухъ сейчасъ-же за собою ведетъ, словно тѣломъ своимъ прикрыть ихъ хочетъ.

— Крови не надо, сказалъ онъ. — Кровь ихъ большихъ бѣдъ вамъ-же надѣлаетъ. Я для этого съ ними посланъ, а тамъ мой сынъ старшій за меня заложникомъ остался.

— Ни въ обычаѣхъ предковъ нашихъ, ни въ законахъ нашихъ вольныхъ, отвѣчаетъ Салтыкъ, — нѣтъ того, чтобы кто гостей желѣзомъ встрѣчалъ. Входите съ миромъ, садитесь! Да благословить Аллаха пріѣздъ вашъ!

Ввелъ Ата-бекъ Степана съ Иваномъ въ кибитку, сѣли всѣ трое. Иванъ Дормидоничъ такъ кругомъ и озирается, такъ и бѣгаютъ глаза его во всѣ стороны, а Степанъ и глянуть боится, сидитъ потупившись, бѣлѣе полотна рубахи его лицо стало, чуть бьется сердце, словно вотъ-вотъ совсѣмъ перестанетъ.

Вынулъ Ата-бекъ бумагу, прочелъ громко, Салтыку передалъ. Тотъ тоже началъ перечитывать.

То печаль какъ-будто на его лицѣ покажется, надъ бровями складочка протянется, то въ глазахъ что-то веселое вдругъ заблеститъ, улыбка на губахъ замѣтится. Разъ головою покачалъ, разъ плечами будто пожалъ. Вдохнулъ глубоко, кончилъ чтеніе.

— Такъ вотъ, говоритъ Ата-бекъ, — ради своего спокойствія, ради спокойствія и мира народа твоего, не упорствуй, выдай эту женщину.

— Развѣ есть у русскихъ законъ, чтобы жену отъ мужа брать? спросилъ спокойно хозяинъ.

— Воля генерала... я больше ничего не знаю, вымолвилъ Ата-бекъ старшина.

— Она христіанка, заговорилъ, заторопился Иванъ Дормидоничъ, — она по вашимъ законамъ ничѣмъ не обязывается... Боли ты ее женою сдѣлалъ насильно — это ей все единственно, и не состоишь ты надъ нею какъ есть ни въ какомъ, то-есть, законномъ правѣ.

Знаеть тоже порядокъ, какъ и что, Иванъ Дормидоничъ, прикащикъ хлудовскій, его на кривой не объѣдешь. Вишь, какъ строго повернулъ, сразу озадачилъ Салтыка Аблаевича.

— Я вотъ этого знаю, указаль Салтыкъ на Степана: — это хорошій человекъ, я его давно знаю, еще какъ въ Казалу ѣздилъ, помню. Онъ вотъ могъ за женщиною тою пріѣхать. Ну, а этого дурака зачѣмъ ты привезъ съ собою?

— Это ты насчетъ меня? опалѣлъ немного прикащикъ хлудовскій.

— Такъ кончимъ дѣло наше, отстранилъ его рукою Ата-бекъ, — кончимъ дѣло мирно и скоро. Вѣрь ты моей сѣдой головой, вѣрь моей мудрости, не для того я ея семьдесятъ лѣтъ набирался, чтобы на вѣтеръ слова свои пускать. Ты мнѣ во внуки по лѣтамъ годишься, а и сынъ своего отца долженъ слушаться, не то что внукъ дѣда. Выдай-же эту женщину, не допускай зла на народъ твой изъ-за...

Сказаль тутъ слово нехорошее старшина тюркменскій, даже сплюнулъ, чтобы оно казалось нагляднѣе.

— Кушайте и пейте, пригласилъ хозяинъ гостей своихъ. — Вамъ съ дороги отдохнуть и подкрѣпитися надо.

— Не дотронусь до хлѣба твоего, не лягу спать подъ твоею тѣнью, пока дѣла не сдѣлаемъ, отказался Ата-бекъ, и всталъ на ноги, чтобы изъ кибитки выйти.

— Экой ты упрямый, улыбнулся Салтыкъ. — Приходили сюда русскіе, самъ знаешь, много добра нашего погибло, много такъ пропало, безъ вѣсти. Была у меня, точно, жена русская, та, за которую вы вотъ пріѣхали, а теперь ея нѣту.

— Гдѣ-же она?.. спросилъ Ата-бекъ.

— Вреть, вреть, прикидывается, что ему вѣрить, обыскать надо, вѣрно гдѣ спряталъ! закричалъ Иванъ Дормидоничъ. — Эхъ, надо-бы казаковъ захватить намъ, хоть полсотни.

— Гдѣ? встрепенулся Степанъ, хотѣлъ на ноги подняться, да силы не хватило, словно вотъ приросъ къ землѣ, словно лапы цѣпныя, что узорами хитрыми по ковру были раскиданы, ухватились за него крѣпко, встать не дають, держуть.

— А я почему знаю? сказаль хозяинъ. — Про то вамъ, русскимъ, можетъ, лучше меня извѣстно.

— Вѣрно это? пристально поглядѣлъ на него старшина. — Вѣрно твое слово?..

— Вѣрно!.. словно подавился Салтыкъ, и потушился, отвернулся даже немного, краска по лицу вплоть до ушей разлилась у него, побагровѣла и шея, что изъ-подъ розоваго, широкаго воротника рубахи виднѣлась.

— Напиши это генералу... Значить, намъ больше здѣсь дѣлать нечего.

Только вскрикнули всѣ разомъ; тѣ, что вокругъ кибитки стояли, сразу назадъ шарахнулись; затрещали уголья горячіе, по коврамъ разлетѣвшись, зашипѣла на огнѣ вода изъ опрокинутаго кувшина, задавленный хрипъ послышался.

Рванулся Степанъ съ мѣста, прямо на Салтыка кинулся; тотъ увернуться не успѣлъ, какъ почувствовалъ руки на своемъ горлѣ... Такъ вмѣстѣ, плотно сцѣпившись, и повалились на ковры.

Опомнились живо люди Салтыковы, въ мигъ розняли схватившихся борцовъ.

— Что-же это? еле отдышался хозяинъ. — Подъ мою крышею... Гости... Арканы сюда!..

— Не трогай, отстранилъ его Ата-бекъ, — не трогай!.. Посмотри въ глаза ему, загляни въ душу его, что тамъ дѣлается, и не поднимай руки на человѣка. у котораго въ мозгу „черный духъ кибитку свою ставитъ“...

— Поѣзжайте съ Богомъ, а бумагу, что просилъ ты, я пришлю тебѣ съ джигитомъ; дорогою онъ тебя нагонитъ. Поѣзжайте съ Богомъ.

— Мы поѣдемъ, пожалъ плечами Ата-бекъ, — только помни мое слово: велика сила русская, не повѣрятъ они тебѣ, узнаютъ твою неправду, и не простятъ обмана. Уѣдемъ мы съ нею — добро и миръ съ тобою останутся, уѣдемъ безъ нея — по нашимъ слѣдамъ смерть и зло въ твое жилище придутъ. Стоитъ-ли баба того, что изъ-за нея можетъ сдѣлаться?..

— Отдай, Салтыкъ, заговорили вдругъ въ толпѣ, — отдай!.. Зачѣмъ удержишь, выпусти!..

— И жены всѣ наши ея не любятъ; всѣ вонъ шумятъ, слышишь, какъ галдятъ у сакель?.. Не держи зла въ домѣ твоёмъ. Богъ съ нею! Что тамъ еще такое?..

Давно уже глухой гулъ за стѣною, въ саду, слышался, давно

уже выдѣлялись изъ этого смутнаго шума отдѣльные возгласы, визгливые голоса женскіе чего-то надсаживались. А тутъ вдругъ ближе и ближе все подвигаться стало, вотъ уже у самой кибитки раздается, вотъ разомъ оборвалось, стихнуло. Разступились молча тѣ, что дверь загоразживали.

Въ кибитку, чуть согнувшись въ дверяхъ, вошла Марина Денисьевна.

Она была въ красной, длиннополой рубахѣ тюркменской; голова легкою кисейною чалмою повязана, а изъ-подъ чалмы той висѣли за спиною длинныя, тяжелыя косы, унизанныя монетами; черныя, суконный халатъ, вышитый по бортамъ золотою ниткою, въ одинъ рукавъ надѣтъ; узорные концы персидскаго пояса до земли висѣли, словно кольчуга; сверкалъ на груди уборный нагрудникъ; на бѣлой, полной шеѣ искрились и переливались на солнцѣ разноцвѣтныя стеклянныя ожерелья...

На одной рукѣ несла она ребеночка грудного, крѣпко къ груди его прижавши, другою рукою вела мальчика черномазаго, съ бѣжкими такими глазенками... Чуть на ногахъ держаться выучился ребенокъ, обѣими рученками крѣпко за материнскую руку уцѣпился, не понимаетъ еще ничего, крошка, весело смотреть вокругъ, всѣмъ улыбается.

Еще одна головка въ золотой тюрбетейкѣ изъ-за Марины выглядываетъ: это уже старшій самый, три года минуло ему передъ самымъ приходомъ русскихъ.

Вошла мать съ своими дѣтьми, стала какъ-разъ посреди кибитки; такъ и обдало ее солпечнымъ свѣтомъ сверху, глазамъ даже глядѣть больно. Молчать всѣ, ждуть, духъ затаили.

— Вотъ она! заораль-было Иванъ Дормидончъ, да въ бокъ его кто-то такъ двинулъ, что сразу голосъ оборвался.

— Марина Денисьевна! вымолвилъ Степацъ.

— Здравствуй, Степа... Вотъ мы и увидѣлись. Я все знаю, все, говорить мнѣ не надо. Ступай домой съ Богомъ, а обо мнѣ не помни, забыть постарайся. Некуда мнѣ отъ дѣтей своихъ уходить, а съ собою брать—отъ отца отнимать развѣ можно?.. Ступай съ Богомъ, теперь и ты для меня, и другіе кто,—все одно, хоть-бы и не были. Нѣту больше на свѣтѣ твоей Марины, а та, что здѣсь вотъ, передъ тобою стоитъ, та другая совсѣмъ, тебѣ чужая.

— Ну, прощай! помолчавъ малость времени, произнесъ Степанъ и, ни на кого не глядя, не промолвивъ болѣе слова одного, вышелъ изъ кибитки.

Догналъ его Салтыкъ, остановилъ за плечо.

— Что тебѣ? обернулся Малышъ,—оставь! Владѣй, никто за нею не придетъ больше. Твоихъ дѣтей мать она,—владѣй!.. Господи!..

Двѣ руки, бѣлыя такія, горячія, нѣжныя, обхватили его за шею, дорогое лицо къ его лицу прильнуло крѣпко-крѣпко.

Опомнился Степанъ—никого ужъ нѣтъ около. Народъ подальше толпится; арбу запрягаютъ; Иванъ Дормидонъчъ его подмышки на эту арбу тащить, двое помогаютъ. Ата-бекъ, уже верхомъ, съ вѣмъ-то черезъ заборъ разговариваетъ.

Сладились, поѣхали.

А Салтыкъ Аблаевичъ въ тотъ-же вечеръ такъ говорилъ въ своей кибиткѣ:

— Да проклянетъ Аллахъ и домъ мой, и семью мою, и весь родъ мой, да отсохнутъ руки мои, вотъ эти самыя, если повинны будутъ онѣ хотя въ одной каплѣ крови русской!

Отъ чистаго сердца вырвалась у него эта клятва, не силой, не штыками, не пожарами, не угрозами ее вытянули!..

Годъ спустя былъ я самъ въ его становищахъ; какъ лучшаго друга, какъ дорогого гостя встрѣчаютъ тамъ всякаго русскаго. Видѣлъ я и Марину Денисьевну, „Кызыл-сутъ“, какъ ее здѣсь называютъ. Заставила она полюбить себя всѣхъ женщинъ туркменскихъ, какъ дымъ разсѣялась вся ихъ прежняя къ ней ненависть.

XL.

„Слѣзная злоба“.

Громадныя партіи персіянъ, освобожденныхъ рабовъ, собрались у Хивы, близъ русскаго лагеря.

Они возвращались на родину. Имъ предстояло два пути:

одинъ далекій, долговременный, но безопасный,—это черезъ Оренбургъ, Самару, по Волгѣ внизъ, въ Астрахань, а оттуда уже къ роднымъ берегамъ по Каспійскому морю. Другой путь, болѣе короткій и скорый, за то рискованный,—это прямо черезъ степи и кочевья туркменскія, къ персидскимъ границамъ.

Освобожденнымъ былъ предоставленъ свободный выборъ между этими двумя путями.

Партія въ нѣсколько сотъ человѣкъ, съ дѣтьми и женщинами, съ арбами и вьючными животными, тянулась уже по послѣдней дорогѣ.

Она прошла мирныя селенія хлѣбопашцевъ, прошла и ближайшіе туркменскіе роды; ей оставалось теперь перейти бесплодную полосу песчаной степи, чтобы увидать вдали синѣющіе хребты родныхъ горъ.

Въ этой партіи одинъ человѣкъ только не былъ персіанинъ.

Человѣкъ этотъ шелъ пѣшкомъ, у него ничего не было, кромѣ одежды и палки. Онъ шелъ босой по горячему песку, онъ подставлялъ свою голову непокрытую прямо подъ отвѣсныя, палящія лучи южнаго солнца...

Онъ не держался въ толпѣ, а шелъ одинокой, стороною; онъ ѣлъ тогда, когда его почти силою заставляли ѣсть...

Онъ шелъ и дорогою молился, часто вслухъ, громко... Онъ молился даже ночью, во время отдыха, и, случалось, засыпалъ за молитвою, стоя на колѣняхъ.

Надъ этимъ человѣкомъ смѣялись его попутчики, онъ не отвѣчалъ имъ и не замѣчалъ даже насмѣшекъ; онъ привыкъ къ нимъ и къ нему привыкли.

„За персидскою землею поидеть турецкая земля, а въ той турецкой землѣ, не доходя моря синяго, стоитъ Іерусалимъ, старый градъ, лежитъ вокругъ него земля святая. И идутъ со всѣхъ концовъ свѣта христіане къ землѣ той на поклоненіе“.

Вотъ все, что зналъ этотъ человѣкъ, вотъ все, о чемъ только думалъ онъ дорогою.

Никто въ караванѣ не зналъ, какъ зовутъ русскаго путника, никто не видалъ его, какъ и когда онъ присталъ къ каравану. Прежде, какъ выходили, не видѣли, ну, а съ пятаго перехода

проявился такой, не гнать-же его! А коли самъ молчить, не приставать-же къ нему съ разспросами.

Тянулась давно уже песками эта партія, и не знала, не чуяла, какая гроза собирается надъ ихъ головами.

Собрались съ текинскихъ становищъ и съ другихъ мѣстъ недовольные, озлобленные новыми порядками. „Коли не намъ, такъ пусть-же и никому не достаются; ишь ты, собаки, вольные люди, еще и подсмѣиваются надъ нами, надъ господами своими, силою русскою, чужою грозятся. Лядно-же!“

Засѣла партія удальцовъ за песчанымъ гребнемъ, у маленькаго озера степного, а миновать этого озера для освобожденныхъ персіянь было никакъ невозможно.

И они его не миновали.

Нѣсколько времени спустя пришла къ намъ стороною страшная вѣсть о поголовномъ истребленіи всего каравана. Сперва вѣсти этой не повѣрили, справки стали наводить.

— „Ни одного человѣка въ живыхъ не оставили“, подтвердилось этими справками.

Н. Карзинъ.

У В Ъ Щ А Н Ь Е.

И плещуть, и бьются свирѣпыя волны
О берегъ скалистый залива,—
Но скалы, сознаемъ величія полмы,
Стоять, какъ всегда, горделиво...

Поникнувъ главою, по берегу ходить
Бѣднякъ огорченный, угрюмый;
Въ душѣ его пылкой борьба происходитъ;
Въ немъ зрѣютъ зловѣщія думы:

„Къ чему бесполезно растрчивать силы,
„Томиться подъ тяжестью горя?..
„Не лучше-ль уснуть непробудно?.. Могила
„Готова мнѣ въ омутѣ моря...“

Всю жизнь онъ припомнилъ—и съ тайной кручиной
Прощальныя слезы роняетъ...
Рѣшился несчастный—себя предъ кончиной
Широкимъ крестомъ освяетъ...

Откуда ни взялся тутъ вѣтеръ и дико
Завылъ, заревѣлъ, закрутился.
„Что хочешь ты дѣлать? Постою, погоди-ка!“
Онъ къ юношѣ такъ обратился.

„Ужель для того ты терзался, несчастный,
„И столько боролся съ судьбою,
„И тратилъ и умъ свой, и силы напрасно,
„Чтобъ послѣ покончить съ собою?

„Давно-ль ты старался стремиться упорно
„Къ побѣдѣ, врага низвергая,—
„И вотъ ты оружье бросаешь позорно,
„Отъ битвы, какъ трусь, убѣгая.

„Ты хочешь въ могилу, чтобъ гнить бесполезно,
 „Но ты еще силенъ и молодъ;
 „Бороться ты долженъ и, съ волей желѣзной,
 „Терпѣть и невзгоды, и голодъ.

„Пусть жизнь для тебя будетъ горькой отравой,
 „Полна безъисходной печали...
 „Но вспомни героевъ, что въ битвѣ кровавой,
 „На плахѣ, вострѣ умирали...

„Долой малодушье! Съ энергіей новой
 „Иди и съ неправдой сражайся,
 „Смѣясь надъ врагомъ, надъ судьбиной суровой,
 „Не падай, бодрись и мужайся!

„Взгляни! Эти волны бушуютъ, клубятся
 „И брызжутъ отъ бѣшенства пѣной,
 „Но, въ злости безсильной, онѣ лишь дробятся,
 „А скалы стоятъ неизмѣнно...

„И ты будь такою-же твердой скалою, —
 „Пусть злятся житейскія волны!..“

И вѣтеръ унесся. Вечернею мглою
 Окутанъ ужъ берегъ безмолвный.

Вздохнулъ горемыка; порывъ его бурный
 Затихнулъ, какъ непогодъ къ ночи.
 Своими звѣздами сводъ неба лазурный
 Съ участиемъ гладить ему въ очи.

И подыалъ онъ къ небу съ мольбой свои вѣжды,
 Спокойнѣй сталъ ликъ его блѣдный,
 И, словно исполненный новой надежды,
 Поплелся онъ въ уголъ свой бѣдный...

Петръ Выковъ.

КРАСАВЕЦЪ.

РОМАНЪ

ЖЮЛЯ КЛАРЕТИ.

ГЛАВА XIV.

П у л я .

Покинувъ Андрейну, Солиньякъ былъ смущенъ и недоволенъ собою. Скорбь итальянки терзала его сердце, но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ упрекалъ себя, зачѣмъ въ этотъ вечеръ пошелъ къ ней. Нѣжные звуки арфы показались ему живымъ укоромъ и онъ поспѣшилъ удалиться, чтобъ ихъ болѣе не слышать.

Не успѣвъ онъ сдѣлать нѣсколькихъ шаговъ по саду, какъ за нимъ раздался скрипъ. Онъ остановился и сталъ прислушиваться, но отъ страха, но изъ любопытства. Кто могъ слѣдить за нимъ?

Звукъ, поразившій Солиньяка, замеръ въ окружающей тишинѣ и онъ продолжалъ идти по переулку, вдоль стѣны сада. Но повернувъ въ узкую алею, огибавшую домъ, снова услышалъ странный шумъ. Онъ обернулся лицомъ къ переулку и въ то-же мгновеніе во вракъ блеснулъ выстрѣлъ, такъ страшно поразившій Андрейну. Солиньякъ зашатался, но не упалъ. Онъ почувствовалъ въ лѣвомъ боку сильный толчекъ, словно кто-нибудь толкнулъ его изо всей силы обухомъ, и инстинктивно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, чтобъ защитить себя отъ невѣдомаго врага.

Въ это самое время въ улицѣ Мон-Вланъ раздались поспѣшныя шаги и голосъ Кастаре. Солиньякъ смутно увидалъ передъ

собой или, лучше сказать, отгадалъ приближеніе своего вѣрнаго слуги и услыхалъ, какъ вблизи, во мракѣ, невѣдомый противникъ снова взводилъ курокъ пистолета.

„Врагъ можетъ еще разъ выстрѣлить въ меня, а мнѣ нечѣмъ защититься,“ блеснуло въ головѣ Солиньяка.

Не успѣвъ, однакожь, онъ этого подумать, какъ услыхалъ тяжелое дыханіе и глухой трескъ въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ блеснуло выстрѣлъ.

Кастаре бросился, какъ охотничья собака, на убійцу, замышлявшаго окончить свое преступное дѣло. Сначала Агостино хотѣлъ вонзить кинжалъ въ грудь Солиньяка, при выходѣ его изъ калитки въ уединенный переулочекъ. Смерть была-бы мгновенная и осталась-бы глубочайшей тайной. Но могъ-ли онъ рассчитывать въ темнотѣ на вѣрный ударъ? Малѣйшій промахъ погубилъ-бы его. Поэтому онъ предпочелъ спрятаться за стѣною сада и подождать, пока Солиньякъ углубится въ аллею, огибавшую домъ; тогда, при мерцаніи фонаря, его тѣнь обрисовалась-бы ясно, представляя прекрасную мишень для пистолетнаго выстрѣла. Агостино такъ и сдѣлалъ. Затянувъ дыханіе, онъ пропустилъ мимо себя Солиньяка и, медленно прицѣлившись, выстрѣлили, а потомъ, вида по тѣни, что его жертва не упала, онъ снова взвелъ курокъ.

Но въ это мгновеніе онъ почувствовалъ, какъ двѣ мощныя, увловатыя руки опустились на него; одна душила его за горло, а другая такъ сильно сдавливала правую руку Чіампи, что пальцы его захрустѣли и онъ принужденъ былъ выпустить пистолетъ, который упалъ на землю. Если-бы Кастаре удалось выхватить пистолетъ, то, конечно, онъ размозжилъ-бы имъ голову итальянца, но искать его на землѣ было невозможно иначе, какъ выпустивъ изъ рукъ убійцу.

Между тѣмъ Солиньякъ, отгадывая роковую борьбу, происшедшую въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, хотѣлъ поспѣшить на помощь, но вдругъ почувствовалъ непреодолимую слабость. Въ ту-же минуту послышалось громкое проклятiе итальянца и стонъ Кастаре. Чіампи успѣлъ выхватить лѣвой рукой кинжалъ и нанесъ имъ ударъ Марціалу. По счастью, кинжалъ углубился не очень далеко между плечомъ и шеей, но все-же Кастаре вздрогнулъ и выпустилъ изъ рукъ Агостино, который поспѣшно отскочилъ въ сторону и скрылся во мракѣ.

Легко раненный Марціалъ хотѣлъ его преслѣдовать, но, обернувшись, увидалъ, что Солиньякъ едва держался на ногахъ. Онъ быстро подбѣжалъ къ нему и крѣпко обвилъ его руками.

— Ты страдаешь? Что съ тобой? произнесъ онъ, обращаясь съ полковникомъ въ эту минуту роковой опасности какъ съ товарищемъ дѣтства.

Солиньякъ ничего не отвѣчалъ.

— Ну, ну, продолжалъ Кастаре, — сдѣлай надъ собою усиліе. Надо вырваться изъ этой западни. Ты можешь идти?

— Да.

— Если нѣтъ, я тебя понесу.

Въ голосъ Кастаре слышалась любовь матери, ухаживающей за умирающимъ сыномъ. Поддерживая Солиньяка и постоянно оглядываясь назадъ изъ страха новой опасности, онъ направился къ улицѣ Мон-Бланъ. Въ это самое время Андреина выбѣжала въ переулокъ и увидала вдали двѣ удалявшіяся фигуры, а Чіампи насильно втолкнулъ его въ садъ.

— И я не видалъ лица этого мерзавца, повторялъ на каждомъ шагу Кастаре.

Солиньякъ, сознававшій, что рана его тяжела, сохранялъ, однакожь, удивительное спокойствіе и не столько заботился о своемъ спасеніи, какъ о раскрытіи таинственнаго убійцы. Но силы его быстро ослабѣвали, лѣвый бокъ его пылалъ и, прикоснувшись къ нему, онъ почувствовалъ горячую влагу. Это текла его кровь.

— Марціалъ, промолвилъ онъ слабымъ голосомъ, — куда ты меня ведешь? Я сейчасъ упаду.

— Смѣлѣй, смѣлѣй! отвѣчалъ Кастаре. — Уже не далеко. Вонъ улица! Смотри!

Но Солиньякъ все тяжелѣе и тяжелѣе наваливался на Марціала, который, наконецъ, несмотря на кровь, струившуюся также изъ его раны, схватилъ на руки полковника и понесъ его какъ ребенка. Однакожь, черезъ нѣсколько шаговъ онъ упалъ на колѣни, изнемогая отъ чрезмѣрныхъ усилій, а Солиньякъ почти безчувственно опустился рядомъ на землю.

— Чортъ возьми! произнесъ полковникъ, приходя въ себя и стараясь встать, — развѣ я баба? Развѣ одна пуля можетъ сдѣлать человѣка тряпкой?

Онъ хотѣлъ продолжать путь, но Марціалъ его удержалъ.

— Мы спасены! воскликнулъ онъ, указывая на высокую дверь изыщнаго дома, предъ которыми они находились въ эту минуту.

— Это... это... произнесъ Солиньякъ, мутными глазами смотря на Кастаре, — это домъ графини Фаржъ.

— Да. Намъ не дойти до нашего дома, а здѣсь Беатерина Маньякъ поможетъ мнѣ ухаживать за тобою.

Произнеся эти слова, Кастаре громко вскрикнулъ, пораженный неожиданностію. Парадная дверь дома маркизы Олона открылась и изъ нея поспѣшно вышелъ человѣкъ, въ которомъ Кастаре узналъ своего недавняго врага по одеждѣ, приведенной въ безпорядокъ, и по развязанному галстуку, или, скорѣе, по внутреннему инстинкту. Въ тому-же, увидавъ вдали раненаго Солиньяка, поддерживаемаго солдатомъ, Чампи отскочилъ въ сторону, какъ-бы ужаленный змѣею, и быстро исчезъ, повернувъ въ улицу Пюбды.

Но несмотря на всю его поспѣшность, Солиньякъ узналъ своего тайнаго врага и ужасная мысль блеснула въ его головѣ. Вѣроятно, Андрина дѣйствовала заодно съ братомъ.

— Ты былъ правъ, Марціалъ, сказалъ онъ отрывисто, какъ-бы въ бреду: — любовь чернокудрой красавицы смертельна!

— Барты не могли соврать, отвѣчалъ грустно солдатъ.

Имъ оставался еще одинъ шагъ до тяжелаго молотка, красовавшагося на парадной двери дома графини Фаржъ, но Солиньякъ вдругъ поблѣднѣлъ какъ полотно и упалъ за-мертво на руки Кастаре, который, прижавъ его къ груди, съ ужасомъ сталъ прислушиваться, бьется-ли еще столь дорогое для него сердце полковника и друга.

Легко себѣ представить испугъ и безпокойство графини Фаржъ, когда ей доложила горничная, что въ ея домъ принесли раненаго полковника Солиньяка. Какъ! Человѣкъ, котораго она за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ видѣла сіяющимъ здоровьемъ и красотой, лежалъ теперь, умирающій, въ комнатѣ ея швейцара! Какая страшная драма привела красавца полковника подъ кровъ маленькой графини? Выстрѣлъ, который она только-что слышала, одиноко наигрывая грустную арію на арфѣ, слѣдовательно былъ сдѣланъ по Солиньяку?

Конечно, графиня тотчасъ приказала, чтобъ раненому полковнику была приготовлена комната и чтобъ послали за докторомъ.

Какъ оказалось впоследствии, онъ самъ уже произнесъ имя Дюпонтрена, молодого хирурга, земляка изъ Лимузена, начинавшего въ то время входить въ славу.

Ланжале, завѣдывающій всѣмъ домою графини Фаржъ, котораго старый маркизъ Новаль высоко цѣнилъ за его аристократическія пристрастія и геральдическія знанія, съ презрительной гримасой объявилъ на слѣдующее утро маркизу о новости, составлявшей уже предметъ всѣхъ разговоровъ въ Парижѣ.

— Г. маркизъ, извѣстно-ли вамъ, что графиня превратила одну изъ своихъ гостинныхъ, именно голубую, въ лазаретъ?

— Въ лазаретъ? спросилъ маркизъ.—А для кого, г. Ланжале?

— Для одного полковника.

— У меня въ домѣ солдатъ Бонапарта?

— Да, г. маркизъ, отвѣчалъ Ланжале тономъ глубокаго сожалѣнія.

— Что-жь съ нимъ случилось, съ этимъ полковникомъ? Онъ раненъ?

— Да, и очень опасно, по словамъ доктора Дюпонтрена.

— Карета графини переѣхала черезъ этого солдата?

— Нѣтъ, на него напалъ убійца у дома графини.

— Какъ! Убійство на улицѣ?

— Да, въ двадцати шагахъ отъ вашего дома.

Старый маркизъ презрительно разсмѣялся.

— Такъ вотъ что они называютъ благами новаго порядка вещей, сказалъ онъ, пожимая плечами;—нѣтъ, въ 1740 году, когда я родился, въ Парижѣ было безопасно! Тогда не убивали на улицахъ королевскихъ полковниковъ! Воры и разбойники уважали офицерскій мундиръ. Или, лучше сказать, офицеры заставляли себя уважать. Вотъ въ чемъ дѣло. Нѣтъ, чортъ возьми! мы были люди другого закала! Не такъ-ли, г. Ланжале?

— Вамъ извѣстно, маркизъ, что мой образъ мыслей вполне тождественъ съ вашимъ. Революція все погубила!

— Убійство на улицѣ! Въ которомъ часу? Что-жь дѣлалъ ночной дозоръ? Дали-ли знать въ маршалство? Что я! Все это давно уничтожено. Такъ моя внучка пріютила въ моемъ домѣ императорскаго полковника? Какъ его зовутъ?

— Ганри де-Солиньякъ.

— Слава-богу! по крайней мѣрѣ хоть кровный, и это что-нибудь да значить, произнесъ маркизъ, просіявъ.

— Я не знаю такого имени въ нашей аристократіи, отвѣчалъ Ланжале, знаяшій наизусть всю французскую геральдику.

— И то правда... Солиньякъ, Солиньякъ! Впрочемъ, если-бъ онъ былъ изъ нашихъ, то не служилъ-бы узурпатору! Но какая сумасшедшая эта графиня! Вы мнѣ скажете, Ланжале, что нельзя бросать раненыхъ на королевскихъ улицахъ... Это правда, но надо стараться, чтобъ несчастные, которымъ оказываешь состраданіе, были благороднаго происхожденія. Только они, по-моему, заслуживаютъ вниманія.

Несмотря на неудовольствіе стараго маркиза, маленькая графиня была очень рада своему больному. Ей нравилось играть въ сестры милосердія; въ тому-же, въ глубинѣ души, она искренно беспокоилась о Солиньякѣ. Очнувшись отъ продолжительнаго забытья, полковникъ пожелалъ ее видѣть и горячо поблагодарилъ за гостепріимство.

— Марціалъ, сказалъ полковникъ, оставшись наединѣ съ Кастаре,—я довольно насмотрѣлся на раны и знаю, что моя изъ самыхъ опасныхъ. Если я умру...

— Вы... Ты...

— Не мѣшай мнѣ говорить... Я не хочу, чтобы кто-нибудь подозрѣвалъ моего убійцу. Если выздоровѣю, я самъ отомщу за себя, а если умру, то такова воля Божья. По крайней мѣрѣ, женщина, которую я любилъ или которая меня любила, останется внѣ всякихъ подозрѣній. Я ничего не скажу. Дай мнѣ слово, что и ты будешь молчать.

— Молчать? Оставить на свободѣ мерзавца...

— Онъ братъ этой женщины. Я требую, чтобы ты сохранилъ тайну.

— Но вѣдь ты не требуешь, чтобы я отказалъ себѣ въ удовольствіи развозжить подлецу голову, если я когда-нибудь его встрѣчу?

— Нѣтъ, это твое дѣло, другъ мой, Марціалъ. Я не прочь, чтобы ты отомстилъ за меня, но я не хочу, чтобы ты его выдалъ.

— Хорошо, отвѣчалъ Кастаре съ видимымъ сожалѣніемъ;—я видѣлъ, какъ мерзавецъ подло ранилъ человѣка, который для

меня дороже всего на свѣтѣ, и самъ получилъ отъ него рану, а не имѣю права подвести его подъ гильотину! Нечего сказать, горько.

— Это моя послѣдняя воля, сказалъ Солиньякъ.

— Значитъ нечего и разговаривать. Лозунгъ—молчаніе. Но я увѣренъ, что онъ отъ этого ничего не выиграетъ.

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ этого разговора пришелъ докторъ Дюпюитрентъ для осмотра раны. Онъ былъ знакомъ съ красавцемъ полковникомъ, который очень его уважалъ и даже предложилъ попросить Наполеона взять его въ свой главный штабъ, подобно Корвизару, состоявшему въ то время при императорѣ. Гильому Дюпюитренту было тогда тридцать два года; въ восемнадцать лѣтъ онъ получилъ мѣсто прозектора, а въ двадцать четыре—директора анатомическихъ работъ въ медицинскомъ факультетѣ. Высокаго роста, загорѣлый, съ громадной, курчавой головой, онъ отличался суровымъ взглядомъ, гордой улыбкой и серьезнымъ видомъ; вообще въ немъ сразу высказывался человекъ.

— Здравствуйте, сказалъ съ улыбкой Солиньякъ, когда Дюпюитрентъ вошелъ въ голубую гостиную, гдѣ была приготовлена постель для раненаго;—кажется, вы будете имѣть дѣло съ серьезной раной?

Хирургъ поднялъ простыню и сталъ внимательно осматривать лѣвую сторону геркулесоваго торса красавца-полковника, по временамъ задавая ему вопросы, на которые Солиньякъ отвѣчалъ хотя медленно и слабымъ голосомъ, но очень опредѣленно.

Что касается самаго происшествія, полковникъ объявилъ, что на улицѣ, въ темнотѣ, въ него кто-то выстрѣлилъ, но кто и откуда.—онъ рѣшительно не знаетъ.

— И вы никого не подозреваете? спросилъ хирургъ.

— Никого.

— Впрочемъ, это до меня не касается, сказалъ Дюпюитрентъ.

И онъ приступилъ къ освидѣтельствуванію зондомъ раны между третьимъ и четвертымъ ребрами. Солиньякъ лежалъ неподвижно и съ улыбкой крутилъ усы, точно онъ не чувствовалъ ни малѣйшаго страданія.

Во время изслѣдованія ранъ Дюпюитрентъ молчалъ. Кастарѣ и Екатерина Маньякъ, маленькая, полненькая, свѣженькая брю-

нетка, въ красивомъ лимузенскомъ головномъ уборѣ, съ безпокойствомъ смотрѣли прямо въ глаза доктору, желая прочесть на его лицѣ приговоръ больного.

— Ну, полковникъ, сказалъ, наконецъ, Дюпюитрень, — вы отдѣляетесь легко, но вамъ придется долго полежать. Вамъ необходимо совершенное, безусловное спокойствіе. Вы почти не должны шевелиться. Лекарства не надо никакого, только холодные компрессы и отъ времени до времени кровопусканія. О діетѣ, конечно, говорить излишне.

— Кровопусканія? повторилъ Солиньякъ съ улыбкой.

— Чтобъ уменьшить напряженіе сосудистой системы, и если вы хотите, мы начнемъ сейчасъ.

Солиньякъ молча протянулъ лѣвую руку, бѣлую, мускулистую, съ синеватыми жилами, и Дюпюитрень пустилъ кровь, послѣ чего больной видимо ослабѣлъ и поблѣднѣлъ. Что-же касается до его раны, то кровь изъ нея перестала идти съ тѣхъ поръ, какъ его положили въ постель.

— До свиданія, нѣтъ ничего опаснаго, сказалъ Дюпюитрень, удаляясь изъ комнаты.

Солиньякъ протиснулся съ нимъ едва слышнымъ голосомъ. Онъ ощущалъ какое-то утѣшительное сознаніе безмятежнаго спокойствія. Этотъ человѣкъ, привыкшій къ вѣчной лихорадочной дѣятельности, чувствовалъ необычайное блаженство въ насильственной неподвижности. Бользынь имѣетъ иногда своего рода утѣшеніе; Солиньяку казалось, что все, происходившее вокругъ него, было сладкимъ сномъ, въ которомъ всѣ физическія страданія исчезали и оставались только однѣ душевныя радости.

Выйдя изъ комнаты больного, Дюпюитрень значительно покачалъ головою.

— Что? спросилъ Кастаре.

— Необходимъ тщательный уходъ, или онъ умретъ.

— Умереть! Онъ, Солиньякъ?

— А вы, докторъ, осмотрѣли рану Кастаре? спросила Кастису, указывая на Марціала.

— Вы также ранены?

— Пустая царапина. Но онъ, онъ!

— Посмотримъ царапину.

Освидѣтельствовавъ рану, Дюпюитрень сказалъ съ гримасой:

- Это ничего, но надо беречься.
- Вотъ еще, отвѣчалъ Кастаре;— чѣмъ я рискую?
- Антоновымъ огнемъ.
- Очень мнѣ нужно жить, если онъ умретъ.
- Такъ поберегись, лимузенецъ, чтобъ ухаживать за твоимъ полковникомъ. Ну, теперь прощайте.

На другой день Дюпюитрентъ привезъ съ собою двухъ товарищей-хирурговъ. Рана Солиньяка оказалась очень серьезной; пуля зашла въ области сердца.

Встрѣчая докторовъ, Кастаре объявилъ имъ съ улыбкой, что полковнику гораздо лучше и онъ постоянно спитъ.

— Чортъ возьми! сказалъ Дюпюитрентъ, — не давайте ему слишкомъ много спать. Надо бояться обмороковъ, тѣмъ болѣе во время сна.

Кастаре вздрогнулъ.

— А ваша рана? спросилъ Дюпюитрентъ.

— О! воскликнулъ гусаръ, — не думайте обо мнѣ. Лучшее средство вылечить меня—дать здоровье полковнику.

Когда доктора вошли въ комнату, Солиньякъ спалъ.

— Я вамъ сейчасъ объясню подробно, господа, какая у него рана, сказалъ Дюпюитрентъ;—по моему мнѣнію, его не нужно беспокоить.

Доктора остались нѣсколько времени у постели больного, который въ сущности не спалъ, а находился въ тяжеломъ забытѣ и смутно слышалъ, какъ-бы вдали, за стѣною глухіе голоса людей, говорившихъ очень тихо, чтобъ его не разбудить. Онъ отгадывалъ, что подлѣ него были люди, которые говорили, вѣроятно, о немъ, смотрѣли на него и даже прикасались къ нему, но онъ не имѣлъ силы очнуться и взглянуть на нихъ. Онъ находился какъ-бы въ кошмарѣ, съ той только разницей, что его не душили страшные образы, а, напротивъ, ублаживали пріятныя видѣнія.

Вскорѣ звуки подлѣ него замерли и Солиньякъ догадался, что онъ остался одинъ. Люди, окружавшіе его, удалились, а ему въ полубытѣи мерещилось, что это былъ пчелиный рой, улѣтѣвшій теперь безвозвратно. Тогда вдругъ, какъ часто случается съ больными, имъ овладѣлъ страхъ при мысли, что онъ одинъ; онъ боялся умереть брошеннымъ всѣми; сдѣлавъ чрезмѣрное усиліе, онъ открылъ глаза.

„Какое безуміе! подумалъ онъ; — о, бѣдное человѣческое тѣло! Ничтожная царяпина дѣлаетъ тебя никуда негоднымъ. Ты флюгарка, вертящаяся отъ малѣйшаго дуновенія!“

Онъ съ удовольствіемъ подумалъ, что лежитъ въ изящной, кокетливой комнатѣ, въ которой все обнаруживало, что ея обитательница женщина со вкусомъ. Стѣны были покрыты гладкими, шелковыми тканями, сплюснутыми большими сладками, по модѣ того времени; зеркала, украшенныя драпировками, золоченая мебель съ вышитыми подушками, шелковыя занавѣси съ розетками на манеръ сфинксовъ, круглая, хрустальная люстра и на каминѣ большіе бронзовые часы съ амуромъ между двумя канделябрами, составляли убранство голубой гостиной графини Фаржъ. Солиньякъ смотрѣлъ на все это съ дѣтскимъ любопытствомъ больного и каждый предметъ приводилъ его въ восторгъ.

Сначала онъ не замѣтилъ, что дверь въ сосѣднюю галерею была отворена. Доктора, выйдя изъ комнаты, остановились въ галереѣ для совѣщанія о больномъ. Долго до него долеталъ только смутный, неопредѣленный гулъ. Ему казалось, что эти голоса были въ одно и то-же время и близко, и далеко, но этотъ шумъ его нисколько не беспокоилъ, а, напротивъ, какъ-бы убаюкивалъ. Но мало-по-малу вниманіе его было возбуждено медленной рѣчью Дюпюитрена, въ которой безпрестанно повторялось его имя.

Очевидно, говорили о немъ. Надъ нимъ произносили приговоръ. Непреодолимое, тревожное любопытство овладѣло имъ; онъ хотѣлъ узнать мнѣніе Дюпюитрена и другихъ хирурговъ объ его ранѣ. Неужели жизнь его была въ опасности? Если-же ему суждено умереть, то скоро-ли? Онъ съ большимъ усиліемъ приподнялся на локтяхъ и сталъ прислушиваться. Слова Дюпюитрена долетали до него до того неясно, что онъ не могъ ничего понять. Онъ медленно спустился съ кровати и, шатаясь, побрелъ къ двери. По дорогѣ онъ придерживался за мебель и такимъ образомъ достигъ почти до галереи, откуда теперь слышался вполне ясно голосъ Дюпюитрена.

— Рана полковника, говорилъ онъ, — изъ очень опасныхъ. Выстрѣлъ былъ сдѣланъ съ правой стороны и пуля ударила въ грудную кость между третьимъ и четвертымъ ребрами. Хрящеватая оконечность реберъ, раздробленныя пулей, очевидно ослабили ударъ и пуля проникла съ очень слабымъ напряженіемъ въ

грудную полость. Полковникъ, вѣроятно, могъ говорить и ходить послѣ полученія раны; онъ много потерялъ крови. По тщательномъ изслѣдованіи я убѣдился, что лѣвая сторона грудной кости помята. Оба ребра, какъ я уже сказалъ, раздроблены близъ ихъ оконечностей, и такъ-какъ ихъ хрящеватныя части втиснуты въ рану, то самое отверстіе съ черными, словно обгорѣлыми краями, какъ вы сами замѣтили, болѣе обыкновеннаго отверстія, которое производитъ пуля, разрывая мускулы.

„Къ чему онъ все это говоритъ?“ думалъ Солиньякъ, прислоняясь къ спинкѣ кресла, чтобъ не упасть отъ изнеможенія.

— Я со вчерашняго дня принялся за отыскиванье пули, продолжалъ Дюпюитрень;—траекторія пули мнѣ извѣстна. Послѣ оскультаци, въ виду правильнаго дыханія и ровнаго движенія реберъ, я могу сказать положительно, что легкія нетронуты. Полковникъ, вѣроятно, глубоко дышалъ, когда его поразила пуля и при растяжимости груди легкое на мгновеніе открыло доступъ къ сердцу. Послѣ этого я зондировалъ рану серебрянымъ зондомъ и вытащилъ нѣсколько кусочковъ раздробленной кости и хряща и, кромѣ того, кусокъ сукна, втиснутый въ рану. Этотъ кусокъ сукна доказываетъ, что пуля неглубоко вошла въ грудную полость. Я надѣялся одну минуту, что, выдергивая сукно, подвину пулю, но этого не случилось. Пуля, потерявъ силу инерціи, вѣроятно, встрѣтила круглую преграду, которая побудила ее уклониться. Какая-же это преграда?

— Сердце, отвѣчалъ голосъ, незнакомый Солиньяку.

— Сердце! повторилъ полковникъ, инстинктивно схватившись за лѣвый бокъ.

— Конечно, продолжалъ Дюпюитрень;— нѣтъ ничего невозможнаго въ этомъ фактѣ; пуля можетъ поразить сердце, не причинивъ мгновенной смерти. Рана въ сердце иногда не мѣшаетъ несчастному пройти еще нѣкоторое пространство. Болѣе того, пуля можетъ помѣститься въ правомъ желудочкѣ и оставить въ живыхъ раненаго. Точно также бывали случаи, что пуля, пробивъ щеку, останавливалась въ языкѣ. Вы, можетъ быть, знаете подобные примѣры, а я могу сослаться на одного солдата-лимузенца, котораго при Маренго пуля поразила въ сердце. Ни одинъ хирургъ не посмѣлъ ее вынуть, однакожь раненый умеръ только два года тому назадъ отъ воспаленія легкиихъ.

— Я извлекъ булавку изъ праваго желудочка одной старухи, сказалъ другой докторъ.

Солиньякъ не зналъ, слышалъ-ли онъ это на яву или во снѣ. Совершенно ослабѣвъ и принавъ головою къ спинкѣ кресла, онъ все-же хотѣлъ дослушать до конца своей приговоръ. При этомъ, онъ самъ не зналъ почему, въ глазахъ его мерещилось прелестное лицо Луизы Фаржъ, которое улыбалось ему и умоляло его жить.

„Да, я хочу жить, хочу жить! думалъ полковникъ. — Жить для любви, жить для мести, жить, жить!“

— Я убѣжденъ, продолжалъ Дюпюитрентъ, — что въ настоящемъ случаѣ пуля засѣла въ одной изъ складокъ сердечной сумки, и кровотеченіе, а также удушье доказываютъ, что она нажимаетъ сердце, т. е. его правый желудочекъ. Порвана-ли сердечная сумка? Можетъ-ли пуля поразить сердце, упавъ въ полость сумки, и произвести мгновенно всѣ послѣдующія проявленія? Я полагаю, что это возможно, я въ этомъ убѣжденъ, я это утверждаю, и мы прежде всего предпримемъ большому абсолютную неподвижность.

Слово это ужаснуло Солиньяка. Для него, храбраго воина, движеніе было жизнью, а теперь, даже вставъ съ постели, онъ рисковалъ мгновенно умереть. Сотни разъ онъ игралъ жизнью на полѣ брани и страшный образъ смерти только вызывалъ на его лицѣ ироническую улыбку. Но погибнуть такимъ образомъ, отъ руки подлаго убійцы, умереть подъ кровомъ женщины, съ которой надо было проститься на-вѣки въ ту самую минуту, когда хотѣлъ сказать ей: „я васъ люблю“, — такая смерть казалась красавцу Солиньяку не только роковой, но глупой, смѣшной.

— Господа, продолжалъ Дюпюитрентъ, слова котораго Солиньякъ слушалъ, какъ обвиняемый выслушиваетъ приговоръ судьи, — я хочу, чтобы вы вполне сознательно раздѣлили мое мнѣніе. Существуютъ-ли шансы на счастливый исходъ попытки отыскать пулю? По-моему—нѣтъ. Всякая попытка въ этомъ родѣ можетъ только преждевременно привести къ гибели больного. Такъ что-же намъ дѣлать?

— Ждать, отвѣчали ему.

— Это и мое мнѣніе. Взглянувъ на прошедшее и настоящее этой раны, бросимъ теперь взглядъ на будущее. Выходъ изъ на-

стоящаго положенія можетъ быть двойкй: или рана, оставшись свищеватой, сама собою извергнетъ пулю, или вокругъ пули образуется перепонка, которая задержитъ ее и оставитъ, такимъ образомъ, подлѣ самаго сердца. Что касается до искусственнаго образованія контръ-отверстія, чрезъ операцію, то, какъ я уже сказалъ, это немислимо безъ смертельной опасности для больного. Итакъ, сдѣлаемъ перевязку и будемъ надѣяться, — какъ Амбруазъ Парэ, что раненаго спасетъ сила болѣе могучая, чѣмъ наша наука.

— Я съ вами согласенъ, сказалъ второй докторъ.

— И я также, произнесъ третій.

— Слѣдовательно, продолжалъ Дюпюитрень, — мы ему предпшемъ неподвижность, ослабленіе физическихъ силъ и кровопусканія. Мы предупредимъ больного, что малѣйшее волненіе, малѣйшее движеніе можетъ погубить человѣка, въ сердцѣ котораго находится пуля. Полковникъ Солиньякъ можетъ остаться въ живыхъ, но надъ нимъ вѣчно будетъ висѣть Дамокловъ мечъ: пуля, пошадившая его теперь, можетъ во всякую минуту его убить.

Поразили-ли ужасомъ Солиньяка эти слова, безжалостныя, какъ истина и наука, или безумныя усилія достигнуть двери совершенно истощили его силы, но онъ почувствовалъ въ лѣвомъ боку, близъ сердца, нестерпимую боль, руки его опустились со спинки кресла и онъ тяжело упалъ на коверъ съ глухимъ стономъ.

На этотъ разъ онъ былъ увѣренъ, что наступила смерть; падая, онъ подумалъ о графинѣ Фаржъ, которая блеснула въ его жизни въ самую послѣднюю минуту. Его губы передъ смертью тихо шептали:

— Луиза!

Услыхавъ шумъ въ комнатѣ больного, доктора послѣшили на помощь; увидѣвъ Солиньяка безъ чувствъ на полу, Дюпюитрень съ сердцемъ ударилъ себя по лбу.

— Онъ все слышалъ, сказалъ одинъ изъ докторовъ.

— Это самоубійство! воскликнулъ Дюпюитрень.

Солиньяка немедленно отнесли на постель. Обморокъ продолжался долго; Дюпюитрень опасался, что онъ окончится смертью.

Узнавъ о случившемся, графиня Фаржъ, блѣдная, испуганная, выбѣжала въ галерею.

— Ну что? спросила она у одного изъ докторовъ.

— Смерть витаетъ надъ вашимъ домомъ, но, быть можетъ, намъ удастся ее отвратить. Раненный не долженъ позволить себѣ ни малѣйшаго волненія, ни крика, ни движенія. У васъ въ домѣ, графиня, умирающій, и если онъ переживетъ, все-таки, можетъ быть, останется на всегда живымъ мертвецомъ.

— Онъ! воскликнула графиня, — это невозможно! Вы его спасете!

— Полковникъ едва не умеръ на нашихъ рукахъ, сказалъ Дюнкитренъ, выходя изъ голубой гостиной: — онъ вздумалъ встать. Если вы, графиня, желаете, чтобъ Солиньякъ остался въ живыхъ, то онъ долженъ лежать неподвижно, какъ трупъ. Иначе онъ погибъ.

— Хорошо, отвѣчала Луиза Фаржъ.

— День и ночь долженъ кто-нибудь сидѣть у его постели и не покидать его ни на минуту. Его ординарецъ здѣсь?

— Да, но если-бъ этого солдата и не было, то найдется сидѣлка.

— Кто такая?

— Я, докторъ.

Дюнкитренъ молча поклонился, съ уваженіемъ посмотрѣвъ на молодую женщину. Онъ, также какъ и она сама, приписалъ ей порывъ чувству состраданія, тогда какъ сердце ея было близко къ любви.

Въ этотъ самый день вечеромъ Марціалъ Бастаре, съ забинтованной шеей, сказалъ Екатеринѣ Маньякъ довольно спокойнымъ, покорнымъ тономъ:

— Вотъ видишь, Катису, судьба всегда останется судьбой и громкими словами ея не измѣнишь. Полковникъ въ опасности и я не далеко отъ того-же. Если онъ умретъ, я также. Моя парашина кажется неважной, но чортъ разведетъ въ ней огонь — и все будетъ кончено. Нѣкоторымъ людямъ не везетъ счастье и невѣ, вѣрно, не суждено видѣть снова Лиможъ. А жаль, хотѣлось-бы посмотрѣть на улицу, гдѣ дядя Гардуанъ осыпалъ меня пинками и поцѣлуями, а также на каменный мостъ, съ котораго мы бросали въ рѣку изображеніе масляницы. Все кончено, Катису, ты не будешь моей женой. Такъ предсказали карты; и знаешь, если-бъ ударъ кинжала не отправилъ меня на тотъ свѣтъ

въ одинъ день съ полковникомъ, то, право, я застрѣлился-бы, чтобъ исполнить предсказаніе г-жи Ленорманъ и не пережить моего молочнаго брата.

— Ты его любишь больше, чѣмъ меня, сказала Екатерина Маньякъ обиженнымъ тономъ, но все-же съ улыбкой.

Бастаре взглянулъ на нее съ любовью и чувствомъ превосходства.

— Нѣтъ, наивно сказалъ онъ, взявъ ее за обѣ руки, — я тебя люблю, на - сколько способенъ любить, но вотъ видишь-ли: въ женщинахъ нѣтъ никогда недостатка; говорятъ даже, что ихъ слишкомъ много. А вотъ друзья — рѣдкость, моя милая, дорогая Катису, моя будущая жена, если судьба дозволить.

XV.

Домъ графини Фаржъ.

Вѣсть о покушеніи на жизнь красавца Солиньяка произвела въ Парижѣ сильное волненіе. Онъ былъ такъ популяренъ, что имъ интересовались не только въ высшихъ придворныхъ кружкахъ, но и въ массѣ парижскаго населенія, тѣмъ болѣе, что, по слухамъ, его убійца былъ австрійскій шпіонъ, преслѣдуемый полиціей. На допросѣ, произведенномъ самимъ Фуше въ домѣ графини Фаржъ, Солиньякъ объявилъ, что онъ никого не подозрѣваетъ и что, вѣроятно, на него напалъ простой уличный воръ.

— Воры не употребляютъ пистолетовъ, замѣтилъ герцогъ Отрантскій.

— Во всякомъ случаѣ, произнесъ Солиньякъ съ улыбкой, — пистолетъ былъ у того, кто стрѣлялъ въ меня.

— Вы рѣшительно никого не подозрѣваете?

— Никого.

И болѣе ничего нельзя было добиться отъ Солиньяка. Онъ еще на-столько любилъ Андреину, чтобъ пожалѣть ее, даже предполагая ея соучастіе въ преступленіи брата.

Поэтому Фуше приказалъ навести справки о неизвѣстномъ убійцѣ въ средѣ парижскихъ воровъ и мошенниковъ; но все-же онъ подозрѣвалъ, что Солиньякъ скрывалъ истину.

— Любовная драма всегда прикрывается тайной, сказалъ онъ Бернье.

Онъ охотно замалъ-бы все дѣло, исполняя желаніе Солиньяка, но онъ ясно сознавалъ, что если полиція не откроетъ таинственнаго убійцы, то это будетъ для нея новымъ ударомъ, а бѣгство капитана Ривьера уже достаточно скомпрометировало ее. Къ тому-же до Фуше дошли смутные слухи, что Наполеонъ, находившійся въ то время въ Австріи, былъ недоволенъ излишней энергіей герцога Отрантскаго во Франціи. Императора сердило всякое блестящее дѣйствіе или подвигъ его ближайшихъ сотрудниковъ; онъ постоянно какъ-бы боялся ихъ и завидовалъ имъ.

— Я знаю, въ чемъ тутъ дѣло, говорилъ Бернье, — и если ваша свѣтлость...

— Что-же, опять замѣшана женщина?

— Конечно.

— Всѣмъ известна связь Солиньяка съ маркизой Олона, но что-же тутъ общаго съ покушеніемъ на его жизнь?

— Бываютъ странныя въ жизни совпаденія.

— Нѣтъ, оставьте въ покоѣ маркизу Олона, сказалъ министръ. — Вы знаете, она офіціальное лицо... поищите убійцу гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ.

Секретарь молча поклонился.

Поиски полиціи поэтому продолжались. Сама Андреина, пылая гнѣвомъ на брата, едва его не выдала. На другой день послѣ рокового происшествія Агостиню, очень блѣдный, но съ спокойной улыбкой, принесъ ей обѣщанный ядъ.

Андреина пристально посмотрѣла на брата и, скрежеща зубами, назвала его убійцей и подлецомъ.

— Прикажешь взять назадъ ядъ? сказалъ Чіампи. — Право жаль; ядъ, какъ ты желала, очень быстрый и возбуждаетъ передъ смертью самыя радужныя грезы. Онъ тебѣ не нуженъ, Андреина?

— Напротивъ. Дай мнѣ кольцо и ступай вонъ.

— Ты просто сумасшедшая, отвѣчалъ холодно маркизъ; — къ чему ссориться въ своемъ семействѣ! Все-же семейство — самая отрадная вещь на свѣтѣ, и повѣрь, что твой братъ, который бросилъ тебя ребенкомъ въ Неаполѣ, чуть не на улицѣ, а пришелъ въ Парижъ богатой и могущественной, любить тебя болѣе,

чѣмъ человекъ, находящійся... Ты знаешь, гдѣ онъ теперь находится?

— У нея, отвѣчала Андреина, ударяя кулакомъ по столу.

— И это тебя не приводитъ въ ярость? И ты отъ ревности ее не проявляешь?

— Кто знаетъ? Но ступай вонъ. Тебѣ, разбойникъ и убійца, она обязана тѣмъ, что онъ находится теперь въ ея домѣ, что она можетъ за нимъ ухаживать. Убирайся отсюда, Агостино. Клянусь небомъ, если ты останешься еще минуту, я забуду, что въ нашихъ жилахъ течетъ одна кровь, и громко объявлю всѣмъ: вотъ убійца героя Солиньяка!

Андреина сильно страдала съ той минуты, какъ она узнала, что Солиньякъ умираетъ въ домѣ графини Фаржъ. Она жаждала его увидѣть. Если дѣйствительно рана была смертельная, если Ганри умирать и ей не удастся еще разъ сказать ему, что она его любитъ, — она не вынесетъ такого удара. Она желала-бы упасть передъ нимъ на колѣни и вымолить у него прощенье; ей казалось, что она была соучастницей въ преступленіи брата, потому что не догадалась его остановить.

„Отчего-бы мнѣ не пойти въ домъ графини Фаржъ? думала она; — мы обѣ принадлежимъ къ одному и тому-же высшему кругу общества: развѣ я не дочь маркиза Олона?“

Она попыталась проникнуть въ комнату больного Солиньяка, но швейцаръ объявилъ ей, что доктора запретили допускать къ нему кого-бы то ни было.

— Доложите графинѣ Фаржъ, сказала Андреина, — что маркиза Олона желаетъ ухаживать за больнымъ.

Графиня страшно поблѣднѣла, когда ей передали слова итальянки. Она знала, что эта женщина была любовницею Солиньяка, и ей была не безъизвѣстна та двусмысленная роль, которую, по слухамъ, фрейлина королевы Каролины разыгрывала въ Парижѣ. Въ первую минуту она хотѣла прогнать дерзкую интриганку, но потомъ такая жестокость ей показалась несправедливой и, быть можетъ, она уступила-бы чувству сожалѣнія, какъ-бы дорого это ей ни стоило, если-бъ въ комнату не вбѣжалъ Кастаре, предупрежденный Катериною о посѣщеніи маркизы.

— Графиня! воскликнулъ онъ, блѣдный, какъ полотно, —эта

женщина хочет видѣть полковника! Не позволяйте ей переступать порогъ вашего дома. Это врагъ! Это черноокая женщина, грозящая несчастіемъ полковнику и мнѣ!

— Но если онъ пожелаетъ видѣть эту женщину...

— Онъ! Онъ бѣжалъ-бы отъ нея, какъ отъ чумы, если-бъ могъ встать съ постели!

— Неужели? промолвила Луиза, покраснѣвъ отъ радости.

— Блянусь небомъ, это справедливо!

— Объясните, что докторъ запретилъ пускать кого-бы то ни было въ комнату больного, сказала Луиза, обращаясь къ лакею, дожившему о маризѣ.

Она была очень взволнована и вмѣстѣ съ тѣмъ счастлива, узнавъ отъ Кастаре, что Солиньякъ не любилъ болѣе этой женщины.

Андреина удалилась, пораженная въ самое сердце. Дома она предалась вполнѣ своему отчаянію, то обдумывая самыя ужасныя планы мести противъ графини, отбившей у нея любимаго человѣка, то заливаясь безпомощными слезами при мысли, что Солиньякъ лежалъ такъ близко отъ нея полумертвый, а быть можетъ, и бездыханный, и она не могла сидѣть около его постели и расточать о немъ заботы. Его положеніе становилось все хуже и хуже — вотъ было извѣстіе, котораго она добилась въ мрачномъ домѣ графини Фаржъ, куда доступъ былъ закрытъ ей навсегда.

Невъроятное усиліе, сдѣланное Солиньякомъ, чтобъ подслушать приговоръ о немъ докторовъ, истощило его послѣднія силы и привело на край могилы; Дюпюитренъ былъ въ отчаяніи.

Послѣдующія кровотеченія представляютъ въ подобныхъ случаяхъ самое роковое осложненіе, потому что большая потеря крови можетъ привести къ обмороку, оканчивающемуся смертью. Движеніе и толчекъ, который неминуемо долженъ былъ получить больной при паденіи, могли легко проложить дорогу къ сердцу пулѣ, застрявшей въ сердечной сумкѣ, а прикосновеніе пули къ сердцу — была мгновенная смерть. Поэтому естественно, что Дюпюитренъ былъ очень встревоженъ и не могъ ручаться за исходъ болѣзни. Пульсъ Солиньяка былъ чрезвычайно слабъ и хотя онъ, какъ всѣ страдающіе сердцемъ, сохранялъ полное сознаніе, но силы его видимо падали. А докторъ старался еще ослабить его кровопусканіями, согласно тогдашней методѣ.

Однако Дюпюитренъ вскорѣ успокоился. У больного открылось воспаленіе въ сердечной оболочкѣ. Біеніе сердца и болѣзненное томленіе все усиливалось, но чѣмъ положеніе Солиньяка казалось безнадежнѣе, тѣмъ Дюпюитренъ становился спокойнѣе.

— Я знаю теперь, гдѣ врагъ, съ которымъ я долженъ сражаться, говорилъ онъ; — я приду мѣры, чтобъ его побороть, и поборю.

Солиньякъ, лежа въ постели, блѣдный, съ посинѣвшими губами, впалыми щеками и мутнымъ взоромъ, безпомощно отдавался попеченіямъ Кастаре и Батерины Маньякъ. Онъ былъ очень спокоенъ и, повидимому, не страдалъ. По временамъ даже на его испитомъ лицѣ появлялась прежняя улыбка, счастливая, здоровая, гордо вызывающая на бой судьбу-злудѣйку; это случалось въ тѣ блаженныя минуты, когда графиня Фаржъ, затаивъ дыханіе и считая больного спящимъ, подходила къ его кровати, чтобъ убѣдиться своимъ женскимъ инстинктомъ, не произошла-ли въ его положеніи какая-нибудь благотворная переимѣна. Каждая женщина: по природѣ врачъ и чутьемъ отгадываетъ средства къ облегченію страданій. Доктора лечатъ больныхъ, такъ-сказать, умомъ, а женщины сердцемъ.

Луиза Фаржъ окружала раненаго полковника материнскими попеченіями. Несмотря на закрытые глаза, онъ отгадывалъ ея близкое присутствіе и съ блаженствомъ сознавалъ, что ея прелестное лицо склонялось надъ нимъ съ нѣжнымъ сочувствіемъ. Иногда даже дыханіе графини ласкало его чело и онъ боялся открыть глаза, чтобъ не обратить въ бѣгство очаровательную фею.

Другая еще женщина являлась часто у кровати Солиньяка. Это была маркиза Ригоди. Узнавъ отъ Фурнье печальную вѣсть, старая дѣва грубо оттолкнула отъ себя Жюака, грызшаго орѣхи на ея платьѣ, и стала въ неопisanномъ волненіи ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, проклиная юныхъ безумцевъ, рискующихъ своей жизнью въ романическихъ приключеніяхъ.

— Я увѣрена, что этого дьявола-мальчишку подстрѣлилъ какой-нибудь оскорбленный мужъ, говорила она съ видимымъ безпокойствомъ; — все это дѣло женщины. Быть героемъ, держать почти въ рукахъ маршальскій жезлъ — и всѣмъ пожертвовать изъза какой-нибудь юбки! О! глупая, дурацкая любовь! И вы говорите, Фурнье, что рана опасна?

— Довольно опасна.

— Довольно опасна! Довольно опасна! Скажите прямо, очень опасна! Не бойтесь меня испугать. Къ тому-же какое мнѣ дѣло до этого сорванца, до этого безумца, который только думаетъ о себѣ и о тѣхъ, кого онъ любитъ, забывая тѣхъ, кто его любитъ.

Она быстро отерла слезу, выступившую на ея глазахъ, что случилось съ нею очень рѣдко, и произнесла рѣзкимъ тономъ:

— Прикажете закладывать.

— Вы изволите ѣхать къ графинѣ Фаржъ?

— А то куда еще, чортъ возьми? Конечно, къ раненому. Досадно право, а нужно признаться, продолжала маркиза, смотря на Жака, который нѣжно къ ней ласкался,—что эта скотина благороднѣе сорванца, лежащаго полумертвымъ въ домѣ графини. Какая глупость жертвовать собою кому-бы то ни было! Никто на свѣтѣ этого не стоитъ!

Въ ту минуту, какъ маркиза Ригоди собиралась уѣхать, ей доложили о приходѣ Терезы. Молодая женщина, въ свою очередь, узнала о роковой катастрофѣ. Она только разъ въ жизни видѣла красавца Солиньяка, но онъ произвелъ на нее непреодолимое вліяніе своею рыцарской, благородной натурой. Къ тому-же она часто слыхала рассказы о немъ Клода Ривьера и знала, какая у него была возвышенная душа. Хотя она жила очень уединенно въ домѣ маркизы Ригоди, но видалась съ нею часто, и потому ей была не безъизвѣстна глубокая привязанность, которую старая дѣва питала къ Солиньяку.

— А, это вы, дитя мое, сказала маркиза, увидавъ Терезу;— вамъ, вѣроятно, придется сегодня обѣдать одной. И останусь какъ можно дольше у сорванца Солиньяка.

— Онъ въ большой опасности? спросила Тереза.

— Не знаю, но, должно быть, рана тяжелая, если онъ не былъ въ силахъ вернуться домой.

— И вы не подозреваете настоящей причины этого несчастія?

— Я? Да, подозреваю. Чортъ-бы побралъ всѣхъ женщинъ, приводящихъ къ подобнымъ катастрофамъ.

Эти слова поразили Терезу въ самое сердце и она поблѣднѣла при мысли, что она также погубила капитана Ривьера. Маркиза ничего не замѣтила, но, инстинктивно желая утѣшить молодую женщину, прибавила:

— Впрочемъ, дитя мое, столько несчастныхъ созданий страдаютъ по милости мужчинъ, что, право, не бѣда, если иногда женщина нанесетъ роковой ударъ мужчинъ.

Она послѣшно вышла изъ комнаты и, садясь въ карету, приказала кучеру:

— Скачи во весь опоръ, разбойникъ!

Кучеръ только улыбнулся, нисколько не обидясь этимъ эпитетомъ. Онъ зналъ, что маркиза, хотя называла своихъ слугъ разбойниками, питала къ нимъ самыя нѣжныя чувства.

Въ первую минуту графиня Фаржъ не хотѣла допустить до раненаго маркизу Ригоди, но старую дѣву не могли остановить никакія преграды. Она шумѣла, кричала и взяла приступомъ комнату больного.

„Маленькая графиня черезчуръ ломается, думала она;— и чѣмъ она гордится? Милостями вновь испеченнаго двора!“

Луиза Фаржъ уступила только въ виду собственного желанія Солиньяка увидать маркизу. Онъ любилъ всѣми силами своей души эту преданную покровительницу, бранившую его во дни счастья и спѣшившую ему на помощь въ трудныя минуты его жизни. Свиданіе ихъ было очень короткое, но трогательное. Солиньякъ, неподвижно лежавшій на постели, обвернутый прохладительными компрессами, съ блѣднымъ, синеватымъ лицомъ, привѣтствовалъ маркизу слабымъ движеніемъ вѣкъ и едва замѣтной улыбкой.

Несмотря на все свое мужество, старая дѣва была глубоко поражена переменной, происшедшей въ красавцѣ Солиньякѣ въ нѣсколько дней. Судорожныя рыданія подступили къ ея горлу, но она съ неимоверными усиліями поборолла себя и нѣжно прикоснулась своими исхудалыми пальцами къ бѣлой, пухлой рукѣ Солиньяка, лежавшей неподвижно на одѣялѣ.

— Бѣдный мальчикъ! сказала она, съ необычайнымъ для нея чувствомъ.

— Я былъ увѣренъ, что вы пріѣдете, благодарю васъ, отвѣчалъ съ улыбкой и очень тихо Солиньякъ.

— Вы меня благодарите? За что?

— За то, что вы здѣсь.

— Экая важность! Васъ-бы слѣдовало разбранить за то, что вы здѣсь; но у меня не хватаетъ храбрости. О, сорванецъ, со-

рванецъ, прибавила она, произнося послѣднее слово съ безпокойствомъ и нѣжной лаской,—вы никогда не исправитесь.

Онъ ничего не отвѣчалъ, но видя, что маркиза подозрѣваетъ истинную причину несчастія, онъ взглядомъ указалъ на графиню Фаржъ, стоявшую у кровати, и старая дѣва замолчала.

Съ тѣхъ поръ маркиза Ригоди ежедневно посѣщала раненаго и, просидѣвъ нѣсколько часовъ у его изголовья, увѣждала, только убѣдившись, что ему не грозитъ неминуемая опасность; при этомъ она принимала участіе въ перевязкѣ его раны, въ приготовленіи корпіи и такъ далѣе.

Болѣзнь Солиньяка—воспаленіе сердечной оболочки—между тѣмъ шла своимъ чередомъ, и эта правильность обнадеживала Дюпюитрена. Нивакая случайность не нарушила его расчетовъ. По всѣмъ признакамъ, пуля затягивалась перепонкой и раненый могъ жить припѣваючи, хотя ему постоянно грозила опасность, что перепонка эта порвется и пуля, коснувшись сердца, причинитъ мгновенную смерть.

— Главное—поставить его на ноги, а потомъ мы увидимъ, какія мѣры принять для избѣжанія смерти.

Солиньякъ чувствовалъ, что онъ съ каждымъ днемъ мало-помалу возвращается къ жизни. Чернота наружныхъ краевъ раны пропадала постепенно, и въ то-же время оправлялся и Кастаре отъ нанесеннаго ему удара.

— Ну, все идетъ благополучно, говорилъ Марціалъ: — моя шея приняла свой прежній видъ, слѣдовательно и полковникъ вскорѣ будетъ на ногахъ.

Однакожь, выздоровленіе Солиньяка шло очень медленно. Рана все еще оставалась свищеватой, а ослабляющая система леченія: кровопусканія, діета и безмолвная неподвижность, не позволяла силамъ больнаго скоро укрѣпиться. Прошелъ цѣлый мѣсяцъ, полный тревогъ и опасеній для всѣхъ, кому былъ дорогъ Солиньякъ: для маркизы Ригоди, боявшейся рокового исхода болѣзни; для Кастаре, вѣчно вспоминавшаго страшное предсказаніе г-жи Ленорманъ; для Луизы Фаржъ, чувствовавшей какое-то странное влеченіе къ умирающему, которому она, быть можетъ, была обязана жизнью; но болѣе всего для Андреины, разлученной съ любимымъ человекомъ, вынужденной довольствоваться отрывочными извѣстіями отъ слугъ о положеніи больнаго и

переносившей ужасныя муки ревности при мысли, что графиня могла, когда хотѣла, видѣть Ганри, говорить съ нимъ, утѣшать его, окружать всевозможными попеченіями. Но для Солиньяка этотъ долгій мѣсяцъ былъ эпохой необычайнаго спокойствія, непривычныхъ, совершенно новыхъ для него сладкихъ мечтаній; его тѣло было пригвождено къ одру болѣзни, но душа витала на свободѣ въ области романтическихъ стремленій и безпредѣльныхъ надеждъ.

Этому смѣлому искателю приключеній и мужественному воину казалось теперь, что онъ до сихъ поръ тратилъ свою жизнь на бесполезныя, пустыя глупости. Минутное удовлетвореніе самолюбія и сладострастія доставляло-ли ему глубокое, истинное счастье? Онъ размышлялъ на мелкую монету всѣ сокровища благородной, возвышенной души. Онъ, повидимому, часто любилъ, но это не была истинная любовь, и изъ всѣхъ образовъ, смутно выступавшихъ въ его памяти, подобно привидѣніямъ, прелестная фигура Анреины еще болѣе всѣхъ привлекала его къ себѣ. Но все это теперь потеряло для него свою цѣну. Какъ бесполезна, безцѣльна казалась ему эта жизнь, полная шума, треска, славы! Другіе ему завидовали, а онъ, въ свою очередь, завидовалъ тѣмъ, которые пользовались мирнымъ, болѣе скромнымъ счастьемъ. Имѣлъ-ли онъ, вѣчный всадникъ, незнавшій покоя, какъ герой фантастической балады, достойный предметъ любви, было-ли на свѣтѣ чистое, незапятнанное чело или честныя, преданныя уста, на которыхъ онъ могъ запечатлѣть прощальный поцѣлуй, отправляясь на кровавый бой? Нѣтъ, у него не было ни семьи, ни домашнего очага, ни истинной любви. У него не было даже имени, такъ-какъ онъ носилъ названіе скромнаго лимузенскаго мѣстечка. Такимъ образомъ, красавецъ Солиньякъ былъ зло обманутъ судьбою. Она, повидимому, дала ему все: славу, состояніе, красоту, силу, побѣду, успѣхъ. Но всѣ эти сокровища терали свою цѣну отъ мрачнаго сознанія пустоты и одиночества.

Вмѣсто семьи Солиньякъ, конечно, имѣлъ, какъ всякій храбрый воинъ, родину; вмѣсто дружбы—преданность Марціала и привязанность маркизы Ригоди. Но то, чѣмъ онъ довольствовался до сихъ поръ, казалось ему теперь бесплоднымъ, недостаточнымъ. Еще недавно онъ жаждалъ только умереть, какъ Дессе, на полѣ брани, бросивъ торжествующій взглядъ на бѣгущаго непріятеля и

пославъ послѣднее прости милой родинѣ. А послѣ этой славной смерти его ждало вѣчное спокойствіе или, быть можетъ, безсмертіе. Теперь-же храбрый полковникъ сталъ мечтать о другомъ. Онъ не думалъ о смерти, а желалъ жить—не прежней, любезной ему, лихорадочной, пламенной жизнью, но спокойной, мирной, дающей скорѣе человѣку истинное счастье. Онъ тѣмъ болѣе желалъ этого, что каждую минуту могъ мгновенно покончить съ своимъ существованіемъ. Слишкомъ быстрое движеніе, испугъ, радость, ничтожный атомъ, капля воды, песчинка—могли привести къ роковому концу. Не разъ со времени выстрѣла Чіампи онъ чувствовалъ на своемъ лбу ледяное дуновеніе смерти. А теперь онъ не хотѣлъ умирать, онъ жаждалъ избѣгнуть смерти, побороть ее и жить. Ему казалось, что желанное счастье было недалеко отъ него, — въ прелестныхъ чертахъ и золотыхъ кудряхъ Луизы Фаржъ.

Выздоровленіе всегда имѣетъ въ себѣ нѣчто воскрешающее, молодящее. Больной съ какимъ-то дѣтскимъ изумленіемъ смотритъ на жизнь и какъ-бы впервые наслаждается воздухомъ, небомъ, природой. Это безпредѣльное счастье сознавать себя живымъ почти вознаграждаетъ за всѣ страданія, претерпѣнныя во время болѣзни, и смотря на выздоравливающаго, невольно завидуешь ему. То-же самое ощущалъ и Солиньякъ. Мало-по-малу онъ воскресалъ къ жизни. Онъ дышалъ всей грудью и съ искренней радостью смотрѣлъ въ окна на роскошныя деревья, залитыя августовскими лучами солнца. Опираясь на плечо Кастаре и на руку маркизы Ригоди, онъ впервые всталъ съ постели. Луиза Фаржъ смотрѣла съ нѣжнымъ волненіемъ на его первые шаги, а онъ, изнуренный, согбенный, но съ улыбкой на устахъ, привѣтствовалъ ее граціознымъ движеніемъ своей красивой, болѣе, чѣмъ когда-либо, бѣлой руки.

Узнавъ, что Солиньякъ всталъ съ постели, старикъ Новаль сказалъ графинѣ:

— Хорошо, я надѣюсь, что теперь этотъ гусаръ отправится преспокойно въ свой полковой лазаретъ.

— О, маркизъ! воскликнула Луиза тономъ упрека.

— Я думаю, что вашъ полковникъ достаточно пользовался вашимъ гостепріимствомъ. Пока онъ былъ болѣнъ—его держали, теперь онъ поправился—и добраго пути.

— Полковникъ Солиньякъ далеко не поправился, маркизъ, и малѣйшая неосторожность можетъ его убить.

— Убить? Такъ онъ очень хрупокъ! Откуда взялись такіе воины? Мои товарищи по оружію часто получали раны и отъ нихъ не умирали. Все вырождается.

— Какъ-бы то ни было, маркизъ, пуля, которую никакъ не могли вынуть, застряла близъ самаго сердца полковника, и достаточно малѣйшаго волненія, крика или движенія, чтобъ отправить его на тотъ свѣтъ.

— Значитъ соломенка можетъ причинить ему смерть?

— Почти что.

— Фу! произнесъ маркизъ тѣмъ презрительнымъ тономъ, который былъ доведенъ до совершенства графомъ Артуа;— Морне-Вильдель, служа въ полку Конти, получилъ рану штыкомъ въ бедро, но все-же остался цѣлый часъ на лошади и, несмотря на смертный приговоръ всѣхъ докторовъ, женился черезъ годъ на г-жѣ Шейла, которая имѣла отъ него семь сыновей. Вотъ это были люди! Только они не носили трехцвѣтной кокарды.

Луиза слегка покраснѣла и удалилась, оставивъ Новаля одного сожалѣть о прошедшемъ и сатирически относиться къ настоящему.

Солиньякъ былъ, повидимому, спасенъ. Убѣжденіе въ этомъ наполняло радостью сердце графини, которая не совсѣмъ ясно отдавала себѣ отчетъ въ своихъ чувствахъ. Ей казалось, что исчезло нѣчто, тревожившее ее болѣе всего на свѣтѣ, что съ ея сердца свалился тяжелый камень. Она долго боялась, чтобъ смерть не восторжествовала надъ храбрымъ полковникомъ; она думала, что человѣку невозможно оправиться отъ такой страшной раны, но въ то-же время неужели герой могъ погибнуть отъ руки злодѣя? Въ глазахъ Луизы, какъ и всѣхъ, красавецъ Солиньякъ былъ существомъ неуязвимымъ, Ахилломъ, котораго враги не могли поразить даже въ пятку. Неужели ему было суждено умереть отъ выстрѣла наемнаго убійцы! „Нѣтъ, это невозможно, это невозможно“, повторяла Луиза.

Съ чисто-женскимъ инстинктомъ, она почти отгадала, чья рука нанесла роковой ударъ Солиньяку. Она знала связь его съ маркизой Олона и пришла къ тому простому убѣжденію, что объясненіе таинственнаго выстрѣла скрывалось въ сосѣдномъ домѣ.

Но она была слишкомъ благородна, чтобъ даже произнести имя Андреины, и довольствовалась ухаживаніемъ за раненымъ, котораго случай привелъ подъ ея кровъ.

Солиньякъ выздоравливалъ, и хотя былъ очень слабъ, но все-же могъ ходить. Дюпюитренъ приказалъ ему носить на груди пластырь, чтобъ возстановить правильное дыханіе и помочь сращенію реберъ. Узнавъ объ этомъ, Флориваль Сен-Клеръ остроумно замѣтилъ, что ни одинъ герой романа, ни Эдмонъ Симоръ г-жи Котенъ, ни донъ Санхо г-жи Жялисъ, ни Эжень Ротелинъ г-жи Суза, не находился въ такомъ положеніи.

— Дѣйствительно, прибавлялъ онъ съ улыбкой, которой старался придать какъ можно болѣе выразительности, — никогда не видано ничего подобнаго. Много романовъ, въ которыхъ описываются любовь и военныя походы, наприѣръ: „Ульдарикъ или послѣдствія самолюбія“, г-жи Кастера, „Эльмонда или дочь пріюта“, Дюкре-Дюмениля; но никто, конечно, не выпуститъ въ свѣтъ романа съ такимъ громкимъ названіемъ: „Гусарскій полковникъ или геройство и пластырь“.

— Вы повторите это, Флориваль, полковнику, когда онъ всецѣмъ выздоровѣетъ, замѣтилъ одинъ изъ постоянныхъ посѣтителей дома графини Фаржъ.

Съ тѣхъ поръ Сен-Клеръ сталъ гораздо осторожнѣе въ своихъ островахъ.

Однакожь, онъ былъ правъ, говоря, что Солиньякъ не походить на героя романа. Дюпюитренъ запрещалъ ему почти всякое движеніе. Онъ не долженъ былъ много говорить, скоро ходить, подниматься по лѣстницѣ. Маленькая голубая гостинная выходила въ садъ и Солиньяку дозволялось тамъ дышать чистымъ воздухомъ безъ излишней усталости. Большія каштановыя деревья скрывали отъ него сосѣдній домъ, въ которомъ жила Андреина, и Солиньякъ въ этомъ обширномъ, тѣнистомъ, уединенномъ саду находился какъ-бы на краю свѣта. Онъ съ радостью вдыхалъ въ себя живительное благоуханіе цвѣтовъ и любовался величественными лебедями, плававшими въ бассейнахъ, но по временамъ онъ возставалъ противъ подобнаго существованія, если ему суждено было держать себя вѣчно на помочахъ и съ безпокойствомъ обдумывать каждый шагъ.

— Неужели мнѣ никогда нельзя будетъ ѣздить верхомъ? спрашивалъ онъ у Дююитрена.

— Увидимъ... впоследствии...

— Вы говорите это такимъ тономъ, что, я увѣренъ, мнѣ никогда болѣе не сѣсть на коня.

— Я говорю то, что говорю, полковникъ. Вообще въ нашемъ ремеслѣ очень опасно прибѣгать къ слишкомъ абсолютнымъ выраженіямъ.

— Однимъ словомъ, если черезъ мѣсяцъ я получу приказъ возвратиться въ полеъ, мнѣ нельзя будетъ повиноваться?

— Черезъ мѣсяцъ? Нѣтъ, ни въ какомъ случаѣ.

— И вы называете это жизнью? Право, человеческое существованіе не стоитъ такихъ заботъ и попеченій.

— Ну, такъ сядьте на лошадь и черезъ часъ вы освободитесь отъ этой тягостной жизни.

— Право, я не отвѣчаю, что на это не рѣшусь.

— Это было-бы просто самоубійствомъ, полковникъ, какъ и всякая другая неосторожность съ вашей стороны. Но время—величайшій вракъ, и будемъ рассчитывать на него. Конечно, зная вашу дѣятельную, нервную натуру, я не требую, чтобъ вы слѣдовали примѣру венеціанца Луиджи Корнаро, которому въ тридцать пять лѣтъ грозила смерть отъ подагры и хроническаго разстройства желудка, и однакожь, онъ сумѣлъ дожить до девяносто девяти лѣтъ, съѣдая каждый день аккуратно двѣнадцать унцевъ мяса и четырнадцать хлѣба, избѣгая самымъ тщательнымъ образомъ холода, жара, вѣтра и всякаго волненія, такъ что онъ хладнокровно выслушивалъ извѣстіе о смерти друга изъ боязни повредить своему здоровью.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Солиньякъ,—я не могу такъ жить, и, повторяю, развѣ это жизнь? Нѣтъ, докторъ, лучше разомъ умереть, чѣмъ изгнать изъ своего сердца любовь, ненависть, страсть, все, чѣмъ живетъ человѣкъ; насильственное спокойствіе—то-же тюремное заключеніе, та-же смерть!

— Тихе, тихе! восклицалъ Дююитрениъ,—не выходите изъ себя, успокойтесь. Всякое лишнее слово стоитъ вамъ атома жизни.

Такимъ образомъ, полковникъ иногда спрашивалъ себя: радоваться-ли ему своему выздоровленію? Но онъ все-же надѣялся, что, вопреки предсказанію докторовъ, онъ оправится отъ страшной раны.

Къ тому-же жизнь никогда не казалась ему столь привлекательной, какъ теперь, хотя онъ, повидимому, и не придавалъ ей большой цѣны. Онъ жаждалъ прежде смерти отгадать, что скрывалось въ сердцѣ Луизы Фаржъ, вполне овладѣвшей всѣми его мыслями, тѣмъ болѣе, что ея прелестный образъ служилъ ему утѣшеніемъ, заглушая его страданія. А эти страданія были въ первое время двойныя. Онъ не могъ думать безъ стѣсненія сердца объ Андрειнѣ, которую онъ считалъ соучастницей въ преступленіи Чіаппи. Такое жестокое, презрѣнное вѣроломство терзало его душу. Но мало-по-малу чувство гнѣва исчезло и онъ успокоился, не столько отъ мысли, что, быть можетъ, Андрейна не знала ничего о роковомъ выстрѣлѣ, сколько отъ того, что какое-то облако закрывало отъ него весь міръ, выставляя только въ блестящемъ свѣтѣ прелестный образъ Луизы.

Къ тому-же жизнь въ домѣ графини Фаржъ складывалась такъ, что съ каждымъ днемъ красавецъ полковникъ и графиня все болѣе и болѣе сближались. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ вступилъ въ періодъ выздоровленія, домъ графини Фаржъ принялъ свой обычный видъ и ее стали по-прежнему посѣщать пламенные поклонники, съ почетомъ Сен-Клеромъ во главѣ. Солиньякъ, полулежа въ большомъ креслѣ, слушалъ съ явнымъ неудовольствіемъ мифологическіе комплименты, расточаемые графинѣ великосвѣтскими юношами, и часто ему хотѣлось перебить площадные мадригалы, но Луиза всегда успѣвала нѣжной улыбкой загладить неприятное впечатлѣніе, произведенное на него любезностями ея поклонниковъ.

Однажды Флориваль замѣтилъ графинѣ, что она чересчуръ хлопочетъ о спокойствіи Солиньяка.

— Что-же дѣлать, отвѣчала она, — малѣйшее волненіе можетъ причинить смерть полковнику. Я его сидѣлка и исполняю свои обязанности.

— Такъ вы это дѣлаете изъ одного сожалѣнія?

— Вы употребляете не то слово: за героями ухаживаютъ не изъ сожалѣнія, а изъ благодарности.

Тщетно старался Флориваль пересилить вліяніе Солиньяка на графиню. Онъ окружалъ ее самыми утонченными любезностями, пѣлъ, акомпанируя себѣ на арфѣ, самые пламенные романсы и декламировалъ собственныя стихотворенія, въ которыхъ косвеннымъ образомъ объяснялъ свою любовь; Луиза все слушала съ

холодной учтивостью, которая привела-бы въ отчаяніе всякаго не столь упornaго вѣдыхателя, какъ Сен-Клеръ.

Всѣ молодые франты, преслѣдовавшіе ее своимъ ухаживаніемъ, казались ей такими пощлыми и безпомощными въ сравненіи съ Солиньякомъ, который, несмотря на грозившую ему ежеминутно смерть, былъ мужественнѣе, отважнѣе и самоотверженнѣе этихъ льстецовъ красоты въ домѣ графини Фаржъ и власти—внѣ его. Въ каждомъ словѣ Солиньяка, въ каждомъ его взглядѣ было столько благородства, столько невысказаннаго, но яснаго, преданнаго чувства, что все остальное казалось графинѣ приторными, искусственнымъ. Привыкнувъ къ свѣтскимъ успѣхамъ, она съ отвращеніемъ отворачивалась отъ наскучившаго ей рутиннаго лоска, она жаждала истиннаго чувства, привлекающаго къ себѣ могучей силой и непреодолимымъ обаяніемъ. Все-же это она нашла въ человѣкѣ, на челѣ котораго виднѣлась еще печать смерти.

По временамъ Луиза съ тяжелымъ вздохомъ вспоминала объ Андренинѣ и тревожно спрашивала себя, любила-ли Солиньякъ по-прежнему итальянку. При этой мысли живая, веселая графиня становилась грустной, задумчивой.

— Какое мнѣ дѣло! восклицала она, прогоняя безпokoившую ее мысль.—Какое мнѣ дѣло до Солиньяка? Развѣ я имѣю право интересоваться имъ?

Такъ шли недѣли за недѣлями, и Солиньякъ, къ величайшему негодованію маркиза Новаля и Ланжале, не покидалъ дома графини Фаржъ, потому что Дюпюитренъ отсрочилъ его отъѣздъ до второй половины сентября. Ему приходилось долго ждать своего освобожденія, но чѣмъ ближе становился назначенный срокъ, тѣмъ онъ казался кратче. Солиньякъ теперь походилъ на чело-вѣка, который, проснувшись, сожалѣетъ о видѣнномъ имъ спѣ. Дѣйствительно, чудный образъ, явившійся ему на краю могилы и заставившій его забыть Андреину, былъ ничто иное, какъ сонъ.

„Что-же дѣлать, думалъ полковникъ, — все на этомъ свѣтѣ кончается. Прощай, мой чудный сонъ“.

Однажды вечеромъ онъ объявилъ Кастаре, что пора укладываться.

— Когда-же мы переѣзжаемъ? спросилъ гусарь.

— Завтра.

— Такъ вы совсѣмъ выздоровѣли, полковникъ?

— На-столько, что могу отомстить убійцѣ.

— Пожалуйста, будьте осторожны. Вы знаете, что ваша, а значить и моя жизнь, висятъ на волоскѣ.

— Не бойся, Кастаре, я хочу жить. Не для себя, а ради него, ради нея.

— Ради него, ради нея! повторилъ Кастаре. — Какъ его зовутъ—я знаю, но она? Это еще что?

— Думай о Катису и не вѣшивайся въ чужія дѣла!

— Это справедливо. Всякъ разумѣй про себя.

Послѣ этого разговора Солиньякъ медленно пошелъ въ садъ, гдѣ Луиза Фаржъ полулежала на кушеткѣ, поста вленной подъ тѣнью деревь. Ее окружали: Флориваль Сен-Клеръ, съ арфою въ рукахъ, и трое свѣтскихъ франтовъ въ голубыхъ и свѣтло-зеленыхъ фравахъ. Бросивъ взглядъ на Луизу, Солиньякъ съ восхищеніемъ сталъ любоваться пейзажемъ. Онъ теперь, съ возрожденіемъ силъ, чувствовалъ какое-то пламенное стремленіе къ природѣ. Заходящее солнце рельефно обрисовало каждую травку, каждый лепестокъ. Макушки деревьевъ были еще залиты золотистымъ свѣтомъ, а ален, погруженный въ полумракъ, искрились миліонами блестокъ. Луиза оставила въ этомъ искусно разведенномъ саду одинъ уголокъ, необработанный, дикій, напоминавшій лѣсную чащу. Трава, верескъ, кустарники—все блестяло, соединенное бриліантовыми паутинами, колыхавшимися между цвѣтами и листьями. Мало-по-малу густая листва, покрывавшая землю, принимала синеватый отливъ, а вечерній, еще теплый воздухъ былъ полонъ ароматическими благоуханіями.

— О, жизнь, жизнь! повторялъ про себя Солиньякъ, снова устремляя взглядъ на Луизу.

Пока онъ любовался графинею, мало-по-малу наступила ночь и надъ деревьями, бросавшими свою черную тѣнь на разстилавшійся внизу газонъ, засверкали звѣзды.

— Вонъ первая звѣздочка, сказала Луиза, смотря съ улыбкою на голубое небо.

— Жаль, что у насъ нѣтъ телескопа, чтобъ лучше ее разглядѣть, замѣтилъ Сен-Клеръ.

— Никогда не надо ничего ставить между нашими глазами и красотю, сказалъ Солиньякъ, неотличавшійся вообще мечтательностью, но пораженный поэтической прелестью этой ночи.

— Такъ, полковникъ, оракуль Эпидавра произнесъ свой приговоръ? спросилъ Флориваль. — Вы здоровы?

— Почти.

— Тѣмъ хуже для испанцевъ и англичанъ. Вы снова, презирая ихъ огненными стволами и подъ воинственный трубный гласъ, поведете въ бой гренадеровъ съ ихъ байонскими мечами!

— Съ байонскими мечами? повторилъ Солиньякъ съ удивленіемъ.

— Развѣ вы не знаете, сказала съ улыбкою графиня, — что Сен-Клеръ такъ называетъ штыкъ? Онъ никогда не скажетъ: плугъ, море, кофе, а „желѣзо земледѣльца“, „влажный Нерей“, „скромный мокскій нектаръ“.

— Это благородный стиль, произнесъ поэтъ; — мы не можемъ говорить, какъ вульгарная толпа.

— Конечно, конечно, подхватили другіе франты въ голубыхъ и зеленыхъ фракахъ.

— Графиня, продолжалъ Сен-Клеръ, — позвольте мнѣ предекламировать передъ вами мадригалъ, написанный однимъ моимъ пріателемъ въ честь...

— Въ честь кого?

— Въ честь прелестнѣйшей красавицы при дворѣ.

Солиньякъ насупилъ брови и сталъ нетерпѣливо кусать усы.

— Нѣтъ, сказала Луиза, неожиданно вставая, — пора домой. Сентябрьскіе вечера очень свѣжи. До завтра, полковникъ; прощайте, господа.

Сен-Клеръ, озадаченный и оскорбленный этимъ холоднымъ обращеніемъ графини, удалился въ смущеніи съ своими пріателями.

— До завтра, повторила Луиза, снова поклонившись Солиньяку.

— Завтра, завтра! промолвилъ онъ. — И это слово вамъ не кажется мрачнымъ, печальнымъ?

— Почему мнѣ считать *завтра* мрачнымъ, печальнымъ? спросила Луиза съ нѣкоторымъ смущеніемъ.

— Почему? Это одно слово краснорѣчивѣе всего, что вы могли бы сказать.

— Я не понимаю.

— Завтра я покидаю вашъ домъ, графиня, — домъ, гдѣ я страдалъ, гдѣ я едва не умеръ и гдѣ не только текла моя кровь, но залечилась моя рана могучими чарами.

— Что это за чары? спросила Луиза, сама не зная, зачѣмъ она это спрашивала.

— Могучіе чары—вашъ взглядъ, графиня.

Луиза покраснѣла, потомъ поблѣднѣла и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Я была-бы счастлива, полковникъ, если-бъ могла уплатить долгъ благодарности человѣку, спасшему мнѣ жизнь, но мои заботы...

— Уплатить? Долгъ? Какія жестокія слова, графиня. Что вы мнѣ должны? Я былъ слишкомъ счастливъ, что могъ поспѣть къ вамъ на помощь и потушить огонь.

Онъ остановился и провелъ рукою по лбу.

— Вы мнѣ ничѣмъ не обязаны, а сами были для меня благодарительной феей, другомъ, сестрою.

„Сестрою...“ повторила Луиза мысленно и передъ ея глазами невольно возсталъ образъ Андреины.

— Вы говорите о спасеніи, продолжалъ Солиньякъ,—но вѣдь вамъ я обязанъ жизнью! Безъ васъ я не имѣлъ-бы достаточно силы побороть чудовищный недугъ. На умирающихъ находять минуты, когда имъ жизнь до того тягостна, что они жаждутъ съ нею покончить. Въ подобныя минуты, графиня, я думалъ о васъ и, несмотря на мою рану, опасенія Дюшпитрена и вѣроятный исходъ моей болѣзни, я говорилъ себѣ: „Нѣтъ, я не умру, я не умру, я хочу жить, чтобъ достойно возблагодарить ее и посвятить ей все свое существованіе“. Простите, графиня, прибавилъ Солиньякъ съ своей добродушной улыбкой,—въ моихъ мечтаніяхъ я не давалъ вамъ никакого имени. Нѣтъ, виноватъ, я васъ называлъ олицетвореніемъ доброты, нѣжности, надежды.

Эти слова, произнесенныя тономъ пламенной мольбы, смутили Луизу. Въ этомъ изъявленіи благодарности больного не звучало объясненіе въ любви, но оно дышало искреннимъ, неподдѣльнымъ, горячимъ чувствомъ. Слова, которыя она такъ часто слышала равнодушно отъ другихъ мужчинъ, теперь, произносимыя Солиньякомъ, волновали ея сердце. Но она сдержала свое волненіе, не желая, чтобы Солиньякъ догадался о могучемъ вліяніи его голоса, привыкшаго командовать, а теперь столь смиренно ласкающаго слухъ. Мысль, что Андреина занимала еще мѣсто въ сердцѣ Солиньяка, не позволяла ей вполне предаться истиннѣйшему чувству, которое влекло ее къ нему. Она всѣми силами старалась не

подаваться трогательному впечатлѣнію этой романтичной сцены прощанія раненаго героя съ его ангеломъ-хранителемъ.

— Молчите, сказала она съ натянутой улыбкой, какъ-бы браня ребенка, — вамъ запрещено волноваться.

— Скажите прямо, что мнѣ запрещено дышать. Говорить, повторять, что я вашъ на-вѣки, — вотъ жизнь, а внѣ этого — одно прозябаніе.

— Я очень счастлива, что вашу славную жизнь, полковникъ, отвоевала у смерти сказала она серьезно, хотя и дрожащимъ голосомъ; — да сохранить васъ Господь. Помните всегда, что вы имѣете во мнѣ искреннаго, преданнаго друга.

— Графиня... прервалъ Солиньякъ, не смѣя сказать Луиза, хотя это нѣа жгло ему губы.

Онъ взялъ ея маленькую руку и вѣрнко сжалъ ее; она, блѣдная, опустила свои черныя рѣсницы. Въ эту минуту, полную прелести и смущенія, Екатерина Маньякъ позвала графиню въ маркизу Новаль.

— Хорошо, сказала Луиза ѣ, обращаясь къ Солиньяку, прибавила: — прощайте или, лучше, до свиданія, до скорого свиданія.

— Я вашъ на-вѣки, отвѣчалъ Солиньякъ тономъ глубокаго убѣжденія.

Ему оставалось провести еще только нѣсколько часовъ въ домѣ графини Фаржъ; смотря, какъ Марціалъ укладывалъ его вещи, онъ чувствовалъ то-же самое, что всегда ощущалъ, отправляясь въ походъ. Еще разъ онъ оставлялъ за собою новую, могучую привязанность и шелъ впередъ по невѣдомому пути. А какъ отрадно было-бы ограничить свой горизонтъ этимъ дорогамъ для него жилищемъ! Чисто-женское изащество дома графини Фаржъ проникло во все его поры. Онъ оставлялъ какъ-бы долю своего существа въ этой мебели, на которой останавливались его умирающіе взгляды, въ психеѣ, отражавшей его блѣдное лицо, въ покойномъ креслѣ, лежа на которомъ онъ думалъ о Луизѣ. Всего этого онъ болѣе не увидитъ. Снова въ путь! Но на этотъ разъ онъ выступалъ въ походъ съ смертельной раной, безъ надежды на скорыя побѣды, опьяняющій пылъ которыхъ заглушилъ-бы все мысли о прошедшемъ.

— Это что? произнесъ въ глубинѣ своей души Солиньякъ. — Я предаюсь меланхоли.

И онъ отпустилъ Кастаре чисто-военную шутку, но она грустно раздалась въ голубой гостинной и на нее не отделинулся даже Марціалъ, думавшій также о печальномъ разставаніи съ любимой женщиной.

Солиньякъ хотѣлъ отправиться изъ дома графини въ гостиницу, гдѣ онъ занималъ номеръ, но маркиза Ригоди воспротивилась этому съ обычной ея энергіей. Она приказала приготовить для полковника павильонъ въ своемъ саду и потому, услышавъ о намѣреніи Солиньяка, гнѣвно воскликнула:

— Вотъ что выдумалъ! Я дамъ пріютъ женамъ вашихъ друзей и дозволяю рыть ямы въ своей землѣ, чтобъ спасти вашихъ товарищей, а потерплю, чтобъ вы ночевали въ трактирѣ съ пулей въ груди! Вы съума сошли!

— Нѣтъ, но я боюсь...

— Меня стѣснить? Скажите прямо. Это будетъ очень любезно. Правда, я эгоистка и сожалею, что должна оставаться въ Парижѣ, когда мои дѣла требуютъ моего присутствія въ Лимузенѣ, но сердце мое еще не совсемъ окаменѣло, и я приготовила вамъ павильонъ въ саду. Ваша Тереза Ривьеръ меня нисколько не стѣсняетъ и вы также не стѣсните. У нея особое помѣщеніе и у васъ будетъ также совершенно отдѣльное жилище. Вы можете принимать всѣхъ вашихъ головорѣзовъ и жить, какъ вамъ угодно. Вы меня никогда не увидите, если я вамъ надоѣдаю; я буду жить одна съ Терезой и моимъ маленькимъ Жакомъ. Вы можете привести съ собою Кастаре и еще кого пожелаете. Однимъ словомъ, вы будете у себя дома. По рукамъ?

— Быть по-вашему, лучшая изъ женщинъ.

— Опять вы говорите пустяки. Смотрите, я разсержусь. Впрочемъ, вамъ есть за что меня благодарить. Знаете-ли, чѣмъ я вамъ жертвую?

— Нѣтъ.

— Цѣлымъ сентябремъ, самымъ дѣятельнымъ мѣсяцемъ. Мнѣ слѣдовало-бы провести его среди моихъ чертовскихъ фермеровъ. А сколько работы-то! Безъ меня все пойдетъ къ чорту! Провлчатые поселане такіе лѣннывые болваны, что все сгноятъ, все испортятъ. Но что-же дѣлать, я питаю къ вамъ слабость. Въ Па-

рижѣ я думаю о моихъ виноградникахъ, а въ Солиньякѣ я буду думать о пулѣ, застрявшей близь вашего сердца. Мнѣ не слѣдовало-бы такъ беспокоиться объ васъ, но таковъ ужъ мой характеръ. Я не спала всю прошлую ночь, при мысли, что вы переѣдете отсюда въ трактиръ. Ну, моя карета васъ ждетъ. Ёдемъ.

— Знаете что, отвѣчалъ Солиньякъ:—я долженъ васъ поцѣловать.

— Меня! воскликнула маркиза, съ испугомъ отбиваясь отъ него. — Вамъ нужны пухлыя щеки, а не загорѣлыя морщины. Тише! Вы должны остерегаться всякихъ быстрыхъ движеній! Да онъ совсѣмъ съума сошелъ!

Несмотря на ея сопротивленіе, Солиньякъ обнялъ ее и крѣпко поцѣловалъ. Она быстро отвернулась и отерла рукою выступившую на глазахъ слезу.

— Ну, въ походъ! произнесла она повелительнымъ тономъ, обращаясь къ Бастаре, который поднималъ съ полу тяжелый чемоданъ.

Когда массивная дверь дома графини Фаржъ затворилась за Солиньякомъ, онъ невольно подумалъ:

„Скоро-ли я снова увижу тебя, Луиза?“

Въ этомъ домѣ улицы Мон-Блана онъ оставлялъ не только потоки своей крови, но часть сердца.

XVI.

БЕРНАРЪ ТЕВЕНО.

Во все время болѣзни Солиньяка капитанъ Ривьеръ не выходилъ изъ своего убѣжища въ улицѣ св. Іоанна. Полковникъ Тевено извѣстилъ его черезъ Шамборо, что малѣйшая неосторожность могла его погубить, и предложилъ доставить ему средство скрыться въ какомъ-нибудь отдаленномъ селеніи или даже бѣжать въ Америку. Но Клодъ Ривьеръ не хотѣлъ избѣгнуть грозившихъ ему опасностей; онъ вступилъ вмѣстѣ съ Уде въ патриотическое общество филаделфовъ и твердо рѣшился разделить участь своихъ товарищей, то-есть умереть или восторжествовать вмѣстѣ съ ними.

— Мое присутствіе въ Парижъ можетъ быть полезно и потому я никуда не уѣду, говоритъ онъ.

Тщетно старикъ Жанъ Ривьеръ старался побороть рѣшимость своего сына. Онъ оставался непоколебимъ.

— Ты любишь политику болѣе, чѣмъ меня, повторялъ старикъ, возлагая всѣ свои надежды только на судьбу.

Шамборо довольно часто посѣщалъ Клода Ривьера, но все-же съ нѣкоторыми промежутками, чтобы не возбудить подозрѣнія полиціи. Бывшій членъ конвента привыкъ къ осторожности. Между нимъ и Ривьеромъ никогда не упоминалось имени Терезы, точно несчастная женщина вовсе не существовала. Бываютъ такіе живые мертвецы, о которыхъ не говорятъ, боясь вызвать не призракъ, а грустное чувство. Напротивъ, Ривьеръ часто спрашивалъ у Шамборо извѣстій о Наполеонѣ.

— Онъ здравствуетъ, а на поляхъ сраженій умираютъ, отвѣчалъ республиканецъ, выражая тѣмъ, что все идетъ по-старому и нація не желаетъ никакой перемѣны.

Самъ Шамборо жилъ по-прежнему, руководясь принципами спокойной, слегка эпикурейской философіи, которой онъ слѣдовалъ скорѣе по привычкѣ, чѣмъ по темпераменту.

— Жюли, говаривалъ онъ,—я прожилъ дурные мѣсяцы; наступилъ сентябрь, съ виноградомъ и дичью. Наконецъ-то на нашу долю выпадутъ маленькія утѣхи жизни, замѣняющія для честныхъ людей вездѣ ненаходимое ими счастье.

Къ этимъ маленькимъ утѣхамъ жизни Шамборо относилъ виноградъ, персики и свѣжія устрицы, которыя онъ, однако, находилъ недостаточно жирными. Обмакивая очищенный персикъ въ подслащенное красное вино, онъ произносилъ латинское изреченіе салернской школы:

*Persica cum musto vobis datur ordine justo
Sumere. Sic est mos nucibus sociare racemos.*

Для назиданія Жюли онъ переводилъ эти стихи словами: „Какъ орѣхи ѣдятъ съ изюмомъ, такъ персикъ надо поливать сладкимъ виномъ“.

— Да, да, понимаю, отвѣчала кухарка;—ваши старыя книги научили васъ многому въ кухонномъ дѣлѣ; но я желала бы видѣть, какъ сварили-бы яичницу ваши Вольтеръ, Руссо и Дидро.

— Каждому свое ремесло, замѣчалъ Шамборо, смѣлся ка-кимъ-то принужденнымъ, невеселымъ смѣхомъ.

Что же касается Терезы, то упоминая о ней, онъ всегда на-супливалъ брови и прибавлялъ:

— Она заимствовала отъ своей матери-гречанки пламенную, романтическую натуру. Французы должны исключительно жениться на французенкахъ.

Узкій, но твердый патриотъ времяя конвента вполне выска-зывался въ этой фразѣ. Шамборо утѣшалъ себя, вывода изъ от-дѣльнаго случая общее заключеніе.

— Или, прибавлялъ онъ, — лучше вовсе не жениться, — это проще всего.

Подобными размышленіями Шамборо наполнялъ время, казав-шееся нестерпимо-долгимъ въ старомъ домѣ улицы Почтъ. Дни шли за днями, монотонные для члена конвента и мрачные для капитана Ривьера, который ожидалъ въ своемъ уединенномъ убѣ-жищѣ сигнала отъ своихъ товарищей къ рѣшительнымъ дѣй-ствіямъ.

Чтобъ занять чѣмъ-нибудь праздные часы, Ривьеръ изучалъ незнакомныя ему иностранныя языки и обдумывалъ новыя системы вооруженія солдатъ; но часто изъ его рукъ выпадали перо или книга и онъ уносился мыслями къ Терезѣ, которую, несмотря на ея измѣну, онъ не могъ провѣнчать. Только мысль, что его товарищи-филадельфы готовились къ дѣйствию, могла отвлечь его отъ этихъ мрачныхъ думъ.

Онъ зналъ, что у Филопомена происходили частыя собранія общества, и онъ получилъ приказаніе быть на-готовѣ, такъ-какъ борьба должна была скоро начаться. Съ избранія полковника Тевено въ главы общества оно получило сильный толчекъ. Те-вено полагалъ, что необходимо приступить къ развязкѣ; Фран-ція съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе истощалась, кровь ея сыновъ текла потоками, и надо было спасти Францію отъ угро-жающихъ ей еще большихъ бѣдствій.

Въ одномъ изъ послѣднихъ собраній, на которыхъ постоянно присутствовалъ Чампи, Бернаръ Тевено объявилъ заговорщикамъ, что имъ предстоитъ вскорѣ рисковать своей жизнью для осуще-ствленія дорогого имъ дѣла. Никто не выразилъ ни малѣйшаго смущенія, а Чампи съ удивительнымъ хладнокровіемъ замѣтилъ,

что можно было немедленно начать дѣйствія, такъ-какъ общество имѣло достаточно денегъ. Онъ это сказалъ съ цѣлью узнать, скоро-ли Тевено представить въ банкирскій домъ Борда и Казавона находящіяся у него фальшивые векселя.

Тевено отвѣчалъ, что онъ не тронетъ этихъ фондовъ до дня борьбы, которая теперь была только вопросомъ времени.

На другой день Тевено, узнавъ отъ Шамборо убѣжище Клода Ривьера, постучалъ въ его дверь условленнымъ образомъ.

— *Варъ!* воскликнулъ Ривьеръ, узнавъ полковника и прижимая его къ своей груди;—если вы пришли, значитъ минута дѣйствія близка.

— Да, отвѣчалъ Тевено,—мы приближаемся къ нашей цѣли; Франція готова возвратить себѣ свободу.

— Случилось что-нибудь важное?

— Нѣтъ; но наша несчастная нація истощается, платя своею кровью за честславіе своего повелителя. Она посылаетъ на вѣрную смерть своихъ сыновъ въ Испанію и на Дунай. Война пожираетъ каждый день всѣ силы и надежды нашей бѣдной страны. Въместо свободы намъ бросаютъ славу, какъ собакѣ кость. Но эта слава слишкомъ дорого стоитъ, и, несмотря на всю храбрость нашихъ товарищей по оружію, я предчувствую, въ случаѣ продленія этого царствованія, страшную катастрофу—натискъ всей Европы на Францію и кровавое возмездіе со стороны союзныхъ державъ за пораженіе, понесенное ими въ 92 году.

— Армія сильна, отвѣчалъ Ривьеръ:—наши закаленные въ бою солдаты стоятъ семнадцати-лѣтнихъ волонтеровъ революціи.

— Конечно, но что они могутъ сдѣлать противъ численности враговъ? Чѣмъ держится военное могущество Наполеона? Оно едва не лопнуло послѣ эслингской битвы, четыре мѣсяца тому назадъ. Оно подточено со всѣхъ сторонъ. Бѣдная Франція! Неужели мы своей кровью не купили права видѣть тебя спокойной, счастливой, процвѣтающей среди мира и свободы? Мы прогнали врага изъ нашей страны и, основываясь на своей независимости, просили, кромѣ побѣды, еще и свободу. Какъ-бы не такъ! насъ ведутъ насильно на убой и, наконецъ, побѣда устаетъ слѣдовать за нами. Несмотря на все геройство Нея, Сульта и Журдана, Пиренейскій полуостровъ ускользаетъ изъ нашихъ рукъ. Сультъ вытѣсненъ изъ Португаліи Велингтономъ, который идетъ

прямо на Мадридъ. При Талаверѣ мы разбиты, вальгеренская экспедиція—страшное предостереженіе Наполеону. Мунэ, котораго Наполеонъ разстрѣляетъ, какъ измѣнника, сдалъ Флессингенъ 15 августа, послѣ трехъ-дневной бомбардировки. Враги становятся смѣлыми, а мы робѣемъ. Много самыхъ страшныхъ признаковъ предсказываютъ роковое будущее. Когда Фуше послалъ къ Антверпену всю національную гвардію, жандармовъ и рекрутовъ, которыхъ онъ предложилъ, въ количествѣ 80,000, отправить на почтовыхъ,—мнѣ казалось, что я вижу ужасный сонъ. Да, бѣднѣйшій Ривьеръ, въ ту минуту я забывалъ, что англичане грозили одной Бельгіи, мнѣ казалось, что враги наводняли Францію, родную Францію, спасенную нашей кровью, и попирали ея землю копытами своихъ коней.

Черные глаза Тевено, осыпанные густыми бровями, горѣли, какъ уголья. Его пламенное, хотя дикое краснорѣчіе сильно подействовало на Клода Ривьера и возбудило въ немъ также опасеніе иноземнаго вторженія въ предѣлы Франціи. Только сознаніе неминуемой опасности для отечества могло побудить такихъ строгихъ ревнителей военной дисциплины, какъ Уде, Тевено и Ривьеръ, къ образованію заговора. Вѣрные слуги долга, они всецѣло предалися этому смѣлому предпріятію, потому что считали своимъ главнымъ долгомъ утвердить свободу во Франціи.

Объяснивъ Ривьеру, что ему оставалось недолго ждать минуты дѣйствія, Тевено распространился и о средствахъ, которыми располагало общество. Филадельфы не были богаты, но ихъ капиталы были достаточно для покупки оружія.

— Къ тому-же, прибавилъ онъ,—наша главная сила заключается въ поддержкѣ общественнаго мнѣнія. Мы неминуемо погибнемъ, если будемъ дѣйствовать отъ своего имени. Намъ убѣждаетъ въ успѣхъ невозможность, чтобъ нація могла долго выносить настоящее натянутое положеніе. Если намъ сегодня побѣдятъ, завтра возстанутъ наши послѣдователи и они или ихъ преемники освободятъ страну. Тогда вздрогнуть отъ радости наши кости въ сырой землѣ.

Потомъ разговоръ перешелъ на чисто-практическую почву, и Ривьеръ, какъ бывшій казначей общества, совѣтовалъ Тевено принять нѣкоторыя мѣры для спасенія общественной казны, причемъ упоминалъ и о векселяхъ торговаго дома Мишеля Борда и

Базарова, которые составляли главную часть общественнаго капитала.

Прощаясь съ Клодомъ, Тевено еще разъ повторилъ, что минута дѣйствія близка. То, на что покусился Мале во время похода въ Россію, Тевено хотѣлъ исполнить въ эпоху австрійской войны. По его плану, Наполеонъ, покинувъ Шенбрунъ, не долженъ былъ вступить во Францію.

— Но его побѣдоносная армія уничтожить возставшую націю, возразилъ Ривьеръ.

— Дунайская армія не будетъ стрѣлять по своимъ старымъ боевымъ товарищамъ, отвѣчалъ Тевено. — Къ тому-же, если мы и умремъ, то умремъ за свободу.

— Хотя завтра, полковникъ, сказала Ривьеръ съ пламенной энергіей.

И на этихъ словахъ они разстались.

Ривьеръ, повидимому, забывалъ все, даже Терезу, мечтая объ освобожденіи родины. Обыкновенно холодный и умѣренный, онъ входилъ въ пламенный азартъ, когда дѣло шло о филаделфахъ. Слушая его, всякій могъ-бы предположить, что онъ помышлялъ только объ отечествѣ, которому посвятилъ всю свою жизнь; но въ сущности онъ любилъ Терезу, и рана, нанесенная ему ея измѣной, далеко еще не зажила, хотя онъ никогда не произносилъ ея имени.

Старикъ Жанъ Ривьеръ, тайно посѣщавшій сына, также никогда не упоминалъ о Терезѣ, но часто громилъ проклятую политику, которой Клодъ по-прежнему всецѣло предавался.

— О чемъ ты думаешь? спрашивалъ онъ иногда съ безпокойствомъ. — Ты что-то задумчивъ.

— Я? Нисколько.

— Она, кажется, достаточно тебѣ насолила, прибавилъ Жанъ Ривьеръ, качая головою, но замѣтивъ, что сынъ хмурился, онъ спѣшилъ отвлечь его мысли отъ Терезы; — да, да, я говорю о политикѣ и боюсь, бѣдный Клодъ, что ты неисправимъ.

— Я ужъ слишкомъ старъ, чтобъ измѣниться.

— Конечно, у тебя на вискахъ сѣдина, но во всякомъ возрастѣ люди могутъ перемѣняться. Вотъ, наприѣръ, я — самый мирный человекъ, а если-бъ тебя взяли, то... Нѣтъ, это въ сущности было-бы страшною глупостью. Смерть другого не воз-

вратила-бы мнѣ тебя. Однако, я сказалъ самъ себѣ: если они разстрѣляютъ моего Клода, я убью одного изъ судей, постановившихъ смертнѣй приговоръ.

— Зачѣмъ? Они поступили-бы по совѣсти, точно такъ-же, какъ и я. У каждого своя совѣсть.

Подобные отвѣты, дышавшіе твердой рѣшимостью и мрачной грустью, не могли успокоить старика. Онъ былъ вполне убѣжденъ, что Клоду грозятъ новыя опасности, и предлагалъ ему переѣхать въ его квартиру, рассчитывая, что, въ случаѣ вторичнаго ареста Клода, онъ будетъ въ состояніи его защитить или вымолить ему прощенье. Капитанъ наотрѣзъ отказалъ; онъ не только не хотѣлъ подвергать отца опасности, но чувствовалъ какое-то таинственное влеченіе къ одиночеству, имѣвшему въ его глазахъ непонятную, полу-горькую, полу-соблазнительную прелесть.

Онъ желалъ покинуть свое уединенное убѣжище только для встрѣчи съ Агостино, который, по словамъ Тевено, по-прежнему азуратно присутствовалъ на всѣхъ собраніяхъ филладельфовъ.

„Отчего-бы мнѣ не пройти тайкомъ къ Филопомену? думалъ Клодъ,—и, дождавшись конца засѣданія, убить злодѣя, сунувъ ему прежде пистолетъ для самозащиты? Нѣтъ, это невозможно: я разомъ лишился-бы всѣхъ своихъ товарищей“.

Поэтому онъ съ твердостью спартамца заглушалъ жажду мести, утѣшаяся только мыслью, что Агостино не избѣгнетъ кроваваго расчета. Теперь надо было думать только о борьбѣ за отечество, а личныя распри могли подождать.

Къ тому-же Клодъ Ривьеръ далъ слово Солиньяку не рисковать своей безопасностью ради встрѣчи съ любовникомъ Терезы, и онъ инстинктивно рассчитывалъ на помощь въ дѣлѣ мести своего товарища по оружію. Человѣкъ, освободившій его изъ тюрьмы, конечно, найдетъ возможность уничтожить маркиза Олона. Онъ не зналъ, однако, что Солиньякъ питалъ къ Чіампи двойную ненависть и готовился ему отомстить за друга и за себя.

Дѣйствительно, красавецъ полковникъ не забывалъ о предстоявшей ему мести и однажды утромъ сказалъ Кастаре:

— Принеси мнѣ рапиры.

— Рапиры? повторилъ гусаръ съ изумленіемъ.

— Да, я хочу посмотрѣть, достаточно-ли у меня сила, чтобъ

владѣть оружіемъ. А рапиры я спрашиваю потому, что мнѣ еще не поднять нашей кавалерійской сабли.

— Рапиры! Гмъ, рапиры! повторилъ гусарь, задумчиво крутя усы и спрашивая себя мысленно, не причинитъ-ли онъ вреда полковнику, исполнивъ его требованіе.

— Ну! произнесъ Солиньякъ, возвышая голосъ.— Ты, кажется, слышалъ! Подай рапиры.

— Я, право, не знаю, долженъ-ли я...

— Какъ? Ты все думаешь о томъ, что малѣйшее движеніе...

— Конечно.

— Такъ если ты не принесешь мнѣ рапиры, я до того взбѣшусь, что пуля мгновенно коснется моего сердца. Слышишь, чортъ...

Кастаре не сталъ слушать окончанія фразы, зная, что Солиньякъ никогда не бранился иначе, какъ совершенно выйдя изъ себя, а потому, боясь вспышки, онъ поспѣшно удалился и вскорѣ принесъ рапиры.

— Хорошо, сказалъ Солиньякъ,— ставовись въ позицію.

— Я! Дратся съ вами на рапирахъ? Но вѣдь Дюжнитренъ...

— Успокойся; я не наложу на себя руки. Мы только пофехтуемъ. Я хочу знать, гожусь-ли на что-нибудь.

— Послушай, сказалъ Марціалъ съ глубокимъ чувствомъ и говоря полковнику ты,— ты довольно часто рисковалъ жизнью въ битвахъ. Зачѣмъ теперь рисковать ею изъ-за глупой забавы? Клянусь, твоему бѣдному Кастаре страшно за тебя!

— Страшно за меня! Нѣтъ, Кастаре, это не глупая забава, я хочу убѣдиться, могу-ли самъ отомстить за себя.

— Я знаю у васъ только одного врага, но это презрѣнный убійца, съ которымъ не дерутся на поединкѣ; его надо пришибить, какъ собаку.

— Становись въ позицію, повторилъ Солиньякъ.

Онъ крѣпко сжалъ рукоятку рапиры и скрестилъ лезвее съ Кастаре. Но послѣ трехъ ударовъ онъ почувствовалъ глухую боль въ лѣвомъ боку, точно кто-то сжалъ пальцами его сердце. Онъ уронилъ или, скорѣе, бросилъ рапиру и сказалъ съ улыбкой:

— Нѣтъ, я просто инвалидъ. Впрочемъ, у меня хватитъ силы спустить курокъ пистолета. Унеси, Кастаре, рапиры и никогда мнѣ ихъ не показывай.

— Вы очень страдаете?

— Нѣтъ, не беспокойся. Но это мнѣ урокъ. Надо еще подождать, я далеко не прежній человекъ!

Онъ взглянулъ въ зеркало на свое блѣдное, испитое лицо и прибавилъ со вздохомъ:

— Куда дѣлся здоровый дуракъ, котораго звали красавцемъ Солиньякомъ? Но кто-то стучить...

Онъ высунулся въ окно и увидалъ у двери павильона женщину, всю въ черномъ. Онъ вздрогнулъ; она показалась ему очень знакомой. Въ эту минуту женщина подняла голову—и Солиньякъ поблѣднѣлъ, какъ полотно. Это была Андрина.

Солиньякъ инстинктивно отскочилъ отъ окна, но черезъ минуту снова подошелъ къ нему и устремилъ на Андриину пристальный взглядъ. Въ ея гордыхъ, вызывающихъ глазахъ было столько мольбы, страха, смиренія и отчаянія, что онъ рѣзко произнесъ:

— Кастаре,пусти женщину, которая стучится.

Марціалъ былъ такъ пораженъ тономъ Солиньяка, что прежде, чѣмъ исполнить его приказаніе, вопросительно взглянулъ на него.

— Кто тамъ? спросилъ онъ.

— А тебѣ какое дѣло?

— Мнѣ какое дѣло? Точно я люблю только себя... Хотите, я вамъ скажу, кто это?

— Нѣтъ.

— Это черноокая женщина. Да, это она. Теперь мы погибли безвозвратно!

— Ты хочешь, чтобъ я самъ отворилъ ей дверь?

— Нѣтъ, я отворю. Когда человекъ хочетъ себя убить, а другой достаточно его любить, чтобы послѣдовать за нимъ въ могилу, то, конечно, послѣдній не откажется приложить руку къ самоубійству. Но посмотри на себя. Малѣйшее волненіе тебѣ смерть, а глаза твои пылаютъ, губы дрожать. Ну, что-жь, ты хочешь съ собою покончить! Да здравствуетъ смерть! вотъ и все.

Солиньякъ, дѣйствительно, находился въ сильномъ волненіи, которое онъ тщетно старался побороть, потому что воспаленіе сердечной оболочки развило въ немъ чрезвычайную чувствительность во всей лѣвой сторонѣ. Онъ молча махнулъ рукою, и Марціалъ, ворча себѣ что-то подъ носъ, пошелъ отворить дверь.

— Войдите, сказалъ онъ рѣзко, бросая вызывающій взглядъ на Андреину, которая лихорадочно дрожала всѣмъ тѣломъ, — но ни крика, ни слезъ, ни жалобъ. Слышите, безъ комедій. Полковнику воспрещено всякое волненіе, и если вы причините ему малѣйшій вредъ, я васъ раздавлю, какъ гадягу.

Андреина бросила на гусара гордый и повелительный взглядъ и прошла мимо него по лѣстницѣ, которая вела въ комнату Солиньяка.

Очутившись лицомъ къ лицу съ любимымъ человѣкомъ, Андреина не произнесла ни слова. Но взглядъ ея, казалось, просилъ помилованія. Она чувствовала, что Солиньякъ думалъ теперь о той роковой ночи, когда въ него выстрѣлилъ Агостино, а въ сущности Солиньякъ, при видѣ пурпурной розы, красовавшейся на ея груди, вспоминалъ объ ихъ первомъ свиданіи. Изъ этихъ двухъ существъ, нѣкогда любившихъ другъ друга, Андреина питала неутолимую страсть къ Солиньяку, а красавецъ полковникъ смотрѣлъ на нее, какъ на призракъ прошлаго. При первомъ взглядѣ на него Андреина была поражена блѣдностью его лица, на которомъ видѣлась еще печать смерти.

— Подлецъ Агостино! произнесла она вполголоса, съ презрѣніемъ и ненавистью.

Потомъ, собравшись съ мыслями, она сказала дрожащимъ голосомъ:

— Вы меня не прогнали. Это хорошо съ вашей стороны. Благодарю васъ, Ганри.

Въ послѣднемъ словѣ она излила всю любовь, всю обворожительную прелесть ея пламенной, страстной натуры. Она надѣялась разомъ возвратить себѣ все потерянное, и, дѣйствительно, Солиньякъ вздрогнулъ, но черезъ секунду молча махнулъ рукою, какъ-бы говоря: „Не благодарите меня, я, какъ порядочный человѣкъ, не могъ иначе поступить“.

— Выслушайте меня, продолжала Андреина; — я долго колебалась, идти-ли мнѣ сюда. Если-бы вы меня прогнали, я, кажется, сошла-бы съума. Все это время я лихорадочно жаждала васъ видѣть. Какія муки я переносила, зная, что вы рядомъ, въ домѣ графини Фаржъ, и все-же насъ раздѣляетъ бездна. Если-бы еще это была бездна, то я бросилась-бы въ нее и, несмотря на все, мы были-бы соединены. Но меня отдѣляли отъ васъ две-

ри, лакеи, приказанія. О! эта женщина причинила мнѣ страшныя страданія! какими пытками она меня подвергала, отнявъ тебя!

— Она меня спасла, сказалъ Солиньякъ рѣзко.

— Она? Чортъ возьми! Она, конечно, имѣла эту радость! А я беспомощно ломала себѣ руки и рвала на себѣ волосы. Я думала наложить на себя руки отъ отчаянія, а она спасала тебя отъ смерти! Она перевязывала тебѣ рану! О, эта рана! Сколько разъ я думала, что будь она ядовитая, я съ счастьемъ прильнула-бы къ ней устами, чтобы умереть отъ тебя и вѣстѣ съ тобой!

Слова Андреины были такъ искренны, такъ пламенны, что Солиньякъ спрашивалъ себя, не напрасно-ли онъ подозрѣвалъ итальянку.

— Зачѣмъ вы говорите о смерти? произнесъ онъ, однако, съ ироніей; — смерть угрожала только мнѣ одному, и вы хорошо знаете имя убійцы!

— Да, я знаю, отвѣчала Андреина, — и я ненавижу свое имя, потому что его носить низкій злодѣй!

Она смотрѣла прямо въ глаза Солиньяку и ея взоръ дико сверкалъ.

— Богъ свидѣтель! продолжала она, — если-бы я только подозрѣвала его преступный замыселъ, то бросилась-бы между его пистолетомъ и тобою! Но я его не знала, хотя онъ одной со мною крови! Я не знала, что изъ ненависти онъ можетъ дойти до преступленія.

— И онъ одинъ? спросилъ Солиньякъ, пристально смотря на Андреину.

— Ганри, Ганри! воскликнула она, поднимая руку, какъ-бы присягая; — клянусь жизнью, спасеніемъ своей души, всѣмъ, что мнѣ дорого на свѣтѣ, памятью моихъ родителей, я ничего не подозрѣвала, иначе злодѣй убилъ-бы меня прежде, чѣмъ дойти до тебя! А, вы мнѣ не вѣрите! Я — падшая женщина, я сообщница леди Гамильтонъ! Какъ меня называютъ? Шпіономъ! Отъ шпіона до убійцы одинъ только шагъ! Но слушай! Я сумасшедшая, я дикая, я могу быть жестокой, но я не подлая! И кого-же убить — тебя! Пусть всѣ умрутъ, только ты живи! Ты живи, потому что я тебя люблю! Ты не вѣришь и моею любовью? Скажи, скажи! Неужели можно такъ лгать?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Солиньякъ, сдерживая свое волненіе, — я вамъ вѣрю и мнѣ васъ жаль!

— Ага! Я ждала этого слова! воскликнула Андрейна съ дикимъ, судорожнымъ хохотомъ; — ты меня любилъ, а теперь сожалѣешь! Такъ, значитъ, все для меня кончено! Все кончено!

— Вы можете быть увѣрены, что тайна этого убійства никогда не будетъ открыта, произнесъ Солиньякъ; — я васъ любилъ, Андрейна, и въ память этой любви я никогда не выдамъ человѣка, покушавшагося на мою жизнь. Я самъ ему отомщу!

— Кто вамъ говоритъ о немъ? сказала Андрейна, пожмая плечами. — Развѣ я пришла сюда за тѣмъ, чтобы вымолить ему прощенье? Всякому своя судьба. Если ему суждено умереть, какъ умираютъ разбойники, то мнѣ какое дѣло! Я ничего не прошу для него. Случай сдѣлалъ его моимъ братомъ, а жизнь насъ разлучила. У меня нѣтъ семейства, у меня есть только любовь, а любовь — это ты! Выдай Агостино, если хочешь, но люби меня! Понимаешь?

— Прошедшее прошло, отвѣчалъ Солиньякъ, стараясь съ немновѣрными усиліями казаться холоднымъ, твердымъ.

— Такъ твоя любовь умерла?

Онъ ничего не отвѣчалъ.

— Совсѣмъ умерла?

Одной рукой онъ держался за сердце, которое словно хотѣло разорваться, но глаза его смотрѣли холодно, безчувственно и онъ молчалъ.

— Такъ мнѣ нечего здѣсь дѣлать, сказала Андрейна и пошла къ дверямъ, но черезъ мгновеніе возвратилась.

— Нѣтъ, это слишкомъ жестоко! воскликнула она; — ты не можешь меня отпустить безнадежной, готовой на все! Ты не знаешь, что ты для меня! Одного тебя въ жизни я любила и уважала! Ты добръ, ты благородецъ, ты храбръ! Въ сравненіи съ тобою мнѣ всѣ кажутся мелкими, низкими! Когда ты мнѣ сказалъ впервые, что меня любишь, я почувствовала, что въ моемъ сердцѣ воскресли юныя иллюзіи, дѣтская вѣра, дѣвственность души, дотолѣ забрызганная грязью! И найдя человѣка, который все это мнѣ возвратилъ, я его потеряю, я его отдамъ безъ борьбы? Нѣтъ, это невозможно! Я буду тогда не Андрейна Олона!

Въ словахъ ея слышалась теперь угроза, и дыханіе Солиньяка тревожно спиралось.

— Моя любовь смертельна, продолжала Андрина, устремляя дикій взглядъ въ пространство,—я вижу всегда передъ собою блѣдное лицо Отавіо и этотъ мертвецъ требуетъ другого мертвеца!

— Другого! воскликнулъ Ганри;—кого-же ты хочешь убить, несчастная?

— Кого? сказала она съ странной улыбкою, одинаково поражающей своей прелестью и жестокостью.—Увидишь!

Солиньякъ страшно поблѣднѣлъ; теперь уже онъ хотѣлъ продолжать разговоръ и узнать роковой планъ итальянки. Но въ эту минуту отворилась дверь и Кастаре появился на порогѣ. Онъ грубо взглянулъ на Андрина, которая молча поклонилась Солиньяку и вышла изъ комнаты.

— Что такое? спросилъ Солиньякъ.

— Ничего, отвѣчалъ Кастаре;—я подслушивалъ за дверьми и, находя, что ваша бесѣда тянется слишкомъ долго, вошелъ...

— Что-жь ты скажешь объ этой женщинѣ? Какъ она страдаетъ!

— И другихъ заставляетъ страдать. Посмотрите, вы едва держитесь на ногахъ. Сядьте и успокойтесь. Забудьте ее! Проклятое отродье! Если вы хотите знать мое мнѣніе, полковникъ, то я прямо скажу, пусть Катису мнѣ выпарапаетъ глаза, если хочетъ, что правосудіе на землѣ неравномѣрно. Необходимо учредить спеціальныя военныя суды для разстрѣлянія женщинъ. Вотъ мое мнѣніе, полковникъ, а всякій воленъ думать, что хочетъ.

(Продолженіе будетъ.)

МОЛИТВА.

(Съ итальянскаго.)

И ночь опять... И воетъ буря снова...
И мнится въ ней какой-то смыслъ иной,
Какое-то загадочное слово
Гремитъ опять изъ тучи грозовой.
И слово то по небу полуночи
Съ конца въ конецъ намъ молніи чертятъ...
Не спится мнѣ... Мечтать не стало мочи...
Товарищи мои измученные спятъ...
Свѣтильня тусклая чадить и догораетъ...
И лучъ, скользя по лицамъ молодымъ,
Въ тѣни угла чуть брежжетъ... замираетъ...
А я слѣжу мучительно за нимъ...
И каждый ликъ проникнутымъ тоскою
Мнѣ чудится, какъ-будто подъ грозой
Бъ нимъ сонъ слетѣлъ такую же грозю
И давить ихъ незримою рукой...

Да, много тутъ развратныхъ и преступныхъ,
Воровъ, убійцъ, грабителей ночныхъ,
Забывшихъ стыдъ, для свѣта недоступныхъ...
Какъ много тутъ безнравственныхъ и злыхъ!
Но братъ люби отверженнаго брата,
И не кляни погибшую сестру...
Бъ чему укѣръ? Отъ злобы и разврата
Ты вороти ихъ правдѣ и добру...
Отъ первыхъ дней отравую незримою
Питали ихъ, голодныхъ и больныхъ,—
То гордыхъ гвѣвъ, то матери любимой
Тяжелый плачь, среди проклятій злыхъ...

Униженнымъ, разбитымъ нищетою,
Задавленнымъ холопствомъ и тюрьмой,
Давно отмѣченнымъ позоромъ и враждою
Не будь хоть ты карающимъ судьей!
Какъ лепту дай имъ слово примиренья,
Прости имъ грѣхъ, невѣдущимъ, слѣпымъ.
Сотри клеймо стыда и униженья
И будь за нихъ предстателемъ святымъ...
Сойди сюда лучомъ добра и свѣта,
Прямымъ путей имъ уважи слѣды—
И словно встарь будь ангеломъ завѣта
Всѣмъ, чающимъ движенія воды.

В. И. Славянской.

П Р И В О Л Ь Е.

(КАРТИНЫ ЛЬГНЯГО ПРОМЫСЛА.)

Л Ы Т О В Ъ С Т А Н О В И Щ Ъ .

VI.

К О Н Ц А Н Ъ Т Ъ Т У М А Н У .

А мгла все гуще и гуще... Еще часъ назадъ старикъ Дрейеръ различалъ въ вышинѣ голубые отсвѣты неба, еще немного мерцались по сторонамъ скалы Кильдина, словно призраки, недвижно ставшіе въ сѣрой мглѣ. Орель пролетѣлъ мимо и онъ тогда видѣлъ, какъ въ туманѣ скользнуло что-то темное... А теперь все было охвачено мглою, все кругомъ потонуло въ ней.

Если-бы еще она клубилась, двигалась, а то нѣтъ—туманъ висѣлъ недвижно завѣсою передъ глазами старика. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше чувствовалъ онъ, какъ мгла сгущалась, накопляясь снизу вверхъ.

Точно на всю эту часть сѣвернаго поморья сошла туча и стала. Дышать даже становилось тяжело.

Старика, впрочемъ, еще поддерживала надежда, что море, лежащее за островомъ къ сѣверу, было чисто отъ тумана. Вѣтеръ оттуда; можетъ быть, онъ и разогналъ мглу. Можетъ быть, она здѣсь потому именно и гуще, что вся скопилась на небольшомъ пространствѣ.

Перепѣлъ Дрейеръ всѣ свои пѣсни, всѣ свои сказки перемолвилъ, а впередъ все двинуться не можетъ. Ноги болятъ. Старче-

ская слабость сказалась. До одури-бы дошелъ, если-бы не сигара, что давно уже жеваль онъ, ежась отъ холода...

И вспомнилось ему такое-же точно царство тумана—тамъ, еще дальше къ сѣверу, за предѣлами обитаемаго міра, на суровыхъ и крутыхъ горахъ Шпицбергена, куда не разъ захаживаль онъ въ молодости, преслѣдуя китовъ между этимъ громаднымъ полярнымъ островомъ и Яномъ-Майеномъ. Другое время, другая сила была. Кровь горячо бѣжала по жиламъ, на щекахъ играль яркій румянецъ, очи горѣли такъ, что не разъ заглядывались на нихъ норландскія дѣвушки, когда удалой китоловъ возвращался на зиму въ свою скудную хижину... Вспомнилъ онъ, какъ мгла застала ихъ въ Вардельскіодѣ, какъ три дня плутали они по кремнистымъ отбосамъ, пока не попали на берегъ. А тамъ оказалась цѣлая куча выброшеннаго моремъ плавнику. Собрали, разложили костеръ—туманъ былъ такъ густъ, что дерево шипѣло, какъ мокрое, такъ густъ, что дымъ отъ востра былъ въ немъ незамѣтенъ и самое пламя казалось тускло-багровымъ заревомъ... Хорошо тогда было! шутки звучали, гремѣли веселыя пѣсни, на зло непогодѣ; гордо и смѣло смотрѣли они впередъ... А теперь...

Ну-ко, хоть спѣть старую веселую пѣсню; если и не воротить молодости, все-же сильнѣе станешь однимъ воспоминаніемъ о ней.

Такимъ-же дребезжающимъ голосомъ запѣлъ онъ о дѣвушкѣ, что съ ранняго утра поднялась на гору и высматриваетъ оттуда трехъ графовъ, подплывающихъ по бурному морю къ ея землямъ... Запѣлъ—и скоро осѣкся. Видно туману легче разсѣяться, чѣмъ молодой силѣ вернуться въ старую, изможденную грудь!

Надъ самымъ ухомъ послышался хищный влекоть.

— Чайка, должно быть, не видно.

Клекоть повторился, но слабѣе и дальше.

— Хорошо быть птицей. Летить-себѣ въ туманъ, куда хочеть... Не сталь-бы я сидѣть здѣсь на скалѣ...

И Дрейеръ досадливо швырнулъ камень въ самую глубь тумана.

И холодно-же становилось. Сырость пронимала до костей. Дрейеръ отдохнулъ еще съ часъ.

Мѣсто было таково, что на немъ и отогрѣться по матроской привычкѣ нельзя было. Норвежцы въ холодные дни на работѣ бѣгаютъ взадъ и впередъ, пока не станетъ имъ жарко. Дрейеръ и

радъ-бы сдѣлать то-же самое, да какъ разбѣжишься? Въ туманѣ не видать: чего добраго, о скалу ударишься или въ пропасть внизъ головой слетишь. Тутъ прежде, чѣмъ шагъ сдѣлать, нужно впередъ попробовать, есть-ли земля подъ ногами...

„Лучше-бы было молодого сюда, да неопытны молодые. Совсѣмъ пропадешь съ ними“.

Какой-то странный звукъ прорѣзалъ воздухъ.

Еще и еще...

— Что такое?.. Ни кирки, ни церкви вблизи нѣтъ, а совсѣмъ какъ-будто колокола гудятъ въ воздухѣ... Колокола и есть! Ихъ тягучіе звуки...

Только это не церковный благовѣстъ: слишкомъ часты и дробны удары, да и беспорядочны къ тому-же. Точно въ набатъ бьютъ въ суматохѣ.

— Что-бы это значило?

Дрейеръ насторожился.

Съ другой стороны доносятся тоже металлическіе удары... Ясно — звуки чугунной доски подъ молотомъ. Какъ странно смѣшиваются тѣ и другіе! Что за адскій концертъ и какъ отчетливо каждый ударъ молота и каждая волна колокольнаго звона отзываются здѣсь, въ нагорномъ туманѣ! Точно каждая скала отвѣчаетъ имъ, точно мгла вздрагиваетъ подъ этими тягучими ударами...

Дрейеръ сначала думалъ, что ему такъ чудится, да только потомъ сообразилъ, въ чемъ дѣло.

Въ двухъ противоположныхъ направленихъ, но на встрѣчу одно другому, идутъ поморскія суда. То-то суеты тамъ теперь, то-то возни! Одно, должно быть, раньшина, другое — шкуна. Раньшина ползетъ съ сырою рыбою въ Архангельскъ. На ней чугунное било, въ которое хозяинъ бьетъ чугуннымъ-же кротиломъ въ минуты опасности. Другая шкуна, вѣрно, съ колоколомъ у гротъ-мачты. Должно быть, зуетъ теперь во всю мочь раскачиваетъ языкъ колокола и потѣшается звономъ, не думая о томъ, что два судна могутъ встрѣтиться въ туманѣ, „напороться“ одно на другое и ключемъ пойти ко дну тихихъ водъ кильдинской салмы. Какъ-будто въ-явь представилась Дрейеру знакомая картина: экипажъ этихъ судовъ безъ толку суетится по палубамъ, не зная, куда держать путь. Весь красный отъ сознанія близкой опасности, безъ толку тоже оретъ на нихъ одурѣвшій хозяинъ:

— Направо, черти! Говорю вамъ налѣво, дьяволы... Эко племя змѣиное... Правѣй держи, ребятушки, правѣй, милые... Лѣвѣй, голубчики!.. Навались направо, еретики! Эко нечисть поганая...

А звуки все ближе и ближе, опасность все неотразимѣе...

И вотъ суда благополучно расходятся, не потому, чтобы ими управляли хорошо, а случайно... За то и гибнуть зачастую; и слѣда не останется, только море выброситъ жалкіе обломки на пустынные берега, и десятки лѣтъ пролежать они тамъ прежде, чѣмъ кто-нибудь наткнется на нихъ...

Колокольный звонъ и звуки чугуннаго била какъ разомъ начались, такъ и кончились...

Какъ ясно звучить все въ туманѣ!.. И старику Дрейеру пришло въ голову крикнуть. Авось услышатъ товарищи... Странное дѣло, въ немъ разомъ поднялось желаніе услышать чей-нибудь человѣческій голосъ... Не свой, а чужой, сочувствующій. Прислонясь спиною къ скалѣ и сложивъ у рта ладони въ видѣ трубы, онъ заоралъ на-сколько хватило человѣческаго горла:

— Голла!..

Странно прозвучалъ его голосъ среди мертвой тишины, въ полярной пустынѣ, со всѣхъ сторонъ окутанной туманомъ.

Молчаніе... Понатужился еще разъ. Громче вышло.

— Голла!..

Опять молчаніе... Только что-то шарахнулось въ сторонѣ, такъ что мелкіе камушки покатились внизъ. Вотъ онъ даже различаетъ, какъ одинъ изъ нихъ постукиваетъ, перепрыгивая внизъ по косогору съ уступа на уступъ.

„Не въ ту сторону вѣрно!“

Онъ повернулся налѣво и опять крикнулъ.

Что это? Не показалось-ли? Не эхо-ли подхватило голосъ? Нужно повторить.

Еще громче прокатилось „голла!“ по каменнымъ пустынямъ безлюднаго острова. И вотъ гдѣ-то далеко-далеко, словно чей-то шопотъ, послышался слабый откликъ.

„Вѣрно, кто-нибудь изъ нашихъ... Должно быть, на одного меня не понадѣялись, еще послали искать...“ И усталъ позабылъ.

И Дрейеръ крикнулъ уже во всю мочь, не жалѣя груди. Отзывъ послышался какъ-будто ближе и яснѣе. Сильно обрадовался

старикъ — все-же не одинъ въ этой пустынѣ. Повторяя черезъ небольшіе промежутки времени свой окликъ, онъ пошелъ по тому направленію, откуда слышался голосъ. Идти приходилось трудно. Подъ ногами осыпалась земля, острыми гребнями подымались выступы гранита, прорѣзавшаго торфъ. Иногда нога скользила внизъ, и слава-богу, если старику удавалось удержаться за какой-нибудь камень или уцѣпиться за крѣпкую березовую сланку. Чаще — онъ скатывался, чтобы опять съ немовѣрными усиліями взобраться на отвесъ. А то прямо передъ нимъ вдругъ выдѣлится изъ тумана масса почти отвѣснаго утеса, и обходи ее опять, боясь потерять направленіе. Приходилось, такимъ образомъ, далеко уходить въ сторону, пока скала оканчивалась или на ней обазывались трещины, сквозь которыя можно было пробраться на другую сторону.

Отклики слышались ближе и яснѣе. Чей-то молодой голосъ. „Неужели говедсманъ?“

— Не можетъ быть! уже вслухъ отвѣчалъ себѣ Дрейеръ. — Говедсманъ не долженъ оставлять елы... Вѣрно кто-нибудь изъ молодыхъ воробьевъ!

И на первыхъ порахъ даже досадно стало старику. Пожалуй, молодежь тѣшиться начнетъ надъ тѣмъ, что онъ заблудился здѣсь, не нашель пути въ туманѣ. Потомъ и это досадливое чувство, похожее на сознаніе обиды, отошло. Все-таки радостно ему было при одной мысли, что онъ увидитъ человѣческое лицо, перешолвится съ кѣмъ-нибудь добрымъ словомъ.

И Дрейеръ зашагалъ еще проворнѣе, да кстати остановился.

Прямо подъ его ногами начинался провалъ. Какъ широкъ онъ, нельзя было видѣть... Дальше свѣрѣлъ туманъ... Должно быть, впрочемъ, широкъ, потому что окликъ слышался все на одномъ разстояніи на противоположной сторонѣ оврага. Должно быть, и *тотъ* тоже сталъ у края провала и точно также недоумѣваетъ, что дѣлать.

— Держи вправо! крикнулъ Дрейеръ и пошелъ по соответствующему направленію, постоянно повторяя окликъ. „Нѣтъ, это не молодой воробей кричитъ“, вслушался онъ, наконецъ, въ отзвѣы того, кто шелъ ему на встрѣчу.

Проваль, кажется, конца не имѣлъ.

Дрейеръ проклиналъ его на чемъ свѣтъ стоитъ, огибая выступы

и извилины обрыва. Также, повидимому, былъ недоволенъ и тотъ. Сюда доходило только его сдержанное ворчанье.

Наконецъ, откосы стали положе. Дрейеръ въ одномъ мѣстѣ попробовалъ-было спуститься, да сорвался и полетѣлъ внизъ. Впрочемъ, опасности не было. Проваль оказался не глубоки и все дно его было покрыто торфомъ. Только плечо ссадилъ да въ колѣнѣ была глухая боль. Перебраться на противоположную сторону оказалось дѣломъ одной минуты.

Дрейеръ бѣгомъ побѣжалъ по направленію слышаннаго имъ голоса, поддерживая рукою болѣвшее колѣно.

Побѣжалъ—и остановился какъ вкопанный, столкнувшись лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, отвѣчавшимъ ему на оклики.

Какое-то бородатое лицо вышло изъ тумана. Большая голова на крѣпкомъ, неуклюжемъ тѣлѣ.

Старикъ остолбенѣлъ. „Русскій, должно быть!“

Очевидно, что и тотъ тоже былъ изумленъ. Онъ молча осматривалъ Дрейера, засовывая руки въ карманы просторной вязаной куртки, которая носятъ наши поморы, отправляясь на судахъ въ Ледовитый океанъ.

— Норвежанинъ, должно! Ишь ихъ, чертей, носить! вслухъ догадывался онъ.

— Откуда? продолжалъ онъ по-норвежски.

— Изъ Тромзое...

— Чего-же ты здѣсь ходишь?

— А ты чего?..

— Я тутъ со шлякой... Ишь, туманомъ какъ охватило. Выплыть изъ салмы нельзя... Ходу ищущу... что кунницу здѣсь втора заперла въ норѣ!

— А я съ елой; тоже нужно изъ пролива выбраться, да выходу не видно. Пошелъ взглянуть сверху, не видать-ли свѣту.

— Ходилъ я... Свѣту не увидишь. Вездѣ одно—марь хмурится...

— А по ту сторону Бильдина?

— Пойдемъ вмѣстѣ, взглянемъ, что тамъ дѣется... Я и до рогу-то знаю... Не впервой здѣсь; по скаламъ шататься случалось.

Пошли.

Русскій шелъ впереди, указывая дорогу. Опытный поморъ, онъ увѣренно ступалъ въ туманѣ, не слушая предостереженій старика Дрейера.

— Я тутъ съ измалѣтства. Завяжи мнѣ глаза — найду путь! Ты какъ думалъ—двадцать годовъ каждое лѣто я здѣсь!.. При мнѣ еще было—пасли здѣсь лопари своихъ оленей. Соловецкое ставленье засталъ я еще. А теперь Кильдинъ нашъ обезлюдѣлъ совсѣмъ. Да и вездѣ такъ у насъ. Гдѣ что было—опустѣло!..

— Выгодно у васъ! Наши китовъ бьютъ въ русскихъ моряхъ. Фойнъ хорошия деньги выручаетъ на этомъ! Вотъ Петерсенъ, тотъ къ вамъ въ Карское море забрался... Ловкій человекъ!

— Поднялись-бы и мы, да не съ чѣмъ. Фойнъ у васъ, поди, на паровыхъ судахъ ходитъ?

— Да.

— Ну, а петерсеновскіе пароходы я самъ видалъ. Намъ за ними не угнаться. Куда!.. Ничего не подѣлаешь. Я на своей шкунѣ все по бережку долженъ плыть, а въ море выйдешь—страху натерпѣшься не малаго. А Фойну да Петерсену что буря, что штиль—все равно. Его не опружить, не остановить. Знай—себѣ паромъ пошхиваетъ да впередъ ползетъ! Онъ, поди, и для китоваго промысла орудія всѣ имѣетъ настоящія, а мы вонъ треску рваными ярусами ловимъ, да въ дыривыхъ шнякахъ на берегъ свозимъ. Оно и разница. У Фойна у твоего капиталъ, а у меня гнилая шкуна. Будь не то — развѣ мы дураки, видали тоже, разомъ-бы съумѣли деньгу нажить.

— А вонъ у насъ нордландскіе рыбаки: если одному поднять-ся не по силѣ, артель собираютъ, общія суда заводятъ.

— Милый! Пробовали и мы...—И поморъ почесалъ затылокъ.—Наша артель до первой голодовки. Соберемъ—и дѣло хорошо пойдетъ. Бывали такіе случаи. Снасти обрядимъ—первый сортъ. Только у вашей артели, коли деньги нужны, есть гдѣ взять, есть куда обратиться—дадутъ. А у насъ, коли рыбы недородъ, коли хлѣба неурожай, подать платить, семью кормить,—куда пойдешь?

— Такъ вы-бы кассы свои завели. У насъ даже по всему Финмаркену, на что ужъ квенны народъ дикій, а вездѣ, въ каждомъ фьордѣ своя касса имѣется. Ссуды выдаютъ...

— У меня грошъ, а у тебя денежка,—какая-же у насъ касса выйдетъ?.. Подняться не съ чѣмъ... Было время—хорошо жилось. Послушай, что старики рассказываютъ. Русскій, бывало, прѣдетъ въ Норвегію—дорогимъ гостемъ считаютъ его, кланяются ему въ поясъ, не знаютъ, чѣмъ его угостить. Какую онъ цѣну положить,

та и будетъ. А теперь? Мы у васъ что прикащики. Приѣдемъ и давай васъ молить, возьмите-де товаръ, а ваши купцы бахвалются. Мы-де не нуждаемся! А что не нуждаются, ежели нами живутъ!.. Вотъ вы теперь куда пробираетесь?

— На Мурманъ хотимъ...

— Поди въ колонисты, новыхъ мѣсть искать?

— Туда...

— Такъ и есть. Мало мы вамъ у васъ пожертвовали, вы и къ намъ командовать приѣхали. И вездѣ такъ. Въ Онегѣ англичане все подь свою руку забрали. Весь городъ на ихъ заводахъ работаетъ — никто пикнуть не смѣетъ. Всю Онежскую окраину обезлѣсили. По рѣкѣ теперь деревца не найдешь — заводы съѣли, а народъ все нищій, все голый народъ... Въ Архангельскомъ городѣ нѣмецъ сидитъ. И до того-ли крѣпко сидитъ этотъ нѣмецъ, что ничѣмъ его свернуть нельзя. На Печору, и туда ужъ иностранецъ забирается. По Двинѣ прежде русскіе торговали, а теперь, смотри, вплоть до Вятки уже нѣмецкіе прикащики дошли... Вотъ тутъ и подымайся. А почему? потому — мы народъ темный, а у нихъ сила, у нихъ деньги... Теперь наша волость на двѣсти верстъ раскинулась, а въ ней ни единой шеолы нѣтъ. Каково это? На все теперь кольское поморье, на всю землю лопскую одно училище и есть, въ Колѣ! Другимъ это и не видно, у другихъ и сердце не болитъ, а я подолгу живаль у васъ, у норвежанъ, въ Гамбургѣ бываль, въ Англію заглядываль. Мнѣ-то эти грѣхи наши хорошо видны... Не спрячешь ихъ!.. Куда-же вы колонистами записаться думаете?

— Смотрѣли въ Гавриловѣ, да не любо. Въ Уру-губу думаемъ, тамъ у васъ становище есть Еретика...

— Есть!.. Хорошее мѣсто...

— Лавку откроемъ. Промыселъ заведемъ, акуль бить станемъ.

— Что говорить! Съ хвостомъ вы насъ проглотите... Поди и рому распустите не мало?

— Безъ рому торговать нельзя.

— Есть въ Еретикахъ финнъ одинъ, тотъ безъ рому торгуетъ, народъ не опаиваетъ.

— Ну, недолго-жь ему выстоять при насъ. Всѣхъ покупателей у него отобьемъ.

— Эко въ васъ жадность эта свирѣпствуетъ!

— Бѣтъ тоже надо. У насъ въ Нордландѣ плюнуть нельзя, чтобы на рыбака или купца не попасть. Простору мало. Кто бѣ-денъ, тому смерть. Также и намъ стало плохо... Нынѣ вездѣ нужда, куда ни взглянешь... Въ Америку тоже поѣхали наши—жалуются. Далеко не то, что прежде...

— Тутъ, смотри, осторожнѣе. Сейчасъ провалъ долженъ быть...

Дѣйствительно, спустя немного въ туманѣ можно было различить темную черту оврага. Промышленникъ обошелъ его стороной.

— Вотъ и обрубъ скоро... Отсюда, коли туману нѣтъ, море увидишь.

Русскій вель прямо на западъ, гдѣ Кильдинъ кончается громаднымъ обрубомъ, почти отвѣснымъ, кажущимся съ моря вертикальной трапеціей. Чѣмъ ближе подходили къ морю, тѣмъ больше убѣждались они, что надежды ихъ на открытое отъ тумана мѣсто неосновательны. Туманъ не только не рѣдѣлъ, но, напротивъ, сгущался. Тутъ онъ лежалъ уже массой. Люди были насквозь мокры. Дышалось съ трудомъ. На волосахъ осаждалась постоянно вода... Лицомъ къ лицу, путники не различали другъ друга.

Подожли, наконецъ, и въ самому обрубу.

— Дальше не ходи, стой!.. Мѣсто опасное...

Взглянули въ море... Что впереди, что позади, что по сторонамъ—одно и то-же... Тѣ-же сѣрыя массы тумана, та-же недвижная марь... Слышно только, какъ море разбивается внизу о скалы.

— Ишь, бурунъ подкатилъ... Поди сажень на десять вверхъ плещеть... Ишь, брызги слышны, — словно дождь падаетъ въ воду...

Дѣйствительно, послѣ каждого ритмически-правильнаго удара буруна слышался шелестъ капель, падавшихъ въ воду... Скала словно вздрагивала... Далеко внизу едва выдѣлялись хищный клекотъ орла-рыболова и рѣдкіе, прозвительные крики чайекъ...

— Онѣ, эти чайки, подлыя. Прямо изъ буруна рыбу хватаютъ. Разобьетъ бурунъ о камень—чайка тутъ какъ тутъ, все выслѣдитъ. Въ туманѣ, и то чуетъ... Ну, навѣдался теперь?.. Надолго такая погода стала!..

— Что-жъ дѣлать?

— Или отсиживайтесь, или съ Богомъ въ путь! Коли боитесь погоды да моря нашего не знаете, сидите что тараканы въ щели...

Дрейеръ сталъ опредѣлять по компасу положеніе лодки, и со счету сбился... Никакъ не приноровишься.

— Да гдѣ вы пристали? спросилъ русскій.

— У самаго выхода, на мелководьѣ.—И Дрейеръ описалъ положеніе берега, на-сколько запомнилъ его.

— Ну, ладно, иди все прямо, смѣло иди, не бойся, мѣсто ровное. Упрешься ты прямо въ каменную гряду и поверни направо, вдоль ея. Такъ внизъ и сойдешь, до самой воды. Воду увидишь—такъ по бережку и ползи, прямо на еду свою и выйдешь... А мнѣ другой путь. Моя шкунка за тѣмъ берегомъ оставлена, въ губѣ.—И онъ махнулъ рукою нагѣво.—Ну, прощай, старикъ!..

Съ чувствомъ непобѣдимой тоски Дрейеръ вслушивался, какъ шаги новаго знакомаго пропадали вдалькѣ. Старикъ нельзя было двинуться впередъ — ноги завывли. Отлеживаться приходилось въ туманѣ...

Такъ усталый, загнанный олень ложится на каменный выгибъ скалы и, уже потерявъ сознаніе опасности, думаетъ только, какъ-бы избыть свою усталъ... Что ему за дѣло, что гдѣ-то рядомъ, въ горной долинѣ, звучитъ рогъ охотника и слышится осторожное, чуткое тягванье собакъ... Что ему за дѣло, что гдѣ-то въ ущельѣ уже щелкаютъ сухіе, подхватываемые эхомъ выстрѣлы... Ему-бы только отлежаться, только-бы отойти...

Недвижно и безмѣрно царство тумана; все гуще и выше онъ. Еще вершины кильдинскихъ скалъ выдаются, но часъ спустя и онѣ тонуть въ сѣрыхъ клубящихся тучахъ. И взгляни теперь сверху на весь Мурманъ, на все Бѣломорье—ничего не увидишь. „Океанъ потѣетъ“... Прямо надъ тобой, подъ сѣрымъ небомъ, будетъ такое-же сѣрое небо... Вверху и внизу тучи... Вверху и внизу марь расплзается...

Гдѣ-же ты, могучій полярный вѣтеръ, что-же ты молчишь? Еще недавно ты десятками разбивалъ суда о каменные твердыни невѣдомыхъ береговъ, еще недавно въ твоемъ бѣшеномъ свистѣ безслѣдно пропадали отчаянные крики захлестываемыхъ волнами жертвъ. Еще недавно ты дышалъ морозомъ, пролетая съ материковъ окоеваннаго льдами полюса къ Шпицбергену и Новой Землѣ, и стремительно кидался оттуда на обитаемые моря и берега сѣвера.

А теперь и вѣтеръ упалъ... Скоро и море успокоится...

Уляжется взводень. Сгладится и рябь... Словно въ чашѣ, будетъ недвиженъ океанъ...

Штиль въ туманѣ—что хуже этого для морехода?

Штиль въ ясную погоду—еще ничего. Далеко видѣнь океанъ. Пароходъ-ли продымитъ на горизонтѣ, тучка-ли ползетъ на небо, акула-ли плюхаеъ, вить-ли ныраеъ рядомъ съ судномъ—все видать экипажу. Ночью — небо надъ нимъ горитъ безчисленными звѣздами, яркій мѣсяцъ багровымъ заревомъ охватываетъ остеклѣвшій океанъ. Надоѣсть смотрѣть—лодки спустятъ, стануть рыбу ловить... Хоть и скучно, да все-же сносно...

А теперь?

Штиль въ туманѣ... Отъ кормы не видно носа. Снизу не видать середины мачты. Такелажъ не замѣтишь. Бортъ тогда только различишь, какъ наткнешься на балюстраду. Пойдешь по палубѣ—спотыкаешься о круги канатовъ... А океанъ—гдѣ онъ? Его не видать... Судно точно въ тучѣ плаваеъ... Слышишь только, что-то плюхнеъ около... Какое-то большое тѣло всколышетъ воду. Чуткое ухо ловить, какъ разбѣгаеъ внезапно разведенная волна, какъ она лижетъ бока корабля, и спустя минуту—снова тишина.

Это тишина могилы, мертвая, тяжелая, гнетущая.

Словно со-слѣпу бродишь туть... И тоска ростеъ на душѣ, и падаеъ мысль, какъ подстрѣленная птица, и замираеъ греза... Только ростутъ воспоминанія о далекомъ, миломъ краѣ, и еще жутче, еще невыносимѣе становитъ отъ нихъ въ этой сѣрой тучѣ, въ этомъ безпредѣльномъ царствѣ неподвижнаго тумана...

VII.

Дрейеръ находить дорогу.

Прошелъ день, настала ночь... Та-же бѣлая, полярная ночь безъ мрака и безъ свѣта.

Напрасно прошатался Дрейеръ въ туманѣ. Нигдѣ не было слышно голосовъ его товарищей. Онъ охрипъ и надорвался, выкрикивая ихъ имена. Только въ одномъ ущельѣ эхо подхватило старческой голосъ.

Молчаніе было въ отвѣтъ ему. Безлюдная пустыня не отличалась ни однимъ звукомъ.

Всходилъ онъ на горы и спускался съ нихъ, взбирался на скалы, сползалъ въ бездны—ничего живого. Сошелъ, наконецъ, къ самому морю, побрелъ по берегу. Бурунъ разбивается у ногъ его. Въ мелководьѣ онъ попадаетъ въ море и спотыкается на кучи каменныхъ глыбъ, намытыхъ приливомъ. Обогнулъ мысъ Чеврай, вошелъ въ тихую салму. Идетъ вдоль ея,—тутъ-бы, кажется, и быть елѣ. Вотъ-вотъ встрѣтитъ ее.

Безмолвіе полное. Къ землѣ ухо приложить—только глухой отголосокъ далекихъ буруновъ слышенъ и ничего болѣе.

Собралъ послѣднія силы, крикнулъ. И крикъ какой-то тихій вышелъ. Точно что-то разорвалось въ груди.

Ни звука въ отвѣтъ. Гдѣ-то только осыпается берегъ. Слышится, какъ скользятъ что-то, шурша, по откосу, скользятъ и съ глухимъ плюханьемъ падаютъ въ воду. Плескъ какой-то—должно быть, раздалась и согнулась вода. И опять тишина. Проклятая тишина, хуже бури, хуже рева валовъ и грохота грома томить она живую душу.

— Близко, должно быть! утѣшаетъ себя старикъ Дрейеръ. — Близко. Скоро найду ихъ.

А нори болятъ. Все тѣло одеревенѣло. Даже грудь дышетъ какъ-то механически. До того отуманила его ходьба по горамъ, что кажется, будто идетъ это кто-то другой, и больно кому-то другому. А онъ самъ только и чувствуетъ, какъ звенитъ въ головѣ и въ ухахъ раздается шумъ, тотъ загадочный шумъ, что рождается внутри насъ въ минуты самаго полного затишья кругомъ,—тотъ шумъ, въ которомъ, кажется, сливается и дрожаніе невидимыхъ нервовъ, и движеніе крови по тончайшимъ сосудамъ. А нужно идти, нужно. Чувствуетъ старикъ, что силы его падаютъ, что, пожалуй, запропасть придется въ этомъ царствѣ тумана. Крикнулъ-бы еще разъ, да изъ горла какое-то нечеловѣческое хрипѣнье вырывается. Слова даже не скажешь вслухъ, все саднѣетъ внутри. И мысль не шевелится. Такъ вертится какое-то представленіе въ мозгу, и оторваться отъ него нѣтъ силы. Оступился о камень—и звучитъ внутри, *неслышимо* звучитъ слово „камень, камень“. До боли надоѣдаетъ, а не прогонишь. Точно мозгъ самъ по себѣ, а человѣкъ тоже самъ по себѣ. И дѣлаетъ

мозгъ, что хочетъ, и воли нѣтъ. Вотъ, напримѣръ, съ чего-то пришло ему въ голову, что онъ умереть долженъ, и говорить онъ мысленно: „умру, умру“, и странно, что сознание это, если только это сознание, не связано ни съ чувствомъ ужаса, ни съ сожалѣніемъ, ни съ жаждою жизни, точно умирать будетъ не онъ, не старикъ Дрейеръ, что сорокъ лѣтъ по морямъ ходитъ, что теперь перебирается со скалы на скалу, а кто-то другой, совсѣмъ даже недорогой ему, незнакомый вовсе. Льетъ по лицу потъ — Дрейеръ не стираетъ его. По отмели въ водѣ идетъ — и на берегъ выйти не старается. Да что-же это будетъ, наконецъ? Онъ, пожалуй, и остановился-бы отдохнуть, да какъ ни притупила его усталъ, одно сознание живетъ въ немъ, отчетливое, ясное, — понимаетъ старикъ, и притомъ какъ-то механически понимаетъ, что остановившись онъ теперь, присядь отдохнуть — до утра пролежитъ, а пожалуй, и больше. Ноги носить перестанутъ, разомъ упадутъ силы. Теперь идетъ, какъ заведенная машина, а останови ее — и колеса больше не повернутся, и весь механизмъ замретъ. Онъ даже шелъ все быстрѣе, точно кто-нибудь другой двигалъ имъ.

Туманъ одинаковъ вездѣ. Заберется наверхъ, на скалы, пойдетъ къ самому морю, внизъ, — одно и то-же. Та-же сѣрая туча, такъ-же густа она тамъ и здѣсь.

„Тучу на себѣ несу!“ шевельнулось въ мозгу его и опять замерло.

Чу, что это? Точно кто-то плачетъ въ затишьѣ полярной ночи? Звуки только переливчаты и дробны какъ-то.

Да это ручей падаетъ со скалъ въ море! Ишь какъ струя о камень звенитъ. Должно быть, низвергаясь сверху, разбивается о выступъ голаго камня и потомъ уже цѣлымъ дождемъ брызгъ сыплется въ океанъ.

„Ручей! вода!“ И только теперь онъ понялъ, что ему давно пить хочется. И не то, чтобы самъ прозялъ, а точно кто-то посторонній сказалъ объ этомъ. Направился къ ручью. Гдѣ-то близко, а найти трудно. Ухо уловить не можетъ направленія звуковъ. Двинется впередъ — ручей точно назадъ падаетъ, назадъ пойдетъ — тутъ гдѣ-то въ сторонѣ слышится. Вотъ ужъ и близко, наконецъ, надъ самымъ ухомъ. Повель рукой — подъ брызги попалъ. А самой струи нѣтъ. Выше, должно быть. Ишь какъ, прямо въ лицо сыплются крупныя, холодныя капли. Одна за воротникъ закатилась и всю спину пронизала ощущеніемъ мертвцащаго холода.

Видно, выше подняться нужно.

Поднялся и нащелъ. Нашелся воды. Освѣжило и мысль яснѣй работаетъ.

„Отдохнуть-бы!“

„А если они близко? Да близко-ли? Должно быть, тутъ гдѣ-нибудь въ сторонѣ, около“.

Вспомнилъ, что въ карманѣ еще одна сигара осталась, сухая, кривая, толстая. Сталь жевать — языкъ и нѣбо разѣбло, а все лучше, все въ сознанію дѣйствительности возвращаетъ усталый, онѣмѣлый мозгъ. Онъ даже чувствуетъ въ себѣ силы крикнуть, да бережетъ ихъ:

„Потомъ крикну, а то, пожалуй, безъ толку, а повторить мочи не хватить“.

Поневоля молчить и идти, жуя свою сигару и поминутно отплевываясь.

Скоро! На дорогу вышелъ. Вотъ и понишь, что охватываетъ покойный заливъ той кильдинской салмы, гдѣ остановилась лодка. Здѣсь близко. Должно быть, то самое мѣсто.

Дрейеръ крикнулъ и насторожился. Молчаніе. Пустыня словно вымерла. Нѣтъ, вотъ гдѣ-то, только далеко-далеко, слышится звукъ, похожій на человѣческій голосъ. Крикнулъ еще разъ — отвѣтили скорѣе, только такъ-же глухо.

„Свой! Теперь и остановиться можно, до утра подождать!“ Если-бы онъ и захотѣлъ пойти дальше, не смогъ-бы, силъ-бы не хватило.

И старикъ, выбравъ ложбинку поматче, заснулъ какъ убитый, не слыша криковъ вдалькѣ.

А сѣрая ночь хмурится надъ сѣрымъ океаномъ.

Вѣтра все нѣтъ. Воздухъ неподвиженъ. Кругомъ не шелохнется. Часъ идетъ за часомъ, ночь не проходитъ, хотя на тучахъ уже играетъ золотистый отблескъ утра.

Гдѣ-то въ сочномъ понишь уже проснулся молодой выводокъ гагаръ. Загоготали безперые птенцы и давай расправлять нѣжный пухъ, ощупывая землю перепончатыми лапками. Солидно клохчетъ мать, медленно двигаясь впередъ. Переваливаясь со стороны на сторону, еще медленнѣй идетъ за нею выводокъ. Сопли въ воду и поплыли по тихой салмѣ прямо впередъ, зорко вглядываясь, или, лучше сказать, вслушиваясь въ воду, не плеснетъ-ли гдѣ маленькая рыба.

У самого берега виситъ цѣлымъ стадомъ въ водѣ мелкій наростъ ¹⁾, неподвижно виситъ. Жабры словно замерли, а глаза зорко смотрять вверхъ. Вотъ вдали на водѣ темнымъ пятномъ показалась гагара. Мгновенно шевельнулось стадо и уже ютится на днѣ за каменьями наростъ, суетясь въ темныхъ щеляхъ и выбоинахъ.

Просыпается жизнь. Сонно раскрыла глаза чайка, да ничего не увидѣла въ туманѣ, и опять сомкнула ихъ. Ринулся-было внизъ орель-рыболовъ, да ударился о выступъ сѣраго камня и сѣлъ на нежь, недоумѣло жмуря желтныя, хищныя очи. Гдѣ-то свистнулъ кривецъ. Загототали тупики, выходя изъ норъ.

А камни молчатъ, молчитъ недвижимое море, молчитъ сѣрый, неподвижный туманъ. Ни пѣсни, ни оклика...

Неужели и сегодня не разсѣтъ его?

И по всему простору Мурмана, если-бы теперь можно было видѣть сквозь эту мглу, замѣтили-бы вы десятки шкунъ и шнякъ, отсиживающихся или посередь моря, или въ щеляхъ каменнаго берега. Становища спать, никто даже на промыселъ не выплываетъ. Только по утрамъ выйдутъ кормщики изъ своихъ избъ, посмотреть на сѣрыя массы непроницаемой мари, похлопаютъ себя по колѣнямъ и уйдутъ опять въ душную горницу.

— Ну, что? спрашиваютъ промышленники.

— Все та-же погода. Рыбки, должно, не половить на этой недѣлкѣ. Прогнѣвили Господа.

— Опять цѣлый день на боку лежать.

— Да ужъ такъ, голубчики. Что дѣлать, ишь его какъ навалило. Несосвѣтимо. Въ три дня вѣтромъ не разгонитъ.

— Должно, къ осени.

— Гдѣ еще осени быть! До осени далеко. Ишь какъ парило вчера. А это окянъ-море потъ даетъ, что человекъ на морозѣ.

Перевалятся покрученники на другой бокъ и давай отсыпаться. Едва-едва докличется кормщикъ „уху хлебать“.

— Ишь какъ ихъ, чертей, растомило, ругаетъ онъ, тормоша за ноги громадную фигуру помора.

Похлебаютъ уши—и опять спать.

¹⁾ Наростъ—стадо только - что народившейся рыбы.

— Рыбу-бы съ палтуховъ снять, отсырѣть, робко замѣчаетъ кормщикъ осовѣвшимъ отъ сна рабочимъ.

— Ну тебя, вишь Господь для отдыха погоду посылаетъ; что-жь ты, противъ воли Его пойдешь?

Да и кормщикъ такъ только говоритъ, чтобы сказать что-нибудь. Онъ-бы первый не оставилъ своего угла на нарахъ промыслового стана ни для какой работы. Туманъ и на него подѣйствовалъ одурающе.

Только знакомые намъ финны не теряютъ времени даромъ. Выплыли на лодочкахъ въ середину внутренней Урской губы да и ловятъ рыбу на уды. И здорово клюетъ она наживку. Мелкаго палтуса да пикшувей то-и-дѣло выхватываютъ въ лодку.

Надоѣло спать покрученникамъ, къ полудню костры разложили для потѣхи. Да никто только не видитъ этого костра, кромѣ тѣхъ, кто сидитъ лицомъ къ лицу съ нимъ. Остальные только по треску дерева и шипѣнію развертывающихся въ огнѣ сучьевъ догадываются о близости костра.

Тотъ-же сонъ и на заштилѣвшихъ судахъ.

Къ вечеру сидятъ въ станахъ промышленники и сказки рассказываютъ или свои промысловыя приключенія передаютъ. Тутъ-то раздолье поморамъ, побывавшимъ на Маткѣ (Новой Землѣ). Чего-чего они только не наскажутъ внимательной аудиторіи! Иному слушателю и сдается, что вретъ рассказчикъ, да какъ его уличишь — самъ не бывалъ тамъ.

— Ты, Федька, однако, не больно того...

— Чего того?..

— Насчетъ медвѣдей этихъ... Ужъ оченно...

— Ишь ты, еретикъ-недовѣрокъ. Тебѣ говорятъ, на цапи держали ведмѣдя у самой у избы у нашей.

— Точно оно... сумнительно...

— Ишь ты, кандалацкая морда твоя, дальше Мурмана не плавалъ, а тоже форсишь. Нѣтъ, тебѣ за форсъ этотъ хвостъ-бы прижать... Смѣешь-ли ты противъ меня, ежели я пять разовъ на Матку хаживалъ, а разъ всю зиму тамъ перезимовалъ? Тоже промышленникъ! Дальше Уры-губы свѣту не видѣлъ.

Когда старикъ Дрейеръ открылъ глаза, утро, несмотря на туманъ, гремѣло тысячами голосовъ и звуковъ.

Шумѣлъ приливъ, заливая скалы и отмели Кильдина, и съ зловѣщимъ шипѣньемъ врвался въ трещины и расщелины камня... Усиливался гдѣ-то бурунъ и гранитныя твердыни дрожали отъ его яростныхъ ударовъ. Съ тихимъ свистомъ пролетать вѣтеръ въ туманѣ... Самый туманъ начиналъ уже влубиться, рѣдѣя въ высотѣ, такъ-что Дрейеру видны были голубые просвѣты неба... Пронзительно орали чайки гдѣ-то и жалобно рыдала гагара въ сочномъ понизьѣ полярнаго луга...

Слава-богу, наконецъ словно рѣдѣтъ мгла... И отыскавъ ручей, Дрейеръ наполни, заканчивая тѣмъ свою убогую трапезу...

А ноги болѣли у него сильно. Ему казалось, что онъ уже и не можетъ двинуться дальше... Да и не однѣ ноги—во всѣхъ суставахъ ломило, голова словно свинцомъ налита... А идти надо...

Быстро раздѣлся старикъ и, весь дрожа отъ холода, сталъ подъ студеную струю влюча...

Словно льдомъ обложило всего... Даже пальцы на рукахъ сгибаются съ болью отъ холода.

Кое-какъ накиннулъ на себя платье и, пользуясь небольшимъ пространствомъ ровнаго мѣста, сталъ бѣгать назадъ и впередъ. Бѣгалъ, пока не разогрѣлся, пока волосы не прилипли къ мокрому отъ пота лбу... Совсѣмъ освѣжило...

Идетъ Дрейеръ и весело ему, что своихъ увидитъ, и радостно, что разстанется онъ, наконецъ, съ этой пустыней молчаливой, съ этимъ безлюдьемъ унылымъ... Должно быть, и свои близко... Далеко по утреннику доносится пѣсня о Гансѣ-красавцѣ и его семи сыновьяхъ... Кому-же и пѣть ее, какъ не норвежцамъ? И мотивъ хорошо ему знакомъ, и слова онъ знаетъ съ дѣтства... Самъ даже подтянулъ о томъ, какъ старый, молчаливый Гансъ задумалъ жениться на молодой, красивой Христинѣ, веселой болтушкѣ изъ сосѣдняго села. Съ утра до ночи гложетъ эта мысль стараго Ганса, даже въ бессонную ночь отовсюду смотрятъ на него изъ мрака лукавые глаза дѣвушки... Да зналъ только Гансъ, что она не пойдетъ за него. И ушелъ онъ къ мудрымъ колдунамъ кветнамъ и продалъ имъ всѣхъ своихъ будущихъ дѣтей за красоту и молодость... Праздникъ въ селѣ. Пьютъ люди и радуются Рождеству. Даже въ одинокихъ землянкахъ, разбросанныхъ въ глубинѣ фьордовъ, трещитъ веселый огонекъ въ печахъ и шумною гурьбою собираются дѣти, ожидая, когда ихъ позовутъ на обильный

ужинъ. Веселятся въ селѣ. Парни съ дѣвушками пляшутъ, пѣсни поютъ съ утра до ночи; только въ семьѣ Ганса всѣ поражены изумленіемъ. То недавно старый Гансъ пропалъ безъ вѣсти, и вдругъ какой-то невѣдомый красавецъ явился, и веселѣе всѣхъ, и рѣчистѣе. На борьбу его вызвали—уложилъ на земь самыхъ крѣпкихъ, пѣсни поетъ лучше записныхъ пѣвцовъ... Свою пѣсню сложилъ о Христинѣ, и зарумянилась она, слушая молодого иностранца... Всѣ дѣвушки за нимъ гурьбой ходятъ, только не обращаетъ онъ на нихъ никакого вниманія. До поздней ночи все съ Христиной. Рано утромъ за водой идетъ она — онъ ужъ тутъ какъ тутъ... Встрѣчаетъ ее ласковой пѣсней, собираетъ ей цвѣты, чудесные, заколдованные цвѣты съ горныхъ обрывовъ, гдѣ и птица не усидитъ на кручѣ. А ему все тринь-трава!.. И парней всѣхъ зачаровалъ онъ своей веселостью... „Одного Ганса потеряли, другого нашли!“ говорятъ они, смѣясь его шуткамъ и остроумію... Гонка на елахъ была—всѣхъ опередилъ молодой Гансъ... Бѣгъ устроили—и тутъ онъ дальше всѣхъ... А кончились праздники—новое диво: гордая Христина, что ни за кого не хотѣла замужъ идти, сама пошла за Ганса, и въ первый-же годъ родила ему троихъ ребятъ... здоровыхъ мальчиковъ. А на слѣдующій годъ еще троихъ, а тамъ одного...

„Однако, не пора-ли въ путь подыматься? перервалъ свою пѣсню Дрейеръ.—Нужно только ихъ окликнуть“.

И онъ весело заоралъ во всю мочь, съывая ихъ, какъ кашевары на Лофоденахъ съываютъ промышленниковъ на трапезу.

Издали послышались такіе-же веселые оклики... И та-же пѣсня еще громче доносится къ нему...

Бодро пошелъ онъ въ путь... Туманъ видимо рѣдѣлъ; вверху заголубѣло... Внизу онъ былъ такъ-же густъ... Но достаточно и того, что вся эта масса мглы дрогнула и стала испаряться... Благо, что хоть движеніе проникло въ это неподвижное дотолѣ царство...

Да тутъ, вдоль берега, и идти легко. Все по отменямъ.

Дрейеръ шелъ ужъ съ полчаса, переключаясь со своими. Голоса становились ужъ слышны. Даже смѣхъ молодого говедсмана какъ-то донесся къ нему.

„Ишь, ишь весело! Не то, что мнѣ“... И досадливое чувство шевельнулось въ немъ.

„Молодые сороки, пожалуй, смѣяться будутъ, что мнѣ не удалось найти выхода отсюда... пусть-бы попробовали сами!“

„Ну, да все равно!“ И онъ еще бодрѣе запагалъ впередъ, чувствуя, съ какимъ наслажденіемъ напьется онъ горячаго кофе и отдохнетъ, завернувшись въ теплыя, сухія одѣяла, у костра...

Берегъ сталъ горбиться. Дрейеру пришлось идти вверхъ. Земля мелкимъ щебнемъ осыпалась подъ ногами. Камешки съ шумомъ падали въ воду. Ему слышится это дробное бултыханье.

— Веселѣй, старый Дрейеръ. Голла, товарищи!.. Ну-ка на старыхъ ногахъ своихъ пристыди юныхъ воробьевъ, что смѣются тамъ надъ тобою. Покажи имъ, каковы были нордландскіе китоловы въ прежнее время! ободрилъ себя старикъ—и вдругъ остановился на полусловѣ и замеръ...

Горбина берега шла отсюда внизъ... Дрейеръ уже ступилъ на откосъ, какъ вдругъ почувствовалъ нѣчто совершенно странное и неожиданное.

Земля подъ нимъ движется... Ноги раскатываются... Онъ упалъ грудью и вмѣстѣ съ почвою ползетъ внизъ... Сначала медленно, потомъ все быстрѣе и быстрѣе... Вотъ и земля изъ-подъ него вся разсыпалась... Онъ еще скатывается внизъ, но уже по голому камню, выступы котораго рѣжутъ ему руки и грудь...

„По крайней мѣрѣ, ноги не устанутъ!“ попробовалъ онъ еще пошутить, но вдругъ заостенѣлъ отъ ужаса. Хорошо еще, что рука успѣла ухватиться за гребень гранитной породы...

Внизу слышится зловѣщее бульканье... Камни, слѣдовательно, падаютъ въ воду. Вотъ упалъ большой—и вода расплескалась, какъ въ чашѣ... По звуку слышно, что здѣсь глубоко... Воды много... Ишь колыхается...

Инстинктивно взглянулъ онъ внизъ—только туманъ клубится... А ухо слышитъ, какъ струи ударяются въ берегъ и съ тихимъ плескомъ отбиваются назадъ... Схватился за камень другой рукой... Ноги ищутъ опоры и не находятъ ея, только болтаются въ воздухѣ...

Попробовалъ онъ подняться на рукахъ... и нечеловѣческой, полный ужаса крикъ застылъ въ воздухѣ...

Камень двинулся съ мѣста и медленно; увлекаемый внизъ тяжестью висѣвшаго на немъ человѣка, сталъ сползать...

Шлепанье чего-то тяжелаго объ воду...

Расплескалась и опять сомкнулась вода... Только громадный кругъ разбѣжался по ней... И ничего не видать въ туманѣ. Да если-бы и видно было, все равно.

Вода опять спокойна. Съ тихимъ шумомъ набѣгаютъ мелкія струйки салмы на отменный берегъ... Изрѣдка падаетъ сверху небольшой камень или кусокъ торфа, расплескивая влагу, и только... Теченіемъ принесло откуда-то водоросль и колышется она у берега... И точно не бывало старика Дрейера!... Только крики его товарищей раздаются вдалекѣ...

VIII.

Дорога въ Колу.

Норвежцы тоже слышали крики старика Дрейера.

— Что-нибудь недоброе съ нимъ случилось!

„Молодые воробьи“ кинулись на помощь вдоль берега. Говедсманъ остался съ елой. Цѣлый день привелось ему сидѣть здѣсь одному. Только поздно ночью вернулись норвежцы, хиурные, молчаливые... Туманъ началъ разсѣваться...

Они и не сказали ни слова... И безъ того все было понятно.

Сѣли къ костру и понурились...

— Однимъ меньше, а еще и до мѣста не доплыли.— И говедсманъ повернулся спиною къ огню, заворачиваясь въ одѣяло.

— Божья воля!..

— Нужно изъ Уры-губы роднымъ написать, чтобы знали.

— Какъ отправишь?

— А черезъ факторію Паллизена. Съ первымъ норвежскимъ листерботомъ...

Опять молчаніе.

— Гдѣ? коротко спросилъ говедсманъ, разомъ поворачиваясь къ матросамъ.

— Тутъ недалеко... Берегъ осыпался... Шелъ онъ, должно быть, въ гору все, думалъ, что и внизъ такъ-же полого, а гора надъ водой нависла... Прибой внизу объѣлъ почву. Висѣла надъ салмой... Онъ съ нея и оборвался. Много осыпалось оттуда щебню да торфа...

Туманъ все рѣже.

Несмотря на ночь, выдѣлились изъ сѣрой мглы темныя скалы... Берегъ смутно рисуется извилистой каймой. Еда вся видна.

Мгла какъ дымка виситъ... Вотъ она прорвалась въ двухъ или трехъ мѣстахъ и стала свертываться... Въ тучи свертывается, а тучи прямо на воду ложатся клочьями... Рано проснулся говедсманъ и другихъ сталь будить.

А туманъ уже и съ воды сбѣгаетъ, все выше и выше подымается, цѣпляясь за скалы и пропадая въ высотѣ... Чѣмъ ярче да выше подымается солнце, тѣмъ меньше остается этихъ сѣрыхъ клочьевъ. Вонъ провалъ въ матеромъ берегу видѣнь, надъ нимъ только еще курится что-то... Словно вся мгла спустилась туда...

Какъ разомъ оутало туманомъ, такъ-же разомъ и очистило все.

Берега салмы словно сомкнулись. Будто озеро покойное лежитъ проливъ... Тerasы и зубчатяя очертанія Кильдина тонко рисуются на голубомъ, безоблачномъ небѣ. Сѣрыми, мрачными массами выдѣляются изъ воды бесплодные граниты континента. Вонъ онъ, мысъ Чеврай, крутымъ горбомъ падаетъ въ воду...

— Мѣсто найдете то?

— Осыпь эту?.. Какъ не найти...

— Садись къ рулю да правь туда, Ульсенъ.

Молодой норвежець повернулъ елу. Говедсманъ и Олафъ дружно подняли весла изъ воды и яркими брызгами сбѣжала она съ нихъ, сверкая на солнцѣ бриліантами...

Спустя полчаса лодка была уже у рокового мѣста.

Берегъ здѣсь, дѣйствительно, осыпался... Красная, глинистая осыпь словно кровью была облита тамъ, гдѣ сбѣжавшій приливъ оставилъ по себѣ влажную полосу... Вверху, въ почвѣ, видны были еще круглыя впадины съ зубчатыми краями. Изъ этихъ впадинъ выпали въ салму неустоявшіе подъ давленіемъ собственной тяжести своей камни...

Вода въ салмѣ улеглась и стояла неподвижно.

Пытливо смотрѣли внизъ норвежцы. Только и видны были массы камней и рыхлыя комья земли... Больше ничего... Никакого признака, что подъ этими грудями лежитъ тѣло старика Дрейера.

— Ишь, могилу-то землей завалило...

Гдѣ-то жалобно рыдала гагара... Странно раздавались здѣсь эти пронизающіе въ душу крики...

— Въ морѣ не знаешь, когда конецъ придетъ. Старикъ-то Дрейеръ на Шпицбергенѣ бывалъ, у Гренландіи билъ витовъ; гдѣ-бы теперь на покоѣ жить, а онъ вотъ какъ... — И молодежь понурилась...

Говедсманъ прочелъ надъ этимъ мѣстомъ нѣсколько молитвъ.

— Послушай! — И юнга тихонько дернулъ Ульсена.

— Чего тебѣ, мышь?

— Дрейеръ сказывалъ, кто въ морѣ утонетъ — въ бурю плачетъ по всему океану, изъ воды встаетъ... значитъ и онъ теперь плакаться станетъ?

Молодой матросъ только украдкой отеръ глаза вмѣсто отвѣта и еще старательнѣе сталъ грести... Лодка медленно отплывала отъ этого мѣста... „А я еще тогда поссорился съ нимъ!“ шевельнулось что-то похожее на укоръ и Ульсенъ вздохнулъ, обидывая въ послѣдній разъ красные обрывы горы... Солнце уже начинало жечь безлюдную и молчаливую пустыню.

Цѣлый день плыли норвежцы, то на парусахъ, то на веслахъ. Цѣлый день говедсманъ просидѣлъ у руля, печальный и сумрачный. Тяжело хоронить товарища, еще тяжелѣе потерять его такъ, какъ они потеряли Дрейера. На первыхъ порахъ, при переселеніи въ невѣдомый край — несчастіе. Что, если и все пойдетъ такъ? Куда тогда дѣваться? Изъ Америки плохія вѣсти тоже, — видно, бѣднягамъ вездѣ северно...

Только-что вышли изъ кильдинской салмы — еду заачало. Взводень ходилъ по океану. То носъ подымался надъ кормою, то рулевой взлеталъ вмѣстѣ съ кормой вверхъ, чтобы тотчасъ-же ринуться назадъ. Вѣтеръ былъ попутный — норвежцы поставили парусъ.

Вдали, слегка подернутые фіолетовымъ блескомъ, вырѣзывались на безоблачномъ небѣ берега Кольскаго поморья. Темными тѣнями намѣчивались ущелья и бухты. Горбины берега отливались сѣрыми пятнами тамъ, гдѣ голый камень, весь изорванный трещинами и разщелинами, обрывался крутыми массами въ бѣлую кайму вспѣннаго буруна. Кильдинскія платформы остались позади; далеко на западѣ казались висящими въ небѣ граціозныя очертанія Рыбачьяго полуострова.

Говедсманъ взялъ ближе къ берегу.

Изъ общихъ фіолетовыхъ массъ начали выступать зеленныя пло-

шадки полярныхъ луговъ, серебряные блики лишайника, испещрившаго первозданныя твердыни, и золотистыя черточки песчаныхъ отмелей. Входъ въ Кольскую губу казался узкою щелью,—узкою, какъ остріе ножа, и весь былъ заставленъ вершинами ягелевыхъ горъ и зелеными ихъ скатами справа и слѣва.

— Къ вечеру, если по вѣтру, будемъ въ Колѣ? спросилъ Ульсенъ.

— Гдѣ прикажу остановиться, тамъ и будемъ, сурово отвѣтилъ говедсманъ.

— Сердить сегодня, замѣтилъ первый товарищу.

— Молчать, а то при парусѣ за весла посажу. Гребни веслами, а не языкомъ.

— Да ты на что это?..

— Старика загубили. Отчего не могъ кто-нибудь изъ молодыхъ пойти?.. Вы-же его раздосадовали, вы-же его науськали; пошелъ бѣднякъ, чтобы только достоинство свое отстоять... Ну, и остался тамъ... Кто-же виноватъ этому, какъ не вы?..

Норвежцы молчали.

— Старикъ Дрейеръ зналъ этотъ край, по-русски понималъ. Помочью былъ-бы намъ, а теперь кто насъ выручить? не вы-ли, болтливыя сороки? Кто за насъ будетъ въ Колѣ съ начальствомъ объясняться? Кто въ становищѣ съ промышленниками столкуется? Можетъ, кто-нибудь изъ васъ съумѣетъ?.. Что, молчите?.. Что скажетъ старушка, жена Дрейера?.. Кто изъ васъ утѣшитъ ее?.. Мнѣ за всѣхъ отвѣтъ придется держать. Скажутъ, я пошлалъ...

— Ну, довольно, Бродкортъ. Не вернешь его. Если суждено было старику умереть не на постели, а на днѣ океана, не людская воля могла измѣнить это. Старуха Дрейеръ проживетъ кое-какъ. Ей поможетъ община, да и наши не оставятъ ее, не бросятъ такъ, безъ толку. А старика не воскресишь, все равно, толкуй, не толкуй...

Отсюда открывался входъ въ Кольскую губу. Ела повернула туда. Гансену пришлось держать шкотъ отъ паруса, такъ-какъ вѣтеръ дулъ въ бокъ слѣва. Съ обѣихъ сторонъ входили въ губу скаты зеленыхъ горъ, еще безлѣсныхъ у океана. Заливъ то расширялся въ озера, то суживался извилистыми щелями. Въ спокойной водѣ змѣнились отраженія береговыхъ скалъ. Все было пустынно. Только изрѣдка мелькала на берегу одинокая вѣжа про-

мышленника, съ едва замѣтною черточкою шляпки около. Скоро направо сверкнулъ и тотчасъ-же опять зашелъ за горные откосы входъ въ Еватерининскую бухту, когда-то кипѣвшую жизнью и дѣятельностью громадной промысловой компаніи, поставившей на ея берегахъ многочисленныя строения, а теперь заброшенную и безлюдную. Въ этой гавани, гдѣ могли-бы зимовать и отстаиваться въ полной безопасности безчисленные флоты, только догниваютъ сваи и столбы отъ компанейскихъ построекъ, тогда какъ въ открытыхъ всѣмъ вѣтрамъ бухтахъ Рыбачьяго полуострова воздвигнуты цѣлыя факторіи, устраиваются колоніи и откѣрываются новыя промысловыя становища.

Къ югу отъ Екатерининской гавани растительность по берегамъ сдѣлалась гуще и кое-гдѣ уже поднялся лѣсокъ, чахлый и мелкій. Жидкія стрѣлки елей были обнажены на сѣверъ и только на югъ протягивали свои безпомощныя вѣтви. Нѣкоторыя совершенно зачахли. Березовая сланка кое-какъ лѣпилась по скатамъ.

— Гдѣ пристать-то въ Колѣ?

— У нашихъ. Кнюдсенъ тамъ нынче. Можно къ нему.

— А лучше долго не заживаться.

— Помогай парусу веслами!

Норвежцы взяли за весла и лодка быстрѣе пошла на югъ. Приближеніе полярнаго городка уже сказывалось. Кое-гдѣ появлялись шляпки. Тупы промышленниковъ по берегамъ стали чаще. Съ обрестныхъ варакъ порою доносились обрывки пѣсенъ. Дымъ отъ костровъ высоко тянулся кверху. Ближился вечеръ. Алые отблески зари вѣнцами ложились на западъ. Парусъ казался розовымъ.

— За чѣмъ поворотомъ и Кола будетъ.

— Навались, братцы!

Ела птицей летѣла впередъ. Юнга на носу даже пѣсню замурлыкалъ.

— Тутъ отмели есть, осторожнѣе.

— Эй, вы, норвежане, что вы въ лодѣ точно на бабьемъ подолѣ сидите, а веслами, что ложками, воду мѣшаете! задирали ихъ съ встрѣчной кольской шляпки.

— Они по-своему, воду замѣсто каши хлебаютъ, — оттого у нихъ и весла замѣсто ложекъ. Извѣстно, кашевары!.. Ишь черти нѣмые...

— Ну-ко, братцы, покажи имъ, какъ кола гребеть... Ну-ко, ребяташки, богоданные!—И шляка мигомъ исчезла изъ виду норвежцевъ.

— Не совѣмъ привѣтливая встрѣча, замѣтилъ Ольсень.

— Русскіе всегда такъ. Со смѣху бранять, а завтра друзьями будутъ.

— Въ Германіи плохо, а въ Россіи—слава-богу. Наши не жалуются.

— Ты думаешь, они обидѣтъ насъ хотѣли? Нѣтъ. И въ мысляхъ у нихъ этого не было. Такая ужъ привычка. Задери ихъ—они только отшучиваться да отсмѣиваться стануть... Такой народъ!

IX.

Кола гуляеть.

— Зашабашиди?

— До Успѣньева дня!

— Ну, и работники, по шеямъ-бы такихъ.

— Ладно... У самого-то шея крѣпка-ли?

Перебранка шла между толпою народа, собравшагося у кольскаго берега, гдѣ прямо въ мелководье утверждены балки рыбныхъ амбаровъ, и пристававшими къ деревянной платформѣ лоушкинскаго блокгауза промышленниками на трехъ шлякахъ.

— Али много насолили?

— Васъ только забыли! За вами и пріѣхали. Потрошить да солить станемъ, а потомъ въ Архангельскій свеземъ—свиньямъ на кормъ.

На шлякахъ послышался хохоть.

— Подлинно, что мурманская разбойная чернядь! огрызались береговые.

— Погоди! Дай сойти со шляки...

Лодки съ разбѣга ударились въ края платформы. Раза два ихъ подбросило вверхъ привалившею съ моря волною. Гребцовъ качнуло, и скоро борты плотно пристали къ берегу. Медленно выдѣзли загорѣлые, обвѣтренные промышленники, въ лохмотьяхъ, потому что никто на ловы и не беретъ сколько-нибудь сноснаго платья.

— Ишь глаза-то затекли! кричали за амбарами.— Поди души чертямъ пропили!

— Ваши пропивали, да чортъ не взялъ: и безъ того, говорить, наши будутъ.

Стали вытаскивать изъ шнякъ снасти, паруса, весла. Потому сельдянки вынесли на платформу, свертки каната выложили.

— Ишь потроха свои выкладываютъ...

— Ну, здорово-ли живете? подошли мурманщичи въ горожанамъ, и еще недавно перебранивавшіеся люди дружелюбно разцѣловались и пожали руки другъ другу.

— Живемъ мы ни шатко, ни валко... скучно... Васъ ждали, думали рыбы привезете.

— Мы припасли, на всѣхъ хватить. Ловы нонѣ удачливые. Рыба валомъ-валить, и крупнящая да толстящая такая.

— Рыбы столь много, что бабы тусами-бы ее начерпали.

— Не въ цѣнѣ только будетъ.

— Туманы стояли какіе. Съ Колы Соловараки ¹⁾ не видать было,

— У насъ набѣдовались тоже. Дѣло бросили, три дня въ станяхъ, что гнусь ²⁾ въ подпольѣ, сидѣли. Свѣту божьяго не видѣли.

— Всѣ цѣлы?

— Наши, коляне, цѣлы. Потому отъ себя промышляли, не отъ хозяина—никто не нудилъ. Колежма да Сума ³⁾ тоже цѣлы остались, а на хозяйскія артели втора пришла. Въ нашей губѣ трехъ шняекъ не досчитались. И парней точно смело куда. Слыхомъ не слышать! Мы ужъ и отпѣли ихъ, не видя... Должно, на корги наткнулись или въ голомя ⁴⁾ отнесло... Долго-ли до смерти! Болѣзни у насъ лихой тоже не бывало это лѣто. Богъ благословилъ.

— Ну, а бабы наши какъ?

¹⁾ Соловарака, солнечная варака—гора, на пологомъ подножьи которой, образуемъ рр. Туломой и Колой, расположень городъ: Тулома и Кола, вливаясь въ губу, отрѣзываютъ кусокъ песчаной низины, гдѣ вѣтятся жалкія постройки Колы.

²⁾ Гнусь—мыши.

³⁾ Колежма и Сума нынче выслаютъ артели самостоятельныхъ промышленниковъ, а не хозяйскихъ покрученниковъ.

⁴⁾ Голомя—открытое море.

— Бабы! Смѣховое дѣло, какъ онѣ это поморовъ свертѣли, страсть! Всѣ свои барыши у нихъ оставили ловцы. А наши-то бабы бахвалятся да форсятъ...

Разговоры шли уже на улицахъ тихаго полярнаго городка, если промежутки между кое-какъ настроенными домиками можно назвать улицами.

Дѣло близилось къ ночи.

На вершинѣ Соловараки догоралъ алый отсвѣтъ зари. Дальнія горы уходили въ синеву лѣниво подступающей ночи. Бухты между выступами холмистаго берега въ Кольскую губу темнѣли, сливались съ отвосами крутого берега и вѣстѣ съ нимъ пропадали вдаль... Съ моря повѣяло здоровымъ запахомъ водорослей... Колярѣка громче зашумѣла въ кучахъ камня, загородившаго ея устье, точно тысячи мелвихъ ручьевъ переливались тамъ съ камня на камень, сталкивались и разбѣгались опять... Самая Кола уже тонула въ сумеркахъ... Только бѣлый кубъ собора еще выдѣлялся въ сумеркахъ да кое-какіе дома у берега. Окраины городка слились съ плоскими контурами песчаныхъ отмелей и запропали... Кое-гдѣ робко мигали огоньки. На улицахъ слышались пѣсни; у Чортовой-Ламбины ¹⁾ запѣвали дѣвушки, по бережью р. Туломы парни собрались. Кто кого пересилить: дѣвки-ли къ парнямъ пойдутъ или парни къ дѣвкамъ?

На другой день по всей Колѣ гульба шла. Всѣ, у кого водка была, только Господа славословили за неожиданную прибыль. Шабунинъ открылъ свои склады, и у него въ одинъ день водки было выпито больше, чѣмъ за все лѣто. Выпили водку—базарновскій ромъ пошелъ въ дѣло. Только и дѣло, что батраки выкатывали изъ погреба анкерокъ за анкеркомъ.

— Ловцы гуляютъ у насъ!.. сообщали другъ другу коляне.

Ловцы, дѣйствительно, отводили душу за все время мурманской промысловой муки. Сначала пили уженьщики ²⁾, а потомъ и крупные хозяева пустились на то-же. Завидно стало. Не все-же про-

¹⁾ Чортова-Ламбина—небольшое, но страшно глубокое озеро въ восточномъ концѣ Колы. Говорятъ, что въ немъ нельзя купаться. „Чортъ утаскиваетъ за ноги купающихся“.

²⁾ Кольскіе промышленники до Петрова дня промышленяютъ на хозяина, а послѣ Петрова дня—на себя, съ хозяйскими снастями.

стому люду, пора и брюханамъ побахвалиться. У тѣхъ и веселье пошло совѣтъ особаго рода. Первымъ дѣломъ наняли музыканта, отставного солдатика съ гармоніей. Тотъ шелъ впереди и наигрывалъ что-то. Позади рука за руку тянулись закутившіе хозяева. Всѣ въ новыхъ норвежскихъ сюртукахъ, съ гарусными шарфами на шеѣ. Не то, что рвань рабочая! Таеъ процесія отъ одного дома къ другому тянулась. Придутъ къ Хохлову, выпьютъ, пѣсню споютъ, музыкантъ на гармоніи сыграетъ, къ Лоушкину потянутся. Отъ Лоушкина къ Шабунину, отъ Шабунина къ Филипову, — и вездѣ такая „питва“ идетъ, что остальные дивятся, во что льютъ только. Кажется, и то съ верхомъ налито, а, глядишь, дорвался до ивановскаго рома—и опять пьеть, а тамъ у Василя Базарина хересомъ подчуютъ.

Шла, шла эта процесія по городу съ музыкой—обидно стало чиновникамъ. Служилые люди встрепенулись: неужто-жь мы недостойны? По что-жь мы, что тараканы запечные, сидимъ? Глядишь—другая компанія гуськомъ по улицамъ вытянулась. Тутъ ужъ впереди скрипка оказалась. По всему городу гармоника со скрипкой перепѣваются, остальныхъ людей, кто еще трезвъ былъ, смущаютъ.

— Соблазнъ! шепчетъ про себя старикъ-мѣщанинъ и зорко оглядывается по сторонамъ, нельзя-ли чего смахнуть въ кабагъ.

А черезъ часъ таеъ, поди, никого и въ домахъ не стало. Вся Кола загуляла, вся, какъ есть, зашла. Знай только новья бутылки ¹⁾ опоражниваются. Тѣсно въ городѣ стало, на Соловараку выползли. А тамъ на вершинѣ и мѣстечко способное есть. Мелкимъ кустикомъ поросло, прохлады вволю, камешковъ безъ числа. Усталъ, сѣлъ—и вся-то даль передъ тобою, словно на ладони, виднѣется. Губа то пропадетъ за горами, то блеснетъ сизымъ озеркомъ, то серебряной щелью ляжетъ. Тулома, та такъ и свѣтится покойной ширью въ зеленыхъ вараклахъ да палевыхъ, ягелевыхъ тундрахъ. А налѣво взглянешъ—вся въ извилинахъ, какъ чешуйчатая змѣя, сверкая на солнцѣ, легла Кола-рѣка гремучая,

¹⁾ Въ Колѣ водка продается бутылками. Классическихкихъ штофовъ, полуштофовъ, косушекъ и подобныхъ тамъ нѣтъ. Тамъ, собственно говоря, и кабаковъ нѣтъ никакихъ. Водка держится въ погребахъ и продается на руки покупателю. Распивочной продажи мало. Пьютъ дома.

вся порогами перехваченная да зелеными зарослями чуть не до самой середины своей покрытая. А еще дальше назад—духъ захватить. Словно вскипѣло все да и заостенѣло въ моментъ сильнѣйшаго кипѣнія, точно буря на морѣ. Горы хребтами, отдѣльными вершинами, цѣплями, провалы, ущелья. Цѣлый хаосъ полныхъ дикой прелести пейзажей. Смотришь и не насмотришься, дышешь и не надышешься. Съ моря водорослью пахнетъ, соленой воды запахъ вѣтромъ доносить, а потянетъ съ горъ свѣжей ягелевой тундрой, елью да сосной охаживаетъ. И простору сколько хочешь. Зорокъ глазъ, такъ на сѣверѣ, пожалуй, и серебряную черту океана замѣтитъ, а на югъ до Массельскихъ горъ доберется. И чего только нѣтъ среди этого простора! Всякое синее ущелье такъ и зоветъ къ себѣ, такъ и манитъ въ свою таинственную глубь, точно тамъ и нивѣсть что отъ людского глаза хоронится. Озеро гдѣ-то въ горахъ серебряной черточкой прорѣзалось; если замѣтилъ—глазъ отъ него не отведешь. Кругомъ лѣски чудятся смолистые, чудесные лѣски. Такъ-бы и ушелъ туда, въ эти безлюдныя пустыни! Вонъ сверху котловина видна, словно провалъ какой, сырая. Въ темномъ понизьѣ вѣжа курится. Черная точка на озерѣ—тройникъ лопаря чуть двигается по самой серединѣ его. Тутъ какъ ни остро будь зрѣніе, а ничего, кромѣ точки, не размотришь въ озерѣ. А по скату самой Соловараки, тутъ-же въ чащѣ зеленой поросли, что ужъ начала кое-гдѣ заревыми тонами, желтизной подергиваться, стада кольскія пасутся. По поморскому обычаю, на дойныхъ коровахъ колокольчики висятъ. Звонъ чистый, уху пріятный, въ высъ сюда доходить. Звякнетъ, такъ словно лучъ блеснетъ. Такъ и пахнетъ на душу дѣтскою радостью. Вѣкъ-бы его слушалъ—не наслушался. А тутъ-же назойливо грохотъ пороговъ несется. Вонъ по морю вѣтеръ потянулъ, словно пылъ по водѣ погналъ, мелкая рябь расходится. Упалъ вѣтеръ—и снова, какъ чистое зеркало, отражаетъ губа каждый выступъ, каждый вряжъ, каждую горбину окрестныхъ варакъ. А Кола сама отсюда, съ Соловараки,—точно горошкомъ мѣсто посыпано. Домовъ не видать, такъ что-то въ кучку одну сбилось вокругъ бѣлаго собора. Шняки по губѣ точно мухи ползутъ, а взглядишься попристальнѣй—смотришь, и людей различишь, и мушинныя лапы веслами окажутся. Вонъ на вершину далекой горы, что вся на голубомъ фонѣ неба обрисовалась каждой своей извилиной, олень забрелъ и на море

заглядѣлся, а отсюда, съ Соловараки, и на него заглядѣться не-
мудрено—такъ тонокъ абрисъ его граціозной фигуры. По дорогѣ за
Колой красное пятно движется—лопка въ красной юпѣ кумачной идетъ.

Даже пьяные, и тѣ заглядывались на широкія, полныя красоты
дали. И хмѣль изъ головы вышибало.

— Красота наша Кола!

— Что говорить! Такого мѣста по свѣту не сыщешь, востор-
гались вольскіе патриоты.

— Ишь она какая... точно дѣвушка въ праздникѣ.

— По всей Норвегѣ изойди, много городовъ есть, и строеніемъ
лучше, и богаче, а красы такой не будетъ.

Какъ ни трудно было, а на Соловараку по крутымъ спускамъ
и ромъ, и водку доставили.

Пьянство пошло безшабашное, беспросынное. Кто стоитъ еще на
ногахъ—пѣть, кто упалъ—все равно, въ кусты, чудесно! Спи,
пока спится.

А тамъ, смотришь, и стычка вышла. Хозяева закуражились.
„Мы-ста уженьщикамъ замѣсто благодарѣтелей, потому хлѣбъ даемъ,
снать одолжаемъ,—должны они это чувствовать!“ А уженьщики
тоже бахвалятся. „Мы-де на хозяина до Петрова дня работаемъ,
прибыль ему хорошую приносимъ“. Куражились, куражились, а
туть, смотришь, и хмѣль въ голову ударилъ.

Шла компанія ловецкая, уженьщики съ своей гармоникой впе-
реди, — на-встрѣчу имъ хозяева со скрипкой... Тропка узенькая,
не разойтись. Стали хозяева, дороги не даютъ. Уженьщики тоже
стали. Смѣшками сначала пошло.

— Ну, вы, чернядь, давай дорогу...

— Эй вы, пузатые бары... не пройти вамъ по пути этому...
Ишь, сквозь кусты тѣсно, и брюха вамъ не продрать.

— Молчи!.. А то, знаешь, своротимъ: стоять только намъ кличь
пустить по вѣтру—на четыре стороны разсыплетесь.

Перебранка, несмотря на возбужденное состояніе ихъ, шла какъ-
то добродушно; хозяева подталкивали рабочихъ, тѣ, смѣясь, отпи-
хивали ихъ отъ себя.

— Ой, вы, вамъ-бы съ бабами полы пахать ¹⁾—самое настоя-
щее дѣло...

¹⁾ Полю пахать—месты.

„Дѣло“, № 10.

— Тагъ-ли?.. Какъ-бы боковъ вамъ не изломать заразомъ!

— Сей годъ еще не изломаете, а напредки свои бока приносите—обколотимъ, что рыба вяленая будутъ.

Толчки учащались, перебранка становилась задорнѣе, хотя и не теряла своего смѣшливаго оттѣнка.

— Пусти меня, пусти-ка, Федосѣичъ. Я имъ покажу, гдѣ настоящее кротило дѣйствуетъ ¹⁾.

И толстый, рослый, сутуловатый коляникъ, изъ хозяйской партіи, прорвался впередъ и пошелъ косить уженъщиковъ. Только затылки затрещали у тѣхъ. А у богатыря только еще рука раззудилась. Знай-себѣ помахиваетъ, глаза жмура да скрипя зубами.

— Ишь нашло на него!

— Не въ себѣ, извѣстно!

— Что акула промежъ мелкой рыбины!

Люди валились направо и налево подъ ударами „кротила“,— иначе нельзя было и назвать этотъ богатырскій кулакъ.

— Да онъ, братцы, въ сурьезъ!

— Неладно. Выручай, товарищи!

— Ну-кося, ребятушки...

— Зайцева позвать...

— Зайцевъ!.. Алешка! Гдѣ-же онъ?..

— Братцы, зови Зайцева. Тапши его сюда за шиворотъ...

Скажи—обижаютъ... Ишь Леухинъ сорвался, что съ цѣпи.

Побѣжали за Зайцевымъ.

А тотъ въ это время сидѣлъ-себѣ на обрывѣ и знать ничего не хотѣлъ. Рядомъ съ нимъ была его зазнобушка, бойкая кольская дѣвушка. Передъ нимъ губа широкая, прямо въ лицо ему вѣтеръ свѣжій дуетъ. Чудесно въ прохладѣ этой...

— Алешка, ты что сидишь?

— Я тутотка съ Пелагеей зашабашиль...

— Нашихъ бьютъ!

— А пусть бьютъ... Мнѣ чего, меня не трогаютъ. Нѣтъ, ты присядь-во, посмотри, губа-то наша, кормилица...

— Ну тебя къ дьяволу... Леухинъ ломить уженъщиковъ, что медвѣдь.

¹⁾ Кротило—родъ молота, которымъ оглушаютъ акулу по темани.

— Леухинъ? оживился Зайцевъ и разомъ всталъ на ноги.— Съ Леухинымъ давно намъ сѣѣниться слѣдуетъ. Кто кого, кому изъ насъ первымъ быть.

— Подъ, Алеша, выручи нашихъ.

— Только мы съ нимъ въ правилѣ... по закону. Поди разуми его, что Алеша Зайцевъ моль ему изъ шерсти выбить похваляется.

— А ты-бы разомъ, паодурь, невзначай.

— Непригоже такъ честному уженъцику. Поди, ладно.

— Ей-богу, Алеша, способнѣе такъ-то, съ разлету.

— Да развѣ у насъ драка? Мы силою мѣряться станемъ. Кому изъ насъ первымъ быть, ему или мнѣ. Нѣшто мы травить другъ друга станемъ, — оборони Боже... А мы такъ, какъ намъ Богъ на душу положить. Съ крестомъ начнемъ. Только-бы... нѣтъ-ли рому норвежскаго заправскаго, — весла смазать?

Поднесли ему рому; выпилъ стаканъ и пошелъ на побоище, медленно, истово, степенно.

— Алешка идетъ, братцы... Алешку ведутъ...

Составился кругъ.

— Гдѣ онъ, вашъ Зайцевъ? Подавайте его! оралъ Леухинъ, отрывая воротъ отъ рубахи.— Эстолько и есть богатырей у васъ? Подавай ихъ больше, авось свинья не съѣстъ, авось я его уложу на мать-сыру-землю...

— Да ты, Иванъ Федоровичъ, не бахвалься... Чего ты... успокойся...

— Мы съ тобой, Иванъ Федоровичъ, по всей правилѣ станемъ, зла у насъ супротивнаго нѣтъ. Ни я тебѣ, ни ты мнѣ ничего не сдѣлали...

— Толкуй, пой сироту... Выходи-ка во-чисто-поле...

Сбросилъ съ себя пальто ¹⁾ Алешка и схватился съ Леухинымъ.

Схватились они подмышки и точно два столба уперлись въ землю. Точно они и не хотятъ свалить другъ друга, а такъ, обнялись и стоятъ, только лица багровѣютъ, глаза кровью налива-

¹⁾ Колане кандалакшскіе, а также жители другихъ поморскихъ селъ, въ праздники одѣваются въ нѣмецкое платье, которое заказываютъ въ норвежскихъ городахъ Вардо и Вадсе.

ются да въ мускулахъ сильныхъ рукъ дрожь какая-то проходить... На лбу у обоихъ посинѣли и вздулись жилы, крупныя капли пота выступили на шеѣ...

— Ну-ка, Алеша, хлобысни его!.. Другъ, Алеша, вгони ему копь въ бокъ... Упрись, небойсь не лопнешь. Что и за конь, коли не везеть...

— Иванъ Федоровъ, покажи ему... Ну-ко... вольготнѣе, чтобъ ему мягко спать было... Да запеленан его! подбодряли каждого бойца свои.

Тѣ только молчали. Жили на лбу, казалось, лопнуть. У Ивана Федорова даже хрипѣло что-то въ горлѣ, а у Зайцева глаза чуть вонь не выкатывались. Но ноги стояли на одномъ мѣстѣ и руки казались неподвижными...

Оживленіе въ окружающей толпѣ росло...

— Ишь заостенѣли, черти... Ломай, кто кого сможетъ...

Ободранные, спившіеся люди съ пухлыми и красными лицами и слезившимися отъ перепоя глазами задыхались отъ ожиданія. Слышалась ругань. Зрители доходили до экстаза, одного даже скорчило отъ какого-то жгучаго наслажденія.

— Что, обмякъ? спрашивалъ черезъ силу Леухинъ у Зайцева.

— Не разохся-ли ты?.. съ натугой отвѣтилъ Алешка и еще круче захватилъ его подмышки.

— Знато ломить, замѣтила сивая борода.

— Подъ мякитки забирай...

— Суходушину ему!..

— Чего суходушину! Да нѣшто это драка? Слава-богу, не на побоище собралсь. Ишь, дѣло *любовное*, силой ивряются.

А *любовное* дѣло шло своимъ порядкомъ. Вдругъ Леухина что-то подало вправо. Подались-то они оба, да чувствовалось, что Иванъ Федоровичъ не по своей волѣ склоняется. Ну, да управился человекъ, кое-какъ выпрямился. Отъ злости даже синіе круги подъ глазами легли. Видно, что кровь вся къ сердцу отхлынула. Даже лицо, за минуту багровое, поблѣднѣло все...

И зрители стали блѣднѣть. Маленькій, тщедушный паренекъ въ оборванномъ черномъ сюртукѣ съ плечъ человекъ вдвое его выше, въ засаленной фуражкѣ, блиномъ облежавшейся на кудлатой головѣ, судорожно присѣдалъ, словно его щекотали подмышками.

Глаза свертели на сморщенномъ въ кулачекъ лицѣ, сухія губы сводило въ конвульсивную улыбку.

— Никто тебя теперь не спасетъ и не помируетъ!.. похвастался-было Зайцевъ, да вдругъ почувствовалъ, что что-то его назадъ оттягиваетъ. Оказалось, что Леухинъ навалился на него всѣмъ своимъ громаднымъ тѣломъ. Этакой прорвы никто-бы не сдержалъ. Да во-время опаматовался тотъ, ногу одну отставилъ и уперся плечами въ грудь Леухину; у того даже ребра затрещали. Попробоваль-было тотъ повернуться, да куда—Зайцевъ какъ клещами держитъ его.

— Ну, и силища! слышался гулъ радостныхъ голосовъ.

— Здоровъ Зайцевъ! Благослови Боже...

— Ишь его, на Мурманъ отъѣлся!

Навалилъ и Зайцевъ, только не тяжестью, а мощью своей претъ. Плечо тагъ и отодвигаетъ назадъ Леухина, дышать ему мѣшаетъ, грудь ломитъ, а тутъ еще ладонями своими сдавилъ его. Послѣднія усилія собралъ хозяинъ и опять грудь съ грудью сталъ...

— Ты чего плечвиной ломишь? прохрипѣлъ онъ.— Чудовый!..

— Неладно?.. Нѣтъ, я тебя еще головой выпру... Ты стой...

— Мало каши ѣлъ, погоди!.. Самому дороже...

Но тутъ случилось что-то ужъ вовсе неожиданное. Леухинъ почувствовалъ какую-то боль подъ колѣнками, словно тамъ оборвались жилы отъ натуги. Ступни ослабли, ноги подались назадъ—и черезъ мгновеніе масса за минуту неподвижнаго тѣла рухнула назадъ, прямо въ песчаную ложбину. Рухнулъ съ нимъ и Зайцевъ, да разомъ поднялся и Леухина поднялъ.

— Не обезсудь, Иванъ Федоровичъ. Не серчай. Нельзя было, самъ знаешь!—И Зайцевъ, поклонясь, какъ-то смущенно уперся въ сторону.

— Молодецъ ты, Алешка! Первый мой благопріятель будешь отселя... Какъ онъ меня убѣдилъ... Ну, и лапы-же, что весла!

— Случаемъ я тебя... Вдругорядъ ты меня усадишь!.. деликатничалъ Алешка.

— Да ты мнѣ зубовъ не заговаривай, а пойдѣмъ мы съ тобой выпить.

Выпили рому, обнялись и поцѣловались... И злости никакой...

Тавъ драка и разрѣшилась единоборствомъ.

А солнце уже закатывалось... Даль Кольской губы горѣла ровнымъ алымъ пламенемъ, словно между этими варавами не вода стояла, а разливался огонь. Всѣ серебряныя черточки далекихъ озеръ легли пурпурными отсвѣтами... Розовое сіяніе захватило вершины, а ущелья и понизья уже уходили изъ глазъ въ синюю темь, все выше и выше всползавшую по кручамъ и косогорамъ. Золотою битью ложилась Кола-рѣка. За свѣтомъ оставшаяся Тулома разомъ сизою стала... На розовомъ фонѣ заката вырѣзывались крутыя линіи горъ и темныя силуэты ихъ уже сливались всѣми своими горбинами и выступами въ однѣ туманныя массы.

Колу внизу уже и не видать было, ушла, въ ночную синь схоронилась.

А народъ еще только разгуливался... Много счастливыхъ паръ ушло коротать теплую ночь въ мелкій березнякъ, по скатамъ Соловараки... Приваливали на гору новыя партіи ловцовъ, опоздавшихъ къ празднику въ Колу изъ дальнихъ становищъ Рыбачьяго полуострова.

В. И. Немировичъ-Данченко.

(Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ.)

НА ВОЛѢ.

Ни тучки нѣтъ на небѣ ясномъ,
Сверкаетъ солнце съ высоты,
И подъ его лобзаньемъ страстнымъ
Въ истомѣ нѣжатся цвѣты.

Свѣтло, тепло, легко, отрадно,—
Невольно все ласкаетъ взоръ:
И этотъ лѣсъ густой, нарядный,
И луговыхъ ковровъ узоръ...

Вопь за зеленой, ровной степью
Бѣлѣтъ парусъ на рѣкѣ.
И безконечно-длинной цѣпью
Синѣютъ горы вдалекѣ.

Озера, золотомъ сверкая,
Спокойно дремлютъ, въ нихъ камышь
Шуршитъ слегка... Кругомъ такая
Успокоительная тишь...

Высоко жаворонокъ вьется
Съ веселой пѣсней къ небесамъ,
И сколько дивныхъ звуковъ летятъ
По нивамъ, рощамъ и лѣсамъ!

Вдыхая жадно грудью полной
Полей цвѣтущихъ аромать,
Стоишь задумчивый, безмолвный,
Какъ-будто силой чаръ объять.

И счастливъ ты хоть на мгновенье...
И отдыхая тутъ, въ глуши,
Ты плешь привѣтъ, благословенье
Природѣ чудной отъ души!

Все въ ней тебѣ какъ-будто ново,
Ты ловишь смыслъ ея рѣчей,—
О чемъ лепечеть боръ сосновый,
Про что журчитъ живой ручей...

Тѣ рѣчи за сердце хватають,—
Ты разгадай, ты поняль ихъ...
И мысли дальше улетаютъ
Отъ всякихъ дразгъ, тревогъ мірскихъ...

Ты свѣжъ и бодръ, отъ упоенья
Течеть быстрѣе въ жилахъ кровь,
Съ души спадаетъ гнетъ сомнѣнья—
И вѣришь ты, и любишь вновь!..

Петръ Выковъ.

СТАРЫЯ ГНѢЗДА.

РОМАНЪ.

I.

Яркій лѣтній день смѣнился бѣловато-сѣрыми сумерками; на соборной колокольнѣ города Чистополя пробило девять.

Въ Чистопольѣ ложились спать рано и въ немъ уже царствовала тишина. Особенно томительною и мертвящею дѣлалась она въ той части города, гдѣ проходили Старая и Новая Господскія улицы. Эти улицы находились на краю города и тѣсно примыкали одна къ другой. Онѣ были застроены большею частью деревянными домами подгородныхъ помѣщиковъ. Дома были окружены садами и множествомъ пристроекъ: сараевъ, конюшенъ, кухонь, погребовъ и флигелей. Все это воздвигалось въ годы крѣпостного права, по мѣрѣ увеличенія той или другой помѣщичьей семьи. Постройки раскинулись и расползлись въ ширину и въ длину, такъ какъ строителямъ вовсе не нужно было заботиться о сбереженіи мѣста и вытягивать строения въ вышину для устройства возможно большаго числа квартиръ на возможно меньшемъ количествѣ земли. Почти всѣ дома были выкрашены сѣрою краскою и отличались другъ отъ друга главнымъ образомъ цвѣтомъ ставней, числомъ оконъ, количествомъ и формою неуклюжихъ балконовъ и безвкусныхъ столбовъ, носившихъ названіе колоннъ. Сквозь окна домовъ было видно, что комнаты въ каждомъ домѣ убраны крайне однообразно, что всѣ онѣ сообщаются одна съ другой, и это ясно

говорило объ отсутствіи въ домахъ постороннихъ жильцовъ. Въ обѣихъ улицахъ почти не было магазиновъ и лавокъ, такъ-какъ все необходимое, всѣ жизненные припасы получались прежде обитателями этихъ домовъ большею частью не изъ города и съ избыткомъ наполняли ихъ многочисленные амбары и кладовыя. Чѣмъ меньше магазиновъ было въ этихъ улицахъ, тѣмъ ярче бросались въ глаза въ Старой Господской улицѣ черная вывѣска съ надписью: „Гробовой вѣчнаго цеха мастеръ Петръ Сизоперовъ“, а въ Новой Господской улицѣ синяя вывѣска портного Колбоносова „съ города Парижа“ и совсѣмъ потемнѣвшая и заржавѣвшая желѣзная доска съ вытертыми словами. На этой доскѣ чья-то досушая и неумѣлая рука вывела мѣломъ кривую и косую надпись: „кабакъ“. „Кабакъ“ находился на самомъ краю улицы и имъ начиналось ея сліяніе съ Соборною площадью и Семинарскимъ переулкомъ, къ которымъ уже примыкали Торговая и Дворянская улицы, Ряды и Базарная площадь, присутственные мѣста и Мастерская слободка, извѣстная въ Чистопольѣ подъ именемъ „Зарѣченскаго притона“, — однимъ словомъ, всѣ остальные части города, гдѣ, какъ въ муравейникѣ, втеченіи дня сновать и толкаться, божился и переругивался, работалъ и надувалъ ближнихъ собиравшійся въ одну пеструю массу городской и деревенскій людъ.

Въ Старой Господской улицѣ, особенно въ послѣднее время, послѣ освобожденія крестьянъ, когда большая часть помѣщиковъ устремилась въ большіе центры общественной жизни, ища занятій и мѣсть, царствовало все большее и большее запустѣніе. Большинство домовъ по цѣлымъ мѣсяцамъ стояло съ затворенными наглухо ставнями, говоря о необитаемости домовъ; въ домахъ-же, гдѣ ставни не были закрыты, движеніе замѣчалось почти исключительно въ надворныхъ строеніяхъ, въ конюшняхъ, въ кухняхъ, въ прачечныхъ, — однимъ словомъ, въ „людскихъ“, гдѣ еще доживали свой вѣкъ неполучившіе земли и негодные для какой-бы то ни было новой службы дворовые. Здѣсь кипѣла еще по-прежнему жизнь, широко раскрывались глотки, разстегивались языки, слышалось вѣрное русское слово — тамъ-же, въ этомъ старомъ гнѣздѣ, томился какой-нибудь старикъ-подагрикъ со своею супругою, умирашею отъ водяной, или возилась надъ мытьемъ слезливыхъ болонокъ и надъ распутываніемъ хронической двадцатилѣтней тяж-

бы какая-нибудь старая дѣвственница или вдовица, окруженная странницами, юродивыми и ходатаями по дѣламъ. Особенно могоильно-тихо становилось въ Старой Господской улицѣ по вечерамъ въ лѣтнее время: ея разползавшіяся, приземистые дома съ широкими темными крышами и мелкими пристройками походили на какихъ-то гигантскихъ насѣдокъ, распустившихъ темныя крылья надъ стаяй уснувшихъ сѣрыхъ, бѣловатыхъ и желтыхъ цыплятъ. Густыя тѣнистыя деревья въ садахъ стояли торжественно тихо, точно охраняя миръ и затишье, или глухо шумѣли, какъ подавленная толпа недовольныхъ. Закрытые ставни, казалось, говорили: „не шумите и не будите къ жизни спящихъ“. Если-бы кто-нибудь прошелъ по улицѣ, то можно-бы было подумать, что онъ идетъ босикомъ, снявъ сапоги, чтобы не разбудить уснувшихъ въ этомъ царствѣ запустѣнья людей,—такъ неслышны дѣлались здѣсь людскіе шаги по немощеной, покрытой мелкою бѣлою пылью дорогѣ.

Во время именно такого затишья съ Соборной площади завернулъ мимо „кабака“ въ Новую Господскую улицу, а потомъ направилъ свои шаги въ Старую Господскую какой-то мододой челоуѣкъ. Трудно было опредѣлить по виду, къ какому классу общества, къ какому сословію принадлежалъ онъ. На немъ было полинялое и вытертое зеленовато-коричневое пальто, слишкомъ толстое для лѣтняго времени; изъ-за этого пальто спереди можно было разглядѣть, что на немъ надѣта пестрая ситцевая русская рубаша, подпоясанная полинялою бумажной тесьмой; его обтрепанные панталоны бурога цвѣта были засунуты въ голенища его порывѣвшихъ и стоптанныхъ высокихъ сапоговъ; на его густые и вьющіеся, падавшіе на лобъ, русые волосы, покрытые, какъ мелкой пудрой, бѣлою пылью, была надѣта низенькая, залоснившаяся клеенчатая фуражка съ потрескавшимся козырькомъ; онъ несъ въ рукѣ небольшой узелокъ и опирался на толстую сучковатую палку. На всей его одеждѣ виднѣлась пыль; его лицо и вся его фигура выражали усталость; его красиво очерченныя губы запеклись и были сухи; онъ шелъ медленно, и сразу можно было догадаться, что онъ пробирался въ эту улицу издалека. Появленіе подобной личности въ вечернюю пору на одной изъ столичныхъ улицъ непременно привлекло-бы подозрительное вниманіе бдительной полиціи или зѣвакъ-прохожихъ, такъ-какъ этого челоуѣка не трудно было счесть, судя по его одеждѣ, за карманника, за мелкаго ворышку,

и ужь, во всякомъ случаѣ, его слѣдовало признать, судя по его лицу, за человѣка голоднаго, способнаго на многіе воспрещаемые закономъ поступки. Но здѣсь не было ни полиціи, ни зѣвакъ-прохожихъ и потому онъ могъ совершенно спокойно идти впередъ, не озираясь по сторонамъ. Онъ такъ и шелъ, тихо, потупивъ голову, отдавшись, повидимому, всецѣло своимъ думамъ. Когда онъ уже поравнялся съ третьимъ домомъ Старой Господской улицы, на соборной колокольнѣ послышались мѣрные удары колокола. Онъ пріостановился и началъ считать удары.

— Еще только девять часовъ, а, кажется, все уже спать, проговорилъ онъ почти вслухъ, окинувъ глазами пустынную улицу.— Впрочемъ, это и хорошо: меньше видать, меньше бредить!.. А какъ удивятся почтенные братцы, увидѣвъ лишняго претендента на наслѣдство! Они и въ былые годы не радовались встрѣчамъ со мною, а теперь... Да, мой приходъ долженъ ихъ поразить: они, я думаю, давно привыкли считать меня мертвымъ.

Онъ снялъ фуражку, отеръ съ лица потъ довольно грязнымъ, дырявымъ платкомъ и снова побрелъ далѣе. Онъ шелъ теперь еще медленнѣе.

Душный лѣтній день хотя уже и погасъ, но зной не спадалъ и былъ томителенъ; въ воздухѣ не было и признака движенія; на деревьяхъ не шевелился ни одинъ листъ; почти во всѣхъ домахъ были закрыты ставни; на улицѣ не было ни души; бѣловато-сѣрая пыль лежала на всемъ пути толстымъ слоемъ и хранила глубокіе слѣды немногихъ копытъ и полосъ, прорѣзанныхъ колесами. Нѣкоторые слѣды были видны смутно, уже занеслись новымъ слоемъ пыли и говорили, что люди, лошади и экипажи, оставившіе ихъ, находятся теперь гдѣ-нибудь далеко-далеко—можетъ быть, такъ же далеко, какъ тотъ покойникъ или та покойница, для которой былъ насыпанъ на этой улицѣ ельничъ, еще видѣвшійся мѣстами въ этой пыли. Эти немногія, запыленные и голыя, вѣтки ельника, быть можетъ, не обратили-бы на себя вниманія усталаго путника, если-бы его нога, обутая въ прорванный сапогъ, не почувствовала боли, наступивъ случайно на острый сучекъ одной изъ этихъ вѣтокъ. Онъ невольно взглянулъ на предметъ, подвернувшійся не кстати подъ ногу, и остановился снова.

— Слѣды ея похоронъ, быть можетъ, прошепталъ онъ и вздохнулъ.— А вѣдь это было давно... прошло уже нѣсколько недѣль.

Онъ нагнулся, поднялъ вѣтку, посмотрѣлъ на нее и задумался. Казалось, онъ хотѣлъ провѣрить, дѣйствительно-ли это одна изъ тѣхъ вѣтокъ, по которымъ провозили тѣло знакомаго, близкаго или роднаго ему существа. Все это дѣлалось почти безсознательно, точно въ полуснѣ. Онъ былъ слишкомъ измученъ для того, чтобы вполнѣ владѣть своею мыслью. Можетъ быть, такъ-же безсознательно замедлялъ онъ свои шаги, такъ-же безсознательно останавливался на нѣсколько минутъ при каждомъ удобномъ случаѣ.

— И что за мертвая тишина кругомъ, говорилъ онъ. — И прежде здѣсь было мало жизни, а теперь... И то сказать: кто-же станетъ теперь жить въ Чистопольѣ изъ дворянъ-помѣщиковъ? Они бѣгутъ отсюда туда, гдѣ есть средства къ приобрѣтенію, къ наживѣ.

Слово „нажива“ заставило его горько усмѣхнуться.

— А я вотъ плетусь сюда за наживой. — Но еще достанется-ли она мнѣ? Не лишила-ли меня мать и наслѣдства? Что тогда?..

Онъ потеръ рукою лобъ.

— Но что-же я стою? очнулся онъ черезъ минуту и отбросилъ пыльную вѣтку, которую все еще вертѣлъ въ рукѣ. — Пошелъ, такъ нужно дойти до конца или вернуться назадъ безъ гроша въ карманѣ.

Бросивъ вѣтку ельника, онъ продолжалъ свой путь и даже не обратилъ вниманія, когда ему попалась подъ ногу еще одна вѣтка. Если-бы онъ попристальнѣе присмотрѣлся къ этимъ одинокимъ, еще уцѣлѣвшимъ вѣткамъ, то онъ увидаль-бы, что онѣ вели къ одному изъ самыхъ крайнихъ домовъ Старой Господской улицы, къ которому, повидимому, и пробирался онъ и въ которомъ можно было замѣтить особенное оживленіе.

II.

Этотъ домъ—сѣренькій, длинный, съ неуклюжимъ мезониномъ, съ безчисленными пристройками, балконами, терасою и подъѣздами въ садъ и во дворъ,—походилъ на большую часть сосѣднихъ домовъ. Теперь онъ представлялъ странное зрѣлище.

По двору, заросшему мѣстами травой, сновала старая прислуга въ траурныхъ платьяхъ, таская разную домашнюю рухлядь. Въ

комнатахъ мелькали лица двухъ еще молодыхъ людей. То тутъ, то тамъ издавали пронзительные и жалобные звуки „обличительные“, „секретные“ замки старинныхъ комодовъ и сундуковъ, звякали ключи и раздавались отрывистыя фразы насчетъ числа ложекъ, кусковъ холста, мотковъ нитокъ, женскаго бѣлья и тому подобныхъ вещей, наваленныхъ грудями на стульяхъ, на столахъ, на подоконникахъ и на полу.

Изъ кладовой, переваливаясь, съ одышкою тащилась непомятно толстая, съ обвисшею грудью и желтоватымъ дряблымъ лицомъ старуха въ старомодномъ чепцѣ съ черною лентою, напоминавшая своей фигурой старыхъ господскихъ ключницъ, болѣе знакомыхъ съ периной, чѣмъ съ работой. Она прижимала къ животу большой подносъ съ грудой старинныхъ, но совершенно новыхъ тарелокъ екатерининскихъ временъ, съ рѣшетчатыми краями и съ разбросанными букетами мелкихъ цвѣтовъ. На встрѣчу ей съ крыльца барскаго дома вышла худощавая, низенькая и юркая женщина лѣтъ сорока пяти, въ чернеющемъ шелковомъ платочкѣ на головѣ и черномъ-же, сильно наложенномъ и шумящемъ ситцевомъ платьѣ. Она едва сдерживала въ своихъ худыхъ и слабосильныхъ рукахъ старый лисій салопъ, куцавейку на заячьемъ выкрашенномъ подъ соболь мѣху, порывавшую бархатную кофточку, опущенную пожелтѣвшимъ горностаемъ, и мужскую шинель съ енотовымъ воротникомъ. За грудой этихъ вещей, съ трудомъ обхваченныхъ обѣими руками, трудно было разсмотрѣть маленькое и съжившееся лицо этой женщины и было только слышно, какъ она усиленно сопѣла, задыхаясь подъ непосильной ношей.

— Сестрица, а сестрица, гдѣ Вавила? крикнула она съ крыльца толстой женщиной.

— Ась? отозвалась та, приостанавливаясь посреди двора, у опрокинутой кверху дномъ кадки, и оборачиваясь правымъ ухомъ къ сестрѣ, какъ дѣлаютъ люди, глухіе на одно ухо.

— Вавила гдѣ, спрашиваю я васъ? раздалось съ крыльца. — Мѣховыя вещи выколотить надо.

Въ эту минуту въ дверяхъ конюшни показался, въ синей крапенинной безрукавкѣ, съ хомутомъ и уздечками въ рукахъ, толстый рыжебородый съ сильной просѣдью мужикъ, съ загорѣлымъ, краснымъ лицомъ и синеватымъ носомъ, напоминавшимъ о существованіи кабаковъ.

— Куда ты запропастился? Кричу—не докричусь! крикнула съ крыльца измученная женщина.

— Какъ, сбрую-то тоже въ комнаты тащить или тутъ оставить? произнесъ кучеръ, не обращая на нее вниманія и глубоко-мысленно смотря на хомутъ и уздечки.

— Брось ты ихъ, брось! Деревенщина, такъ деревенщина и есть! негодовала стоявшая на крыльцѣ женщина.—Ну, виданное-ли это дѣло, чтобы лошадиные предметы въ комнаты носили?

— Ты, питерская, все знаешь! презрительно отозвался кучеръ.— Лошадинные, а все-же господское добро.

— Да брось, тебѣ говорить! Моченьки моей нѣтъ стоять-то подъ ношею...

— Да ты чего-жь на перила вещи не сложишь?

— Тьфу, дуракъ! плюнула раздраженная женщина, сердясь на кучера, повидимому, болѣе всего за то, что онъ оказался сообразительнѣе ея.

Она сбросила свою ношу на перила и, вынувъ порывисто изъ кармана бѣлый платокъ, начала отирать обильно катившійся по ея лицу потъ.

— И какая, мать моя, эта посуда тяжелая, вздыхала между тѣмъ толстая женщина, поставивъ подносъ на кадку.—Вѣдь вотъ что—простыя тарелки, а еле протащила... И ноженьки-то мои притоптались. Я и прежде на ноги была разбита, а теперь ровно онѣ у меня деревянныя, распухли и замерли; кажется, ножемъ ихъ рѣжь, булавками въ каждую жилку воли—ничего не почувствую, а внутри, самую-то вотъ кость, такъ и грызеть, такъ и грызеть...

— Аспидъ, аспидъ, брось ты свою лошадиную амуницію! приставала къ кучеру женщина, стоявшая на крыльцѣ.—Иди шубы выколачивать... Господа ждуть!

Баять-бы въ подтвержденіе этихъ словъ, въ одно изъ надворныхъ оконъ дома высунулась чья-то голова.

— Марья, Настасья, гдѣ вы всѣ запропастились? громко произнесъ глухой бая. — Поворачивайтесь-же! Съ вами и въ годъ не соберешь и не пересмотришь всего хлама.

— Иду, иду, батюшка, испуганно схватилась за подносъ толстая женщина.—Вотъ Настасья Вавилу поджидала.

Голова опять скрылась.

— Ишь ты: хламъ, хламъ, а сколько лѣтъ коплено, сколько лѣтъ бережено да прятано, вздохнула старуха.

— Тетушка Марья Петровна, вотъ гвозди, тоже къ господамъ нести? обратился тоненькимъ голоскомъ къ толстой женщицѣ вынырнувшій откуда-то мальчуганъ, извѣстный между дворнею подъ названіемъ „Митьки-фалетора“.

Онъ какъ-то плутовато ухмылился и, повидимому, сдѣлалъ вопросъ больше отъ скуки, чтобъ подразнить тетушку Марью.

— Брысь ты, пострѣленокъ! Чего подъ ноги суешься? Видишь, посуду несу. Оборони Богъ, уроню! Знаешь, на ноги разбита я, заговорила исполошившаяся старуха, еще крѣпче прижимая къ себѣ поднось. — О, чтобъ тебя не было!.. У меня ноги разбиты, а онъ тутъ... Нѣшто я-бы была виновата? А тарелки-то новыя... Только у покойной барыни на свадьбѣ и подавали... Съ меня-бы стали взыскивать, все тише и тише ворчала старуха, взбираясь на лѣсенку крыльца.

— Экъ его извѣло-то, разсуждалъ кучеръ, оставивъ сбрую и принимаясь развѣшивать на протянутой черезъ дворъ веревкѣ шинель съ еотовымъ воротникомъ. — А вѣдь кажинное лѣто выколачивали...

— Ты вонъ и каждый день свою дурацкую бороду чешешь, а вся повылѣзла она у тебя, замѣтила все еще раздраженная Настасья. — Да ты не разсуждай, а вещи-то скорѣй развѣшивай!

На крыльцо снова вышла изъ барскихъ покоевъ старуха Марья, держа въ охапкѣ нѣсколько женскихъ сильно поношенныхъ платьевъ, спитыхъ неискусною рукою изъ старомодныхъ матерій. Тутъ были и гро-де-Туръ, и гро-гранъ-муаре, и двучиновые гласе, и крепъ-Рошель и сатень-тюргъ. Одно платье было свѣтло-зеленое съ золотымъ отливомъ, другое темно-коричневое съ крупными синими узорами, третье, черное, отличалось затѣйливымъ мелкимъ узоромъ зеленого цвѣта, извѣстнымъ между старыми служанками подъ названіемъ „неразрывнаго корешка“. Какъ-то странно выглядѣли коротенькія тальи этихъ платьевъ, длинные и острые „шнипы“, узенькіе рукава съ гладкими обшлагами и такими-же эполетами, обшитыми толстымъ кантомъ, вырѣзки ворота „сердечкомъ“ и, наконецъ, фальшивыя оборки въ аршинъ ширины, сдѣланныя изъ косой матеріи.

— Что это вы, сестрица? Зачѣмъ платья-то вытащили сюда? громко спросила Настасья, наклоняясь къ правому уху Марья.

— Вытрясти приказали, отвѣтила старуха.—А чего вытрясать-то? У магушки-барыни почитай-что годъ эти платья въ шкапу висѣли за послѣднее время. Откуда пыли-то на нихъ быть? Шкапъ тоже, сама знаешь, хорошо запирается. Замки-то когда поправляли? Въ позпрошлый годъ никакъ...

Марья, качая головой, вздыхая и охая, начала медленно перекидывать платья черезъ веревку, на которую развѣшивались и мѣховыя вещи.

— Ахъ, я старая, старая, про чай-то и забыла! Самоваръ велѣли наставить, вдругъ спохватилась она и обернулась къ Митькѣ, возившемуся отъ нечего дѣлать съ полуслѣпой, облѣзлой собакой, привязанной цѣпью къ полуразвалившейся собачьей будкѣ.— Митюшка, Митюшка!. Ахъ, пропади ты совсѣмъ, курносый! Чего ты съ Валетвой-то возишься? Такое-ли теперь время? Поди сейчасъ, наставь самоваръ!.. Ахъ, озорникъ, озорникъ оглашенный!

— Чего разлаялась, тетушка Марья Петровна? огрызнулся Митька.—У самой память отшибло, такъ другихъ и грызешь.

— Да иди ты, иди, понувала его старуха, не слыша его воркотни.—Вотъ бѣда-то! Самоваръ спросать, а самоваръ и не наставленъ. Ужъ достанется отъ Аркадія Павловича, знаю, что достанется... Память-то слаба стала, ровно туманъ каковой у меня въ головѣ. Все это бродить, бродить тамъ, а мыслей нѣтъ, мыслей нѣтъ, только шумъ каковой-то. Да и то сказать, отшибетъ тутъ память, когда этакій содомъ пойдетъ. Все жили, жили смирно, потихоньку, а тутъ съ ногъ сбились, продолжала уже сама съ собой вполголоса рассуждать Марья, въ раздумьи качая головой.

На дворѣ между тѣмъ въ затишьѣ гулко разносились удары камышевки по шубамъ и вѣщавейкамъ, то рѣдкіе и звонкіе, то заливающіеся мелкою легкою дробью; то глухіе, когда камышевка касалась лисьяго салопя, то отчетливыя, когда она была по плоской, какъ блинъ, ватной шинели. Звуки этой импровизированной музыки отдавались гдѣ-то далеко-далеко стоустымъ эхомъ, точно кто-то въ вечернемъ затишьѣ насмѣшливо передразнивалъ трудящихся людей. Долетѣли они и до одинокаго путника, направлявшагося къ этому дому, и онъ невольно прислушался къ нимъ.

— У насъ пыль изъ стараго хлама выколачиваютъ, усмѣхнул-ся онъ невеселою улыбкой.

III.

Это оживленіе стараго барскаго дома ясно говорило о намѣреніи его владѣльцевъ разстаться съ нимъ.

Смотря на эту бѣготню, слушая эти перебранки, сразу можно было сказать, что вотъ-вотъ вынесутъ изъ дома весь этотъ скарбъ, весь этотъ хламъ, выйдутъ его обитатели, затворятъ двери и ворота, прилѣпятъ надъ калиткою билетъ съ надписью: „сей домъ отдается внаймы, а также и продается“, — и все стихнетъ, стихнетъ, быть можетъ, навсегда, на-вѣки.

Кто найметъ этотъ домъ? Кто купитъ его? Помѣщики или имѣють свои собственные дома въ Чистопольѣ, или стремятся теперь „служить“ въ столицѣ; купцы и чиновники тоже имѣють здѣсь свои домишки или жмутся въ небольшихъ наемныхъ квартирахъ; лавочники, содержатели гостинницъ и кабаковъ не наймутъ этого дома, стоящаго въ пустынной Старой Господской улицѣ, едва оживляющей даже и въ зимнее время, когда въ Чистополье наѣзжаютъ нѣкоторые мѣстные помѣщики для продажи сельскихъ произведеній, для обдѣливанія разныхъ дѣлишекъ. При такомъ положеніи дѣла не можетъ быть надежды, что кто-нибудь скоро займетъ этотъ домъ. И вотъ простоятъ онъ, быть можетъ, годъ, быть можетъ, два, заносимый зимою снѣгомъ, какъ забытая, никому ненужная могила, орошаемый въ весенніе дни дождемъ, какъ слезами о тѣхъ дняхъ, когда здѣсь на-встрѣчу веснѣ раздавались веселые голоса дѣтей. Будетъ его озарять солнце, стараясь проникнуть сквозь щели ставней хотя однимъ лучемъ въ эти комнаты, гдѣ когда-то на-встрѣчу ему тянулись листья и цвѣты многочисленныхъ растеній. И долго-долго, быть можетъ, будетъ длиться это запусътнне, покуда не оборветъ вѣтеръ нѣсколькихъ поросшихъ мхомъ досокъ съ крыши, нѣсколькихъ облупившихся ставней отъ оконъ, нѣсколькихъ подгнившихъ столбиковъ отъ перилъ балкона, покуда начальство не прикажетъ „въ видахъ безопасности сломать вышеозначенное зданіе или заставить владѣльцевъ онаго привести его въ надлежащій видъ“. А можетъ быть, преж-

этого распоряженія въ одну изъ жаркихъ лѣтнихъ ночей вдругъ. начнется въ городѣ тревога, всѣ всполошатся, понесутся крики:

— Пожаръ, пожаръ! Гдѣ горитъ? Съ кого началось?

Помчатся всѣ на Старую Господскую улицу и увидятъ, какъ старый, давно забытый домъ горитъ, чтобы никогда не возродиться снова изъ пепла.

Эти мысли пришли въ голову путнику, когда онъ завидѣлъ издали родное старое гнѣздо и въ его головѣ невольно промелькнуло:

— Что-жь! Можетъ быть, такъ и должно быть, можетъ быть, это и хорошо! Пусть погибнетъ все отжившее, пусть погибнетъ оно со всѣми своими слѣдами, пусть оно не мозолитъ глаза своимъ ненужнымъ присутствіемъ и не возбуждаетъ ни злобы за его минувшія ошибки, ни боязни за возможность его возрожденія. Да часто приходится признавать за прошлымъ только одно хорошее качество, — то, что и оно, наконецъ, прошло, прошло безвозвратно!

Приближеніе гибели этого дома ясно сознавалось всѣми его обитателями. Это чувствовала прислуга: двѣ старыя, дворовыя дѣвки, толстая старуха Марья и жиденъкая Настасья, рыжебородый и вѣчно ворчливый кучеръ Вавила и курносый Митька-фалеторъ, послѣ долгихъ лѣтъ праздности и лѣни сбившіеся теперь съ ногъ и по цѣлымъ днямъ таскавшіе въ господскій залъ всѣ вещи, которыя хранились на однихъ и тѣхъ-же мѣстахъ по двадцати лѣтъ. Это чувствовалъ цѣпной песь Валетка, котораго впервые, быть можетъ, втеченіи десяти лѣтъ забывали теперь среди хлопотъ накормить, иногда по два дня сряду. Это чувствовали куры и пѣтухи въ тѣ минуты, когда втеченіи недѣли ежедневно рѣзали ихъ собратьевъ къ столу для молодыхъ господъ, ненамѣревавшихся уже держать стараго „птичника“. Это чувствовали старыя влячи Мотьва и Машка, возившія трусцою по воскреснымъ днямъ барыню къ обѣднѣ, а теперь загнанныя до полусмерти молодыми господами, безъ отдыха вѣздившими по дѣламъ и все кричавшими кучеру:

— Живѣе, живѣе, дай имъ внута!

Это, повидимому, чувствовали даже неодушевленные предметы, по крайней мѣрѣ, два стула, которые держались на ногахъ впродеженіи сорока или пятидесяти лѣтъ и у которыхъ одинъ члѣ

молодыхъ господъ обломалъ теперь ножки, опрокинулись назадъ и лежать въ углу, какъ-бы въ обморокъ съ испуга отъ всего происходившаго въ домѣ. А цвѣты, выхолощенные прислугою, цвѣты, неполитые втеченіи всей послѣдней недѣли и засыпанные около корней золою отъ папиросъ, окурками сигаръ, корками апельсиновъ и всякимъ соромъ? А фамилыныя портреты предковъ, эта гордость старой барской семьи, затканныя уже паутиною и покрытыя слоемъ пыли, какъ-бы закутавшіе себя этимъ саваномъ, чтобы не видать совершавшагося разгрома? Развѣ для всего этого не наставалъ конецъ прошлой жизни? Но, можетъ быть, сильнѣе всѣхъ сознавали наступленіе этого конца сами молодые господа. Они сознавали, что прошлая жизнь прошла невозвратно, и не знали, какая жизнь придетъ на смѣну старой. Они поспѣшно и нетерпѣливо сводили счеты и подводили итоги всему, что осталось имъ въ наслѣдство отъ старой жизни послѣ смерти ихъ матери.

— Когда все это кончится? Два дня шаримъ по всѣмъ этимъ кладовымъ и чуланчикамъ, и все-таки не можемъ собрать всего этого хлама. Я не привыкъ къ этой суетнѣ и сбился съ ногъ, апатично говорилъ глухимъ басомъ одинъ изъ двухъ присутствовавшихъ въ домѣ братьевъ, Аркадій Павловичъ Муратовъ.

Это былъ господинъ лѣтъ тридцати, съ широкимъ, скуластымъ лицомъ, съ сильно выдавшеюся, оттопыренной верхней губой, съ плоскимъ, точно срѣзаннымъ къ шеѣ подбородкомъ, съ свинцовыми камыщными глазами, съ апатичной и въ то-же время сальной физиономіей. Онъ начиналъ уже полнѣть и его покатыя лобъ казался очень большимъ вслѣдствіе сильно вылѣзшихъ темныхъ волосъ. Можно было предвидѣть, что года черезъ два, черезъ три онъ будетъ совершенно лысымъ. Онъ говорилъ не то сильнымъ, не то глухимъ басомъ, неторопливо, сосредоточенно, и производилъ впечатлѣніе столичнаго чиновника, вращающагося въ хорошемъ обществѣ, тупого и вялаго отъ природы, но привыкшаго смотрѣть глубокомысленно и подчасъ хитрить и интриговать.

— Признаюсь, Када, и на меня производитъ тяжелое впечатлѣніе вся эта картина разрушенія стараго гнѣзда, отвѣтилъ ему другой братъ, Петръ Павловичъ.

Его замѣчаніе было сдѣлано мягкимъ, ласкающимъ тономъ, съ которымъ какъ нельзя болѣе гармонировала вся его фигура. Стройный, высокій гвардейскій офицерикъ лѣтъ двадцати четырехъ, съ

шелковистыми вьющимися волосами, съ розовымъ личикомъ, лишеннымъ усомъ и бакенбардъ, съ бархатистыми глазами, съ страстными губами, съ замѣчательно бѣлыми зубами, онъ походилъ скорѣе на женщину, чѣмъ на мужчину, и притомъ на женщину-вокотку, избалованную ласками и жаждущую этихъ ласкъ.

Про него можно было сказать, что это красавецъ, но въ то-же время ни одна черта этого красавца не врѣзывалась въ память и его можно было смѣшать съ тысячами другихъ подобныхъ-же красавцевъ.

— У тебя все сентиментальности на умѣ, иронически замѣтилъ старшій братъ, надувъ еще болѣе толстыя губы. — А меня все это бѣситъ, все это выводитъ изъ терпѣнья. Эти старья дуры неповоротливы, какъ чурбаны. Съ порядочной столичной прислугой мы все кончили-бы въ одинъ день.

— Ахъ, Када, ты знаешь, что онѣ поработали на своемъ вѣку, небрежно вступился за старыхъ служанокъ Петръ Павловичъ, разваливаясь на диванѣ и подчищая розовые ногти.

— Поработали, поработали! неторопливо передразнилъ его братъ, — и другіе не сидѣли безъ дѣла. И на что все это копилось? пожалуй онъ презрительно плечами, разбирая груды холста. — Вышитыя полотенца — кому они нужны? Безвкусіе и, сверхъ того, неудобно вытираться, когда привыкъ къ англійскимъ мохнатымъ полотенцамъ.

— Ну, не говори этого! Я охотно оставлю всѣ эти полотенца себѣ на память, произнесъ Петръ Павловичъ.

— Не всѣ, а свою долю, сухо замѣтилъ старшій братъ.

Братья принялись считать холстъ и полотенца.

— Не знаю, что мы будемъ съ платьями дѣлать, говорилъ какъ-бы про себя старшій Муратовъ. — Здѣсь дешево придется продать.

— Стоить-ли продавать? Нянькамъ можно отдать! посоветовалъ Петръ Павловичъ.

— Глупо! пожалуй плечами Аркадій Павловичъ. — Куда онѣ будутъ носить эти платья?.. Впрочемъ, мы теперь и сами находимся не въ такомъ положеніи, чтобы дарить что-нибудь...

— Что касается меня, то я очень мало придаю цѣны всему этому, небрежно замѣтилъ младшій братъ. — Я воображаю, какимъ смѣхомъ залилась-бы Жозефина, увидавъ меня среди этого хлама!..

— Можно не дорожить, когда какъ сырѣ въ маслѣ катаешься, проворчалъ старшій братъ.

Куски холста между тѣмъ были сосчитаны. Въ это время въ комнату вошла Настасья; она несла еще три куска холста.

— Это что? спросилъ Аркадій Павловичъ.

— Еще нашла-сь, Аркадій Павловичъ, три кусочка, сладкимъ и манернымъ тономъ произнесла она, потупляя глазки.—Запрятаны были у мамашеньки подъ пуховики; должно быть, для Гриши юродиваго приготовлены, а то, можетъ быть, монашкѣ нашей, матушкѣ Иринеѣ, хотѣли отдать или...

— Дурища старая! не удержался Аркадій Павловичъ, сдвинувъ брови.—Тридцать пять лѣтъ жила въ домѣ, а не знаешь, что въ немъ есть!

— Да какъ-же намъ знать-сь, Аркадій Павловичъ, жалобно произнесла Настасья.—У мамашеньки вашей домъ-сь былъ чаша полная... Чего, чего не было-сь! Иное и сами днѣ забывали, что оно у нихъ есть... Вотъ и еще щиватулочка... Подъ пуховиками тоже въ комнатѣ для гостей нашла сестрица Марья.

Аркадій Павловичъ съ несвойственною ему быстротою схватилъ шкатулку. Петръ Павловичъ тоже быстро поднялся съ дивана и подошелъ къ брату.

— Ключи гдѣ? отрывисто спросилъ Аркадій Павловичъ.

— Не знаю-сь, Аркадій Павловичъ, отвѣтила Настасья, пожимая плечами.—Вотъ связки съ ключами-сь, а который отъ нея— не знаю... Мамашенька ваша намъ ключей не довѣряли...

Аркадій Павловичъ, не слушая болтовни старой служанки, схватилъ связку и началъ подбирать ключъ.

— Не лучше-ли брата Даню подождать? посоветовалъ мягкимъ тономъ младшій братъ.

— Чего его ждать? Украду я, что-ли, что-нибудь, рассердился старшій братъ и продолжалъ торопливо тыкать ключами въ замочную скважину.—Спроси у Вавилы долото и молотокъ, обратился онъ къ Настасьѣ.

Настасья засемила ногами и вышла изъ комнаты, торопясь исполнить приказаніе. Аркадій Павловичъ отеръ съ лица выступившій потъ.

— И что-бы могло въ ней быть? разсуждалъ онъ про себя.— Она легка.

— Деньги, быть можетъ, Кадя, сообразилъ Петръ Павловичъ.

— Можетъ быть, согласился старшій братъ, взвѣсивая на рукѣ шкатулку.— Это удивительно, какъ велись дѣла! Все лежало мертвыми капиталомъ, ничто не пускалось въ оборотъ! Никакой предпримчивости не было...

Настасья принесла долото и молотокъ. Аркадій Павловичъ сосредоточенно и алчно принялся отламывать крышку ящика. Онъ походилъ на вора, который спѣшитъ вскрыть чужую сокровищницу. Послѣ нѣсколькихъ сильныхъ ударовъ по ручкѣ долота, всунутаго между крышкой и ящикомъ, раздался жалобный трескъ и крышка отлетѣла. Аркадій Павловичъ съ жадностью наклонился надъ ящикомъ; онъ оживился, его свинцовые глаза теперь свѣтились.

— Деньги! дрогнувшимъ голосомъ проговорилъ онъ, задыхаясь отъ внутренняго волненія.

Онъ сталъ развертывать пачки, обернутыя въ пожелтѣвшую бумагу, и вдругъ захохоталъ какимъ-то зловѣщимъ, неестественнымъ смѣхомъ.

— Кладъ, кладъ наши! воскликнулъ онъ.— Взгляни, видишь? обратился онъ къ брату и потрясъ передъ нимъ пачкою сжатыхъ въ дрожащей рукѣ бумажекъ.

— Что это? изумился младшій братъ.

— Ассигнаціи, старыя, нигуда негодныя ассигнаціи! отчетливо произнесъ Аркадій Павловичъ, еще болѣе блѣднѣя отъ злости.— Сотни, тысячи рублей, нигуда и ни на что негодныхъ, пропавшихъ безъ всякой пользы, безъ всякаго смысла!

Онъ, скрежеща зубами, скомкалъ эти красненькія и зелененькія бумажки, разорвалъ ихъ и швырнулъ на полъ вмѣстѣ съ шкатулкой.

— Батюшка, Аркадій Павловичъ, что-же вы деньги-то рвете-сь! воскликнула испуганная Настасья.

— Деньги, деньги! Убирайся вонъ! Были у васъ съ матерью деньги, въ рукахъ были, въ золу вы ихъ обратили, въ золу! кричалъ Аркадій Павловичъ, сжимая кулаки.

— Это вѣдь ужасно! проговорилъ младшій братъ, махнувъ съ капризною миной рукою.

— Не ужасно, а подло, гнусно! перебилъ его, задыхаясь, Аркадій Павловичъ.— Это насмѣшка надъ нами... Чего ты торчишь

здѣсь? обратился онъ къ Настасьѣ. — Убери этотъ мусоръ, сожги, уничтожь...

Онъ заходилъ въ волненіи по комнатѣ. Его вѣчно апатичная фигура оживилась и исказилась теперь злобой. Настасья поспѣшно подобрала разорванныя бумажки и скрылась, поставивъ на столъ сломанную шкатулку.

— Это татарщина какая-то! говорилъ въ волненіи Аркадій Павловичъ, шагая по комнатѣ, и его тусклые глазки сверкали зловѣщимъ огонькомъ. — Не знали, что у нихъ есть! По десяткамъ лѣтъ гноили холсты, берегли сальныя ассигнаціи, ничего не превращали въ капиталъ, не пускали денегъ въ вѣрные обороты, давали на честное слово! А вотъ теперь изволь возиться съ этимъ хламомъ, продавай этотъ мусоръ за грошъ, чтобы сволотить копейку на черный день. Взгляни, дернулъ онъ одинъ изъ кусковъ холста, — вѣдь это плесень, онъ гнить началъ! Деньги гнить начали! Вѣдь это все деньги, на все это потраченъ трудъ, всѣмъ этимъ были заняты сотни людей, все это могло содѣйствовать увеличенію капитала. А теперь иди, продавай это гнилье...

Въ эту минуту отворилась дверь и въ комнату быстрыми шагами вошелъ малорослый, совершенно косматый, смуглый армейскій подпоручикъ, съ лицомъ, сильно сохранившимъ слѣды татарскаго происхожденія. Это былъ Данило Павловичъ Муратовъ, двадцатишестилѣтній братъ Аркадія и Петра Муратовыхъ. Онъ немного походилъ на своего брата Петра, но былъ смугль, угловатъ, низокъ ростомъ, коренастъ, неуклюжъ, нечесанъ и неумытъ. Онъ напоминалъ собою не то гуляку-завсегдатая цыганскихъ таборовъ, не то выдержавшаго не мало потасовокъ маркера въ ярмарочномъ трактирѣ. Бывалость и безшабашность, удалъ и умѣнье быть себѣ-наумъ, веселость и бреттерство, — все это смѣшивалось въ его особѣ въ одно общее выраженіе, которое заставляетъ говорить про подобныхъ людей, что они „жохи“ и „выжиги“, а впрочемъ „добрыя малыя“. Толкнувъ на-ходу стулъ, стоявшій на дорогѣ, онъ швырнулъ на полъ смятую фуражку и бросился на диванъ, который затрещалъ подъ нимъ. Аркадій Павловичъ искоса взглянулъ на него и пренебрежительно пожалъ плечами.

— Обдулъ, опять вѣдь обдулъ, ракаля! кривнулъ пришедшій, треснувъ кулакомъ по столу.

— На билиардѣ? спросилъ Петръ Павловичъ.

— Нѣтъ, вы вообразите себѣ, загорячился пришедшій, вскакивая съ дивана и ероша свои и безъ того растрепанные волосы.— Онъ далъ мнѣ впередъ — обыгралъ, еще далъ — обыгралъ. Ногами, говорить бестія, могу играть. А, каково вамъ это покажется: но-га-ми! Ракалія!

— Ну, а ты что? небрежно смѣясь, спросилъ Петръ Павловичъ.

— Я? Что-же — я взбѣсился... сукно продралъ... Да развѣ можно тутъ хладнокровнымъ быть: обыгрывалъ пять дней сряду, а потомъ говорить: но-га-ми! А! да еще смѣется, распротобестія! Не вытерпѣлъ—бацъ его въ рожу.

— Фью, просвисталъ Петръ Павловичъ, — вотъ оно куда зашло! Ты, Дана, неостороженъ.

— Пятьдесятъ, говорить, за безчестье, продолжалъ Данило Павловичъ.

— Ну, много будетъ! вставилъ Петръ Павловичъ.

— Нѣтъ, немного! Ты лучше послушай, что дальше. А не то-съ, говорить, не угодно-ли въ полицію... А, каково? Въ полицію! Съ кѣмъ-же судиться: Васька Слюнявый зоветъ меня въ полицію! Искровенили-съ, говорить, и знаки поврежденія есть... Нѣтъ, ты вообрази себѣ эту бестію: весь-то онъ сплошной знаеть поврежденія; я думаю, синякъ на синякѣ вездѣ у него; что день, то драва; и онъ-же мнѣ этими знаками въ носъ тычетъ. Отвѣтите, говорить: къ работѣ способности лишили. А? хороша исторія?

— Что-жь, и по-дѣломъ, насмѣшливо замѣтилъ Аркадій Павловичъ,—ты-бы еще съ нашимъ Митькой или Вавилой въ конюшнѣ въ носки играть сталъ! Срамишь фамилію, своею грязью другихъ марашь!

Онъ пожалъ плечами и зѣвнулъ.

— Пора чай, процѣдилъ онъ сквозъ зубы.—Надоѣло это все, скорѣе-бы кончить... Точно въ вертепъ какой попалъ.

— Да, чортъ возьми, пора кончать, а то я на своихъ собственныхъ подошвахъ, пожалуй, дою до полка, замѣтилъ Данило Павловичъ.—Чортъ знаетъ, что здѣсь за городъ! Скука совсѣмъ загрызла. Кажется, петлю-бы на шеѣ затынулъ, если-бы еще здѣсь прожить. У насъ въ Польшѣ ужъ на что жидовскія гнѣзда, а все-таки веселѣе, хотъ веселыхъ барышенъ вволю и игра идетъ, а здѣсь...

— Пойдемте въ столовую, сказалъ Петръ Павловичъ, граціозно потягиваясь и не слушая брата.

Братья усѣлись въ столовой. Петръ Павловичъ сталъ разливать чай. Аркадій Павловичъ полулежалъ на диванѣ и покуривалъ сигару. Данило Павловичъ шагаль по комнатѣ и изрѣдка что-то бормоталъ, можно было разобрать только:

— Распротоканалья! Ногами! Въ полицію!

Видно было, что въ его голову влиномъ засѣла недавняя исторія.

Смотря на эту картину, сразу можно было замѣтить, что между этими людьми нѣтъ ничего общаго, что они сведены вмѣстѣ случайно. Они были братьями, но всѣ они были разбросаны по разнымъ корпусамъ, рѣдко встрѣчались вмѣстѣ, получили разное направленіе, разные взгляды. Данило Павловичъ дальше провинціального корпуса и провинціальной жизни въ арміи не видалъ ничего; Петръ Павловичъ жилъ и учился въ столицѣ, служилъ въ гвардіи и былъ баловнемъ золотой молодежи; Аркадій Павловичъ не только учился въ столицѣ, но и прожилъ дѣтство въ домѣ родственниковъ-аристократовъ, потомъ, перейдя изъ военной службы въ гражданскую, объѣхалъ въ качествѣ чиновника особыхъ порученій Германію, Францію и Англію. Жизненные условія наложили на каждого изъ нихъ особую печать. Данило Павловичъ, непривыкшій стѣсняться и сдерживаться въ провинціальной армейской средѣ, дѣйствовалъ на-распашку и казался глупѣе и простоватѣе, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ; Аркадій Павловичъ, вышколенный приличіями чужой аристократической семьи, умѣлъ приличными формами и сдержанностью въ извѣстныхъ случаяхъ замаскировать убожество своего ума и выглядѣлъ умнѣе, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности; Петръ Павловичъ, избалованный за красоту золотой молодежи и женщинами полусвѣта, являлся такимъ мягкимъ, нѣжнымъ и ласковымъ юношею, что трудно-бы было угадать, какъ много безсердечности, эгоизма и тупости таилось подъ этой привлекательной личиной. Между собой братья были скорѣе врагами, чѣмъ друзьями. Данило Павловичъ развивался подъ присмотромъ матери, былъ ея любимцемъ, и потому его не любили братья, знавшіе, что онъ всевозможными обманами вытягиваетъ у матери деньжонки на свои тайные кутежи. Петръ Павловичъ былъ нелюбимъ своею матерью за недостатокъ благочестія и потому братья тоже не любили его,

зная, что можно выслужиться передъ матерью, наушничая на брата. Аркадій Павловичъ, какъ человѣкъ много выдавшій, много путешествовавшій, въ послѣднее время сталъ дѣлаться въ глазахъ матери авторитетною личностью и потому опять-таки его не взлюбили братья. Данило Павловичъ боялся, что подѣ влияніемъ Аркадія Павловича мать перестанетъ вѣрить его слезнымъ вымаливаніямъ денегъ, Петръ-же Павловичъ не безъ основанія полагалъ, что Аркадій Павловичъ воспользуется нелюбовью матери къ нему, Петру Павловичу, и еще болѣе вооружить старуху, чтобы взять себѣ львиную часть изъ имѣнія. Теперь, сведенные подѣ родную кровлю, связанные дѣлшемъ имѣнія, братья постоянно сталкивались какими-то острыми углами и ждали только того дня, когда имъ можно будетъ разойтись въ разныя стороны. Они сидѣли теперь въ раздумьи и почти не говорили. Только Данило Павловичъ все еще шагаль по комнатамъ и то что-то бормоталь, то трепаль свои волосы.

— Нѣтъ, непрежѣнно женюсь! Это единственный исходъ! вдругъ топнулъ онъ ногою.

— На комъ это? лѣнливо, сквозь зубы, спросилъ старшій братъ.

— Адельку возьму, отвѣтилъ Данило Павловичъ. — Дѣвка, правда, съ придурью и ужь очень благовоспитанная, ну да маленькія непріятности не мѣшаютъ большому удовольствію. Дядя Платонъ приданое хорошее дастъ, а ее передѣлаемъ...

— Ну, это еще неизвѣстно! процѣдилъ сквозь зубы Аркадій Павловичъ.

— Что?! Я не передѣлаю женщины? воскликнулъ Данило Павловичъ. — Да я, братъ, не такихъ ломаль да въ бараній рогъ сгибалъ. Коню! Коню!

Аркадій Павловичъ улыбулся при этомъ французскомъ словѣ, сказанномъ съ татарскимъ акцентомъ.

— Я не о томъ говорю, согнешь-ли ты ее или не согнешь въ бараній рогъ, замѣтилъ онъ. — Но надо-бы спросить, пойдетъ-ли она за тебя?

— Да я уже намекаль дядѣ Александру. Онъ не прочь...

— Я и не сомнѣваюсь! За лишняго собутыльника на цыганскихъ пирахъ, за лишняго товарища на псовой охотѣ съ попойбой дядя Александръ, конечно, продасть и родную дочь. Но надо-бы спросить и ее. Татарщина, братъ, все у васъ, домостроевскія правила...

— Ну, да ужь у тебя не станемъ учиться хвостомъ вилять, проворчалъ Данило Павловичъ.

Онъ продолжалъ ходить по комнатѣ и по временамъ хмурился. Наконецъ, онъ остановился передъ Аркадіемъ Павловичемъ.

— Братъ ты мнѣ или нѣтъ? спросилъ онъ.

— Говорили люди, что братъ, отвѣтилъ съ ироніей Аркадій Павловичъ, — хотя и сомнительно, чтобы это была правда... Что же дальше?

— А то, что не будь подлецомъ! Слушай! торжественно произнесъ Данило Павловичъ, ударивъ по плечу Аркадія Павловича. — Не мѣшай мнѣ! Вижу я, что ты какую-то механику подводишь. Это, братъ, подло! Я Адельку намѣтилъ, значить, ты и уступи...

Аркадій Павловичъ пожалъ плечами.

— Точно о кобылѣ какой толкуешь: намѣтилъ, уступи! Чему васъ учили-то! проворчалъ онъ и началъ молча прихлебывать чай.

Въ комнатѣ воцарилась полнѣйшая тишина и въ этой тишинѣ какъ-то черезчуръ отчетливо раздавались звуки камышевки по выколачиваемому платью, то стихавшіе, то возобновлявшіеся съ новой силой. Въ этихъ звукахъ было что-то нагонявшее тоску, раздражавшее нервы. Неизвѣстно, навѣяла-ли эта музыка грусть на душу трехъ братьевъ, но только они не говорили между собой и, казалось, безцѣльно прислушивались къ этимъ звукамъ, какъ вдругъ ихъ поразили голоса прислуги:

— Батюшка! Родной! Соколикъ нашъ ясный! — и въ ту-же минуту послышались звонкіе поцѣлуи.

Братья съ недоумѣніемъ переглянулись между собою. Они еще не успѣли перекинуться другъ съ другомъ какимъ-нибудь замѣчаніемъ, какъ на порогѣ столовой появился, весь въ пыли и въ поту, уже знакомый намъ путникъ.

— Что тебѣ? грубо спросилъ его Данило Павловичъ, поднимаясь къ нему навстрѣчу.

Посѣтитель усмѣхнулся и только-что хотѣлъ отвѣтить что-то, какъ къ нему подошелъ Аркадій Павловичъ.

— Вотъ-съ какъ, во-время за наслѣдствомъ пожаловали! Это Максимъ, обратился онъ къ братьямъ, кивнувъ съ презрительною смѣшкой на посѣтителя.

IV.

Братья стояли въ одной безмолвной и смущенной группѣ, видимо не зная, какъ отнестись къ новопривившему: пожать-ли ему холодно руку, какъ старому недругу, броситься-ли къ нему въ объятія, замаскировавъ чрезмѣрною нѣжностью тайную ненависть къ нему. Въ эту минуту въ комнату вбѣжала Настасья.

— Гдѣ онъ, гдѣ онъ, мой голубчикъ! воскликнула она и повисла на шеѣ Максима. — Родной мой, ручки дайте ваши разцѣловать, глазки ваши умные!

Она и плакала, и смѣялась, а Максимъ взялъ обѣими руками ея худенькую, маленькую, какъ вулачекъ, голову съ крысинымъ хвостикомъ вмѣсто косы и поцѣловалъ ее въ узкій, точно сдвоенный лобъ.

— Не забыла, Настуся? спросилъ онъ ее задушевымъ тономъ.

— Васъ-то? Да что вы! Шутиха-то васъ забудетъ! Да развѣ это возможно? говорила она и смотрѣла ему въ глаза, точно хотѣла насмотрѣться на него за все время ихъ разлуки. — Экзаментъ-то, батюшка, исполнили-ли? спросила она.

— Все кончилъ, Настуся, все! уклончиво махнулъ рукою молодой человѣкъ и еще разъ поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Мамашенька-то все передъ смертью заботились, проговорила Настасья. — Не далъ Богъ дожить до радости.

Она заплакала. По лицу Максима пробѣжала горькая улыбка.

— Полно, Настуся, полно! ласково проговорилъ онъ, утѣшая евою старую няньку.

Братья были рады этой недолгой сценѣ, избавившей ихъ отъ первой неловкости при встрѣчѣ съ нелюбимымъ братомъ.

— Пожалуйста, безъ слезъ! Довольно наплакались! процѣдилъ сквозь зубы Аркадій Павловичъ. — Лучше налей ему чаю и спать пора.

— Да, да, дай мнѣ, Настуся, чаю! живо сказалъ новопривз- жій и усѣлся за чайный столъ.

— Да ты что-же это со мной не здороваешься, оскребышь? вдругъ захохоталъ Данило Павловичъ, — или обидѣлся, что я тебя чуть не выгналъ? Вѣдь, чортъ меня побери, совсѣмъ не узналъ въ полутъмѣ; гляжу, что за мужикъ лѣзетъ въ комнату,

ужь не изъ трактира-ли, думаю, — а это ты. Ахъ ты шутъ гороховый!

Данило Павловичъ крѣпко пожалъ руку Максима своею широкою рукой и поцѣловался съ нимъ въ губы.

— Ты все такой-же, какъ и былъ, Данило, добродушно усмѣхнулся Максимъ.

— Обурбонился, братъ, совсѣмъ! Въ щелочу не отмоешь! шумно захохоталъ Данило. — Дуюсь направо, налево; амурничаю съ милыми дѣвицами, — вотъ и все.

Максимъ началъ жадно пить чай и ѣсть булки, какъ человѣкъ, сильно проголодавшійся въ дорогѣ. Братья молчаливо посматривали на него и по губамъ Аркадія Павловича, осматривавшаго костюмъ новопрібывшаго брата, скользила презрительная усмѣшка. Петръ Павловичъ прервалъ неловкое молчаніе.

— Давно, давно мы не видались, началъ онъ своимъ сладкимъ голосомъ. — О тебѣ въ послѣднее время не было ни слуху, ни духу.

— А развѣ кто-нибудь обо мнѣ справлялся? спокойно спросилъ Максимъ.

Петръ Павловичъ нѣсколько смѣшался и, не отвѣчая на вопросъ, продолжалъ элегическимъ тономъ:

— Мать сильно заботилась о тебѣ въ послѣднее время.

— Заботилась? съ удивленіемъ спросилъ Максимъ.

— Да, толковала все, какъ ты живешь, гдѣ ты находишься. Ее видимо мучили эти вопросы, пояснилъ Петръ Павловичъ.

— Жаль, что вопросы такъ и остались вопросами, замѣтилъ Максимъ. — Отвѣтить на нихъ было не трудно, потому что въ Петербургѣ есть адресный столъ...

— Да, но вѣдь никто не зналъ, что ты въ Петербургѣ.

— Ты хотѣлъ сказать, что никто и не узнавалъ? возразилъ Максимъ.

Въ комнатѣ вдругъ наступило неловкое молчаніе. Новопріѣзжій наскоро допилъ чай и, вставъ изъ-за стола, направился къ дверямъ въ залу. Онѣ были заперты.

— Что это? спросилъ онъ.

— Тамъ вещи сложены, отвѣтилъ Аркадій Павловичъ.

— Такъ что-же? Отъ кого ихъ замыкать: здѣсь, кажется, все свои, замѣтилъ Максимъ.

— Ручаться ни за кого нельзя, процѣдилъ севозъ зубы старшій братъ, искоса взглянувъ на него.

Максимъ пожалъ плечами.

— У насъ, братъ, на этотъ счетъ строго! сбалаганилъ Данило Павловичъ; скорчивъ серьезное лицо.

— Это и видно, отвѣтилъ Максимъ.

— Спать, господа, пора, промолвилъ Аркадій Павловичъ, зѣвая.—Завтра надо пораньше подняться. Пора покончить расчеты. Теперь-же встати всѣ на-лицо.

Братья поднялись съ мѣсть. Они были видимо довольны тѣмъ, что могли разойтись по разнымъ комнатамъ. Максиму была приготовлена постель въ мезонинѣ, гдѣ когда-то жилъ его покойный отецъ. Поднявшись по лѣстницѣ наверхъ, молодой человѣкъ отворилъ окно, чтобы подышать свѣжимъ воздухомъ, такъ-какъ въ комнатѣ было душно. Онъ постоялъ нѣсколько минутъ у окна, осматривая знакомый ему садъ, и, наконецъ, въ грустномъ раздумьи снова захлопнулъ окно и сталъ неторопливо раздѣваться. Въ эту минуту къ нему на цыпочкахъ вошла Настасья. Эта приземистая, худошавая старая служанка съ слезливыми глазами и запуганнымъ, хотя и нелишеннымъ хитрости, выраженіемъ лица, съ жеманными манерами и склонностью вставлять въ разговоръ высокопарныя или французскія слова, подхваченныя ею еще въ дѣтствѣ въ господской „классной“, не могла утерпѣть, чтобы не взглянуть еще разъ на своего питомца. Она съ давнихъ поръ исполняла въ семьѣ обязанности горничной и няньки и была известна подъ прозвищемъ „шутихи“.

— Пришла, батюшка, взглянуть, все-ли у васъ тутъ есть, сказала она, какъ-бы оправдываясь, и быстро начала поправлять очень акуратно, посланную постель.

— Спасибо, Настуся. Мнѣ ничего не нужно, ласково отвѣтилъ Максимъ.

Онъ предчувствовалъ, что „шутиха“ сейчасъ передастъ ему по секрету всѣ домашнія новости. Въ былые годы ея „дворовой“ жизни ее надресировали къ исполненію этой обязанности домашняго шпіона и доносчика.

— Дай вамъ Богъ уснуть хорошенько съ дороги, пожелала она.—Недолго, недолго придется въ родительскомъ домѣ пребывать... Все скоро подѣлать...

Максимъ молча ходилъ по комнатѣ.

— Ахъ, ужъ этотъ дѣлежъ! Афрѣ, какъ мамашенька, покойница, говаривала, вздохнула Настасья и вдругъ заговорила шопотомъ, принимая еще болѣе запуганное выраженіе: — Согласія, батюшка, нѣтъ. Все ссоры, все ссоры — и не приведи Господи, что дѣлается! Ровно какъ чужіе, какъ враги! Каждая-то это тряпочка, каждый-то это кусочекъ на брань вызываетъ. Вотъ ужъ именно какъ ризу Христову дѣлать... Аркадій Павловичъ всёю орудуешь, онъ это дѣлать-то, верхъ, значитъ, взялъ и властвуетъ. Ну, а сами знаете, у Данилы Павловича характеръ воспалительный — ого нь; чуть не по немъ что дѣлается, сейчасъ скандалъ...

Максимъ ничего не отвѣчалъ и еще задумчивѣе ходилъ по комнатѣ. Онъ зналъ давно привычку старой крѣпостной передавать ему и матери всё свѣденія о томъ, что дѣлается въ домѣ, и также хорошо зналъ, что было-бы напрасно стараніе остановить эти изліянія. Настасья вздохнула и помолчала.

— А вѣдь у насъ свадьба затѣвается, начала она черезъ минуту тѣмъ-же таинственнымъ тономъ. — Мамашенькины ноженки еще остыть не успѣли, а они ужъ о свадьбѣ думаютъ. Дяденьки Александра Николаевича дочь сватаютъ.

— Дуно? быстро спросилъ Максимъ, оборачиваясь измѣнившимся лицомъ къ своей нянькѣ.

Эта новость, повидимому, задѣла его за самое больное мѣсто.

— И-и, что вы! замахала она рукой. — Авдотья Александровна дяденькою Платономъ Николаевичемъ въ черномъ тѣлѣ держится. Ее что сватать! Нѣтъ, они за Аделаидой Александровной увиваются. Въ ней дяденька Платонъ Николаевичъ души не чаешь и награждать, награждать ее. Вотъ потому и ухаживаютъ за ней. Все ради этихъ денегъ пробытыхъ. Она-то, кажется, за нихъ не очень хочетъ идти, ну да дяденька Александръ Николаевичъ, конечно, велѣть можетъ... Извѣстно, наша женская линія такая — велятъ, и иди замужъ. Они это съ дяденькой Александромъ Николаевичемъ все хороваются, и развѣзжаютъ по сосѣдямъ вмѣстѣ, и пиры у нихъ...

— Да кто-же это женится-то, Настуся? спросилъ, улыбаясь, Максимъ.

— Да все они-же, Данило Павловичъ, Данило Павловичъ! въразительнымъ шопотомъ произнесла Настасья. — Ужъ извѣстно,

кто-же станеть компанію водить съ дяденькой Александромъ Николаевичемъ, какъ не вашъ братецъ Данило Павловичъ! Сами знаете, Аркадій Павловичъ и Петръ Павловичъ ведутъ себя въ приличіи, все это у нихъ комиль-фо. Ну, а Данило Павловичъ такъ-себѣ выпелъ, какимъ-то посредственнымъ, обращенія и деликатности не видалъ, все въ губерніи жилъ, по деревнямъ, Польшу усмирялъ и этой бантонности, знаете, у него нѣтъ. Ему-бы цыгане, биліаръ, псарня — тутъ онъ и воевода, а попадетъ въ образованное общество — и языкъ проглотить, точно въ воду опущенный сидить, въ самозабвеніи... Это какъ-то были они у дяденьки Платона Николаевича, ну тамъ ужъ — дворець, дворець, все на приличіи, атикеть, все парле франсе, нашему-то Данилу Павловичу это и не по-нутру: сидѣлъ онъ, сидѣлъ, какъ сычъ какой, — прости Господи, не про своего-бы барченка говорить! — потомъ и шастъ въ буфетную. Дай водки, говоритъ буфетчику Фомкѣ. — Помните Фомку-то, нашего Вавилы троюроднаго брата? — Ну, извѣстно, Фомка не смѣлъ отказать — далъ. Какъ это попало Данилѣ Павловичу лишнее за галстухъ — и развернулся онъ, дяденькѣ Платону Николаевичу согрубилъ, Ханькова, сосѣда-то дяденькинаго, что въ Останкиномъ живеть, выругалъ, тамъ на дворѣ дѣвочку какою-то, гроша нестоющую, поймалъ — просто карамболъ вышла. Вы вѣдь знаете дяденьку-то Платона Николаевича — шутить и разговаривать не любятъ: велѣлъ онъ заложить авишажъ и отвезти нашего забіяку за десять верстъ, на Алехинскую мельницу. „И скажите ему, говорить, — пусть онъ вытрезвится и приходитъ прощенья просить у Ханькова. Если-же не придетъ просить у него прощенья и не принесетъ отъ него письменнаго свидѣтельства въ томъ, что его прощаетъ Ханьковъ, то пусть и не является ко мнѣ на глаза“. А о своей обидѣ-то дяденька и не упомянулъ, потому, люди это сказывали, что дяденька сказалъ: „если это на меня злая собака лаеть — я ее бью, но не сержусь на нее и не обижаюсь, такъ-какъ она сама не знаетъ, чего она лаеть, и безчестья мнѣ никакого не приносить“. Ужъ что и говорить: баринъ, баринъ! Онъ и вниманія-то не обратитъ на какое-нибудь безобразіе...

Настасья была очень оживлена, сильно жестикулировала руками, поминутно заватывала глаза, хотя даже въ пылу одушевленія не повышала голоса и продолжала говорить шопотомъ. Этотъ таин-

ственный шопоть вошелъ у ней въ привычку. Максимъ почти не отвѣчалъ ей и, наконецъ, только замѣтилъ:

— Таеъ-то, Настуся, плохи дѣла.

— Плохи, батюшка, очень плохи, совсѣмъ мове! произнесла она, зажмуривъ глаза.

Максимъ подошелъ къ ней, потрепалъ ее по плечу и шутливо промолвилъ:

— И ты все такою-же осталась!

— Что мнѣ, батюшка, дѣлается! какъ-то боветливо замѣтила она.

— Ну, прощай, Настуся, покойной ночи, сказалъ онъ, цѣлуя няньку.

— Мерси-съ, проговорила она и сдѣлала книксенъ.

„Шутиха“, подумалъ Максимъ, вспомнивъ, что именно подъ этимъ прозвищемъ была извѣстна въ домѣ его старая нянька. Она прошутила такъ весь вѣкъ, произнося на потѣху господъ исковерканныя французскія фразы и шпіоня въ домѣ за всѣми. Она еще разъ поправила его постель и вышла на цыпочкахъ изъ комнаты.

V.

Максимъ остался одинъ и лѣниво, въ раздумьи, сталъ раздѣваться.

Медленно снявъ одежду и положивъ ее на первый попавшійся стулъ, онъ легъ на постель. Но онъ не могъ уснуть. Какія-то отрывочныя думы, навѣяанныя болтовнею Насти, какія-то смутныя воспоминанія, пробужденныя въ тишинѣ этимъ старымъ роднымъ домомъ, этою знакомою комнатою, бродили въ его головѣ. „Всѣ за Аделаидой Александровной увиваются“, мелькали въ его памяти слова Насти. „Что-жь, это понятно, она выгодная невѣста! думаль онъ. — А что-то Дуня? О ней Настя ничего не говорила. Дитя, недюбимое Платономъ Николаевичемъ дитя, такъ на нее никто и вниманія не обращаетъ. Впрочемъ, какое-же она дитя? Ей теперь, должно быть, минуло восемнадцать лѣтъ... Да, такъ и есть — восемнадцать. Какъ время-то летитъ! Давно-ли, кажется, мы дѣтьми убѣгали съ ней отъ дядюшекъ, маменекъ и тетусекъ на берегъ рѣки и по-очередно сторожили другъ друга, чтобы кто-нибудь не узналъ, что мы

тамъ купаемся по вечерамъ! Восемнадцать лѣтъ! И какъ, должно быть, разцвѣла, какъ стала хороша она! Она всегда была лучше Аделаиды. Кто-то за ней увивается, кого-то она любитъ? И зачѣмъ я не разспросилъ Настю? Впрочемъ, она, бѣдная, ничего не получить отъ дяди Платона. Онъ всегда не любилъ ее. А женихамъ приданое нужно“. „Словно ризы Христовы дѣлать“, вдругъ промелькнули въ его головѣ слова Настя. Онъ горько улыбнулся и подумалъ: „Вотъ и я за тѣмъ-же пріѣхалъ сюда, чтобы оторвать для себя ключевъ отъ этихъ ризъ. Что-жь, не умирать-же, въ самомъ дѣлѣ, съ голоду! Человѣкъ хочетъ ѣсть, пить, одѣваться, — жить онъ хочетъ, вотъ что. И какое ученье пойдетъ на умъ, когда голоденъ? Учишься урывками, на-скоро. А какъ-же дѣлаютъ другіе, у которыхъ нѣтъ этихъ ризъ для дѣлежа? Другіе! Да полно, такъ-ли развивались другіе, какъ мы“.

Онъ задумался и безцѣльно устремилъ глаза по направленію къ окну. За окномъ бѣлѣла сѣрватая, мутная лѣтняя ночь — не то сумерки, не то разсвѣтъ пасмурнаго дня. Въ воздухѣ было тихо, съ улицы не доносилось ни одного звука, — казалось, кругомъ все вымерло.

Максиму была знакома эта тишина лѣтней ночи въ родномъ захолустьѣ: сколько разъ, мучимый безсонницей, онъ и радовался ей, и томился ею! Порой онъ бросался въ старыя годы въ восторгѣ на постель среди этой тишины и широко, свободно дышалъ молодою грудью, радуясь, что наконецъ-то онъ остался одинъ. безъ дядюшекъ, безъ тетюшекъ, безъ наставленій, безъ упрековъ, и можетъ отдохнуть, забыться, помечтать, подумать. Порою, лежа на постели въ тѣ-же старыя годы, среди этой-же мертвенной тишины, онъ чувствовалъ, какъ мало-по-малу свинцовымъ гнетомъ давила его эта тишина, эта нетемнѣющая, неразсвѣтающая, сѣрая, удушливая ночь, и хотѣлось ему тогда бѣжать отъ нея куда-то далеко, бѣжать безъ оглядки, какъ отъ нѣмого, безсердечнаго и тупого врага, спокойно и медленно сжимающаго его въ своихъ свинцовыхъ объятіяхъ. Онъ вспомнилъ эти чувства, вспомнилъ, какъ въ былыя годы дѣтства онъ смотрѣлъ въ такія минуты испуганными глазенками на окна, казавшіяся ему въ полутьмѣ сѣрой ночи какими-то гигантскими глазами съ бѣлками, а тамъ, за окнами, двѣ старыя, старыя липы неподвижно и спокойно глядѣли на него, разметавагося въ жару ребенка. Это были нѣмыя и без-

отвѣтные сторожа и соглядатаи, видѣвшіе все, что происходило въ его комнатѣ: и слезы, и смѣхъ, и молитвы, и ранній развратъ, развратъ отъ скуки, отъ одиночества, отъ этой всеподавляющей, гнетущей тишины. И вотъ опять такъ-же неподвижно стоять въ саду онѣ, эти старыя липы, только придвинулись еще ближе ихъ разросшіяся вѣтви къ окнамъ, еще пристальнѣе смотреть онѣ на него, точно имъ хочется получше всмотрѣться въ этого юношу, котораго онѣ знали когда-то ребенкомъ. Онѣ тоже глядятъ на нихъ и отъ его глазъ бѣжитъ дремота, бѣжитъ подъ наплывомъ воспоминаній: его отецъ, его мать, его дядюшки, его тетки, его двоюродныя сестры, его родные братья, крѣпостные люди, — всѣ, всѣ знакомыя лица встаютъ передъ его глазами и кажется ему, что онѣ снова волнуется, смѣется и плачетъ среди старой, невозвратной жизни, въ старомъ гнѣздѣ крѣпостничества. Вотъ видитъ онѣ мать, худощавую, слабую женщину съ скромно приглаженными свѣтлыми жидкими волосами, съ золотушными, подслѣповатыми и слезящимися глазами, съ испостившимися, морщинистымъ и сухимъ лицомъ, съ синими жилками на ввалившихся вискахъ, съ тонкими, костлявыми руками, которыя покрыты, точно веревочной сѣтью, рѣзко обозначившимися жилами. Эта женщина сохранила до старости всѣ привычки, всѣ манеры институтки старыхъ временъ: сантиментальность, цепетильность, склонность къ мечтаніямъ и слезамъ, неумѣнье вести практическую дѣятельность, полнѣйшую зависимость отъ постороннихъ вліяній, отъ вліяній тѣхъ, кто умѣетъ сладко и красно говорить и залѣзть въ душу или поведѣвать.

Сначала это вліяніе оказываетъ на мать ея двоюродный братъ, Александръ Николаевичъ Баскаковъ, мотъ и кутила, вѣчно цѣлующій „ручки“ у „сестрички“ и вѣчно громео и самоувѣренно ораторствующій о необходимости разумнаго хозяйства, объ извлеченіяхъ возможной пользы изъ имѣнія, о широкихъ предпріятіяхъ и смѣлыхъ хозяйственныхъ опытахъ. Ей милы и дороги эти планы, потому что хочется побольше скопить денегъ для дѣтей, и она отдается въ руки „братцу“. Онѣ проматываетъ все свое имѣніе, затрачиваетъ часть имѣнія двоюродной сестры и попадаетъ подъ опеку: сестра плачетъ объ немъ, говоритъ, что безъ него она осталась, какъ безъ рукъ, что онѣ непременно устроишь-бы ея имѣніе, если-бы судьба не остановила его на полдорогѣ, когда

были сдѣланы только затраты и еще не могло быть выгодъ. Потомъ на нее вліяетъ двоюродная сестра, Марья Семеновна Баскакова, краснощекая, коренастая старая дѣвственница, похожая на переодѣтаго въ женское платье вахмистра, съ размахистыми жестами, съ твердой рукой и закрубѣлымъ въ скитаніяхъ по бѣлу свѣту сердцемъ, толкующая о высокомъ призваніи женщины быть матерью и воспитать дѣтей. Она не признаетъ, чтобъ въ жизни было что-нибудь такое, чего нельзя перенести, такъ-какъ перенесла-же она, правда, не безъ бурь и волненій, свою дѣвственность. Ее всѣ зовутъ „тетушка Нѣтъ“, такъ-какъ на всякую фразу постороннихъ людей она отвѣчаетъ со слова „нѣтъ“; ее называютъ „странствующимъ педагогомъ“, такъ-какъ она странствуетъ уже съ незапамятныхъ временъ по роднымъ и вездѣ воспитуетъ дѣтей, не изъ-за жалованья, а ради любви къ роднымъ и къ ихъ дѣтямъ. Всѣ родные состоятъ съ ней въ перепискѣ, потому что это *esprit forte* фамиліи Баскаковыхъ. Всѣ знаютъ толстый саб-воажъ „тетушки Нѣтъ“, всѣ представляютъ себѣ образъ „тетушки Нѣтъ“ не иначе, какъ въ широкомъ чепцѣ, немного сбившемся на сторону, съ большими очками въ серебряной оправѣ, то спускаемыми на носъ, то поднимаемыми на голову. Эти очки никогда не снимаются съ головы, но „тетушка Нѣтъ“ постоянно ихъ ищетъ и обвиняетъ всѣхъ за то, что они взяли ея очки. Воспитать дѣтей, по ея мнѣнію, это то-же, что муштровывать ихъ. „Держитесь прямо“, „не держите рукъ подъ столомъ“, „не говорите по-русски“, „не шепчитесь и не говорите слишкомъ громко“, „вставайте, когда съ вами говорятъ старшіе“, „не ходите къ людскую и въ дѣвичью“, „выньте руки изъ кармановъ“,—эти правила и тысячи имъ подобныхъ вводятся въ тотъ домъ, гдѣ появляется „тетушка Нѣтъ“, вводятся и въ домъ Муратовыхъ и становятся цѣлью жизни, предметомъ мученій для Ольги Матвѣевны Муратовой, матери Максима. „Тетушка Нѣтъ“ даетъ ей выговоры за потачку дѣтямъ, запрещаетъ лишній разъ поцѣловать ребенка, кричитъ:

— Нѣтъ, вы опять ихъ балуете, *chère cousine!* Помяните мое слово, изъ нихъ выйдутъ злодѣи, вы ихъ погубите. Нужна выдержка для человѣка, нужно, чтобы онъ ходилъ по стрункѣ, чтобы онъ понималъ взглядъ, одинъ взглядъ старшихъ, чтобы онъ могъ все перенести.

Ольга Матвѣевна рыдаетъ и просить прощенья у „тетушки Нѣтъ“.

— Ты что-же это поздри раздуваешь! кричить между тѣмъ „тетушка Нѣтъ“, обращаешь къ маленькому Максиму. — Вы видите, до чего доводятъ ваши поцѣлуи, упрекаетъ она кухню. — Я говорю, я наставляю, а онъ поздри раздуваетъ! Развѣ вы не понимаете, что это непокорность? Вѣдь это очевидно, что онъ въ душѣ уже вооруженъ противъ меня. Нѣтъ, нѣтъ, я брошу вашъ домъ и уѣду, уѣду, чтобы не видѣть ихъ гибели!

Кухина упрашиваетъ и плачетъ.

— Ступай въ свою комнату и сиди тамъ до чаю, командуетъ „тетушка Нѣтъ“. — Ты остаешься безъ обѣда и безъ кофе. Тебѣ дадутъ хлѣба и воды. Сиди и думай о своемъ поведеніи, думай о томъ, что ты огорчилъ мать, огорчилъ даже меня. Ты вспомни, что я не обязана терпѣть мученія изъ-за тебя, вспомни, что я забочусь о васъ изъ состраданія, изъ жалости, и чѣмъ-же ты платишь мнѣ? Ну, положимъ, мать обязана заботиться о васъ, а я? Я посторонній человѣкъ, я могла-бы васъ бросить и уйти. Ты пойми это, пойми, неблагодарный!

Ребенокъ уходитъ въ дѣтскую и сидитъ тамъ одинъ. Никто не смѣетъ подойти къ его временной тюрьмѣ, и только одна „шутиха“ осмѣливается тайкомъ пробраться къ его дверямъ.

— Максимъ Павловичъ, а Максимъ Павловичъ, раздается у дверей шопотъ Насти. — Живы-ли вы, родной мой?

— Это ты, Настуся? спрашиваетъ мальчикъ.

— Тсъ! тише, тише, батюшка! шепчетъ Настя. — Вы, батюшка, послушайте. Тамъ у меня подъ вашей постельной сундучекъ есть, въ сундучкѣ этомъ корзиночка подъ тряпочками стоятъ, въ ней пирожка кусочекъ, цыпленочка половинка, окорока два ломтика. Это я для васъ поторопилась спрятать. Ужъ слышала, что не къ добру нашъ аспидъ-то расходился. Теперь нахохлилась, какъ индюшка, и все мамашу пилить. А мамаша-то плачетъ, убивается, опять у нея ваперы да мигрень сдѣлались. Кушайте на здоровье!

— Настуся!

— Тсъ! Идутъ, идутъ, батюшка! Не выдайте вы меня!

И мальчикъ слышитъ тихій шорохъ на цыпочкахъ удаляющейся Насти.

Онъ сытъ, но въ немъ кипитъ злоба на „аспида“, онъ готовъ сдѣлать все, чтобы снова разозлить „аспида“. На другой или на третій день ему удастся „встравить аспида“, онъ опять попадаетъ въ временную тюрьму, но онъ радъ, потому что „аспидъ“ опять взволновался. Въ характерѣ мальчика развивается злопамятность, упрямство, настойчивость и стремленіе „сдѣлать на зло“. Онъ можетъ уже „дуться“ по три, по четыре дня, не говоря ни одного слова. Въ то-же время онъ уже можетъ многое „перенести“: онъ, не уступая своимъ врагамъ, можетъ остаться безъ обѣда, безъ лакомства, простоять три часа въ углу, когда всѣ дѣти рѣзвятся, просидѣть въ темной комнатѣ, когда въ трубѣ воетъ вѣтеръ, когда вспоминаются страшные рассказы о домовыхъ. Такъ идутъ дни. Выправка дѣлаетъ значительные успѣхи: дѣти ходятъ по стрункѣ, ходитъ по стрункѣ даже Аркадій Павловичъ, пріѣхавшій на время въ Чистополье; онъ даже приводитъ въ восторгъ тетку своею выправкою. Но вотъ Пета, Дая и Максъ остаются одни съ Аркадіемъ и онъ имъ открываетъ тайны, которыя никогда не приходили и въ голову дѣтямъ. Онъ не просто хитрый и скромный мальчикъ, но развращенный до мозга костей человѣкъ.

Какъ живо, какъ омерзительно - живо помнить Максимъ нравственную гибель своихъ старшихъ братьевъ и какъ теперь странно ему ихъ недѣтское умѣнье быть чинными и скромными при теткѣ и матери! Да, онъ помнить, какъ они скромно потупляли глаза, какъ они застѣнчиво краснѣли при взрослыхъ. А между тѣмъ это уже были погубшіе юноши. Максимъ помнилъ, какъ обрѣзали косу семнадцатилѣтней Машѣ за то, что она смѣла обольстить пятнадцатилѣтняго „ребенка“ Аркадія, какъ выпороли ея отца, бучера Вавилу, за то, что онъ не держалъ въ страхѣ Божию свою дочь, какъ потомъ отправили ее на скотный дворъ въ деревню и какъ черезъ шесть мѣсяцевъ велѣли старостѣ Ильѣ выдать ее замужъ за послѣдняго мужика въ деревнѣ.

Но вотъ всѣхъ братьевъ развезли по корпусамъ, увезли въ институтъ и ихъ сестру Соню.

— Мнѣ страшно подумать, что будетъ съ ними! восклицала „тетушка Нѣтъ“, оставляя свое вѣчное вязанье и закидывая на лобъ очки.—Вы уже успѣли ихъ избаловать и теперь они окончательно погибнутъ безъ присмотра. Я уже чувствую, что сначала

они сойдутся съ погибшими женщинами, потомъ начнутъ пить, какъ вашъ мужъ, потомъ стануть тратить казенныя деньги и кончатъ владиміркою.

Кузина плачетъ и ломаетъ руки.

— Мари, что-же дѣлать? стонетъ она. — Я переѣду въ столицу.

— Вы?! восклицаетъ „тетушка Нѣтъ“. — Да вы только ускорите ихъ гибель. Теперь нужна твердая рука, чтобы ихъ держать въ уздѣ, — они не дѣти!

„Тетушка Нѣтъ“ при этомъ хлопаетъ по столу ладонью своею широкой руки, причѣмъ на ея толстый носъ упадаютъ со лба очки, и мать инстинктивно понимаетъ, что именно у Мари такая твердая рука, какая нужна теперь дѣтямъ.

— Мари, простите меня, жалобно шепчетъ кузина, — но я хочу просить у васъ еще одной жертвы. Вы взяли на себя трудное дѣло воспитанія моихъ дѣтей. Я вамъ такъ обязана...

— Нѣтъ, Ольга, не станемте говорить объ этомъ, горячо и почти оскорбленнымъ тономъ перебиваетъ Мари. — Нѣтъ, какъ-бы вы ни благодарили меня, но вы не въ состояніи вознаградить меня за потраченные мною для васъ годы, за мое разбитое здоровье. Меня за это можетъ наградить только Богъ, только одинъ Богъ!

Мари гордо выпрямляетъ свой тамбуръ-мажорскій станъ и смотритъ на мать уничтожающимъ взглядомъ, опять закинувъ очки на чепецъ.

— Говорите, Ольга, что вы хотѣли сказать, надменно произноситъ она.

— Я не смѣю... это слишкомъ эгоистично съ моей стороны...

— Вы хотите, чтобы я переѣхала въ Петербургъ и смотрѣла за вашими дѣтьми? перебиваетъ Мари.

— Мари! въ волненіи начинаетъ кузина.

— Да, Ольга, вы, дѣйствительно, жестоки! ѣдко говоритъ Мари. — Но я васъ не упрекаю. Каждая мать готова принести въ жертву своимъ дѣтямъ чужого человѣка. Что такое чужой чловѣкъ въ сравненіи съ родными дѣтьми!..

— Мари!

— Нѣтъ, не перебивайте меня! Я васъ не упрекаю. Я считаю вполне естественнымъ ваше желаніе. Вы хотите, чтобы я бро-

сила этотъ дождь, сдѣлавшійся мнѣ роднымъ, чтобы я бросила васъ, любимую мною женщину, чтобы я жила одна въ чужомъ городѣ, въ этомъ губительномъ для здоровья Петербургѣ, чтобы я одна наблюдала за троици дѣтьми. Я чувствую, что это окончательно сломить мои силы, доведетъ меня до могилы, но я готова принести для васъ и эту жертву. Но знайте, Ольга, что это будетъ послѣдняя жертва, — да, послѣдняя: мы уже не встрѣтимся болѣе въ этой жизни—это я чувствую впередъ. Вы знаете, что такое Петербургъ!

Кузина плакала и готова была отказаться отъ своего предложенія, но Мари уже твердо стояла на своемъ и требовала, чтобы принесли ее въ жертву. Ей давно уже начинала надоедать жизнь на одномъ мѣстѣ.

И вотъ Мари помѣщается въ Петербургѣ на счетъ Ольги, беретъ въ отпуски ея дѣтей, ѣздитъ къ нимъ по разу въ недѣлю, выправляетъ ихъ, читаетъ имъ наставленія, печется о нихъ и жалуется, что ей не достаетъ средствъ, что ей дорого стоятъ заботы объ этихъ дѣтяхъ. Для большаго удобства она не нанимаетъ квартиры, а живетъ у графовъ Баскаковыхъ, богатыхъ и важныхъ родственниковъ Баскаковыхъ не графовъ. Въ этой семьѣ она также приноситъ жертву, выправляя ихъ дѣтей. Посѣщая этихъ богатыхъ и важныхъ родственниковъ, гдѣ все дышетъ роскошью, столичной сдержанностью, приличіями, дѣти Ольги играютъ роль облагодѣтельствованныхъ сиротъ-провинціаловъ, манеры, видъ и языкъ которыхъ нѣсколько коробятъ полированныхъ столичныхъ аристократовъ. Мари заставляетъ провинціаловъ молчать и смиряться передъ важными и богатыми родственниками; она заставляетъ ихъ учиться у этихъ родственниковъ приличіямъ и играть роль приживаловъ. Разнузданные провинціалы съ угловатыми манерами и грубымъ, почти народнымъ языкомъ, эти дѣти съ затаенною злобою видятъ, какъ ихъ здѣсь презираютъ, какъ ими командуютъ, какъ смотрятъ на нихъ свысока, и при первомъ удобномъ случаѣ вырываются въ тѣ дома, гдѣ среди попойки, среди падшихъ женщинъ и бѣднѣйшихъ товарищей они снова, хотя на минуту, могутъ развернуться во всю ширь своего помѣщичьяго самодурства. Рабы въ дождь богатыхъ родственниковъ, они являются тиранами въ домахъ, гдѣ нуждаются и въ ихъ жалкихъ подачкахъ.

А дома мать плачетъ, читая ужасающія письма Мари; она об-

ливаешь слезами и балуеть Даню, отданнаго въ близкій провинціальныи корпусъ и обреченнаго, по словамъ Мари, на вѣрную гибель безъ ея строгаго надзора; она томить постами и молитвами послѣдняго своего сына Максима, который тоже, вѣроятно, погибнетъ, такъ-какъ и онъ лишень надзора Мари.

Въ это время плача о дѣтяхъ и раскаянья за принесенную въ жертву Мари дѣлается легче всего доступъ въ домъ разнымъ монашенкамъ, юродивымъ, богомолкамъ и странникамъ. Они стекаются цѣлымъ полчищемъ въ старое гнѣздо и являются и утѣшителями, и сокрушителями сердца Ольги Матвѣевны. Въ домѣ служатся молебны за благоправіе дѣтей, за здоровье Мари, за отпущеніе вольныхъ и невольныхъ грѣховъ всей семьи. Въ церкви дѣлаются влады съ просьбою молиться за Ольгу, Павла, Марію, Аркадія, Софію, Петра, Данилу и Максима. Цѣлые дни проводятся въ разсказахъ о грѣшникахъ, о святой землѣ, о пустынножителяхъ, о чудесахъ. Во время разсказовъ шьются воздухи, пелены, покровы, ризы. Во время болѣзней пьется мыльная вода, кторую мыли алтарь. Въ комнатахъ теплятся лампы, пахнетъ деревяннымъ масломъ, воскомъ и ладономъ. Нищіе и больные ожидаютъ домъ — одни прося куска хлѣба, другіе ожидая какой-нибудь мази, цѣлительной травы, спасительнаго настоя. И чѣмъ больше дней несется надъ домою въ богослуженіяхъ, въ постахъ, въ молитвахъ, въ душеспасительныхъ бесѣдахъ, тѣмъ сильнѣе худѣетъ Ольга Матвѣевна, тѣмъ блѣднѣе становится ея лицо, тѣмъ суровѣе дѣлается его выраженіе. Она уже не плачетъ, она уже не скорбитъ за трудную жизнь Мари, она уже не падаетъ въ обморокъ отъ недуговъ дѣтей. Слыша разсказы о страданіи и мукахъ, она сухо и сурово произноситъ:

— Мы всѣ должны нести свой крестъ.

Передъ нею плачутъ люди о горѣ, она говоритъ:

— Вы должны радоваться! Земнымъ горемъ покупается небесное блаженство.

Проходитъ пять лѣтъ и Мари однажды пріѣзжаетъ на мѣсяцъ къ Ольгѣ. Ольга обнимаетъ ее и цѣлуетъ въ лобъ своими сухими губами, какъ цѣлуютъ ребенка. Мари закидываетъ на лобъ очки и начинаетъ жаловаться на свои заботы, на свои труды, — Ольга отвѣчаетъ ей:

— Да, Мари, я только теперь чувствую вполне небесную ра-

дось, что я могла дать тебѣ этотъ святой крестъ и открыть тебѣ путь къ вѣчному блаженству!

Мари даже растерялась отъ этого яснаго и спокойнаго тона. Она ждала слезъ, раскаянья—и вдругъ Ольга радуется, гордится, что доставила своей Мари случай отличиться! Это подѣйствовало даже на Мари и она поспѣшила къ своимъ богатымъ и важнымъ родственникамъ.

VI.

Какъ живо помнилъ все это Максимъ, какими неизгладимыми чертами ложились на его дѣтскую душу всѣ эти событія! Онъ помнить и массу этихъ странниковъ, юродивыхъ и монахинь, проживавшихъ въ ихъ домъ; особенно рѣзко напечатлѣлся въ его памяти образъ Гриши-юродиваго.

Это было грязное, оборванное, полуголое созданье, кареавшее вѣрономъ, хрюкавшее по-свинячьи, бормотавшее себѣ подъ носъ грозныя слова:

— Всѣ погибнемъ, всѣ погибнемъ! Крръ, крръ!

Максимъ не любилъ его и смотрѣлъ съ отвращеніемъ на его грязное тѣло, на его потрескавшіяся, отвратительныя руки, которыя Гриша нерѣдко опускалъ за обѣдомъ въ тарелку съ супомъ. Увидѣвъ Гришу, Максимъ сдѣлалъ недовольную гримасу и хотѣлъ уйти изъ комнаты. Мать замѣтила это и остановила мальчика.

— Останься, проговорила она ему по-французски.

— Я не могу, тапан, смотрѣть на него. Онъ весь грязный, отвѣтилъ мальчикъ.

— Онъ добрый человекъ, замѣтила мать.

— А все-таки онъ грязный, настаивалъ мальчикъ.

— Не въ тѣлесной, а въ душевной чистотѣ сила человека, пояснила мать.—Подойди къ нему.

Мальчикъ вздрогнулъ.

— Я не пойду! покачалъ онъ отрицательно головою и попятился отъ юродиваго.

— Крръ, крръ! закаркалъ Гриша и скорчилъ пальцы въ видѣ когтей.

— Видишь, онъ сердится на тебя. Иди къ нему, приказала мать.

— Укусить, укусить волченокъ! захныкалъ юродивый. — Гриша боится, Гришу обидѣть можно...

Ольга Матвѣевна растрогалась и грубо толкнула сына къ Гришѣ съ словами:

— Иди, когда говорить!

Максимъ весь побагровѣлъ, вырвался изъ рукъ матери и, толкнувъ въ сторону юродиваго, съ словами: „свинья!“, выбѣжалъ изъ комнаты.

Съ этого дня недовольство матерью перешло въ открытую вражду къ ней. Максимъ чаще сталъ заходить въ людскую, долше сталъ засиживаться съ прислугой. Потребность сердечной привязанности должна была быть удовлетворена.

И вспоминаются Максиму теперь съвозъ сонъ темные осенніе вечера: на дворѣ шумитъ вьюга, широко раздвоившаяся свѣтильня оплывшей сальной свѣчи разливаетъ какой-то мутный свѣтъ въ комнату, Настя вяжетъ чулокъ, Марья что-то штопаетъ, кучерь Вавила покуриваетъ трубку, набитую махоркой, — все тихо. Но вотъ Максимъ пристаётъ къ прислугѣ, ему хочется услышать сказку, рассказъ про ихъ семейное житье-бытье, какую-нибудь исторію изъ прошлаго. Рассказы начинаются: Илья Муромецъ и Соловей-разбойникъ выходятъ на сцену съ своими гигантскими подвигами, съ своими буйными головушками, съ своею силой-силицей. Въ жаръ и въ холодъ бросаетъ ребенка отъ этой разудалой, дикой силы, — силы сказочной. Но вотъ рядомъ съ сказкою идутъ воспоминанія Вавилы о томъ, какъ мастеровщина изъ „зарѣченскаго притона“ съ „дятловцами“ въ кулачный бой ходила. „Стѣна на стѣну шла“, говоритъ Вавила и въ воображеніи Максима уже рисуется широкое зарѣченское поле, лежащее между городомъ и селомъ „Дятлами“, и видитъ онъ мастеровщину и „дятловцевъ“, этихъ „черныхъ людей“, сомкнувшихся въ двѣ стѣны. Здоровенные кулаки, могучія плечи, дикіе крики, медленное приближеніе одной живой „стѣны“ къ другой, такой-же живой „стѣнѣ“, дикая схватка, — все это ярко представляется въ его воображеніи. И какими-то особенными существами кажутся ему эти члены „зарѣченской мастеровщины“, гнѣздящіеся въ слободѣ за рѣкой, среди закопченныхъ, гигантскихъ заводовъ, среди пыли и копоти, буйствующие

въ кабакахъ и поднимающіе тяжелые молоты. Вспоминается ему, что мама не велитъ Настѣ ходить съ нимъ гулять за рѣку, а приказываетъ гулять по Дворянскимъ и Господскимъ улицамъ и на Соборной площади; вспоминается ему, что мама называетъ „озорниками“ „зарѣченскую мастеровщину“, и странно кажется ему, почему „зарѣченская мастеровщина“ станетъ его обижать и почему мама ненавидитъ эту „зарѣченскую мастеровщину“. А какъ ему хочется посмотрѣть поближе на эту буйную и шумную жизнь какъ ему хочется взглянуть на кулачные бои! Что-то дикое, ослѣпляющее есть во всемъ этомъ. Но вотъ Настя возвышаетъ свой голосъ и замѣчаетъ, что ничего „интереснаго не можетъ быть въ этомъ безобразіи“ и что не стоитъ объ этомъ и говорить Максиму Павловичу.

— Нѣтъ, не такъ мы жили, когда мамашенька съ папашенькой ваяжъ совершили въ Петербургъ, томно вздыхаетъ она.

И начинается ея разсказъ, какъ папашенька увезъ мамашеньку.

— Откуда-же онъ ее увезъ? спрашиваетъ Максимъ.

— Отъ бабушки и отъ дѣдушки, отвѣчаетъ Настя.— Дѣдушка и бабушка хотѣли отдать ихъ за папашеньку, но мамашенька хотѣла, чтобы папашенька ихъ увезли,—тогда это въ бантонѣ было. Ну, папашенька и увезъ. Тайно это мы и въ Петербургъ пріѣхали. Вотъ ужъ гдѣ жизнь! Балы, театры, платья это модныя, магазины...

И разсказываетъ Настя о Петербургѣ, но балы, шляпки, магазины—все это какъ-то мало интересуетъ Максима; разсказъ Насти какъ-то безхарактеренъ, незанимателенъ,—видно, что она и сама не особенно искренно увлеклась Петербургомъ, что у ней это восхищеніе напускное, что она, въ сущности, не можетъ сказать, что хорошо въ Петербургѣ. Далѣе она разсказывала, какъ мамашенька любила папашеньку, какъ она не хотѣла, чтобы папашенька служилъ, потому что ей скучно сидѣть одной, какъ она плакала, бывало, когда папашенька куда-нибудь уѣдетъ въ гости, какъ потомъ папашенька вышелъ въ отставку и пересталъ ѣздить въ гости...

— Ровно два голубя, такъ-то они жили все вмѣстѣ, все вдвоемъ, добавляла Настя.—Потомъ они и сюда переѣхали, потому что шумъ это въ столицѣ, а тутъ тише, спокойнѣе.

Затѣмъ Настя умолкала и не говорила о дальнѣйшей жизни

папашеньки и мамашеньки. Но эту жизнь уже зналъ Максимъ и безъ ея разсказовъ: тишина, одуряющая тишина въ домѣ, мамашенька плачетъ о своемъ неумѣннѣ хозяйничать, о томъ, что крестьяне мало оброковъ платятъ, о томъ, что папаша разлюбилъ ее, о томъ, что ея дѣти погибнуть, о томъ, что она великая грѣшница. Тишина и слезы, слезы и тишина—вотъ все, что ярко бросалось въ глаза въ этой жизни. Какъ сильно не походила она на ту сказочную жизнь, гдѣ дѣйствовали Соловьи-разбойники и Ильи Муромцы, какъ сильно она отличалась отъ тѣхъ буйныхъ порывовъ, которыми были полны кулачные бои „зарѣченской мастеровщины“! Что-то убивающее своимъ однообразиемъ, что-то подавляющее своею плаксивою тоскою было здѣсь!

Вспоминается Максиму образъ матери: мать подчинялась, повиному, всѣмъ—мужу, прислугѣ, постороннимъ лицамъ, дѣтямъ,—это было воплощенное безсиліе. Она сознавала свое безсиліе, она говорила о немъ каждому, она плакала о немъ, оно не было ни для кого тайною. А между тѣмъ она господствовала надъ всѣми, она управляла всѣмъ. Максимъ вполнѣ сознаетъ это теперь. Случалось-ли вамъ видѣть семью, гдѣ есть больной, плачущій, медленно угасающій ребенокъ? Онъ не можетъ двинуться съ постели, его голосъ едва слышенъ, его маленькіе члены слабы, его можетъ обидѣть каждая муха, — все это знаетъ и онъ, и всѣ окружающіе его. Но между тѣмъ, входя въ домъ, вы сразу понимаете, что онъ царь въ семьѣ: всѣ ходятъ на цыпочкахъ, чтобы не встревожить его; всѣ прислушиваются къ его голосу, чтобы предупредить его желанія; всѣ становятся унылы, если онъ плачетъ; всѣ смѣются, если онъ веселъ. Никакіе крики, никакая брань, никакая сила не покоряютъ такъ семью, какъ эти жалобныя, едва слышныя, но никогда не прерывающіеся, вѣчно надрывающіе душу стоны и просьбы. Такимъ больнымъ ребенкомъ была мать Максима. Ея жалкія слова, смѣшанныя со слезами, были страшнѣе побоевъ для прислуги; ея слезы вызывали самыя горькіе упреки въ дѣтской совѣсти, если дѣти дѣлались причиной этихъ слезъ; ея покорное смиреніе передъ мужемъ, когда она говорила мужу: „я знаю, что я тебѣ надоѣла, я такая неумѣлая, такая слабая“, — дѣйствовали убійственно на мужа и онъ сознавалъ, что онъ плачетъ, а она слабая и невинная жертва; отъ этихъ слезъ уходила даже „тетушка Нѣтъ“, отъ этихъ слезъ бѣжали всѣ и дѣлали

все тайкомъ, чтобы только не вызвать этихъ слезъ. Да, отъ этихъ слезъ спасались братья въ корпусахъ, какъ отъ чумы; только страхъ передъ этими слезами заставлялъ ихъ скрывать всю свою внутреннюю жизнь: и первую невинную шалость, и первый серьезный проступокъ; изъ страха передъ этими слезами Максимъ скрывалъ отъ матери свои первые мучительные вопросы, съ которыхъ началось его охлажденіе къ матери; изъ страха передъ этими слезами онъ еще ласкался порою къ матери, когда въ его душѣ уже кипѣло раздраженіе на нее. Ложь и обманъ, затаенный разладъ и стремленіе вырваться изъ дома — вотъ что было слѣдствіемъ всего этого. Скрытность входила въ плоть и кровь братьевъ — они, неоткровенныя съ матерью, сдѣлались такими же неоткровенными между собою. Мало-по-малу между ними явилась цѣлая пропасть и было у нихъ одно общее чувство: желаніе бѣжать изъ дома. Куда? Къ друзьямъ-кутиламъ, въ холостую компанію, къ тому веселью, котораго тщетно искали они дома, къ тѣмъ оживленнымъ людямъ, которыхъ не встрѣчалось дома, къ тому шуму молодой жизни, котораго не допускалось дома. И чѣмъ буйнѣе было проявленіе веселья, жизни, молодости и силы, тѣмъ сильнѣе оно влекло къ себѣ молодежь. „Плаксивыя барышни“, „церемонныя дѣвицы“, „маменькины дочки“, — вотъ термины, которыми съ насмѣшкой обозначались ими вообще всѣ молодыя дѣвушки порядочныхъ семействъ, и отъ этихъ дѣвушекъ бѣжали братья, ожидая отъ нихъ тѣхъ-же слезъ, безсилія и жалобъ, которыя такъ надоѣли дома. Горничная съ бойкими глазами и тяжелой рукой, готовой треснуть по спинѣ своего обожателя, камелия съ циническою бранью и разухабистыми манерами, цыганка, вертящаяся передъ толпой въ ухарскомъ танцѣ съ подергиваньемъ плечъ и визгомъ, — вотъ типы, которые казались еще сносными молодымъ людямъ, но болѣе всего влекли ихъ къ себѣ друзья, буйствующие, кутящіе, ни о чемъ недумаютшіе люди безъ раскаянья и сожалѣнія. Да, братья бѣжали въ эти притоны разврата, сестра ушла въ монастырь отъ этого спертата воздуха ихъ семейной жизни, а онъ, несчастный Максимъ, одинъ дышалъ этимъ воздухомъ именно въ то время, когда уже можно было окончательно задохнуться дома.

— И отчего это у насъ такая скука? восклицалъ мальчикъ.

— Да какъ-же веселиться-то, батюшка, жалобно замѣчала На-

стя. — Мало-ли у мамашеньки и у папашеньки заботъ и горя: вѣдь вонъ сколько ртовъ накормить надо, а крестьянъ-то всего триста душъ, да и тѣ въ закладъ... Будь-ка у насъ тысячи двѣ душъ — не такъ-бы мы жили...

И теперь, въ полузабытѣи, ему казалось, что онъ не взрослый человѣкъ, а ребенокъ, что кругомъ него еще идетъ прежняя ненавистная ему жизнь, что онъ только на ночь освобожденъ отъ упрековъ матери, отъ наставленій странницъ, отъ пророчествъ Гриши, и слышится ему такъ ясно, такъ отчетливо этотъ хрипый, зловѣщій голосъ юродиваго:

— Кррь, кррь! Погибнетъ волченочекъ! Склюетъ его воронъ! Кррь, кррь!

И при каждомъ движеніи этихъ костлявыхъ рукъ, скорченныхъ въ видѣ когтей хищной птицы, глухо звенятъ ржавыя вериги юродиваго, какъ страшная музыка къ этому зловѣщему карканью.

VII.

Максимъ вздрогнулъ и очнулся отъ дремоты: его опять и на яву, какъ въ старыя годы, душила и давила эта жертвящая тишина ночи. Онъ осмотрѣлся кругомъ и въ полутьмѣ его глаза невольно остановились на двухъ отчетливо обозначившихся свѣтлыхъ пятнахъ на полу въ углу комнаты. Это были простыя свѣтлыя пятна, образовавшіяся на крашеномъ полу вслѣдствіе стершейся краски. Но Максимъ смотрѣлъ на нихъ съ какою-то невыразимою болью въ сердцѣ. Вотъ и въ другомъ углу такія-же пятна, и въ третьемъ, и въ четвертомъ. Отъ нихъ на крестъ тянутся черезъ комнату какія-то болѣе блѣдныя, чѣмъ цвѣтъ остальныхъ частей пола, полосы.

„Эти пятна, эти полосы протерты ногами отца“, мелькнуло въ его головѣ. — „Сколько разъ нужно было пройти изъ угла въ уголь, чтобы стереть эту краску съ пола?“ невольно думалось ему. — „Отъ радости, вѣрно, шагаль изъ угла въ уголь!“ горько усмѣхнулся онъ и вдругъ его лицо стало невыразимо грустно.

Передъ нимъ, какъ живой, вставалъ теперь образъ худого, блѣднаго, съ блуждающими и воспаленными глазами старика. Всклокоченные, полусѣдые волосы, впалая грудь, дряблая, морщинистая

и пожелтѣвшая кожа на лицѣ, не то улыбка, не то гримаса на тонкихъ губахъ почти беззубаго рта, привычка что-то бормотать про себя, то тусклый, то вспыхивающій зловѣщимъ огонькомъ взглядъ, дрожащія руки, нервное подергиванье плечъ и лица, — все это дѣлало старика похожимъ на сумасшедшаго.

Этотъ старикъ, старикъ по лицу, но не по лѣтамъ, былъ его отецъ.

Онъ жилъ въ послѣдніе годы и умеръ въ этой комнатѣ, рѣдко появляясь въ остальныхъ помѣщеніяхъ дома. Здѣсь все еще дышетъ памятью о немъ: вотъ пятна на полу, протертые его ногами; вотъ десятки образовъ, крестиковъ, вербъ, чотокъ, лампадъ въ углу; вотъ двѣ впадины на полу передъ образами, протертые его колѣнями; вотъ его евангеліе, молитвенникъ, календарь и записная книжка на столѣ; вотъ подкова, прибитая у дверей для спасенія отъ домовыхъ и для счастья; вотъ шквачикъ и передъ шквачикомъ опять пятна, протертые ногами. Здѣсь отецъ пилъ. Только изрѣдка, когда являлись гости, онъ надѣвалъ свой старый мундиръ и являлся внизу, не то улыбаясь, не то дѣлая судорожныя гримасы. Порой онъ сходилъ внизъ и безъ гостей, когда жена слишкомъ сильно расплачется передъ нимъ на непокорность прислуги, на нерадивость старости, неумѣющаго собрать полного оброка. Тогда трепеталъ весь домъ, а онъ, сверкая блуждающими глазами, бормоталъ полупомѣшаннымъ тономъ:

— Надо исправить и, наказуя, взыскасть...

— Онъ у нихъ того! говорили посторонніе про него, таинственно указывая на лобъ.

— Нѣтъ, онъ ничего; съ крестьянами строгъ, недоимокъ у нихъ никогда нѣтъ, возражали другіе.

Максимъ помнить, какъ они, дѣти, тайкомъ пробирались иногда къ этому старику: онъ строилъ имъ на полу или на столѣ домики изъ картъ, онъ представлялъ имъ изъ пальцевъ на тѣни зайчиковъ, онъ училъ ихъ дѣлать фокусы; такъ проходили веселые минуты и часы — и вдругъ являлась мать и начинала охать и жаловаться.

— Что это, Поль, ты зазвалъ дѣтей, ныла она. — Мы съ ногъ сбились въ поискахъ, а они здѣсь. Ты ихъ совѣмъ избалуешь. Они и такъ отъ рукъ отбились. Мари ужъ уѣхать собирается,

если ихъ такъ баловать будутъ. Что-же я стану безъ нея дѣлать? Ты-бы хотъ меня пожалѣлъ!

— Не буду, не буду, матушка Ольга Матвѣевна! бормочеть старикъ.— Это не я, это они сами... Я не звалъ. Ступайте!.. Мама плачетъ... Ступайте!..

Старикъ толкаетъ отъ себя дѣтей и быстро ходитъ по комнатѣ. Еще минута—и онъ остается одинъ; щелкаетъ замокъ его шкапчика. И этотъ человѣкъ былъ когда-то свѣтскимъ воловнтой, храбрымъ офицеромъ, завиднымъ женихомъ! Что-же его убило? Сильныя потрясенія, жгучія страсти, превратности судьбы? Нѣтъ, его жизнь шла ровно и мирно, шла среди баловъ и парадовъ, безъ цѣли, безъ работы, безъ нужды. Онъ женился, не то отъ начинавшейся скуки, не то по страстной любви, на болѣзненнымъ, слабымъ и кроткомъ созданіи. Эта женщина со слезами просила его бросить его скучную службу, чтобы не отрываться отъ дома; онъ имѣлъ состояніе и потому могъ выйти въ отставку изъ службъ, которою тяготился и безъ того; онъ зажилъ на свои средства, но не нашелъ ни дѣла, ни занятій, ни цѣли въ жизни. Онъ еще велъ безпечную свѣтскую жизнь, но эта женщина ревновала красавца-мужа и со слезами говорила, что балы и собранія похищаютъ его у нея на цѣлыя дни, что она хотѣла-бы жить вдвоемъ съ нимъ, вдали отъ людей. Онъ любилъ ее и чувствовалъ усталость отъ свѣтскихъ удовольствій и потому исполненіе просьбы жены не было для него жертвой. Они унеслись въ свой глухой уголокъ, какъ два голубя въ свое родное гнѣздо. Онъ сталъ хозяйничать, охотиться, но она со слезами говорила, что хозяйство и охота утомляютъ его, раздражаютъ его, отвлекаютъ его отъ нея, — онъ бросилъ и эти развлечения. Теперь должна была начаться, повидимому, вполне счастливая жизнь: у него не было ни дѣла, ни развлеченій, ни знакомыхъ, но у него явилась новая, уже не случайная, а постоянная подруга—тоска, — тоска безъисходная, гнетущая. Онъ началъ возбуждать себя изрѣдка водкой. Онъ пилъ скверно: тайкомъ, безъ дружеской компаніи, въ одиночествѣ. Какъ онъ превратился изъ свѣтскаго кутилы въ пьяницу, какъ онъ втянулся въ пьянство—этого не знали ни онъ, ни она, ни люди. Но онъ втянулся въ пьянство и уже не разъ онъ видѣлъ въ горячечномъ бреду чертей, привидѣнія, змѣй; его уже обманывали и зрѣніе, и слухъ: какое-нибудь пятно на стѣнѣ ка-

залось ему скверной, ухмыляющейся рожей, какой-нибудь порохъ мыши казался ему шагами приближающагося дьявола. Въ горячечномъ бреду, въ полузабытїи онъ сталъ отрещиваться отъ бѣсовъ, онъ видѣлъ разныя видѣнія, которыя преслѣдовали его и днемъ, и ночью. А между тѣмъ Гриша-юродивый сталъ учащать свои посѣщенія стараго гнѣзда.

— Крръ! крръ! каркалъ ворономъ юродивый Гриша, замазанный грязью и утыкавшій голову репейникомъ, и разбивалъ совершенно неожиданно объ полъ какую-нибудь посудину.

— Несчастье будетъ, несчастье будетъ! бормоталъ несчастный Павелъ Марьовичъ.

— Въ людяхъ-то теперь вѣра ослабѣла и несчастія разныя наслалъ на нихъ Господь въ наказаніе, причитала странница Ирина. — Дѣти родителей убиваютъ, братъ на брата встаетъ.

— Куда мы стремимся, безумные? бормоталъ Павелъ Марковичъ. — Чего хотимъ? Смиренія нѣтъ, вѣры въ насъ нѣтъ! Однѣ страсти владѣютъ нами и ведутъ насъ къ погибели.

— Что-же это будетъ? Меня никто не слушаетъ! рыдала Ольга Матвѣевна. — Данѣ чуть руку не откусила собака, а Вавила былъ на дворѣ и не слышалъ, какъ закричалъ Даня. Неужели ты ужъ и сына-то разлюбилъ, если ужъ ко мнѣ не чувствуешь больше любви?

А. Михайловъ.

(Продолженіе будетъ.)

МУЧЕНИКИ ГЕРЦЕГОВИНЫ.

(Съ сербскаго.)

Во всѣ концы родной земли
Одной великой мысли братья
Вы крестъ страданія несли,
Безмолвно слушая проклятя.
Изгнанья дальнаго края
Томили васъ въ темницахъ смрадныхъ
И чахли тихо вы, друзья,
Среди злодѣевъ безпощадныхъ.

Ничей ласкающій привѣтъ
Вамъ не звучалъ передъ могилой...
Вы ждали—вотъ блеснетъ разсвѣтъ,
Склонится къ вамъ тотъ образъ милый,
Что тамъ, на родинѣ, сіялъ,
Что улыбался вамъ такъ нѣжно...
Но съ чудной грезой умиралъ
Одинъ изгнанникъ безнадежный...

А тамъ, на родинѣ нѣмой,
Ужь былъ забытъ боецъ сраженный
И надъ могилой дорогой
Никто не плакалъ, умиленный.
И затерялося вдали
Такихъ могилъ уже не мало...
Одна мятежь чужой земли
Надъ ними билась и рыдала...

В. И. Славянской.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ПЕЧАТЬ ВЪ ПРОВИНЦІИ.

(Окончаніе.)

V.

Что-же сдѣлала провинціальная печать или, по крайней мѣрѣ, та ея самостоятельная фракція, которая громче другихъ заявляетъ о своемъ существованіи и довольно настойчиво преслѣдуетъ свои цѣли?

Повидимому, она сдѣлала немного. Плодомъ ея восьмилѣтняго (съ 1867 г.) существованія было изданіе пяти томовъ „Нижегородскаго сборника“, „Сборника въ память перваго русскаго статистическаго съѣзда 1870 года“ и „Нижегородки“—нѣчто въ родѣ нижегородскаго гйда, приспособленнаго къ нашимъ мѣстнымъ условіямъ. Всего шесть довольно объемистыхъ томовъ и одна карманная книжечка—это такихъ размѣровъ провинціальная печать, которая сама о себѣ можетъ сказать, подобно древнему мудрецу, на вопросъ: „гдѣ его имущество?“, отвѣчавшему указаніемъ на свою лысую голову: „omnia pesum porto“. Дѣйствительно, эта фракція провинціальной печати можетъ сказать о себѣ словами древняго философа, что она „все съ собою носить“. Въ шести изданныхъ г. Гацискимъ томахъ заключается все, что могло до сихъ поръ сказать о себѣ дѣльнаго все нижегородское Поволжье и что оно само узнало о себѣ. А то, что оно узнало, разбиваетъ очень много иллюзій, которыми полны были всѣ прежнія свѣденія русской центральной печати о нижегородскомъ Поволжьѣ. Подводитъ итоги всему, что сдѣлано для

русскаго отечествовѣденія нижегородскою провинціальною печатью, мы не станемъ, потому что, съ одной стороны, это выходило-бы изъ предѣловъ нашей задачи, а съ другой — едва-ли было-бы выполнимо по той массѣ матеріала, которая еще долго будетъ давать пищу и „людямъ науки“, и „талантливымъ государственными людьми“. Какъ-бы то ни было, эта фракція провинціальной печати съ честью исполняетъ свое дѣло, и изъ добытыхъ ею матеріаловъ уже не мало черпали драгоцѣнныхъ указаній и наши писатели-централисты, и „люди науки“, и „талантливые государственные люди“.

За *нижегородскою* фракціею можно поставить фракцію *сверную*, ту, представители которой въ послѣднее десятилѣтіе большею частью группировались въ Архангельскѣ, преимущественно около тамошняго статистическаго комитета, подобно тому, какъ нижегородско-поволжская фракція группируется около нижегородскаго статистическаго комитета и лично около г. Гацискаго въ лицѣ слѣдующихъ болѣе или менѣе постоянныхъ сотрудниковъ: гг. Смирнова (нынѣ покойника), Руснинова, Овсянникова, Пѣстова, Пѣвницкаго, Борисовскаго, Храмцовскаго, Коробкина, Тибрина, Журавскаго, Кудрявцева, Трушкова, Успенскаго, Тихомирова, Ермолова, Корвинъ-Круковскаго, Мельникова (Пав. Ив.), Саламникова; *священниковъ*: Троицкаго, Добровракова, Лебединскаго, Кроткова, Розова, Ястребцова, Крылова, Гуляева, Прогрессова, Добротина, Покровскаго, Поспѣлова, Кордатовъ, Владимірскаго, Рославлева, Остроумова, и *юноши* Бравинной, которой трудъ особенно рельефно выдается въ массѣ всѣхъ изданій нижегородской фракціи. Замѣчательно, что самый большой процентъ провинціальныхъ писателей въ нижегородско-поволжской фракціи составляютъ *священники*, и поэтому г. Гацискій приводитъ, какъ онъ выражается, „шуточное сравненіе“ настоящаго положенія нижегородскаго Поволжья въ отношеніи его умственно-литературнаго значенія „съ тѣми эпохами развитія народовъ, когда представителями, двигателями литературно-умственной жизни являлось духовенство“, и говоритъ: „мы на этотъ разъ, быть можетъ, уже кромѣ всякихъ шутокъ и ужъ во всякомъ случаѣ когда намъ вовсе не до шутокъ, сравнимъ самихъ себя съ А. Е. Измайловымъ... Почему, въ самомъ дѣлѣ, откровенно не поговорить на манеръ редактора „Благонамѣреннаго“, когда провинціальная пе-

чать, которой мы все-таки представляемъ частичку, стоитъ въ положеніи аналогичномъ тому, которое занимала русская печать временъ если не очаковскихъ, которыя въ этомъ отношеніи вовсе не были такъ унылы, то измайловскихъ?.”

Сѣверная фракція, едва-ли не по энергическому почину гг. Чубинскаго, Ефименко, кн. Гагарина и другихъ, если можно такъ выразиться, припльхъ людей или, вѣрнѣе, припльхъ литературныхъ и интеллигентныхъ силъ, выставила также солидную массу самостоятельныхъ работъ по изслѣдованію сѣвернаго края, которыя явились отчасти какъ мѣстныхъ, провинціальныхъ изданія, отчасти-же перешли въ изданія центральныя, какъ труды г. Сидорова и т. п., въ записки географическаго общества, какъ изслѣдованія сѣверныхъ морей—труды кн. Крапоткина, Воейкова, Рыкачова, бар. Шиллинга, Шмидта и Яржинскаго. Но начало зарожденія сѣверной провинціальной печати все-таки принадлежитъ самой провинціи, хотя лица, положившія начало этому дѣлу, и не принадлежали исключительно сѣверу. Къ такимъ припльмъ дѣятелямъ сѣверной фракціи провинціальной печати принадлежитъ и г. Немировичъ-Данченко, который, однако, въ силу законовъ неотразимаго тяготѣнія къ центру, въ силу теоріи большихъ городовъ, перенесъ свою литературную дѣятельность въ центральные органы, какъ талантъ болѣе или менѣе выдающійся, какъ горькое для провинціи подтвержденіе того, что сила, талантъ и все или почти все, выходящее изъ ряду вонъ, рано или поздно поглощается центрами, этими прожорливыми чудовищами большими городами—брюхомъ и головой провинціи. Въ этой фракціи мы можемъ указать на имена и другихъ рабочихъ, болѣе или менѣе помогавшихъ тасканью кирпича для будущаго зданія провинціальной печати,—это Истомиръ, Суворовъ, Вѣломорскій, Пилацкій, Кудрявинъ, Янинъ, Поромовъ, Соловцовъ и другіе.

Третьей фракціей провинціальной печати является фракція *сибирская*. Хотя по богатству и разнообразію силъ, которыми одновременно располагала и располагаетъ эта фракція, она и можетъ считаться одною изъ самыхъ крупныхъ фракцій провинціальной печати, однако, къ сожалѣнію, силы ея никогда не были сосредоточены, потому что не имѣли ни нравственнаго, ни топографическаго центра, около котораго, какъ силы поволжско-ни-

жегородской и сѣверной фракцій, могли-бы группироваться и оставлять прочные, систематическіе слѣды этой коллективной работы. Всѣ литературныя силы этой фракціи разбросаны по разнымъ концамъ Сибири и Россіи, и болѣе выдающіяся изъ нихъ, также подъ давленіемъ безпощаднаго закона центростремительной силы, можно сказать почти всѣ поглощены большими городами, втннуты въ интеллигентные и литературные центры. Остальныя-же силы, не находя своего центра, невидимо почти для остальной Россіи пріютились то въ мѣстныхъ „Губернскихъ“ и „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“, то въ мѣстныхъ „Памятныхъ книжкахъ“, и слѣды ихъ работы, по своей разбросанности, почти окончательно исчезаютъ; такъ что для того, чтобы знать, что сдѣлала сибирская фракція, необходимо предпринимать особое ученое изслѣдованіе, какъ-бы вновь все изучать относящееся до Сибири по неизданнымъ источникамъ и при помощи личныхъ наблюденій и изысканій. Масса именъ сибирскихъ писателей или навсегда перестали считаться сибирскими дѣятелями, или перенесли окончательно свою дѣятельность въ другія мѣстности. Стоитъ только указать нѣсколько литературныхъ силъ, и крупныхъ, и рядовыхъ, чтобы видѣть, что сибирская фракція имѣла большой контингентъ рабочихъ и могла располагать большими литературными силами, если-бы имѣла свой центръ, а не чужой,—опять ужасная теорія центровъ, теорія всепоглощающихъ большихъ городовъ! Вотъ на выдержку эти имена, крупныя и рядовыя, которыя мы располагаемъ въ алфавитномъ порядкѣ, не имѣя права сортировать ихъ по относительной крупности и мелкости: Абрамовъ, Варлаковъ, лама Галсанъ Гомбоевъ, Головинъ, Грицько (псевдонимъ), Елисеевъ, Истоининъ, Болмогоровъ, кн. Костровъ, Бривошапкинъ, Кузнецовъ, Потанинъ, Ровинскій, Романовъ, Сулоцкий, Шихменевъ, Хайдаковъ, Шашковъ, Щаповъ, Щукинъ, Ядринцевъ и множество другихъ. Изъ нихъ нѣкоторые уже умерли, другіе, какъ Грицько, Елисеевъ, Потанинъ, Шашковъ, Щаповъ, Ядринцевъ, кажется, окончательно поглощены печатью центровъ, литературою городовъ-чудовищъ, по пословицѣ, что „большимъ кораблямъ — большое и плаваніе“. Ровинскій-же—это сила бродячая, пришлая, которая столько-же принадлежитъ Сибири, сколько и Поволжью, и столько-же Малороссіи, сколько Тибету и Калифорніи. Гдѣ-же работа всей

этой обширной сибирской семьи, которая никогда не имѣла ни прочной осѣдлости, ни своего, такъ-сказать, усадебнаго мѣста, ни даже своего тягла, а разбрелась по чужимъ дворамъ то въ видѣ древнихъ „подсудниковъ“, то въ видѣ „захребетниковъ“, то въ видѣ, наконецъ, простыхъ батраковъ, кабальныхъ людей и рабовъ обѣльных? Она вся исчезла въ массѣ чужого добра, между чужимъ хозяйствомъ, и Сибирь приходится изучать снова, какъ если-бы все, что о ней написано, было уничтожено пожаромъ. А все оттого, что не было своего центра, не было того, что, по теоріи большихъ городовъ, грозитъ и заѣдать провинціи, и опустошать ихъ, и въ то-же время давать имъ силу отстаивать свое нравственное существованіе передъ болѣе крупными центрами. Между тѣмъ сибирская фракція работала для своего края много; въ массѣ матеріаловъ по отечествовденію сибирскіе матеріалы, собранные въ одно цѣлое и приведенные въ систему, могли-бы составить цѣлый обширный отдѣлъ; сибирская фракція дала очень много талантливыхъ рабочихъ; но все это, за неимѣніемъ своего центра, потянулось къ чужимъ центрамъ, куда, въ силу законовъ городского тяготѣнія, вслѣдъ за талантомъ и гениемъ тянутся, по выраженію Триго, и „овца о двухъ головахъ, и баранъ о шести ногахъ“. Въ настоящее только время нѣкоторые талантливые дѣятели этой фракціи начали группироваться около своего центра, около издающейся въ Иркутскѣ газеты „Сибирь“. Замѣчательно, что этотъ далекій провинціальный центръ печати притягиваетъ къ себѣ нѣкоторыя провинціальныя литературныя силы даже изъ Поволжья—такъ велика потребность провинціальныхъ интеллигентныхъ силъ найти для себя исходъ, а между тѣмъ органы центральной прессы для нихъ недоступны.

За сибирскою фракціею слѣдуетъ *средне-азійская*. Въ этой фракціи воспитались, такъ-сказать, первые пионеры русскаго дѣла на Востокъ, тѣ пионеры, которые не только ознакомили Россію съ странами и народами средней Азіи, прежде ей невѣдомыми, первые пронесли въ русское общество имена Ташкента, Туркестана, Ходжента, Самарканда и многія другія имена, такъ часто теперь повторяющіяся и всѣмъ извѣстныя, а прежде никому, кромѣ этихъ пионеровъ, невѣдомыя, не только указали русскому народу возможность прямого пути къ баснословному золо-

тому индійскому царству и къ библейскому Офиру, но и провели далеко въ глубь Азіи русское имя и молву о величіи русскаго народа. Между дѣятелями этой фракціи есть очень громкія въ ученомъ мірѣ имена, которыя уже не принадлежатъ провинціальной фракціи, а стали достояніемъ русскихъ центровъ и всей русской земли, какъ имена Григорьева (Василія Васильевича), Ханькова, Березина, Радде, Шварца, Шмидта, Глена, Сѣверцова, Пржевальскаго, Пашино, Федченко, столь рано погибшаго для науки, и многихъ другихъ. Въ числѣ литературныхъ силъ этой фракціи слѣдуетъ указать также и на даровитаго правописателя средне-азійской жизни, г. Каразина. Громадная историческая заслуга первыхъ дѣятелей средне-азійской фракціи, въ особенности гг. Григорьева и покойнаго Ханькова, заключается въ томъ, что они, можно сказать, открыли передъ глазами русскаго народа Новый Свѣтъ—цѣлыя невѣдомыя царства застывшаго въ своей неподвижности Востока, и, совершивъ свою историческую миссію указаніемъ русскому народу его культурныхъ и цивилизаторскихъ задачъ среди восточныхъ народовъ, скромно отошли къ сторонѣ, къ русскимъ центрамъ, гдѣ каждаго изъ нихъ ждала своя дѣятельность. Русскому народу послѣ этого предстоялъ уже свободный выборъ — какое употребленіе сдѣлать изъ того богатаго открытія, которое предоставляли ему пионеры русскаго дѣла на Востокѣ, и какиимъ путемъ повести свою цивилизаторскую миссію въ глубь Азіи.—И вотъ мы видимъ, что русскій народъ или, вѣрнѣе сказать, государственные его представители, пораженные перспективой того, что имъ открывалъ свободный путь въ среднюю Азію, откуда когда-то выходили и хищники русскаго народа, разные Тамерланы и Мамаи, — ведутъ этииъ указанными пионерами путемъ русскій народъ къ библейскому Офиру черезъ земли Худояръ-хановъ, Якубъ-бековъ, Адуррахимъ-хановъ, Музафаръ-Эддиновъ, Ширъ-Алеевъ и другихъ представителей неподвижнаго Востока. Что ждетъ русскую цивилизаторскую миссію на дальнемъ Востокѣ — скажетъ будущее. О средне-азійской фракціи можно сказать, что она еще менѣе, чѣмъ сибирская, представляетъ что-либо цѣлое, сгруппированное около даннаго центра: она положительно не имѣла ни своего органа печати, ни своего средоточія, которое скорѣе находилось въ Петербургѣ, въ залахъ географическаго

общества, чѣмъ гдѣ-либо на русскомъ Востокѣ, такъ-что, напр., то, что не попадало въ Петербургъ, находило иногда пріютъ въ рѣдко кому извѣстныхъ повременныхъ изданіяхъ. Правда, въ 1872 году сдѣлана была искусственная попытка создать самостоятельный русско-азиатскій органъ печати. Мысль объ этомъ органѣ зародилась путемъ разныхъ комбинацій, а не вслѣдствіе сознанный и назрѣвшей, если можно такъ выразиться, потребности края, и притомъ зародилась въ центрѣ, въ Петербургѣ, чисто-механическимъ путемъ. Но несмотря на то, что г. Пашино сосредоточилъ около себя не мало выдающихся литературныхъ силъ, собственно силъ центральныхъ съ точки зрѣнія теоріи большихъ городовъ, изданіе его, названное „Азіатскимъ Вѣстникомъ“, не пошло дальше одного или двухъ, кажется, выпусковъ; такъ-что 15 февраля 1873 года, въ № 7 „Указателя по дѣламъ печати“ офиціально было оглашено слѣдующее распоряженіе главнаго управленія печати: „4 февраля, въ виду истечения годового срока со дня выпуска послѣдняго нумера журнала „Азіатскій Вѣстникъ“, изданіе онаго, на точномъ основаніи ст. 10, гл. II, приложенія къ ст. 5 (примѣч. 4), уст. цензурн. по продолж. 1868 г.,—*признано прекратившимся*“. Это—смерть отъ „младенческой“, какъ говорится. Ясно, что „Азіатскій Вѣстникъ“ — явленіе искусственное, подогрѣтое, вышедшее изъ литературно-дипломатической реторты, и притомъ оно не составляло принадлежности провинціальной печати. Но гибель его не доказываетъ еще, что на Востокѣ нѣтъ пока мѣста для печати: нѣсто это есть и въ печати не можетъ не чувствоваться настоящей потребности, но только не въ такой печати, какъ большой литературный журналъ, при сотрудничествѣ литературныхъ генераловъ, а въ совершенно другой,—въ *какой* именно, это должно подсказать мѣстнымъ литературнымъ силамъ, если тамъ таковыя есть, ихъ литературное чутье и ихъ писательскій тактъ.

Затѣмъ самостоятельною до извѣстной степени фракціею является *кавказская*. Эта фракція гораздо счастливѣе другихъ тѣмъ, что можетъ имѣть свой центръ и обладаетъ всѣми необходимыми условіями для сконцентрированія своихъ литературныхъ силъ. У нея даже были и есть свои органы печати, какъ газета „Кавказъ“. Есть и свой отдѣлъ географическаго обще-

ства, который, впрочемъ, имѣютъ и сибирская фракція, и средне-азійская въ такъ-называемомъ оренбургскомъ отдѣлѣ географическаго общества, изданія коего, однакожь, выходили въ Казани, за неимѣніемъ, вѣроятно, въ средней Азіи типографій, которыя до утвержденья тамъ русскаго дѣла въ той степени, въ какой оно поставлено въ нашихъ средне-азіатскихъ областяхъ теперь, конечно, и не могли имѣть ни мѣста, ни значенія. Первыми дѣятелями кавказской фракціи, хотя до известной степени случайными и какъ-бы рефлексивными, можно назвать самыхъ первыхъ представителей прошедшаго нашей литературы и самыхъ славныхъ ея корифеевъ—Пушкина, Лермонтова, Марлинскаго и др., которые талантливымъ изображеніемъ картинъ кавказской жизни и природы, поэтическимъ оживотвореніемъ всего, чѣмъ питается духъ человѣческій въ этомъ богатомъ поэзію краѣ, и, наконецъ, своею личною связью съ этимъ краемъ сдѣлали его и дорогимъ для всякаго русскаго сердца, и болѣе какъ-бы понятнымъ для русскаго ума. Конечно, ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Марлинскаго нельзя назвать дѣятелями провинціальной кавказской печати; но и отдѣлить ихъ отъ нея нельзя, какъ нельзя отдѣлить Григорьева, Ханькова, Сѣверцова и Федченко отъ нашего азіатскаго Востока, Потанина и Шапова отъ сибирскаго края, Сидорова и Журавскаго отъ нашего сѣвера, Гацискаго отъ нижегородскаго Поволжья; какъ нельзя, наконецъ, отдѣлить отъ кавказской фракціи цѣлой массы писателей, и случайныхъ, и пришельцевъ, и осѣдлыхъ кавказцевъ, которые положили хоть по одному кирпичу въ то зданіе, о коемъ мы ведемъ рѣчь. Имена эти — имена ученыхъ и путешественниковъ, специально изучавшихъ Кавказъ, имена офицеровъ и генераловъ, участвовавшихъ въ приобрѣтеніи Россіею этой страны, какъговорится, *et ferro, et reppa*, и имена собственно кавказскихъ дѣятелей печати. Достаточно будетъ только указать на самую малую часть этихъ именъ, чтобы видѣть, что изъ коллективной дѣятельности кавказской фракціи могло-бы создаться что-либо цѣльное и капитальное, если-бы дѣятельность эта была регулируема одною крупною руководящею литературною силою или-же-бы строго преслѣдовала разъ сознанныя и достаточно взвѣшенныя цѣли и задачи. Вотъ на выдержку нѣсколько именъ, оставившихъ въ мѣстной кавказской и центральной печати слѣды своей дѣятельности въ пользу

изученія кавказскаго края: Андріевичъ, Баркадзе, Бахтамовъ, Бекетовъ, Волконскій, Головинскій, вн. Голицынъ, Горчаковъ, Девель, бар. Дельвигъ, Димидовъ, Духовскій, Зиссерманъ, Костемеровскій, Лазаревъ, Макаровъ, Мельгуновъ, Околыничій, Пасербскій, Пичигинъ, Прокофьевъ, Радецкій, Романовскій, Слусаренко, Стебницкій, Фадѣевъ (Ростиславъ), Ховенъ, Чистовичъ, Штанге и многіе, многіе другіе.

На южныхъ окраинахъ Россіи давно образовалась отдѣльная и весьма обширная фракція — *новороссійская*, которая имѣла свое средоточіе въ Одессѣ и располагала значительными силами; но вслѣдствіе разныхъ условій, всё эти силы почти исключительно были направлены на изученіе древностей новороссійскаго края, Крыма и всего южнаго поморья, а живныя силы страны долго оставались внѣ всякаго мѣстнаго изслѣдованія. Новороссійская печать сначала выражалась большею частью въ дѣятельности одесскаго общества исторіи и древностей, и только въ послѣднее время силы ея стали группироваться около „Одесскаго“, „Николаевскаго“ и „Азовскаго“ вѣстниковъ и „Новороссійскаго Телеграфа“. Изъ прежнихъ дѣятелей новороссійской фракціи мы можемъ указать на Беккера, Бруна, Вуткова, Вигеля, Грефе, Жила, Закревскаго, Келера, Краснова, Лебединцева, Матерно, Мурзакевича, Негра, Рощаковскаго, Скальковскаго (отца), Сушкова, Тембу-де-Мариньи, Циммермана и др. Къ изслѣдователямъ новѣйшаго времени слѣдуетъ отнести Гейнса, Чаславскаго и др., которые, впрочемъ, столько-же принадлежатъ новороссійской фракціи, сколько Ливингстонъ африканской, а Вамбери — средне-азійской русской.

Наконецъ, есть еще двѣ фракціи — *сѣверозападная* и *югозападная*.

О первой изъ нихъ можно сказать только то, что всё силы ея почти исключительно направлены къ восстановленію въ сѣверозападномъ краѣ русскихъ началъ, нарушенныхъ тѣмъ, что историческія судьбы этого края шли далеко не однимъ путемъ со всею остальною русскою землей. Въ дѣятельности этой фракціи выражаются потребности, въ первой мѣрѣ, государственныя, а затѣмъ уже мѣстныя краевыя и народныя. Тамъ до сихъ поръ еще идетъ борьба изъ-за преобладанія русской рѣчи надъ тѣми прочными наслоеніями чужого языка, которыя, такъ-сказать, обрѣп-

ли надъ массою населенія втеченіи не одного вѣка оторванности этого края отъ ядра русской земли. Трудно указать поименно хотя-бы на главныхъ дѣятелей этой фракціи, потому что они болѣе чѣмъ во всѣхъ другихъ окраинныхъ русскихъ фракціяхъ представляютъ собою силы временныя, пришлыя, постоянно мѣняющіяся: то тамъ дѣйствуетъ Говорскій, то Гильтебрандтъ, то Шейнъ, то де-Пуле, то галичанинъ Головицкій, то, наконецъ, Кояловичъ; раньше этихъ дѣйствовали другіе, которые смѣнились третьими; третьи смѣнились четвертыми и т. д. Хотя средоточіемъ этой фракціи является Вильна, гдѣ есть и мѣстные органы печати, однако главныя силы и руководящія направленія фракціи исходятъ изъ русскихъ центровъ, такъ что мѣстная печать является тамъ чѣмъ-то въ родѣ миссіонерской пропаганды. На-сколько печать помогаетъ въ этомъ краѣ водворенію русскаго дѣла на прочныхъ началахъ — трудно сказать; но, во всякомъ случаѣ, историческое колесо этого края все болѣе и болѣе направляется на тѣ историческіе рельсы, по коимъ движется вся русская земля.

Затѣмъ остается послѣдняя и самая обширная фракція провинціальной печати — *югозападная* или кievская. Объ ней мы скажемъ особо, такъ-какъ она представляетъ собою наиболѣе выдающееся явленіе въ исторіи не только русской провинціальной печати, но и русской литературы вообще.

VI.

Фракція югозападная или кievская — въ сущности даже не фракція, а до нѣкоторой степени цѣлая страна съ самостоятельной литературою, которая и называется иногда „малорусскою литературою“, хотя, съ другой стороны, у нея и оспаривается право на самостоятельное существованіе. Ни говорить объ историческомъ и литературномъ прошломъ этой фракціи, ни поднимать еще столь недавно занимавшіе русскую печать вопросы, затронутые этой фракціею, — мы не станемъ: это значило-бы шевелить могильныя кости, которыя жизнью и смертію заслужили право на то, чтобъ ихъ оставили въ покоѣ; это значило-бы начесывать ненужный зудъ въ такихъ сферахъ общественной мис-

ли, которыя непременно сведутся къ толкамъ объ „украинофильствѣ“, о „хохломаніи“, о какомъ-то „сепаратизмѣ“; это значило-бы, наконецъ, ставить добытыя наукою и историческою опытностью народовъ истины въ неловкое положеніе — быть непонятыми и непризнанными.

Какъ-бы то ни было, но малорусская фракція — самая богатая, послѣ центровъ, по отношенію къ тѣмъ результатамъ, которые добыты коллективнымъ работою этихъ силъ. Стоитъ только упомянуть десятки именъ, съ которыми соединены болѣе или менѣе дорогія воспоминанія украинской интеллигенціи, чтобы видѣть, что для оцѣнки коллективной работы малорусской фракціи въ будущей исторіи русской литературы и русской цивилизаціи должна быть отведена широкая страница, и на ней рядомъ выставляются имена и славныхъ покойниковъ, дюжихъ ломовыхъ работниковъ, съ именами дѣла, которому они служили, и скромныя имена ихъ учениковъ, „кобзарскихъ міхонощъ“, которыхъ если и не хватало для крупной работы, то хоть тѣмъ они заслужать добрую память исторіи, что за своими „дѣдами-старцами торбу носили старчачу“, а въ той торбѣ было — мірское добро, по шмоткамъ собранное и руками „міхонощъ“ сбереженное. И здѣсь, какъ въ другихъ фракціяхъ, мы не отдѣляемъ крупное отъ мелкаго, ибо почти всегда бываетъ такъ, что крупное само не существовало-бы безъ мелкаго, какъ гигантскіе стволы корабельнаго лѣса не растутъ въ полѣ, а выхолнваются въ чащѣ дубоваго лѣса, гдѣ есть и гиганты-дубы, и мелкая подсеѣдь. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ именъ, расположенныя по демократическимъ требованіямъ алфавита: Амвросій Могила, Антоновичъ, Бодянский, Боровиковскій (Левко), Вѣловерскій, Вовкъ (Волковъ), Галузенко, Гоголь, Гольдштейнъ, Гребенка, Гулакъ-Артемовскій, Драгомановъ, Ицько Маперника, Іеремія Галка, Костомаровъ, Коргунъ, Котляревскій, Кулишъ, Бульжинскій, Лазаревскій, Левицкій, Лисенко, Максимовичъ, Марко Вовчокъ, Метлинскій, Нечуй, Нечуй-Вітеръ, Номисъ, Носъ, Опатовичъ, Падура, Подушка, Руссовъ, Срезневскій, Старицкій, Стороженко, кн. Цертелевъ, Чубинскій, Чужбинскій, Шевченко, Шишацкій-Илличъ, Щоголевъ и много, очень много другихъ.

Но будущая исторія занесетъ на свою широкую страницу и одну общую, тоже можно сказать коллективную ошибку, которую

малорусская фракція погрѣшила противъ самой себя: ошибка эта заключается въ томъ, что дѣятели кievской фракціи долго не понимали сами своей задачи и, подобно женѣ Лота, сиделись оглянуться назадъ, хотя позади ихъ стоялъ не библейскій Содомъ съ Гоморю, а что-то очень симпатичное, и хотя очень хорошо знали, что всякое такое оглядыванье грозитъ превращеніемъ въ соляной столбъ. Впрочемъ, трудно было и не оглядываться, хотя нельзя не замѣтить, что этой слабости всегда поддаются люди, чувствующіе свое безсиліе въ настоящемъ и пережившіе свою силу, т. е. старцы-люди и старцы-народы.

Какъ-бы то ни было, но въ настоящее время нѣкоторые передовые представители украинской фракціи, повидимому, поняли ошибку своихъ предшественниковъ, и первымъ изъ такихъ появившихся, какъ намъ кажется, выступаетъ теперь съ новою, вполне трезвою рѣчью г. Драгомановъ. Въ недавно вышедшей статьѣ „Ново-кельтское и провансальское движеніе во Франціи“ этотъ молодой ученый, которому нельзя отказать въ дарованіи, говоря объ оглядываньи назадъ бретонскаго поэта Вризе, жалуящагося, что время и цивилизація заѣдаютъ прекрасный кельтскій языкъ, приводитъ одно изъ его стихотвореній, гдѣ, между прочимъ, поэтъ съ ужасомъ и омерзѣніемъ говоритъ о проведеніи въ Бретань желѣзной дороги, о томъ, что ненавистный локомотивъ, который онъ называетъ „желѣзнымъ, краснымъ дракономъ, чудовищемъ слѣпымъ и глухимъ“, превратитъ мирныхъ бретонскихъ поселянъ въ „купцовъ“ и „промышленниковъ“, что „холодные строители дороги способны сдѣлать загороду изъ могилы Артура“, и, наконецъ, восклицаетъ: „О, Боже! который насъ создалъ воинами или поэтами на берегахъ моря и пастухами въ поляхъ, не склоняй нашихъ головъ передъ гнусными барышами, не дѣлай изъ бретонцевъ народа купцовъ! Природа, добрая мать, удали отъ насъ и промышленность!...“ По поводу этого г. Драгомановъ говоритъ, что „далеко не одно удаленіе въ прошлое можетъ сохранить человѣчность въ сельскихъ классахъ и спасти ихъ отъ буржуазнаго варварства, вооруженнаго всѣми матеріальными орудіями цивилизаціи...“ „Тутъ (замѣчаетъ онъ) можетъ оказать помощь только проведеніе въ народъ именно передовыхъ идей городскихъ классовъ и широкая реформа общественная, которая объединила-бы интересы классовъ городскихъ и сель-

скихъ“. Въ другомъ мѣстѣ, указывая на такое-же оглядыванье назадъ бретонскаго поэта Люзеля, г. Драгомановъ говоритъ, что „Люзель представляетъ ту степень развитія національнаго самосознанія, которая всего сильнѣе проявляется у народовъ, подавленныхъ исторіей, но которая замѣчается и „среди народовъ большихъ, если они на время отстаютъ отъ движенія другихъ народовъ и естественно подпадаютъ ихъ вліянію“; что у патриотовъ такихъ поотставшихъ народностей является вражда не только противъ того, кто ихъ обогналъ, но и „вражда противъ „духа прогреса“ въ принципѣ, противъ „вѣка“ съ его нравственными и матеріальными пріобрѣтеніями“... „Патріоты-націоналы съ перваго раза не соображаютъ (развиваетъ далѣе свою мысль г. Драгомановъ), что эти пріобрѣтенія, если, при извѣстныхъ условіяхъ, и составляютъ вышнее орудіе для гнетущаго элемента, для эксплуатаціи имъ любезнаго народа, то только одни могутъ послужить орудіемъ и для освобожденія этого народа отъ эксплуатаціи. Это послѣднее народъ, — поневолѣ реалистъ, — самъ прекрасно чувствуетъ, и въ существѣ дѣла болѣе дорожитъ такими вещами, какъ паръ, чѣмъ самыми прекрасными стихами патріотовъ, поющихъ о прошлой славѣ, о короляхъ Артурахъ и т. п., — и ради того, чтобъ овладѣть этимъ реальнымъ знаменіемъ дракона (локомотива), отказывается и отъ признаковъ національности, языка, одежды, преданій...“

Дѣйствительно, это замѣчательная черта всѣхъ вымирающихъ народностей — плаканье о своемъ прошломъ и вражда противъ всего новаго, противъ видимыхъ и невидимыхъ знаменій прогреса, будь это чуждый языкъ, не національный костюмъ, чуждые промыслы, или желѣзная дорога, паръ, локомотивъ, пароходъ, даже школа. Недавно, по поводу совѣсьмъ другихъ вопросовъ, мы указывали на то, какъ потомки храбрыхъ запорожцевъ, на своихъ утлыхъ лодочкахъ-чайкахъ, громившихъ когда-то турецкія галеры, сдѣлавшись нынѣ азовскими и черноморскими моряками-каботажниками, плачутся, что ихъ бѣдные каботажны и ихъ „бѣлыхъ лебедей“ (парусныя суда) заѣдаютъ „черныя коршуны“ (пароходы); когда-же имъ совѣтуютъ тоже завести артельные пароходы и поучиться плавать съ компасомъ, они отвѣчаютъ, что „компасъ имъ безъ надобности“, т. е. не нуженъ вовсе; теперь намъ приходится указывать на ту-же черту у вымирающихъ по-

томковъ короля и богатыря Артура, жалующихся, что ихъ заѣдаетъ „жельзный драконъ“ — локомотивъ. Между тѣмъ ни „черныхъ коршуновъ“, ни „жельзныхъ драконовъ“ не боятся и не плачутся на нихъ тотъ народъ, которому суждено историческое долговѣчiе, — а присуждаетъ себѣ историческое долговѣчiе всякій народъ самъ, если онъ пойметъ требованiя жизни и законы мирового движенiя и работаетъ для нихъ, а не замыкается въ свою національную скорлупу, чтобъ тамъ плакать о своемъ прошломъ, о заѣданiи его языка другими языками и т. д. Въ то время, когда поэты вымирающей народности, Люзель и Бризѣ, потомки короля Артура, сочиняютъ на своемъ языкѣ прекрасные стихи противъ жельзной дороги и промышленности, наши Карпы и Сидоры, потомки тѣхъ Карповъ и Сидоровъ, которыхъ когда-то драли какъ Сидорову козу татары, тоже сочиняютъ стихи, но только не противъ жельзной дороги, а во славу ея, стихи въ высшей степени нелѣпые по отношенiю къ художественности, но умнѣе все-таки тѣхъ, надъ которыми плачутъ вымирающiе слянтя, потомки короля Артура; — умнѣе потому, что Карпы и Сидоры очень хорошо знаютъ, гдѣ раки (т. е. цивилизациа) зимуютъ, а потомки Артура не хотятъ этого знать, потому что имъ непремѣнно хочется писать стихи на своемъ *patois*. Вотъ какъ русскiй мужичокъ воспѣваетъ „чугунку“, которая даетъ ему возможность изъ своихъ захолустьевъ, изъ русской Бретани, добираться до центровъ и тамъ вмѣсто національныхъ, историческихъ лаптей зарабатывать себѣ космополитическiе сапоги:

Какъ на дворикъ тотъ взойдешь,
Тамъ еще болѣ найдешь:
На воротахъ двѣ доски —
Петербургски и московски,
Что за дивная лошадка,
Богатырская повадка.
Войдетъ, взойдетъ, за собой много ведетъ —
По двѣнадцати вагоновъ, и не дѣлаетъ прогоновъ,
Отъ вокзала до вокзала, и не дѣлаетъ привала.
Отдашь денежки на мѣстѣ,
Очутишься верстъ за двѣсти.
Что за дивный, славный конь!
Не ѣсть сѣна, ни овса,
Только пьеть воды помногу

Да и стонеть всю дорогу.
 Войдетъ, пройдетъ, за собой много ведетъ.
 До чего народъ доходить—
 Самоваръ въ пристяжкѣ ходить!

Пѣвца видимо поражаетъ, и поражаетъ пріятно, человѣческая изобрѣтательность, сила ума: „до чего народъ доходить—самоваръ въ пристяжкѣ ходить...“ Это великолѣпное сравненіе—чисто-русскій юморъ, доказывающій, что лапотъ ничего въ мірѣ не боится—ни „желѣзнаго дракона“, ни „черныхъ коршуновъ“, и очень хорошо понимаетъ ихъ силу, съ которою при первой возможности и вступаетъ въ союзъ. Въ другой современной пѣснѣ наши Карпы и Сидоры, возвращаясь на „чугункѣ“ изъ Питера, съ заработковъ, къ себѣ въ деревню, поютъ:

Мы до Питера идемъ,
 Сѣру корочку грыземъ,
 А изъ Питера идемъ—
 Сладки пряники жуемъ,
 Со „машиной“ рѣчь ведемъ:
 Ахъ, машина, ты машина,
 Расчудесная ѣзда!..

Вотъ эта-то самая черта въ великорусскомъ народѣ и радуетъ насъ. Къ сожалѣнію, черта эта не замѣчается у внимающихъ народностей или у народностей, почему-либо временно заснувшихъ. Когда мы въ одной изъ своихъ экономическихъ статей указали на это и дали понять, что у малорусскаго народа и въ особенности у его интеллигентныхъ представителей, вслѣдствіе разныхъ историческихъ условій, появилась въ голосѣ плачущая, погребальная нота—плачущая о старинѣ, о своихъ короляхъ Артурахъ, а между тѣмъ, повидному, не находится достаточно энергіи, чтобы заставить „желѣзнаго дракона“ работать на свой народъ, какъ онъ работаетъ уже на москаля, хотя порядкомъ и обираетъ его,—на насъ вскинулись, какъ на оскорбителя народной украинской чести. Но надѣмся, что это было простое недоразумѣніе, которое уже и выяснилось.

Въ виду разсматриваемаго нами вопроса о печати въ провинціи, мы не можемъ не обратить вниманія на одно мѣсто въ статьѣ г. Драгоманова, гдѣ онъ, хотя и не прямо, а какъ-бы нечаянно касается отчасти теоріи центровъ. Говоря о томъ, что патріоты-націоналы, замѣчая, какъ народъ, по своему практиче-

скому чутью, охотно подаетъ руку на союзъ съ „железнымъ дракономъ“, „сердятся пуще на самый народъ“, проклиная его деморализацію и приписывая ее чужеземцамъ, г. Драгомановъ замѣчаетъ, что „не только процессъ деморализаціи, но и самаго обезнароживанья можно остановить только тогда, когда патріоты-націоналы перестанутъ воевать съ матеріальнымъ и нравственнымъ прогрессомъ, съ духомъ вѣка, а, напротивъ, призвать его на службу самому дѣлу возрожденія народности“ (?). „Обратимъ, говоритъ онъ,—вниманіе хоть на такое орудіе прогресса, какъ локомотивъ, который встрѣтилъ такъ недружелюбно Бризе, предполагая, что онъ поможетъ стиранію особенностей Бретани. Часто и со стороны централистовъ слышится такая-же самая мысль, а именно, что областныя отличія живутъ только до тѣхъ поръ, пока желѣзныя дороги, телеграфы и т. п. не соединили окраинъ съ нивелирующимъ центромъ. А между тѣмъ и эти надежды централистовъ и сѣтованія автономистовъ, какъ Бризе, основаны на ошибкѣ въ расчетѣ. Дѣйствительно, ускореніе движенія отъ центра къ окраинѣ усиливаетъ вліяніе перваго, но и его подвергаетъ вліянію окраины, а главное—гораздо болѣе усиливаетъ движеніе и объединяетъ части самой окраины, т. е. увеличиваетъ ея силу сопротивленія дѣйствію центра. Благодаря „красному дракону“, парижанинъ, точно, можетъ три раза въ годъ побывать въ Реннѣ, Ваннѣ и т. п., но житель Ренна можетъ за то десять разъ побывать въ Ваннѣ и т. д. Въ то-же время возможность бретонцу быстро и часто переноситься за предѣлы его родины реактивно возбуждаетъ въ немъ сознаніе его индивидуальности. Прибавить нужно, что связь отсталой провинціи съ центромъ культуры дѣлаетъ первую болѣе чуткою къ идеямъ свободы, къ сознанію личнаго достоинства, которыя ведутъ за собою и сознаніе національности. Вотъ чѣмъ объясняется то обстоятельство, что именно наше время, время ускоренныхъ средствъ сообщенія, есть именно время возрожденія самыхъ заснувшихъ, повидному, навѣки разновидностей человѣчества“.

Но въ томъ-то и дѣло, что и то, что кажется г. Драгоманову, и то, что кажется централистамъ, — все это еще вопросы науки, и вопросы очень сложные, которые нельзя такъ легко разрѣшать, сказавъ, что желѣзныя дороги усиливаютъ движеніе къ центрамъ, или что желѣзныя дороги усиливаютъ движеніе къ

окраинамъ, или что, наконецъ, желѣзныя дороги усиливаютъ перекрестное, взаимное движеніе между и внутри окраинъ, болѣе чѣмъ отъ окраинъ къ центрамъ. Дѣло-то въ томъ, что послѣднихъ явленій современная жизнь не представляетъ и мы ихъ нигдѣ не замѣчаемъ, а первыя-то совершаются на каждомъ шагу, особенно при ближайшемъ знакомствѣ съ процесомъ желѣзнодорожной циркуляціи: желѣзныя дороги, телеграфы, „красные драконы“ и „черныя коршуны“ оказываются союзниками по преимуществу центровъ, а не окраинъ, т. е. союзниками объединенія, а не разъединенія, союзниками силы, какъ пушка и капиталъ—союзники того, у кого они въ рукахъ, или какъ палка, которая хотя и служитъ союзникомъ тому, кто ее держитъ, а не динь коню. До сихъ поръ замѣчается, что тамъ, гдѣ пролагались желѣзныя дороги и улучшались средства передвиженія, все отъ окраинъ стремилось къ центрамъ, начиная отъ всего выдающагося интеллигентно и кончая всѣмъ выдающимся физически, хотя-бы это была баба Анисья съ окладистой бородой, показывавшаяся въ Петербургѣ, или Остапъ Вересай, охотно пѣвшій свои думы въ центрѣ, потому что центръ хорошо его наградила за это и, можетъ быть, лучше оцѣнила, чѣмъ окраины, или, наконецъ, „овца о двухъ головахъ и баранъ о шести ногахъ“, о которыхъ говоритъ Триго. Желѣзная дорога и паръ несутъ мужика изъ самыхъ невообразимыхъ захолустьевъ въ центры, а въ невообразимыя захолустья изъ центровъ рѣдко кого носятъ, кромѣ развѣ того-же мужика, который возвращается въ свое захолустье нерѣдко съ знаменіями цивилизаціи—въ космополитическомъ сапогѣ вмѣсто національнаго лаптя, съ женевскими часами и дѣпочкой польскаго серебра на брюхѣ вмѣсто вязниковскаго гребешка у пояса, въ нѣмецкомъ пальто вмѣсто русскаго зипуна, и, конечно, нерѣдко съ французской фистулой вмѣсто славянскаго носа—тоже своего рода печальное знаменіе цивилизаціи и стиранія національныхъ разновидностей. Эта-то цивилизація и дѣлаетъ то, что не столько пробуждаетъ уснувшія разновидности, сколько стираетъ ихъ вмѣстѣ съ языкомъ. Въ томъ-то и дѣло, что никогда еще не было такъ, чтобы сближеніе двухъ сосѣднихъ селъ укоренило въ каждомъ изъ нихъ еще болѣе привязанность къ тому, къ чему

они привыкли, хотя-бы одно село привыкло къ шляпѣ гречушникомъ, а другое—къ шляпѣ приплюснутой; а, напротивъ, гречушники перейдутъ туда, гдѣ ихъ не было, а приплюснутыя вытѣснятъ, въ свою очередь, гречушники, а въ концѣ-концовъ появится космополитъ картузь—цивилизациа, и всѣ собою головы покроетъ. Въ томъ-то и бѣда, что парь и казанскаго, а равно темниковскаго татарина, служащаго у Дюссо, отполировалъ такъ, что онъ уже забываетъ не только свою родную Казань, или Сенгилей, или Темниковъ, но и свой родной языкъ; мало того онъ уже перекидывается французскими фразами. Бѣда въ томъ, что и чистокровнаго потомка запорожца теперь нѣрѣдко не отличишь отъ москаля и нѣмца не только по костюму, но и по языку, потому что парь и легкость передвиженія отъ окраинъ къ центру вытѣснили изъ его памяти родную рѣчь и онъ уже затрудняется говорить по-кельтски. По мѣрѣ того, какъ „красный драконъ“ и цивилизациа захватываютъ все большее и большее пространство на землѣ, вопросъ о національностяхъ становится отпѣтымъ вопросомъ, чistou этнографическою археологіею. На его мѣсто выступаетъ вопросъ жизни и смерти другого рода— вопросъ „быть или не быть“ экономической свободѣ окраинъ при ужасающемъ развитіи центровъ во всѣхъ отношеніяхъ—центровъ интеллигенціи, центровъ капитала, центровъ наукъ, центровъ индивидуальнаго знанія, центровъ силы, центровъ гениальности и даровитости, центровъ монополій и монополій всѣхъ монополій. Дѣло-то въ томъ, что парь, облегчая возможность передвиженій, вызываетъ въ то-же время необходимость болѣе тѣснаго сближенія, а не разъединенія съ тѣми, съ кѣми при этихъ передвиженіяхъ приходится человѣку сталкиваться. А необходимость сближенія ведетъ за собою необходимость болѣе легкаго взаимнаго пониманія сближающихся, и сначала объясненіе между ними происходитъ мимически, такъ что, при желаніи получить отъ иноязычнаго сосѣда молока, приходится русскому солдатику становиться на карачки и quasi-донить себя; а когда такой наглядный и не совсѣмъ удобный способъ объясненія надѣдается, то солдатикъ своимъ практическимъ умомъ додумывается до необходимости созданія общаго языка цивилизации, и въ пользу этой идеи, въ пользу цивилизации жертвуетъ правиль-

ностью и красотой своей рѣчи, говоря французу, чтобы быть болѣе понятнымъ — „мой хочеть, мусью, буль-буль“, вмѣсто „я хочу воды“. „Мой хочеть, мусью, буль-буль“ — это и есть тотъ будущій языкъ человечества, та, повидимому, варварская амальгама, которую, если разобрать строго-филологически, представляютъ всѣ индо-европейскіе языки, безсовѣстѣйшимъ образомъ исковеркавшіе священную санскриту или божественный языкъ кави (kawi-sraghe) въ тотъ именно несчастный періодъ мірового сепаратизма, когда всѣ народы земного шара, какъ говорятъ преданіе, составлявшіе одну великую семью и понимавшіе другъ друга, повздоривъ между собою при построеніи вавилонской башни изъ-за того, что москалямъ больше нравились у „дѣвокъ глаза сѣрые съ поволокой“, а хохламъ — „дѣвчачі карі очі“, разбрелись по всему лицу земли и, при отсутствіи тогда желѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ, не имѣя возможности видѣться другъ съ другомъ, окончательно разучились понимать одинъ другого, понавдумывавъ себѣ такихъ языковъ, парѣчій, подрѣчій, говоривъ, начиная отъ „арго“ и кончая „офенскимъ“ языкомъ, что теперь ихъ и на счетахъ г. Езерскаго не сосчитаешь. И обазывается, что всѣ эти языки офеней и какихъ-то кельтовъ, языкъ нѣмцевъ и русскихъ и проч. и проч., стали страшнымъ зломъ въ дѣлѣ цивилизаціи и общечеловѣческаго объединенія, поставивъ между людьми перегородки, поддерживающія въ человечествѣ взаимную вражду, и все это только изъ-за привычки, изъ-за личнаго вкуса, потому что русскому, привышему къ своему языку, языкъ нѣмца кажется „собачьимъ“, а нѣмцу русскій языкъ кажется „ворчаньемъ медвѣдя“. Все это, повторяемъ, дѣло вкуса и опять-таки привычки. Стоитъ-ли послѣ этого радоваться, что возрождается какой-нибудь офенскій языкъ и стоитъ-ли поддерживать это возрожденіе? Мы не говоримъ — давить языкъ насильственными мѣрами; этого, конечно, не слѣдуетъ; но надо радоваться, когда въ человечествѣ будетъ языкомъ меньше — все-же одной перегородкой меньше для человѣческаго сближенія.

Пишущій это самъ выросъ не на русской рѣчи. Съ молокомъ матери, какъ говорится, онъ всосалъ украинскую рѣчь. Дѣтство свое онъ провелъ въ такомъ дѣвственномъ провинціальномъ за-

холустьѣ, какого Льюэлю и не снилось, — въ захолустьѣ, куда не только не заглядывалъ „красный драконъ“, но положительно не досягала даже русская рѣчь. Пишущій это самъ потому имѣлъ честь принадлежать къ числу украинскихъ писателей. До настоящаго времени прелесть родной рѣчи для него несравнима ни съ какою иною человѣческою рѣчью. Никакая пѣсня въ мірѣ не выжметъ изъ его глазъ такой жгучей, уже старческой слезы, какъ родная украинская пѣсня... И онъ все-таки имѣетъ самостоятельность утверждать, что это — дѣло рефлекса, явленіе болѣе даже патологическое, чѣмъ физиологическое, какъ для Худоярхана его родная рѣчь цѣнитъ языковъ всѣхъ цивилизованныхъ народовъ вмѣстѣ взятыхъ, а для киргиза — кибитка цѣнитъ и удобіе всѣхъ домовъ въ мірѣ. Но вотъ рано или поздно кибитка должна уступить дому, а киргизъ рано или поздно будетъ слушать университетскій курсъ, и, всего вѣроятіе, не на киргизскомъ языкѣ.

Наконецъ, націоналисты не обратили, кажется, вниманія на одно очень знаменательное и предостерегательное явленіе въ исторіи человѣческихъ обществъ. Цивилизація — это въ нѣкоторомъ родѣ уравненіе человѣческихъ обществъ до извѣстной степени развитія, возможнаго въ данное время; уравненіе это выражается тѣмъ, что у всѣхъ цивилизованныхъ народовъ есть общія, напр., математическія, астрономическія и другія научныя истины, болѣе или менѣе общія нравственныя жизненныя правила, болѣе или менѣе общія пониманія чувства чести, красоты, поэзіи, искусства и т. д. Всѣ цивилизованные народы понимаютъ, напр., одно и то-же подъ явленіемъ прохожденія Венеры черезъ солнце, всѣ болѣе или менѣе умѣютъ цѣнить Шекспира, Байрона, Гейне и даже картины г. Верещагина. Кто не признаетъ того, что какъ-бы условились признавать всѣ цивилизованные народы, т. е. сама цивилизація, кто хочетъ выдѣлиться изъ семьи цивилизованныхъ народовъ, пачтится отъ исполненія общепринятыхъ правилъ, налагаемыхъ на всѣхъ условіями цивилизаціи, удаляется въ свою національную скорлупу, какъ дикарь, — тотъ погибаетъ. Это — месть цивилизаціи. Она мститъ за то, что ее не признаютъ. И кто упряме не признаетъ ея правъ на человѣческія дѣла и на регулированіе ихъ, тому она мститъ жестоко, т. е. совершенно уничтожаетъ

его. Такой народъ вымираетъ. Такъ вымираютъ дикіе индѣйцы, упрямо слящіяся удержаться въ своей дикой національной скорлупѣ и даже удержать въ рукахъ свой національный томагукъ. И дѣйствительно, тѣ именно народы погибаютъ безслѣдно, которые упрямо держатся своихъ національныхъ традицій: такъ погибаютъ кельты, самый упрямый и безтолковый въ мірѣ народъ; такъ вымираютъ болѣе свирѣпые изъ островитянъ, а болѣе податливые изъ нихъ, понимающіе и принимающіе то, что имъ даетъ цивилизація,—тѣ живутъ и развиваются. Ближайшій примѣръ—наши кавказскія народности: грузины поддаются надежду на широкое культурное развитіе, на полный цивилизованный ростъ, а упрямые горцы, незнающіе ничего и непризнающіе ничего лучше своихъ горъ, своихъ обычаевъ и своего языка, вымираютъ какъ мухи осенью, и, безъ сомнѣнія, погибнуть всѣ мѣстью цивилизаціи или даже, пожалуй, отъ давленія силы, но во всякомъ случаѣ погибнуть, если не вступятъ въ союзъ съ цивилизаціею и съ ея *уравненіями*, съ ея неизбежной культурной нивелировкой. Это мститъ даже не цивилизація, а сама природа, потому что подобное предостерегательное явленіе замѣчается во всѣхъ царствахъ природы, въ животномъ и растительномъ. Болѣе умное животное способно къ прирученію, и оно не вымираетъ; болѣе глупыя, т. е. болѣе дикія и свирѣпыя животныя, какъ и гады, земноводныя, не приручаются и умираютъ въ неподходящей къ ихъ природнымъ требованіямъ жизненной обстановкѣ, какъ организмы менѣе развитыя. Это—низшіе виды животныхъ, хотя, можетъ быть, они и красивѣе высшихъ. Собака не вымираетъ потому, что она умнѣе волка и стала другомъ цивилизованнаго человѣка; а волкъ по своей глупости и упрямству, толкающему его непремѣнно на воровство овцы у цивилизованнаго человѣка,—волкъ, неумѣющій найти себѣ иной пищи, кромѣ ворованной, быть можетъ, скоро исчезнетъ съ лица земли, какъ исчезли еще болѣе глупыя животныя болѣе ранняго періода земной жизни, какъ исчезаютъ вообще всѣ хищники, въ силу того закона, что цивилизація въ принципѣ отрицаетъ хищничество, а если по необходимости и допускаетъ его въ цивилизованномъ обществѣ, и допускаетъ иногда въ очень широкихъ размѣрахъ, то не иначе, какъ „въ установленномъ порядкѣ“, въ общепринятыхъ

формахъ.—Пшеница, рожь, овесъ, однимъ словомъ, хлѣбныя растенія—эти растенія приравниваются ко всѣмъ климатамъ и ко всѣмъ требованіямъ человѣческаго ухода; они—знаменіе цивилизаціи въ царствѣ растительномъ, и они не погибнуть; пальма-же, требующая непремѣнно тропическихъ жаровъ и другихъ почвенныхъ условій, непремѣнно исчезнетъ съ лица земли по мѣрѣ заселенія человекомъ тропическихъ странъ и измѣненія черевъ это климатическихъ и почвенныхъ условій.

Итакъ, мѣсть цивилизаціи—это прямое предостереженіе человеку: если онъ не хочетъ или не умѣетъ ужиться съ требованіями цивилизаціи и со всѣми ея иногда очень неприятными аксессуарами, какъ большой городъ, капиталъ, чужой языкъ и проч.,—онъ погибаетъ. Такъ погибаютъ и исключительныя національности. Парижанинъ останется жить вѣчно, а бретонецъ скоро исчезнетъ съ лица земли, какъ зубръ. Волъ, столь любимое украинцами животное, будетъ жить, потому что волъ уменъ; а буйволъ непремѣнно погибнетъ, потому что буйволъ—глупъ. Въ то время когда поэтической цыганъ съ своею огненною пѣснью и исключительнымъ до мозга костей націонализмомъ скоро станетъ антропологической рѣдкостью, гениальный еврей, признающій всѣ національности и всѣ языки, успѣетъ овладѣть всѣмъ міромъ.

VII.

Въ непосредственной зависимости отъ общаго хода цивилизаціи должно стоять и развитіе провинціальной печати. Всѣ наши фракціи провинціальной прессы—и поволжская, и сѣверная, и сибирская, и средне-азійская, и кавказская, и новороссійская, и сѣверозападная и, наконецъ, украинская—всѣ онѣ должны ожидать той-же участи, какая ожидаетъ ихъ города, ихъ интеллигентныя и экономическіе центры. Если будущій путь цивилизаціи лежитъ отъ центровъ къ окраинамъ; если и капиталъ, и даровитость, и знаніе, и вся та выдающаяся сила, начиная гениемъ и красотой и кончая безуміемъ и уродствомъ (потому что и физическое уродство, какъ и физическая красота,—сила, ибо все выдающееся—сила, какъ выдающійся изъ ряду вонъ голосъ

Патти—своего рода необычайное уродство въ природѣ, а между заурадными человѣческими голосами—сила; какъ и необычайное обиліе волосъ на тѣлѣ Юліи Пастраны—тоже и уродство, и сила, привлекавшая къ себѣ вниманіе массъ),—если все то, что теперь неудержимо стремится къ крупнымъ центрамъ, какъ большая рыба ищетъ океана, приметъ обратное движеніе, децентрализующее, то можно надѣяться, что и развитіе печати приметъ децентрализующее направленіе. Но это едва-ли когда-нибудь будетъ. Въ человѣческой природѣ глубоко, неискоренимо насажена потребность поклоненія и безъ этой потребности человѣкъ немислишь. Потребность поклоненія заставляетъ человѣка создавать себѣ предметы поклоненія: онъ преклоняется передъ общественнымъ мнѣніемъ, покланяется генію, золоту, общепринятымъ формамъ жизни, даже просто золотому тельцу или модѣ. Человѣчество, стоящее, кажется, на самой высокой степени развитія, однихъ словомъ, человѣчество второй половины девятнадцатаго вѣка, т. е. лучшіе и самые развитые его представители, — все оно преклоняется или предъ временнымъ авторитетомъ науки, или передъ временно завладѣвшею общественнымъ вниманіемъ геніальностью, красотой, даже опять-таки и уродствомъ. Всѣмъ человѣчествомъ, и преимущественно цивилизованною его средою или среднимъ цивилизованнымъ человѣкомъ, временно владѣютъ то Оффенбахъ, то Патти, то процессъ Тичборна, то Бисмаркъ, то послѣдняя парижская, и непремѣнно парижская, мода. Такъ во всемъ и всегда человѣкъ ищетъ поклоненія. Эта-то глубокая, неискоренимая въ человѣческой природѣ потребность поклоненія создаетъ и ростъ капиталовъ, и ростъ большихъ городовъ: для поклоненія всему, чему люди въ извѣстное время покланяются, они непремѣнно будутъ стремиться въ самыя большіе храмы, въ центры, въ большіе города. Въ большихъ городахъ, какъ въ храмахъ, ютится и покланяется все; тутъ-же пріютилась и печать, потому что тутъ она нашла для своего развитія всѣ удобства, такія удобства, какихъ она никогда не найдетъ въ провинціи.

Если въ провинціи, какъ полагаютъ, не имѣютъ ходу и аже не печатаются и такія изданія, какъ дѣльные романы, повѣсти и стихотворенія молодыхъ и не молодыхъ провинціальныхъ талан-

товъ, которыхъ, конечно, не лишены наши захолустья и которые въ концѣ-концовъ, если они дѣйствительные таланты, переносятъ свою литературную дѣятельность въ центры, потому собственно, что провинціи не обладаютъ издательскими средствами, хотя это мнѣніе едва-ли справедливо, потому что въ провинціяхъ есть-же деньги и на роскошь, и на кутежи, и на лошадей, и на разныя финансовыя и акціонерныя аферы. Если, наконецъ, въ провинціи, какъ тоже полагають, не могутъ появляться въ печати и такія изданія, какъ ученые трактаты и хорошіе учебники мѣстныхъ провинціальныхъ ученыхъ и педагоговъ, тоже будто-бы по немнѣнію издательскихъ средствъ, хотя опять-таки это несправедливо. Если, повторяемъ, все это не можетъ идти въ провинціи будто-бы по независимости отъ провинціальныхъ литературныхъ силъ обстоятельствамъ, — то отчего-же-бы провинціямъ не побѣдить своими литературными силами хотя-бы такихъ центральныхъ издателей, какъ Манухины и Леухины, въ книжныя магазины коихъ централисты-литераторы Евстигѣевы, Аршинниковы и даже просто мазурки пера и жулики печати поставляють ежемѣсячно по десяткамъ своихъ произведеній для народа, для массъ, для провинцій, потому что изданія эти расходятся десятками тысячъ экземпляровъ и большею частью идутъ въ провинціи? Отчего-бы имъ, хотя въ своихъ губерніяхъ, не вырвать бѣдный народъ изъ недобросовѣстной эксплуатаціи мазурковъ пера и жуликовъ печати, не парализовать вліяніе на провинціи господъ Манухинныхъ и Леухинныхъ, Евстигѣевыхъ и Аршинниковыхъ и не дать любознательному мѣщанину и мужику что-нибудь получше этихъ московскихъ изданій изъ обжорнаго ряда? Въдь въ этомъ отношеніи, мы полагаемъ, не встрѣтилось-бы затрудненій ни цензурныхъ, ни издательскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, просматривая „указатель по дѣламъ печати“, это драгоценное изданіе“ для измѣренія нашего литературнаго роста, мы постоянно находимъ, что изданія Манухина и другія, предназначенныя исключительно для малограмотнаго простонародья, занимають всегда почти половину всѣхъ столбцовъ указателя, а печатаются не по 200 экземпляровъ, какъ наши ученые трактаты, не по 1,200 экземпляровъ, не по 2,400, даже не по 3,000 экземпляровъ, какъ наиболѣе популярныя наши писатели, какъ, наконецъ, большинство приличныхъ и болѣе или менѣе серьезныхъ, хотя обще-

доступныхъ изданій, даже легкихъ романовъ и повѣстей средняго полета, а въ количествѣ minimum 6,000 экземпляровъ, а то сплошь да рядомъ въ 12,000 экземпляровъ, 20,000 и т. д. А какія это изданія изъ обшорнаго ряда? Вотъ на выдержку заглавія нѣкоторыхъ изъ нихъ, по „Указателю“: „Волшебный замокъ, знаменитый Родригъ“, „Сказка о крестьянской свадьбѣ, сельскомъ колдунѣ и зеленой птицѣ“, „Чудеса въ колпакахъ: днръ много, а выльзти не откуда“, „Кольцо мертвой царевни“, „Семь Симеоновъ, родныхъ братьевъ“, „Полные анекдоты о Балакиревѣ“, „Сказка о славномъ и сильномъ витязѣ Ерусланѣ Лазаревичѣ, о его храбрости и невообразимой красотѣ царевни Анастасіи Вахрамѣевны“, „Говорящая ворона и ея слушатели“, „Фомушка въ Питерѣ“, „Любовь атамана Прокла-Медвѣжьей-Лапы или волжскіе разбойники“, „Заколдованный и чародѣйственный замокъ, съ приключеніями знаменитаго рыцаря Гарвеса“, „Исторія о храбромъ рыцарѣ Францилѣ-Венціанѣ и о прекрасной королевѣ Рендивенѣ“, „Пантюшка, Сидорка и Филатка въ Москвѣ“ „Гуакъ или непреоборимая вѣрность“ и такъ далѣе, и такъ далѣе безъ конца, и вѣдь все это по 12,000 экземпляровъ и нерѣдко 10-мъ и болѣе изданіемъ! Какой-нибудь „Гуакъ“ питаетъ народаую любознательность цѣлое полстолѣтіе, и провинціи не побѣдятъ этого „Гуака“! Провинціи не умѣютъ дать своимъ читателямъ что-нибудь получше этого... Намъ скажутъ, отчего же провинціи, а не столицы не дадутъ лучшаго? Это другой вопросъ: столицы даютъ и лучшее, и опять-таки все это идетъ изъ центра; но отчего именно провинціи вмѣсто „Гуака“ не дадутъ что-либо болѣе разумное, когда на это не должно-бы быть препятствій ни со стороны цензуры, ни со стороны матеріальныхъ средствъ? Такъ нѣтъ, все ожидается изъ центровъ и все идетъ отъ центровъ, какъ и идетъ все къ центрамъ.

Слѣдовательно, есть что-то другое, мѣшающее развитію печати въ провинціи, а не цензура, на которую привыкли все сваливать: она въ „Гуакѣ“ непричемъ.

Такъ кто-же тутъ виноватъ или что виновато? Виноваты все тѣ-же неизмѣнные законы, по которымъ совершается ростъ чело-вѣчества, которые направляютъ и ходъ цивилизаціи по извѣстному пути: законы эти—законъ центральной силы, законъ роста

центровъ, законъ роста большихъ городовъ, отъ котораго, видимо, ничѣмъ не отмахаться современному человѣчеству, какъ не отмахаться отъ него и націоналистамъ. Манухины, Леухины, Евстигѣевы и Аршинниковы—это своего рода центральная сила, которая, какъ и центральный геній, какъ и центральное уродство, какъ и центральный капиталъ, ведетъ провинціи на своей центральной удочкѣ, и какъ провинціи преклоняются передъ геніемъ, передъ капиталомъ, такъ онѣ по-необходимости преклоняются и передъ центральнымъ уродствомъ, передъ изданіями Манухина и сочиненіями Евстигѣева и Аршинникова едва-ли не наравнѣ съ изданіями Черкесова и Вольфа и съ сочиненіями Голя и Тургенева. Какъ въ этомъ отношеніи ни сильна, сравнительно съ другими провинціальными фракціями, фракція украинская, у которой есть для народа изданія на украинскомъ языкѣ очень приличныя книжечки, называемыя „метеликами“ (бабочками), продающіяся не дороже пятачка за книжечку, но и она бессильна противъ Манухина, Евстигѣева и Аршинникова, которыми запружены украинскія ярмарки. „Метелика“ добрый украинецъ можетъ купить только въ книжной лавкѣ, и купить немного, потому что и самыхъ „метеликовъ“ издаюто очень мало, а между тѣмъ московская саранча, въ видѣ „Гуаконъ“, „Фомушекъ въ Питерѣ“ и „Пантюшекъ въ Москвѣ“, налетаетъ и на Украину, и на всю Россію, по обыкновенію, тучами. Московскіе централисты-издатели дѣлаютъ это такъ: издадутъ „Гуака“ въ 12,000 экземпляровъ и раздадутъ его вмѣстѣ съ ленточками, пуговочками, крестиками, запонками и бусами вязниковскимъ и другимъ коробейникамъ въ кредитъ; коробейники, бродя по всей Россіи, продавая и великороссіянамъ, и малороссіянамъ крестики и пуговицы, всучиваютъ имъ и „Гуака“, такъ что этотъ „Гуакъ“ и держитъ въ рукахъ все наше народное образованіе посредствомъ печати изъ обжорнаго ряда. Такова сила центра, большого города; такова-то сила и центральныхъ людей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и центральной печати передъ провинціальною.

— Отчего вы не издаете что-либо болѣе приличное для народа? спрашиваете вы этихъ издателей-централистовъ изъ обжорнаго ряда.

— Помилуйте-съ! кто себѣ врагъ? отвѣчаютъ централисты-издатели.

— А почему-же? съ недоумѣніемъ спрашиваете вы.

— А потому самому единственно, что на приличное-то, какъ вы изволите говорить, изданіе покупатель нейдетъ, возражаютъ издатели-централисты.

— А на такія идетъ?

— Клятезь-съ пожаленьку, нечего Бога гнѣвить.

— А общество грамотности?

— Не беретъ-съ.

И они правы: читатель „идетъ“ на ихъ изданія, „клятезь“, „беретъ“, словно рыба „беретъ“ жертваго червяка на удочкѣ. А „метелники“ лежатъ въ книжныхъ лавкахъ, покрываясь уже историческою пылью.

„Habent sua fata libelli!“

VIII.

Итакъ, мы познакомились отчасти и съ силами провинціальной печати, и съ ея направленіемъ. О силахъ провинціальной печати приходится сказать, что ихъ мало въ обращеніи, хотя, быть можетъ, не мало въ наличности, въ мертвомъ капиталѣ; на нихъ можетъ быть есть и спросъ, но ни предложенія, ни сбыта мы не видимъ. Слѣдовательно, сила провинціальной печати равна безсилію. Направленіе ея до сихъ поръ было, въ большинствѣ случаевъ, археологическое, могильное, гробовопательное; только въ немногихъ дѣятеляхъ разныхъ фракцій пересиливало обращеніе къ жизненнымъ вопросамъ времени и мѣста.

Что-же впереди должно ждать провинціальную печать при нарушеніи равновѣсія ея силъ силами центровъ, большихъ городовъ, и какія ея задачи?

Историческій тактъ и жизненное чутье подсказываютъ даровитымъ народностямъ, — народностямъ, которымъ присуждено или которыя сами себѣ присуждаютъ историческое безсмертіе, — народностямъ, которыя носятъ въ себѣ зерно живучести, а не смерти, не вырожденія, — этимъ народностямъ историческій тактъ и жизненное чутье подсказываютъ, что дѣлать.

Гарибальди, потомокъ Гракховъ и Брутовъ, объединивъ Италію, осушаетъ болота этой объединенной Италіи: при болотахъ объединеніе оказалось неполнымъ, и смерть гнѣздилась-бы въ этой странѣ, которой суждено не только историческое безсмертіе, но и величіе. Герой Италіи дѣлается ея ратаемъ, какъ тотъ предокъ его, который отъ плуга взятъ былъ въ диктаторы и диктатуру снова промѣнялъ на плугъ. Бретонцы Бризе и Люзель, потомки баснословнаго Артура, только и знавшаго, что драться, видятъ въ локомотивѣ, въ этомъ „красномъ драконѣ“, знаменіе скорого конца свѣта, и конецъ ихъ, дѣйствительно, близокъ, потому что они умоляютъ Бога и природу избавить ихъ, пастуховъ козъ, отъ необходимости быть „купцами“ и „промышленниками“. Они боятся, что желѣзная дорога, проводимая въ Бретань, святотатственно сдѣлаетъ „загороду изъ могилы Артура“. Казакъ-запорожецъ, такой-же норманнъ, какъ и Бризе и Люзель, говоритъ:

У мене имѣя не одно, а есть іхъ до-вата,
 Якъ уллучишь на якого свата:
 Якъ хочъ мене називай, на все позволяю,
 Тільки *крамаремъ* не назови, бо за те полаю.

Онъ тоже боится быть „купцомъ“, онъ еще не выросъ изъ норманнской рубашки. Но Шевченко, этотъ тоже историческій потомокъ Байды, Наливайка, Дорошенка и Галайды — этотъ уже другого покроя человекъ: у него есть историческое чутье. Правда, и онъ съ горькой ироніей говоритъ, что на островѣ Хортицѣ, гдѣ когда-то была запорожская Сѣчь, гдѣ гремѣли „гарматы“ и слава казацкая гремѣла, — теперь „мудрый німецъ картопельку сіе“; но это только иронія — тутъ плачетъ сердце, а не умъ, плачетъ и смѣется разомъ. За то въ послѣсловіи своей напечатанной поэмы — „Гайдамаки“, изданной еще въ 41 году, онъ уже говоритъ: „Весело подивитьца на сліпого кобзаря, якъ вінъ собі сидить зъ хлопцемъ, сліпий, підъ тинкомъ, и весело послушать его, якъ вінъ заспіваетъ душу про те, що давно діялось: якъ боролися дяки въ казаками — весело... а все-жъ-таки скажешъ: слава Богу, що минуло; а надто якъ згадаешъ, що ми одной матері діти, що всі ми славяне — сердце болитъ, а розказувать треба, — нехай бачать сини й внуки, що батьки ихъ поми-

лялись,—нехай братаються знову зъ своїми ворогами. *Нехай житомъ и пшеницею, якъ золотомъ покрита* — не розміжованною останеться на віки одъ моря и до моря славянская земля!..“ Тутъ уже глубокое пониманіе законовъ историческаго развитія, тутъ „жито и пшеница“ вмѣсто „гармать“; тутъ „осушеніе болотъ“ послѣ объединенія. Мало того, въ своемъ глубоко-поэтическомъ посланіи къ Квитевъ-Основьяненку потомокъ Наливайка и Галайды, сожалѣя о прошлой славі Украйны, вспоминая казаковъ, когда-то гулявшихъ по степи и бившихся съ ляхами и татарами, не говоритъ, что прежде было лучше, а теперь хуже, какъ обыкновенно говорятъ вымирающіе люди и вымирающіе таланты, а, напротивъ, какъ-бы зоветъ этихъ лежащихъ въ своихъ могилахъ предковъ къ этой новой, лучшей жизни, говоря: „Воротитесь, посмотрите—*рожь колосится тамъ, гдѣ паслись ваши кони, гдѣ шумѣла одна степная трава, гдѣ кровь поляка и татарина лилась моремъ... Воротитесь!*“ Онъ хочетъ, чтобъ и они, отжившіе, участвовали въ этой лучшей жизни, на которую цивилизація кладетъ уже свои лучшія краски. Наконецъ, грусть проглядываетъ въ немъ при воспоминаніи о прошломъ Украйны; но опять-таки чувство исторической необходимости говоритъ въ поэтѣ сильнѣе грусти о минувшемъ. Сказавъ о послѣднемъ проявленіи историческаго, если можно такъ выразиться, темперамента украинскаго народа въ коливщину, Шевченко такъ заключаетъ свои сѣтованья о прошедшемъ: „Все прошло, остались одни днѣпровскіе пороги—и ревуть эти пороги, плачуть о прошломъ...

Ревуть собі и ревтнуть,
 Ихъ люде минули,
 А Украйна навѣки,
 Навѣки заснула...
 Не чутъ плачу, ні гармати,
 Тільки вітеръ віе,
 Нагинає верби въ гаі,
 А тирсу на полі.
 Все замовкло. Нехай мовчить:
 Така Божа воля...

„Жито зеленіе“—вотъ любимое указаніе поэта на то, что дѣлается въ современной Украйнѣ, и что должно дѣлаться. „Жи-

то зеленіе“ — это какъ-бы господствующій пригвѣвъ его музы, пригвѣвъ, къ которому онъ постоянно возвращается. А къ молодому поколѣнію въ одномъ изъ своихъ самыхъ задушевныхъ стихотвореній онъ обращается съ такими словами: „Учитесь, діти! Може въ васъ коли що буде...“

Итакъ, вотъ что подсказываетъ наиболѣе выдающимся народнымъ умамъ ихъ историческій геній. Онъ-же подсказываетъ и современному поколѣнію русскаго народа его цѣли и задачи. Мы видѣли, какъ понимаютъ представители провинціальной печати свои задачи въ великорусской половинѣ нашего отечества. Практическими выразителями этого пониманія до извѣстной степени являются г. Гацскій (въ Нижнемъ), г. Чубинскій (прежде бывшій въ Архангельскѣ), г. Сементовскій (въ Витебскѣ) и др. То-же самое мы видимъ съ недавняго времени и въ провинціальной печати малорусской половины. „Кіевскій Телеграфъ“ въ своей программѣ ставитъ главною задачею своей дѣятельности — „обращать особенное вниманіе на нужды и проявленія жизни народной массы, составляющей главную силу южнаго края какъ по численности, такъ и по экономической производительности, тѣмъ болѣе, что недостатокъ образованія въ ней требуетъ особенной внимательности со стороны интеллигентныхъ классовъ“. Недаромъ Шевченко сказалъ, что „Украина заснула“, но она не „на вѣки заснула“, а временно заспала. Дѣйствительно, въ то время, когда она спала, „жито“, которое при жизни поэта еще „зеленѣло“, и „пшеница“, которую, какъ золотомъ, покрывалась отъ моря и до моря неразмежованная русская земля, успѣли созрѣть, но зерно не попало въ закромы спавшей Украины, а было растащено хищниками, о которыхъ „Кіевскій Телеграфъ“ и „Одесскій Вѣстникъ“ говорятъ слѣдующее: „Весь огромный механизмъ торговли сырьемъ предоставленъ у насъ на волю стихій. Онъ составляетъ громадное царство обмана, мошенничества и всевозможной эксплуатаціи одного другимъ, вдогонку, кто какъ можетъ. Ни одна отрасль торговли не знаменита такими утонченными, разнообразными, коварными, баснословно-возмутительными приѣмами мошенничества, какъ пшеничная“... Это та „золотая пшеница“, о которой говоритъ поэтъ, пшеница, столь хорошо растущая на украинской землѣ, потому что земля эта такъ обиль-

но, такъ жирно удобрена всякою кровью—и казацкою, и польскою, и татарскою, и еврейскою, и даже, когда-то, печенежскою и половецкою... Нѣтъ историческаго худа безъ историческаго добра... „Торговлю эту (продолжаютъ названные органы провинціальной печати) спекулянты считаютъ за игру и ведутъ какъ игру. Спекуляція, хищничество, запусканье руки въ чужой карманъ, безсовѣстная эксплуатація, обрушивающаяся на производителей и темныхъ землепашцевъ, составляютъ всю ея суть, плоть и душу всѣхъ ея приѣмовъ. Путевство въ этой торговлѣ до того установившійся фактъ, что существуетъ даже нѣсколько спеціальныхъ его видовъ. Явились спекулянты съ *тяжолою рукою* и *легкою рукою* для насыпки хлѣба; одни насыпщики употребляютъ для ссыпки въ магазины, другіе для ссыпки и нарузки на суда; одна рука выгодна покупщику при покупке зерна, другая—при продажѣ. Насыпка въ обрѣзъ и насыпка съ процентомъ, безконечные споры и передраги земледѣльцевъ и возникшихъ у магазинововъ, громадная потеря времени одними сторонами, вѣчныя прижимки на пробѣ, на сухости и сырости зерна, на цвѣтѣ, вѣсѣ и т. д.,—все это извѣстно въ Одессѣ и на югѣ всѣмъ еле только касавшимся пшеничнаго міра... И вся эта потеря времени, обмѣры, недовѣсы, перемѣриванья—все это оплачивается трудомъ земледѣльца, налогомъ на производителя, на того, о трудномъ положеніи котораго теперь всѣ говорятъ, всѣ желаютъ заботиться...“ (Кіев. Телегр. 1875 г., № 38).

Вотъ до чего дошли дѣла, пока Украина спала.

И вотъ украинская печать, между прочимъ, ставитъ теперь себѣ задачу: разбудить населеніе для разумной экономической борьбы за обладаніе тѣмъ добромъ, которое одно осталось Украинѣ отъ ея славнаго историческаго прошлаго—за обладаніе „житомъ и пшеницею“. Печать настаиваетъ на устройствѣ общественныхъ хлѣбныхъ складовъ, при продажѣ изъ которыхъ своего хлѣба производители могли-бы выдерживать конкуренцію съ монополією, съ центрами. Тѣ-же задачи преслѣдуетъ провинціальная печать другихъ, великорусскихъ фракцій, по указанію и по инициативѣ коей открываются общественные склады кустарнаго производства ножевщиковъ, гвоздевщиковъ, снрваровъ и т. д.—и опять-таки въ видахъ возможной конкуренціи съ центрами.

Вотъ тѣ скромныя задачи провинціальной печати, о которыхъ мы говорили,—задачи, чуждыя всякихъ политическихъ и иныхъ тенденцій: изучать жизненныя нужды страны, доводить о нихъ до всеобщаго свѣденія, стараться поставить населеніе въ возможность предъявить экономическую и нравственную конкуренцію съ центрами, съ большими городами, — вотъ все, что пока нужно; остальное-же само придетъ съ экономическимъ развитіемъ населенія, которому будетъ и *на что* учиться и *для чего* учиться. Мысль эту прекрасно и наглядно выражаетъ тотъ-же провинціальный писатель, о которомъ мы такъ часто упоминали, г. Гацискій, въ „Очеркъ статистическихъ свѣдѣній въ Россіи“. Высказывая сожалѣніе о томъ, что въ Поволжьѣ слишкомъ вяло шли статистическія работы, что тамъ „лишь собирались да толковали, затянувши, по стародавней волжской привычкѣ, свой любиминый матерой припѣвъ, безъ крику, монотонно крича: „суйся, ребятушка, суйся“, по-бурлацки заводили про свою „дубинушку“ — „сама пойдетъ! сама пойдетъ!“ и дубинушка сама не шла, хотя все-таки ее полегоньку двигали впередъ“, — онъ въ концѣ-концовъ высказываетъ увѣренность, что „хотя въ провинціи (на Волгѣ) и долго собираются, хотя, взявшись за „дубинушку“, сначала будто только и надѣются на то, что она „сама пойдетъ“, но разъ „дубинушка“ сдвинется съ мѣста — напоръ приобрѣтетъ извѣстную силу и полной грудью зазвучитъ тогда окончаніе пѣсни: „сама пошла, сама пошла!“

Д. Мордовцевъ.

ПОТРЕБНОСТЬ ЗНАНІЯ НА ВОСТОКѢ.

(По поводу учрежденія сибирскаго университета.)

Въ послѣднее время въ нашей журналистикѣ нерѣдко появляются статьи, трактующія о необходимости поднять уровень образованія на нашемъ сѣверо-востоѣ и созданія для Сибири высшаго учебнаго заведенія. Вопросъ объ учрежденіи университета въ Сибири имѣетъ уже свою исторію, но, прежде чѣмъ мы станемъ излагать ее, коснемся вообще исторіи учебнаго дѣла въ Сибири.

Учебныя заведенія возникли въ Сибири сравнительно очень недавно. Настоящему образованію данъ былъ нѣкоторый толчекъ только со времени Сперанскаго. До этого-же времени, т. е. съ завоеванія Сибири, втеченіи почти 200 лѣтъ, о просвѣщеніи Сибири не было и рѣчи.

Знаніе и наука совсѣмъ не участвовали въ нашихъ открытіяхъ на Востоѣ. Открытіе Сибири и знакомство русскихъ съ Азіей далеко не походило на открытіе Америки, ни по своимъ побужденіямъ, ни по своимъ послѣдствіямъ. Если открытіе Америки было плодомъ пытливаго знанія, если оно сопровождалось переворотомъ въ промышленности, дало толчекъ европейскому прогрессу и оказало вліяніе на всю міровую цивилизацію, то открытія русскихъ въ Азіи имѣли сравнительно весьма ничтожное значеніе и оказали слабое вліяніе даже по отношенію къ Россіи. Чтобы опредѣлить, на-сколько научныя знанія участвовали въ открытіяхъ, сдѣланныхъ нами въ Сибири, достаточно вспомнить, что ея завоевателями были простые казаки, невѣжественные простолудины, а колонизаторами — „гулящіе люди“, промышленники

и бѣглие крѣпостные рабы, точно также, какъ достаточно вспомнить о степени умственнаго развитія Россіи въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Значеніе открытій на Востокѣ долго не сознавалось самимъ русскимъ обществомъ. Открытія Дежневымъ Берингова пролива, Атласовымъ — на льдахъ сѣвера, Поарковымъ — въ Охотскомъ морѣ и Хабаровымъ — на Амурѣ не имѣли европейскаго значенія до тѣхъ поръ, пока они не были изслѣдованы Берингомъ, Врангелемъ и другими. Не пытливый духъ знанія, не интересы міровой науки двигали нашими открытіями въ Сибири; вторженіе въ нее было послѣдствіемъ безотчетной и слѣпой отваги, энергіи, искавшей выхода изъ стѣсненныхъ обстоятельствъ, въ какихъ жилъ русскій народъ въ XVI столѣтіи. Большинство же дальнѣйшихъ открытій и завоеваній нашихъ въ этомъ краѣ руководилъ духъ наживы и погони за богатствомъ. Торговые и промышленные люди, въ XVII и XVIII столѣтіяхъ выселившіеся въ Сибирь, занимавшіеся здѣсь промыслами и торговлею, были также люди совершенно невѣжественные; начало сибирскимъ поселеніямъ было положено людьми безъ всякаго образованія, неграмотными. Даже тѣ изъ нихъ, которые стояли во главѣ обширныхъ предпріятій, какъ Шалауровъ, открывшій Таймырскій берегъ, или Барановъ, глава русско-американской компаніи, были люди полуграмотные и грубые. Что касается крестьянства, то, понятно, оно представляло темную массу и стихійную силу, двинувшуюся на Востокъ безъ всякаго сознанія своей роли здѣсь. Культурное развитіе населенія въ XVI и XVII стол. соответствовало тогдашнему положенію невѣжественной Руси. Оно съ собою принесло земледѣльческій промыселъ, и это было все. Словцовъ правъ, давая слѣдующій отзывъ о первыхъ колонистахъ Сибири: „Они не принесли мастерствъ, кромѣ навыка срубить домъ и заготовить упряжь, да пахатные способы; женщины ихъ умѣли только соткать толстый холстъ и сержанное сукно для своего обихода“. При своихъ убогихъ средствахъ, переселившееся крестьянство, отдѣленное тысячами верстъ отъ остальнаго русскаго населенія, долго находилось въ Сибири оставленнымъ на произволъ и на борьбу съ суровою природою въ лѣсахъ и тундрахъ. Жизнь Сибири до начала нынѣшняго столѣтія и даже долѣе была жизнью страны невѣжественной и варварской въ полномъ смыслѣ слова. Исканіе и разработка си-

биревыхъ богатствъ совершались слѣпо и на-угадъ; рудокопы, отъкрыватели золота и серебра, были людьми безъ всякихъ техническихъ знаній. Эксплоатація звѣря, мѣховъ, рыбныхъ промысловъ и минеральныхъ богатствъ была, по выраженію одного историка сибирской культуры, исторіей расхищенія естественныхъ запасовъ природы.

Конечно, нельзя сказать, чтобы новыи край не возбуждалъ любознательности въ переселенцахъ; извѣстно, напримѣръ, что нѣкоторые изъ нихъ чертили самодѣльные карты, по которымъ составлена чертежная книга Ремезова или карта Шалаурова, одобренная Врангелемъ; нѣкоторые являлись знатоками травъ, въ родѣ Эпишева, составившаго первый травникъ, и т. д., но эта любознательность, этотъ порывъ ума къ знанію замирали, не находя средствъ опереться на науку. Русскія открытія въ Азіи и пріобрѣтеніе новаго неизвѣстнаго континента не освѣжили русскаго общества и не дали ему толчка.

Что касается самой колонизаціи и культуры Сибири, то она также въ XVI, XVII и XVIII столѣтіяхъ не отмѣчается ничѣмъ замѣчательнымъ; въ ней также не участвовало знаніе. Русскій простолюдинъ колонизовалъ Сибирь на-угадъ, безъ всякаго разсчета; онъ занялъ сперва сѣверъ, захватилъ тундры и оставилъ въ пренебреженіи югъ, который началъ заселяться долго спустя. Къ тому-же едва ли не большинство колонистовъ состояло изъ бродягъ и авантюристовъ, которымъ казна должна была въ послѣдствіи подвозить хлѣбъ, чтобы они не умерли съ голоду. Масса народа гибла и терялась по лѣсамъ, бросаясь на-обумъ впередъ; русскіе часто оставляли уже занятія земли, какъ, напримѣръ, по Амуру. При невѣжествѣ населенія очень туго развивались торговля и промышленность. Китай долго не привлекалъ нашего вниманія, а начавшаяся въ послѣдствіи торговля съ нимъ прекратилась скоро и неудачно. Торговля съ джунгарскимъ ханствомъ и Бухарою, достигшая значительныхъ размѣровъ въ половинѣ прошлаго столѣтія, внезапно прекратилась въ началѣ нынѣшняго. Владѣнія на восточномъ океанѣ нисколько не способствовали международной торговлѣ и не создали у насъ торговаго флота. Караваны, снаряжаемые въ степь русскими купцами, погибали, суда тонули, компаніи лопались, промышленные люди переходили отъ одного промысла къ другому и очень часто подвергались бан-

вротству. Русскіе долго эксплуатировали инородцевъ и кончили ихъ разореніемъ. Перенеся колонизацію въ сѣверную Америку и дойдя въ своихъ исканіяхъ богатства до Калифорніи (какъ извѣстно, Калифорнія когда-то была въ нашихъ рукахъ), русскіе въ самой Сибири до начала нынѣшняго столѣтія не могли завести торговли съ киргизскою степью. Они не сумѣли воспользоваться ни своимъ географическимъ положеніемъ, ни топографическими условіями, ни естественными произведеніями богатаго и обширнаго края. Гражданственность въ Сибири туго прививалась, населеніе росло медленно: только съ половины прошлаго столѣтія оно начало выходить изъ лѣсовъ. На всемъ пространствѣ Сибири были раскинуты только бѣдные остроги; какъ населеніе было ничтожно, можно судить по тому, что въ началу нынѣшняго столѣтія оно составляло миліонъ съ небольшимъ, а на всемъ камчатскомъ полуостровѣ считалось только двѣ тысячи мужского населенія. Русскіе переселенцы не оказали никакого вліянія на инородцевъ въ культурномъ смьслѣ. Самой Россіи Сибирь приносила менѣе пользы, чѣмъ можно было разсчитывать. По мѣрѣ пріобрѣтеній на Востокѣ, на Сибирь возлагались пылкія надежды, но послѣ первыхъ увлеченій авантюризма, вслѣдъ за обольщеніями и ожиданіями выгодъ, явилось полное разочарованіе, бывшее результатомъ нашей культурной несостоятельности, и Сибирь сдѣлалась надолго забытымъ и захолустнымъ краемъ, судьба котораго вызвала слѣдующую характеристику мѣстнаго историка Словцова: „Сибирь, какъ страна, заключала въ себѣ золотое дно, но какъ часть государства, представляла ничтожную и безгласную область“. Въ концѣ-концовъ выходило, что Востокъ намъ почти ничего не далъ.

Такой жизнью жила Сибирь до первой четверти XIX столѣтія. Проводниками просвѣщенія здѣсь въ XVI и XVII столѣтіяхъ могли-бы явиться служилые люди и духовенство, но, къ сожалѣнію, воеводы и служилые люди рѣдко чѣмъ отличались отъ массы остальнаго населенія; въ Сибирь ихъ привлекала также нажива. Что касается духовенства, то даже въ прошломъ столѣтіи въ Сибири еще встрѣчается масса священниковъ безграмотныхъ. Въ XVIII столѣтіи старыхъ служилыхъ людей смѣнили приказные люди и старые подъячіе, которые также не мо-

гли быть представителями образованности. Уровень понятій и знаній въ тогдашнемъ сибирскомъ обществѣ характеризуется слѣдующими примѣрами: когда Петръ Великій предписалъ сибирскому начальству собирать для музеевъ всевозможные „раритеты“ изъ области сибирской природы, доставлять замѣчательные экземпляры мѣстной флоры и фауны, то служилые люди были поставлены въ величайшее недоумѣніе, не понимая, чего отъ нихъ требуютъ. При Екатеринѣ II хотѣли предпринять топографическую съемку, но въ Сибири не нашлось для того сколько-нибудь знающихъ людей; мѣстное начальство не могло доставлять самихъ элементарныхъ географическихъ свѣденій. Первое духовное лицо въ Тобольскѣ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, по свидѣтельству аббата Шаппа, не хотѣло вѣрить, что земля обращается вокругъ солнца. Не богаче была научными познаніями Сибирь и впоследствии: въ 1840-хъ годахъ въ Сибири былъ разосланъ мѣстнымъ начальствамъ циркуляръ, приказывающій розыскать и доставить гдѣ-то будто-бы убитаго царька соболей, который по величинѣ долженъ былъ равняться, по крайней мѣрѣ, слону.

Кое-какія школы начинаютъ зарождаться въ Сибири только въ половинѣ прошлаго столѣтія. Вѣроятно, поводами для этого послужили различные государственные планы Петра I и Екатерины II по отношенію къ Сибири. Въ числѣ первыхъ школъ въ Сибири учреждены школы спеціальныя: „ навигацкія “ въ Иркутскѣ и Нерчинскѣ и „ геодезическія “ въ Тобольскѣ и Томскѣ. Навигацкая школа въ Иркутскѣ была основана въ 1754 году. Въ 1781 году здѣсь открыта городская школа, а въ 1789 г. она преобразована въ главное народное училище. Училища эти открывались и въ другихъ городахъ, но, говоря вообще, дѣло шло медленно и туго. Нѣкоторыя изъ школъ, открытыя въ прежнее время, до пріѣзда Сперанскаго, были или закрыты, или преобразованы; такъ, напримѣръ, закрылся классъ монгольскаго языка въ Иркутскѣ, приготовлявшій переводчиковъ. Къ памятникамъ просвѣщенія прошлаго столѣтія относятся, кромѣ того, горныя училища въ Барнаулѣ и Нерчинскѣ. Эти спеціальныя училища, при своемъ формальномъ существованіи и ничтожномъ вліяніи, имѣли чрезвычайно слабое значеніе въ дѣлѣ развитія Сибири: въ нихъ получали образованіе очень немногіе ту-

земцы, напримѣръ, талантливый Лосевъ, вышедшій изъ навигацкой школы и выдвинувшійся при Сперанскомъ своими дарованіями. Самыми крупными учебными заведеніями въ Сибири были въ то время двѣ семинаріи, въ Тобольскѣ и Иркутскѣ, но существованіе ихъ точно также не ознаменовалось ничѣмъ замѣтнымъ въ дѣлѣ мѣстнаго просвѣщенія, кромѣ развѣ того, что при тобольской семинаріи сохранились нѣкоторыя сибирскія лѣтописи о покореніи Сибири. Воспитаніе въ этихъ семинаріяхъ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, отличалось схоластичностью; онѣ были расадникомъ семинарской педантичности; на своихъ экзаменахъ и актахъ онѣ выгружали цѣлую массу хриі, одѣ и напыщенныхъ сочиненій. Наука ихъ ничѣмъ не была связана съ сибирской жизнью. Въ 1791 году въ Тобольскѣ издавался даже литературный журналъ „Иртышъ“, превратившійся въ „Ипокрену“, при главномъ народномъ училищѣ, подъ редакціей Сумарокова; изданіе это наполнялось псевдо-классическими подражаніями и риторическимъ стихоплетствомъ, за что получило достойный приговоръ отъ образованнаго человѣка того времени, Словцова, сказавшаго въ своей исторіи, что „вмѣсто того, чтобы заняться сообщеніемъ интересныхъ свѣденій о Сибири, издатели пустились обезьянничать словесности и поэзіи пошлой“. Стремленіе къ образованію въ сибирскомъ обществѣ въ это время было еще очень слабо; иркутскіе чиновники, по словамъ Цейдлера, старались только внучить дѣтей своихъ грамотѣ и отдать ихъ поскорѣе на службу; купцы пріучали дѣтей съ раннихъ лѣтъ ходить съ обозами и торговать въ Якутскѣ и Ирбити, въ образованіи-же ихъ не нуждались. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, передъ пріѣздомъ Сперанскаго, были основаны двѣ гимназіи: тобольская и иркутская въ 1806 году. Въ тобольской до 1823 года число учениковъ не превышало 27; увеличенію числа ихъ препятствовала тѣснота училищныхъ помѣщеній. Въ иркутской гимназіи, при основаніи, было 35 учениковъ, а въ 1825 году — 47. Около этого-же времени открыты уѣздныя и приходскія училища въ Тобольскѣ, Иркутскѣ, Красноярскѣ и Енисейскѣ. Въ Томскѣ продолжало существовать простое народное училище. Кромѣ того въ 1821 году учреждено было въ Тобольскѣ училище для дѣтей почтовыхъ служителей, на 40 воспитанниковъ, которые должны были, окончивъ курсъ, поступать въ почтово-

вѣдомство. Въ Омскѣ учреждено омское казачье училище, закрытое учебное заведеніе, собственно для дѣтей казачьяго сословія, съ среднимъ гимназическимъ курсомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Сибири открыты военно-сиротскія отдѣленія, преобразованныя впоследствии въ батальоны военныхъ кантонистовъ; по словамъ Вагина, изъ этихъ батальоновъ вышло не мало людей способныхъ — конечно, для тогдашней Сибири.

Нельзя умолчать также о попыткахъ устройства народныхъ училищъ. Въ 1816 году, по настоянію Словцова, бывшаго директоромъ иркутской гимназіи, основано было въ иркутской губерніи до 18 народныхъ школъ. На устройство училищъ пожертвовано было 5,003 руб.; кромѣ того инородческія крестьянскія общества обязались содержать училища на свой счетъ. Училища эти, однакожь, не нашли сочувствія и поддержки въ администраціи Трескина и Пестеля. Отвернувъ школы, Трескинъ отказался отпустить содержаніе учителямъ изъ общественныхъ суммъ; общества также перестали заботиться о содержаніи училищъ и, видя равнодушіе къ нимъ начальства, пожелали уничтожить ихъ; вопросъ объ этомъ возбуждался нѣсколько разъ. Нельзя безъ удивленія видѣть, замѣчалъ по этому поводу губернаторъ Зеркалевъ, что губернское начальство, содѣйствуя открытію училищъ, въ то-же время возбуждало вопросъ объ ихъ уничтоженіи.

Въ такомъ положеніи находились образовательныя средства Сибири къ пріѣзду Сперанскаго.

Сдѣлавшись генералъ-губернаторомъ Сибири, Сперанскій обратилъ вниманіе на устройство учебной части въ этомъ краѣ; дѣятельнымъ помощникомъ ему явился Словцовъ, образованный сибирякъ, преданный душой и тѣломъ Сибири. Какъ образованный человекъ, Сперанскій не могъ не поразиться невѣжествомъ сибирскаго населенія, точно такъ-же, какъ почти нетронутымъ еще богатствомъ края, его обширностью и значеніемъ для Азіи; экономическое развитіе русскихъ владѣній на Востокѣ стало занимать его не менѣе, чѣмъ гражданское и политическое. 250 лѣтъ мы владѣли Сибирью, и изъ этого ровно ничего не выходило. Сперанскій пытался установить на Сибирь опредѣленную политическую точку зрѣнія. „Я пресѣкъ много вопіющихъ насилій, писалъ онъ, — но, можетъ быть, того важнѣе — открылъ Сибирь въ истинныхъ ея политическихъ отношеніяхъ. Край этотъ заслуживаетъ госу-

дарственного вниманія воплѣтъ“. Сперанскій нашелъ край въ крайне-безпомощномъ положеніи. Сибирь страдала отъ массы страшныхъ злоупотребленій; въ ней не было людей, кому-бы можно было довѣрить управленіе, что сильно мѣшало реформамъ Сперанскаго. Невѣжество сибирскаго общества было поразительное. „Два года не видѣть вокругъ себя ни одного образованнаго человѣка, не слышать ни одного умнаго слова—это ужасно!“ писалъ Сперанскій. За столомъ у себя онъ часто принималъ людей, вернувшихся изъ Камчатки, съ Алеутскихъ острововъ, съ Ледовитаго моря, изъ Битая, прошедшихъ Яблоновый хребетъ. „Сибирь — истинная страна Донъ-Кихотовъ“, замѣчаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Онъ видѣлъ въ то-же время, что необыкновенная энергія и предпримчивость пропадали бесплодно и самая кипучая дѣятельность, безъ знанія дѣла, при темнотѣ отважныхъ предпринимателей, не приносила никакого результата. Страна представляла богатый научный матеріалъ, но имъ никто не пользовался. Генераль-губернаторъ, занимаясь отправкой экспедицій то къ полюсамъ, то въ степи, принужденъ былъ самъ показывать обращеніе съ компасомъ и учить, какъ слѣдуетъ дрессировать верблюдовъ для путешествія. Онъ-же первый ботанизировалъ около Иркутска. Понятно, до какой степени онъ долженъ былъ поражаться отсутствіемъ даже самыхъ элементарныхъ научныхъ знаній въ Сибири.

Одною изъ первыхъ попытокъ его было учрежденіе въ Иркутскѣ ланкастерской школы, за устройство которой онъ принялся съ лихорадочной дѣятельностью, едва спустя мѣсяць по пріѣздѣ въ Иркутскъ. „Къ счастью, со мною была книжка о сей методѣ, и все *вскипѣло*“, пишетъ онъ 23 сентября 1819 года. Онъ возобновляетъ устройство народныхъ училищъ, погибавшихъ при Трескинѣ, и поручаетъ ихъ попеченію Словцова и Зеркалева. Снесаясь съ министромъ, онъ обезпечиваетъ жалованье народнымъ учителямъ, предлагаетъ крестьянскимъ обществамъ открытіе школъ, даетъ толчекъ основанію инородческихъ училищъ. Онъ оказываетъ свое покровительство всѣмъ, кто беретъ на себя заботу объ открытіи учебныхъ заведеній. Онъ поднимаетъ упавшую навигацкую школу въ Охотскѣ, заботу о ней принимаютъ на себя князь Шаховской и Ушинскій, по приглашенію которыхъ въ нее начинаютъ поступать дѣти казаковъ, мѣщанъ и якутовъ. Содер-

жаніе этой школы было обезпечено Сперанск инъ. Въ то-же время въ Гижигъ основывается школа на пожертвованіе купца Баранова. Во время пребыванія Сперанскаго въ Кяхтѣ тамошній бургомистръ, Игумновъ, изъявилъ желаніе основать училище и поддерживать на своей счетъ ремесленное воспитаніе для мѣщанъ. Словцовъ развиваетъ мысль вообще соединить ученье въ сибирскихъ сельскихъ училищахъ съ ремеслами, какъ было когда-то предположено для Камчатки. Въ изданныхъ Сперанскимъ сибирскихъ учрежденіяхъ и уставахъ постановлено было заводить школы не только у казаковъ и кочевыхъ инородцевъ, но и въ полудикой киргизской степи, только-что присоединенной къ Сибири. Сперанскій былъ намѣренъ также возстановить упраздненное въ Иркутскѣ училище для изученія языковъ китайскаго, манджурскаго, монгольскаго, тибетскаго и японскаго. Онъ вступилъ въ переписку съ кн. Голицынымъ объ учрежденіи „училища высшихъ наукъ“ и поручилъ Тимковскому, отправляющемуся въ Пекинъ, закупить книгъ на китайскомъ и манджурскомъ языкахъ; къ образованію училища, однакожь, встрѣчается непредвидѣнное препятствіе—трудность набрать для него учениковъ; Цейдлеръ предлагаетъ пригласить ихъ изъ воспитательнаго дома, на что Сперанскій соглашается. Сперанскій поднималъ вопросы, предоставлялъ разработку ихъ подчиненнымъ и въ концѣ утверждалъ ихъ какъ генераль-губернаторъ: онъ одинъ является и инициаторомъ, и исполнителемъ своихъ плановъ. Такъ и при основаніи высшей школы онъ просилъ содѣйствія губернатора Лавинскаго. Лавинскій сдѣлалъ распоряженіе о составленіи подробнаго проекта объ училищѣ, но потомъ дѣло это было забыто: проектъ пролежалъ у Лавинскаго ровно 10 лѣтъ послѣ Сперанскаго. Кромѣ того Сперанскій дѣятельно старался отеривать въ Сибири отдѣлы библейскаго общества, развивалъ духъ филантропіи и покровительствовалъ ученымъ путешественникамъ по Сибири: онъ отдавалъ предписанія содѣйствовать имъ всѣми средствами. Въ 1820 году московское общество испытателей природы избрало его своимъ почетнымъ членомъ и предложило ему озаботиться устройствомъ въ Сибири ботаническаго сада. Сперанскій горячо принялся за осуществленіе этого предложенія; для устройства сада онъ выбралъ мѣсто въ 27-ми верстахъ выше Семипалатинска; докторъ Геблеръ уже присылалъ ему образцы

сибирскихъ растений; но планъ ботаническаго сада, какъ и многіе другіе планы Сперанскаго, не осуществился, потому что Сперанскій оставилъ Сибирь. Своими заботами и хлопотами объ учебномъ дѣлѣ въ Сибири Сперанскій привлекъ къ этому дѣлу генералъ-губернатора западной Сибири, Капцевича, и вызвалъ сочувствіе попечителя казанскаго учебнаго округа, Магницкаго. Въ это уже время родилась въ Сибири мысль о высшемъ учебномъ заведеніи, которую поддерживали и Капцевичъ, и Магницкій. Толчокъ, данный Сперанскимъ, какъ видно, былъ довольно силенъ. Сибирскій комитетъ согласился съ предположеніями Капцевича, Магницкаго и Сперанскаго, находя, что выработанные учебные проекты и высшее образованіе для Сибири „полезно и согласно съ принятыми для управленія Сибирью правилами“. Вотъ когда уже явилось сознаніе въ необходимости университета для Сибири.

Но вопросъ о сибирскомъ университетѣ сдается въ архивъ съ отъѣздомъ Сперанскаго изъ Сибири и съ окончаніемъ занятій его въ сибирскомъ комитетѣ: въ августѣ 1824 г. прекращается уже мѣстная переписка о созданіи высшаго учебнаго заведенія. По недостатку ли средствъ или по другимъ какимъ-нибудь причинамъ, но только мысль о высшемъ училищѣ въ Сибири, сочувственно принятая сибирскимъ комитетомъ, была оставлена и очень немногія части общаго учебнаго плана для Сибири были приведены въ исполненіе, и то нескоро. Въ то-же время сибирскія училища, основанныя при Сперанскомъ, начали быстро падать: сельскія училища иркутской губерніи были большею частію закрыты, такъ-какъ теперь они не находили уже энергичной поддержки въ мѣстномъ начальствѣ. Скромный сибирякъ Словоцовъ, единственный способный сотрудникъ Сперанскаго въ учебномъ дѣлѣ, перестаетъ пользоваться вліяніемъ, оставляетъ практическую дѣятельность, поселяется въ Тобольскѣ и погружается въ скромныя архивныя и историческія изысканія о Сибири. Учебное дѣло начинаетъ опять двигаться чрезвычайно медленно на Востокъ и получаетъ безжизненный, казенный характеръ. 8-го декабря 1828 года сибирскія учебныя заведенія переданы въ вѣденіе губернаторовъ. Тогда-же повелѣно было каждой сибирской губерніи имѣть по одной гимназіи. Какъ туго и медленно приводилось въ исполненіе это повелѣніе, можно судить по тому, что еромъ двухъ гимназій, открытыхъ въ началѣ нынѣшняго

столѣтія, только въ концѣ тридцатыхъ годовъ открыта третья гимназія—въ Томскѣ, а предписанная по указу 1828 года красноярская гимназія открылась только черезъ сорокъ лѣтъ послѣ проектированія—въ 1869 году!

Число уѣздныхъ училищъ долго оставалось то-же самое, какое было при Сперанскомъ. По указу 1828 г. было назначено ихъ въ иркутской губерніи 7, въ томской 3, въ тобольской 8 и въ енисейской 2; прибавлялись они туго и преподаваніе въ нихъ находилось еще въ большемъ пренебреженіи, чѣмъ во всѣхъ другихъ училищахъ. Изъ остальныхъ учебныхъ заведеній Сибирь имѣла только нѣсколько узко-спеціальныхъ, и притомъ для извѣстныхъ сословій: омское казачье училище, теперь военная гимназія; до послѣдняго времени, какъ и при Сперанскомъ, оно считается первымъ по средствамъ и объему преподаванія учебнымъ заведеніемъ края; горное училище и духовныя семинаріи, которыхъ, кромѣ двухъ прежнихъ, тобольской и иркутской, открыто въ послѣднее время двѣ—въ Томскѣ и Якутскѣ. О женскомъ образованіи до шестидесятыхъ годовъ въ Сибири почти не было и рѣчи; въ 1838 году было учреждено первое женское учебное заведеніе въ Иркутскѣ—сиропитательный домъ. По плану Цейдлера, онъ долженъ былъ положить основаніе женскому образованію въ краѣ, но заведеніе это иркутскимъ обществомъ, подъ влияніемъ попечительства купческаго сословія, было обращено просто въ заведеніе для приготовленія прислуги. Въ 1845 году открытъ въ Иркутскѣ-же дѣвичій институтъ. Иркутскій институтъ основанъ на началахъ, принятыхъ въ дворянскихъ институтахъ внутреннихъ губерній, и съ самаго начала стремился къ аристократической исключительности, хотя въ Сибири не было ни рѣзкаго раздѣленія сословій, ни коренного дворянства, и въ него некого было отдавать, кромѣ развѣ дѣтей пріѣзжихъ чиновниковъ да немногихъ почетныхъ гражданъ. Въ шестидесятыхъ годахъ, при общемъ пробужденіи сознанія необходимости женскаго образованія, открыто было нѣсколько женскихъ училищъ и гимназій въ Омскѣ, Красноярскѣ, Томскѣ и Иркутскѣ.

Сибирское образованіе не шло выше среднихъ учебныхъ заведеній; мысль о высшемъ учебномъ заведеніи въ Сибири, возбужденная Капцевичемъ и одобренная сибирскимъ комитетомъ, осталась безъ исполненія надолго. Въ замѣнъ университета въ

1835 году повелѣно было содержать въ сибирскихъ гимназіяхъ и въ казанскомъ университетѣ казенныхъ воспитанниковъ изъ сибирскихъ уроженцевъ, число которыхъ было ограничено, но и эта мѣра была предпринята не сибирскимъ начальствомъ, не сибирскимъ комитетомъ, — она даже прошла помимо его, — а была предписана особымъ повелѣніемъ императора Николая.

Какую пользу приносили Сибири поименованныя учебныя заведенія въ эти 50 лѣтъ, можно отчасти судить по числу учащихся въ гимназіяхъ.

Изъ недавно опубликованныхъ отчетовъ о числѣ учениковъ въ разные годы видно, что въ первые годы послѣ открытія гимназій въ Сибири число учащихся въ тобольской и иркутской гимназіяхъ не превосходило 27—35 человекъ. Въ 1838 году число учениковъ едва доходитъ до 117—въ первой и 150—во второй. Затѣмъ, съ конца тридцатыхъ годовъ начинается такой-же медленный ростъ томской гимназіи; только въ 1853 году въ ней число учениковъ доходитъ до 95, а въ 1861 году достигаетъ 160. Въ 1873 году въ четырехъ сибирскихъ гимназіяхъ находилось слѣдующее число учащихся: въ тобольской 179, въ томской 298, въ иркутской 238 и въ красноярской 183, всего 898 на всю Сибирь. Слабое возрастаніе числа учащихся, далеко не пропорціональное росту населенія, не говорить въ пользу развитія учебнаго дѣла въ краѣ. Впрочемъ, этотъ медленный ростъ объясняется отчасти и тѣмъ, что сибирскія гимназіи далеко не удовлетворяли ни мѣстнымъ потребностямъ, ни мѣстному складу жизни. Складъ сибирскаго общества нѣсколько иной, чѣмъ въ русскихъ губерніяхъ. Элементовъ, которые могли-бы доставлять наибольшее число учащихся для гимназій, сравнительно было очень мало. Потомственныхъ дворянъ и помѣщиковъ въ Сибири вовсе не было; гимназіи существовали преимущественно для дѣтей чиновниковъ, такъ-какъ гимназическое воспитаніе мало удовлетворяло другія сословія. Въ одномъ изъ отчетовъ мы читаемъ, что на 688 гимназистовъ въ сибирскихъ гимназіяхъ приходилось 431 дѣтей дворянъ и чиновниковъ; 236 — городскихъ сословій, т. е. купцовъ, мѣщанъ и разночинцевъ, и 21 — сельскаго сословія, которому гимназическое воспитаніе было почти недоступно. По характеру жизни Сибирь была исключительно промышленной; въ ней господство-

вали матеріальныя интересы; стремленіе къ наживѣ изстари было преобладающимъ. Общество, невѣжественное, ничѣмъ необуѣженное въ пользахъ знанія, не видѣло никакихъ наглядныхъ примѣровъ примѣнимости гимназическаго образованія въ практической жизни; самая богатая часть его, купечество, не расположено было отдавать дѣтей своихъ въ гимназіи, а учило ихъ въ лавкахъ. Выше мы привели отзывъ губернатора Цейдлера, жалующагося на отсталость купцовъ. Одинъ изъ путешественниковъ по Сибири, въ тридцатыхъ годахъ, приводитъ слѣдующія слова одного изъ даровитыхъ представителей иркутскаго общества: „Мальчики наши, говоритъ онъ, — научившись читать и писать и познакомившись съ первой частью арифметики, принимаются за аршинъ и счеты; потомъ, съѣздивъ раза по два въ Иркутскъ и въ Москву и, такъ - сказать, оперившись торговыми опытами, замышляютъ жениться и сами производятъ дѣтей“. Другой старожилъ, жалующься на ограниченность воспитанія, говоритъ, что самымъ моднымъ воспитаніемъ считается у почетныхъ и зажиточныхъ гражданъ отдавать дѣтей выучиться только грамотѣ, а потомъ пристроить ихъ къ комерціи, т. е. дѣлать надзирателями за прикащиками (Путешествіе Александрова 1828 года).

Хотя формальное образованіе очень мало затрогивало сибирское общество, оно тѣмъ не менѣе отличалось переимчивостію, способностію къ усвоенію вѣщности, нѣкотораго доска и даже извѣстной степени развитія, болѣе высшаго по сравненію съ соответственными слоями населенія въ русскихъ губерніяхъ. Это подмѣчено многими изслѣдователями, сравнивавшими сибирское населеніе съ великорусскимъ. Точно также въ сибирскомъ обществѣ встрѣчались самородки, люди замѣчательно даровитые, пробивавшіе себѣ дорогу къ образованію изъ самыхъ темныхъ слоевъ, изъ школъ, повидимому, самыхъ неблагопріятныхъ для развитія и узкихъ по назначенію. Все это обуславливалось особыми свойствами сибирской жизни. Сибирское населеніе было свободнымъ триста лѣтъ ранѣе, чѣмъ остальная Россія, недавно покончившая съ крѣпостнымъ правомъ. Просторъ и богатство новаго края, предприимчивость, кипучая промышленная дѣятельность, — все это способствовало развитію умственныхъ способностей населенія. Благодаря матеріальному достатку, оно познакомилось съ вѣшнимъ комфортомъ, а съ нимъ приобрѣло и новыя привычки жизни. Ве-

ликорусскій умъ, несвязанный въ Сибири ни традиціями, ни преданіями, избавленный отъ заскорузлаго старовѣрства, способнѣе былъ къ воспріятію нововведеній. Населеніе въ Сибири стекалось со всѣхъ сторонъ, какъ въ страну поисковъ за богатствомъ; передвиженіе здѣсь было довольно значительное, а сношенія поддерживались отъ Иркутска до Москвы по транзитному пути азіатской торговли. Въ Сибири жила масса людей бывалыхъ, обмѣвъ свѣденій поэтому былъ болѣе значительный. Граней между сибирскими сословіями было менѣе; жизнь съ народомъ шла тѣснѣе; сибирское населеніе составляетъ какъ-бы одну народную массу, а поэтому всѣ заимствованія, всякія свѣденія, всякая мода доходятъ въ нею быстро во всѣ слои населенія. Привычки сибирскаго населенія, какъ замѣчено изслѣдователями, ближе подходятъ къ привычкамъ цивилизованнаго общества, чѣмъ во всѣхъ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Интересы науки, случайно заносимые въ сибирское общество, иногда затрогивали людей, повидимому, неимѣющихъ ничего общаго съ образованною и привилегированною средою, но это были болѣею частію самоучки или люди всего менѣе обязанные сибирскимъ учебнымъ заведеніемъ. Многіе сибирскіе купцы, какъ прошлаго, такъ и нынѣшняго столѣтія, отличались замѣчательными дарованіями, любознательностію и довольно высокимъ развитіемъ. Иркутскій хроникеръ, Александровъ, указываетъ на нѣкоторыхъ иркутскихъ купцовъ, обязанныхъ самимъ себѣ извѣстною степенью образованія, людей замѣчательныхъ во всѣхъ отношеніяхъ. Такихъ людей можно найти и въ мѣщанской средѣ, въ которой они оставались до смерти; напримѣръ, мелкій торговецъ Андрей Пичугинъ, въ Томскѣ, и Д., служившій прикащикомъ на присакахъ и конторщикомъ по откупамъ, люди поражавшіе дарованіями, смѣлостію ума, знаніями, особенно послѣдній, въ области исторической. Пунинъ и Бабурины въ Сибири были не рѣдкость. Изъ сибирскихъ убогихъ школъ, изъ навигацкихъ классовъ, изъ кантонистскихъ полубаталіоновъ выплывали личности, которыя впоследствии дѣлались образованными людьми. Недавно въ Тобольскѣ умеръ весьма замѣчательный по образованію человекъ, цѣлую жизнь слѣдившій за наукой, оставившій замѣчательную бібліотеку, хотя вышелъ изъ полубаталіона кантонистовъ и принадлежалъ къ выкращеннымъ въ дѣтствѣ киргизатамъ, когда-то покупаемымъ въ нашей степи

на положеніи рабовъ. Достаточно прослѣдить имена ученыхъ и литераторовъ, выходившихъ изъ сибиряковъ, чтобъ получить понятіе, откуда они вышли и какъ шло ихъ воспитаніе. Здѣсь мы видимъ дѣтей купцовъ, причетниковъ, мѣщанъ и казаковъ; одинъ изъ ученыхъ историковъ, составившій себѣ имя въ литературѣ, сынъ дьячка и матери тунгуски; одинъ изъ замѣтныхъ естествоиспытателей—сынъ простого казака. Обращавшій на себя вниманіе филологъ Даржи-Банзаровъ былъ буряты; талантливый путешественникъ въ Кашгаръ, Чеканъ-Валихановъ—киргизъ. Мы не считаемъ извѣстныхъ личностей, вышедшихъ изъ средняго сословія. Большинство сибирскихъ путешественниковъ совсѣмъ не были въ учебныхъ заведеніяхъ, изъ литераторовъ многіе не оканчивали курса въ мѣстныхъ гимназіяхъ,—словомъ, здѣсь мы всего менѣе видимъ патентованной учености. Вообще учебныя заведенія въ Сибири играли второстепенную роль по своему вліянію. Жизнь и развитіе общества шли независимо отъ вліянія учебныхъ учрежденій, которыя стояли въ сибирской жизни какъ-то въ сторонѣ, и это будетъ совершенно понятно, если мы примемъ во вниманіе качество и ученое достоинство прежнихъ сибирскихъ гимназій. Эти гимназіи основывались при самыхъ убогихъ средствахъ; долго онѣ не находили учителей, недостатокъ въ которыхъ чувствуется даже и теперь, и наполнялись людьми случайнаго подбора, почему-нибудь претендовавшими въ Сибири на педагогическую компетентность. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ эти гимназіи имѣли учителей изъ отставныхъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, изъ семинаристовъ, изъ частныхъ приставовъ; въ томской и тобольской гимназіяхъ, по воспоминаніямъ вышедшихъ учениковъ, между учителями были полупомѣшанные, слѣпые, хромые, страдающіе запоемъ; понятно, что при такихъ педагогахъ сибирскія гимназіи не могли пользоваться никакимъ вліаніемъ.

Если взять число грамотныхъ въ Сибири, то ихъ оказывается очень немного. По свѣденіямъ Военно-статистическаго сборника, въ прибалтійскихъ губерніяхъ приходится 1 грамотный на 19 жителей; въ губерніяхъ съ земскими учрежденіями 1—на 168; въ губерніяхъ, неимѣющихъ этихъ учрежденій, 1—на 471; въ Сибири-же 1—на 664 человекъ всего населенія. Относительно числа получающихъ среднее учебное образованіе, Сибирь стоитъ также на послѣднемъ мѣстѣ; сравнивая различные округа, мы уви-

димъ, что въ Финляндіи приходится 1 гимназистъ на 284 жителя; на Кавказѣ 1—на 462; въ одесскомъ округѣ 1—на 467; въ кievскомъ 1—на 516, а въ Сибири 1 гимназистъ на 1,100 жителей. Все это показываетъ рѣшительную отсталость Сибири въ учебномъ дѣлѣ предъ всѣми другими областями Россіи. Число учебныхъ заведеній въ Сибири точно также весьма ограниченное. По свѣденіямъ статистическаго временника за 1865 г., среднихъ учебныхъ заведеній въ Сибири было 3, съ 575 учащимися; низшихъ—16, съ 1,321 учащимися; народныхъ: приходскихъ училищъ 86, съ 2,671 учащимися; заводскихъ школъ 14, съ 144 учащимися; пріютовъ 5, съ 414 учащимися; притомъ въ Сибири не было ни одного техническаго, ни одного земледѣльческаго и ни одного высшаго учебнаго заведенія. Въ настоящее-же время въ четырехъ гимназіяхъ 700 учениковъ; въ уѣздныхъ училищахъ по четыремъ губерніямъ 1,441 человекъ. Недостатокъ среднихъ и вообще учебныхъ заведеній въ Сибири выступаетъ особенно ярко при сравненіи Сибири съ другими областями; когда на всю Сибирь приходится 4 гимназіи, въ Финляндіи ихъ 6, на Кавказѣ 6; въ одесскомъ учебномъ округѣ 9, въ кievскомъ 12. Въ Сибири между тѣмъ болѣе 5,000,000 жителей; въ кавказскомъ учебномъ округѣ 4,160,000 жителей; въ одесскомъ учебномъ округѣ 4,200,000, а въ финляндскомъ всего 1,200,000 жителей. Къ тому-же надо принять во вниманіе разстоянія одной мѣстности отъ другой въ Сибири, что несомнѣнно имѣетъ большое значеніе для распредѣленія учащихся въ Сибири. Достаточно вспомнить, что четыре сибирскія гимназіи расположены на пространствѣ 250,000 квадратныхъ миль и присоединяются къ казанскому учебному округу, который самъ равняется 26,705 квадратныхъ миль. Иначе сказать, сибирскія гимназіи растянуты по протяженію въ девять тысячъ верстъ.

По сословіямъ ученики сибирскихъ гимназій распредѣляются слѣдующимъ образомъ: дѣтей дворянъ и чиновниковъ 495, городскихъ сословій 184, сельскихъ—21,—слѣдовательно, сельскому населенію почти недоступно гимназическое образованіе. Въ девяти уѣздныхъ училищахъ тобольской губерніи, по отчетамъ 1863 года видно, что дѣтей крестьянъ было столько-же, сколько и дѣтей чиновниковъ, т. е. ровно 18,5% общаго числа учениковъ. Въ 1861 году изъ 1,441 учащихся во всѣхъ уѣздныхъ

училищахъ Сибири было дѣтей крестьянъ 275, а дѣтей дворянъ 276. Несмотря на значительную численность инородцевъ въ Сибири, дѣти ихъ почти совершенно не пользуются учебными заведениями. Въ другихъ областяхъ Россіи, гдѣ инородцевъ значительно менѣе, чѣмъ въ Сибири, они несравненно шире пользуются школами: на Кавказѣ въ гимназіяхъ инородцы составляютъ 27% всего числа учениковъ; въ одесской гимназіи ихъ было 22%; въ казанскомъ округѣ—2%; въ Сибири они не составляютъ и одного процента. Въ прежнее время инородцы принимались въ омскій кадетскій корпусъ, преобразованный теперь въ военную гимназію; сюда поступали дѣти киргизскихъ султановъ, но въ настоящее время ихъ перестали принимать и сюда.

Какое слабое вліяніе имѣли сибирскія учебныя заведения на увеличеніе образованнаго сословія, можно судить по числу окончившихъ курсъ въ гимназіяхъ: въ иркутской гимназіи въ 1860 и 61 годахъ окончили курсъ по 14 человекъ; съ 1862 до 1865 года среднее число выпущенныхъ изъ гимназіи было 9 чел.; затѣмъ ежегодно выходило отъ 6 до 11. Въ томской гимназіи въ 1871 г. окончившихъ курсъ было 23; въ 1872—12, и въ 1873 году—3 человека. Въ 1872 г. было получено извѣстіе, что въ классической тобольской гимназіи окончилъ курсъ всего 1 ученикъ. Въ 1872 и 1873 годахъ въ красноярской гимназіи въ VII классѣ находилось только 3 ученика; въ 1874 г. окончившихъ курсъ было—3. Все это показываетъ, что прибыль образованныхъ людей въ Сибири изъ существующихъ учебныхъ заведений была ничтожна и почти незамѣтна. Каждая гимназія, дававшая отъ 3 до 9 лицъ ежегодно на 5,000,000-е населеніе, едва-ли могла оказывать замѣтное вліяніе.

Состояніе учебныхъ средствъ въ Сибири, о которомъ въ послѣднее время мы знаемъ изъ мѣстныхъ корреспонденцій, далеко не приглядное. Объ учебномъ дѣлѣ въ томской губерніи заявляются слѣдующія достовѣрныя свѣденія: число школъ далеко не соответствуетъ обширности территоріи и числу жителей; онѣ находятся безъ надзора, съ плохими учителями; школы въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ страдаютъ отсутствіемъ того-же правильнаго присмотра. Содержаніе сельскихъ учителей ничтожно—100 р. въ годъ; хорошіе наставники не идутъ; въ большинствѣ преподаютъ священники, но они исполняютъ требы на

большихъ разстояніяхъ, заняты домашними дѣлами, а потому не имѣютъ времени заботиться о школахъ и поручаютъ обученіе лицамъ, уволеннымъ изъ низшихъ духовныхъ званій, людямъ неразвитымъ и сомнительной нравственности. При такихъ учителяхъ дѣти получаютъ отвращеніе къ обученію, а родители берутъ ихъ изъ школъ и отдаютъ ссыльно-поселенцамъ на выучку; оканчиваетъ курсъ едва треть дѣтей, остальные двѣ трети выходятъ ранѣе. Поэтому чувствуется особенная потребность въ учительской семинаріи. Уѣздныя училища существуютъ только въ городахъ: Томскѣ, Канискѣ и Кузнецкѣ; они страдаютъ недостаткомъ учебныхъ пособій. Томская гимназія поставлена въ невозможность быть рассадникомъ образованія въ губерніи, говоритъ одинъ офиціальнй отчетъ, — по скудости въ ней преподавателей. Многие изъ учителей не соотвѣтствуютъ своему назначенію. Губернія стоитъ вдали отъ университетовъ, способные люди не ѣдутъ сюда, поэтому оканчивающіе курсъ не приобретаютъ достаточно основательныхъ свѣденій; однакожь, несмотря на эти неблагоприятныя условія, гимназія въ послѣднее время переполнена учащимися: въ нѣкоторыхъ классахъ въ 1873 году было до 70 учениковъ, тогда-какъ по уставу допускается не болѣе 40. Тѣснота здѣсь страшная, на каждого ребенка приходилась половина кубической сажени воздуха, между тѣмъ извѣстно, что норма необходимаго воздуха опредѣляется тремя саженими. Переполненіе гимназіи учащимися побудило начальство отказываться въ приемъ многимъ желающимъ. Томская гимназія до сихъ поръ не имѣетъ своего собственнаго дома. Осенью 1873 года, однакожь, открыто было въ ней три паралельныхъ класса.

О состояніи учебнаго дѣла въ енисейской губерніи имѣются такія данныя: уѣздныхъ и приходскихъ училищъ здѣсь 4; кромѣ того открыта учительская семинарія, въ которую въ 1873 году поступило 15 человѣкъ. Несмотря на то, по отчету губернатора, въ семи первоначальныхъ школахъ ученіе не производилось за неимѣніемъ учителей. Открывшаяся красноярская гимназія находится въ младенческомъ состояніи: она также страдаетъ недостаткомъ учителей; кромѣ окончившихъ здѣсь курсъ троиухъ учениковъ, всѣ остальные, до пятидесяти человѣкъ, выходили изъ II-го, III-го и IV-го классовъ.

Число учебныхъ заведеній въ иркутской губерніи довольно зна-

чительно: въ Иркутскѣ считается 19 учебныхъ заведеній, но неудовлетворительность ихъ рисуется слѣдующими словами одного изъ мѣстныхъ корреспондентовъ: „Учебныя заведенія Сибири не имѣютъ почти учителей и ихъ приходится набирать изъ людей неподготовленныхъ къ учебному дѣлу. Такъ, напримѣръ, въ личномъ составѣ иркутской губернской гимназіи только четыре учителя носятъ по-справедливости это имя; остальные—юристы, топографы, горные инженеры, музыканты и проч.; завѣдывающій гимназіей не получилъ высшаго образованія. Нынѣшній генералъ-губернаторъ отнесся съ большимъ вниманіемъ къ этому явленію сибирской жизни. По его настоянію въ иркутской гимназіи происходитъ ревизія, говорятъ, намѣренно порученная тому лицу, которое производило ее въ 1874 году и признало, что все обстоятъ благополучно; произведя-же ревизію по предложенію генералъ-губернатора въ 1875 году, оно признало, что не все обстоятъ благополучно“. Реальная прогимназія, преобразованная въ техническій институтъ, начинаетъ падать за неимѣніемъ средствъ и учителей.

Состояніе учебнаго дѣла въ тобольской губерніи лучше всего характеризуется тѣмъ, что Тюмень, большой промышленный городъ, не имѣлъ до сихъ поръ гимназіи, а сибирскіе богачи воспитывали дѣтей въ уѣздномъ училищѣ. Въ городѣ Акмолинскѣ только въ 1874 году открыто первое городское училище. А вотъ что пишутъ изъ Барнаула, богатѣйшаго города томской губерніи: „Въ Барнаулѣ, при населеніи въ 13,529 челов., до сихъ поръ нѣтъ средняго учебнаго заведенія; населеніе его, промышленное и торговое, нуждается въ образованіи своихъ дѣтей и поставлено въ необходимость отправлять ихъ въ томскую гимназію, за 400 верстъ, и въ омскую, за 900 верстъ, которыя до того переполнены мѣстными учениками, что иногороднимъ недостаетъ мѣста. Четыре года тому назадъ послѣдовало высочайшее повелѣніе объ открытіи въ Барнаулѣ гимназіи, но до сихъ поръ оно не приведено въ исполненіе“. Нечего говорить о слабомъ развитіи учебнаго дѣла въ отдаленныхъ областяхъ: въ семипалатинской области, по отчету 1873 года, число народно-учебныхъ заведеній сократилось на три.

О народномъ образованіи въ якутской области говорится въ одномъ отчетѣ слѣдующее: „Въ области недостатокъ начальныхъ

народныхъ школъ, въ существующія или открытія школы невозможно прискаты способныхъ учителей по весьма ограниченному содержанію, имъ назначенному, сравнительно съ цѣнами, существующими теперь на всѣ вообще потребности. Иностранческое населеніе, и при желаніи распространенія грамотности, какъ было замѣчено въ самомъ отдаленномъ калмыскомъ округѣ, по своимъ весьма ограниченнымъ средствамъ и бѣдности жителей не можетъ помочь дѣлу образованія открытіемъ въ своихъ селеніяхъ школъ. Живя и имѣя хозяйство свое за нѣсколько сотъ верстъ отъ городовъ, гдѣ учреждены учебныя заведенія, иностранцы не имѣютъ средствъ посылать туда дѣтей; въ самомъ отдаленномъ краѣ, какъ якутская область, гдѣ большая часть населенія находится почти въ дикомъ состояніи и исключительно въ невыгодномъ положеніи, благодѣтельно было-бы ассигновать изъ казны достаточныя суммы на открытіе и содержаніе начальныхъ школъ, тѣмъ болѣе, что якуты ужь сознаютъ пользу грамотности, какъ видно изъ того, что наиболѣе состоятельные отправляютъ дѣтей въ городскія учебныя заведенія и при составленіи приговоровъ на открытіе школъ ближайшіе къ Якутску по-возможности даютъ часть денегъ на содержаніе при школѣ мальчиковъ изъ бѣдныхъ семействъ“.

„До какой степени относительно образованія и другихъ необходимыхъ для развитія мѣръ обездолены нѣкоторыя обширныя части восточной Сибири, лучше всего можно видѣть на забайкальской области, пишутъ въ „Московскія Вѣдомости“.—Населеніе ея достигло уже 450,000 человекъ, слѣдовательно уже далеко превосходитъ населеніе губерній архангельской, астраханской, олонецкой, ревельской, которыя всѣ имѣютъ гражданскія гимназіи, а первыя три—и духовныя семинаріи. По положенію своему забайкальская область важнѣе всѣхъ сибирскихъ губерній, потому что чрезъ нее идутъ всѣ тѣ торговые пути изъ Китая, на которыхъ совершаются главныя торговыя сношенія Китая съ Россіей; черезъ нее-же сообщается съ Сибирью и Россіей и Амурскій край, и Великій океанъ. Политическое значеніе забайкальской области еще значительнѣе: она одна можетъ служить опорой Амурскому краю и черезъ нее только можно дѣйствовать на Китай, а между тѣмъ забайкальская область не имѣетъ ни гражданской гимназіи, ни духовной семинаріи“.

Между тѣмъ потребность образованія въ сибирскомъ обществѣ съ каждымъ днемъ чувствуется все сильнѣе и сильнѣе; гимназіи переполнены учащимися и вынуждены отказывать многимъ желающимъ по неимѣнію помѣщеній для болѣе обширнаго числа учениковъ. Въ красноярскую учительскую семинарію явилось такое множество желающихъ, что ихъ некуда было помѣщать. Особенно усилился приливъ въ сибирскія школы съ введенія общей воинской повинности. Потребность образованія обнаружилась за послѣднее время основаніемъ на счетъ самого общества реальной гимназіи въ Иркутскѣ, ходатайствомъ объ открытіи такой-же гимназіи въ Томскѣ, ходатайствомъ о гимназіяхъ въ Барнаулѣ, въ Тюмени, теперь уже предположенныхъ къ открытію. Енисейскѣ просить объ открытіи въ немъ классической мужской прогимназіи. Въ то-же время пишутъ изъ Акиолинска: „открытіе женской прогимназіи было-бы у насъ величайшимъ благодѣяніемъ“.

Все показываетъ, что стремленіе къ образованію за послѣдніе годы въ Сибири постоянно растетъ. „Мѣстное населеніе всегда сильно ощущало эту потребность, говоритъ г. Вагинъ въ своей исторіи учебнаго дѣла въ Сибири при Сперанскомъ и позднѣе;— оно отдавало учить дѣтей своихъ всѣмъ, кого хотя сколько-нибудь считало способнымъ къ этому; оно встрѣтило всеобщимъ ропотомъ распоряженіе послѣдняго времени, которымъ обученіе дѣтей запрещалось сосланнымъ полякамъ; оно открывало школы вездѣ, гдѣ находило къ тому средства и гдѣ ожидало пользы отъ школъ. Только весьма немногіе города отказывались заводить у себя народныя и женскія школы, частію отъ недостатка средствъ, частію изъ буржуазной расчетливости, въ надеждѣ, что заведеніе этихъ школъ приметъ на себя правительство. Частныя лица время отъ времени жертвовали значительныя суммы на народное образованіе, хотя и менѣе того, что жертвовалось на благолѣпіе храмовъ. По мѣрѣ увеличенія числа среднихъ учебныхъ заведеній увеличивалось и число сибиряковъ, стремившихся къ университетскому образованію. Стремленіе это достигло въ послѣднее время весьма высокихъ размѣровъ. Можно почти положительно сказать, что въ послѣднее время найдутъ на университетскій курсъ только тѣ, кто или чувствуетъ совершенную неспособность къ нему, или принадлежитъ къ тѣмъ счастливымъ, которымъ не нужно ни знаній, ни труда, чтобъ занять извѣстное положеніе

въ обществѣ, или, наоборотъ, находится въ тяжелой зависимости отъ семейной обстановки... Одни изъ молодыхъ сибиряковъ пользуются казенными стипендіями; другіе, иногда безъ всякихъ средствъ. иѣшкомъ идутъ въ Казань, Москву, Петербургъ и тамъ слушаютъ университетскій курсъ, перебиваясь изо дня въ день частію уроками и литературными трудами, частію пособіемъ болѣе зажиточныхъ земляковъ-товарищей. Любовь къ наукѣ доходила иногда у нихъ до самоотверженія. Между тѣмъ недостатокъ средне-учебныхъ заведеній по-необходимости сдерживалъ стремленіе сибиряковъ къ высшему образованію. Можно судить, какъ велико было бы оно при другихъ, болѣе благоприятныхъ условіяхъ; можно судить и о томъ, какъ много потеряла Сибирь отъ того, что мысль о высшемъ заведеніи втеченіи почти 50 лѣтъ оставалась однимъ только проектомъ“, замѣчаетъ въ заключеніе г. Вагинъ.

Стремленіе облегчить доступъ сибирякамъ къ высшему образованію выразилось основаніемъ въ Сибири нѣсколькихъ обществъ для пособія нуждающимся студентамъ мѣстнаго происхожденія. Такое общество дѣйствуетъ уже нѣсколько лѣтъ въ Тобольскѣ; подобное-же общество основано въ Томскѣ. Томское общество, недавно существующее, уже внесло плату за 11 способныхъ учениковъ въ томскую гимназію, которымъ, по бѣдности, угрожало увольненіе; оно дало пособіе четыремъ студентамъ медико-хирургической академіи (трѣмъ — дѣтямъ бѣднаго сельскаго духовенства и одному—сыну чиновника) и одному студенту медицинскаго факультета казанскаго университета; наконецъ, выдавало ежегодныя пособія двумъ ученицамъ томской женской гимназіи. Въ настоящемъ году открыто общество содѣйствія учащейся молодежи въ Иркутскѣ для поощренія какъ мѣстнаго обученія, такъ и для содѣйствія высшему образованію. Учрежденіе это мотивировано слѣдующимъ образомъ: „Неимѣніе высшихъ учебныхъ заведеній въ восточной Сибири, при невозможности ожидать, чтобъ край въ близкомъ будущемъ приобрѣлъ ихъ, поставляло и поставляетъ въ крайнее, можно сказать—безъисходное положеніе учащуюся молодежь. Такъ-называемыя казенныя и общественныя стипендіи, во-первыхъ, ограничены въ числѣ, во-вторыхъ—учреждены преимущественно въ столичныхъ университетахъ и медико-хирургической академіи; въ специальныхъ учебныхъ заведеніяхъ ихъ нѣтъ; въ-третьихъ, рассчитаны исключительно на высшее образованіе,

тогда какъ подготовленіе къ нему на мѣстѣ довольно затруднено, и, въ-четвертыхъ, ограничиваются, по отношенію къ суммѣ, пособіемъ отъ 300 до 350 рублей, въ полномъ смыслѣ этого слова недостаточнымъ для обезпеченія матеріальныхъ нуждъ учащагося, тѣмъ болѣе, что, выдаваясь на руки юношѣ, часто совершенно неопытному, пособіе это расходуется не всегда производительно... Мы держимся того убѣжденія, пишутъ далѣе учредители, — что важнѣйшій недостатокъ настоящей системы заключается въ томъ, что, высылая нашихъ дѣтей за пять тысячъ верстъ, забрасывая ихъ въ незнакомую сферу, мы оставляемъ ихъ безъ попечительнаго надзора, который, съ одной стороны, служилъ-бы центромъ соединенія для юношей, съ другой — не представляясь отнюдь какимъ-либо опекуномъ, стѣсняющимъ самодѣятельность, являлся-бы на помощь молодымъ людямъ всегда, когда они въ этой помощи встрѣтятъ нужду, притомъ безразлично, будетъ-ли эта помощь матеріальная или чисто-нравственная. Намъ кажется, кромѣ того, что при болѣе правильномъ употребленіи и теперешнихъ денежныхъ средствъ они могли-бы, развѣ съ нѣкоторой прибавкой, обзавестись достаточными для обезпеченія матеріальныхъ нуждъ учащагося юношества. Поставить рядомъ съ ними подобный, постоянно дѣйствующій, попечительный надзоръ обязано то-же самое общество, которое ждетъ отъ нихъ служенія себѣ безкорыстнаго и честнаго“.

Сибирь много теряетъ отъ недостатка специалистовъ, въ ней нѣтъ техникувъ, почему промышленность находится въ застоѣ. Производства развиваются туго; еще въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія сибирское купечество, на предложеніе министра финансовъ, графа Канкринна, объявило, что оно не можетъ учреждать заводовъ по неимѣнію техникувъ, которыхъ выписывать изъ Россіи дорого. Сибирь повтому не можетъ удовлетворить себя никакими собственными производствами, она пользуется всѣмъ привознымъ, начиная съ гвоздя, при массѣ своего желѣза, и кончая сукнами — при огромномъ количествѣ шерсти и скота. Всѣ товары доставляются Сибири необыкновенно дорого и самаго дурного качества; многіе сорта русскихъ фабрикъ и даже кустарной промышленности имѣютъ сбытъ только въ Сибири. Сибирь находится подъ торговымъ игомъ отдаленныхъ мѣстностей

съ ихъ мануфактурными центрами. Между тѣмъ потребности сибирскаго населенія все болѣе растутъ, и тяжесть, ложащаяся на потребителей въ силу дороговизны привознаго, за отсутствіемъ своего, все болѣе даетъ себя чувствовать. Не поможетъ Сибири и изобиліе сырья, съ которымъ она не знаетъ что дѣлать,—шѣха, кожи, сало она не умѣетъ обрабатывать, хлѣбъ ей некуда сбывать; для основанія металлическаго производства нѣтъ знаній и средствъ. Мѣстное изобиліе между тѣмъ, въ видѣ скота и хлѣба, только понижаетъ цѣны и даетъ прибыль однимъ привѣзшимъ торгашамъ, закабаляющимъ населеніе. Таково экономическое положеніе Сибири. Сельское хозяйство, скотоводство, рыболовство и пчеловодство страдаютъ отсутствіемъ всякихъ рациональныхъ способовъ веденія дѣла. Масса скота падаетъ въ Сибири отъ язвы, отъ эпидемій, отъ небрежнаго ухода, и пособить этому недостаетъ знаній. Молочные и скотоводческіе продукты пропадаютъ даромъ; множество сортовъ морской и рѣчной рыбы, за неумѣнїемъ готовить и солить ее, гниетъ на берегахъ; самые богатые уловы не служатъ ни къ чему для населенія. Недостатокъ образованныхъ людей даетъ себя знать во всѣхъ сферахъ труда и промышленности.

Въ Сибири большой недостатокъ учителей для учебныхъ заведеній. Недавно еще въ нашихъ газетахъ была публикація отъ министерства народнаго просвѣщенія, которое дѣлало вызовъ на вакантныя и незаимѣнныя должности штатныхъ смотрителей и учителей въ слѣдующихъ городахъ: Ачинскѣ, Нерчинскѣ, Иркутскѣ, Красноярскѣ, Нижнеудинскѣ, Керенскѣ, Енисейскѣ, Верхнеудинскѣ и Троицкосавскѣ. Еще болѣе недостатокъ въ Сибири медиковъ. На цѣлыя округа, величиной въ европейскія государства, приходится одинъ медикъ, да и тотъ въ развѣздахъ; цѣлыя инородческія области находятся безъ медицинской помощи. Въ Березовскомъ краѣ, по словамъ доктора Соколова, оstantи умираютъ отъ цынги, тифа, сифилиса и простуды; болѣзни здѣсь осложняются и принимаютъ невиданныя нигдѣ формы. По официальнымъ свѣденіямъ, въ восточной Сибири развитіе сифилиса въ керенскомъ округѣ принимаетъ третичныя формы, зараженными являются поголовно цѣлыя семьи и даже иногда рождаются дѣти уже съ испорченными костями. Якутская область, въ 70,000 кв. миль, съ 230,000 жителей, имѣла только трехъ

уѣздныхъ врачей; въ послѣднее время въ этой части восточной Сибири свирѣпствовала оспа на пространствѣ 7,000 верстъ; инородческое населеніе было заражено поголовно; въ Камчаткѣ, Гяжигѣ и Охотскѣ постоянно свирѣпствуютъ разныя болѣзни; чтобы хотя нѣсколько пособить бѣдствующему населенію, изъ Петербурга командированы три врача. Мы не перечисляемъ подробно недостатки медицинской части въ Сибири, такъ-какъ это не касается предмета нашей статьи; мы упомянули объ этомъ для того, чтобы показать, какъ страдаетъ Сибирь отъ недостатка здѣсь образованныхъ людей. Вопросъ о расширеніи образованія въ Сибири сталъ теперь вопросомъ спасенія, самымъ существеннымъ жизненнымъ вопросомъ.

Обращаясь къ общественной жизни сибирскихъ городовъ, мы должны указать, что вообще проявленіе ея крайне бѣдно и печально. Приводимъ мѣстные извѣстія объ этомъ предметѣ: „Наше сонное общество только изрѣдка подаетъ признаки жизни, пишутъ изъ Омска въ 1875 году, — но и то по поводу смѣны какого-нибудь начальствующаго лица, мѣстнаго скандала и т. п. Омскъ — типъ провинціальныхъ трясины. Проходятъ годы, десятилѣтія — и никакихъ признаковъ разумной жизни въ немъ незамѣтно. Тамъ, гдѣ-то за Ураломъ, вдали, за 3, за 5 тысячъ верстъ происходятъ событія, — человечество вырабатываетъ лучшія формы жизни, борется за идеи, страдаетъ и побѣждаетъ или временно отдыхаетъ, усталое и побитое врагами прогресса, а у насъ что? Безпросыпная косность, непроглядные сумерки и никакой надежды!..“

„Судя по вѣшнему благоустройству, никто не задумался-бы назвать Красноярскъ городомъ вполне европейскимъ, пишутъ въ томъ-же году изъ другого мѣста Сибири. — Но всматриваясь глубже, не найдешь здѣсь и слѣда серьезныхъ общественныхъ интересовъ; въ подтвержденіе достаточно привести слѣдующее: у насъ считается весьма естественнымъ, что ежегодно очень значительный контингентъ учащихся, задолго до окончанія курса, изъ женской гимназіи выходитъ замужъ, а изъ мужской — расходится по разнымъ присутственнымъ мѣстамъ. Въ большинствѣ случаевъ это дѣлается по настоянію самихъ родителей. Но это блѣднѣетъ передъ тѣмъ, что совершилось надпяхъ: закрыта публичная бібліотека за неимѣніемъ читателей... При этомъ самое

закрытіе для самого общества прошло незамѣтно...“ Подобныя же жалобы несутся изъ Томска, гдѣ также давно закрыта библіотека, изъ Тобольска, изъ Енисейска и другихъ городовъ.

Наконецъ, вотъ картина жизни Иркутска, столицы Сибири, нарисованная однимъ изъ недавно посѣтившихъ его путешественниковъ: „Нѣтъ въ Сибири города, о которомъ-бы заботились такъ много и начальство, и общество, какъ Иркутскъ, говоритъ г. Ровинскій, — а между тѣмъ мѣстныхъ удобства жизни и гигиеническія условія нигдѣ не находятся въ такомъ ужасномъ пренебреженіи. Смотри на эту дѣятельность со стороны, нельзя не замѣтить, что все это было ничто иное, какъ подражаніе. Въ Иркутскѣ вы найдете много учрежденій, которыхъ нѣтъ ни въ одномъ городѣ Россіи, общество основываетъ пріюты, благородныя институты, юнкерскія училища, театры, но дѣло въ томъ, что все это дѣлается обществомъ не добровольно, а по предложенію начальства, и каждый жертвователъ норовитъ, чтобъ его подачка подошла кстаті, выставила-бы его на видъ. Такимъ образомъ, это со стороны нѣкоторыхъ людей составляетъ средство къ достиженію извѣстныхъ цѣлей и къ задабриванію начальства. Иркутскъ, повидимому, создалъ ученныя и учебныя учрежденія, имѣетъ благотворительныя общества, клубы, какъ-бы общественную жизнь, но все это только такъ кажется. Общество тутъ не причесть... Надѣюсь, что никто не упрекнетъ насъ въ несправедливости, если мы скажемъ, продолжаетъ г. Ровинскій, — что въ Иркутскѣ между купечествомъ, играющимъ въ жизни самую важную общественную роль, царствуетъ крайняя необразованность, потому что имъ негдѣ было получить образованія, а многіе изъ нихъ вышли изъ простыхъ ямщиковъ или обозныхъ прикащиковъ. Что касается общественныхъ проявленій жизни, то все это дѣлается не кореннымъ, туземнымъ обществомъ, а чиновниками, которые нынче здѣсь, а завтра тамъ, которые въ Иркутскѣ попали случайно, предаются общественной дѣятельности отъ скуки и потребности фигурировать тамъ, гдѣ, по пословицѣ, на безлюдья и Фома дворянинъ. Осуществленію ихъ плановъ помогаетъ только ихъ вліятельное положеніе. Неумѣлость этихъ людей роняетъ часто дѣло и компрометируетъ его на будущее время, а болѣе талантливые, при удачѣ, могутъ внести въ общество такія воззрѣнія, дѣйствуя въ духѣ которыхъ можно внести въ край

громадное зло. Искусственно созданныя, безъ сознанія самого общества, учрежденія постою безпрестанно падаютъ; къ такимъ принадлежатъ: отдѣлъ иркутскаго географическаго общества, общество грамотности, юридическое, медицинское, нѣсколько провалившихся иркутскихъ газетъ и, наконецъ, мѣстная публичная библіотека, на которую очень быстро была собрана сумма въ 4,353 рубля, не считая подписчиковъ, но въ концѣ пришла къ полному недостатку средствъ для своего поддержанія, а городское общество показало участіе къ ней только тѣмъ, что хотѣло разъ продать ее съ публичнаго торга на толкучку. Подобную-же судьбу, говорятъ, испытываетъ нынѣ иркутская реальная гимназія, основанная на общественныхъ суммахъ и на обещаніяхъ, которыя вслѣдъ затѣмъ остались невыполненными“.

Умственная жизнь Сибири, при такомъ состояніи городовъ, ничѣмъ себя не заявляетъ. Въ Сибири, по свѣденіямъ „Военно-статистическаго сборника“, 19 типографій и 4 литографій, но здѣсь не печатается ничего, кромѣ официальныхъ вѣдомостей, худшихъ во всей Россіи, и официальныхъ бланковъ. Участъ частныхъ типографій, недавно основанныхъ, еще плачевнѣе: въ Иркутскѣ частная типографія почти не дѣйствуетъ; она попыталась издать календарь, и, глубоко разочаровавшись, потерпѣвъ убытки на первомъ шагу, бросила это предпріятіе. Въ Красноярскѣ одинъ чиновникъ выписалъ машину и литографскій станокъ для развитія мѣстнаго книгопечатанія и просвѣщенія, и принужденъ былъ печатать этикетки для водокъ и наливовъ; такая-же участь постигла типографію въ Тюмени. На всемъ протяженіи Сибири до послѣдняго времени, вплоть до Иркутска, нѣтъ ни одного книжнаго магазина или спеціальной продажи учебныхъ пособій; книги въ Сибирь завозятся случайно и продаются вмѣстѣ съ сапогами и дегтемъ; нечего и говорить о выборѣ книгъ. Иногда достоинство книги цѣнится однимъ переплетомъ; только въ одномъ Иркутскѣ въ послѣднее время основана одна спеціальная книжная лавка. Мы отмѣчаемъ это потому, что, по странной случайности, въ одномъ изъ русскихъ статистическихъ сборниковъ нашли извѣстіе, что въ Сибири находится 11 книжныхъ лавокъ и 12 библіотекъ. Что касается публичныхъ библіотекъ, то возникавшія въ шестидесятыхъ годахъ въ нѣкоторыхъ городахъ Сибири, онѣ давно прекратили свое

существованіе. Значительное книгохранилище находится при тобольской семинаріи; богатая бібліотека—при омской военной гимназіи, и довольно значительная — въ Томскѣ, куда жертвовали для общественнаго пользованія книги даже богатые золотопромышленники, какъ Гороховъ, но всё онѣ остаются недоступными для публики. Есть только кое-какія бібліотечки при разныхъ вѣдомствахъ и батальонахъ для собственнаго употребленія. Мѣстное-же общество довольствуется газетами при клубахъ, залитыми виномъ. Правда, при такихъ читальняхъ бывають и книги, но о подобныхъ книжныхъ богатствахъ можно судить по семиналатинской клубной бібліотекѣ, имѣвшей въ послѣднее время 15 періодическихъ изданій и „18 разныхъ наименованій книгъ“! По всей Сибири нѣтъ музеевъ, кромѣ небольшого горнаго кабинета въ Барнаулѣ, принадлежащаго специальному вѣдомству и никѣмъ не посѣщаемою. Нѣтъ собранія сибирскихъ горныхъ породъ въ странѣ золотопромышленности; нѣтъ никакихъ обращеній мѣстной минералогіи, и на всемъ протяженіи Сибири вы не увидите никакихъ доказательствъ алтайскихъ и нерчинскихъ богатствъ, хотя нашъ Эрмитажъ хранитъ изящнѣйшія произведенія изъ чудовищнѣйшихъ яшмъ, выдѣланныхъ въ Сибири на колыванской фабрикѣ, а бійскій округъ изобилуетъ 515-ю различными породами цвѣтныхъ камней. Четыре года тому назадъ одно частное лицо въ Красноярскѣ хотѣло основать музей, составленный изъ породъ, взятыхъ съ золотыхъ россыпей, но ему это не было разрѣшено, потому что одно ученое учрежденіе, разрѣшавшее этотъ вопросъ, нашло, что подобные камни съ содержаніемъ золота должны быть оплачены пошлиной, но опредѣлить ее рѣшительно отказывалось за незнакомствомъ съ удѣльнымъ вѣсомъ. Но и существующія уже въ Сибири ученныя учрежденія ведутъ свое дѣло вяло за неимѣніемъ умственныхъ силъ. Такъ сибирскій отдѣлъ географическаго общества существуетъ только трудами пріѣзжихъ путешественниковъ и чиновниковъ, а въ послѣднее время едва не закрылся вслѣдствіе отъѣзда своего предсѣдателя. Основанное въ Иркутскѣ техническое общество не имѣетъ засѣданій, а основанное въ Омскѣ общество для изученія западной Сибири имѣло всего одно засѣданіе со времени своего открытія, гдѣ произнесена была вступительная рѣчь и придумана печать. На приглашеніе его никакихъ изслѣдова-

ній не послѣдовало и память о существованіи его хранить только сторожъ мѣстнаго клуба, у котораго нѣтъся ключъ отъ какой-то его бібліотеки. Но не одни искусственно созданныя ученыя учрежденія на Востокѣ терпятъ крушеніе: въ послѣднее время, въ силу недостатка интереса къ общественнымъ дѣламъ, въ силу неразвитости, здѣсь не прививается даже новое городское положеніе, какъ извѣщаютъ мѣстныя корреспонденціи.

Намъ оставалось-бы сказать о судьбѣ сибирской печати, какъ характеристикѣ мѣстной умственной жизни, но мы не передаемъ повѣсти двухъ - трехъ убогихъ газеткахъ, закончившихъ свое существованіе за немнѣишемъ подписчиковъ. Укажемъ только на слѣдующее характеристическое замѣчаніе, сдѣланное недавно одною умѣренной петербургскою газетою: „Если-бы сказать какому-нибудь иностранцу, что у насъ, въ наши дни прогресса, въ Сибири, этомъ отдаленномъ отъ европейской Россіи краѣ, занимающемъ громадное пространство земли, нѣтъ ни одной такой газеты, которую можно было-бы взять въ руки, то я увѣренъ, что этотъ иностранецъ разинулъ-бы ротъ и въ концѣ-концовъ все-таки принялъ-бы это за шутку. Такого рода отсутствіе литературнаго органа въ цѣломъ громадномъ краѣ тогда только кажется какъ-бы „ничего“, когда объ этомъ не думаешь, но стоитъ только, хотя-бы на минуту, но сосредоточенно задуматься надъ этимъ отсутствіемъ, и оно покажется ужаснымъ. Не ужасно-ли, въ самомъ дѣлѣ, отсутствіе свободнаго и разумнаго слова въ виду скорой реформы этого края: все гласное по существу будетъ безгласнымъ въ печати...“ Не разъ Сибирь платилась горько за это отсутствіе гласности!

Сибирь много терпитъ отъ недостатка въ ней людей образованныхъ: все лучшее, что воспитывается въ мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ и стремится получить высшее образованіе, никогда уже не возвращается въ Сибирь. Въ Сибирь-же пріѣзжаютъ изъ прочихъ губерній Россіи по большей части люди съ изъяномъ или съ сомнительнымъ прошлымъ. Недостатокъ честныхъ и образованныхъ людей здѣсь давно чувствовался, на это жаловались Сперанскій, Капцевичъ, это чувствуется до послѣдняго времени *).

*) Число лицъ по образованію въ сибирскомъ обществѣ и мѣстной администраціи, конечно, трудно было опредѣлить, но все-таки и по этому поводу нѣтъся нѣкоторыя свѣденія, а именно по иркутскому календарю 1875 г. видно,

Въ Сибирь вызывали искусственно людей, увеличивая оклады, давая поощренія, но и эта мѣра почти не приводила къ цѣли. Являлась масса людей, соблазнявшихся содержаніемъ и окладами, но самый мотивъ, побуждавшій ихъ ѣхать въ отдаленный край, показывалъ, что самъ край не игралъ никакой роли въ ихъ соображеніяхъ. Конечно, пріѣзжали въ Сибирь и люди даровитые, честные, которые посвящали свои силы и способности на служеніе странѣ, но ихъ было немного и дѣятельность ихъ была временная: за то было слишкомъ много авантюристовъ, которые надѣлали не мало зла пріютившему ихъ краю. Представители интеллигенціи и знанія, забравшись въ Сибирь, спѣшили какъ можно скорѣе выбраться изъ нея, вывозя очень много и взамѣнъ оставляя очень мало. Ученые вывезли изъ Сибири рѣдкости и опустошили архивы; инженеры и техники—лучшіе образчики коллекцій; предприимчивость, закинутая въ Сибирь,—богатство. Обиѣнъ, такимъ образомъ, не уравновѣшивался и край мало выигрывалъ. Изъ него вышло много даровитыхъ людей, художниковъ, писателей, государственныхъ дѣятелей, ученыхъ туземцевъ, которые много поработали для отечества, но вообще очень мало сдѣлали въ частности для Сибири. Самыя учебныя заведенія при такомъ фатальномъ законѣ играли странную роль: отчасти они сами понижались въ своихъ достоинствахъ подъ вліяніемъ невѣжественной среды, а основываемыя самимъ обществомъ, подъ впечатліишемъ какихъ-нибудь случайныхъ импульсовъ, не поддерживались имъ; съ другой стороны, они способствовали выѣзду изъ края всего наиболѣе даровитаго, оставляли его безъ послѣднихъ ресурсовъ и ничѣмъ не могли вознаградить его за потери. Положеніе образованнаго чело-вѣка въ сибирскомъ обществѣ было невыносимо-тяжело: среди невѣжественной среды, полной грубыхъ недостатковъ, онъ являлся одинокимъ, не имѣлъ почвы, не было даже небольшого кружка людей, къ которымъ онъ могъ-бы применить и признать въ нихъ свое отечество. Онъ не находилъ себѣ поддержки и сочувствія.

что въ 1861 г. въ числѣ штата служащихъ въ вост. Сибири было въ двухъ губерніяхъ, съ забайкальской областью, только 89 чело-вѣкъ съ университетскимъ образованіемъ, 101 съ гимназическимъ и 271 кончившихъ курсъ въ низшимъ училищахъ. О западной-же Сибири были недавно свѣденія, что въ штатѣ гласнаго управленія края не было ни одного лица съ университетскимъ образованіемъ (?).

ученые въ иркутскомъ географическомъ отдѣлѣ называютъ себя „закинутыми“ въ этотъ печальный край. Люди съ слабыми силами сплошь и рядомъ погибали здѣсь и падали нравственно (такъ погибала здѣсь, напримѣръ, масса медиковъ и учителей). Отдѣлъ иркутскаго географическаго общества заявилъ даже своею цѣлью поддерживать нравственныя силы ученыхъ, заѣзжающихъ въ Сибирь. Попятно, что многіе образованные люди находили единственнымъ спасеніемъ своихъ силъ бѣгство изъ Сибири, и только немногіе труженики рѣшались отдавать свои силы краю. Но самое трагическое положеніе доставалось на долю тѣхъ зародышей мѣстной интеллигенціи, какіе временами проявлялись здѣсь, начиная съ Словцова, друга Сперанскаго. Такой туземецъ, желая приносить пользу, находилъ самый упрямый отпоръ въ нравахъ и жизни. Положеніе развитой, интеллигентной и одаренной сердцемъ личности среди грубаго, невѣжественнаго, живущаго исключительно промышленно-кулацескими интересами и пропитаннаго узко-эгоистическими взглядами и жестокими, корыстными побужденіями общества прекрасно обрисовано историкомъ Щаповымъ въ статьѣ: „Объ отсутствіи высшихъ нравственныхъ чувствъ у сибиряковъ“. Положеніе это тяжело, невыносимо, но оно несравненно важнѣе было по своимъ соціальнымъ и историческимъ послѣдствіямъ. Между мѣстной интеллигентной личностью и обществомъ образовывался тотъ антагонизмъ и та грань нетерпимости, которые не приносили пользы ни той, ни другой сторонѣ. Онѣ обѣ страдали недостатками и ошибками. Общество, въ силу своего непониманія, не пользовалось способностями и талантами человѣка, который могъ принести ему большую пользу; человѣкъ-же интеллигентный, подъ вліяніемъ раздраженія, презиралъ это общество, а съ нимъ и мѣстные общественные вопросы. Такимъ образомъ, нарушалась та связь, которая необходима для гармоническаго развитія; живныя части его жили отдѣльно, не оплодотворяя другъ друга. Картины мѣстной сибирской жизни представляютъ иногда возмутительную травлю образованнаго человѣка. Здѣсь преслѣдуются невинные корреспонденты пѣлымъ сонмомъ общества, — они не обезпечены отъ насилія и возмутительныхъ оскорбленій; имъ угрожаютъ, ихъ выгоняютъ вонъ, перехватываютъ письма и поступаютъ какъ съ врагами общественнаго порядка. Далеко-ли ушли сибиряки отъ азіятскихъ

обществъ, напримѣръ, отъ Хивы? Таковы были плоды отсутствія здѣсь образованія и сплотившагося образованнаго сословія, которое могло, хотя отчасти, измѣнить нравы одичавшаго и обзавѣтившагося русскаго человѣка на Востокъ. Между тѣмъ нигдѣ, можетъ быть, образованіе не способно принести такихъ благотворительныхъ плодовъ, какъ въ Сибири. Давленіе природы на человѣка здѣсь сильнѣе, борьба культуры здѣсь ожесточеннѣе. Русское населеніе окружено инородцами и азійскими народностями. Къ мѣстному населенію примѣшивалась масса элементовъ, понижавшихъ его достоинства. Въ это общество входила масса сосланныхъ сюда преступниковъ, которые растлвляли нравственность общества и постоянно разрушали понятія о собственности, о правѣ, о личной неприкосновенности и т. д. Все это способствовало только паденію и регресу общества, а въ краю не было никакихъ средствъ противодѣйствовать этому растлвнію и сколько-нибудь поднять это косное общество, неподнимавшееся ни до высоты гражданскаго долга, ни до понятія собственныхъ интересовъ въ цѣлой совокупности, ни до собственного сознанія. Здѣсь не было примѣровъ гражданской чести, самоотверженія, возвышенныхъ стремленій. Въ то время, когда Россія переживаетъ реформы, измѣняющія ея бытъ, сибирское общество остается въ прежнемъ неподвижномъ положеніи. Однакожь, пора намъ обратить вниманіе на нашъ Востокъ, пора сдѣлать что-нибудь и для него. Обширный сибирскій край, съ его разнообразными нуждами, требуетъ разрѣшенія въ немъ многихъ существенныхъ вопросовъ, касающихся не только его одного исключительно, но и цѣлага русскаго общества. Край богатый и разнообразный, пролежавшій вѣка безъ пользы, требуетъ, наконецъ, разработки; надобно открыть сбытъ для продуктовъ его производства. Соединеніе желѣзной дорогою дальняго Востока съ центромъ Россіи, т. е. Азіи съ Европой, должно вызвать въ край предпримчивость; необходимо, чтобы на помощь ей пришли наука и знанія, иначе предпримчивость будетъ направлена не туда, куда слѣдуетъ, и задохнется подъ давленіемъ невѣжества. Надо двинуть цѣлый рядъ вопросовъ: колонизаціонный, торговый и промышленный, о прекращеніи ссылки, объ уничтоженіи кабалы инородца и эмансипаціи азійскаго раба наряду съ освобожденіемъ другихъ рабовъ. Масса и другихъ вопросовъ, гражданскихъ и экономиче-

свихъ, выходить наружу и ожидаетъ разрѣшенія. „Все ожидаетъ здѣсь другой жизни и свѣта!“ выразился недавно одинъ изъ начальниковъ края въ своемъ отчетѣ. Не пора-ли, въ самомъ дѣлѣ, дать жизнь этому краю?..

Въ послѣднее время въ правительственныхъ сферахъ уже поднаты нѣкоторые изъ намѣченныхъ нами вопросовъ; идутъ толки о примѣненіи къ Сибири реформъ судебной и земской. Часть реформъ уже коснулась Сибири, а именно новое городское положеніе и новый уставъ воинской повинности: Сибирь начинаетъ примыкать къ жизни послѣ-реформенной Россіи. Является необходимость какъ можно скорѣе разрѣшить вопросъ учебный, который поставленъ такимъ образомъ: возможно-ли примѣненіе къ Сибири существенно необходимыхъ реформъ, данныхъ остальной Россіи, если не будетъ произведена въ ней учебная реформа?

Впрочемъ, вопросъ объ учебной реформѣ въ Сибири поднимался уже давно. Въ шестидесятыхъ годахъ стремленіе къ свѣту и новой жизни, охватившее русское общество, не могло не отразиться хотя отчасти и на дальней окраинѣ. Въ Иркутскѣ, наиболѣе чуткомъ къ живымъ вопросамъ дня, возникъ большой интересъ къ мѣстному учебному дѣлу. Онъ обсуждался въ педагогическихъ собраніяхъ; общество живо схватилось за него, но дѣло ограничилось толками, а практическаго разрѣшенія вопроса не послѣдовало. При генераль-губернаторѣ Корсаковѣ была проектирована цѣлая сеть учебныхъ заведеній въ восточной Сибири, съ лицеемъ во главѣ, но проектъ также не получилъ хода. Временами то въ томъ, то въ другомъ концѣ Сибири вопросъ объ учебной реформѣ приковываетъ на время вниманіе общества... Много высказывалось различныхъ мнѣній и предположеній, но все мнѣнія сходились на одномъ желаніи открытія въ Сибири университета. Мы знаемъ, что вопросъ о сибирскомъ университетѣ поднять очень давно. Генераль-губернаторъ Капцевичъ во всеподданнѣйшемъ рапортѣ 20 марта 1823 года указывалъ на недостатокъ нравственныхъ началъ въ сибирскомъ населеніи, на недостатокъ въ край просвѣщенныхъ чиновниковъ и на невозможность сибирякамъ, по бѣдности, получать образованіе въ университетахъ европейской Россіи. Онъ докладывалъ о необходимости учрежденія въ Сибири высшаго учебнаго заведенія. Тогда-же Магницкій представилъ проектъ объ учрежденіи въ Барнаулѣ

высшаго училища въ видѣ отдѣленія казанскаго университета съ цѣлю готовить въ немъ учителей для сибирскихъ гимназій и училищъ, студентовъ для пекинской миссіи, дѣтей сибирскихъ чиновниковъ къ гражданской службѣ, а купеческихъ дѣтей—къ торговлѣ съ Китаемъ. На содержаніе училища Магницкѣй исчислилъ 66,750 рублей въ годъ, кромѣ постройки здания и содержанія пансіонеровъ. На осуществленіе своего проекта онъ, между прочимъ, имѣлъ въ виду употребить пожертвованный Демидовымъ капиталъ. Желаніе создать университетъ на Востокѣ зародилось еще ранѣе Капцевича и Магницкаго: такъ Демидовъ еще въ 1804 году пожертвовалъ 50,000 руб. на учрежденіе университета въ Тобольскѣ. Этотъ капиталъ, чрезъ приращеніе процентами, въ 1822 году представлялъ сумму въ 121,301 р. 75 коп. и давалъ 6,000 дохода. Капцевичъ предложилъ отдавать въ оброчное содержаніе рыболовныя озера западной Сибири. Чаны, и оброчную плату обращать на содержаніе высшаго училища. Предполагалось на сибирскій университетъ употребить также доходы съ имѣнія бывшей виленской іезуитской колегіи, Мы знаемъ уже, какаѣ участь постигла это предположеніе объ учрежденіи университета въ Сибири. Демидовское пожертвованіе передано было въ московскій университетъ, гдѣ прозябало до послѣдняго времени.

Такимъ образомъ, вопросъ объ учрежденіи университета въ Сибири, выступившій снова въ шестидесятыхъ годахъ въ Иркутскѣ, остается до сихъ поръ открытымъ. Поднятіе его вызвало толки въ обществѣ и въ печати, какъ въ Сибири, такъ и въ остальной Россіи; образовалась своего рода литература объ этомъ вопросѣ; со стороны многихъ частныхъ лицъ было заявлено желаніе содѣйствовать осуществленію учрежденія сибирскаго университета. Такъ енисейскій золотопромышленникъ, М. Б. Сидоровъ, жертвуетъ въ пользу его золотоносныя площади и пробуетъ открыть подписку. Какъ было охвачено мѣстное сибирское общество этимъ вопросомъ, можно судить по тому, что въ 1863—65 годахъ посвящаются ему публичныя чтенія въ различныхъ городахъ Сибири, а именно въ Омскѣ, Семипалатинскѣ, Томскѣ и Красноярскѣ. Въ это же время проектировалось особое общество для сбора пожертвованій на университетъ. Проекту объ учрежденіи въ Сибири университета въ разное время покровительствуютъ наиболѣе талантливыя и честныя

правители Сибири: мы видѣли, что его поддерживали Сперанскій и Капцевичъ; мысль о необходимости открытія сибирскаго университета раздѣляли многіе губернаторы, какъ Степановъ, Деспотъ-Зеновичъ. Въ разное время о сибирскомъ университетѣ дѣлалось до 12 представленій, мысль о немъ сжилась съ сибирскимъ обществомъ, — понятно, что она составила своего рода мечту и получила здѣсь особое значеніе. Можно сказать, нѣтъ сибиряка, который-бы ей не сочувствовалъ. До какой степени были сильны эти желанія, можно судить по слѣдующему отрывку изъ одной статьи, посвященной этому вопросу: „Пусть сибирскій университетъ не осуществится, но мы можемъ утѣшиться однимъ, что и среди нашего поколѣнія есть души, которыя стремятся къ просвѣщенію. Можетъ быть, намъ не удастся дожить до основанія великаго образовательнаго учрежденія на Востокѣ; пусть глаза наши будутъ засыпаны пескомъ, но наше сердце горячо билось надеждами. Пусть-же не обвинять все поколѣніе, что оно не имѣло высшихъ стремленій...“

Среди непроглядныхъ сумерекъ сибирской жизни, можно сказать, что это былъ единственный вопросъ, который временами освѣщала царившій мракъ и соединялъ около себя общественныя симпатіи. Въ то время, когда вопросъ объ университетѣ на Востокѣ временно замолкъ въ Сибири и рѣже вызывалъ толки вообще въ русскомъ обществѣ, мы находимъ о немъ статью въ берлинскомъ журналѣ, въ „Архивѣ Эрмана“, которая довольно подробно затрогиваетъ вопросъ о значеніи русской науки на азіатской окраинѣ, говоритъ о предстоящемъ основаніи въ Сибири университета, знакомитъ съ пожертвованіями, сдѣланными на него, и довольно основательно разбираетъ преимущества различныхъ городовъ, гдѣ его можно было-бы открыть.

Въ настоящее время, какъ кажется, вопросъ объ открытіи университета въ Сибири получить окончательное разрѣшеніе. По послѣднимъ извѣстіямъ, въ маѣ 1875 года, вновь назначенный въ западную Сибирь генералъ-губернаторъ Н. Г. Казнаковъ, ознакомившись съ положеніемъ этого вопроса, рѣшился, наконецъ, представить это дѣло въ настоящемъ свѣтѣ и исходатайствовать его разрѣшеніе. Говорятъ, что въ финансовыхъ средствахъ, въ виду давно накопленныхъ ресурсовъ, не предстоитъ уже затрудненія. Теперь наступаетъ время обсудить, на какихъ основаніяхъ

долженъ быть созданъ университетъ. Вопросъ этотъ, однакожь, такъ подробно разработывался, что едва-ли можетъ возбудить откуда-бы то ни было сомнѣнія. Вотъ тѣ нѣсколько пунктовъ, которые затрогивались втеченіи 50 лѣтъ и служили мотивами для доказательства необходимости этого учрежденія въ мѣстной и столичной печати:

1) Потребность высшаго учебнаго заведенія въ Сибири обусловливается отдаленностью страны и затрудненіемъ для туземцевъ отпраляться за 6 — 12 тысячъ верстъ для обученія въ русскихъ университетахъ.

2) Необходимость высшаго образованія для приобрѣтенія техническихъ и естественно-историческихъ знаній, безъ которыхъ богатства страны оставались и остаются мертвымъ капиталомъ, а уровень матеріальнаго благосостоянія населенія былъ крайне низокъ.

3) Необходимость высшаго образованія вслѣдствіе недостатка медиковъ и учителей.

4) Въ видахъ доставленія лучшихъ силъ администраціи.

5) Въ видахъ вообще воспитанія общества, созданія въ немъ образованнаго класса и лучшихъ умственныхъ силъ, поднятія уровня нравственности и созданія гражданской честности.

6) Въ видахъ учрежденія и поддержанія такихъ ученыхъ и общественныхъ учреждений, которыя теперь падаютъ за недостаткомъ образованныхъ людей.

7) Въ видахъ разработки науки на Востокъ и открытій въ сферахъ географическихъ, историческихъ, филологическихъ и проч., которыми должна обогатиться наука, принимая во вниманіе обширность непечатаго для науки азіатскаго материка.

8) Въ видахъ общечеловѣческихъ цѣлей цивилизаціи и распространенія ея въ Азіи.

9) Въ виду воспитанія инородцевъ и дипломатическихъ сношеній нашихъ съ сосѣдними странами Востока.

10) Для усиленія и сохраненія русской національности въ виду новыхъ приобрѣтеній и присоединеній на Востокъ.

11) Въ виду ожидаемыхъ реформъ въ Сибири, которыя безъ этого являются немислимыми.

Въ заключеніе мы прибавимъ для тѣхъ, кто считаетъ университетъ въ Сибири преждевременною роскошью, на томъ осно-

ваніи, что Сибирь страдаетъ недостаткомъ многихъ другихъ первоначальныхъ учебныхъ заведеній, что вопросъ о сибирскомъ университетѣ во всѣхъ предположеніяхъ былъ связанъ съ проектомъ открытія многихъ другихъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, а также первоначальныхъ школъ; многія изъ этихъ школъ не были до сихъ поръ открыты только по недостатку учителей. Отсутствие университета въ Сибири обусловливало отсталость и несостоятельность существовавшихъ здѣсь учебныхъ заведеній и парализировало ихъ вліяніе и значеніе. Открытіе университета въ Сибири несомнѣнно повліяетъ на умственную жизнь всего края. Прихоть-ли сибирскій университетъ—мы предоставляемъ судить послѣ всего сказаннаго нами о ходѣ учебнаго дѣла въ Сибири, хотя, можетъ быть, и съ излишними подробностями.

Н. Ядрищевъ.

ТЕПЕРЕШНІЙ ИНТЕЛИГЕНТЪ.

(Очерки и картинки. Собрание рассказовъ, фельетоновъ и замѣтокъ. Незнакомца (А. Суворина). 2 части. Петербургъ, 1875 г.)

I.

Когда являются новыя понятія, съ ними являются и новыя слова. Интеллигентъ—понятіе, явившееся у насъ только въ послѣднее время. Но что такое интеллигентъ, что такое интеллигенція? Если васъ спросить: Рюрикъ—интеллигентъ? Вы отвѣтите: нѣтъ. А Святославъ? Игорь? Вы говорите — нѣтъ. А Иванъ Грозный, Курбскій? Вы знаете, что они были начетчики, вы знаете ихъ переписку, вы знаете, что Иванъ Грозный имѣлъ даже нѣкоторыя политическія идеи,—и вотъ вы въ недоумѣніи, вы молчите. Ну, а Петръ Великій? Вы просите позволенія подумать. А Грибоѣдовъ, Крыловъ, Пушкинъ, Лермонтовъ? Ваше лицо сіяетъ, вы говорите „да“. Но теперь прошу позволенія подумать я. Наконецъ, мы добираемся до Бѣлинскаго, Добролюбова и т. п. И вы, и я не говоримъ ничего и молча жмемъ другъ другу руки, потому что согласны. Но почему-же ни Грибоѣдовъ, ни Крыловъ, ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не возбуждали такого согласія? Кажется, въ этихъ людяхъ есть всѣ данныя, чтобъ быть интеллигентами. Только потому, что понятіе объ интеллигентѣ до сихъ поръ еще не установилось; каждый опредѣляетъ его по своему, потому что каждый чувствуетъ, что для интеллигента еще мало одного перевѣса умственной дѣятельности надъ мускульной, а нужно еще извѣстное содержаніе, извѣстный цвѣтъ мысли.

Ни во времена Рюрика, ни при Петрѣ, ни послѣ, вплоть до XIX вѣка, интеллигенціи не было; были философы, государствен-

ные люди, политики, художники, музыканты; составляли они высшую точку умственной жизни; но интеллигенціи еще не существовало; то было какъ-бы повтореніе древняго афоризма о томъ, когда голова бываетъ плѣшива. Для интеллигенціи нужна одна маленькая особенность. И эта особенность вовсе не умъ, не образованіе, ни даже знаніе. Интеллигенція есть коллективная сила, поэтому для нея требуется извѣстное множество. Если въ странѣ это множество достигаетъ такого размѣра, что является вліятельнымъ въ общественныхъ дѣлахъ, то говорятъ, что у страны есть интеллигенція. Пока-же такого множества нѣтъ, пока мыслящіе люди составляютъ небольшую кучку, эту небольшую кучку нельзя назвать интеллигенціей, точно также какъ нельзя сказать, что въ Россіи была она при Иванѣ Грозномъ, когда вся умственная сила ограничивалась имъ да Курбскимъ.

Но этого мало. Кромѣ извѣстнаго вліятельнаго большинства интеллигенція должна состоять изъ интеллигентовъ. А интеллигентъ — не всякій, кто думаетъ. Надо знать, что думать, надо умѣть думать. Если-бы мы представили страну съ массою такихъ мыслящихъ людей, какъ дѣдушка Крыловъ, то мы не рѣшились-бы утверждать, что въ странѣ есть интеллигенты, но въ то-же время мы не стали-бы и отрицать, что у страны есть интеллигенція. Для многихъ Крыловъ, какъ мыслитель, до сихъ поръ еще спорное лицо, но мы думаемъ, что не сдѣлаемъ натяжки, если скажемъ, что Крыловъ, какъ мыслитель, представлялъ какую-то странную смѣсь русской отсталости съ попыткой примирить идеи Запада съ русскимъ здравомысліемъ. Крылову это, конечно, не удалось и басни, имъ оставленныя, служатъ памятникомъ этой неудачи. Это примиряющее стремленіе существуетъ и во всѣхъ русскихъ писателяхъ прежнихъ періодовъ. Всѣ они отдѣляли Европу отъ Россіи и всѣ они выдѣляли Россію изъ Европы. И чѣмъ писатель былъ популярнѣе, чѣмъ онъ былъ болѣе извѣстенъ, чѣмъ онъ болѣе тянулъ въ русскій особнякъ, тѣмъ онъ больше говорилъ о непримѣнности европейскихъ понятій къ русской жизни. У важдаго изъ писателей въ его мыслительномъ аппаратѣ открытый путь шелъ только до извѣстнаго предѣла, а тамъ стоялъ заборъ, за которымъ уже исчезала Европа, и мысль останавливалась въ упоръ передъ самымъ заборомъ. Такими писателями были Пушкинъ, Лермонтовъ, Грибоѣдовъ и всѣ писатели москов-

ской школы, всё лучшіе романисты сороковыхъ годовъ, люди, при всей своей даровитости, тянувшіе всегда душу и мысль въ какой-то переулочъ, гдѣ нечѣмъ было дышать.

Но вотъ, наконецъ, наступаетъ пора, когда на смѣну этимъ людямъ являются люди иныхъ мыслей, иныхъ знаній, иного пониманія. Провозвѣстникомъ ихъ былъ Бѣлинскій, когда онъ вступилъ въ свой петербургскій періодъ. Мысль его еще сильно колебалась, понятія были не точны, но за то точность явилась въ его стремленіяхъ, и окно, прорубленное въ Европу, служило ему не для одной панорамы, но и для того, чтобы дышать европейской атмосферой. Поэтому въ Бѣлинскомъ мы уже усматриваемъ ту черту, которая мыслящаго человѣка дѣлаетъ интеллигентомъ. Въ людяхъ, явившихся послѣ него и шедшихъ тѣмъ-же путемъ, черта эта уже на-столько выяснилась, что если-бы спросить: Добролюбовъ интеллигентъ-ли?—отвѣтъ можетъ быть только утвердительный, безъ всякихъ колебаній и сомнѣній. Но что-же это *нѣчто*, устраняющее всякія сомнѣнія? Это нѣчто есть именно то содержимое, которое даетъ мысли европейскій цвѣтъ, европейское содержаніе, что связываетъ Россію съ Европой и что даетъ движенію мысли общественный отбѣнокъ. Человѣкъ, какъ-бы онъ ни думалъ послѣдовательно, но если онъ думаетъ въ направленіи Востока, если мысль его является адвокатомъ прошлаго, а не новаго, если онъ выдѣляетъ себя изъ европейской солидарности общественныхъ интересовъ и думаетъ не въ направленіи общаго блага,—такой человѣкъ не будетъ интеллигентомъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ мы говоримъ. Чтобы быть интеллигентомъ, совсѣмъ не все равно, какъ думать. И Рюрикъ думалъ, и его дружина думала, думалъ и Батый, думалъ и Мамай, думалъ и Атилла съ гуннами, думали, пожалуй, и вандалы. Атилла былъ даже гениальный человѣкъ, но кто-же назоветъ этихъ бичей челоуѣчества интеллигентами? Поэтому ясно, что съ словомъ „интеллигентъ“ соединяется представленіе объ извѣстномъ содержаніи мысли, и только съ той поры, когда это содержаніе является, челоуѣка можно назвать интеллигентомъ.

Выставивъ такое строгое требованіе и принявъ мѣриломъ большой аршинъ, мы очень хорошо понимаемъ, что измѣреніе имъ мыслящихъ головъ, особенно у насъ въ Россіи, приведетъ къ результату на-столько неутѣшительному, что интеллигентовъ набѣ-

рется очень немного. Но, скажите, какими другимъ аршиномъ мѣрять? Вы хотите мѣрять дюймою, но тогда мы опять придемъ къ Рюрику и его дружинѣ, и къ мелочной лавкѣ, и къ грамотному Каратаеву. Верста даетъ другой расчетъ, и при болѣе высокомъ масштабѣ легко усомниться, можно - ли графа Толстаго допустить въ интеллигенцію. Болѣе крупная мѣра исключить цѣлую массу людей такъ-называемыхъ умныхъ, весь умъ которыхъ заключается въ одной гимнастикѣ мысли, въ софистикѣ, въ юридическомъ мышленіи и въ логикѣ лабаза и Гостинаго двора.

Мы не вдаемся въ подробности этого вопроса, потому что онѣ и не нужны для нашей цѣли. Если-бы мы писали трактатъ ученый или философскій, мы-бы, конечно, сдѣлали и точныя указанія на то содержаніе мышленія, которое превращаетъ думающаго человѣка въ интеллигента. Для нашей-же теперешней цѣли совершенно достаточно только поставить вопросъ да сказать, что Аттила и Чингисханъ, при всей своей геніальности, не были интеллигентами, а ихъ войны—интеллигенціей; а Бѣлинскій, Добролюбовъ и Писаревъ хотя и не были геніями и не повелѣвали полчищами, но тѣмъ не менѣе были интеллигенты въ новомъ смыслѣ и только такихъ людей можно назвать интеллигентами, и только массу такихъ мыслящихъ людей дѣйствительно интеллигенціей.

Когда явилось слово „интеллигентъ“ и „интеллигенція“, мы отнеслись къ нему такъ-же просто и нетребовательно, какъ вообще относимся легко ко многимъ европейскимъ понятіямъ. Такъ-же легко мы смотримъ и на умъ. И кто-же не считаетъ себя умнымъ и какой-же человѣкъ, неносящій серяги, не считаетъ себя интеллигентомъ? Поэтому въ интеллигенцію пристроилось все, что или живетъ работой мысли, или даже не живетъ ею. Всякая пустая великовѣтскость, всякая ничто недѣлающая праздность, если она сидитъ сложа руки и читаетъ въ газетахъ политическія новости, даже всякій трактирный герой,—всѣ они считаютъ себя интеллигенціей и интеллигентами, всякій требуетъ голоса, всякій кричитъ, всякій споритъ и всякій считаетъ себя призваннымъ судить о судьбахъ людей, рѣшать вопросы знанія, считаетъ себя даже распорядителемъ личнаго и общественнаго счастья. И настоящій интеллигентъ можетъ ошибаться, но его ошибка всегда ошибка впередъ, тогда какъ ошибка неприванныхъ судей и самозванныхъ интеллигентовъ—ошибка назадъ. И масса неприван-

ныхъ интеллигентовъ шумить и кричить, она занимаетъ въ жизни главное мѣсто, она формируетъ общественное мнѣніе, она даетъ направленіе жизни, даетъ ей цвѣтъ, содержаніе и даже имѣетъ своихъ пророковъ и вождей.

У каждаго времени своя пророки. Но есть пророки-вожди, властители думъ, и есть пророки - зеркала. Теперь пророковъ-вождей нѣтъ, но они были недавно. За то теперь есть другіе пророки, и они, при всемъ своемъ желаніи овладѣть думой времени, кончаютъ тѣмъ-же, чѣмъ г. Венгеровъ, т. е. ступешиваются. Теперь успѣхъ имѣетъ только зеркало, и чѣмъ это зеркало отражаетъ вѣрнѣе, тѣмъ и успѣхъ его больше. Для теперешняго времени нужна не теорія, не мысль, а нужна панорама. Та интеллигенція, которая нѣкогда думала и хотѣла думать послѣдовательно и теоретически, уже исчезла и въ новыхъ зеркалахъ отражаются только люди, повидимому, большого роста, но... читатели фельетона. Давно уже рѣшено, что наше время — время фельетона. Я вамъ перечислю цѣлый рядъ газетъ, и столичныхъ, и провинціальныхъ, въ которыхъ фельетонъ составляетъ такую же существенную необходимость, какъ нѣкогда статья критическая. Почему это такъ — разбирать теоретически немного скучно и длинно, но это такъ, и я прошу успокоиться моего читателя на фактъ. Иногда, правда, слышутся сожалѣнія о томъ, что времена Бѣлинскаго миновали, что критики нынче нѣтъ, что критическіе умы выродились; но зачѣмъ критика и зачѣмъ критическіе умы, когда критическая мысль пошла въ другую сторону и когда прежній интеллигентъ выродился въ совершенно другого читателя, и въ совершенно другого мыслителя? Плакаться, конечно, объ этомъ мы не станемъ, потому что сантиментальнымъ сожалѣніемъ тутъ ничего не подѣлать. Читателя или нынѣшняго интеллигента едва-ли даже разбудить и громъ небесный, и потому жужжать надъ его ухомъ съ напраснымъ усиліемъ разбудить его, конечно, напрасный трудъ. Да и спать-ли онъ? Что онъ не спитъ, что онъ живетъ, думаетъ и работаетъ, васъ убѣдятъ теперешніе пророки-зеркала и современные сатирики и фельетонисты. И у нихъ-же вы узнаете, что такое теперешній интеллигентъ.

Нынѣшнюю зиму Петербургъ носилъ на рукахъ г. Суворина, ему дѣлали торжественныя оваціи, даже, повидимому, люди мысли ломали стулья, и триумфъ г. Суворина былъ такъ цолонъ,

какъ, можетъ быть, не бывалъ онъ никому въ послѣдніа десять лѣтъ. И г. Суворинъ сталъ героемъ дня, звѣздой первой величины, и—фактъ небывалый въ русской печати—напечаталъ свои фельетоны отдѣльными изданіемъ, и изданіе это разошлось съ большей быстротой, чѣмъ изданія Вѣлинскаго, Добролюбова, Пушкина, Писарева. Отчего-же это могло быть? Конечно, только потому, что г. Суворинъ въ настоящую минуту больше всего удовлетворяетъ своему обществу, и потому, безъ сомнѣнія, по его понятіямъ можно судить объ обществѣ. Г. Суворинъ знаетъ вопросы дня, вопросы минуты, вопросы ближайшаго интереса; онъ, какъ народный трибунъ, какъ проводникъ и пророкъ, знаетъ, что нужно говорить и какъ говорить, и онъ умѣлъ говорить цѣлой массой, и масса поучалась, узнавала то, что ей нужно знать, воспитывалась черезъ своего представителя въ общественномъ мнѣніи, научалась понимать черезъ него свои интересы, сама посвящала въ нихъ его и отражалась въ немъ, какъ отражался онъ въ ней. Фельетонъ г. Суворина—это лучшее зеркало Петербурга, этой головы Россіи,—зеркало, отражающее, какъ Петербургъ думаетъ, чего онъ хочетъ, куда идетъ и куда хотѣлъ-бы потянуть за собою всю Россію, да, можетъ быть, и потянетъ. Фельетонъ г. Суворина—лѣтопись новаго времени, какъ лѣтописью своего времени были Вѣлинскій и Добролюбовъ. Но въ этой лѣтописи вы читаете иные интересы, видите иныхъ людей, другихъ героев, иные стремленія, иную жизнь. Поэтому фельетоны г. Суворина—весьма цѣнный историческій матеріалъ для опредѣленія момента теперешняго умственного роста новаго интеллигента. Этотъ интеллигентъ—мыслитель; онъ даже серьезный мыслитель, какъ онъ о себѣ думаетъ; онъ непогрѣшимъ и самоувѣренъ; у него сложилось готовое мировоззрѣніе, у него есть извѣстные принципы, точно выработанная програма поведенія, и онъ хотѣлъ-бы согнуть всю русскую жизнь въ свою сторону и сдѣлать всякаго собой.

II.

Теперешній интеллигентъ отражается въ фельетонномъ зеркалѣ всегда съ какимъ-то невидимымъ двойникомъ. Этотъ двойникъ точно удлиненная тѣнь, точно продолженіе, которое вы не столь-

ко видите, сколько чувствуете и читаете между строками. Онъ — уворяющая совѣсть и изобличитель, являющіеся въ фельтонѣ морализующіиъ началомъ и упрекомъ въ крайности, въ которую умелъ интеллигентъ. Но мораль эта не бываетъ никогда грубой, ясной или грубо-поучающей; мораль всегда замаскированная, и если не довольно тонкая и художественная, то и не на-столько неделикатная, чтобы прямо тыкать пальцемъ въ интеллигента и говорить о себѣ: посмотри, какая я хорошая. А между тѣмъ, чтобы ни отражалъ фельтонъ, онъ всегда хочетъ сказать, что только у него у одного вѣрный аршинъ и что только то хорошо, что онъ находитъ хорошимъ. Не думайте, однако, что эта мораль дѣйствительно негодующая и возмущающаяся, мораль, которая-бы шла въ корень, разбивала принципы, указывала на новыя дороги. Морализующій двойникъ интеллигента такъ далеко нейдетъ. Онъ только преслѣдуетъ геркулесовскіе столбы крайности и не любитъ однѣхъ уродливостей. Онъ только хочетъ середины, уравнивающего, невыдающагося, но не покушается ни на какіе принципы и оставляетъ въ покоѣ всѣ точки отправления. Эта скромная мораль больше похожа на графиню Марью Алексѣевну и держится того афоризма, что „самая лучшая женщина та, о которой не говорятъ ни слова“. Г. Венгеровъ называетъ эту мораль эклектизмомъ, примиреніемъ между крайностями реализма и идеализма. Это и есть та сѣрая краска, которую намалеванъ теперенній интеллигентъ; вы найдете въ рисункѣ болѣе темныя или болѣе свѣтлыя черты, но всегда только сѣрыя. Другого цвѣта современная социальная живопись не знаетъ.

Теперенній интеллигентъ, какъ его отражаетъ петербургское зеркало, прежде всего призналъ силу въ деньгахъ, и сдѣлалъ онъ это не такъ, не спроста, — это выводъ изъ предыдущаго. Прежній интеллигентъ думалъ, что сила въ умѣ и въ знаніи, но когда умъ и знаніе измѣнили, новый интеллигентъ рѣшилъ, что сила въ деньгахъ. И поклонившись золотому тельцу, онъ пошелъ путемъ денежной наживы, бросился, очертя голову, съ какой-то лихорадочной жаждой дѣятельности въ безумную спекуляцію, какъ иногда кидается въ колодезь женщина, которую обманула любовь. Конечно, эти геркулесовскіе столбы денежной жадности — это какія-то сатурналии, которымъ отдался человекъ точно съ отчаянія, потому что его обманули прежнія ожиданія

и стремленія и прежніе благородные порывы, а наболѣвшая душа просила дѣла... А, впрочемъ, зачѣмъ такое обобщеніе? Та-ли душа бросилась въ денежные сатурналіи, которая прежде стремилась къ наукѣ и знанію, или эта душа куда-то дѣлась, а вмѣсто нея выступила другая, весь кодексъ которой заключался въ „kaufen“ или „verkaufen“? Нѣтъ, это не прежняя душа, это душа новая. Прежній человѣкъ, стремившійся къ чему-то темному, неясному, смутному, но возвышенному и благородному, чего онъ не понималъ и не могъ формулировать, — человѣкъ, напоминавшій Лежнева, обнижавшаго и цѣловавшаго липу, — куда-то исчезъ, точно вымеръ, и вмѣсто него явился другой человѣкъ. По поводу этихъ исчезнувшихъ людей мы припоминаемъ одинъ анекдотъ. Императоръ Александръ I посѣтилъ въ Парижѣ въ 1814 году одинъ военный госпиталь и обратилъ вниманіе на французскаго гренадера съ огромнымъ сабельнымъ шрамомъ на головѣ. Рана была отъ русской сабли. „Каковы должны быть молодцы, наносившіе подобные удары“, сказалъ императоръ. „Ихъ ужъ больше нѣтъ въ живыхъ“, отвѣчалъ мрачно инва-лидъ. — И тѣхъ ужъ нѣтъ въ живыхъ; можетъ быть, они и живы, но вы ихъ не увидите и не услышите. Сабельныхъ ударовъ они не наносятъ и смѣнили ихъ другіе воины. Эти новые вои-ны, какъ отражаетъ ихъ петербургское зеркало, живутъ такъ хорошо, что имъ нужны не упорный трудъ и война, а миръ и согласіе, наслажденіе и деньги. Теперешній интеллигентъ повторилъ въ ма-ломъ видѣ Парижъ Людовика XV, но такъ-какъ все, что у насъ дѣлается, дѣлается всегда въ меньшемъ размѣрѣ, то и гениальный шотландецъ Джонъ Ло переродился въ г. Бетлингъ. Бетлингъ, какъ говоритъ о немъ фельетонъ, — почти мальчикъ, безъ усовъ и бороды, съ гордой осанкой, съ сознаниемъ своей силы, съ чертами непобѣдимой рѣшимости въ лицѣ. Всему есть предѣлъ, но только нѣтъ предѣловъ человѣческой глупости. Это сказалъ еще Шиллеръ; но если-бы то-же самое сказали сотни тысячъ Шиллеровъ, то отъ этого не прибавилось-бы человѣ-ческаго ума ни на золотникъ. И на этой-то человѣческой глу-пости держится весь расчетъ спекуляціи. „Онъ гений, онъ не-обыкновенный человѣкъ“, говоритъ толпа о безбородомъ юношѣ, и биржевые зайцы ловятъ каждое его слово съ благоговѣйнымъ трепе-томъ и тоскливо передаютъ изъ устъ въ уста, если онъ „продаетъ“.

Геркулесовскій столбъ, новая интеллигенція, отдается гомерическому питью, разгулу, окружаетъ себя Сюзетами и Альфонсинами, — и отражающее петербургское зеркало рисуетъ намъ обѣды съ возліянiями, говоритъ о разсказахъ, ходившихъ по Петербургу, о фантастическихъ вечерахъ, которые устраивали члены малой биржи другъ для друга. То были праздники временъ Алевiада, празднества съ Аспазiями, поглощавшія сотни тысячъ рублей. Да, сила въ деньгахъ! И все закружилось въ новомъ денежномъ стремленіи къ обогащенію, все бьдается на наживу; а если кинулось все, что-же вы возмущаетесь? Вы разсказываете о наглыхъ жрецахъ Ваала съ ихъ незаконнымъ числомъ 104; вы разсказываете о великолѣпномъ балѣ въ 10,000 р., данномъ богатымъ русскимъ купцомъ въ Ниццѣ, — балѣ, на которомъ присутствовали принцъ Карлъ прусскій, герцогъ Пармскій, турецкій посланникъ и множество генераловъ нѣмецкихъ и англійскихъ; вы разсказываете о другомъ купцѣ, подарившемъ императрицѣ Евгеніи арабскихъ жеребцовъ, — и въ упрекъ имъ говорите, „что графъ Уваровъ даетъ преміи за лучшія драматическія произведенія, Безбородко основываетъ лицей, Нарышкинъ — учительскую семинарію“. Но развѣ за геркулесовскими столбами биржевыхъ сатурналіей 104-хъ не стоятъ еще цѣлыя сотни тысячъ „стадоподобной черни“, мелкихъ капиталистовъ, а за нею еще большее стадо, „панургово стадо“ человѣческой ограниченности, которое можно заставить дѣлать все, что хотите? Вы разсказываете о чиновникѣ, который досталъ 350 р., нажилъ игрой болѣе ста тысячъ въ какой-нибудь годъ, и затѣмъ въ одинъ день разорился. Вы разсказываете о женскомъ легкомыслии, которое увлекъ змѣй-обольститель, и люди проигрывали свои послѣдніе гроши. Ну, что-же, это только лихорадка повальной глупости! Каждый хотѣлъ наживаться, каждый мечталъ о выигрышѣ въ двѣсти тысячъ, и все считалось тогда дозволеннымъ. Директора банка старались даже подкупать, думая, что отъ него зависитъ тотъ или другой выигрышъ. Одна дама общала въ полное распоряженіе директора 125,000 р., если она выиграетъ 200,000. Другая ему писала: „если, по благословенію Божію, я выиграю сумму значительную, то дамъ четвертую часть церкви и обѣдницъ, третью особѣ, которой я буду наиболѣе обязана выигрышемъ, вамъ, если вы меня удостоите своею помощію“. Что это такое?

Развѣ можно кидать укоромъ въ геркулесовскіе столбы, когда они не больше, какъ плоды, выросшіе на деревѣ повальной глупости? Но вы клеймите и геркулесовскіе столбы, и повальную глупость; вы говорите, что все точно сговорилось идти вмѣстѣ, и наступила пора, когда продавалось и покупалось все: совѣсть, честность, умъ, благородство, когда продавались женщины ради выгрыша, и продавалась даже нѣкогда неподеуная печать. Да, продаемся мы или не продаемся? И почему не говорить прямо, что мы продаемся? говорить изболочитель. „Если не стыдно продавать ситець, то почему-же стыдно продавать убѣжденія? Что наживается, то продается. Купцы продаютъ товаръ, мужья — женъ, родители — дѣтей, и главнымъ двигателемъ цивилизаціи является капиталъ, въ которомъ одномъ сила и который не исчезаетъ, подобно пару и подобно убѣжденіямъ, которыя тоже своего рода паръ“.

Фельетонное зеркало негодуетъ на эту общую, повальную продажность, на это отсутствіе вѣры въ идеалы, на это повальное стремленіе къ наживѣ, негодуетъ и на геркулесовскіе столбы, и на панургово стадо. Изобличающій фельетонъ знаетъ все, видитъ все и изобличаетъ все. Онъ знаетъ все, что говорится въ демутовскомъ отелѣ, у него на перечетѣ всѣ биржевыя зайцы, онъ слышитъ всѣ рѣчи, которыя произносятся на обѣдѣ у г. Полетики, онъ говоритъ и противъ тузовъ капитала, и противъ финансовой системы, онъ разоблачаетъ желѣзно-дорожныхъ дѣятелей, онъ повсюду и вездѣ преслѣдуетъ крайности наживы и обогащенія, крайности богатства, лукулловскія пиршества съ Скузетами, онъ иронизируетъ надъ женскимъ легкомысліемъ, точно мужская глупость и мужское легкомысліе лучше, — и въ то-же время вы все-таки не знаете, что тутъ дурно, чего хочетъ изобличающій фельетонъ, что онъ собственно разить, что онъ собственно оправдываетъ и гдѣ его выводъ?

И развѣ отъ фельетона требуется мораль, теорія, руководящій тонъ? Для этого есть передовыя статьи, есть авторы-мыслители, авторы-теоретики, серьезныя книги. Фельетонъ, какъ-бы онъ ни былъ серьезенъ, всегда немножко арлекинъ, а въ кофакѣ у него всегда найдется колокольчикъ. Отъ этого фельетону прощается очень многое, конечно, если онъ не оскорбитъ г. Голубева, потому что тогда и колокольчику придется очутиться на скамьѣ подсу-

димихъ. Въ такихъ случаяхъ фельетонъ становится невинной жертвой и привлекаетъ общее сочувствіе, и еще больше звенить своимъ колокольчикомъ, и еще крѣпче бьетъ своей кожаной палкой, и обсыпаетъ мукой, и смѣется, и сдергиваетъ маски. А г. Суворинъ сдергиваетъ маски со всѣхъ. Онъ не щадитъ никого, онъ сталкиваетъ съ пьедесталовъ самые уважаемые авторитеты, онъ даже о Катковѣ... Послушайте, что онъ говоритъ даже о Катковѣ. Катковъ, этотъ молотокъ-изобличитель, обозвавшій всѣхъ журналистовъ разбойниками пера и мошенниками печати, этотъ страшный журналистъ, о которомъ „Курьеръ“ или г. Суворинъ говоритъ, что „въ исторіи русской журналистики еще долго не забудется то время, когда г. Катковъ съ силою трибуна форума принялся гремѣть противъ слабоумія своихъ соотечественниковъ, укрѣпилъ колебавшуюся (?) политику правительства, объявилъ войну на смерть Польшѣ, указавъ мѣры, необходимыя для того, чтобы сдѣлать ее навсегда безсильною, и бросилъ отважный вызвъ Европѣ...“, — послушайте, что объ этомъ страшномъ Катковѣ звенитъ фельетонъ. Онъ говоритъ, что Катковъ — „kaufen“, „verkaufen“. Катковъ, нѣкогда укрѣпившій русское правительство, палъ, и палъ ужасно. „Паденіе Каткова видно изъ того, что онъ сталъ писать рекламн г. фон-Дервизу. И какія рекламн! Самъ Гоффъ не сочинялъ еще такихъ рекламъ своему мальцъ-экстракту. Торжественно начинаютъ „Московскія Вѣдомости“: „Мы можемъ сообщить важную новость по желѣзно-дорожному дѣлу: г. фон-Дервизъ намѣревается возобновить свою дѣятельность по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ въ Россіи“. Затѣмъ барабаны и трубы, а-мольный дуэтъ гг. Каткова и Леонтьева о величїи г. фон-Дервиза, который въ настоящее время, когда „наше желѣзно-дорожное дѣло находится въ кризисѣ“, снова является!..“ И вы не видите паденія Каткова? Почему же Катковъ ему рекламируетъ такъ беззаастѣнчиво? Почему? И развѣ вы не знаете, кто такое фон-Дервизъ? Фон-Дервизъ — миллионеръ, нажившійся, по словамъ изобличителя-фельетона, тѣмъ, что, составивъ строительную смѣту на козловско-рязанскую дорогу необыкновенно высоко, построилъ ее на одинъ облигаціонный капиталъ, акціи же всѣ достались ему въ видѣ барыша. Вы говорите, что это сплетни, — я вамъ ничего не могу отвѣтить, потому что знаю русскій фельетонъ такимъ, какииъ онъ есть,

а не какимъ онъ долженъ быть. Но за то мнѣ ясно, что Каткова уже нѣтъ на его высокомъ пьедесталѣ и вмѣсто его величественной, классической фигуры, напоминающей суроваго Катона, я читаю „kaufen“ и „verkaufen“. Но какъ-бы ни говорилъ г. Суворинъ, онъ всегда сталкиваетъ человѣка съ пьедестала, уничтожаетъ его, какъ Римъ уничтожилъ Карфагенъ, до глѣ, безъ остатка, и затѣмъ пишетъ огромными буквами „kaufen“, „verkaufen“. Фельетонъ даетъ не только портреты, но выписываетъ цѣлыя фамиліи, и всегда это только „kaufen“, „verkaufen“. Передъ вами точно не люди, а только малня и большія процентныя бумаги, и на каждой „kaufen и verkaufen“. Если вы видите на пьедесталѣ генерала, то фельетонъ звенитъ вамъ, сколько у него звѣздъ и какія, выписываетъ полными буквами его фамилію, а внизу вы читаете: „kaufen“, „verkaufen“. Даже печать продана и подъ нею стоитъ „kaufen“, „verkaufen“. Списокъ именъ, разоблаченныхъ и избличенныхъ, выписанныхъ съ чинами, прозвищами и жѣстами, ими занимаемыми, занялъ-бы цѣлый печатный листъ. И этотъ „kaufen“, „verkaufen“ стоитъ точно какой-то гулъ въ воздухѣ, точно и тамъ продолжается тотъ-же бой, что на землѣ; даже русская женщина, даже Татьяна Пушкина, даже Лиза „Дворянскаго гнѣзда“, даже Вѣра „Фауста“, даже и тѣ kaufen, verkaufen. Г. Суворинъ, подсмотрѣвшій сонъ молодой женщины, рассказываетъ, что послѣ того, какъ мужъ надоѣлъ ей своей болтовней и она заснула, вдругъ видитъ, что въ спальню къ ней входитъ билетъ 2-го внутренняго займа. „Онъ былъ во фракѣ, въ панталонахъ, причеиъ одна нога была совсѣмъ въ панталонахъ, а другая только до колѣна. Молодая женщина находитъ это натуральнымъ, потому что нѣсколько купоновъ отрѣзано, — слѣдовательно, панталоны не могутъ быть цѣльными. Вмѣсто носа и рта у г. билета былъ орелъ, вмѣсто праваго глаза № 12, вмѣсто лѣваго—5,998, на груди напечатано „сто рублей“, а пониже—„платежъ %о, капитала и выигрыша“. Молодая дама пришла въ негодованіе; она хочетъ искать помощи мужа, но мужа на постели нѣтъ. „Что вамъ нужно?“ кричитъ она билету, а билетъ отвѣчаетъ: „Я васъ люблю“. — „Наглецъ“, кричитъ молодая женщина, а наглецъ лѣзетъ на постель. „Не кричите“, говоритъ онъ. О, какой стыдъ, какое паденіе! Она развелась съ мужемъ, ее повѣнчали съ биле-

„Дѣло“, № 10.

томъ 2-го внутренняго займа, и пѣвчіе пѣли все о билетахъ внутренняго займа и о какихъ-то банкахъ. И какъ она наслаждалась! Одно только ее смущало — мужчины панталонн. Но когда онъ бросался въ ея объятія и цѣловалъ ее, она забывала, что у него панталонны до колѣна. Представьте-же ея отчаяніе. Однажды къ ней подходитъ мужъ, ирачный и разсѣянный. „Что съ тобою?“ спрашиваетъ жена. „Я выхожу въ тиражъ. Я несчастный билетъ, я выхожу въ тиражъ“. Тутъ бѣдная женщина проснулась и затѣмъ съ нею сдѣлалась горячка...

Вы думаете, что я преувеличиваю, что у г. Суворина краски слабѣе; но это только значитъ, что вы не читали его „Очерковъ и картинокъ“. Все, что онъ издалъ теперь изъ своихъ фельетоновъ — одно безпощадное изобличеніе въ „kaufen и verkaufen“, точно у людей нѣтъ никакихъ другихъ стремленій. Даже дѣти, и тѣ играютъ въ „kaufen“ и „verkaufen“... Но вѣдь это было въ концѣ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ: съ бѣдной женщиной, когда она проснулась, сдѣлалась горячка, но потомъ она выздоровѣла. Вы думаете? Горячка, правда, нѣтъ, женщины, можетъ быть, не выходятъ замужъ за ходячіе билеты, но развѣ вы сидѣли въ душѣ современнаго интеллигента, какъ сидѣлъ и сидитъ въ ней г. Суворинъ? Г. Суворину открыты двери всѣхъ акціонерныхъ обществъ, всѣхъ банковъ, открыты сердца и помпшленія желѣзнодорожниковъ, открыты даже женскія души. И если человѣку, которому открыто все, который знаетъ все и видитъ все, не представляется ничего другого, кромѣ „kaufen“ и „verkaufen“, значитъ-ли это, что онъ не видитъ другого или что нѣтъ другого? Все, о чемъ звенитъ г. Суворинъ, такъ поважно, что даже самъ пророкъ-обличитель, общественный трибунъ и журнальный боецъ, самъ неподкупный судья, служащій высшимъ интересамъ общества, самъ онъ сталкивается себя съ пьедестала, обсыпаетъ себя мукой, топчетъ ногами, и на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ его разаящая фигура, вы читаете: kaufen, verkaufen. Г. Суворинъ, литераторъ, журналистъ, трибунъ, человѣкъ, служащій словомъ идеѣ... ахъ! этотъ неподкупный судья объявляетъ, что его календарь можно купить по рублю серебромъ во всѣхъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ книжныхъ магазинахъ... Kaufen, verkaufen!..

III.

„У насъ и крупныя вещи—мелкія, и мелкія выходятъ крупными“, говоритъ г. Суворинъ. И дѣйствительно, не разберешь, что мало, что велико, и на-сколько малое велико и великое мало? Геркулесовы столбы, капиталъ—неужели они въ самомъ дѣлѣ такъ велики и неужели за ними все остальное мало? Что передъ вами—высокіе пьедесталы съ микроскопическими фигурками или исполины и люди-горы? Фельетонъ, повидимому, сортируетъ большое отъ мелкаго, но когда вы присмотритесь и приглядитесь къ тому, что онъ рисуетъ,—всякая раздѣляющая, пограничная черта исчезаетъ и передъ вами куча песку, въ которой только въ микроскопъ увидишь, что однѣ песчинки будто-бы больше другихъ. А сколько словъ, и хорошихъ словъ! Г. Суворинъ говоритъ о способныхъ дѣятеляхъ, которыхъ адвокатура отняла отъ суда, администраціи, литературы, науки. И ваше патріотическое чувство бьется довольствомъ, вамъ видятся люди другого роста, вы радуетесь за родину, что у нея есть способные люди, и что если они отошли отъ суда, администраціи, литературы, науки, за то они подняли адвокатуру и внесли въ нее то свѣтлое и честное начало, которому заупокойную пѣль до сихъ поръ изобличающій фельетонъ. Но фельетонъ неумолимъ; онъ польстилъ вамъ только для того, чтобы еще больше назвонить своимъ колоколомъ, чтобы обсыпать людей, на которыхъ успокоились ваши надежды, еще болѣе толстымъ слоемъ муки, еще больше насмѣяться надъ ними, еще рѣвче показать контрастъ. Онъ заставляетъ г. Спасовича сказать: „мы изобрѣли и наложили на себя узы самой безпощадной дисциплины, вслѣдствіе которой мы не колеблясь жертвуемъ своими вкусами, своими мнѣніями, своей свободой тому, что скажетъ громада—великій человѣкъ. Это подчиненіе особаго рода, не людямъ, а началу себя, себѣ-же самому, съ гражданской точки разсматриваемому, есть такая великая сила, которую тогда только оцѣнишь, когда чувствуешь, *когда она отъ тебя исходитъ*. Намъ дорога та сила, которую даютъ крѣпкіе, суровые нравы“. Не правда-ли, великолѣпно! восклицаетъ г. Суворинъ,—въ особенности эти крѣпкіе, суровые нравы! И затѣмъ опять звонить своимъ колокольчикомъ, и опять смѣется, и опять слы-

летъ мукой, и опять стаскиваетъ съ пьедесталовъ и говоритъ: „вы думали, это наши надежды,—посмотрите, какіе это все карлики“. „Мы теперь слишкомъ хорошо знаемъ, говоритъ г. Суворинъ,—что адвокатъ *цѣнитъ* ту великую силу самообузданія прогрессивными кушами: чѣмъ больше приходится обуздывать свою совѣсть, принимая дурное дѣло, тѣмъ больше онъ беретъ...“ И затѣмъ уже не смѣхъ, не иронія, а горькое слово и картина, напоминающая похороны бѣдняка, за гробомъ котораго идетъ только одна собака. Вотъ эта картина: „Засѣданіе суда конечно; масса народа бѣжитъ къ выходу; къ подъездамъ подлетаютъ собственные кареты, коляски, шарабаны, дрожки, въ нихъ усаживаются адвокаты, и тутъ-же мимо нихъ плетутся-себѣ пѣшкомъ или громоздятся на извозникахъ господа судьи. Правда, проѣзжая мимо судей, адвокаты снимаютъ очень низко шляпы. Ну, что-жь, и то хорошо!..“ Спасовичъ говоритъ о суровыхъ правахъ, о гражданской точкѣ зрѣнія, о самооцѣнѣ. Г. Арсеньевъ пишетъ: „никто изъ присяжныхъ повѣренныхъ не взялъ-бы на себя защиту Колосова, если-бы она была оплачена даже довольно значительнымъ гонораромъ“. А какое-бы дѣйствіе произвель на присяжныхъ *очень* значительный гонораръ? спрашиваетъ г. Суворинъ. Адвокаты защищаютъ себя тѣмъ, что посредствомъ адвокатскаго краснорѣчія богатство переходитъ въ интеллигентный слой, который, такимъ образомъ, пріобрѣтаетъ немаловажное въ общественной жизни имущественное значеніе. Но вотъ другая сторона медали:—„хлопотать по дѣламъ у мировыхъ судей не стоитъ, потому что нельзя взять гонорара больше 500 рублей“, говоритъ адвокат С. И рядомъ съ этимъ цинизмомъ какой фальшивой ироніей звучатъ слова г. Спасовича! Почувствуйте самую суть этихъ словъ и вы увидите, что въ нихъ одно прославленіе адвокатуры. „У насъ все бродитъ, звонить въ минорномъ тонѣ колокольчикъ,—и никакихъ общественныхъ устоевъ еще не образовалось. Человѣку естественно стучаться въ разныя двери, но если ему тутъ не открываютъ, онъ пойдетъ туда, гдѣ входъ свободенъ, и благо ему, если онъ не потеряется въ толпѣ, не лишится чувства собственнаго достоинства, не забудетъ, что необходимо держаться на высотѣ надлежащей, чтобы выйти нѣсколько чистымъ изъ этой хранины, на дверяхъ которой написано: „сдѣлка съ совѣстью“ и „форточка

счастья открыта, всевозможныя птицы влетаютъ въ нее усердно — умѣйте ловить...“ Знаете, съ кого снимаются здѣсь одежды, кого обнажаютъ, кого обсыпаютъ мукой и бьютъ кожаной палкой? Это сбрасываютъ съ пьедесталовъ людей „способныхъ“ и вамъ показываютъ на пьедесталѣ величіе тѣхъ-же биржевиковъ и желѣзнодорожниковъ, показываютъ такихъ-же карликовъ, но чистокровной интеллигенціи. И какъ наивно-добродушны и дѣтски-юны всѣ эти крошечные интеллигенты, которые еще недавно казались вамъ людьми во весь ростъ! Ихъ теперь уже нѣтъ. Петербургскій фельетонъ всѣхъ ихъ сдулъ и на мѣсто нихъ насыпалъ маленькія вучки муки. Но фельетонъ жестокъ въ своей послѣдовательности; онъ не знаетъ лицепріятія — всѣхъ, наповаль всѣхъ. Онъ не говоритъ бездоказательными, общими словами, фраза ему неизвѣстна, — онъ выписываетъ имена, онъ развѣнчиваетъ публично, и вы всегда видите на позорной колесницѣ живого человѣка съ черной доской и съ надписью: кто и за что. Такъ безжалостно дѣйствуетъ только Петрушка. Герой народнаго юмора, ироніи и сатиры тоже не знаетъ лицемерія, онъ колотитъ всѣхъ палкой по головѣ, всѣхъ одурачиваетъ и надъ всѣми заставляеть смѣяться. Петербургскій фельетонъ тѣмъ и страшень, что онъ знаетъ о каждомъ человѣкѣ всю его подноготную, и всю подноготную расскажетъ и напечатаетъ. Онъ знаетъ, напр., что графу Сальясу дѣвица Ленорманъ предсказала, что онъ будетъ „редакторомъ большой газеты и первымъ министромъ“. Онъ знаетъ, что когда гр. Сальясъ брался за редакцію „Петербургскихъ Вѣдомостей“, то онъ зналъ *все* или обо всемъ догадывался. Онъ знаетъ, что гр. Сальясъ въ интимномъ кружкѣ хорошій и пріятный человѣкъ, которому вы не откажете въ своей симпатіи, но внѣ его, на общественной аренѣ, онъ терается, мучится, страдаетъ, дѣлаетъ промахи, старается поправиться и впадаетъ въ новыя ошибки. Въ интимной сферѣ — онъ свой человѣкъ, въ общественной — ладья безъ руля и безъ вѣтриль. И вотъ эта бѣдная ладья носится передъ вами по журнальному морю, качается, подымается и опускается на волнахъ его и, наконецъ, исчезаетъ въ морской пучинѣ. вмѣсто писателя-титана, журналиста-передовика, вмѣсто властителя думъ и политическаго вождя вамъ показываютъ ребенка, въ словахъ котораго вы слышите безсильное раздраженіе и дѣтскія слезы, „слезы

дитяти на то, что его не считаютъ взрослымъ“. И это милое дитя, кроткое и хорошее за чайнымъ столомъ, пытается писать передовыя статьи, преобразается въ мужика-демократа, въ простого провинціального Пахома, и пишетъ... пишетъ такъ, что всѣ друзья начинаютъ, наконецъ, совѣтовать ему „бросить писать“. Но онъ все-таки „пишетъ, пишетъ до того, что, наконецъ, друзья ему говорятъ: „ну, ужъ это совсѣмъ глупо“; и когда друзья сказали это ему, онъ увидѣлъ и самъ, что это глупо, и рѣшилъ: „я больше писать не буду“. Рядомъ съ гр. Сальясомъ вамъ показываютъ обозрѣвателя журналовъ г. Sine Ira, прозваннаго Синій Ира. Синій Ира воспѣваетъ поэзію А. Н. Майкова, прозу кн. Мещерскаго и публицистику „Русскаго Вѣстника“.

Послѣ гр. Сальяса насыпается кучка муки на гр. Л. Н. Толстаго. И тутъ мы узнаемъ то, чего никто не зналъ прежде. Когда обращались къ гр. Толстому о біографическихъ подробностяхъ его жизни, онъ говорилъ, что не считаетъ себя такимъ человекомъ, чтобы публика могла интересоваться его личностью, — это чисто-русская скромность: въ Европѣ ни одинъ человекъ не откажетъ составителю біографическаго словаря въ своемъ послужномъ спискѣ. Крамской писалъ портретъ графа для галереи П. М. Третьякова. И портретисту стоило большого труда и краснорѣчія, чтобы гр. Л. Н. позволилъ писать себя. Портретъ вышелъ прекрасный, но оригиналь рѣшительно воспротивился поставить портретъ на выставку. А между тѣмъ въ „Галереѣ Мюнстера“ и въ „Иллюстрированной Газетѣ“ 1865 года помѣщены довольно плохіе портреты гр. Толстаго въ военной формѣ. Эта скромность, скромность высокаго о себѣ мнѣнія, о которой говорить еще Крижаничъ, идетъ за оригинальность, которой въ сущности въ ней нѣтъ. И дальше, цѣлымъ рядомъ ловко подобранныхъ подробностей, теплымъ, повидимому сочувственнымъ отношеніемъ петербургскій фельетонъ ехидствуетъ такъ ловко и искусно, такъ сдуваетъ весь нравственный образъ гр. Толстаго, что отъ знаменитаго романиста не остается даже и маленькой кучки муки. У г. Суворина несомнѣнный талантъ писать отрицательныя біографіи, — біографіи, послѣ которыхъ въ нашемъ представленіи о человекѣ остается пустота. Иногда одной чертой, повидимому ничтожнымъ рассказомъ г. Суворина умѣ-

еть лучше всякихъ подробностей свести челоуѣка къ нулю и помѣшать палкой въ его головѣ. Въ біографическихъ подробностяхъ о гр. Сальясѣ г. Суворинъ если и не былъ болѣе великодушень, то, можетъ быть, потому, что судить гр. Сальяса съ пьедестала не требовалось сильныхъ легкихъ. Но гр. Толстой больше. Образъ его величественнѣе, вся Россія смотритъ съ какимъ-то особенно благоговѣйнымъ уваженіемъ на этого честнаго фанатика, патріота, народника, на этого искренняго челоуѣка и даровитаго писателя. И какой, повидному, ничтожный случай изъ жизни гр. Толстаго былъ достаточень, чтобъ сдѣлать его изъ геркулесоваго столба небольшой кучкой муки! Въ книгѣ Погодина: „Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ“, помѣщенъ слѣдующій разсказъ гр. Льва Николаевича: „Проигравшись въ молодости въ карты, пишетъ графъ Погодину, — я передалъ зятю свое имѣніе съ тѣмъ, чтобы онъ уплачивалъ мои долги и присылалъ мнѣ на содержаніе по 500 р. въ годъ. Въстѣ съ тѣмъ я далъ ему слово не играть болѣе въ карты. Но на Кавказѣ я опять сталъ играть, спустилъ все, что у меня было, и задолжалъ Кноррингу 500 р. на вексель. Срокъ подходилъ, денегъ у меня не было, а зятю я не смѣлъ писать о своемъ позорѣ, и былъ въ отчаяніи. Жилъ я тогда въ Тифлисѣ, чтобы держать юнкерскій экзаменъ. Я не спалъ ночей, мучился, обдумывалъ, что мнѣ дѣлать, и вспомнилъ о молитвѣ и силѣ вѣры. Я сталъ молиться отъ глубины души, считая свою молитву испытаніемъ силы вѣры, — молиться, какъ молятся юноши, и легъ спать, будто успокоенный. Поутру, лишь только я проснулся, передаютъ мнѣ послыку отъ брата изъ Чечни. Первое, что я увидѣлъ въ пакетѣ, былъ мой разорванный вексель. Братъ писалъ ко мнѣ: „Сада (мой кунакъ, молодой малый, чеченецъ, игрокъ) обыгралъ Кнорринга, выигралъ твой вексель, привезъ ко мнѣ и ни за что не хочетъ братъ съ тебя денегъ“. — Что это такое? И можно-ли болѣе комично выставить на смѣхъ нашего знаменитаго романиста? Старецъ Погодинъ, сей безсмертный старецъ, пользуется разсказомъ гр. Толстаго, чтобы показать, на-сколько молитва служитъ испытаніемъ силы вѣры... Неужели нужно говорить больше и неужели не ясно теперь, почему гр. Толстой разошелся съ Тургеневымъ, — разошелся только потому, что Тургеневъ стоялъ на культурно-европейской точкѣ зрѣнія, а гр. Толстой хотѣлъ дойти до всего своимъ умомъ? И что-же дѣ-

дасть этотъ умъ, и какъ онъ самъ въ себѣ мѣшаетъ палкой, и какъ, стараясь до всего дойти самъ, онъ пытается, наконецъ, объяснить міровыя судьбы человѣчества и чуть не попираетъ прогрессъ, силу всякаго таланта, самостоятельность мышленія, и въ то-же время съ русской скромностью говорить о себѣ, что не считаетъ себя большимъ человѣкомъ! Но какже маленькому человѣку рѣшать судьбы міра и провозглашать себя историкомъ-философомъ, воспитателемъ народа? Кажется, ни къ кому болѣе, какъ къ гр. Толстому, нельзя прийтти словъ Бѣлинскаго о Гончаровѣ, которыми г. Суворинъ, какъ послѣдней капелькой яда, убиваетъ гр. Толстаго. „У васъ, Иванъ Александровичъ, не разберешь, кого вы подлецомъ считаете, кого хорошимъ человѣкомъ. Но это-то и есть настоящая объективность“.—И въ художественной объективности гр. Толстаго намъ опять показываютъ слѣды ничего неразбирающей палки. Народникъ, тяготящійся къ простотѣ и неиспорченности, къ непосредственному и къ лону природы, даетъ въ то-же время плѣнительные образы пошлыхъ великосвѣтскихъ типовъ, ненужнаго блеска, чванства, блондъ, кружевъ и обнаженныхъ плечъ съ ихъ „холодною мраморностью...“ Ничего не разберешь въ этой кашѣ!

Но гр. Толстой летитъ съ пьедестала не одинъ. За нимъ сдувается вся клика „Гражданина“ и „Русскаго Міра“, эта поклонница лучшихъ преданій стараго культурнаго общества. Впередѣ летитъ кн. Мещерскій, за нимъ генераль Фадѣевъ, а за ними все остальное населеніе „Гражданина“ и „Русскаго Міра“, съ гг. Маркевичемъ и Авсѣенко. „Гражданинъ“ и „Русскій Міръ“ всегда стояли за чистоту нравовъ, за благородство побужденій, за культуру, за цивилизацію и всегда проливали горькія слезы, что мы въ послѣднія двадцать лѣтъ если и сдѣлали нѣсколько шаговъ по пути реального прогресса, то столько-же, если не больше, сдѣлали шаговъ назадъ по пути нравственнаго растлѣнія. Матеріальный прогрессъ послѣднихъ лѣтъ насъ не спасъ, а растлилъ. Мы были чисты и святы, а теперь стали порочны и скверны. Но были проповѣдники тѣхъ чистыхъ началъ, которыя должны спасти насъ? выдаетъ въ нихъ своимъ жесткимъ словомъ обличитель. „Начала нравственности и общежитія требуютъ и честныхъ людей, иначе ваша проповѣдь о безнравственности общества теряетъ свою цѣну. Вы видите явленія, но не видите причинъ, вы под-

тасовываете факты, но не знаете тѣхъ зеренъ, изъ которыхъ они выросли. Вы только кричите о растлѣніи общества, но въ нашемъ крикѣ даже нѣтъ душевной боли, нѣтъ одушевленія чувства, нѣтъ священнаго огня. Чуждые одушевленія, вы не досрости до олимпійскаго спокойствія, до психическаго анализа характера и событій. Да и гдѣ вамъ досрости до благородства и гдѣ вамъ быть пророками честности и гражданскаго мужества! Фарисеи вы, и презрѣнные фарисеи! Авось время сдернетъ понемногу маску со всѣхъ васъ и толпа раздавитъ васъ подъ бичемъ своего смѣха и негодованія, какъ самозванцевъ, какъ воронъ, нарядившихся въ павлиньи перья!..“ Это не мои слова, а слова все того же карающаго и обличающаго фельетона. Никому, какъ кажется, не досталось отъ него такъ сильно, какъ фарисеямъ публицистики и печати, фарисеямъ, пріютившимся въ „Гражданинъ“, фарисеямъ, проповѣдующимъ мораль, поучающимъ нравственной чистотѣ и укоряющимъ Россію въ растлѣніи, въ безбожии и во всѣхъ смертныхъ грѣхахъ. То, въ чемъ изобличается затѣмъ „Русскій Міръ“ и генералъ Фадѣевъ съ его проектами историческаго перестроенія Россіи, оказывается ужъ очень слабымъ, да и стоитъ ли съ особенной энергіей сдуть то, что и всякій видитъ, что оно мало, и чего сдуть нѣтъ особеннаго труда!

Когда фельетонная лѣтопись громить литературное ничтожество, ея языкъ достигаетъ особенной энергіи, силы и полемическаго краснорѣчія. Не знаю, черта-ли это нравовъ или личная особенность, но полемическая дерзость фельетона доходитъ, дѣйствительно, до геркулесовыхъ столбовъ.

Въ бесѣдѣ съ Катковимъ полемическое краснорѣчіе петербургскаго фельетониста достигаетъ колоссальности. „Милый другъ и любезный собратъ, говоритъ фельетонистъ великому мужу Москвы, — ты воображаешь, что ты столбъ, ты воображаешь, что ты служилъ интересамъ Россіи, что ты обладаешь умомъ, пронипательностью; все твое прошлое доказываетъ тысячу разъ отсутствіе въ тебѣ всякой пронипательности; ты человекъ по-преимуществу чувства, а не разума, и только этимъ объясняется твой успѣхъ между людьми, непривыкшими думать, между толпою неразвитыхъ и полуобразованныхъ. Прежде, правда, тебѣ было трудно подражать, потому что оригинальность твоя заключалась въ горячемъ лиризмѣ, теперь же вмѣсто горячихъ лирическихъ мѣстъ появи-

лось въ тебѣ фразерство, ходульное, водянистое; теперь подражать тебѣ ничего не стоитъ, теперь всякій посредственный писатель пишетъ такъ-же, и г. Браевскій понялъ это очень хорошо, и передовыя статьи „Голоса“ не отличишь теперь ничѣмъ отъ твоихъ передовыхъ статей. Взгляни вокругъ себя безпристрастно— и ты, собравъ, убѣдишься, что въ настоящее время такъ-же легко сдѣлаться профессоромъ, какъ благонамѣреннымъ патриотомъ. Настоящее время — время мелкихъ сошекъ, мелкихъ талантовъ, мелкихъ ученыхъ, но великихъ дерзостей, или, сказать возвышеннѣе, великихъ дерзаний...“ Это не совсѣмъ подлинныя слова петербургскаго лѣтописца, но общій тонъ вѣренъ.

Когда фельетонная лѣтопись бьетъ направо и налево, напоить удары и геркулесовымъ столбамъ биржи, и геркулесовымъ столбамъ литературы, знаетъ она, что дѣлаетъ, или не знаетъ? Что она отражаетъ жизнь какъ зеркало или кричитъ и сердится, какъ дитя, однимъ рефлексивнымъ крикомъ; что она ведетъ сознательную борьбу со зломъ и мерзостью и съ криводушьемъ и съ фарисействомъ; что она, Моисей въ пустыни, ведущій народъ Божій въ землю обѣтованную, или простое предложеніе, отвѣчающее спросу? Дальше вы найдете отвѣты на эти вопросы, а теперь довольно сказать, что въ фельетонной лѣтописи мы читаемъ какой-то бессознательный процессъ борьбы за личное существованіе. Все, что не грозитъ тому среднему интеллектуальному человѣку, которому лѣтописецъ служить,—не возбуждаетъ его энергій, не заставляетъ браться за оружіе. Но разъ грозитъ ему или денежная опасность, или онъ задѣтъ лично—и онъ поднимается во весь ростъ и тутъ-то вы видите во всемъ величій его смѣлость и дерзость, на которую онъ способенъ, защищая себя. И надо отдать ему справедливость, что все, что онъ говоритъ, всегда мѣтко, и ярко, и живописно, и цвѣтисто, и предъ вами возникаетъ картина времени и современный человѣкъ со всѣми его задачами, стремленіями, интересами, мелкимъ самолюбіемъ, высокими о себѣ мнѣніемъ и крайнею, крайнею, крайнею ограниченностью. Больше развѣчивать современнаго интеллигента невозможно, нельзя закопать его глубже въ землю и самому закопаться съ нимъ.

Не знаемъ, есть-ли гдѣ-нибудь еще какой-нибудь интеллигентъ, болѣе высокаго роста, но тотъ, о которомъ говоритъ лѣтописецъ, малъ, очень малъ, и смѣшонъ до ничтожества. Капиталь, которо-

му достается отъ фельетона, если не больше по своей интеллектуальной силѣ, но онъ, вы видите, что-то орудуетъ и созидаетъ и оставляетъ, тогда какъ всѣ эти литературные интеллигенты, имена которыхъ фельетонамъ всѣ выписаны, являются какими-то микроскопическими самолюбивцами, о которыхъ лѣтописецъ говоритъ, что время сдуетъ ихъ и послѣ нихъ не останется ничего. У литературнаго интеллигента, гордящагося своей умственной силой, нѣтъ даже простаго умѣнья вести практическія дѣла, и первый дѣлецъ, съ которымъ онъ сталкивается, оставляетъ его въ дуракахъ. Вотъ интересный фактъ, записанный фельетонистомъ. Одинъ извѣстный ученый классикъ является въ заведеніе дѣльца, имѣющее весьма близкія отношенія къ умственному труду, проще говоря—въ типографію, и дѣлаетъ заказъ. — „Что это съ вами, не больны-ли вы?“, спрашиваетъ съ соболѣзнованіемъ классикъ, видя хмурое лицо хозяина. — „Да у меня денегъ нѣтъ; сегодня расчетъ съ рабочими, а денегъ взять неоткуда“. — „Если хотите, я заплачу вамъ впередъ“. — „Впередъ? Да что я сдѣлаю съ вашими тремястами рублей, которые съ васъ приходится, — мнѣ нужно тысячь пять...“ И затѣмъ коварный человекъ, какъ змій-искуситель, вползаетъ въ душу ученаго классика и поучаетъ его одному секрету кредита, при которомъ два человека даютъ другъ другу взаимные векселя на одинаковую сумму. Ученый, нестрѣчавшій ничего подобнаго у грековъ и римлянъ, слушаетъ урокъ дѣльца со вниманіемъ и даже съ нѣкоторымъ сіяньемъ на лицѣ. — „Если это такъ просто, говоритъ онъ въ кредитномъ экстазѣ, — то я вамъ дамъ подобный вексель“. — „Ахъ, вы-бы меня обязали безконечно...“ И затѣмъ, спустя нѣкоторое время, съ ученаго классика потребовали по векселю уплаты 4,500 рублей.

Не злорадствуйте, однако, что капиталъ такъ надсмѣялся надъ интеллигентомъ. Лѣтописецъ со словъ очевидца рассказываетъ объ управленіи акціонерными дѣлами такіа кощическія вещи, послѣ которыхъ интеллигенція капитала едва-ли имѣетъ право превозноситься надъ всякой другой интеллигенціей. Онъ рисуетъ картину класса, ряды стульевъ, скамеекъ, столъ посреди, учителя, колокольчикъ и скромныхъ учениковъ, которые, какъ дѣти, повинуются своему учителю, и все, что учитель ни говоритъ имъ, они принимаютъ съ скромностію и даже съ благоговѣніемъ; со всѣмъ они соглас-

ны, ни противъ чего не возражаютъ, утверждаютъ все, что имъ велятъ утвердить, садятся, когда имъ велятъ садиться, встаютъ, когда имъ велятъ вставать, а когда учитель съ кафедры говорить, что собраніе закрыто, классъ бросается вонъ, очень довольный, что, наконецъ, можно идти домой. Въ этомъ родѣ описываетъ лѣтописецъ всѣ наши акціонерныя общества и ихъ засѣданія. То, что онъ рассказываетъ объ обществѣ взаимнаго кредита и о дѣлахъ коммерческаго банка, похоже на рассказы, напоминающіе скорѣе дѣтское недомысліе, чѣмъ поведеніе взрослыхъ людей. Чувствуешь и видишь, какъ старшія дѣти играютъ въ деньги, дѣлаютъ что хотятъ, а младшія дѣти молчатъ изъ трусости, изъ лѣни или изъ совершеннѣйшаго легкомыслія. Но бываетъ, что трусость, лѣнь и легкомысліе иногда возмущаются и проникаются до того полемическимъ краснорѣчіемъ, что говорятъ въ лицо своимъ учителямъ, что они воруютъ, а они сіяютъ и смотрятъ на васъ спокойно, будучи увѣрены въ своей безотвѣтственности. „Да и чего имъ бояться, когда они знаютъ, что никто отъ нихъ не отыщетъ того, что они наворовали?“ поясняетъ фельетонистъ. Но вотъ фактъ, который лучше всего указываетъ на интеллектуальныя средства капитала. „Послѣ полученія концессіи на одну изъ юго-западныхъ нашихъ дорогъ учредители собрались для раздѣленія между собою миліона рублей барыша, исчисленнаго для постройки дороги. Артельщики разложили на длинномъ столѣ кучками ассигнаціи, поставили свѣчи и удалились. Послѣ этого приготовления къ дѣлежкѣ вошли въ комнату господъ учредители. Что было при дѣлежкѣ этого миліона, можно судить по тому, что нѣкоторые изъ господъ учредителей оказались на другой день съ подбитыми глазами. Они передрались, потушивъ свѣчи, и бросились захватывать со стола пачки. Между учредителями были люди благородные и хорошаго воспитанія“. Мы думаемъ, что юристы, о денежной жадности которыхъ такъ много говоритъ лѣтописецъ, и графъ Толстой, котораго онъ рисуетъ такимъ маленькимъ, и графъ Сальясъ, который еще меньше, и князь Мещерскій, который еще смѣшнѣе, и Синій-Ира, который даже и не смѣшонъ,—если-бы имъ пришлось дѣлить миліонъ, вели-бы себя какъ люди благороднаго происхожденія и хорошаго воспитанія. А впрочемъ, послѣ всего того, что мы знаемъ о ростѣ этихъ людей, послѣ того, какъ г. Суворинъ такъ тщательно ихъ сдулъ,—

послѣ всего этого можно ожидать отъ людей всего. О, скорбная лѣтопись нашей безтаданности!

IV.

Случалось-ли вамъ задавать себѣ вопросъ: отчего нынче нѣтъ ни одной газеты безъ фельетона и почему фельетонъ забралъ въ свои руки силу и явился какимъ-то судьей, руководителемъ и обличителемъ, то строгимъ и грозящимъ, то смѣющимся, то смѣшавшимъ, то пророкомъ, то арлекиномъ, показывающимъ вамъ языкъ и обсыпающимъ васъ мукою, то „Петрушкой“, бьющимъ васъ по головѣ?

Фельетонъ явился, дѣйствительно, силой и сталъ передовой статьей, но не въ верхнихъ столбцахъ газеты, а внизу. Лѣтописецъ, о которомъ мы говоримъ, смотритъ на свое служеніе обществу какъ на серьезное служеніе; онъ понимаетъ, что фельетонъ — не болтовня о благотворительныхъ балахъ и концертахъ, о великосвѣтскихъ вечерахъ, о загородныхъ гуляньяхъ, обо всемъ томъ, о чемъ сказать нечего. Нѣтъ, говорить онъ, фельетонъ является подспорьемъ передовыхъ статей, и для занятого, погруженного въ мелочи жизни человѣка пересказываетъ въ легкой формѣ то, что нѣтъ времени или лѣнь прочитать ему въ формѣ серьезной. Фельетонъ — популяризаторъ тѣхъ-же идей, которыя стараются распространять газеты путемъ передовыхъ статей; да и лучшія передовыя статьи тѣ, которыя написаны живо, легко, остроумно, общедоступно. Длинные философскіе трактаты — дѣло книгъ, а не газеты, которая должна удовлетворять насущный день и возможно большее число читателей, стоящихъ на разныхъ ступеняхъ развитія.

Но нѣсколькими страницами ранѣе мы въ той-же лѣтописи читаемъ элегію по поводу одного извѣстнаго фельетониста, котораго поразила апоплексія. Вотъ что говорить о немъ лѣтописецъ: „Много лѣтъ онъ акуратно являлся въ воскресные дни и тѣшилъ свою публику въ весьма распространенной газетѣ; теперь онъ лежитъ безъ движенія, безъ языка, такой-же бѣдный, какъ былъ десять лѣтъ тому назадъ, вѣрнѣе сказать — лежитъ какъ нищій, у котораго болѣзнь отняла послѣднія средства къ

существованію. А онъ имѣлъ поклонниковъ, его читали, ждали его фельетона. Въ послѣднее время говорили, что онъ исписался. Это страшное слово для журналиста, который принужденъ работать головой вѣчно, возбуждать нервы, цѣпляться за каждый мало-мальски выдающійся и доступный уголокъ общественнаго зданія, карабкаться на высоту, царапать свое тѣло, кричать, волноваться, кубаремъ летѣть внизъ, снова подниматься, вертѣть въ своей головѣ, чтобъ изъ ничего сдѣлать нѣчто, смѣяться и острить, когда хочется плакать, дѣлать серьезную фізіономію, когда разбираетъ смѣхъ, выражать смиреніе, когда негодованіемъ кипитъ сердце, удерживать порывы, калѣчить свою мысль, сгорать на медленномъ огнѣ работы и искусственнаго подогрѣванія или охлажденія себя. Что за проклятая обязанность въ душной атмосферѣ переходнаго времени, когда открыто столько воротъ для наживы! Долго-ли исписаться при такихъ условіяхъ, и притомъ вѣ вѣчной погонѣ за кускомъ хлѣба, при неувѣренности въ завтрашнемъ днѣ? Бѣдный шутъ, поставщикъ остротъ въ воскресный базарный день для праздныхъ подписчиковъ! Что-же такое фельетонъ, что такое фельетонистъ? Тотъ-ли пророкъ и популяризаторъ идей, о которомъ говорится въ первой выпискѣ, или жалкій фигляръ, о которомъ говорится во второй? Если онъ жалкій фигляръ, который долженъ тѣшить публику своими воскресными остротами и дѣлать смѣшныя гримасы, чѣмъ-же онъ отличается отъ фигляра, глотающаго шпаги, жующаго горящую наклѣю и вытягивающаго изъ горла безконечную ленту? Если онъ не больше, какъ фигляръ, мы понимаемъ скорбное слово сожалѣнія, высказанное фельетонистомъ по поводу апоплексіи. Но за то мы не понимаемъ того, что говорятъ дальше та-же элегія о ненужности исписавшагоса фельетониста: „Лучше умереть во-время, умереть съ достоинствомъ, когда еще голова свѣжа, рука послушно движется, а мысль ее опережаетъ, умереть, чтобы не сѣсть кому на плечи, не погибнуть медленною смертію разложенія и не дать скалящему зубъ самодовольству предлога къ обидной насмѣшкѣ и обидному сожалѣнію...“ Но если фельетонистъ не больше, какъ фигляръ, можно-ли говорить о достоинствѣ; если онъ изъ своего дѣла сдѣлалъ ремесло и изолгался до того, что смѣется и острить, когда хочется плакать, дѣлаетъ серьезную фізіономію, когда раз-

бираетъ смѣхъ, калѣчитъ свою мысль и искусственно подогрѣваетъ или охлаждаетъ себя,—плачьте о немъ, сожалѣйте, какъ сожалѣете вы о всякомъ оберъ-кельнерѣ, который унижается передъ вами изъ-за талера, сожалѣйте, какъ о тѣхъ несчастныхъ дѣвочкахъ, которыя ходятъ съ шарманками и распѣвають хриплымъ голосомъ нѣжные романсы, сожалѣйте, какъ о всѣхъ тѣхъ видахъ труда, которые мѣшаютъ человѣку быть человекомъ, сожалѣйте, какъ о нравственной искалѣченности, но не говорите о достоинствѣ, не говорите о служеніи обществу, не говорите о передовой идеѣ.

Но точно-ли фельетонистъ—фигляръ, и зачѣмъ ему лгать, зачѣмъ ему кривляться, зачѣмъ ему смѣшить и тѣшить праздную публику? Нѣтъ, фельетонистъ не то и не такому онъ дѣлу служить, и, желая возбудить къ нему сочувствіе, вы возбудили къ нему сожалѣніе. „Смѣйтесь надо мной, но только не плачьте“, сказалъ одинъ философъ древности, и обиднѣе чувства сожалѣнія едва-ли можетъ быть что-нибудь для порядочнаго человѣка. А развѣ вы сами поступали такимъ образомъ; развѣ вы гаерствовали, развѣ въ томъ, что вы говорили раньше о служеніи идеѣ и популяризаціи,—развѣ это та-же мысль, которую вы высказываете о фельетонномъ фиглярствѣ? Въ которой крайности правда и чему служить фельетонъ? Мы думаемъ, что правда ни въ томъ и ни въ другомъ, и думаемъ на основаніи той-же лѣтописи, въ которой нашли объ крайности.

Когда фельетонъ, проникаясь чувствомъ достоинства, говоритъ о себѣ, какъ объ учителѣ и пророкѣ, онъ слишкомъ преувеличиваетъ средства, которыми владѣетъ. Мастерская фельетониста устроена вовсе не для того, чтобы производить монументальные памятники и вѣковѣчныя сооруженія. Крупныхъ вещей производить онъ не можетъ, но онъ можетъ производить очень тонкую, филигранную работу. Философскіе курсы и ученые трактаты останутся навсегда той тяжелой артиллеріей, которой фельетонисту съ мѣста не сдвинуть. И передовныя статьи останутся передовыми статьями и въ ихъ область фельетонъ никогда не заберется. Для каждаго дѣла свои люди и свои силы. А если иногда фельетонъ играетъ роль, если онъ ближе къ пониманію публики, чѣмъ всякая серьезная мысль и серьезное изложеніе, такъ это только вопросъ объ уровнѣ понятій,—вопросъ

о той сангвинической легкости, которой доступно лишь то, что не заставляет думать, дается непосредственно, образно, не столько уму, сколько остроумію. Но развѣ образностью и остроуміемъ возьмешь, когда требуется діалектическое развитіе мысли и логическая подробность? Вы говорите, что фельетонъ теперь совсѣмъ не то, чѣмъ онъ былъ прежде. И это справедливо. Теперь болтовней о благотворительныхъ балахъ, концертахъ, о великосвѣтскихъ вечерахъ, о загородныхъ гуляньяхъ никому ничего не скажешь, да никому это и не нужно. Но отчего? Только оттого, что въ жизни общества все-таки явилась извѣстнаго рода дѣловитость, практичность, стремленіе къ инымъ, менѣ великосвѣтскимъ, но за то болѣе общественнымъ дѣламъ. И этому спросу долженъ отвѣчать всякій фельетонистъ и всякій фельетонъ, если онъ хочетъ, чтобъ его читали. Фельетонъ является, такимъ образомъ, чисто-отражающимъ зеркаломъ извѣстнаго момента общественной мысли и отвѣчаетъ только злобѣ дня. Что исписавшійся фельетонистъ забудется всѣми и умретъ непризнанный, неоплаканный, бѣда не особенно большая. Онъ все-таки сдѣлалъ свое дѣло, и когда не можетъ продолжать его далѣе, долженъ уступить дорогу другому. Я не знаю, чѣмъ тутъ огорчаться и что особенно привлекательнаго въ безсмертіи и безконечной славѣ. Вѣдь она удѣлъ одного изъ десяти миліоновъ, и если каждый захочетъ безсмертія, то мы только изболѣемъ бесполезно томительнымъ самолюбіемъ и кончимъ все-таки какъ обыкновенные люди. Мы не говоримъ, что хорошо, если какой-бы то ни было человекъ умираетъ съ голоду, а тѣмъ болѣе интеллигентъ; мы говоримъ только о неведущемъ ни къ чему сентиментализмѣ.

Впрочемъ, когда петербургскій лѣтописецъ не пускается въ философію и дѣлаетъ свое дѣло попросту, онъ совсѣмъ не такой, какимъ рисуется въ минуты философскаго и сентиментальнаго настроенія. Тогда онъ является настоящимъ, образцовымъ фельетонистомъ, настоящимъ зеркаломъ общества и настоящимъ трибуномъ обывенной повседневности на базарѣ житейской суеты. Петербургскій фельетонистъ—чистый микровозмъ того огромнаго муравейника, въ которомъ онъ вращается. Этотъ муравейникъ спекулируетъ, суетливо бѣгаетъ по улицамъ, ища наживы, заводитъ банки, кредитуется, лжетъ и обманываетъ, гдѣ нужно и гдѣ не нужно, думаетъ чаще всего въ вулаческомъ направленіи,

эксплуатируетъ своего ближняго, управляетъ съверно своими общественными дѣлами, лжетъ въ акціонерныхъ собраніяхъ, и въ то-же время держитъ себя съ напыщенностью и самоувѣренностью непогрѣшимаго достоинства. А фельетонистъ, эта маленькая песчинка, которую увлекаетъ общій вѣтеръ, вертится со всѣми въ одной общей беспорядочной пляскѣ, шныряетъ тоже повсюду, видитъ все, все знаетъ и наблюдаетъ, живетъ каждою мелочью и оповѣщаетъ о ней на базарѣ съ своей трибуны. Еще-бы толковать теперь о великовѣтскихъ балахъ, когда на базарѣ житейской суеты спросъ только на дѣльцовъ и деньги! И вотъ фельетонъ ведетъ насъ во всѣ закоулки базара, во всѣ его углы и задніе дворы, рисуется карликовъ и уродцевъ, осмѣиваетъ самозванное величіе, общипываетъ павлиньи перья съ воронъ и показываетъ птицъ, какими онѣ есть. Забираясь въ интеллектуальную сферу, фельетонъ дѣлаетъ то-же самое съ такъ-называемыми свѣтилами интеллигенціи, онъ общипываетъ даже графа Толстаго. У фельетониста не дрогнетъ рука ни на какую операцію, и, конечно, въ этомъ его важная заслуга, въ этомъ его великопріятіе, въ этомъ его общественная честность.

Но фельетонъ не ограничивается однимъ изобличеніемъ. На базарѣ житейской суеты, кромѣ предостереженій неразумныхъ мухъ отъ кровожадныхъ пауковъ, требуется еще кое-что другое. Фельетонъ отвѣчаетъ и этому другому. Тогда онъ изъ экономическаго и разоблачающаго становится критически-литературнымъ. Литературный отдѣлъ въ „Очеркахъ и картинкахъ“ заключаетъ въ себѣ гораздо больше матеріала для оцѣнки современнаго, дѣйствующаго интеллигента, чѣмъ всѣ изобличенія плутократовъ, потому что указываетъ всю ширину области мысли его, его кругозоръ общественный и политическій. Авторъ „разсказовъ“, конечно, придаетъ имъ литературное значеніе; конечно, они читались, нравились, соответствовали вполнѣ публикѣ, для которой назначались, и потому, конечно, по этимъ разсказамъ можно судить и о публикѣ.

„Гарибальди“ — разсказъ изъ народнаго быта. Это одинъ изъ тѣхъ разсказовъ, искуснымъ чтеніемъ которыхъ г. Горбуновъ всегда такъ забавлялъ публику. Это не сатира, а что-то такое, можетъ быть, и смѣшное, но въ сущности невѣрное, искусственное, искажающее народъ и рисующее его совсѣмъ не такимъ, ка-

вовъ онъ есть. Въ каждомъ словѣ разсказа видна барская дѣланность, сочиненная народная рѣчь безъ народныхъ понятій, поддѣлка подъ мужицкіе разсказы, нисколько не смѣшная для тѣхъ, кто знаетъ народъ и его жизнь. Гарибальди зовется Аллибарди, генераль—енараль, Капрера—островъ-пищера и т. д. Но публика смѣется; есть люди, которыхъ тѣшитъ этотъ смѣхъ, и есть люди, которые охотно лѣзутъ на подмости, чтобы забавлять. Если г. Суворинъ въ своемъ отдѣльномъ изданіи фельетоновъ 1875 года помѣстилъ разсказъ, написанный имъ въ 1861 году, то ясно, что его тепершній читатель, этотъ интеллигентъ-плутовать, дѣлецъ и практикъ, литераторъ и ученый, потѣшается и развлекается остроуміемъ Апраксина двора.

„Государыню-масляницу“ мы что-то совсѣмъ не поняли: хотѣлъ-ли сказать г. Суворинъ, что простое умѣнье веселиться намъ теперь недоступно и что насъ тѣшатъ только заморскія забавы, бѣдную-же масляницу повсюду гонять,—не знаемъ; знаемъ только, что она все-таки понятнѣе „Необыкновеннаго путешествія“. „Необыкновенное путешествіе“—разсказъ политической. Это путешествіе во снѣ, въ которомъ показывается Франція, побитая нѣмцами, въ которомъ какъ-будто осмѣиваются французы, какъ-будто осмѣиваются и нѣмцы, какъ-будто осмѣивается Наполеонъ, и какъ-будто есть общественная тенденція и политическій сантиментализмъ. „Сколько разъ, говоритъ авторъ,—приходилось мнѣ слышать сожалѣнія о Наполеонѣ III! Иные чуть не со слезами объ этомъ говорили и для нихъ личное несчастье этого человѣка было важнѣе, чѣмъ несчастье цѣлой страны, *поверженной имъ во прахъ*. Раскроешь исторію и читаешь тамъ вездѣ одно и то-же. Человѣкъ погубить тысячи жизней, принесть въ жертву своему честолюбію, а иногда своей глупости интересы миліоновъ, и, наконецъ, судьба накажетъ его, и накажетъ весьма мягко, — слезы умиленія текутъ изъ глазъ историковъ и изъ глазъ читателей“. Не знаемъ, въ этомъ-ли вся соль разсказа; но мы думаемъ, что уроки исторіи, если они преподаются въ такой формѣ, едва-ли достигаютъ своей цѣли; а если публика изъ нихъ поучается дѣйствительно, то что-же сказать объ этой публикѣ? Сказать о ней можно, конечно, то, что между дѣломъ и обѣдомъ у Дюссо, между биржевой игрой и театромъ Берга, въ короткіе промежутки отдыха, не читать-же ей восенадцать томовъ Шлоссера,

не читать ей и Гервинуса,—ей нужны только политическія лекціи фельетоннаго характера. И авторъ, знающій свою публику, даетъ ей только то, чего она хочетъ, и едва-ли-бы могъ дать ей больше того, чего она просить. И по автору мы судимъ о публикѣ и по публикѣ—объ авторѣ.

Мы не скажемъ, что въ остальныхъ разсказахъ не было-бы литературнаго достоинства и не проявлялась-бы даровитость автора. Не объ этомъ мы говоримъ и не для того мы говоримъ, чтобы ставить г. Суворина на пьедесталь и сшибать его оттуда. Мы читаемъ его фельетоны, какъ лѣтопись времени, какъ картину общества, какъ характеристику умственныхъ требованій и нравственнаго уровня этого общества. Г. Суворинъ, вѣроятно, вовсе и не подозрѣвая того, сослужилъ ту-же самую историческую службу, за которую онъ надѣваетъ вѣнокъ безсмертія на г. Тургенева. Конечно, вѣнокъ г. Суворина меньше, но за то лѣтопись его заключаетъ въ себѣ болѣе реальный матеріалъ, чѣмъ тургеневское идеализированіе. Г. Суворинъ думаетъ, что въ романахъ г. Тургенева будущій историкъ прочтаетъ гораздо лучше внутреннюю жизнь нашего времени, чѣмъ изъ настоящихъ историческихъ матеріаловъ. Едва-ли. Какъ по Татьянѣ Пушкина ничего не прочитаешь о русской женщинѣ той эпохи, такъ и тургеневскія Лизы, Вѣры и всѣ его герои мужского пола, не исключая Базарова, не дадутъ живого образа теперешняго человѣка. А г. Суворинъ, самъ того не подозрѣвая, его даетъ: онъ даетъ его въ голыхъ фактахъ и цифрахъ, въ своемъ противъ него протестѣ и крикѣ, въ своемъ изобличеніи его мелочности и ограниченности, и въ непошрности его самолюбія, и въ непошрности его беззастѣнчивости, и въ ограниченности его интересовъ, въ ничтожествѣ той литературы, которая его интересуетъ, и въ мелкотѣ того фельетона, который для него пишется, и въ элементарности тѣхъ знаній, которыя приходится популяризировать и говорить о нихъ съ серьезнымъ видомъ и съ страстностью любимаго публикой актера.

Петербургскій фельетонъ—это лѣтопись мизерности, это исторія Жильблаза, для котораго, къ сожалѣнію, у насъ не явилось еще своего Лессажа. А между тѣмъ матеріалъ богатъ и неистощимъ и благодаренъ. „Мертвыя души“ были лѣтописью и панорамой средняго интеллекта послѣдняго момента крѣпостного быта. Но те-

перешнїй интеллигентъ, должно быть, таеъ и вымреть, не дождав-
шись своего лѣтописца и историка, который-бы увѣковѣчилъ его,
какъ Гоголь увѣковѣчилъ своихъ Чичиковыхъ, Хлестаковыхъ и
Плюшкиныхъ. Ни теперешнему фельетону, ни теперешней сатиры
не справиться съ этимъ матеріаломъ; они слишкомъ мелки, слиш-
комъ сами середины, слишкомъ сами живутъ тѣми-же интере-
сами и дѣйствуютъ по рефлексу, чтобы рисовать широкими штри-
хами, — для этого нуженъ литературный Брюловъ. Современный
интеллигентъ, какимъ его даетъ петербургскій фельетонъ, это Тур-
каре Франціи прошедшаго столѣтія; чичиковскія черты въ немъ
исчезли, маниловщины въ немъ нѣтъ, но за то преобладаетъ Со-
бакевичъ, только безъ его ума и практической смѣлки. Это Со-
бакевичъ хотя и болѣе изящный, вкусившій плодовъ отъ Бореля
и воспитавшійся въ хорошихъ манерахъ въ театрѣ Берга, но
размѣнявшійся на мелкую монету. Той-же мелкой чеканки и низ-
кой пробы вышелъ и литературный интеллигентъ. У плутократа
есть, по крайней мѣрѣ, деньги; у литературнаго интеллигента не
осталось даже и этой полудобродѣтели.

Мы закончимъ статью нѣсколькими выписками изъ „Философ-
скаго словаря золотой середины“, составленнаго г. Суверинимъ.
Это, конечно, черты времени, снятыя съ натуры; можетъ быть,
онѣ рѣзки, — судите сами.

Газеты. Падающія листья, удабривающія почву литературы.

Зрѣлость. Для мужчинъ опредѣляется гимназическими ате-
статами, для женщинъ — любовью съ первымъ встрѣчнымъ.

Плутократъ. Происхожденія русскаго, вопреки всѣмъ слова-
рямъ, ибо образовано изъ двухъ словъ: „плуть“ и „кратъ“, т. е.
„множественно плуть“. Поэтому весьма опасно вводить слово
„плутосократъ“, какъ совѣтовали „Биржевыя Вѣдомости“, ибо об-
разованные люди не повѣрятъ, чтобы плуть былъ Сократомъ (плуто-
Сократъ), а невѣжественный народъ передѣлаетъ его въ плуто-
сто-кратъ.

Право. Еврей является къ мировому судѣ. — На васъ жа-
дуется вотъ этотъ человѣкъ, что вы не платите ему. — О, это
его право, отвѣчаетъ еврей. — Отчего-же вы не платите ему? —
Но это мое право. — Я заставлю васъ заплатить. — А это ваше
право.

Вы говорите, что все это преувеличеніе. Я и не говорю, что уменьшеніе. Вы говорите, что это сатира, иронія, выдумка, ложь. Будете думать, что такъ. Вы говорите, что въ Россіи есть еще другой интеллигентъ, не срединный, а настоящаго человѣческаго роста. Есть. Но для него не нашлось еще фельетониста, нѣтъ газеты, нѣтъ писателей и нѣтъ литературы. Какъ-же его увидѣть и узнать?

Н. Языковъ.

РОЗЫ ПРОГРЕСА.

VI.

Исторія Марьи Алексѣевны.

Исторія Марьи Алексѣевны, которая такъ заинтриговала литературное любопытство Поля Скоробрыкина, оказалась хотя очень простой, но, однакожь, не совсѣмъ „обыкновенной исторіей“. Марья Алексѣевна, будучи дочерью благородныхъ и бѣдныхъ родителей, лѣтъ шесть тому назадъ вышла замужъ или, точнѣе, была выдана замужъ помянутыми родителями за перваго подвернувагося „жениха“. Женихомъ этимъ оказался нѣкто Болгановскій, занимавшій невидное мѣсто въ одномъ изъ банковъ.

Марья Алексѣевнѣ было девятнадцать лѣтъ, когда она сдѣлалась законною супругою г. Болгановскаго. Съ самыхъ первыхъ дней брачной жизни супругъ казался Марья Алексѣевнѣ, по меньшей мѣрѣ, неинтереснымъ. Впрочемъ, она прожила съ нимъ четыре года „непостыдно и мирно“, можетъ быть, прожила-бы и дольше, если-бы не случилось трехъ обстоятельствъ. Во-первыхъ, въ концу четырехлѣтія своего замужества Марья Алексѣевна изъ высокой и довольно тонкой особы съ дѣвическими плечами, дѣвическими манерами и дѣвическими скромными взорами преобразилась совершенно неожиданно въ красивую, даже съ излишне роскошными формами женщину, нѣсколько, правда, лѣнивую по виду, но въ глазахъ которой начиналъ уже порою вспыхивать огонекъ, а въ голосѣ звенѣли нотки какой-то внутренней тревоги. Во-вторыхъ, какъ-разъ въ сроку этой метаморфозы

Марья Алексѣвна сдѣлала открытіе, что у г. Болгановскаго на головѣ лысина имѣетъ положительно неприличный видъ днемъ и пахнетъ положительно нестерпимо ночью, когда онъ, для сохраненія немногихъ оставшихся и выращенія новыхъ волосъ, смазываетъ ее какою-то косметическою дрянью. Въ-третьихъ, наконецъ, въ это самое время подвернулся нѣкоторый кузень Марьи Алексѣвны, обольстившій ее красивой наружностью и патянутымъ враньемъ, принятымъ ею за пылкую любовь. Однако, Марья Алексѣвна очень скоро имѣла несчастіе убѣдиться, что кузень не только тряпичная душа, но даже при этомъ еще и порядочный негодай.

Овладевъ молодою женщиной и преподавъ ей нѣсколько уроковъ „просвѣщенія“, какъ выражался онъ, кузень составилъ на счетъ своей любовницы особенный планъ, который и предложилъ ей. Планъ былъ простъ и заключался въ слѣдующемъ. Кузень объяснилъ Марьѣ Алексѣвнѣ, что ей, такой красивой и такой молодой, прозябать съ ея плѣшивымъ супругомъ на полторы тысячи въ годъ его жалованья больше чѣмъ глупо, что она можетъ съ своей наружностью сдѣлать себѣ блестящую карьеру. Средство для этой карьеры простое: ей стоитъ только обратить вниманіе на г. Лухманова, почтеннаго старца, заправляющаго тѣмъ самымъ банкомъ, гдѣ служить ея супругъ. Старецъ, какъ извѣстно ему, кузену, падохъ до особъ прекраснаго пола и какъ нельзя болѣе удобенъ для выжиманія капиталовъ, которыхъ у него не мало.

Марья Алексѣвна сначала подумала, что обожаемый кузень предлагаетъ такой остроумный планъ въ шутку. Кузень ей изъяснилъ, что онъ принимаетъ это дѣло какъ нельзя серьезнѣе, и совсѣмъ не тонко далъ ей понять, что она можетъ осчастливить и его, кузена, такъ-какъ, разумѣется, сдѣлаетъ его участникомъ будущихъ щедротъ г. Лухманова. Что касается мужа, то онъ, кузень, брался объяснить мужу пользу и необходимость плана и вообще заручиться полнымъ согласіемъ г. Болгановскаго на это прекрасное дѣло. Кузень прибавилъ при этомъ, что, онъ надѣется, Марья Алексѣвна оцѣнитъ всю великодушную любовь его, кузена, — любовь, неостанавливающуюся въ заботахъ о ея счастья даже предъ такими тяжелыми для его страсти комбинаціями; что она пойметъ суть дѣла безъ дожной сантиментальности.

Она, дѣйствительно, поняла. Съ недѣлю послѣ остроумнаго пред-

ложенія обожаемымъ кузеномъ „плана“ она ходила, какъ потерянная. По ночамъ она плакала. Ей казалось, что въ это время у нея въ душѣ что-то переломилось. У нея были два-три момента, когда она хотѣла убить себя или остроумнаго кузена, или, по крайней мѣрѣ, наплевать ему въ лицо, или сказать все мужу, или вообще сдѣлать что-нибудь необычайное... Потомъ ей вдругъ показалось, что у нея мысли прояснились, она утихла и даже повеселѣла. Она сказала кузену, что согласна осуществить его планъ, но боится препятствія со стороны мужа. Кузень вызвался уладить дѣло съ мужемъ, говоря, что это совсѣмъ незатруднительно. Дѣйствительно, онъ уладилъ такъ, что г. Болгановскій даже въ какое-то восхищеніе пришелъ и общалъ женѣ полное содѣйствіе, а кузена готовъ былъ разцѣловать за заботы о счастіи жены.

Подъ опытнымъ руководствомъ кузена осуществленіе остроумнаго плана покоренія сердца и кармановъ Лухманова было начато очень удачно и окончено Марьей Алексѣвной еще удачнѣе. На Марью Алексѣвну полились великія и богатныя милости... Но увы! для остроумнаго кузена и супруга Марьи Алексѣвны осуществленіе плана имѣло совсѣмъ не тѣ послѣдствія, какихъ оба они ожидали. Марья Алексѣвна объявила и тому, и другому, что они негодны, кузена прогнала, а супруга оставила при себѣ, но на особнхъ условіяхъ. Кузень ретировался съ проклятіями на женскую неблагодарность и коварство и съ ощущеніемъ длиннаго носа; супругъ остался на условіяхъ, предложенныхъ Марьей Алексѣвной. Въ первое время новая роль нѣсколько покрововала г. Болгановскаго; но потомъ онъ привнѣтъ и даже былъ доволенъ. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ его положеніе не улучшилось? Ему Лухмановъ далъ въ банкѣ мѣсто покрупнѣе и, кромя того, не онъ уже долженъ былъ доставлять средства для жены, а она ему доставляла средства въ жизни.

Что касается Марьи Алексѣвны, она также вначалѣ какъ-будто металась, мучилась, тосковала; но потомъ вдругъ какъ-то замерла и успокоилась. Ея пышная красота, благодаря хорошей обстановкѣ, расцвѣтала съ каждымъ годомъ еще пышнѣе. Она такъ освоилась съ роскошью и нѣгой, что порою забывала, чѣмъ онѣ ей достаются. Она чувствовала, что вообще, какъ она выражалась, стала „умнѣй“ и кое-что поняла въ жизни и кое-чему

понаучилась. Она, впрочемъ, не особенно эксплуатировала своего покровителя, хотя не стѣсняла себя ни въ чемъ и понемногу прикапливала деньжонки на черный день. Если вѣрить слухамъ, она позволяла себѣ кое-какія развлечения и имѣла порядочное количество любовниковъ. Но скабрзные слухи, какъ извѣстно, нерѣдко бывають ложны, основываются больше на формальныхъ отношеніяхъ. Формальныя отношенія Марьи Алексѣевны были, дѣйствительно, довольно свободны: она любила окружать себя поклонниками, несмотря на то, что Лухмановъ не очень-то одобрялъ подобное направленіе своей фаворитки. Впрочемъ, ему безпокоиться, во всякомъ случаѣ, было не изъ чего: Марья Алексѣевна въ душѣ относилась къ непрекрасной половинѣ человѣческаго рода съ нѣкоторымъ презрительнымъ чувствомъ, вѣроятно, на основаніи хорошихъ воспоминаній о предметѣ своей первой страсти—благородномъ и остроумномъ кузеньѣ.

VI.

Исторія о томъ, какъ Бутербродовъ лазилъ въ кратерь Везувія за туфлей любимой женщины.

— Позвольте, художникъ, спросить васъ насчетъ одного пункта, обратился Поль Скоробрыкинъ къ Бутербродову, выслушавъ отъ него исторію Марьи Алексѣевны: — старецъ, посредствомъ купли пріобрѣтшій любовь прелестной Марьи Алексѣевны, вдовецъ или отъ живой супруги амурами балуется?

— Отъ жены. Жена за границей проживаетъ.

— Те, те, те, стойте! воскликнулъ, стукнувъ стаканомъ о столъ и весь встряхнувшись и исказившись, Поль: — госпожа Лухманова, Элоиза, или Амелія, или какъ тамъ ее? Имѣю понятіе и зрѣлъ въ Баденъ-Баденѣ года два назадъ. Деликатная дама въ родѣ муміи и занимается больше почасти вязанія кошелевъ съ благотворительною цѣлью... Она?

— Не знаю, должно быть, что она.

— Ну, однако, старецъ-то не дуракъ, я вижу, съ тактомъ старецъ: ставую вяленую законную половину спустилъ съ рукъ въ заграничныя палестины, а самъ съ велѣбной Марьей Алексѣевной роскошествуетъ!.. Нѣтъ, я вамъ скажу, эти старцы сороко-

вѣхъ годовъ куда насъ грѣшныхъ въ плотоугодіи превосходить. Тонкоапетитные старцы, чортъ-бы ихъ взялъ совѣтъ! Пластику, художникъ, разумѣютъ, а?

— Ну, и мы по этой части тоже не дураки, ухмыльнувшись таинственно и самодовольно въ усы, замѣтилъ Бутербродовъ.

— А что, а? Неужто ужъ того... состоите около фаворитки въ качествѣ помощника достопочтеннаго финансоваго туза?

— Какіе вы, однако, вопросы щекотливые задаете, скромно потупившись, молвилъ художникъ, очевидно желавшій въ глубинѣ души, чтобы его признали любовникомъ Марьи Алексѣевны.

— Какіе вопросы? Самые обыкновенные вопросы. Вотъ освѣдомьтесь у пасынка Фемиды и тотъ вамъ скажетъ, что скромничать тутъ нечего... Ну, чего-жъ вы секретничаете, академическій Апеллесъ—выкидывайте-ка въ пріятельской бесѣдѣ исторію своихъ амуровъ съ Марьей Алексѣевной, ну-ка, ну-ка? Выводите все на свѣжую воду.

Скоробрыкинъ, очевидно, подсмѣивался надъ Бутербродовымъ и желалъ вызвать въ немъ хлестаковскіе истинеты съ цѣлію писательскихъ наблюденій; но знаменитый художникъ не примѣчалъ коварнаго намѣренія литератора и принималъ его любопытные разспросы за чистую монету. Онъ усиленно началъ ерошить крашеный хохолокъ на лбу, усиленно затеребилъ рояльку.

— Налейте мнѣ, афектированно процѣдилъ знаменитый художникъ севозъ зубы, подвигая стаканъ къ Скоробрыкину.

Скоробрыкинъ налилъ, насмѣшливо подмигивая наблюдательными глазками. Бутербродовъ однимъ продолжительнымъ глоткомъ выпилъ вино, отнялъ руку отъ стакана и, закинувшись къ спинкѣ стула, проговорилъ, тараща глаза на Скоробрыкина и Аверьева:

— Вы правы, господа...

— То-есть, что такое правы? пренебрежительно покосившись на него, произнесъ самымъ серьезнымъ тономъ Аверьевъ.

— То-есть насчетъ...—Онъ поперхнулся и не докончилъ: шампанское бросилось ему въ носъ.

„Врешь ты, крашеный шарманщикъ“, не безъ досады подумалъ про себя Аверьевъ.

— Насчетъ амура? подхватилъ Скоробрыкинъ, быстро собирая крупными складками морщины на лбу и распуская ихъ;— ну, ну, описывайте, изображайте, Апеллесъ!

— Скажу вамъ, господа, говорилъ Бутербродовъ, посоловѣлыми глазами оглядывая своихъ собесѣдниковъ и какъ-то разинная слова на языкѣ, — у меня насчетъ женщинъ просто чертовская натура, чер-то-вска-ая...

— Что, очень ужъ развѣ женолюбивы? подстрекнулъ Скоробрывкинъ.

— Для меня женщина—все! Искусство и женщина—вотъ какъ я понимаю жизнь художника. Искусство и женщина... За мигъ наслажденья съ женщиной я готовъ чортъ знаетъ на что, я бросить пятьдесятъ тысячъ готовъ—вотъ какой я!

— Позвольте, да вѣдь у васъ нѣтъ ихъ, замѣтилъ Аверьевъ.

— Чего нѣтъ?

— Да пятидесяти-то тысячъ?

— Разуѣется, нѣтъ. Только это все равно.

— Ну, не все равно. Можетъ, если-бы у васъ онѣ были, вы бы ихъ не бросили.

— Бросилъ-бы! За улыбку, за взглядъ, за поцѣлуй кончика ножи бросилъ-бы! стукнулъ знаменитый художникъ по столу кулакомъ и сверкнулъ взглядомъ съ отчаянной рѣшимостью.—Я въ любви... титанъ! прибавилъ онъ неожиданно.

— Титанъ? изумленно спросилъ Скоробрывкинъ.

— Титанъ, повторилъ художникъ выразительно и повелъ тощими плечами, какъ-бы желая показать ихъ титаническую могучесть.— Если я люблю, такъ для меня нѣтъ препятствій—вотъ я каковъ

— Однако, если встрѣтятся?

— Въ пепель! воскликнулъ Бутербродовъ.

Скоробрывкинъ даже руками развелъ, услышавъ такое энергическое выраженіе.

— Какъ вы говорите? произнесъ онъ, видимо желая запомнить слово.

— Въ пепель, говорю.

— Это кого-же въ пепель?

— Кого-бы ни было. Кто препятствіемъ будетъ. Испепелю!

— Экой вы какой, Апельсесъ, огненный!..

— Я именно огненный! Это вы вѣрно сказали... Я для красоты... Да вотъ, хотите, я вамъ расскажу, какъ я въ Италіи любилъ... Вотъ вы тогда поймете, каковъ я въ страсти... Хотите рассказать?..

— Вы вѣдь намъ амуръ свой съ Марьей Алексѣевной сообщить намѣревались... Признаюсь, это меня больше вашихъ итальянскихъ похожденій интересуетъ...

— Нѣтъ, постойте, нѣтъ, вы не говорите такъ... Вы сначала послушайте, а потомъ и цѣните, интересно оно или нѣтъ... Вѣдь я въ вулканъ тамъ за туфлей любимой женщины лазилъ — въ кратеръ Везувія, да-съ!

— Батюшки, какіе ужасы! Какъ-же это такъ въ кратеръ Везувія за туфлей?

— Да, за туфлей... Я въ то время любилъ итальянскую марквизу... Божественная была женщина!.. То-есть, напримѣръ, глаза хоть-бы взять — молнія!.. А косы... Да нѣтъ, это рассказать нельзя... Вотъ приходите завтра въ мастерскую, я вамъ портретъ ея покажу: ахнете, какая красота... А жаръ страсти—это просто даже что-то такое неестественное, выходящее изъ всякихъ предѣловъ... Бывало цѣлуешь, цѣлуешь, да вдругъ золотой гребень изъ смоляныхъ волосъ вопъ, косы рассыплются. „Нѣтъ, говорить, я не могу этого больше, я въ другой разъ такого блаженства не выдержу, не перенесу, я должна тебя задушить“... И, можете себѣ представить, возьметъ косу, обовьетъ мнѣ вокругъ шеи (четыре раза огибалась, эдакая косища невѣроятная), и вотъ, кажется, смигни я тутъ одну секунду только, страхъ вырази—она-бы мнѣ такъ и затянула мертвую петлю. Сама послѣ это мнѣ говорила. Ну, да я, разумѣется, понималъ, въ чемъ штука... Бывало, самъ нарочно шею подставляю: души, моль, *mia carissima*, умремъ вмѣстѣ... Нѣтъ, эти итальянки доходятъ, я вамъ скажу, чортъ знаетъ до чего... до изступленія какого-то. до кровожадности... Тигрицы просто.

— Гмъ... тигрицы, да, подзадоривалъ Скоробрывинъ;—ну, такъ какъ-же вы, Аполлесь, за туфлей-то этой итальянской тигрицы въ кратеръ Везувія ниспускались? Повѣствуйте, повѣствуйте.

— А это вначалѣ еще было, когда я еще за ней только ухаживалъ. Можете представить, три мѣсяца хлопоталъ и такъ, и эдакъ — ничего! Только взглянетъ иногда эдакъ, бывало, обожжетъ, и опять какъ мраморная. Меня даже злость взяла. Никогда этого со мной не случалось: я обыкновенно больше трехъ, четырехъ подѣлъ за женщинами не ухаживаю: черезъ мѣсяць ни одна не выстаиваетъ—это ужъ у меня заведенный срокъ. А тутъ хоть

ты что! Томить она меня просто, вижу; но и себя тоже томить: пожелтѣла, похудѣла, мечется. Понимаю я, что у ней въ груди страсть во мнѣ клокочетъ, но отдаляетъ она, отдаляетъ блаженство изъ этого ихъ чертовскаго итальянскаго упрямства. У нихъ это бываетъ, у итальянокъ; вдругъ запретъ на себя напустить и такъ, я вамъ скажу, себя крѣпко иная выдерживаетъ, что зубами даже скрежещетъ, артишоки одни ѣсть, чтобъ натуру обуздать... Ну, за то потомъ какъ прорветъ ее — лава! Топить, жечь, не даетъ опомниться... Ахъ, Италия, Италия, страна пылкой любви и искуства!.. Выпьемте, господа, за Италию и ея женщинъ!

Художникъ порывисто протянулъ стаканъ къ Скоробринкину и Аверьеву. Рука его дрожала и онъ не сразу попалъ въ ихъ стаканы своимъ, желая чокнуться. Нижнія вѣки его глазъ, собранныя мѣшечками, какъ-то еще больше сложились въ складки и опустились. Брашенная роялька завернулась въ одну сторону. Отпивая вино, онъ выплеснулъ часть его на гофрированную сорочку. По всему было видно, что титаническая натура Бутербродова слегка подалась подъ дѣйствиемъ трехъ выпитыхъ имъ стакановъ и онъ уже не совсѣмъ владѣлъ окончечностями.

— Три мѣсяца, господа, она меня выдерживала — поймите, три мѣ-ся-ца, продолжалъ Бутербродовъ, снова откидываясь къ спинкѣ стула и принимая небрежно-живописную позу. — Наконецъ, разъ, — какъ теперь помню, это было 23 марта, — устроилась у насъ прогулка на Везувій.

— Кто-же сочинилъ такую прогулку, Апельсень, вы или ваша итальянская тигрица?

— Она, она сама... Ну-съ, вотъ пошли мы. Гуляемъ мы около самаго кратера, вдругъ мнѣ Анджіолина говорить, — ее Анджіолиной звали, — вдругъ она останавливается передо мною, сверкаетъ мнѣ въ самое лицо глазами и говорить: „Аполло, говорить, вы говорите, что меня любите?“ — Какъ божество. — „Вы для меня на все готовы?“ — На все! — „Посмотримъ“. Смотрю, сорвала туфлю съ ноги и прямо фюить! — въ кратерьъ. „Идите, говорить, доставайте!“ А сама брови сжала, точно стрѣлы онъ у ней надъ глазами, зубы оскалила, ногой притопываетъ и такъ и колыхается у ней грудь, бурей такъ и колыхается... Демонъ, красота, оболъчение — ну все, что хотите... Въ эту минуту не

только въ кратеръ, я-бы въ адъ самый пошелъ, прикажи она мнѣ достать оттуда булаву.

— Неужто-бы за булавкой въ адъ спускаться стали? засмѣялся Скоробръининъ.

— Я вамъ говорилъ—я человекъ порыва, я за мигъ наслажденія все отдать готовъ, я жизни не пожалѣю... чортъ съ ней совѣмь!.. За то женщины меня и любятъ, за то и льнутъ... Спросимте еще крушонъ, господа, выпьемте за женщинъ и за любовь!..

— Нѣтъ, ужъ будетъ, ужъ вы лучше, Апеллесъ, докончите, какъ въ кратеръ низвергались, а пить потомъ будемъ.

— Хорошо... Согласенъ... Ну, вотъ какъ мнѣ Анджіолина только эти слова произнесла—мигнуть не успѣла, а ужъ я туда, въ вулканъ... Какъ тамъ, что — ничего ужъ этого не помню... Слышу только раскаты, вижу—кипитъ лава, сѣрные испаренія и среди всего этого тупля!.. Ея тупля!.. Хватаю, выскакиваю обожженный, опаленный, склоняюсь, цапываю ей туплю, припадаю губами къ ножкѣ и теряю чувства... Черезъ пять минутъ очнулся, слышу шопотъ: „твоя“, ощущаю огонь поцѣлуевъ, сверху ультрамариновое небо, небо Рима, вокругъ шеи ея обьят...

Бутербродовъ не договорилъ послѣдняго слова и началъ икать.

Аверьеву надобло слушать вранье подвыпившаго художника и онъ обратился къ лакею, какъ-то особенно-внушительно спросилъ: „сколько?“ и принялся вынимать изъ кармана панталонъ обьемистый портмоне.

Бутербродовъ почему-то обидѣлся за это движеніе Аверьева и обратился къ нему, тараща глаза:

— Вы что-же, не хотите дослушать меня... вы мнѣ не вѣрите, можетъ быть, не вѣрите тому, что я рассказываю?.. Позвольте, вы не вѣрите? присталь онъ вдругъ, схвативъ за рукавъ адвоката и стараясь его притянуть къ себѣ.

— Отчего-же не вѣрить! усмѣхнулся Аверьевъ.

— Нѣтъ, вы, кажется, не вѣрите, возвышая голосъ, настаивалъ Бутербродовъ, — вы хотите мнѣ выразить, что я все вру... А я вамъ говорю, что я говорю...

Онъ запугался языкомъ и опять началъ икать.

— Да что вы, Апеллесъ, полноте, вступился Скоробръининъ, — кто вамъ не вѣрить? Мы всему вѣримъ.

— Нѣтъ, вы не вѣрите, что я туфлю изъ кратера досталъ... Хорошо, вы не вѣрите... Ну, а что вы скажете, если я вамъ эту самую туфлю завтра покажу, а? Она у меня подъ стекломъ хранится, какъ святыня... Хранится вмѣстѣ съ подвязками любившей меня фран-ицу... фран-цуу...

Икота прервала снова Бутербродова.

— Французской пантеры, которую вы побѣдили вслѣдъ за итальянской тигрицей? насмѣшливо подсказалъ Скоробрыкинъ.

— Вы угадали! воскликнулъ въ какомъ-то даже восторгѣ Бутербродовъ. — А онъ вотъ мнѣ не вѣритъ, указалъ онъ на Аверьева.

— Да нѣтъ, нѣтъ, успокойтесь, я вѣрю, расхохотался Аверьевъ.

— Вѣрите?.. Зачѣмъ-же вы уходите хотите, зачѣмъ? Выпьете еще крушончикъ... Выпьете, и я вамъ докажу... Стойте, вотъ идетъ Животино... Возьмите его въ свидѣтели, возьмите его въ судьи... Онъ славный человѣкъ... Животино! Подите сюда! крикнулъ онъ проходившему мимо брэнету съ восточной наружностью.

Брэнетъ оглянулся, не слѣша подошелъ къ нимъ и, медленно растягивая слова и оскаливая бѣлые зубы изъ-подъ усовъ, произнесъ:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте! почти вскричалъ Бутербродовъ;— вотъ у насъ споръ, разсудите.

Аверьевъ, неизвѣстный удовольствія знать г. Животино, съ нѣкоторымъ удивленіемъ посмотрѣлъ на него и всталъ, собираясь идти. Что касается Животино, тотъ, хотя тоже не зналъ Аверьева, не выразилъ никакого изумленія и обратился къ нему и къ Бутербродову.

— О чемъ-же споръ? спросилъ онъ совершенно спокойно.

— Я вотъ рассказывалъ, что я въ кратеръ Везувія съ одной итальянкой въ любви объяснялся... Могло это быть?

Г. Животино задумался на нѣсколько секундъ, какъ-бы соображая.

— Могло, сказалъ онъ, наконецъ, рѣшительно и увѣренно. — Мнѣ мичманъ Балансеровъ рассказывалъ, что онъ разъ на вершинѣ мачты женѣ лейтенанта въ любви объяснялся.

— Ну вот! весь сіяя улыбкой торжества, воскликнулъ Бутербродовъ,—а вы не вѣрите...

Онъ обратился въ сторону, гдѣ былъ Аверьевъ, но того уже не оказалось: воспользовавшись минутою раздумья г. Животино, адвокатъ незамѣтно ускользнулъ отъ почтенной компаніи.

— А, онъ ушелъ ужъ?.. воскликнулъ художникъ;—ну, чортъ... ну, все равно... Садитесь вы за него и давайте пить и говорить о женщинахъ... Человѣкъ, подай еще!..

Животино сѣлъ и обратился ех abrupto къ Скоробрыкинъ:

— А я сейчасъ Опарина встрѣтилъ.

— Ну? произнесъ Скоробрыкинъ.

— Онъ васъ ругаетъ.

„Фу, дуракъ какой откровенный этотъ восточный человѣкъ“, подумалъ про себя знаменитый писатель, и тоже собрался улізнуть.

— Нѣтъ, погодите, куда вы, куда? останавливалъ его Бутербродовъ;—вы за нимъ хотите, за этимъ адвокатомъ?.. Вы думаете, къ пей... къ Марьѣ Алексѣевнѣ... И онъ то-же думаетъ... Нѣтъ, шалите, не подѣждете... Я вамъ говорю... тутъ ужъ отдано все... Тутъ я... А гдѣ я, тамъ...

Но Скоробрыкинъ уже не слушалъ знаменитаго художника и удиралъ отъ него на своихъ длинныхъ ногахъ съ нервной поспѣшностью.

— Ну, пусть бѣжить, пусть его бѣжить, стараясь скорчить мѣфистофелевскую улыбку, говорилъ Бутербродовъ;—все равно... опоздалъ ужъ... Гдѣ Аполонъ Бутербродовъ около женщины, тамъ нѣтъ мѣста для другихъ, нѣтъ... Потому что Аполонъ Бутербродовъ за мигъ любви съ женщиной готовъ... Животино, отдадите вы жизнь за мигъ наслажденія съ женщиной, а?

Бутербродовъ схватилъ съ жаромъ руку своего собесѣдника и утавилъ на него разгорѣвшіеся глаза.

— Жизнь—нѣтъ, не дамъ.

VIII.

Весѣда насчетъ веселья.

Аверьевъ прошелъ въ большой залъ и остановился у входныхъ дверей: дальше идти было нельзя, такъ-какъ толпа, стѣ-

свившаяся за послѣднимъ рядомъ стульевъ, заграждала дорогу впередъ. На сценѣ любители играли какую-то новиннѣйшую пьесу. Аверьевъ попробоваль-было взглянуть, что играли, и прислушаться. У суфлерской будки стояла дѣвица или дама, въ бѣломъ съ розовыми лентами; рядомъ съ нею, очевидно, „первый любовникъ“, въ отлично вычищенныхъ сапогахъ и шикарныхъ панталонахъ соломеннаго цвѣта, какіе обыкновенно надѣваютъ александринскіе артисты, желающіе изобразить кавалера „хорошаго общества“. Дѣвица стояла въ условной позѣ „инженю“: опустивъ одну руку съ платочкомъ на животъ, а другою поправляя бантикъ на груди; при этомъ она потупляла взоры и дѣлала ротъ сердечкомъ, слегка свашивая его въ сторону. „Первый любовникъ“ трогаль правой рукой то цѣпочку на жилетѣ, то стоячіе воротнички сорочки, а лѣвой держаль за кончикъ поля цилиндра, игриво имъ помахиваль, повертываль и патетически говорилъ, опустивъ углы рта внизъ à la Нильскій:

— Юлія Николаевна! Наконецъ мы одни!.. Я ждалъ этой минуты два мѣсяца...

Аверьевъ не сталъ дальше смотрѣть и слушать; онъ перевелъ взглядъ и вниманіе на публику, отыскивая Марью Алексѣвну, и скоро замѣтилъ ее: она сидѣла въ первомъ ряду съ Лухмановымъ, очень пристально смотря на сцену, и позѣвывала. „Пробратъ развѣ къ ней?“ подумаль Аверьевъ. Но рядомъ пустого кресла не оказывалось, да и пройти сквозъ толпу зрителей было невозможно. Аверьевъ отвернулся отъ сцены и пошелъ въ маленькую залу, смежную съ большою. Тутъ стоялъ столъ, на которомъ были разбросаны альбомы съ фотографіями и нѣсколько иллюстрированныхъ изданій въ такъ-называемыхъ „роскошныхъ“, но до-нельзя истасканныхъ переплетахъ. Аверьевъ сѣлъ у стола и принялся что-то разглядывать. Кто-то подошелъ къ его стулу и гнусливымъ голоскомъ, съ польскимъ акцентомъ, произнесъ:

— Мое почтенье, Дмитрій Петровичъ, весьма счастливъ, что васъ вижу-сь...

Аверьевъ поднялъ глаза; передъ нимъ, сладко улыбаясь и протягивая руку, стоялъ нѣкто Адамъ Антоновичъ Загржебровичъ, ходатай по дѣламъ, бывшій недавно присяжнымъ повѣреннымъ. Аверьевъ очень мало зналъ этого господина и его привѣтствіе показалось блестящему адвокату даже нѣсколько дерзкимъ. Аверь-

евъ нехотя протянулъ кончики пальцевъ Загржембовичу, сжалъ надменно губы и снова наклонился надъ альбомомъ, который разсматривалъ.

— Очень счастливъ, что васъ встрѣтилъ, повторилъ еще слаще Загржембовичъ, какъ-бы не принявъ пренебрежительной гримасы Аверьева;—очень счастливъ... Я желалъ васъ очень видѣть, Дмитрій Петровичъ, и хотѣлъ самъ-съ быть къ вамъ.

— Ко мнѣ? съ самымъ обиднымъ недоумѣніемъ взглянулъ на Загржембовича Аверьевъ.

— Да-съ... по дѣлу-съ... Дѣльце-съ есть...

— У васъ? ко мнѣ дѣло? съ еще большимъ пренебреженіемъ переспросилъ адвокатъ.

— Точно такъ-съ... Ежели позволите... я-бы попросилъ назначить-съ мнѣ денекъ, когда могу обезпечить васъ... посѣтить...

— Да какое у васъ можетъ быть ко мнѣ дѣло, я не понимаю? почти грубо отвѣтилъ Аверьевъ, привставъ и забирая шляпу со стола съ явнымъ намѣреніемъ отойти поскорѣй отъ собесѣдника.

— Если-бы вы подарили двѣ минутки мнѣ-съ, теперь-съ, я-бы сейчасъ объяснилъ-съ. Дѣльце недолгое-съ, простое... Насчетъ одного векселька-съ...

— Какого векселька?

— А вотъ-съ неудобно-ли вамъ выслушать-съ минуточку одну... извините, что я васъ тутъ среди веселья, такъ-сказать, безпокою.

— Да ну, ну, говорите... Отойдите только вонъ туда, подалее...

— Съ удовольствіемъ-съ... Очень вамъ благодаренъ... съ удовольствіемъ-съ.

Они отошли въ уголъ залы.

— Извольте видѣть-съ, Дмитрій Петровичъ, къ вамъ на дняхъ обратится г. Балкашинъ съ предложеніемъ...

— Какой Балкашинъ? Я не знаю никакого Балкашина, перебилъ Аверьевъ.

— Это ничего-съ... Онъ о васъ имѣетъ свѣденіе, г. Балкашинъ, и обратится-съ... съ предложеніемъ, чтобы вы, то-есть, взяли-съ на себя дѣло... Выскать по вексельку-съ въ тридцать тысячъ...

— Позвольте, вы-же почему объ этомъ знаете?

— Ужь мнѣ извѣстно-сь. Будьте покойни-сь, я не на вѣтеръ говорю-сь. Такъ вотъ-сь г. Балкашинъ желаетъ взискать по вексельку-сь, данному ему г. Лухмановымъ.

— Лухмановымъ? быстро и уже съ большими вниманіемъ спросилъ Аверьевъ.—Какимъ Лухмановымъ?

— Не Афонасьемъ Степановичемъ,—я видѣлъ давеча васъ съ нимъ-сь и съ Марьей Алексѣвной ихъ-сь,—не Афонасьемъ Степановичемъ-сь, а сынкомъ ихъ Николаемъ Афонасьевичемъ.

— Развѣ у него есть сынъ, у Лухманова?

— Какъ-же-сь... Неужели вы не извѣстны объ этомъ?.. Николай Афонасьевичъ... Никсъ его у нихъ тамъ въ кругу зовуть-сь... Больше такъ онъ извѣстенъ-сь.

— Въ какомъ кругу? Онъ что-же такое, этотъ Никсъ?

— Онъ по дипломатической части-сь... Больше кутить-сь... да играетъ-сь... Молодой человекъ, натурально...

— Гмъ! Такъ вы говорите, что ко мнѣ кредиторъ, что-ли, какой-то этого Лухманова обратиться долженъ?

— Да-сь, одинъ-сь изъ кредиторовъ, г. Балкашинъ-сь... У него вексель-сь въ тридцать тысячъ на Николая Афонасьевича.

— Ну, и что-ждѣ?

— Такъ вотъ-сь я по этому дѣльцу хотѣлъ-бы съ вами-сь переговорить-сь. Маленькое вамъ, то-есть, одно предложеніе съ своей стороны сдѣлать-сь...

— Предложеніе? Какое-же предложеніе?

— Вотъ извольте видѣть-сь... Только не знаю, какъ вы примете-сь... Можетъ, вамъ оно покажется, такъ-сказать, щекотливо все это и неподходяще...

Загржемовичъ замаялся.

— Да что такое?.. Объясняйте, пожалуйста, безъ обиняковъ, на-чисто, нетерпѣливо поощрилъ Аверьевъ.

— Конечно... Очень благодаренъ вамъ, Дмитрій Петровичъ. Мы люди дѣловые, на-чисто говорить намъ лучше-сь... Дѣльце, извольте видѣть, вотъ какого рода...

И Загржемовичъ началъ объяснять на-чисто. Сущность его объясненій заключалась вотъ въ чемъ: Загржемовичъ желалъ приобрѣсти въ свои руки вексель Лухманова, взисканіе по которому Балкашинъ, по увѣренію ходатая, желаетъ поручить и поручить Аверьеву. Съ должника Балкашина по векселю ни въ

данное время, ни въ ближайшемъ будущемъ получить нѣтъ никакой возможности, такъ-какъ онъ кромѣ долговъ ничего не имѣетъ, отецъ за него платить отказался, да и средства отца Лухманова тоже сомнительны сильно и разстроены. Стало быть, г. Балкашинъ и его довѣритель въ этомъ дѣлѣ потерпятъ только напрасное безпокойство, и все, что можно тутъ сдѣлать,—это посадить должника въ „тарасовку“, изъ чего, конечно, толку не произойдетъ все-таки никакого. Между тѣмъ Загржембовичъ готовъ приобрести вексель по столько-то за рубль, потому что у него уже скуплены и прочіе векселя Лухманова-сына и ему, Загржембовичу, это будетъ „кстати“. Все это онъ, Загржембовичъ, объяснялъ самому Балкашину, но тотъ „не далъ ему вѣры-съ“ и намѣренъ обратиться въ этомъ дѣлѣ къ Аверьеву за совѣтомъ. Такъ вотъ не дастъ-ли Аверьевъ Балкашину совѣтъ въ такомъ именно родѣ, что вексель необходимо продать Загржембовичу, какъ безнадежный: это будетъ, во-первыхъ, выгодно для довѣрителя Аверьева, а во-вторыхъ, и для послѣдняго, ибо онъ, Загржембовичъ, разумѣется, готовъ вручить съ своей стороны адвокату извѣстный процентъ за это дѣльце.

Аверьевъ выслушалъ это предложеніе ходатая, не пошевельнувъ бровью, и только началъ его довольно упорно допрашивать, ради чего онъ жаждетъ приобрести вексель Никса, который самъ-же считаетъ безнадежнымъ; но тотъ объяснилъ, что у него на это свои причины, что у него „особый планъ-съ“. Въ концѣ-концовъ Аверьевъ выразилъ согласіе, по поступленіи къ нему этого „дѣльца“ и по собраніи надлежащихъ справокъ, „поговорить“ о предложеніи Загржембовича и объяснилъ ему, въ какіе часы дня его можно видѣть. При этомъ онъ сдѣлалъ ходатаю нѣсколько вопросовъ насчетъ Афонасія Степановича Лухманова и получилъ нѣкоторые свѣденія о лошадеобразномъ старцѣ и даже о Марьѣ Алексѣевнѣ. Во время бесѣды адвокатъ обращался съ ходатаемъ уже далеко не такъ надменно и презрительно, какъ въ началѣ.

Пока они говорили, спектакль кончился и публика шумно повалила въ столовую, въ буфетъ, въ гостинныя. Прислуга съ громомъ убирала стулья, очищая залъ для танцевъ. Аверьевъ успѣшилъ ускользнуть отъ Загржембовича и почти побѣжалъ, замѣтивъ въ толпѣ Марью Алексѣевну и Лухманова. Онъ нагналъ ихъ почти на лѣстницѣ.

— Какъ, вы уже уѣзжаете? спросилъ онъ торопливо Марью Алексѣвну.

— А что-же здѣсь болѣе дѣлать? Ужинать нельзя, Богъ знаетъ, что дадутъ... А спать негдѣ... неудобно.

— А танцевать? сказалъ Аверьевъ.

— Нѣтъ, я ужь стара для танцевъ, лѣниво усмѣхнулась она, закутываясь въ бархатную ротонду съ собольей опушкой; — ужь это вамъ, молодымъ...

Она зѣвнула самымъ нецеремоннымъ образомъ.

— До свиданія, мсье Аверьевъ. Завтра увидимся въ мастерской мсье Бутербродова? Надѣюсь, вы будете? Приходите.

И она бросила ему одинъ изъ своихъ вызывающихъ взглядовъ и, покосившись на Лухманова, который въ это время отвернулся и говорилъ что-то швейцару, граціозно протянула руку почти къ самымъ губамъ Аверьева, мгновенно отняла ее назадъ и быстро пошла впередъ съ лувавымъ, подавленнымъ смѣхомъ.

„Кокетка, самодовольно тронувъ усы, подумалъ Аверьевъ, смотря ей вслѣдъ; — ну, да мы посмотримъ, кто кого...“

Когда онъ вернулся въ залъ, тамъ уже танцовали. Кадриль былъ въ полномъ разгарѣ. Пары носились, скрещивались, кружились, отступали и подступали другъ къ другу. Тошій съ лица, но тѣмъ не менѣе съ брюшкомъ, уже начинавшимъ округляться, отставной поручикъ-писатель, прозванный „историкомъ насчетъ клубнички“, выступалъ въ парѣ съ какой-то недурной, хотя и чернозубой купеческой дочкой, и такъ отчетливо отчеканивалъ на ногахъ, какъ-будто на его сапогахъ были шпоры. Брюнетъ съ шершавою бородой, замасленной шеей и съ рябоватымъ лицомъ рѣзкаго еврейскаго типа, управлялъ танцами и кричалъ во все горло сквернымъ жидовскимъ выговоромъ: „рондъ де дамъ“, „рондъ де кавалье“. Бѣлобрысый теноръ съ бровями, поднятыми кверху, и усами, обдернутыми внизъ, выдѣлывалъ ногами какіе-то неестественные выкрутасы: видно было, что онъ уже нагруженъ порядочно. Толстая, молодая опереточная актриса не танцевала, а просто плыла, выставляя впередъ круглую и пышную грудь, которая, казалось, вотъ-вотъ сейчасъ вывернется изъ корсажа. Краснощекій, съ огромною сѣрою бородой толстякъ, совершенно фальстафовскаго склада, стоя въ числѣ зрителей, притопывалъ широкими каблуками въ тактъ музыкантамъ. Скрипки

немилосердно нидили, все больше и больше ускоряя темпъ. Потныя лица танцующихъ паръ разгорались и ноги работали съ усиленнымъ оживленіемъ. Волосы женщинъ распускались и шиньоны встрахивались. Глаза иногда всплхивали и нижнія вѣки вытгивались улыбкой увлеченія, кривившей ротъ. Съ полу летѣла пыль, взметаемая шлейфами. Общій гулъ разносился все сильнѣе и шире; и сквозь этотъ гулъ раздавался жидовскій басъ брюнета съ всклокоченной и сбитой, точно войлокъ, бородой: „Гранъ ромбъ!“ „Дамъ шанже ле кавалье!“

— Ну, пошла писать провинція! замѣтилъ кто-то громко въ толпѣ и началъ икать на весь залъ.

IX.

Отецъ и дочь.

Афонасій Степановичъ Лухмановъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ. Онъ былъ въ очень дурномъ расположеніи духа. Послѣ вчерашняго посѣщенія клуба старецъ чувствовалъ себя нѣсколько разломаннымъ. Время отъ времени онъ какъ-то конвульсивно пожевывалъ губами и раздражался.

— Капризы, капризы все глупше... мелькало въ головѣ старца.—Вчера Богъ знаетъ зачѣмъ въ клубъ потащила... Сегодня эту картину смотрѣть... Чего ее смотрѣть-то: мазня тамъ какал-нибудь... И адвоката этого опять... франта звала... Все капризы... капризы... Нервы эти женскіе, эхъ, эхъ, э-эхъ!

Онъ вздохнулъ и усиленно зажевалъ губами. Онъ чувствовалъ какое-то непріятное ощущеніе въ небѣ и въ спинѣ у него ныло и будто стягивало у пояса.

— Осторожнѣе надо быть, охъ, осторожнѣе въ мои годы... Ижіена необходима, строгая ижіена... А я вотъ не соблюдаю, не берегусь... Ну, вотъ оно и того... поясница-то... и даетъ себя знать... Тутъ и отъ однихъ дѣлъ-то корючить, а если еще подбавить маленько эдакъ... Ну, оно и черезъ силу ужъ, и не въ мочь, и черезъ силу... Ну, да что будешь дѣлать...

Онъ опять почавкалъ и какъ-то совсѣмъ, словно мѣшокъ, опустился въ широкое креслѣ и погрузился въ мечты. Ротъ его непроизвольно кривился улыбкою, нижняя челюсть упала внизъ,

какъ у мертвѣго, въ углахъ губъ показывалась слюна, на глаза спустились верхнія вѣки и онъ не могъ ихъ поднять, хотя и дѣлалъ порою усилія.

Такъ просидѣлъ онъ съ полчаса, — можетъ быть, просидѣлъ-бы и больше, если-бы не вошелъ камердинеръ съ письмами и телеграммами. Лухмановъ встряхнулся, сѣлъ къ столу, бивнулъ головою камердинеру, что онъ можетъ уходить, распечаталъ немного дрожавшими руками телеграммы, пробѣжалъ ихъ, посмотрѣлъ на конверты писемъ, отложилъ ихъ въ сторону и принялся шарить по столу, ища очковъ и не находя ихъ. Въ этихъ поискахъ онъ наткнулся на какую-то книгу, зарывшуюся подъ бумагами, вдругъ схватилъ ее, повернулъ съ явно-раздраженнымъ видомъ въ рукахъ и схватилъ колокольчикъ.

— Ага-га, хорошо вотъ вспомнилъ, а то запамятовалъ-было, забылъ вчера. Надо Варѣ внушить объ этомъ, надо хорошенько внушить, шепталъ онъ, потрясая раздражительно желтовато-бѣлою рукою колокольчикъ.

— Варвару Афонасьевну попросить сюда, брызгливо проговорилъ Лухмановъ вошедшему на звонъ лакею и потомъ, сдѣлавъ нетерпѣливое движеніе рукою, почти закричалъ: — Погоди, стой: письма отнести къ Александру Александровичу, чтобы къ вечеру отвѣты заготовилъ, — понялъ?

— Слушаю-съ.

— Ну, Варвару Афонасьевну попроси.

Онъ сердито развернулъ книгу и началъ отыскивать въ ней страницы, хмуря брови и судорожно передергивая желтыми складками опустившихся щекъ.

— Вотъ, вотъ она, ворчалъ онъ, отыскавъ страницу и бросая развернутую книгу на столъ, — вотъ статейка... Удивляюсь, право, Ираклію... Намедни, въ аглицкомъ встрѣтились, говорятъ: „теперь, братъ, прошла пора послабленій...“ А это-же что такое? Вотъ не угодно-ли посмотрѣть, что тутъ пишутъ...

Старецъ закипалъ и былъ доволенъ: это кипѣніе давало ему благовидный предлогъ отвлечься отъ дѣлъ, занятіе которыми ему было всегда тяжело и причиняло неудовольствіе.

Дверь открылась и въ комнату вошла молодая дѣвушка, въ мягкомъ сѣромъ утреннемъ платьѣ, очень стройная, съ блѣднымъ, красивымъ лицомъ, медленными и тихими движеніями и необык-

новенно-изящными руками, которыя она держала какъ-то по-мужски, то скрещивая ихъ на груди, то опуская въ карманы блузы.

— Здравствуй, папа, проговорила она, подходя къ отцу и цѣлуя его.—Ты меня спрашивалъ?

— Да, спрашивалъ, недовольнымъ тономъ отвѣтилъ Лухмановъ,—спрашивалъ.

Онъ помолчалъ, важно пожевалъ губами, очевидно придумывая, какъ-бы посерьезнѣе начать „внушеніе“.

— Скажи пожалуйста, отъ кого, откуда у тебя это? строго промолвилъ онъ, ткнувъ презрительно пальцемъ въ книгу.

— Этотъ журналъ? спокойно спросила дочь.

— Да, эта книжонка. Откуда ты берешь такія книги?

— Я абонирована въ библіотекѣ N, ты знаешь...

— Ну, я-бы не совѣтовалъ тебѣ брать и читать эти журналы, журналы этого сорта.

— Отчего-же, папа?

— Оттого, что это чтеніе вовсе не для молодыхъ дѣвушекъ. Это книги вредныя.

— Чѣмъ-же, папа, я не понимаю?

— Ты не понимаешь?.. И хорошо, что ты еще не понимаешь... Но я, отецъ твой, отлично понимаю. Тѣмъ, сударыня, вредны, что онѣ... посѣваютъ въ молодыхъ умахъ мысли о развратѣ и неповиновеніи — вотъ чѣмъ.

Лухмановъ произнесъ послѣднюю фразу съ какимъ-то особеннымъ апломбомъ; такъ, вѣроятно, онъ говорилъ съ своими подчиненными.

— Я не знаю, гдѣ ты тутъ нашель такія мысли... Я не замѣтила ихъ ни въ одной статьѣ.

— Ты не замѣтила, ты не замѣтила... Что-жъ изъ этого, что ты не замѣтила? Ты и не должна замѣтить. Но твой отецъ за тебя замѣтилъ и говорить, что это чтеніе вредно... Твое дѣло слушать отца и больше ничего.

— Я готова слушать, папа... Но я хотѣла-бы, чтобы мнѣ объяснили...

— „Я хотѣла-бы, чтобы мнѣ объяснили!“ раздражительно передразнилъ Афонасій Степановичъ;—ну, вотъ оно, вотъ! Вотъ прекрасные плоды этого чтенія: отецъ говорить дочери: совѣтую

тебѣ остерегаться зла, а дочь отцу: я хотѣла-бы, чтобы мнѣ прежде объяснили... Превосходно!..

Лухмановъ сдѣлалъ порывистое движеніе въ креслѣ назадъ отъ стола, въ негодованіи повелъ плечами и ударилъ заднюю часть правой руки по ладони лѣвой.

— Что-жъ тутъ дурного, папа? Я прошу тебя сказать, какія ты тутъ мысли считаешь нехорошими, гдѣ ты ихъ нашелъ въ книгѣ?

Лухмановъ окончательно вскипятился.

— Я не только тебѣ, дѣвчонкѣ молодой, а лицамъ выше меня поставленнымъ дамъ объясненія, когда самъ того пожелаю... А требовать отъ меня объясненій не можетъ никто, кромѣ развѣ... кромѣ...

Онъ раскашлялся и не могъ докончить.

— Но, папа, на что ты сердисься, я не понимаю. Я прошу у тебя объяснить, какъ дочь...

— Какое, а? сквозь кашель подхватилъ старецъ, — она меня учить! Яйца — курицу! Дожилъ! По матери пошла: та, бывало, что слово, то напротивъ... Стриженое — бритое! Стриженое — нѣтъ, бритое!.. Ну, и дошла до хорошаго...

— Зачѣмъ-же, папа, ты оскробляешь шаманъ?.. Я лучше уйду... Ты знаешь...

— Я знаю, сударыня, я все знаю и все вижу! Я знаю, что вы день ото дня все больше выходите изъ повиновенія отцу... Я вижу, откуда вы всего этого проклятаго духа набираетесь! Вотъ откуда — вотъ изъ эдакихъ статейекъ: „О вліяніи семьи на...“ на чортъ тамъ знаетъ что такое...

Онъ сердито рванулъ книгу со стола и бросилъ ее на полъ.

— Ахъ, такъ это тебя Ахова статья разсердила! простоудушно замѣтила молодая дѣвушка, поднимая книгу и невольно улыбаясь.

— Ахова тамъ, Прахова, Сирахова — почему я знаю, кого... Мнѣ это все равно, какими прохвостомъ сочинено это... Я понимаю одно только: что прохвостье тутъ заражаетъ неопытные умы проповѣдью самаго предосудительнаго разврата и презрѣнія къ семейной нравственности — вотъ что я тутъ понимаю!

— Ты ошибаешься, папа; въ этой статьѣ нѣтъ этого... Тамъ только говорится, что семья...

— Ну, это, однакожь, ужь изъ границъ выходить, это ужь Богъ знаетъ что такое! Неужели ты думаешь, что я въ разсужденія съ тобой пушусь?!. Откуда ты набралась манеры этой, Варвара? Этого въ тебѣ прежде не было, нѣтъ... Я тебѣ серьезно говорю, какъ отецъ: брось ты это все, эту дрянь, книги эти поганны... Ужь тебя это до добра не доведеть... Безъ всякихъ тебѣ философій говорю: я тебѣ запрещаю читать подобныя книги! Вотъ что! Запрещаю! Ты молода, ты не понимаешь, что тутъ ядъ безнравственности; а я твой отецъ и моя обязанность отнять у тебя этотъ ядъ. Слышишь—обязанность! Поэтому безъ всякихъ вздорныхъ разсужденій я требую, чтобы ты оставила такое чтеніе.

— Папа, ты знаешь, я всегда готова исполнять разумныя требованія...

Лухмановъ вдругъ привскочилъ съ своего мѣста.

— Разумныя требованія! закричалъ онъ, даже побагровѣвъ весь;—что-жь, по-твоему, это мое требованіе безумное, что-ли? Что-жь, я дуракъ, сумасшедшій? Я, твой отецъ? Сумасшедшій, а?

Х.

Никсъ.

— Ба, ба, ба, что за баталія? раздался вдругъ голосъ сзади разгоряченнаго родителя и затѣмъ передъ нимъ предсталъ Никсъ, его любимое дѣтище. Лухмановъ не успѣлъ еще поперхнуться отъ внезапнаго перерыва его рѣчи, какъ юный Никсъ съ размаха шлепнулся на софу, вытянулъ тонкія ноги искомъ, сдвинулъ ихъ опять, стукнувъ ловко каблучками, вскинулъ монобль въ глазъ и затѣмъ принялся чистить ногти одной руки ногтями другой. При этомъ онъ успѣлъ два раза зѣвнуть, потянуться и затѣмъ лѣниво пропустилъ севозъ зубы:

— По какому поводу сраженіе?

— Ты ужасный болванъ, Никсъ, замѣтилъ утихнувшій родитель, опускаясь въ кресло.

— Quel mot, papa! За какія такія провинности?

— Влетаешь, точно тебя изъ пушки вышибло...

— Bourde! отозвался лаконически Никсъ и затѣмъ, обратившись къ сестрѣ, будто его отца не было здѣсь, прибавилъ:

— За что это, Barbe, вы съ родителемъ спшиблись?

Сестра ничего не отвѣтила на этотъ вопросъ.

— „L'amour que c'est que ça“, говоркомъ запѣлъ Никсъ. — Брось мнѣ, папа, сигару пожалуйста, отъ тебя близко... Мнѣ встать лѣнь. Тяжелъ становлюсь—лѣта!

Онъ комически вздохнулъ. Афонасій Степановичъ насупился, но, однакожъ, протянувъ руку, взялъ со стола сигару и передалъ ее сыну.

— Да, лѣта, заговорилъ Никсъ, обрѣзывая конецъ сигары золотой гильотинкой, болтавшей у него въ видѣ брелока. — Ну, и потомъ страсти... „Душу страсти растерзали“... Особенно вчера: до четырехъ у Гандошь. Я, Боря Герценштейнъ, Толмазовъ, Федя Нейгардтъ, ну и тамъ... словомъ, наши... Всѣ подъ легкимъ дрейфомъ: большого пьянства не терплю. Превесело! Кстати, папа: Федя Нейгардтъ къ тебѣ заѣхавъ общалъ надняхъ. Какое-то дѣло тамъ, что-ли, у него: онъ всегда въ дѣлахъ... Ахъ, а вчера онъ былъ уморителень... Что съ нимъ Гандошь продѣлывала—это очарованіе просто! Представь...

— Послушай, Никсъ, перебилъ Лухмановъ, указывая движеніемъ бровей на дочь.

— Что?! Ты Barbe стѣсняешься? Пустяки. Наконецъ, надо же ей знать, какъ ведетъ себя Федя, такъ-какъ онъ мѣтитъ въ ея будущіе благовѣрныя...

— Да оставь-же болтать вздоръ, нетерпѣливо вскрикнулъ Афонасій Степановичъ.

— Ну, ладно, ладно, папа... Только не вскрикивай ты, ради Бога: твой голосъ ужасень... Ça me donne sur les nerfs.

— Разстраивай себя больше кутежами, такъ еще не такъ нервы испортишь.

— Кутежами?! Ха, ха, ха... Ахъ, папа, ты смѣшонъ, мой другъ: какіе теперь кутежи могутъ быть у насъ, порядочныхъ молодыхъ людей? Благодаря этому прогрессу, у всѣхъ у насъ— „хочешь любишь, хочешь нѣтъ, ни копейки денегъ нѣтъ“... Какъ говорятъ поз bons villageois: одна въ кармавѣ, другая на арканѣ...

— Послушай, откуда ты такихъ выраженій набираешься?

— По кабакамъ, папа, аих cabarets, съ неподражаемымъ простодушіемъ брявнулъ Никсъ.

— По какимъ кабакамъ? не безъ изумленія спросилъ Афонасій Степановичъ.

— Оці. Мы въ кабаки ходимъ: наше „общество тринадцати“... Я тебѣ говорилъ, Вагбе, у насъ составилось, какъ, помнишь, у Бальзака это есть, „les treize“. Говорилъ вѣдь, а?

— Нѣтъ, не говорилъ.

— Какже, какже... Мы чортъ знаетъ что дѣлаемъ... Но, конечно, безъ особенныхъ скандаловъ; мы оставляемъ ихъ pour la sapaille... Однако, посѣщаемъ кабаки, а иногда и того хуже...

— Да замолчишь-ли ты, Никсъ? стукнулъ объ столъ рукой Лухмановъ.

— Ахъ, папа, что это ты невинность разыгрываешь?.. Все для сестры? Какъ это глупо! Молодой дѣвушка нельзя всею знать? Вотъ предрасудокъ! Не правда-ли, Вагбе?

— Я могу уйти, я думаю, папа, обратилась Варвара Афонасьевна къ отцу.

— Куда? всполохнулся вдругъ Никсъ; — это ты отъ моихъ разговоровъ бѣжишь? Постой, Вагбе... Что-же ты мнѣ не сказала, за что вы ссорились? За что это ты бранилъ ее, папа?

— За то, за что тебя вдвое надо: за неуваженіе къ отцу.

— Какая гиль! Это допотопный режимъ требовалъ тамъ всякихъ почтеній и уваженій. Теперь nous avons changé tout cela. Ты знаешь: дѣти и родители равны. Разница та только, что родители насъ родили, а не мы ихъ. Но вѣдь и мы можемъ, въ свою очередь, родить. Гандошь на этотъ счетъ прекрасно поетъ: L'amour que c'est que ça... Ахъ, право, это очаровательно, папа, когда она бержерку изображаетъ... Вотъ женщина! Это пикантность съ ногъ до головы... Тебѣ надо быть у нея, папа... А то ты съ своей прекрасной Марьей Алексѣвной закись совсѣмъ... Ты вкусъ потерялъ... А Гандошь... Вагбе, куда-же ты? Я хотѣлъ тебѣ рассказать...

Но Варвара Афонасьевна, не слушая очаровательнаго брата, вышла изъ кабинета, а Афонасій Степановичъ съ трескомъ повернулся въ креслѣ.

— Ты просто негодай, Никсъ! прошепталъ объ, весь передер-

живаясь;—я бы долженъ былъ прогнать тебя за твое поведеніе и за твои слова...

— Какъ прогнать, старикъ? А я у тебя денегъ пришелъ просить. До зарѣзу, папа, нужны. Какъ другу говорю. Въ ту недѣлю я спустил все и теперь... Какъ это тамъ говорится по-русски: голь... голь... ахъ, да, вотъ: раувге сомме un gat d'église. Какъ тебѣ это кажется?

— Мнѣ ничего не кажется. Мнѣ кажется только, что тебѣ пора перестать быть негодяемъ.

— Ты находишь?

— Пора бросить распутничать, пора исправиться: тебѣ вѣдь ужъ двадцать третій...

— Ахъ, да, да, совсѣмъ старъ становлюсь... Лѣта... Представь, папа, годика черезъ два, черезъ три я ужъ не буду нигуда годиться... Отецъ Никса въ состояніи подарить Никса братомъ, хоть отъ прелестной Марьи Алексѣевны, и Никсъ не будетъ имѣть никакой возможности дать отцу своему внука, être susceptible de la progéniture, ха, ха, ха!

Афонасій Степановичъ не нашелъ даже словъ на эту остроумную выходку своего дѣтища: онъ только тряхнулъ плечами и отвернулся отъ Никса. Воцарилось молчаніе. Никсъ безопасно курилъ сигару и поигрывалъ моноклемъ; минутъ пять спустя, онъ бросилъ моноклъ и пожалъ въ карманѣ пружинку часовъ; часы прорепетировали.

— Ого! пора на службу отечеству, лѣниво протянулъ Никсъ. — Дай-же мнѣ, папа, денегъ.

Афонасій Степановичъ сурово молчалъ.

— Ба, да ты никакъ совсѣмъ разсердился? Ну, какъ глупо! Будто ты не знаешь Никса?.. Что тебя обидѣло?

— Сколько тебѣ нужно? строго сказалъ Лухмановъ, не обращая вниманія на вопросы сына и порывисто отпирая бюро.

— Чѣмъ больше, тѣмъ лучше: ты знаешь, это мой девизъ, не поднимаясь съ софы, проговорилъ Никсъ.

— На!

Лухмановъ съ досадою бросилъ ему пачку асигнацій. Никсъ приподнялся, заложилъ ногу на ногу и съ медленной внимательностью, точно кассиръ, сталъ пересчитывать асигнаціи, расправляя ихъ на колѣняхъ.

— Мало, папа, сказалъ онъ съ гримасой, окончивъ счетъ.

— Пошелъ, негодяй, мрачно отвѣтилъ Афонасій Степановичъ.

— Ахъ, папа, ты ужасно грубъ становишься. И ворчунъ тоже. Остерегайся: это старость... Ахъ, старость не радость... Кстати: что твоя Марья Алексѣевна? какъ процвѣтаетъ?

— Да убирайся-же, наконецъ! Ты, кажется, хочешь меня вывести изъ всякаго терпѣнія...

— Ну, ну, не кричи, уйду... „Часъ пришелъ и намъ разстаться, можетъ быть, и навсегда“...

И прочтѣвъ эту фразу, Никсъ сдѣлалъ подъ козырекъ, повернулся на каблучкахъ и выбѣжалъ вонъ тѣми легкими прыжками, какими обыкновенно убѣгаютъ со сцены комики александринаскаго театра въ водевиляхъ.

Афонасій Степановичъ хмуро посмотрѣлъ ему вслѣдъ и проговорилъ сквозь зубы: „шалопай“. Тѣмъ не менѣе, однакожь, это восклицаніе не было выраженіемъ серьезнаго недовольства милымъ дѣтищемъ и его манерами: родитель находилъ въ сущности, что Никсъ хотя и вѣтренный, но привлекательный юноша. Онъ очень любилъ Никса и ему нравилось въ сынѣ все, даже наглое хвастовство распутствомъ и фактическое прилежаніе къ оному. Афонасій Степановичъ не находилъ предосудительнымъ, что Никсъ позволяетъ себѣ третировать его самого en sa paille: почтенному старцу эта черта казалась только чертою легкомысленнаго юношескаго добродушія, не болѣе.

XI.

Аховъ идетъ въ редакцію журнала „Либеральный Комаръ“.

На слѣдующее утро послѣ визита Аверьеву Аховъ отправился въ редакцію журнала „Либеральный Комаръ“, гдѣ былъ недавно напечатанъ рассказъ его изъ провинціальной жизни. Ахову слѣдовало получить за этотъ рассказъ гонораръ. Такъ-какъ у него послѣ дорожныхъ расходовъ осталось всего рубль съ копейками и кромѣ ожидаемаго гонорара никакихъ другихъ шансовъ на получку не было, то Аховъ и спѣшилъ навѣдаться въ редакцію, поневолѣ не откладывая дѣла въ долгій ящикъ.

На пути въ редакцію съ Аховымъ случилось маленькое обстоятельство, неожиданно похитившее у него тотъ рубль съ копейками, о которомъ сейчасъ было упомянуто. Пробираясь въ Невскому по Садовой, Аховъ среди разнообразной толпы прохожихъ замѣтилъ мальчугана лѣтъ шести, который тащилъ на себѣ хомутъ, продѣвъ въ него голову. Морозило презрѣдно, а мальчуганъ былъ одѣтъ совсѣмъ не по сезону. На плечахъ у него была надѣта какая-то ситцевая темная съ красными крапинками куцавейка, изъ которой мѣстами глядѣла вата. Куцавейка подпоясывалась разорваннымъ шерстянымъ платкомъ, обернутымъ около шеи и плечъ и связаннымъ концами на спинѣ. Широчайшій, очевидно съ отцовской головы, картузь спускался на уши и на затылокъ, чуть не до самой шеи, прыгалъ на головѣ мальчугана, и онъ, поднимая ручки съ свѣшивавшимися длинными рукавами куцавейки, безпрестанно поправлялъ его. На ногахъ мальчугана были шерстяные грязные чулки и стоптанные опорки. Опорки эти именно и обратили особенное вниманіе Ахова на ихъ обладателя. Очевидно, у мальчугана сильно зазнобило ноги; онъ, несмотря на тяжесть своей ноши, почти бѣжалъ, стараясь подпрыгивать, и при этомъ, такъ-сказать, принужденъ былъ выдерживать борьбу съ своей легкой и неудобной обувью, которая грозила соскочить съ ногъ при каждомъ прыжкѣ.

Аховъ нагналъ мальчику и заглянулъ ему въ лицо: морозъ подрумянилъ его худыя щеки, загрязненные и съ слѣдами ссадинъ и царапинъ. Покраснѣвшія вѣки золотушныхъ глазъ казались припухшими и слезящимися. Впрочемъ, мальчику смотрѣлъ бойко и не безъ увѣренности.

— Куда идешь, мальчуга? обратился Аховъ къ мальчику, поравнявшись и пройдя съ нимъ нѣсколько шаговъ рядомъ.

— Чего? отоввался тотъ, съ нѣкоторымъ испугомъ и недовѣріемъ вскинувъ на Ахова глазами.

— Куда, молъ, идешь, говорю?

Мальчику еще недовѣрчивѣе посмотрѣлъ на Ахова, ничего не отвѣтилъ и пошелъ скорѣе, стараясь уйти.

— Чего-жь ты не говоришь? не отставалъ отъ него Аховъ.

Мальчику молчалъ и намѣревался свернуть въ сторону.

— А? тронулъ его за плечо Аховъ;— да ты не бойся, и ничего...

— Што тебѣ?.. Не трожь! чуть не заплакалъ мальчикъ, стараясь увернуться.

— Да стой, чудакъ, чего пугаешься, бѣжишь: я тебя не обижу... Ты мнѣ скажи, куда идешь?

— Вишь, хомутъ несу... Пусти...

— Да я не держу тебя, что ты... Пойдемъ вмѣстѣ...

— Не надоть.

— Отчего не надоть?

— Мамка не велѣла.

— Чего не велѣла мамка?

— Ходить съ чужими не велѣла... съ мазуриками... вотъ что.

— Да развѣ я мазурикъ, чудачина ты этакой?

— А кто-жь те знаетъ: можетъ, и мазурикъ.

— Ну, нѣтъ, другъ любезный, я не мазурикъ: это я знаю...

Ну, да все равно... Ты мнѣ вотъ что скажи: кто-жь твоя мамка?

— На што тебѣ?

Мальчикъ все продолжалъ съ недоувѣріемъ, изподлобья косясь на Ахова; но, очевидно, начиналъ уже входить во вкусъ большого для дѣтей удовольствія: разговора со взрослыми.

— На что мнѣ? Да такъ...

— Егоровна.

— Это зовутъ ее Егоровна?

— Да.

— А чѣмъ она занимается?

— Бѣлье стираетъ.

— Такъ. Откуда-же это хомутъ-то у тебя?

— Тятъка чинилъ.

— А, и тятъка, стало быть, есть у тебя... Кто-жь онъ, твой тятъка-то?

— А шорникъ.

— Что-жь, тятъка тебя и послалъ, значить?

— Нѣ, не тятъка... Тятъка пьянъ лежитъ.

— Вотъ оно что... Стало, мамка послала?

— Мамка... Сходи, говоритъ, Гриша, снеси хомутъ Вавилѣ Григорьичу... Вавило Григорьичъ безпремѣнно наказывалъ хомутъ ему нынче чтобъ былъ... Ну, я и пошелъ.

— Молодецъ... Что-жь, тяжело тебѣ?

— Нѣ, ничего... Ногажъ вотъ забко.

— Гмъ... забко... да... А ежели-бы сапоги тебѣ теперь, согрѣлъ-бы ноги, а?

— Сапоги-бы важно.

— Ага! Ну, хочешь, я тебѣ сапоги куплю?

— А деньги гдѣ? Денегъ нѣтъ.

— У меня есть. Пойдемъ въ рынокъ, я тебѣ куплю.

— Нѣтъ, не пойду, дяденька.

— Отчего?

— Ты врешь... обманываешь.

— Да нѣтъ-же, не обманываю, куплю. И сбитнемъ напою горячимъ, а? Хочешь сбитню?

— Хочу.

— Ну, такъ пойдешь.

Мальчуганъ еще немного недовѣрчиво поломался; но Аховъ съумѣлъ его уговорить. Они зашли въ Александровскій рынокъ. Аховъ сторговалъ старые сапоги, купилъ ихъ и велѣлъ мальчику надѣтъ, нагрѣлъ его сбитнемъ и потомъ отпустилъ, спросивъ, гдѣ онъ живетъ. Мальчикъ ушелъ очень довольный и, что всего больше понравилось Ахову, нисколько не былъ удивленъ „свершившимся фактомъ“, а призналъ его съ совершеннымъ спокойствіемъ современнаго дипломата.

Разставшись съ мальчуганомъ, Аховъ пошелъ своей дорогой, иронически усмѣхаясь на самого себя.

„Ну-съ, благородный и благотворительный сэръ, размышлялъ онъ,—теперь и знаменитый рубль съ копейками израсходованъ на удовлетвореніе сентиментально-филантропическаго порыва... Послѣвшимъ-же въ храмъ „Либеральнаго Комара“ для стяженія пенензовъ за малый плодъ великаго ума... Ну, а какъ если тамъ да не снабдятъ сегодня, а? Пожалуй, вѣдь тогда придется притечь къ уважаемому и обеспеченному другу Аверьеву, а другъ сей, кажется, того... на этотъ предметъ имѣеть возрѣнія самыя современныя и рациональныя“...

Въ редакціи „Либеральнаго Комара“ оказался такъ-называемый „редакціонный“ день, то-есть такой день, въ который собираются всѣ „члены“ редакціи и принимаются всякія статьи отъ стороннихъ лицъ. Аховъ, впрочемъ, пришелъ слишкомъ рано „Дѣло“, № 10.

до назначеннаго часа „пріема“: лакей изъяснилъ ему, что редакторъ еще спитъ, „члены“ не прибывали, и вообще придется ему ждать. Аховъ рѣшился на это, такъ-какъ время у него было некупленное.

Редакціонная комната, куда ввелъ его лакей, была довольно обширна. Посрединѣ стоялъ огромный столъ съ закругленными концами, покрытый зеленымъ сукномъ. Столъ этотъ напоминалъ отчасти канцелярію, отчасти курзалъ, такъ-какъ на такомъ столѣ можно было столь-же удобно играть въ рулетку, какъ и „засѣдать“ около него. Стѣны комнаты были довольно голы: двѣ-три англійскихъ гравюры, представлявшія лошадей и собакъ, видѣлись тутъ и тамъ. Въ одномъ углу комнаты былъ разставленъ цѣлый рядъ птичьихъ чучель, вытертыхъ и заношенныхъ. Тутъ были утки, перепела, черныши, вальдшнепы и еще какія-то птицы, а подъ птицами висѣлъ охотничій арапникъ. Редакторъ былъ охотникъ и, подобно гоголевскому Аммосу Федоровичу, любилъ украшать свои апартаменты охотничьими принадлежностями.

Когда Аховъ вошелъ въ редакціонную комнату, онъ увидѣлъ, что тамъ уже дожидается какой-то, очевидно, литераторъ. Литераторъ этотъ ходилъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ, опуствя голову и съ озабоченнымъ лицомъ. При входѣ Ахова онъ взглянулъ на него изподлобья, судорожно подергалъ волосики бороды и принялся шагать еще проворнѣе.

Аховъ сѣлъ въ сторонѣ, именно въ томъ углу, гдѣ были птичьи чучела.

Литераторъ минутъ съ десять бѣгалъ все проворнѣе и проворнѣе, словно маятникъ, и все бросалъ безпокойные взгляды на Ахова. Потомъ вдругъ подскочилъ къ нему и проговорилъ:

- Извините, вы къ нему?
- Къ кому?
- Къ Пѣготину?
- Да.
- Денегъ просить?
- Да, мнѣ вужно кое-что получить.
- Впередъ, разумѣется?
- Нѣтъ, не впередъ, а за напечатанное.
- А...

Онъ рванулся назадъ и опять принялся бѣгать изъ угла въ уголъ, какъ угорѣлый, и бѣгалъ такъ молча, по крайней мѣрѣ, четверть часа.

Между тѣмъ начали собираться „члены“ редакціи. Пришли четверо за-разъ: хроникеръ Любеобильный, либераль Вшпуклоутробинъ, философъ-публицистъ Хвостиковъ и критикъ Честоновъ. Первый былъ довольно пожилой мужчина съ мягкими манерами, томными взорами и поэтической наружностью, — однимъ словомъ, изъ категоріи „послѣднихъ романтиковъ“. Либераль Вшпуклоутробинъ, сорокалѣтній, толстощекий и лысый, ожирѣвшій гурманъ, ровно ничего не дѣлалъ въ редакціи, но бралъ жалованье за то, что, какъ онъ говорилъ, „охраняетъ честное направленіе журнала“. Хвостиковъ, напротивъ, работалъ въ „Либеральномъ Комарѣ“ съ надрывающимъ усердіемъ, работалъ до того, что даже какъ-то обтаялъ весь и уменьшился въ объемѣ. Онъ представлялъ небольшого, пѣжащагося человѣчка, тревожно и безпокойно оглядывавшагося и, очевидно, непрестанно мучимаго самолюбивымъ желаніемъ показать, что онъ нѣчто тутъ значитъ, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ сила не только въ „Либеральномъ Комарѣ“, но и вообще въ семь мѣрѣ. Отъ этихъ потугъ мелкаго самолюбія, отъ этого непрестаннаго и мучительнаго усилія угри его сморщеннаго, маленькаго личика принимали необыкновенно яркій цвѣтъ, а мускулы лица порой передергивались. Критикъ Честоновъ, плотный, съ широкимъ задомъ, съ одутловатымъ лицомъ и въ усахъ, смотрѣлъ какъ-то внизъ и наклонялся лбомъ, будто желалъ забодать кого-нибудь.

Аховъ съ любопытствомъ разглядывалъ „членовъ“. Они вошли, громко разговаривая.

— Этого нельзя такъ оставить имъ! горячо говорилъ Вшпуклоутробинъ Хвостикову; — это чортъ знаетъ что, наконецъ, такое!

— Глубочайшая мерзость! воскликнулъ Любеобильный, афектированнымъ жестомъ гладя бороду.

— Надо-же имъ показать, наконецъ, что безнаказанно такія вещи на насъ нельзя плести, что „Либеральный Комаръ“, при его честной репутаціи...

— А вотъ, постоитъ, я напишу въ слѣдующей книгѣ, стараясь скорчить ужасно-уничтожающую улыбку, отвѣчалъ на горячія убѣжденія Выпуклоутробина и Грустнаго Хвостиковъ.

— Главное—хлестнуть надо Сарказмова, Сарказмова хлестнуть хорошенько надо... вопилъ съ необыкновенной энергіей Любвеобильный.— Это все онъ... Я NN знаю: онъ-бы никогда не затѣялъ этой полемики...

— Однако, онъ, какъ редакторъ, могъ-бы не пропускать статьи Сарказмова, важно замѣтилъ Хвостиковъ.

— Да, конечно, это сверно. Но, вотъ подите, у него какая-то слабость къ этому Сарказмову: онъ и всё тамъ у нихъ въ редакціи считаютъ его талантомъ. А какой талантъ: просто одно глубочайшее и безшабашнѣйшее глумленіе.

— А вотъ я покажу ему глумленіе, этому Сарказмову...

— Отхлещите, отхлещите, давно пора. И, главное, хватите его подъ собственнымъ именемъ, прямо. А то онъ тамъ все подъ псевдонимомъ скрывается привыкъ. А вы его подъ собственнымъ именемъ хлестните, Константинъ Савичъ, пожалуйста подъ собственнымъ именемъ...

Хвостиковъ бивнулъ головой и потеръ лобъ, какъ-бы въ знаменіе того, что онъ хлестнетъ.

Литераторъ, встрѣтившійся съ Аховымъ въ пріемной, бросился стремительно на встрѣчу къ „членамъ“ и принялся пожимать имъ руки. Потомъ они всё усѣлись около стола, исключая Любвеобильнаго, который, увидавъ Ахова, подошелъ къ нему.

— Вамъ надобность до редакціи? съ утонченно-вѣжливой улыбкой обратился онъ къ Ахову.

— Да.

— Что-жь вы желаете?

— Я желаю видѣть Пѣготина.

— Да-съ... Гмъ... Онъ, видите, еще не вставалъ. Если у васъ статья, тогда позвольте мнѣ, я передамъ.

— Нѣтъ. Мнѣ нужно гонораръ получить.

— Ахъ... Въ такомъ случаѣ потрудитесь подождать. Вотъ Платонъ Егорычъ самъ выйдетъ. Онъ ужъ лично производить выдачу. А ваша статья напечатана?

— Напечатана, въ послѣдней книгѣ.

— Позвольте узнать, какая статья?

— „Провинціалныя сцены“.

— Ахъ, ахъ, знаю. Талантливый, очень талантливый эскизецъ, очень. Стало-быть, я имѣю удовольствіе говорить съ г. Глушинымъ?

— Нѣтъ, это мой псевдонимъ. Фамилія моя — Аховъ.

— А, очень пріятно, очень пріятно познакомиться. — Онъ протянулъ Ахову руку. — Эскизецъ вашъ недурень, весьма недурень. Типы есть и манера, и все. Пѣготинъ желалъ васъ видѣть, какъ-же. Вотъ-съ вы подождите немножко. Онъ выйдетъ.

Любвеобильный отошелъ и сѣлъ вмѣстѣ съ „членами“. Тѣ обратились къ нему тихо, очевидно съ вопросомъ объ Аховѣ: кто, молъ, такой? Любвеобильный тоже тихо отвѣтилъ. Всѣ члены оглянулись на Ахова. Только Хвостиковъ не обернулся: онъ считалъ себя слишкомъ крупнымъ свѣтиломъ, чтобы обращать вниманіе на какого-то невѣдомаго, начинающаго белетриста.

„Члены“ опять заговорили. Соображали, когда должна выйти книжка „Либеральнаго Комара“, запоздавшая, по ихъ словамъ, потому что редакторъ Пѣготинъ увѣзжалъ на охоту. Потомъ снова принялись ругать Сарказмова и обсуживать, какъ его слѣдуетъ „продернуть“, и затѣмъ Хвостиковъ важно сталъ восхвалять самого себя, говоря, что онъ „поставилъ и разрѣшилъ“ вопросы очень „трудные и сложные“ въ статьѣ „Канканъ и социологія“, и что всей глубины этой статьи наша современная критика не понимаетъ и никогда не пойметъ. Аховъ прислушивался къ этимъ разговорамъ, сплетнямъ, островамъ, брани, и ему стало до смерти скучно.

Въ это время вбѣжалъ или, вѣрнѣе, вкатился субъектъ странной наружности; это былъ крохоборный рецензентъ газеты „Репортъ“, нѣкто г. Поддевка. Онъ съ лихорадочнымъ азартомъ наскочилъ на „членовъ“, нервно передергиваясь, пожалъ имъ руки и вдругъ пискнулъ:

— А читали?

— Что читали?

— Новый романъ Забубенина?

— Нѣтъ, не читали...

— А я прочелъ и даже отзвѣвъ о немъ написалъ въ „Рапортъ“: изругалъ страшно. Удивляюсь, какъ журналъ рѣшился печатать романъ Забубенина.

— А что такое, что-же въ этомъ романѣ?

— Это пасквиль, пасквиль. И притомъ пасквиль голый, безъ всякой тенденціи... безъ идеи.

— Что-жь, развѣ романъ уже весь появился, что вы о тенденціи, объ идеѣ судите?

— Нѣтъ, какой весь: всего только двѣ съ половиною главы. Но ужъ это видно, это видно: ни художественности, ни тенденціи, ни идеи. Однѣ карикатуры и пасквиль. Осмѣивается и опошляется все благородное, выдающееся, живое, талантливое; прохвосты адвокаты, „увеселительный клубъ“ и его артисты, Поль Скоробрыкинъ, я, Поддевка, наконецъ, вы, господа!

— Какъ мы? вскрикнули, взволновались, „члены“.

— Да, да, и я, и вы, и они—все!..

— Это, однако, чортъ знаетъ что такое, это невыразимѣйшая и глубочайшая безшабашность! вослѣдствіемъ Любеобильный.

— И, представьте, я имѣю положительныя свѣденія,—мнѣ говорилъ Аришкинъ, что ему передавалъ Замухрышкинъ, что будто-бы жена Амискина слышала это отъ любовницы Епишкина,—я имѣю положительныя свѣденія, что этотъ Забубенинъ хочетъ осмѣять и редакцію „Рапорта“. По его мнѣнію, „Рапортъ“ есть самый полнѣйшій выразитель въ прессѣ современной буржуазной пошлости. Можете судить по этому, какой низменный взглядъ проводится въ романѣ этого Забубенина.

„Члены“ хотѣли взволноваться еще больше, но въ это самое время вошли два „генерала“ редакціи и своимъ приходомъ прервали волненіе. Одинъ „генераль“ былъ маститый, съ длинными сѣрыми кудрями, упавшими ему на спину, съ лукавой улыбочкой и вкрадчивыми движеніями. Другой, помоложе, съ страннымъ, но симпатичнымъ лицомъ, нѣсколько грубоватую, но очень добродушною юмористическою манерой въ разговорѣ. Первый собственно литературное „генеральство“ приобрѣлъ себѣ больше ловкостью, чѣмъ талантомъ и дѣйствительными литературными заслугами. Въ редакціи „Либеральнаго Комара“ онъ содержалъ

ся за выслугу лѣтъ и все его участіе въ журналѣ ограничивалось тѣмъ, что онъ либерально юлил и балансировалъ въ пустомъ пространствѣ и „либерально молчалъ“, когда не слѣдовало говорить. Второй дѣйствительно былъ крупный талантъ и дѣйствительно поддерживалъ журналъ своими произведеніями.

„Генералы“ поздоровались со всѣми членами, съ г. Поддевкой и литераторомъ, встрѣченнымъ Аховымъ въ редакціонной комнатѣ; всѣ эти господа отнеслись къ „генераламъ“ съ „отличнымъ уваженіемъ“. Потомъ „генералы“ спросили у лакея, что Пѣготинъ? Лакей изъяснилъ, что сейчасъ только „встали и кушаютъ чай“ въ кабинетѣ, такъ-какъ еще „неодѣвши“.

— Пройдете, Нивита Петровичъ, въ кабинетъ, сказалъ лукавый генераль.

— Пройдете, отвѣтилъ генераль добродушный.

Они двинулись въ кабинетъ. Литераторъ, прибывшій первымъ въ редакцію, бросился за ними и нагналъ до бродушнаго „генерала“.

— Я хотѣлъ васъ, Нивита Петровичъ, спросить...

Онъ смутился и не кончилъ.

— Насчетъ вашего романа?

— Да-съ... Ну, что, какъ вы находите?..

— Да что, батюшка, не знаю: какъ слѣдующія части выйдутъ у васъ, а первая того...

— Неудачна? Да, да, я самъ чувствую, необработана...

— Чего необработана! скривляя широкою улыбкою ротъ, отвѣтилъ генераль;—это вы, откровенно сказать, не написали, а *наскоробрыкали*.

Онъ произнесъ послѣднее слово такимъ комическимъ тономъ и при этомъ такъ смѣшно посмотрѣлъ и мотнулъ головой, что даже огорченный литераторъ не могъ не разсмѣяться.

— Стало-быть, напечатать пельзя?

— Отчего недѣзя? Нынче, батюшка, такія цвѣтуція времена литературы, что всякую дрянъ напечатать можно. А вы все-же талантъ... Ничего, напечатаемъ... Только сократите тамъ у васъ кое-что надо... Вотъ заходите ко мнѣ какъ-нибудь, мы поговоримъ.

Прошло минутъ десять послѣ ухода генераловъ. Члены редакціи и г. Поддевка продолжали волноваться и горячиться по поводу романа Забубенина. Выпуклоутробинъ предъявлялъ сомнѣ-

нія въ либерализмѣ автора злополучнаго романа и даже утверждалъ, что Забубенинъ — замаскированный обскурантъ. Любезобильный кричалъ, что онъ не можетъ выносить этого забубенинскаго вопіющаго „глумленія ради глумленія“, которое теперь распространилось въ литературѣ. Г. Хвостиковъ говорилъ, что Забубенинъ, очевидно, натура поверхностная, что онъ не способенъ переживать „мучительныхъ минутъ сомнѣнія“, какія пережилъ онъ, Хвостиковъ, когда въ первый разъ увидалъ какую-то канканирующую дѣвицу и прочиталъ книгу Дарвина о происхожденіи человѣка.

— У меня тогда въ мозгу захлестнулась словно петля какая-то, пояснилъ онъ „членамъ“ послѣдствія совпаденія двухъ различныхъ впечатлѣній въ его головѣ отъ канкана и отъ Дарвина, — петля захлестнулась и давить меня, давить... Мысль ищетъ выхода, а выхода нѣтъ... Съ одной стороны — канканъ, съ другой — Дарвинъ, съ одной — Дарвинъ, съ другой — канканъ... Что тутъ будешь дѣлать?.. Хочу думать объ эстетической красотѣ, рисую себѣ образъ ея, вижу высшую кульминаціонную, такъ-сказать, точку ея развитія — изящнаго, выпуклаго икры канканирующей женщины, а тутъ, по другую сторону, — обезьяна. Въ этихъ противорѣчійхъ я изнемогъ тогда... Вотъ какимъ труднымъ, мучительнымъ процесомъ дается выработка мысли...

Онъ замолчалъ; „члены“ посмотрѣли другъ на друга, потомъ на Хвостикова и ничего не сказали. Нѣсколько секундъ длилось молчаніе.

— А что Забубенинъ пустой человѣкъ — я на это имѣю факты! воскликнулъ вдругъ г. Поддевка.

— Какіе, какіе, сообщите, сдѣлайте милость! съ какимъ-то даже радостнымъ всхлипываніемъ обратился Любезобильный къ Поддевкѣ.

— Во-первыхъ, онъ носитъ цвѣтные галстуки; а во-вторыхъ, намеренъ я шель съ нимъ по Гостинному двору и вдругъ онъ — можете себѣ представить — остановился у дверей магазина и принялся разглядывать... что, вы думаете?

Онъ остановился на мгновеніе, чтобы произвести большій эффектъ.

— Дамскую шляпку.

Всѣ члены ужь не только взволновались, но даже возмутились такимъ признакомъ пустоты Забубенна, и тутъ-же порѣшили въ заключеніе, что человѣкъ, могущій заниматься разсматриваніемъ дамской шляпки, несомнѣнная и полная литературная бездарность и что если его произведенія публика читаетъ и даже признаетъ въ немъ талантъ, такъ это потому, что публика неразвита и даже глупа. Однимъ словомъ, несчастный Забубеннъ былъ уничтоженъ.

666.

(Продолженіе будетъ.)

ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА.

1 сентября 1875 года.

Много засѣданій прошлой сессіи версальскаго законодательнаго собранія было посвящено преніямъ по закону о высшемъ образованіи. Защитники этого закона видѣли въ немъ спасеніе Франціи, противники, напротивъ, доказывали, что примѣненіе этого закона грозитъ странѣ неисчислимыми бѣдствіями. Защищали законъ клерикалы; противниками его явились люди, совершенно свободные отъ вліянія духовенства. Законъ былъ принятъ.

Первымъ параграфомъ этого закона провозглашается свобода высшаго образованія во Франціи. Свобода средняго и низшаго образованія узаконена уже давно. Въ 1833 году, тогдашній министръ народнаго просвѣщенія, Гизо, добился у палаты принятія закона о свободѣ преподаванія въ школахъ низшаго разряда, соотвѣтствующихъ нашимъ уѣзднымъ училищамъ; затѣмъ въ 1850 году допущено свободное открытіе заведеній второго разряда, подобныхъ нашимъ гимназіямъ; новый законъ предоставляетъ частнымъ личностямъ и общественнымъ корпораціямъ право открытія высшихъ заведеній, равныхъ по объему курса университетскимъ факультетамъ.

Законъ этотъ вызвалъ горячія пренія въ версальскомъ національномъ собраніи. Многіе изъ либеральныхъ депутатовъ, въ принципѣ одобрявшихъ новый законъ, расширяющій свободу частной дѣятельности, колебались подавать за него голосъ изъ опасенія дать могущественное оружіе въ руки клерикальной партіи. Въ началѣ они были наивно убѣждены, что рѣчь идетъ о дѣйствительномъ примѣненіи принципа расширенія свободы частной дѣятельности, о правѣ каждаго открывать высшее учебное заведеніе, если у него имѣются на то средства; но вскорѣ для всѣхъ стало оче-

виднымъ, что свобода тутъ не при чемъ, а дѣло идетъ собственно о раздѣленіи права открывать высшія заведенія между университетомъ, т. е. правительствомъ, и духовными конгрегаціями, и что свобода высшаго образованія, въ настоящемъ смыслѣ этого выраженія, менѣе всего интересовала тѣхъ народныхъ представителей, которые съ наибольшою настойчивостію добивались ея въ своихъ рѣчахъ. Весьма естественно, за этимъ сознаниемъ наступила минута колебанія. Либеральная партія задалась вопросомъ: не лучшимъ-ли прибѣжищемъ для свободы мысли и науки служить правительственная монополія руководительства высшимъ образованіемъ, до сихъ поръ существовавшая во Франціи? Не приведетъ-ли конкуренція въ дѣлѣ руководительства высшимъ образованіемъ къ послѣдствіямъ, пагубнымъ для свободы мысли и науки? Разумно-ли во имя свободы дѣлать важную уступку ненавистникамъ всякой свободы, и въ такое время, когда въ другихъ европейскихъ государствахъ началась борьба противъ ультрамонтанства, дѣлающаго между тѣмъ во Франціи значительные успѣхи? Не слѣдуетъ-ли, наконецъ, допуская во имя поклоненія принципу свободы полную эмансипацію высшаго образованія, все-таки предоставить нѣкоторыя преимущества правительственнымъ заведеніямъ? Эти вопросы побудили версальскихъ либераловъ оттягивать по-возможности окончательное рѣшеніе, такъ-что со времени представленія проекта до утвержденія его прошло почти два года.

Принципъ свободы высшаго образованія имѣлъ сторонниковъ во всѣхъ партіяхъ, имѣющихъ своихъ представителей въ версальскомъ національномъ собраніи. Во имя этого принципа, новый законъ при первомъ чтеніи получилъ большинство 531 голоса противъ 124. Затѣмъ, при второмъ и третьемъ чтеніяхъ, законъ былъ значительно видоизмѣненъ противъ первоначальнаго проекта, такъ-что либералы, горячо отстаивавшіе новый законъ, пришли въ ужасъ отъ своего созданія: они убѣдились, что работали въ пользу своихъ враговъ—клерикаловъ.

Либералы, настаивавшіе на принятіи новаго закона о высшемъ образованіи, утверждали, что они желаютъ переменъ потому, что университетской жизни, собственно говоря, почти вовсе не существовало во Франціи. И дѣйствительно, французскіе университеты не выдерживаютъ сравненія съ лучшими университетами другихъ странъ западной Европы. Напрасно стали-бы, напримѣръ, искать въ департаментскихъ факультетахъ Франціи того движенія мысли, той дѣятельности научной, литературной, наконецъ обще-философской и ученой, которыми отличаются университетскіе города въ Германіи, Голандіи или Швейцаріи. Такъ, въ Страсбургѣ, въ

1868 году, на факультетѣ словесности было всего 5 професоровъ, читавшихъ по одной, много по двѣ лекціи въ недѣлю; въ то-же время въ соотвѣтственномъ факультетѣ марбургскаго университета, самаго небольшого въ Германіи, было 11 лекторовъ, являвшихся на кафедру, по крайней мѣрѣ, по три раза въ недѣлю. Общее число професоровъ, преподающихъ въ Германіи на университетскихъ кафедрахъ, доходило въ то время до 1,730, тогда какъ во Франціи, считая въ числѣ высшихъ школъ и спеціальныя заведенія, количество професоровъ ограничивалось 602-мя.

Весьма естественно послѣ этого, что города съ несравненно меньшимъ населеніемъ, какъ, напримѣръ, Женева или Цюрихъ, имѣютъ, какъ научные центры, гораздо большее значеніе, чѣмъ важнѣйшіе, густо-населенные провинціальные города во Франціи—Лионъ, Марсель или Бордо. Въ германскихъ или швейцарскихъ университетахъ сотни студентовъ, богатая бібліотека и ученныя пособія; здѣсь частныя лица жертвуютъ значительныя суммы на учрежденіе физическихъ кабинетовъ, химическихъ лабораторій и т. п. Во Франціи факультеты или вовсе не имѣютъ бібліотекъ, или если и имѣютъ ихъ, то иногда не обладаютъ достаточными средствами для содержанія ихъ въ порядкѣ; у нихъ нѣтъ толковыхъ бібліотечарей. Вопросъ о бібліотекахъ на-столько теперь обращаетъ на себя вниманіе близко стоящихъ къ образованію юношества лицъ что былъ даже возбужденъ въ національномъ собраніи, отдѣльно отъ закона о высшемъ образованіи, и далъ новодѣ Жюлю Симону и профессору Беру представить картину грустнаго положенія провинціальныхъ факультетовъ. Судя по ихъ словамъ, провинціальныя аудиторіи представляютъ посѣтителю весьма жалкій видъ: рѣдкіе слушатели засыпаютъ на лекціи профессора, безучастно относящагося къ своему предмету. Разумѣется, есть исключенія, но такихъ исключеній очень немного. Пылкое соревнованіе между учащимися, характеристическое соперничество между факультетами, увлеченіе тою или другою ученою доктриной, поклоненіе тому или другому профессору — всѣ эти стороны университетской жизни, придающія такъ много блеска германскимъ или швейцарскимъ университетамъ, чужды французскимъ департаментскимъ высшимъ школамъ. Какъ-будто недостаетъ въ нихъ дѣятельной жизни ума, которою онѣ должны-бы отличатся! И этотъ недостатокъ энергической и вліятельной дѣятельности ума замѣтенъ въ одинаковой степени, какъ у учащихся, такъ и у учащихся. Нельзя сказать, чтобы недоставало хорошихъ професоровъ или основательныхъ сочиненій по каждой отрасли знанія; и тѣмъ, и другимъ Франція изобилуетъ, но не видно ни увлекающихся слушателей, ни непосредственнаго

вліянія университетской жизни на массу. Въ Германіи, Швейцаріи или Голандіи любой новый трактатъ, изслѣдующій какую-нибудь сторону интересующей публику науки, напримѣръ, политической экономіи, распродается съ неимовѣрною быстротою въ числѣ 30, 40, даже 50 тысячъ экземпляровъ, тогда какъ во Франціи подобное изданіе разойдется развѣ въ нѣсколькихъ сотняхъ. Извѣстный разговорный словарь, вышедшій подъ именемъ „Conversation's lexicon“, распроданъ былъ Брокгаузомъ въ числѣ 300,000 экземпляровъ, а во Франціи выручка отъ продажи подобнаго сборника едва бы хватила на покрытіе издѣржекъ по напечатанію.

Чему приписать подобное отличіе въ размѣрѣ интереса, оказываемаго публикой къ ученой дѣятельности, какъ не вліянію дѣятельной и развитой университетской жизни, привлекающей сочувствіе не только въ стѣнахъ университета, но и вообще во всей публикѣ? Публика эта во Франціи незнакома съ работами лучшихъ университетскихъ дѣятелей. Даже въ Парижѣ университетская жизнь остается въ застоѣ, потому что и здѣсь дѣятельность професоровъ безсильна въ борьбѣ съ равнодушіемъ учащихся классовъ и массы. Чтобы завлечь эту массу, мѣстныя высшія школы прибѣгаютъ даже къ не совсѣмъ соответствующему ученой дѣятельности приему: онѣ стараются придать чтенію лекціи нѣсколько ораторскій оттѣнокъ, лучше сказать, преобразить свое преподаваніе въ публичное развлеченіе. Однакожь, и этотъ приемъ удается мало. Аудиторіи обогатились присутствіемъ нѣсколькихъ правдошатающихъ, но тѣмъ дѣло и кончилось: ни увлеченія со стороны слушателей, ни широкой пропаганды въ средѣ публики французская школа добиться не могла.

Для объясненія причинъ подобнаго положенія слѣдуетъ обратиться къ исторіи вліянія правительства во Франціи на образованіе и ученую дѣятельность. Серьезная научная критика была подавлена еще при Людовикѣ XIV, воспретившемъ всякое обсужденіе нѣкоторыхъ предметовъ историческаго или духовнаго содержанія; въ это время преслѣдовали не только самихъ изслѣдователей, но также и тѣхъ, кто рѣшался читать ихъ произведенія. Были, разумѣется, смѣльчаки, которые, несмотря на воспрещеніе, продолжали свои изслѣдованія на научной почвѣ, не отступая отъ необходимыхъ критическихъ приемовъ, но публика оставалась чуждою ихъ изслѣдованіямъ. Только литературныя произведенія, преслѣдующія принципъ искусства для искусства, считались дозволенными; авторы ихъ иногда могли разсчитывать даже на покровительство людей власти имѣющихъ. Къ тому-же французская литература и наука находились подъ пагубнымъ, подавляющимъ вліяніемъ іезуи-

товъ. Завѣдую школьнымъ преподаваніемъ, іезуиты придали ему реторическій характеръ, забивающій всякое проявленіе умственной энергіи въ ученикѣ, всякую самодѣятельность. Этотъ характеръ на-столько утвердился во французскихъ школахъ посредствомъ долготѣйшей практики, что измѣнить его не могла даже первая революція. Ея дѣятели въ сферѣ общественнаго образованія заботились болѣе всего о томъ, чтобы объединить способы преподаванія и подвести всѣ ученые силы Франціи подъ одну мѣрку. Первая имперія дала высшему образованію систематическую организацію, которую и оставила въ наслѣдство послѣдующимъ поколѣніямъ, почти ничего въ ней неизмѣнившимъ. Въ этой организаціи высшее образованіе представлялось тремя родами заведеній: 1) школы спеціальныя, учрежденныя исключительно для преподаванія какой-либо одной научной отрасли, 2) установленія ученые, предназначенныя не столько для преподаванія, сколько для научныхъ изысканій, и 3) факультеты словесности и наукъ, имѣющіе главнѣйшею цѣлью распространеніе высшаго образованія посреди юношества, безъ непосредственнаго примѣненія получаемыхъ знаній къ тому или другому виду человѣческой дѣятельности. Французское духовенство съ самаго начала текущаго столѣтія употребляло всѣ усилія, чтобы добиться господства надъ факультетами наукъ и словесности. Полнаго господства оно не добилося, однакожь успѣло повліять на нихъ до такой степени, что результаты его вліянія очевидны для всѣхъ. Отлично умѣя пользоваться всякими промахами, іезуитизмъ привелъ высшее образованіе во Франціи къ тѣмъ непригляднымъ результатамъ, которые бросаются въ глаза всякому внимательному наблюдателю: съ одной стороны неподготовленная публика, неспособная къ серьезному, послѣдовательному умственному труду; а съ другой—нѣсколько выдающихся дѣятелей, предпочитающихъ ученымъ занятіямъ будничныя волненія текущей журналистики, подобно Тэну, Вейсу, Абу или Сарсе, и за ними масса профессоровъ, хотя весьма развитыхъ и способныхъ, но тратящихъ совершенно напрасныя усилія въ стремленіи превозмочь общественное равнодушіе.

Версальскому національному собранію предстояло рѣшить трудную задачу: какія мѣры необходимо принять для того, чтобы поставить университетское образованіе во Франціи на ту высоту, на которой оно должно стоять? И собраніе рѣшило эту задачу, создавъ новыя затрудненія, поставивъ это образованіе еще въ худшія условія, чѣмъ прежде.

Практика другихъ государствъ представляла собранію три различныхъ системы, съ которыми версальскіе законодатели были свое-

временно ознакомлены посредством цѣлаго ряда подготовительныхъ работъ.

Первая изъ этихъ системъ — американская. Въ Соединенныхъ Штатахъ правительство держитъ себя совершенно въ сторонѣ отъ преподаванія, предоставляя гражданамъ учить и обучать кого и чему каждый хочетъ. Здѣсь ни ученныя степени, ни получение высшаго образованія не даютъ никакихъ официальныхъ правъ. Адвокатомъ или медикомъ здѣсь становится всякій, кто того желаетъ. Частная инициатива и свободныя ассоціаціи дѣйствуютъ въ Соединенныхъ Штатахъ безъ всякой опеки и вмѣшательства со стороны официальной власти. Такая безусловная свобода, однакожь, не помѣшала образоваться по ту сторону океана настоящимъ университетамъ, имѣющимъ свои преданія, свято хранимыя, свои воспитательныя приемы, свои кружки почитателей и ненавистниковъ. Здѣсь ассоціаціи професоровъ образовались на началахъ чистой свободы, самоуправляются въ силу того-же начала, придаютъ преподаванію то или другое направленіе по собственному усмотрѣнію, безъ всякой правительственной опеки, и задаются распространеніемъ въ публикѣ тѣхъ или другихъ воззрѣній въ силу одного своего убѣжденія, не стѣсняясь сочувствіемъ или несочувствіемъ той или другой части общества. Дурная сторона такого порядка заключается только въ томъ, что подобныя корпораціи, подъ давленіемъ постоянной конкуренціи и связанной съ нею борьбы за существованіе, иногда увлекаются вопросомъ о денежныхъ средствахъ болѣе, чѣмъ наукою. Прежде всего профессору необходимо жить; а чтобы жить, надо обладать умѣньемъ привлекать къ себѣ учениковъ во что-бы то ни стало, дешевизною преподаванія и, главное, быстротою прохожденія учебнаго курса. Въ Америкѣ ученныя корпораціи иногда буквально „фабрикуютъ“ практическихъ дѣятелей, выступающихъ затѣмъ на всѣхъ поприщахъ общественной дѣятельности. Образованіе, получаемое въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, весьма основательное; но высшее образованіе, получаемое въ нѣкоторыхъ американскихъ университетахъ, весьма далеко отъ совершенства, такъ-какъ въ нихъ господствуетъ рутинная.

Впрочемъ, американская система едва-ли могла быть примѣнена во Франціи, такъ-какъ непосредственнымъ результатомъ этого было-бы усиленіе клерикальнаго вліянія на юношество, — вотъ почему противъ этого примѣненія возставали либералы. Но и сами клерикалы явились ея противниками; американская система основана на принципѣ безусловной свободы, и клерикалы опасались, что послѣдствіемъ провозглашенія этого начала должна быть свобода собраний, свобода публичнаго обсужденія, которая можетъ дойти

даже до обсужденія излюбленнаго ими папизма, до освобожденія изъ-подъ ихъ вліянія народныхъ массъ.

Въ Бельгіи не существуетъ безусловной свободы преподаванія. Здѣсь не только профессора и учителя, но даже представители и многихъ другихъ профессій обязаны запастись дипломомъ; безъ диплома нельзя быть ни врачомъ, ни аптекаремъ, ни адвокатомъ, ни нотаріусомъ. Дипломы выдаются существующими въ Бельгіи четырьмя университетами, изъ которыхъ два, гентскій и лютихскій, государственные, а левенскій и брюссельскій—частные. Впрочемъ, какъ государственные, такъ и частные университеты пользуются одинаковыми правами и подлежатъ одной и той-же внутренней дисциплинѣ. Левенскій университетъ основанъ мѣстнымъ епископомъ, по папскому разрѣшенію; поэтому естественно, что профессорская дѣятельность въ этомъ университетѣ подчинена до мелочей надзору духовенства. Послѣдствіемъ клерикальнаго направленія, по которому слѣдуетъ левенскій университетъ, является полный разладъ между ученіемъ, преподаваемымъ здѣшними профессорами, и общими началами либеральной бельгійской конституціи. Законъ, напримѣръ, провозглашаетъ свободу печати, а папа Григорій VII, благословившій учрежденіе левенскаго университета, въ печатномъ сочиненіи заявлялъ, что свобода печати есть установленіе, неудободопускаемое въ христіанскомъ государствѣ. Законъ, такимъ-же образомъ, устанавливаетъ въ Бельгіи гражданскій бракъ, а левенскій университетъ съ профессорской кафедры провозглашаетъ незаконность этого брака, и пр.

Какъ реакція противъ клерикальныхъ тенденцій, господствующихъ въ католическомъ левенскомъ университетѣ, въ брюссельскомъ университетѣ съ профессорскихъ кафедръ проповѣдуется непримиримая вражда къ клерикализму, дѣлаются грозныя нападки на папство. Эта борьба какъ нельзя лучше доказала, что существованіе клерикальнаго университета принесло Бельгіи много вреда. Примѣръ Бельгіи могъ-бы послужить отличнымъ указаніемъ версальскому національному собранію, если-бы оно счумѣло во-время отрѣшиться отъ интригъ партій, тормозящихъ всякій разумный исходъ изъ существующихъ затрудненій.

Вопросъ о высшемъ образованіи въ Бельгіи былъ прекрасно разработанъ однимъ изъ извѣстнѣйшихъ французскихъ публицистовъ, Эмилемъ Лавеле, напечатавшимъ по этому предмету интересную статью въ „Revue des deux mondes“, выводы которой заключаются въ слѣдующемъ. По его мнѣнію, существующая въ Бельгіи между университетами конкуренція привела къ значительному упадку уровня преподаванія. Вводя начало свободы препода-

ванія, бельгійское законодательство обязало учащихся сдавать экзамены передъ особо учреждаемыми, при участіи правительственныхъ агентовъ, комисіями. Вскорѣ министръ народнаго просвѣщенія объявилъ, что, несмотря на существованіе этихъ комисій, уровень развитія экзаменовавшагося юношества сталъ падать по всѣмъ предметамъ, входящимъ въ университетскую програму. Тогда, въ 1835 году, былъ устроенъ одинъ общій совѣтъ, члены котораго назначались палатою депутатовъ, сенатомъ и правительствомъ, обязанный производить экзамены по факультетамъ и по курсамъ и выдавать дипломы окончившимъ курсъ. Но и совѣтъ не поправилъ дѣла; въ 1849 году министерство добилось учрежденія специальныхъ жюри, состоящихъ на-половину изъ представителей вѣдомства народнаго просвѣщенія и на-половину изъ делегатовъ университетскихъ совѣтовъ. Но и этотъ порядокъ признается одинаково несоответственнымъ, какъ свободомыслящими, такъ и клерикальными органами. Всѣ единогласно указываютъ на упадокъ университетскаго преподаванія въ Бельгіи. Всѣ четыре университета стремятся, повидимому, къ одной только цѣли—къ снабженію большаго числа лицъ дипломами бакалавровъ, кандидатовъ и магистровъ. Объ успѣшности преподаванія, о возвышеніи уровня образованія при существующемъ положеніи бельгійскихъ университетовъ не можетъ быть и рѣчи. Здѣсь все преклонилось передъ господствомъ рутинны, доходящей до того, что профессора стали просто диктовать слушателямъ свои лекціи. Рутинна эта до такой степени въѣлась въ плоть и кровь, что правительству весьма трудно стряхнуть ее даже въ подчиненныхъ ему двухъ университетахъ: какъ только оно задумало-бы улучшить способы преподаванія у себя, такъ соперничающіе два университета, а за ними вся клерикальная партія, завопили-бы о неравенствѣ условій для борьбы между двумя началами, выражающимися въ учрежденіи бельгійскихъ университетовъ.

Такимъ образомъ, свобода преподаванія, какая примѣняется въ Бельгіи, оказывается одинаково вредною для науки и для преподаванія. Общества бельгійскихъ профессоровъ, собственно говоря, не ученые, а воинствующія политическія корпораціи, проводящія принципъ раздѣльности и вражды въ кружки учащагося юношества.

Кромѣ системъ американской и бельгійской, французскимъ законодателямъ предстояло ознакомиться съ третьей системой, существующей въ университетахъ германскихъ, такъ блистательно примѣняемой въ Швейцаріи. Въ Германіи и Швейцаріи университеты, получая значительныя субсидіи отъ правительства, пользуются, подѣ наблюденіемъ тѣхъ-же правительствъ, полнѣйшею

автономією и самостоятельностью. Вотъ главнѣйшія начала, обусловливающія свободу университетскаго преподаванія: 1) Общество професоровъ совершенно самостоятельно и пополняется по собственному выбору; назначеніе и увольненіе преподавателей не зависитъ ни отъ министра, ни отъ канцелярской протекціи, а предоставлено инициативѣ лицъ, которыя лучше всего могутъ судить о томъ, соотвѣтствуетъ-ли кандидатъ всѣмъ условіямъ, которыя требуются для вакантной кафедры; общество професоровъ само устанавливаетъ програму преподаванія, безъ всякаго канцелярскаго вліянія; оно управляется на началахъ самаго широкаго самоуправленія, и никакое дисциплинарное взысканіе не можетъ быть наложено на члена професорскаго общества иначе, какъ по постановленію выборнаго совѣта, состоящаго изъ товарищей провинившагося лица. 2) Право преподаванія принадлежитъ только лицамъ, удовлетворяющимъ извѣстнымъ условіямъ, подробно изъясненнымъ въ законодательствѣ; условія эти относятся исключительно къ ученымъ познаніямъ кандидата. Впрочемъ, въ Швейцаріи есть такіе университеты, которые не требуютъ даже этого условія и предоставляютъ всякому желающему читать лекціи; если онѣ будутъ хороши, професоръ найдетъ слушателей, если-же будутъ дурны, ему поневолѣ придется оставить университетъ и заняться чѣмъ-нибудь другимъ. 3) Отъ всякаго, желающаго быть медикомъ, судьей, правительственнымъ чиновникомъ, дипломатомъ, адвокатомъ, военнымъ офицеромъ или професоромъ, требуется безусловно, чтобы онъ втеченіи трехъ, четырехъ или пяти лѣтъ посѣщалъ университетскія лекціи; студенты притомъ пользуются полнѣйшею свободою въ выборѣ и перемѣнѣ университетовъ, въ слушаніи того или другого професора, офиціально признаннаго въ этомъ званіи, или-же привать-доцента; они обязаны только съ успѣхомъ выдержать экзаменъ, соотвѣтствующій той карьерѣ, которую они выбираютъ, и производимый специальными комисіями, назначаемыми правительствомъ. Наконецъ, 4) професорское вознагражденіе распредѣляется между лекторами пропорціонально числу студентовъ, записанныхъ на курсѣ каждаго изъ преподавателей.

Располагая богатымъ подготовительнымъ матеріаломъ, комисія, образованная изъ депутатовъ національнаго собранія для изготовленія проекта закона о высшемъ образованіи, представила собранію обстоятельный докладъ, выбравъ своимъ докладчикомъ извѣстнаго литератора Лабуле.

„Заботливость объ образованіи гражданъ, писала комисія въ объяснительной запискѣ къ проекту закона,—несомнѣнно должна принадлежать государству. Политическое общество не можетъ не

интересоваться тѣмъ, при какихъ условіяхъ цивилизація сообщается отъ одного гражданина другому, не умаляясь въ своемъ общемъ значеніи и не ослабѣвая въ условіяхъ своего примѣненія къ жизни. Въ этомъ смыслѣ государство не только имѣетъ право, но даже обязано неуклонно заботиться о народномъ образованіи. Изъ этого, однакожь, не слѣдуетъ, чтобы право преподаванія, право распространенія этого образованія принадлежало исключительно государственной власти. Нѣтъ сомнѣнія, что при существующемъ теперь порядкѣ содержанія образцовыхъ учебныхъ заведеній заботливостью и иждивеніемъ государства представляется совершенно необходимымъ; нельзя, съ другой стороны, не одобрить правительство, когда оно требуетъ отъ общества довольно значительныхъ пожертвованій для поддержанія Франціи на ряду государствъ, стоящихъ въ первомъ ряду по своему ученому и литературному развитію; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы государство сохраняло за собою устарѣвшую монополію, несоотвѣтствующую современному развитію общественнаго сознанія, ослабляющую въ каждомъ данномъ случаѣ значеніе мѣстной политической жизни и оказывающую растлѣвающее вліяніе на объемъ и характеръ обученія, по недостатку въ этомъ дѣлѣ оживляющей конкуренціи. Официальное обученіе всегда останется недостаточнымъ. Наука открываетъ свободный путь къ изысканію истины; все, что препятствуетъ свободѣ преподавателя, препятствуетъ, слѣдовательно, съ тѣмъ вмѣстѣ развитію самой науки и задерживаетъ поступательное движеніе ея выводовъ“.

Вотъ основанія, побудившія комисію признать необходимость провозглашенія свободы преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

По проекту комисіи, открытіе высшихъ заведеній предоставлялось всякому совершеннолѣтнему гражданину, права котораго не ограничены судебнымъ приговоромъ; всякимъ ассоціаціямъ, учреждающимся специально для преподаванія, а также департаментамъ и общинамъ, какъ имѣющимъ, по закону, значеніе юридическихъ лицъ. Открытіе курсовъ обусловливалось своевременнымъ объявленіемъ о томъ правительству и сообщеніемъ ему списка профессоровъ и программъ преподаванія. Ученымъ ассоціаціямъ, образующимся съ цѣлями преподаванія, предоставлялось право ходатайствовать о признаніи ихъ учрежденіями общепольными, причемъ онѣ пріобрѣтали всѣ прочія права признаннаго правительствомъ юридическаго лица, т. е. могли пріобрѣтать имущество и входить въ юридическія обязательства. За учеными степенями признавалось ихъ прежнее значеніе. Принципъ американской свободы

въ этомъ дѣлѣ, такимъ образомъ, отвергался комисією. Далѣе комисія настаивала, что одному государству принадлежитъ исключительное право раздачи ученыхъ степеней, при посредствѣ признанныхъ имъ профессоровъ. Выдавая окончившему курсъ дипломъ кандидата правъ или доктора медицины, государство тѣмъ самымъ удостовѣряетъ передъ обществомъ, что данная личность получила достаточное образованіе и достойна по своимъ способностямъ общественнаго довѣрія. Отъ тяжущагося и отъ больнаго зависитъ затѣмъ выборъ изъ числа получившихъ дипломъ того адвоката или того медика, которому онъ самъ лично болѣе довѣряетъ. Но если государство предоставляетъ пользованіе принадлежащимъ ему правомъ учрежденіямъ имъ открытымъ и содержащимся на счетъ государственной казны, то отчего не допустить, чтобы оно могло передавать это право и свободнымъ факультетамъ, если заведенія эти, по удачному выбору профессоровъ, по высокому уровню преподаванія, наконецъ по своимъ ученымъ средствамъ, не только съ честію выдерживаютъ конкуренцію съ правительственными учрежденіями, но иногда даже превосходятъ ихъ. Руководясь этими соображеніями, комисія предлагала предоставить и свободнымъ факультетамъ право раздачи ученыхъ степеней, если только право это будетъ въ каждомъ особомъ случаѣ установлено специальнымъ на этотъ предметъ закономъ. Признаніе за законодательною властію обязанности въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ постановлять свое рѣшеніе о предоставленіи частному университету этого права основывалось на томъ, во-первыхъ, что правительственные факультеты всегда устанавливаютъ специальнымъ закономъ и что, слѣдовательно, сообщеніе частному заведенію принадлежащаго правительственному факультету права должно, по важности своей, также подвергаться обсужденію въ законодательномъ порядкѣ; а во-вторыхъ, что разрѣшеніе подобнаго вопроса законодательною властію предоставляетъ для частной инициативы больше гарантій, чѣмъ подчиненіе его канцелярскому произволу.

Въ своемъ заключеніи комисія заявляла, что недостаточно еще ограничиться однимъ признаніемъ начала свободы преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ то было уже сдѣлано для заведеній среднихъ и низшихъ. „Государству должна принадлежать въ этомъ отношеніи весьма дѣятельная роль, потому что оно не вправѣ оставить свои собственныя заведенія въ томъ состояніи упадка и забвенія, въ которомъ они находятся теперь. Важнѣйшимъ послѣдствіемъ провозглашенія свободы должно быть возбужденіе того оживляющаго соревнованія, которое приведетъ и правительство, и народъ къ сознанію необходимости значитель-

ныхъ пожертвованій, безъ которыхъ общественныя заведенія не могутъ быть поставлены на соотвѣтственную высоту. Недостаточно имѣть въ правительственныхъ факультетахъ нѣсколькихъ замѣчательныхъ ученыхъ, старательныхъ и ловкихъ преподавателей, недостаточно пользоваться высокимъ развитіемъ научныхъ познаній и горячею преданностію професоровъ своему дѣлу; необходимы еще три условія, послужившія сосѣднимъ народамъ способами къ лучшему достиженію воспитательскихъ цѣлей, а именно—достаточность матеріальныхъ средствъ, децентрализація и самоуправленіе въ университетахъ“. Только при соблюденіи этихъ условій ожидала комисія успѣха отъ примѣненія своего проекта и возможности достиженія Франціею того уровня ученаго и учебнаго развитія, который соотвѣтствуетъ потребностямъ современной культуры; стремиться къ этому въ настоящее время необходимо всякому государству, по меньшей мѣрѣ, съ такими-же жертвованіями, какъ и къ организаціи арміи. Комисія выразила свое полное сочувствіе извѣстному отвѣту Молтке на сдѣланный ему вопросъ, кого онъ считаетъ лучшимъ нѣмецкимъ генераломъ. „Генерала—университетскаго професора“, отвѣчалъ нѣмецкій фельдмаршалъ.

Первое возраженіе проекту комисіи въ версальскомъ собраніи было сдѣлано отъ имени крайней лѣвой партіи радикаловъ.

Одинъ изъ представителей этой партіи въ собраніи, Шалемель-Лакуръ, заявилъ, что, по его убѣжденію, проектированный комисіею законъ, при всей либеральности принципа, на которомъ онъ основанъ, послужитъ только вѣрнѣйшимъ средствомъ для папизма и достойныхъ его проповѣдниковъ, іезуитовъ, захватить въ свои руки образованіе французскаго юношества. Клерикалы смѣло могутъ рассчитывать на поддержку какъ общественной власти, такъ и множества частныхъ лицъ; они давно уже искусились въ дѣлѣ ловкаго привлеченія въ свою пользу всякаго рода матеріальныхъ средствъ; они и теперь уже вліяютъ на образованіе; если-же имъ развяжутъ руки, они тотчасъ-же направятъ высшее образованіе къ извѣстной, выгодной только для ультрамонтанства, цѣли. Не слѣдуетъ скрывать отъ себя, что католическое общество во Франціи сочувственно относится къ древнему католическому принципу повсемѣстнаго завладѣнія и захвата и въ значительной степени отступило отъ другого историческаго-же принципа, въ силу котораго и въ католицизмѣ явились-было національныя церкви, нѣсколько независимыя отъ папскаго вліянія и олицетворившіяся во Франціи въ такъ-называемомъ галликанизмѣ. Въ настоящее время о галликанизмѣ вовсе не слышно; все подчинилось римскому влія-

нію, признанному непогрѣшимымъ и покрывшему свою непогрѣшимостью отрицаніе всѣхъ либеральныхъ началъ, добытыхъ путемъ тяжелой борьбы и тяжкихъ общественныхъ переворотовъ. Часть французскаго юношества уже и теперь находится подъ этимъ всепоглощающимъ вліяніемъ; іезуиты успѣли захватить въ свои руки руководство многими первоначальными и средними учебными заведениями. Допущеніе - же этого вліянія на университетское образованіе приведетъ къ самымъ плачевнымъ результатамъ: противорѣчіе проповѣдуемыхъ въ свѣтскихъ и католическихъ университетахъ принциповъ вызоветъ между ними ожесточенную борьбу и двѣ Франціи станутъ одна противъ другой, оспаривая другъ у друга на всѣхъ рѣшительно пунктахъ, господство надъ массою, господство политическое и соціальное. Предсказать побѣду той или другой партіи въ настоящее время невозможно, но нельзя не предвидѣть, до какой степени настойчиво будутъ накопляться въ странѣ легко возгорающіеся элементы, которые въ рѣшительный моментъ борьбы могутъ привести къ совершенно неожиданнымъ переворотамъ.

Мрачная картина, нарисованная Шалемелемъ въ краснорѣчивой рѣчи, отличающейся столько-же логикою выводовъ, какъ и сдержанностью выраженій, была выслушана съ особымъ вниманіемъ и вызвала ропотъ правой стороны только въ ту минуту, когда авторъ, оставаясь послѣдовательнымъ въ своихъ выводахъ, пришелъ къ тому заключенію, что иностранныя государства будутъ видѣть въ дѣйствіяхъ Франціи рѣшительное намѣреніе способствовать всѣми средствами обще-католической реставраціи.

На другой день съ двухъ сторонъ послѣдовало возраженіе на рѣчь Шалемеля: отъ клерикаловъ и отъ комисіи, проектировавшей новый законъ.

Оставляя въ сторонѣ возраженіе орлеанскаго епископа, известнаго монсиньера Дюпанлу, защищавшаго клерикальныя тенденціи съ односторонностью, характеризующею его партію, остановлюсь на доводахъ Лабуле, поддержанныхъ рядомъ статей профессора Босира. Оба эти извѣстные университетскіе дѣятеля, безспорно хорошо знакомые съ дѣломъ, которое взяли защищать, высказали, однакожь, непростительный оптимизмъ на послѣдствія безусловной для всѣхъ свободы открытія университетовъ. Имъ непростительно было изъ любви и преданности къ свободѣ скрывать отъ себя опасныя послѣдствія ея широкаго примѣненія въ данномъ случаѣ. Гораздо честнѣе было-бы открыто высказать, что опасность дѣйствительно существуетъ и надо приискать средства для ея устра-

ненія. Такіе опытные дѣятели, какъ Лабуле и Босирь, должны были видѣть опасность, грозящую со стороны клерикаловъ.

Многія изъ опасеній Шалемеля и его партіи оправдались на первыхъ-же порахъ, тотчасъ по обнародованіи новаго закона. Теперь, когда клерикалы успѣли уже рядомъ дѣйствій, о которыхъ будетъ указано въ концѣ этого письма, показать, какими стремленіями они одушевлены, даже многіе католики не изъ ярыхъ фанатиковъ начинаютъ ужасаться послѣдствій новаго закона. По мнѣнію Лабуле, поддержанному Босиромъ, если-бы указаніямъ Шалемеля пришлось даже вполнѣ осуществиться, то и тогда дѣйствительные либералы получили-бы только право изъять свободу отъ злоупотребленій со стороны тѣхъ лицъ или корпорацій, которыя стали-бы стремиться къ обращенію ея въ привилегію для себя или въ монополію; но тѣмъ не менѣе они не имѣли-бы никакого права отказать въ пользованіи этою свободою всему прочему обществу изъ одного только опасенія, чтобъ противники ихъ не успѣли сдѣлать изъ нея оружіе противъ нихъ самихъ. Лабуле стремился доказать, что дѣйствительная свобода заключается именно въ разнообразіи и борьбѣ, проявляющихся съ одинаковою силою какъ на нравственной, такъ и на религіозной и политической почвѣ. По его словамъ, борьбу эту только не слѣдуетъ доводить до общественныхъ раздоровъ. „Но если подобная опасность и грозитъ теперь французскому обществу, вслѣдствіе раздѣльности его политическихъ симпатій, продолжаетъ далѣе Лабуле,—то неужели для ея устраненія достаточно придержать нѣсколько тысячъ студентовъ въ правительственныхъ школахъ, не допуская ихъ обученія духовными конгрегаціями? Если свобода преподаванія можетъ привести къ раздвоенію націи, то это несчастіе уже совершилось, и въ настоящее время такой бѣдѣ ничѣмъ помочь нельзя: раздвоеніе это, въ такомъ случаѣ, порождено уже свободою преподаванія въ низшихъ и среднихъ школахъ. Воспитаніе, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, гораздо ближе связано съ обученіемъ въ низшихъ и среднихъ курсахъ, чѣмъ въ университетскихъ, а потому, если системы преподаванія могутъ приводить къ раздѣльности національныхъ сочувствій и тенденцій, то ограниченіе ихъ свободнаго примѣненія слѣдуетъ начинать съ низшихъ инстанцій.“ Лабуле не скрываетъ отъ себя значенія раздѣльности, существующей во французскомъ обществѣ относительно политическихъ убѣжденій, но онъ не допускаетъ мысли, чтобы раздѣльность эта могла усилиться вслѣдствіе борьбы университета и конгрегацій на почвѣ обученія. Не безъ основанія приписываетъ онъ настоящій порядокъ вещей отсутствію стойкости въ учрежденіяхъ, противоположности проявляющихся интересовъ, на-

конецъ чисто-семейнымъ и сословнымъ предрасудкамъ, устраненія которыхъ не можетъ добиться никакая система воспитанія при невѣжествѣ, отличающемъ массы, и бурныхъ страстяхъ, руководящихъ партіями.

Этимъ возраженіемъ заключились пренія послѣ второго чтенія проекта новаго закона. Съ наступленіемъ 1875 года версальское собраніе занялось обсужденіемъ другихъ дѣлъ, которыя, по общему политическому значенію своему, привлекли все его вниманіе, такъ что проектъ о высшемъ образованіи попалъ снова въ очередь только въ іюнь мѣсяцѣ. Въ это время и произошла рѣшительная борьба, изъ которой клерикалы вышли до извѣстной степени побѣдителями.

Первый ударъ съ цѣлью поддержать тенденціи духовенства былъ совершенно неожиданнымъ.

Право открытія высшихъ учебныхъ заведеній по проекту представлялось департаментамъ и общинамъ, представляющимъ собою извѣстныя территоріяльныя дѣленія, имѣющія значеніе юридическихъ лицъ. При второмъ чтеніи проекта къ департаментамъ и общинамъ были прибавлены, по предложенію депутата крайней правой стороны Шенелона, діоцезы, т. е. епархіи.

Надо было видѣть, что за буря поднялась и въ самомъ версальскомъ собраніи, и въ особенности въ печати!

Какъ извѣстно, епархія или діоцезъ представляетъ собою территоріяльное, церковное дѣленіе, заключающее въ себѣ большее или меньшее число приходовъ и подчиненное управленію епископа. По порядку, принятому въ католической церкви, нѣсколько такихъ епархій могутъ составлять такъ-называемую церковную провинцію, во главѣ которой поставленъ церковью архіепископъ. Но ни епархія, ни церковная провинція не представляютъ собою ни публичнаго учрежденія, ни юридическаго лица: и та, и другая ничто иное, какъ административное, фиктивное дѣленіе территоріи, подобное округамъ военнымъ, народнаго просвѣщенія или путей сообщенія.

Либеральная пресса разбирала этотъ вопросъ со всѣхъ сторонъ и доказывала, что эта попытка духовенства сдѣлать епархію юридическимъ лицомъ уже не первая; клерикальная партія уже давно стремилась, чтобы законъ поставилъ епархію въ число такихъ учреждений, которыя имѣютъ право владѣть имуществомъ, приобрѣтать недвижимость и наследовать по завѣщанію. Но попытки эти каждый разъ проваливались, а въ 1841 году государственный совѣтъ постановилъ окончательно, что епархію не должно разсматривать, какъ нравственную личность, и что поэтому всякое приобрѣтеніе имущества именовъ епархіи должно почитаться незаконнымъ. Кле-

рикалы указывали на нѣсколько примѣровъ допущенія исключеній изъ этого закона, но они доказываютъ только возможность обходить законъ или злоупотреблять имъ, въ чемъ, конечно, никто не сомнѣвался, зная, какъ ловко умѣютъ иезуиты вывертываться изъ всякихъ затрудненій.

Предложеніе Шенелона было отвергнуто при третьемъ чтеніи проекта. Впрочемъ, клерикаламъ не было вовсе практической надобности поддерживать его, такъ-какъ въ завѣдываніи духовенства есть установленія, имѣющія значеніе юридическихъ лицъ; этого значенія никто не можетъ оспаривать у епископовъ, у консисторій или у духовныхъ семинарій, такъ что клерикальная партія всегда нашла-бы возможность приурочить открытіе всякаго учебнаго заведенія въ лицу, дѣйствительно юридическому. Однакожь попыткой ввести епархіи въ разрядъ установленныхъ, о предоставленіи права которымъ на открытіе высшихъ школъ сдѣлано прямое указаніе въ законѣ, клерикалы успѣли достигнуть того, что, выключивъ изъ статьи упоминаніе о діоцезахъ, пришлось вмѣстѣ съ тѣмъ выключить и прочія административныя дѣленія, т. е. департаменты и общины. Добытый результатъ, разумѣется, не имѣетъ никакого практическаго значенія, но онъ характеризуетъ взаимное отношеніе версальскихъ партій и силу клерикализма.

Сила эта обнаружилась еще ярче при обсужденіи вопроса о раздачѣ ученыхъ степеней.

Клерикалы настойчиво требовали, чтобы право раздачи ученыхъ степеней въ одинаковой мѣрѣ принадлежало какъ правительственнымъ, такъ и частнымъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ. Либеральность—по крайней мѣрѣ, по наружности—этого предложенія, требовавшаго новаго примѣненія принципа свободы, заставила высказаться въ его пользу многихъ развитыхъ депутатовъ и даже часть свободомыслящей прессы. Эти господа забыли, что даже въ гимназіяхъ и низшихъ заведеніяхъ выдача свидѣтельствъ объ окончаніи курсовъ и о приобрѣтеніи познаній предоставлена была только однимъ правительственнымъ заведеніямъ. Какъ-то странно было слышать, что университетскіе дѣятели, въ числѣ ихъ и Лабуле, отстаиваютъ право частныхъ заведеній на выдачу ученыхъ степеней доктора или магистра въ то время, какъ подобныя-же второстепенныя и третъестепенныя заведенія не могутъ выдать свидѣтельства на учительское званіе или даже на окончаніе курса въ гимназіи!

Свобода преподаванія въ школахъ низшаго и средняго разрядовъ предоставляла каждому гражданину право имѣть воспитанниковъ, обучать ихъ и готовить къ полученію диплома отъ

правительственныхъ учреждений. Прежде никому и въ голову не приходило требовать расширенія этого права, но какъ только зашла рѣчь о высшемъ образованіи, то явилось требованіе болѣе широкаго примѣненія предоставляемой свободы обученія. Дѣло шло теперь уже не только о правѣ обучать юношество, но также удостовѣрять о результатахъ обученія, снабжая экзаменующихся привилегіями, которыя до сихъ поръ исходили исключительно отъ правительства.

Многія изъ первоначальныхъ школъ во Франціи находятся въ вѣденіи духовныхъ конгрегацій; имъ предоставлено право выдавать своимъ воспитанникамъ аттестаты зрѣлости на подобіе тѣхъ, которые выдаются воспитанникамъ свѣтскихъ первоначальныхъ школъ. Но онѣ не пользовались правомъ выдачи своимъ воспитанникамъ свидѣтельствъ на учительское званіе. Право это исключительно принадлежитъ правительственнымъ академіямъ и никто не оспариваетъ у нихъ этой монополіи.

Такъ-же точно, при существующей свободѣ гимназическаго обученія, воспитанники гимназій, содержимыхъ общинами, частными лицами или іезуитами, для полученія званія бакалавра обязаны сдавать экзамень передъ комисією професоровъ, преподающихъ въ заведеніяхъ, принадлежащихъ къ вѣдомству министерства народнаго просвѣщенія. И въ этомъ случаѣ никто не оспаривалъ законности такой монополіи правительства. Теперь-же даже нѣкоторые либералы, во имя принципа свободы, прикрываютъ притязаніе духовенства на болѣе полное господство надъ умами, чего оно достигнетъ, приобрѣтя право выдавать своимъ ученикамъ дипломы и тѣмъ привлекая большее число желающихъ поступать въ іезуитскія школы. Всякій очень хорошо понимаетъ, что свободныя ассоціаціи по-необходимости должны будутъ искать въ облегченіи способа полученія дипломовъ исхода изъ томительной борьбы за существованіе. Школамъ прежде всего нужно имѣть средства къ жизни, а эти средства, конечно, увеличатся для частныхъ заведеній, если они облегчатъ своему воспитаннику возможность полученія диплома.

Въ своемъ проектѣ комисія требовала одного условія для признанія за частнымъ заведеніемъ права выдачи дипломовъ: спеціальнаго дарованія этого права законодательнымъ путемъ. Но уже въ самомъ началѣ преній эта часть проекта была отвергнута. Собраніе остановилось на бельгійской системѣ смѣшанныхъ жюри; съ этой минуты воинствующій клерикализмъ сталъ заботиться болѣе всего объ изысканіи средствъ обезпечить своимъ заведеніямъ возможность имѣть перевѣсъ при образованіи личнаго состава этихъ жюри. Примѣръ Бельгіи въ этомъ отношеніи былъ весьма поучи-

теленъ для французскаго духовенства и монсиньеру Дюпанлу стоило только обратиться къ изученію университетской жизни сосѣднаго народа, чтобы найти это средство.

Люди, поверхностно относившіеся къ вопросу, въ системѣ смѣшанныхъ жюри усмотрѣли самое справедливое и разумное разрѣшеніе спорнаго вопроса. Что могло, съ перваго взгляда, казаться болѣе справедливымъ, какъ не совмѣстное обсужденіе степени подготовки экзаменующагося одинаковымъ числомъ экзаменаторовъ, какъ отъ университета, такъ и отъ той частной школы, которая приготовляла его къ экзамену? Чѣмъ могло лучше выразаться значеніе правительственныхъ органовъ, какъ не предоставленіемъ университетскимъ профессорамъ голоса, разрѣшающаго вопросъ окончательно, въ случаѣ разногласія?

Оптимисты, конечно, довольствовались такими умозаключеніями, но люди, думающіе о будущемъ, разсуждали иначе. Ихъ пугаль примѣръ Бельгіи. Бельгійскіе профессора часто заявляли о неудобствахъ системы смѣшаннаго жюри. „Если учрежденіе смѣшаннаго жюри не принесло въ Бельгіи особаго вреда экзаменамъ на факультетахъ права и медицины, писалъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ бельгійскихъ профессоровъ,—то для полученія ученой степени на факультетѣ общеобразовательныхъ наукъ этотъ порядокъ сопровождался весьма невыгодными результатами“. Между тѣмъ въ Бельгіи существуетъ равное число университетовъ либеральныхъ и клерикальных, такъ-что въ смѣшанныхъ жюри представляется еще возможность приходить къ соглашенію, которое будетъ невозможно, если перевѣсъ численности окажется на той или другой сторонѣ. Съ этимъ соглашались даже бельгійскіе клерикалы, но французскіе не хотѣли слушать никакихъ возраженій: Дюпанлу, а за нимъ и вся партія, требовали смѣшаннаго жюри, и хотя противъ нихъ говорили такіе ораторы, компетентность и вліятельность которыхъ не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, побѣда осталась за ними. Противъ нихъ выступили Ферри, Жюль Симонъ и Лабуле, но всѣ доводы этихъ специалистовъ по вопросамъ народнаго образованія были безсильны измѣнить заранѣе принятое рѣшеніе и бельгійская система стала торжествующей. Смѣшанное жюри для экзаменовъ учреждено, а выборъ профессоровъ, которые должны входить въ составъ этого жюри, предоставленъ министру народнаго просвѣщенія. Такимъ образомъ, стремленіе клерикаловъ облегчить учащейся въ ихъ школахъ молодежи полученіе дипломовъ вполнѣ удовлетворено; мало того, предоставляя администраціи, а не самому ученому сословію назначеніе профессоровъ въ смѣшанное жюри, національное собраніе дало полную возможность

министру, мирволящему клерикаламъ, составлять жюри исключительно изъ представителей этой партіи. Клерикалы вышли побѣдителями, и надо быть ужъ слишкомъ наивнымъ оптимистомъ, чтобы не предвидѣть, что эта побѣда приведетъ къ весьма плачевнымъ результатамъ, однимъ изъ которыхъ несомнѣнно будетъ значительное пониженіе и теперь уже невысокаго уровня высшаго образованія во Франціи.

Либеральныя газеты всѣхъ оттѣнковъ были ошеломлены такимъ рѣшеніемъ собранія. Всѣ онѣ безъ исключенія сочли таковой исходъ дѣла пагубнымъ для Франціи. Нѣкоторыя изъ нихъ высказали даже такую мысль, что примѣненіе новой образовательной системы во Франціи позволитъ Германіи уменьшить свое войско на 500,000 солдатъ, потому что Франція будетъ не въ состояніи выказать значительной силы сопротивленія. Далѣе приводились слѣдующія слова, сказанныя будто-бы княземъ Горчаковымъ: „Надо подождать окончательнаго рѣшенія вопроса о высшемъ образованіи, чтобы судить, на-сколько Франція стала теперь ультрамонтанскою“.

Что версальское законодательное собраніе проникнуто духомъ ультрамонтанства, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія, и чтобы въ этомъ убѣдиться, можно даже обойтись безъ ссылки на законъ о свободѣ преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Уже три года тому назадъ, въ бытность президентомъ Тьера, фанатики крайней правой стороны требовали, чтобы правительство вступилось за такъ-называемыя права римскаго престола, и только осторожность и дипломатическій тактъ стараго политика Тьера спасли Францію отъ столкновенія съ Италіей, весьма недружелюбно относившейся къ гласнымъ заявленіямъ и петиціямъ французскихъ епископовъ въ пользу папской куріи. Затѣмъ не далѣе, какъ прошедшею осенью, клерикалы версальскаго собранія вели ожесточенную борьбу съ министромъ иностранныхъ дѣлъ, герцогомъ Деказомъ, за то, что онъ намѣревался отозвать изъ итальянскихъ водъ французскій корабль „Ориноко“, посланный почему-то въ распоряженіе папы.

Но по клерикальнымъ симпатіямъ депутатовъ версальскаго собранія не слѣдуетъ еще судить о направленіи общественнаго мнѣнія всей страны. Напротивъ, впечатлѣніе, произведенное на публику рѣшеніемъ вопроса о свободѣ преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, свидѣтельствуетъ, что либеральныя партіи всѣхъ оттѣнковъ ведутъ дѣятельную борьбу противъ ультрамонтанства, успѣвшаго окрѣпнуть во время второй имперіи. Лица, въ либерализмъ которыхъ можно усомниться, по нѣкоторымъ вопросамъ принадлежащія даже къ лагерю усердныхъ католиковъ, гласно за-

являли свои опасенія за тѣ послѣдствія, которыя можетъ имѣть новый законъ. Одно версальское собраніе, несмотря на сомнѣнія, обнаруживаемыя публикою, осталось непоколебимымъ въ своемъ стремленіи поддержать затѣи духовенства. Странно было видѣть, какъ засѣдающіе въ Версали поборники конституціонной монархіи, стойко поддерживавшіе во времена Людовика - Филиппа самостоятельность галликанской церкви и затѣмъ съ усердіемъ подписывавшіеся, во времена второй имперіи, на сооруженіе памятника Вольтеру, — какъ эти самые люди подали руку иезуитамъ и вступили въ союзъ съ клерикалами. Союзъ этотъ съ ихъ стороны столько-же искрененъ, какъ и союзъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ заключенный ими съ республиканцами: съ ними они хотѣли испровергнуть имперію, а теперь, съ клерикалами, хотятъ испровергнуть республику. Въ этомъ заключается весь секретъ, почему Дюпанлу получилъ поддержку конституціоналистовъ, недавнихъ противниковъ клерикальной партіи. За этотъ подвигъ, какъ ходятъ слухи, Дюпанлу получить въ награду кардинальскую шляпу.

Клерикалы хорошо знаютъ, что борьба на этомъ не кончится и что рано или поздно законодательное собраніе придетъ къ убѣжденію въ необходимости пересмотрѣть новый законъ. Поэтому они не упускаютъ времени и стараются какъ можно скорѣе воспользоваться выгодами, которыя они могутъ извлечь изъ настоящаго положенія. Тотчасъ-же по обнародованіи новаго закона въ Лиллѣ былъ открытъ католическій юридическій факультетъ. Духовенство купило для факультета старое зданіе лилльской префектуры, заплативъ за него 600,000 франковъ; явились профессора и слушатели. Всѣ пустыя стѣны въ Лиллѣ были залѣплены публикаціями объ открытіи курса въ новомъ заведеніи; въ публикаціяхъ заявлялось, что такъ-какъ слушатели этихъ курсовъ должны будутъ сдавать экзамень передъ правительственною комисіею, личный составъ которой пока неизвѣстенъ, то они освобождаются отъ какихъ-бы то ни было денежныхъ расчетовъ съ учредителями курсовъ. Какова приманка!

Одинъ мой знакомый въ то время находился въ Лиллѣ. Въ свободную минуту онъ вздумалъ посѣтить учебное заведеніе. Входя въ заведеніе онъ нашель запертымъ, однакожь позвонилъ; ему тотчасъ отворили. На вопросъ, можно-ли ему войти на лекцію, швейцаръ отвѣчалъ, что всѣ курсы въ заведеніи открыты для посѣщенія публики. Мой знакомый пошелъ на лекцію естественнаго права, читаемаго иезуитомъ Кошаромъ. Въ аудиторіи было шесть слушателей, изъ нихъ одинъ въ рясахъ. Вошелъ профессоръ и началъ съ молитвы, которую слушатели повторили за нимъ, преклонивъ

колѣна передъ классными скамьями. По окончаніи молитвы началась лекція. Вопросъ шелъ о духовныхъ завѣщаніяхъ и затрудненіяхъ, установленныхъ французскимъ кодексомъ, относительно права завѣщать имущество постороннимъ лицамъ, внѣ прямыхъ наслѣдниковъ. Дѣйствующій законъ былъ подвергнутъ профессоромъ рѣзкой критикѣ; профессоръ негодовалъ, что французскій законъ поставилъ множество затрудненій для передачи имущества въ руки духовенства, монастырей и конгрегацій. Профессоръ коснулся также порядковъ въ Италіи, которые, по его мнѣнію, могутъ привести только къ полному паденію, „эта страна съ каждымъ годомъ приближается къ своей гибели съ того момента, какъ она объединилась подъ единымъ свѣтскимъ владычествомъ.“

По окончаніи лекціи была снова прочитана молитва и слушатели разошлись по домамъ.

Слушателей въ новой католической школѣ пока только шесть человѣкъ, но нѣтъ сомнѣній, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ ихъ будетъ очень много. Руководители не пожалѣютъ никакихъ средствъ для привлеченія учениковъ: будутъ пущены въ ходъ и даровые курсы, и обѣщаніе специальныхъ подготовокъ, а члены экзаменаціонныхъ комисій, назначаемые изъ числа профессоровъ клерикальных заведеній, выступать, разумѣется, не критиками познаній своихъ учениковъ, а ихъ адвокатами передъ остальными членами жюри. Все будетъ сдѣлано, чтобы облегчить юношамъ полученіе тѣхъ ученыхъ степеней, которыя имъ необходимы.

Ничего нѣтъ удивительнаго, что клерикалы спѣшатъ воспользоваться одержанною побѣдою. Католическое духовенство никогда не отличалось великодушіемъ въ пользованіи своими правами. Выговоривъ себѣ какое-нибудь право, католическій патеръ всегда пользуется имъ во всемъ объемѣ и не пропускаетъ случая расширить предѣлы его примѣненія. Едва получивъ право открывать высшія учебныя заведенія, католическое духовенство уже довольно размѣрами этого права. Закладывая четыре новыхъ университета въ государствѣ, въ Парижѣ, Лиллѣ, Пуатье и Анжерѣ, оно уже жалуется на стѣсненія и вскорѣ станетъ добиваться новыхъ правъ, о чемъ довольно откровенно заявили анжерскій епископъ и папскій легатъ Нарди на конгрессѣ въ Пуатье.

Либеральная пресса гремитъ ежедневными статьями противъ новаго закона. Изъ числа многихъ брошюръ, направленныхъ противъ этого закона, особенно замѣчательна брошюра, изданная извѣстнымъ профессоромъ Лавеле. Въ ней Лавеле старается опредѣлить, какую роль въ міровой цивилизаціи играютъ католическіе

народы, и приходитъ къ заключеніямъ, далеко неутѣшительнымъ для своихъ соотечественниковъ.

По мнѣнію Лавеле, не можетъ быть сомнѣнія въ общемъ упадкѣ нравственной силы католическихъ народовъ; стоитъ сравнить, съ одной стороны, Россію, Англию, Германію и Соединенные Штаты съ Франціей, Австріей, Испаніей, Италіей и южною Америкою съ другой, чтобы убѣдиться, какія изъ этихъ государствъ пользуются бѣльшимъ благосостояніемъ, спокойствіемъ, могуществомъ и богатствомъ. Не лишнее также сдѣлать сравненіе между католиками и протестантами въ тѣхъ городахъ, гдѣ они живутъ вмѣстѣ, въ Ирландіи, Швейцаріи и Франціи. Лавеле утверждаетъ, что въ южныхъ, промышленныхъ городахъ Франціи вся промышленная дѣятельность и богатства сосредоточены въ рукахъ реформатовъ. Католическія націи, по словамъ Лавеле, лишены силы размноженія, которою отличаются протестанты; католики почти не увеличиваются въ своей численности и рѣшительно неспособны къ колонизаціи.

Лавеле приписываетъ это не малой способности племенъ, заселяющихъ католическія страны, а влиянію католицизма. Протестантизмъ сочувственно относится къ развитію; католицизмъ-же опасается образованія, послѣдствіемъ котораго является ослабленіе начала пассивнаго подчиненія. Католицизмъ, вторгаясь въ общественную и семейную жизнь народа, всегда раздѣляетъ его на два, безусловно враждебные другъ другу лагера: съ одной стороны—его поклонники, слѣпо придерживающіеся устарѣлыхъ формъ; съ другой—люди прогресса, защитники реформъ. Вѣрные послѣдователи идей католицизма не дѣлаютъ никакихъ уступокъ, почитая стойкость своихъ убѣжденій необходимымъ условіемъ спасенія; не меньшей стойкостію отличаются и ихъ противники, во-первыхъ, потому, что они съ молокомъ матери всосали ненависть къ папизму, а во-вторыхъ, потому, что они не могутъ не видѣть въ клерикалахъ враговъ всякой самостоятельности, всѣхъ либеральныхъ учреждений, всего, что человѣчество приобрѣло путемъ настойчиваго труда и многихъ страданій. Обѣ стороны отъ души ненавидятъ одна другую и со страстью ведутъ между собой ожесточенную борьбу, которая мѣшаетъ прогрессивному движенію. Нація не желаетъ подчиняться требовательности римской курии, но въ то-же время не можетъ устранить ея тягостнаго гнета; она теряетъ силы и оказывается мало способною къ прогрессивному развитію. Даже Бельгія, несмотря на ея кажущееся благосостояніе, по словамъ Лавеле, подвергается растлѣвающему влиянію этой борьбы, что въ особенности очевидно выражается въ томъ антагонизмѣ, который существуетъ между тенденціями городскаго и сельскаго населенія.

Чѣмъ-же должно кончиться, если клерикализму удастся, тѣмъ или другимъ средствомъ, одержать окончательную побѣду?

Лавеле рисуесть будущность католической Европы нѣсколько мрачными красками. Воззрѣнія его похожи на мнѣнія нашихъ славянофиловъ, скептически относящихся къ вопросу о будущности „гнилого Запада“. Если воззрѣнія эти нѣсколько и преувеличены, то, съ другой стороны, тѣ крайности, въ которыя вдался католицизмъ за послѣдніе годы, дѣйствительно могутъ возбудить опасенія за дальнѣйшій поступательный ходъ цивилизаціи въ католическихъ странахъ. Во всякомъ случаѣ, тотъ тонъ, который принимаетъ ультрамонтанское духовенство по поводу новаго закона о свободѣ преподаванія, не можетъ не обратить на себя вниманія. Борьба съ университетомъ и его тенденціями готовится страшная, и нельзя предвидѣть, какъ скоро университетъ выйдетъ изъ нея побѣдителемъ. Одна вѣра въ безусловное прогрессивное движеніе всего, что совершается въ мірѣ, укрѣпляетъ въ свидѣтель настоящихъ событій убѣжденіе, что окончательная побѣда не можетъ остаться на сторонѣ клерикаловъ.

Анонимъ.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

(English Men of Science, their nature and nurture. By Francis Galton. London 1874. — English Eccentrics and Eccentricities. By John Timbs. London. 1875.)

Авторъ извѣстнаго изслѣдованія о наслѣдственности генія, Гальтонъ, задумалъ написать „естественную исторію современнаго англійскаго ученаго“ *). Книга его далеко не выполняетъ такого грандіознаго обѣщанія; это не ученое изслѣдованіе, а только начало подготовительной работы, но работы, во всякомъ случаѣ, интересной. Матеріаломъ ему служили составленныя по его программамъ автобіографическія показанія 180-ти болѣе или менѣе извѣстныхъ ученыхъ Англии, живущихъ преимущественно въ Лондонѣ или вблизи него. Во всѣхъ-же Соединенныхъ Королевствахъ Гальтонъ насчитываетъ до 300 ученыхъ. „Нѣкоторые изъ моихъ читателей, говоритъ онъ,—вѣроятно, изумятся тому, что въ Великобританіи можно найти 300 человекъ, заслуживающихъ названія ученыхъ, такъ-какъ они привыкли сосредоточивать свое вниманіе на немногихъ знаменитостяхъ и игнорировать ихъ товарищей по наукѣ. Но нужно вспомнить, что всѣ біографіи, даже величайшихъ людей, упоминаютъ объ одновременно съ ними работавшихъ дѣятеляхъ, заслуги и вліяніе которыхъ обыкновенно чрезвычайно низко цѣнятся профанами. Многія великія открытія совершены одновременно нѣсколькими дѣятелями, не знавшими другъ друга. Это показываетъ, что открыватели получали вдохновеніе изъ какого-нибудь одного, но скрытаго источника. Въ поясненіе такого взгляда достаточно упомянуть о немногихъ великихъ открытіяхъ нашего времени. Изобрѣтеніе фотографіи

*) Подъ *science* Гальтонъ, какъ всѣ англичане, подразумѣваетъ однѣ точныя науки, подъ *ученымъ*—только занимающагося точными науками.

„Дѣло“, № 10.

совершенно Дагерромъ и Тальбо въ 1839 г., но Томасъ Уэджвудъ былъ фотографомъ еще въ 1802 г. Законъ происхожденія видовъ открытъ Валласомъ одновременно съ изслѣдованіями Дарвина, но совершенно независимо отъ нихъ. Въ спектральномъ анализѣ идеи Стока предшествовали вполне самостоятельнымъ трудамъ Кирхгофа и Бунзена. Электрическій телеграфъ имѣетъ своихъ родоначальниковъ въ Германіи, Англии и Америкѣ. Одновременное открытіе планеты Нептунъ, сдѣланное на основаніи теоретическихъ соображеній Адамсомъ и Леверье, служитъ весьма интереснымъ поясненіемъ рассматриваемаго предмета. Въ патентованныхъ изобрѣтеніяхъ фактъ одновременнаго открытія встрѣчается сплошь и рядомъ. Такимъ образомъ, лишь немногія открытія совершены однимъ человекомъ. Неясныя и неопредѣленныя идеи, которыя обращаются въ обществѣ и въ литературѣ, растутъ, концентрируются, развиваются, пока ими не овладѣетъ умъ, болѣе прозорливый и быстрый, чѣмъ другіе. Такимъ образомъ, Лапласъ воспользовался туманной гипотезой Канта, а Бентамъ фразой Пристлея о „наибольшемъ счастіи наибольшаго числа людей“, чтобы развить эти идеи въ цѣлую систему. Первые открыватели поражаютъ своихъ современниковъ относительно времени и дѣлаются руководителями мысли. Они направляютъ интеллектуальную энергію своего времени по открытому ими пути. Наука, поэтому, обязана имъ не тѣмъ, что она прогрессируетъ, но данною быстротою своего прогресса и указаннымъ ими направленіемъ. Небольшое число первостепенныхъ ученыхъ можно сравнить съ островами, которые являются вовсе не отдѣльными предметами, какими они кажутся глазу, но составляютъ лишь часть возвышенностей, масса которыхъ невидима подъ водою. Мое изслѣдованіе хватаетъ нѣсколько глубже того уровня, съ котораго начинается обыкновенно ученая репутация“.

³/₄ ученыхъ—чистые англичане. Большая половина ихъ происходитъ изъ городовъ. Изъ ста ученыхъ родилось—

въ Лондонѣ и его окрестностяхъ	21
— большихъ городахъ	18
— небольшихъ городахъ	21
не въ городахъ	40

При этомъ обращаетъ на себя вниманіе тотъ въ высшей степени странный фактъ, что выборъ ученой спеціальности сплошь

и рядомъ стоитъ въ прямой противоположности съ вліяніемъ обстановки мѣста рожденія. Механики обыкновенно происходятъ изъ деревень, а биологи часто изъ городовъ. Родители ученыхъ принадлежатъ къ самымъ разнообразнымъ профессіямъ. Изъ 107 ученыхъ происходили отъ—

а) дворянъ.	9
б) военныхъ 6, гражданскихъ чиновниковъ 9, мелкихъ чиновниковъ 3, всего	18
с) юристовъ 11, медиковъ 9, духовныхъ 6, учителей 6, архитекторъ 1, секретарь страхового общества 1, всего.	34
д) банкировъ 7, крупныхъ и мелкихъ купцовъ 21, фабрикантовъ 15.	43
е) фермеровъ	2
ф) остальныхъ.	1
	107

Такимъ образомъ, средніе классы (b, c, d) дали наибольшее число ученыхъ, 95 человекъ, а высшіе и низшіе (a, e, f) только 12. Но при всемъ томъ, главнымъ источникомъ, изъ котораго черпаетъ страна свои интеллигентныя силы, служатъ низшіе классы, какъ это признаетъ и самъ аристократичный Гальтонъ. „Высшіе классы націи, говоритъ онъ,—въ широкихъ размѣрахъ и постоянно пополняются посредствомъ подбора изъ низшихъ классовъ“ (from below). Въ другомъ мѣстѣ мы уже говорили о томъ, что своимъ процвѣтаніемъ и развитіемъ англійская литература обязана главнымъ образомъ постоянному приливу свѣжихъ силъ изъ низшихъ и среднихъ классовъ общества. Этотъ приливъ совершается двумя путями: во-первыхъ, непосредственно, когда въ научной и литературной сферѣ являются такіе люди, какъ сынъ сапожника Марло, сынъ перчаточника Шекспиръ, сынъ портного Джонъ Стоу, сынъ дворецкаго Свифтъ, сынъ мясника Дефо, крестьяне: Борнсъ, Карлтонъ и Коббетъ и т. д.; во-вторыхъ, когда упомянутые дѣятели происходятъ отъ людей среднихъ или высшихъ классовъ, вышедшихъ изъ народа, какъ, напр., внукъ пастуха Бэкона *).

Изъ приведенныхъ у Гальтона таблицъ о темпераментѣ, цвѣ-

*) „Литературныя силы Англій“, „Дѣло“, 1874 г. кн. 12.

тѣ волосъ и конституціи тѣла родителей ученыхъ людей видно, что въ бразахъ ихъ гармонія рѣшительно преобладаетъ надъ контрастомъ; относительно темпераментовъ, напр., гармонія : контрастъ=5:1. Первенцы имѣютъ большой перевѣсъ надъ младшими сыновьями; такъ, напр., изъ 99 ученыхъ единокровныхъ сыновей (обыкновенно первенцевъ) 22, старшихъ 26, младшихъ 15, среднихъ, непосредственно слѣдующихъ за старшими, 13, непосредственно предшествующихъ младшимъ 12, занимающихъ самую среднюю ступень въ ряду своихъ сестеръ и братьевъ—11. Родители ученыхъ имѣли при рожденіи послѣднихъ—отцы 36 лѣтъ среднимъ числомъ, а матери 30. Особенная даровитость первенцевъ объясняется молодою полнотою силъ ихъ родителей и тѣмъ, что за первымъ ребенкомъ уходъ всегда бываетъ лучше, чѣмъ за слѣдующими. Родители ученыхъ отличаются обыкновенно большою плодovitостью; Гальтонъ считалъ братьевъ и сестеръ ученыхъ, исключая тѣхъ, которые умерли въ дѣтствѣ, потомъ братьевъ и сестеръ, достигшихъ тридцатилѣтняго возраста, и нашелъ, что ихъ приходится на 1 ученаго въ первомъ случаѣ 6,30, во второмъ 4,80. Что-же касается дѣтей самихъ ученыхъ, то, за исключеніемъ безплодныхъ браковъ, ученый имѣетъ среднимъ числомъ 4,7 дѣтей,—слѣдовательно, чадородіе ученыхъ слабѣе чадородія ихъ родителей; этотъ фактъ подтверждаетъ то общераспространенное мнѣніе, что семейства людей, работающихъ мозгомъ, стремятся къ вымиранію. „Мои цифры, говоритъ Гальтонъ,—даютъ замѣчательный выводъ, что изъ каждаго 3 ученыхъ у одного вовсе нѣтъ дѣтей. По моему мнѣнію, обыденный опытъ вполне подтверждаетъ такой результатъ, и тѣ читатели, которые много вращаются въ обществѣ интеллигентныхъ людей, знаютъ, конечно, многихъ лицъ обоого пола, особенно женщинъ, одаренныхъ отличными способностями, здоровьемъ и энергіей, но мѣтѣ здоровыхъ, чѣмъ ихъ родители, и вовсе неимѣющихъ дѣтей“ (стр. 38). Такимъ образомъ, „наслѣдственность гениа“ получаетъ сильный ударъ въ этомъ стремленіи интеллигентныхъ фамилій къ вымиранію и образованіе наслѣдственной аристократіи ума дѣлается невыслышимъ. Да и наслѣдственность таланта, доказываемая Гальтономъ, не имѣетъ того значенія, какое можно признать за нею съ перваго взгляда. Приводимыя имъ цифры доказываютъ, что гениальные люди происходятъ изъ даровитыхъ семействъ

и имѣютъ способныхъ дѣтей, но при этомъ потомство крупнаго таланта обыкновенно гораздо слабѣе его въ умственномъ отношеніи. Даровитость семьи часто поражаетъ, когда дѣло идетъ о братьяхъ или о дядяхъ и племянникахъ, но при сравненіи самыхъ выдающихся личностей въ семействѣ съ дѣтьми ихъ оказывается, что если послѣднія и наследуютъ способности своихъ родителей, то въ гораздо меньшихъ размѣрахъ. Гальтонъ не обращаетъ вниманія и на тотъ фактъ, что въ даровитыхъ фамиліяхъ съ каждымъ поколѣніемъ число выдающихся дѣтей быстро уменьшается сравнительно съ числомъ ихъ посредственныхъ сестеръ и братьевъ. Для того, чтобы уяснить это, мы расположимъ цифры Гальтона слѣдующимъ образомъ:

	1-е поколѣніе.		2-е поколѣніе.		3-е поколѣніе.	
	Число лицъ.	Изъ нихъ знаменитыхъ.	Число лицъ.	Изъ нихъ знаменитыхъ.	Число лицъ.	Изъ нихъ знаменитыхъ.
Альдерсонъ	7	3	17	6	—	—
Бентамъ	3	2	—	—	—	—
Карпентеръ	—	1	5	3	—	—
Дарвинъ	—	1	10	3	24	3
Даусонъ-Тюрнеръ	—	1	8	6	8	4
Гарзауртъ	—	1	13	4	23	2
Гилль	—	1	7	5	31	2
Латробъ	—	1	3	2	9	2
Плэфайръ	—	1	7	3	41	2
Роско	—	1	10	6	33	3
Тэйлоръ	—	1	3	3	6	4
Виджвудъ	—	1	7	1	—	—

Подобные же выводы можно получить изъ семейныхъ списковъ русскихъ писателей. Вотъ примѣры:

	Число знаменитостей.	Знаменитыхъ дѣтей, происходящихъ отъ знаменитыхъ отцовъ.
Тургеневы	3 брата и 1 племянникъ	0
Майковы	3 брата	0
Пушкины	1 дядя и 1 племянникъ	0
Хомяковы	2 брата	0
Аксаковы	1	2
Бѣлинскіе	1	0

Карамзины . . .	1	0
Жуковскіе . . .	1	0
Ломоносовы . . .	1	0
Новиковы . . .	1	0
Дмитріевы . . .	1	дядя и 1 племянникъ	0
Панаевы	1	„ „ 1 „	0
Каченовскіе . .	1	„ „ 1 „	0

Словомъ, дѣло имѣетъ такой видъ, что интеллектуальныя силы фамиліи растутъ до тѣхъ поръ, пока сосредоточиваются, какъ въ фокусъ, въ одной особенно выдающейся личности или въ нѣсколькихъ братьяхъ, а затѣмъ, въ дальнѣйшемъ потомствѣ, ослабѣваютъ. Иногда же бываетъ такъ, что у выдающихся своими способностями братьевъ есть братья незамѣчательные, но имѣющіе замѣчательныхъ дѣтей. Такъ, напр., изъ Тургеневыхъ былъ наименѣе замѣчательнъ Сергѣй, отецъ знаменитаго романиста. Братъ поэта Василія Пушкина—отецъ великаго поэта и т. д. Гальтонъ почти вовсе не останавливается на этихъ отношеніяхъ и только упоминаетъ, что, по его вычисленіямъ, 100 ученыхъ имѣютъ знаменитыхъ 28 отцовъ, 36 братьевъ, 20 дѣдовъ и 40 дядей.

Изъ качествъ, наследуемыхъ учеными отъ ихъ родителей, первое мѣсто занимаетъ энергія, которою въ высшей степени одарены всѣ представители науки. Вотъ нѣкоторые изъ отвѣтовъ, полученныхъ Гальтономъ на его вопросы объ энергій: 1) „Съ 1846 г. я почти постоянно путешествую. Неутомимъ. Давно уже пріучился ко всевозможнымъ неудобствамъ путешествія, часто по цѣлымъ мѣсяцамъ живалъ подъ открытымъ небомъ. Умъ неутомимъ“. — 2) „Въ молодости, до 30 лѣтъ и далѣе, работалъ обыкновенно до 2 и 3 часовъ ночи, а часто вплоть до утра. Много путешествовалъ въ различныхъ климатахъ“. Въ своей отрасли этотъ ученый занимаетъ первостепенное мѣсто и ведетъ громадную ученую корреспонденцію.—3) „Когда я ловлю рыбу и охочусь (что обыкновенно дѣлаю по воскресеньямъ), то я цѣлый день на ногахъ. Относительно ума: втеченіи тринадцати лѣтъ я изслѣдовалъ и опредѣлилъ 40,000 экземпляровъ, описалъ 7,000 видовъ, написалъ до 6,000 печатныхъ страницъ и велъ обширную корреспонденцію“.—Всѣ остальные отвѣты въ томъ-же родѣ, за исключеніемъ двухъ, въ которыхъ жалуются на недостаточность энер-

гій. При этомъ $\frac{3}{4}$ ученыхъ пользуются хорошимъ здоровьемъ и достигаютъ преклонныхъ лѣтъ и только $\frac{1}{4}$ жалуется на здоровье или не хвалится имъ. „Способность ученыхъ къ практическимъ занятіямъ, говоритъ Гальтонъ,—встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ я ожидалъ. Изъ лицъ, доставившихъ мнѣ отвѣты, напр., 17 человекъ служатъ директорами коммерческихъ предпріятій“. Только двое ученыхъ отвѣчали, что они неспособны къ практическимъ дѣламъ. Кроме того, англійскіе ученые проявляютъ особенную склонность къ механическимъ производствамъ, и притомъ къ такимъ, которыя не имѣютъ связи съ ихъ профессіей. Такъ, напр., изъ химиковъ 1 сдѣлалъ 12-дюймовый телескопъ, 1—7-и-дюймовое стеклянное зеркало.—*Геологи*: „1 отличается замѣчательнымъ механическимъ искусствомъ“.—*Биологи*: „1 постоянно любитъ строить и въ школѣ получилъ кличку „Архимедъ“; 1 весьма любитъ занятія механикой; 1 отличается „спеціальной любовью къ механикѣ“, хорошій кузнецъ; 4 имѣютъ „механической талантъ“.—*Статистики*: 1 „свѣдущъ въ машинномъ производствѣ“, и т. д. Память—способность крайне необходимая для ученаго, хотя, съ другой стороны, одной памяти совершенно недостаточно для него. У людей глухихъ память обыкновенно слаба, но есть даже идіоты съ замѣчательною памятью. Такъ и-съ Соммервилъ рассказываетъ о двухъ идіотахъ, изъ которыхъ одинъ зналъ въ совершенствѣ всю библію, а другой бывалъ постоянно въ церкви и, вернувшись изъ нея, могъ повторить слово-въ-слово слышанную имъ проповѣдь. Но это явленія исключительныя, равно какъ и 7 случаевъ плохой памяти ученыхъ, приводимые Гальтономъ. Огромное большинство ученыхъ обладаетъ превосходною памятью въ той или другой формѣ,—памятью словъ, памятью фактовъ и образовъ, памятью чиселъ и т. д. Сильный умъ, энергія, здоровье, увѣренность въ своихъ силахъ—все это содѣйствуетъ образованію того независимаго характера, которымъ отличаются англійскіе ученые. „Пятьдесятъ моихъ корреспондентовъ, говоритъ Гальтонъ,—пишутъ, что они обладаютъ въ высшей степени независимымъ характеромъ и только двое не отличаются имъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ. 1) „Я 12-ти лѣтъ бѣжалъ изъ школы, чувствуя себя несправедливо оскорбленнымъ учителемъ“.—2) „Мои убѣжденія почти во всѣхъ отношеніяхъ противоположны тѣмъ, въ которыхъ я былъ воспитанъ“.—3) „Я всегда шелъ своимъ само-

стоятельнымъ путемъ“.—4) „Я предпочитаю все немодное, непопулярное, небогатое, беспомощное, одаренное качествами, малодѣйными или несправедливо угнетаемыми“. Развитію этого духа независимости обыкновенно содѣйствуетъ домашняя атмосфера, которую ученые дышали въ юности. Примѣры: 1) „Мой отецъ былъ человѣкомъ въ высшей степени самостоятельнымъ. Онъ никогда не мѣнялъ покроя своего платья, никогда въ жизни не снималъ ни передъ кѣмъ шляпы и никого не называлъ *эсквайромъ*“.—2) „Мой отецъ былъ либераломъ еще въ то время, когда либерализмъ, называвшійся тогда якобинствомъ, былъ въ высшей степени непопуляренъ; онъ былъ однимъ изъ первыхъ противниковъ рабства и защитникомъ религіозной свободы, фритредеромъ, когда всѣ были протекціонистами, и противникомъ войны въ то время, когда всѣ стояли за нее. Онъ хлопоталъ о смягченіи нашего уголовного кодекса, когда висѣлица считалась якоремъ спасенія, и вообще онъ былъ чрезвычайно самостоятеленъ и въ политическомъ, и въ социальномъ отношеніи“.—3) „Духъ независимости былъ замѣтенъ въ моемъ отцѣ. Онъ держался якобинскихъ мнѣній въ то время, когда не безопасно было имѣть ихъ“, и т. д. Въ доказательство того, что ученые обыкновенно воспитываются въ семействахъ, отличающихся независимымъ характеромъ, я укажу на разнообразныя, незначительныя и непопулярныя секты, къ которымъ принадлежатъ ученые или ихъ родители. Извѣстно, напр., что Дальтонъ, основатель атомистической теоріи, и д-ръ Юнгъ, отецъ теоріи волнообразія свѣта, были квакеры, а Фарадей—сандеманіанинъ. Въ спискахъ ученыхъ я нахожу многихъ квакеровъ, моравскихъ братьевъ, библейскихъ христіанъ, унитаріевъ. Я привожу эти факты вовсе не для характеристики религіозныхъ мнѣній ученыхъ, но лишь въ доказательство того, что они и ихъ родители привыкли поступать такъ, какъ считали лучше, не обращая вниманія на моду дня. Человѣкъ науки вполне независимъ по своему характеру“ (стр. 121—124). Эта самостоятельность рѣзко проявляется и въ отношеніяхъ ученыхъ къ религіи (стр. 124—141).—„Въ отвѣтахъ, данныхъ на мои вопросы, часто упоминается о любознательности относительно фактовъ, соединенной иногда съ замѣчательнымъ отвращеніемъ къ сочиненіямъ съ вымышленными сюжетами. Жажда знанія сплошь и рядомъ присуща способнымъ людямъ всякой профессіи; но ученые чувствуютъ ее

несравненно сильнѣе и постояннѣе, чѣмъ другіе. Самый очевидный признакъ ученаго общества состоятъ, по моему мнѣнію, въ той заботливой точности, съ какой передаются въ немъ факты и рассказы всякаго рода“ (стр. 142).

Таковы отличительныя качества англійскаго ученаго. Что-же пробуждаетъ въ человѣкѣ наклонность къ наукѣ вообще и къ данной спеціальности въ частности? На этотъ вопросъ одни ученые отвѣчаютъ, что эта наклонность у нихъ природная, другіе — что она появилась подъ вліяніемъ ихъ професіи, счастливыхъ случайностей, кругосвѣтнаго плаванія, вліянія родныхъ, друзей и наставниковъ и т. д. Вотъ какъ распредѣляются эти отвѣты:

	Число ученыхъ.
А. Природныя наклонности (не всегда наследственные)	59
В. Счастливые случаи, которые, впрочемъ, обыкновенно свидѣтельствуютъ о существованіи природныхъ наклонностей	11
С. Посредственные случаи и мотивы	19
Д. Вліяніе професіональныхъ занятій	24
Е. Поощреніе въ дѣтствѣ научныхъ наклонностей	34
Ф. Вліяніе друзей и знакомыхъ	20
Г. Вліяніе учителей	13
Н. Отдаленныя путешествія	8
І. Вліянія неклассифицированныя	3
	191

По другой таблицѣ оказывается —

наклонность рѣшительно природная	56
сомнительнаго происхожденія	24
рѣшительно неприродная	11
	91

„При общемъ взглядѣ на запасъ нашихъ національныхъ силъ и ихъ дѣятельность, говоритъ Гальтонъ, — оказывается, что большая часть ихъ направлена на приобрѣтеніе насущнаго куска хлѣба и предметовъ роскоши. Излишекъ значителенъ и можетъ быть употребленъ разными способами... Какимъ-же образомъ этотъ излишекъ силъ націи можетъ быть направленъ къ ея преуспѣванію?

Какимъ образомъ можно вліять на наклонности людей, чтобы направлять ихъ на служеніе наукѣ?

„Самая обширная категорія (А) природныхъ наклонностей находится внѣ нашего непосредственнаго вліянія; но если мы не въ состояніи увеличивать нашего національнаго запаса, то мы все-таки не должны истощать его, какъ дѣлаемъ это въ настоящее время. Каждый случай, въ которомъ человекъ, способный къ успѣшному занятію наукой, отвлекается обстоятельствами, которыя можно контролировать, къ менѣе важнымъ для общества занятіямъ, есть общественное бѣдствіе. Способности и наклонности къ занятіямъ, обогащающимъ мысль и производительную силу человека, — такіе-же предметы народнаго богатства, какъ уголь и желѣзо, и расхищеніе ихъ достойно всякаго порицанія... Мы должны научиться уважать природныя наклонности, которыя прямо (А) или косвенно служатъ дѣлу науки. Что касается счастливыхъ случайностей (В), то мы можемъ умножать ихъ. Вліяніе профессіи (D) внушаетъ большія надежды. Всякому, знакомому съ областью новѣйшей науки, извѣстно, какое безчисленное множество общественныхъ дѣлъ предстоитъ еще исполнить, — дѣлъ, которыя могутъ быть предприняты и исполнены только учеными. Научное руководство необходимо для всѣхъ видовъ техническаго образованія, для всевозможныхъ статистическихъ изслѣдованій и выводовъ, для санитарной администраціи въ обширномъ значеніи этого слова, для земледѣлія, горнаго дѣла, индустріи, войны. Всюду требуются ученые дѣятели, для указанія, какъ экономизировать силы и находить новыя процессы производства и плодотворныя принципы. Професіональныя занятія вообще должны быть тѣснѣе, чѣмъ теперь, связаны съ строгою наукою, и эта связь будетъ усиливать научныя стремленія въ людяхъ, которые одарены послѣдними въ незначительной степени“. Относительно вліянія школъ будетъ сказано далѣе. „Что же касается путешествій по отдаленнымъ странамъ, то важность ихъ требуетъ ассигнованія на нихъ большихъ суммъ“ (стр. 225). Слѣдуетъ также обратить вниманіе на множество людей, которые одарены природною наклонностью къ знанію, умомъ и энергіей, но не могутъ дойти ни до какихъ важныхъ результатовъ, вслѣдствіе окружающей ихъ неблагоприятной обстановки. „Едва ли есть у насъ деревня, въ которой-бы не нашлось человека, ода-

ренного способностями и остроуміемъ, но употребляющаго ихъ страннымъ и непрактическимъ образомъ. Многіе изъ подобныхъ людей посвящаютъ свою жизнь такимъ задачамъ, какъ изобрѣтеніе *perpetuum mobile*. Часто также встрѣчаются люди, вполне подходящіе подъ карикатурное изображеніе стариннаго ученаго; они вполне погружены въ какія-нибудь пустыя изслѣдованія, крайне невыгодно отзываются на ихъ дѣлахъ и лишены смысла. Даже идиоты часто имѣютъ вполне научныя наклонности, какъ, напр., любовь къ механикѣ или къ предметамъ естественной исторіи и къ собиранію ихъ“ (стр. 232). Но и среди этихъ лицъ можно найти людей способныхъ, которые при надлежащей поддержкѣ могли-бы развить съ пользою свои силы. Главная-же задача, которую предстоитъ рѣшить Англій въ этомъ отношеніи, заключается въ реформѣ системы общественнаго образованія. Изъ 87 отвѣтовъ относительно воспитанія, 37 отзываются о немъ съ похвалой, въ такомъ смыслѣ, что въ школахъ хорошо преподавались естественныя науки, математика, логика, новѣйшіе языки. Но изъ этого числа благопріятныхъ для школъ отвѣтовъ нужно исключить 8 отзывовъ о хорошемъ домашнемъ образованіи, дополнявшемъ школьное, и 6 случаевъ, въ которыхъ школьное образованіе велось спустя рукава, но отвѣчавшіе, имѣя много свободнаго времени, занимались самоучкой. Такимъ образомъ, вполне благопріятныхъ отвѣтовъ только 23, и почти всѣ они относятся не къ англійскимъ, а къ шотландскимъ школамъ, въ которыхъ важную роль играютъ точныя науки. На 23 благопріятныхъ отзыва приходится 44 неблагопріятныхъ. Мы остановимся на этихъ мнѣніяхъ представителей науки о хваленной англійской системѣ образованія.

1) „Не преподавалось ни математики, ни новѣйшихъ языковъ; вовсе не заботились о развитіи наблюдательности и мышленія“.

2) „Чрезвычайно много времени было посвящено языкамъ латинскому и греческому, но я не осилилъ ихъ“.

3) „Не обращалось вниманія почти ни на что полезное и дѣльное, кромѣ умѣнья читать. Латынь!“

6) „Полное отсутствіе научнаго образованія; все ограничивалось классиками“.

14) „Недостатокъ логическаго и математическаго образованія“.

23) „Въ школѣ заучиванье грамматическихъ правилъ было не по вкусу мнѣ; въ Оксфордѣ я потратилъ даромъ много времени“.

26) „Ученье было классическое и почти все основывалось на авторитетѣ“.

33—36) „Недостатокъ системы“.

40) „Слишкомъ много для памяти и ничего для разсудка“.

Реформа школъ, такимъ образомъ, положительно необходима, какъ для лучшаго распространенія образованія въ массѣ, такъ и для приготовленія талантливыхъ юношей къ ученой дѣятельности, имѣющей цѣлью „здоровье и благосостояніе націи въ самомъ широкомъ смыслѣ“ (стр. 260).

Гальтонъ относится къ ученымъ съ величайшимъ уваженіемъ и мечтаетъ о томъ времени, когда въ Великобританіи „установится научное священство своего рода“, отъ котораго онъ ожидаетъ всевозможныхъ благъ для страны. Мы не будемъ доказывать односторонности его взгляда, а уважемъ только на нѣкоторые пробѣлы, сильно роняющіе достоинство его книги. Онъ ничего не говоритъ ни о томъ, на-сколько вознаграждаются въ Англіи труды ученаго, ни о степени полезности ихъ для народнаго благосостоянія. А это чрезвычайно важный вопросъ. Далѣе, Гальтонъ мало сообщаетъ о характерѣ ученыхъ, о направленіи ихъ дѣятельности, объ ученыхъ эксцентрикахъ. Специалистъ ученый сплошь и рядомъ ничего не знаетъ, кромѣ своего предмета, ничего не ставитъ выше его и не только не заботится о „здоровьѣ и благосостояніи націи въ самомъ широкомъ смыслѣ“, какъ выражается Гальтонъ, но даже дичится людей и вполнѣ справедливо пользуется репутаціей ученаго шута. Такихъ ученыхъ не мало во всѣхъ странахъ и нѣкоторые изъ нихъ поражаютъ всякаго своею тупостью: способности ихъ ограничиваются одною только памятью, которая, какъ мы видѣли выше, иногда бываетъ очень сильна даже у полныхъ идиотовъ. И не одною памятью отличаются нѣкоторые весьма ограниченные, глупые люди, но и другими способностями, напр., способностью счисленія. Таковъ былъ, напр., въ половинѣ прошлаго вѣка въ Англіи нѣкто

Бюкстонъ, изумлявшій всѣхъ чрезвычайно быстрымъ рѣшеніемъ въ умѣ всевозможныхъ математическихъ задачъ и неотличавшійся никакими другими способностями. Таковъ-же былъ въ Лондонѣ лѣтъ сорокъ назадъ Мастеръ Васль. Въ 1839 г. Араго, Лавруа и нѣкоторые другіе члены парижской академіи наукъ экзаменовали подобнаго-же математика, безграмотнаго итальянца Манджіамеле. Его спросили, напр., какой кубическій корень 3,796,416 и десятый корень 282,475,249; на первый вопросъ онъ отвѣтилъ черезъ полминуты, на второй черезъ три минуты (Essentrics, стр. 489 — 493). Случается, что люди ограниченные обладаютъ такими наклонностями, которыя нѣтъ возможности рѣзко разграничить съ жаждой знанія и трудолюбіемъ ученаго. Таковы напр., библіофилы и библіоманы. Въ началѣ настоящаго столѣтія богатый англичанинъ, Ричардъ Геберъ, постоянно разъѣзжалъ по Англіи и континенту за покупкой книгъ. У него были четыре дома въ Англіи и по одному въ Парижѣ, Брюсселѣ, Антверпенѣ и Гентѣ, и всѣ они съ верху до низу были наполнены книгами (стр. 485 — 8). Въ Эдинбургѣ умерла въ 1866 г. вдова одного банкира, бывшая его служанка. Втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ она жила въ абсолютномъ уединеніи и тратила всѣ свои деньги на покупку книгъ, которыхъ никогда не читала (стр. 563). Если подобный полуидіотъ обладаетъ памятью, то, при благоприятныхъ обстоятельствахъ, изъ него можетъ выйти ученый библіографъ, лингвистъ и т. д. Ученый идіотъ—явленіе вполне возможное и не такое рѣдкое, какъ обыкновенно думаютъ. Интересенъ также типъ одичавшаго ученаго,—одичавшаго не на необитаемомъ островѣ, а въ кабинетномъ уединеніи. Я зналъ одного провинціального профессора, который своими странностями прославился несравненно болѣе, чѣмъ своими учеными трудами. Во время оно онъ очень любилъ одного студента, родившагося въ Иркутскѣ, и съ тѣхъ поръ всѣ студенты изъ Иркутска представлялись ему первостепенными талантами и превосходными людьми! Однажды онъ жилъ лѣтомъ въ имѣніи своей сестры, и по случаю сильныхъ жаровъ, занимался въ своей комнатѣ совершенно нагишомъ, накинувъ на себя только простыню. Не разъ случалось, что, услышавъ звонокъ въ обѣду, онъ забывалъ одѣться и являлся въ столовую въ одной простынѣ. Однажды, возвращаясь домой изъ университета, онъ оглянулся и, увидѣвъ шед-

шаго за нимъ трубочиста, бросился бѣжать отъ него; трубочистъ въ шутку погнался за нимъ; эта гонка продолжалась до тѣхъ поръ, пока профессоръ пришелъ въ себя отъ страха, разолился и, обернувшись къ трубочисту, бросился на него; тогда трубочистъ, въ свою очередь, обратился въ бѣгство, а профессоръ погнался за нимъ по городу. Въ томъ-же родѣ былъ знаменитый англійскій физикъ и математикъ Кавендишъ. Онъ жилъ совершеннымъ отшельникомъ, ненавидѣлъ женщинъ и боялся мужчинъ. Однажды друзья кое-какъ уломали его представиться одному австрійскому вельможѣ, желавшему познакомиться съ нимъ. Австріецъ принялъ Кавендиша чрезвычайно любезно, говоря, что прѣхалъ въ Лондонъ главнымъ образомъ видѣть его, какъ лучшее украшеніе вѣка, и побесѣдовать съ однимъ изъ величайшихъ мыслителей. Кавендишъ смотрѣлъ въ полъ и не могъ сказать ни одного слова, наконецъ бросился къ дверямъ и убѣжалъ. Чтобы не встрѣчаться съ женщинами, жившими въ одномъ съ нимъ домѣ, онъ сдѣлалъ для себя особый ходъ. Съ своей экономкой онъ велъ переговоры обыкновенно письмами, которыя клались на столъ въ пустой комнатѣ. Имѣя капиталъ въ 1,170,000 фунтовъ, онъ почти вовсе не пользовался имъ и жилъ чрезвычайно скромно, не по скупости, а потому, что не умѣлъ жить иначе. Изрѣдка онъ принималъ немногихъ ученыхъ друзей, и угощеніе для нихъ было всегда одно и то-же — баранья нога. Однажды у него должны были обѣдать четыре ученыхъ. На письменный вопросъ экономки, что готовить, Кавендишъ отвѣчалъ: „баранью ногу“. — „Сэръ, возразила экономка, — на пять чловѣкъ этого мало“. — „Ну, въ такомъ случаѣ двѣ бараньихъ ноги“, отвѣчалъ Кавендишъ (стр. 132—136). Знаменитый Макинтошъ былъ не менѣе страненъ, но въ другомъ родѣ. Онъ имѣлъ привычку располагаться, какъ у себя, въ чужихъ домахъ, жить въ которыхъ ему нравилось; никакіе намеки, никакія косвенныя предложенія удалиться не были понятны Макинтошу, и хозяева, при всемъ своемъ уваженіи къ нему, принуждены были выгонять его чуть не силою (стр. 479).

Подобныя странности ученыхъ свидѣтельствуютъ о ненормальности ихъ психическаго состоянія. Вообще, большинство эксцентриковъ — или идіоты, люди глухие, или-же больные. Многие изъ нихъ кончаютъ полнымъ сумасшествіемъ, многие — самоубій-

ствомъ. Смотря по виду помѣшательства, эксцентричность проявляется въ разнообразныхъ формахъ. Идіоты, какъ мы уже говорили, часто любятъ собирать разные предметы, напримѣръ, камни, кости и т. д. Тою-же наклонностью отличаются многіе эксцентрики. „Я, рассказываетъ Томасъ Смитъ, — зналъ одного эксцентрика, который, вставая ежедневно въ четыре часа, ходилъ по улицамъ и подбиралъ лошадиныя подковы, оброненныя въ продолженіи ночи; онъ дѣлалъ это съ единственною цѣлью—знать, сколько можно собрать такихъ подковъ въ теченіи года. Другой, богатый торговецъ, не упускалъ случая положить въ карманъ обломокъ подковы или кусокъ кожи, найденные имъ во время прогулокъ; у него было огромное собраніе этой дряни“. Не дальше этихъ собирателей ушли многіе любители рѣдкихъ или старыхъ вещей, въ родѣ одного петербургскаго барина, платящаго огромныя деньги за старинныя русскія полотенца. Одинъ собираетъ раковины, другой всевозможныя трубки, третій—гребни и т. д. Лордъ Петершамъ имѣлъ безчисленное множество табакерокъ, которыми была занята у него цѣлая большая комната, и употреблялъ каждый день новую табакерку (стр. 56). Нѣкая м-съ Дардсъ провела свою жизнь въ выдѣлкѣ изъ рыбныхъ костей искусственныхъ цвѣтовъ, которыми была завалена вся ея квартира (стр. 317). Если, при ограниченности ума, подобные люди обладаютъ живою фантазіей, то они не могутъ довольствоваться бессмысленнымъ собираніемъ какихъ-нибудь подковъ, а стремятся въ высшія сферы науки и искусства, изобрѣтаютъ *regretium mobile*, занимаются алхиміей и астрологіей, послѣдователи которыхъ бывали въ Англіи даже въ половинѣ XIX в. (стр. 129), обращаются къ спиритизму или строятъ свои философскія системы, пропагандой которыхъ надоѣдаютъ встрѣчному и поперечному. Не менѣе ихъ смѣшны эксцентрики, воображающіе себя великими артистами. Таковы были, напр., баронетъ Скеффингтонъ и Робертъ Коатсъ; когда они играли на любительскихъ театрахъ трагическія роли, зрители катались со смѣха (стр. 40—43). Манія къ извѣстнымъ зрѣлищамъ встрѣчается между эксцентриками очень часто. Есть люди, которые живутъ единственно для того, чтобы, напр., присутствовать при смертныхъ казняхъ. Таковъ былъ, напр., Куртисъ, проведшій всю свою жизнь въ посѣщеніи уголовныхъ процессовъ и казней; онъ спалъ не болѣе четырехъ

часовъ въ сутки, часто по цѣлымъ недѣлямъ не ложился въ постель, а въ 1835 г. впродолженіи ста сутокъ не раздѣвался и спалъ сидя, урывками (стр. 314). Путешествія предпринимаются въ виду разнообразія впечатлѣній, но многіе эксцентрики вояжируютъ съ какой-нибудь странною, специальною цѣлю. Таковъ былъ англичанинъ, ѣздившій въ Петербургъ за тѣмъ только, чтобы взглянуть на рѣшетку Лѣтнаго сада (стр. 324). Другой джентльменъ пришелъ къ убѣжденію, что укротителя львовъ Фанъ-Амбурга когда-нибудь съѣдятъ его хищные питомцы, и, желая присутствовать при этомъ зрѣлищѣ, неотступно слѣдовалъ за звѣринцемъ Амбурга по Европѣ и Америкѣ. Нѣкоторые, не пускаясь вдаль, довольствуются тѣмъ, что проводятъ всю свою жизнь въ безцѣльномъ странствованіи по лондонскимъ улицамъ съ утра до ночи (стр. 300). Ненормальное состояніе ума проявляется у многіхъ эксцентриковъ стремленіемъ къ одиночеству, и „отшельники“ — явленіе нерѣдкое даже въ новѣйшей Англіи. Лѣтъ десять назадъ умеръ англичанинъ, прожившій въ одной деревнѣ въ Лейчестерѣ пятнадцать лѣтъ въ одиночествѣ, которое, впрочемъ, онъ нерѣдко нарушалъ для бесѣдъ съ посѣтителями. Отшельничество, по его словамъ, было его призваніемъ. Одежда его была чрезвычайно своеобразна; у него было, напр., двадцать шляпъ разныхъ формъ и каждая имѣла свое названіе и свое эмблематическое значеніе, объясненное приколотою къ ней надписью. Напр.,—

✠	Названіе шляпы.	Значеніе.
---	-----------------	-----------

5. Раздуваемый мѣхъ . . . Вдувай пламень свободы истиннымъ словомъ Божиимъ.

17. Умывальникъ реформы . . . Лицо вымыто чисто, а сердце въ сажѣ.

Двадцать паръ разнаго платья тоже имѣли каждая свое названіе и значеніе; одно платье называлось, напр., „свобода совѣсти“. Въ саду его каждое дерево, каждая дорожка, каждый уголокъ были эмблемами, значеніе которыхъ объяснялось подписями въ такомъ родѣ: „Боже, храни королеву“, „скамейка вѣры“ и т. д. Онъ (ни имя, ни фамилія этого эксцентрика никому неизвѣстны) постоянно проклиналъ папу, какъ антихриста, а когда Пій IX бѣжалъ изъ Рима, онъ надѣлъ себѣ на голову лавровый вѣнокъ и провозгласилъ, что „кончилось царство чело-

вѣка грѣха“. Когда-же „человѣкъ грѣха“ вернулся въ Римъ, онъ воздвигъ висѣлицу и торжественно повѣсилъ на ней изображеніе папы. Эти чудачества совершенно разорили эксцентрика и послѣдніе свои годы онъ жилъ на счетъ благотворительности.— Въ 1840 г. въ окрестностяхъ Фаргема умеръ отшельникъ, жившій нѣсколько лѣтъ въ пещерѣ, выкопанной имъ собственноручно въ одной горѣ. Въ сороковыхъ-же годахъ какой-то аристократъ прожилъ около двадцати лѣтъ въ погребу, одинъ, въ сообществѣ крысъ, безъ огня, никогда не моясь, не пережѣняя платья. Въ прошломъ вѣкѣ въ Ланголенѣ, въ Денбигширѣ, жили въ совершенномъ уединеніи двѣ барыни, неимѣвшія никакого сношенія съ вѣншиимъ міромъ, окруженныя книгами и ходившія въ мужскомъ платьѣ. Богатые самодуры нерѣдко предлагали богатыя преміи за отшельничество, какъ это дѣлывали и у насъ, напр., Проконій Демидовъ. При Георгѣ II сэръ Гамильтонъ вызывалъ желающихъ провести въ одной изъ комнатъ его дома семь лѣтъ въ совершенномъ уединеніи и молчаніи. Въ газетѣ „Курьеръ“ 11 января 1810 г. было напечатано объявленіе: „молодой человѣкъ, желающій удалиться отъ міра и жить отшельникомъ, предлагаетъ свои услуги какому-нибудь дворянину или джентльмену“. Дальше слѣдуетъ адресъ. Въ то-же время у лорда Гилля содержался въ погребѣ законтракованный отшельникъ (стр. 145—155). Нѣкоторые изъ эксцентриковъ съ отшельническими наклонностями живутъ какъ аскеты и даже при своей жизни приготавливаютъ себѣ гробы. Другіе, удалась отъ людей, окружаютъ себя животными. Таковъ былъ, напр., графъ Бриджватеръ, семейство котораго состояло изъ собакъ, въ обществѣ которыхъ онъ жилъ, обѣдалъ и т. д. Всѣ собаки были въ сапогахъ, самъ-же графъ носилъ одни сапоги только втеченіи сутокъ, надѣвая каждый день новую пару и тщательно сохраняя старыя въ хронологическомъ порядкѣ (стр. 104—297).

Большая часть приведенныхъ нами и имъ подобныхъ случаевъ эксцентричности объясняются тупостью или психическимъ разстройствомъ. Во многихъ случаяхъ известная наклонность, положимъ наклонность къ уединенной жизни, отвращеніе отъ общепринятыхъ житейскихъ отношеній, моды и т. д.,—не имѣетъ въ себѣ ничего ненормальнаго, кромѣ того только, что проявляется въ своеобразныхъ формахъ. Но сплошь и рядомъ у людей, совершенно

здоровыхъ психически, эксцентричность является просто самодурствомъ. Роскошное самодурство англійскихъ богачей совершенно въ томъ-же духѣ, какъ и самодурство нашихъ богатыхъ баръ XVIII вѣка. Англійскіе лорды нанимали людей вести отшельническую жизнь, нашъ Демидовъ нанималъ желающихъ пролежать годъ на спинѣ въ темной комнатѣ. Въ романѣ г. Баразина ташкентскій самодуръ Хлудовъ вводитъ въ шумную компанію своихъ гостей ручную тигрицу; англійскій самодуръ, богатый сквайръ Миттонъ, вѣзжаетъ въ свою столовую, наполненную подгулявшими пріятелями, верхомъ на ручномъ медвѣдѣ (стр. 49). Наши самодуры очень любятъ „шутки шутить“ надъ людьми; въ благовоспитанной Англійи хотя эти шутки менѣе грубы, но многіе эксцентрики все-таки не прочь отъ нихъ. Джентльменъ Бруммель забавлялся тѣмъ, напр., что насыпалъ на голову какого-нибудь другого джентльмена, обѣдавшего съ нимъ въ клубѣ, мелкаго сахарнаго порошка и любовался, какъ этого джентльмена осаждали мухи, между тѣмъ какъ онъ рѣшительно не подозрѣвалъ причины ихъ нападеній (стр. 25). Въ „Очеркахъ прошлаго“ г. Афанасьева-Чужбинскаго отставной самодуръ превращаетъ свой домъ въ казарму, дочь въ адъютанта, лакеевъ въ часовыхъ и располагаетъ домашнюю жизнь по тѣмъ-же часамъ, по которымъ она регулирована въ казармахъ. Въ книгѣ Таймса мы видимъ подобнаго-же отставнаго драгуна, Шо. Умѣя великолѣпно готовить пуншъ, онъ открылъ пуншевый домъ и содержалъ его по правиламъ строжайшей дисциплины. Онъ закрывалъ, напр., свое заведеніе ровно въ 3 часовъ вечера; лишь только стрѣлка доходила до этого предѣла, Шо громкимъ и повелительнымъ голосомъ возглашалъ: „восемь часовъ, джентльмены, восемь часовъ!“ Если джентльмены не повиновались, ихъ выпроваживала прислуга (стр. 531). Въ семейной жизни англійскихъ эксцентриковъ этого разряда нѣтъ, конечно, того варварства, какое душитъ всѣхъ домочадцевъ русскаго самодура, но облагороженные остатки семейнаго самодурства существуютъ и въ домахъ лордовъ и джентльменовъ. Въ одномъ отношеніи, впрочемъ, англійскіе эксцентрики перещеголяли нашихъ самодуровъ: это въ своихъ завѣщаніяхъ, въ которыхъ обыкновенно они такъ часто слѣдуютъ правилу Тита Титыча Брускова, — „что хочу, то и дѣлаю, и никто: ниѣ не укажь!“ Вотъ, напр., завѣщаніе Маргариты Томсонъ

„Во имя Бога и проч., я желаю, чтобы всё мои носовые платки, которые окажутся невымытыми во время моей кончины, были собраны моей вѣрной служанкой Сарой Стюартъ и положены ею — только ею одною — ко мнѣ въ гробъ, который долженъ быть сдѣланъ достаточно помѣстительнымъ для этого; кромѣ того, въ гробъ должно положить столько хорошаго шотландскаго нюхательнаго табаку, сколько нужно для того, чтобы онъ покрылъ все мое тѣло. Гробъ пусть несутъ шесть чловѣкъ, выбранныхъ изъ людей, извѣстныхъ за величайшихъ нюхальщиковъ въ приходѣ св. Джамса. Вмѣсто того, чтобы плакать, каждый изъ нихъ долженъ нести бобровую шляпу табачнаго цвѣта; шляпы эти слѣдуетъ купить и раздать имъ. Шестъ дѣвицъ пусть несутъ мой саванъ; каждая изъ нихъ должна имѣть чистый капоръ и табакерку съ хорошимъ шотландскимъ табакомъ, которыми онѣ будутъ освѣжаться во время шествія. Передъ тѣломъ пойдетъ пасторъ, которому предложить извѣстное количество упомянутаго табаку, не болѣе фунта, однакожь, и семь гинеи. Я желаю также, чтобы моя старая и вѣрная служанка, Сара Стюартъ, тоже шла передъ тѣломъ и черезъ каждые 20 ярдовъ бросала горсть хорошаго шотландскаго табаку на землю и на тѣхъ, которые будутъ провожать мой трупъ къ мѣсту погребенія; за это я завѣщаю ей 20 фунтовъ стерлинговъ. Я желаю еще, чтобы при дверяхъ моего дома было роздано 2 бушеля упомянутаго табаку“. Каждому лицу, которому была завѣщана какая-нибудь сумма денегъ, въ придачу къ ней велѣно было завѣщательницей выдать по 1 фунту табаку (стр. 159).

С. Ш.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Самый интересный фельетонъ.—Торговая и неторговая совѣсть.—Значеніе формы въ дѣлѣ комерческаго судопроизводства.—Компаніи „Двигатель“ и „Надежда“. — Юридическіе софизмы. — „Камско-волжское пароходное общество“.—Дѣло гг. Марикса и Лафона.—Любопытная гѣтопись с.-петербургскаго комерческаго суда.—Дѣло петербургскаго учетнаго и ссуднаго банка съ гг. Маркомъ, барономъ Фремелемъ и Павловымъ.—Нѣсколько словъ „Заурядному читателю“.—Серединный интеллигентъ.

Говорятъ, что у нравственнаго поведенія есть свои законы. Это очень хорошо; значитъ, каждый можетъ ихъ прочитать. Но гдѣ? Моралисты доказываютъ, что нравственность записана въ совѣсти каждаго. Но что такое совѣсть? Психологи утверждаютъ, что совѣсть есть болѣвой процессъ сознанія вслѣдствіе уклоненія отъ идеала. А что такое идеаль? Тѣ-же психологи говорятъ, что идеаль не есть нѣчто постоянное и у каждаго человѣка есть свой идеаль. Историки-же доказываютъ, что исторія есть борьба лица съ обществомъ. И вотъ мы входимъ въ лѣсъ путаницы: совѣсть, идеаль, лицо—все это отдѣльные блуждающіе огоньки, точно души усопшихъ на кладбищахъ, и каждая душа живетъ по себѣ, по своей совѣсти, по своему идеалу. А гдѣ-же законы нравственнаго поведенія? „Въ совѣсти каждаго“, отвѣчаютъ снова моралисты. А что такое совѣсть? „Болѣвой процессъ сознанія“, отвѣчаютъ психологи. Все это мы уже слышали; все это старая сказка о бѣломъ бычкѣ. Вѣдь жить нельзя, если каждый будетъ жить по-своему! И какъ примирить, какъ прочитать совѣсть каждаго?.. О, Сократъ, Сократъ!..

Если-бы мнѣ не попалась случайно „Практика с.-петербургскаго комерческаго суда“, я-бы никогда не пришелъ къ такимъ грустнымъ размышленіямъ. Правда, теперь время фельетона; толь-

во фельетонъ отражаетъ жизнь во всѣхъ ея мелочахъ, и кто хочетъ знать общество и практику лица, пусть читаетъ современный фельетонъ. Но кто могъ думать, что самый интересный фельетонъ пишетъ с.-петербургскій коммерческій судъ? Конечно, суду, какъ юридическому учрежденію, больше извѣстны коммерческіе законы, чѣмъ законы художественнаго творчества. Коммерческій судъ не знаетъ идеаловъ, но за то его скромная и сухая лѣтопись отличается художественностью правды, художественностью сухой дѣйствительности, художественностью прозы жизни. Позвольте познакомить васъ съ нѣкоторыми фактами, которые даетъ фельетонъ коммерческаго суда. Начнемте съ курьезовъ.

Часовой магазинъ г. Гирша перешелъ послѣ смерти его къ г. Гуммелю, который больше десяти лѣтъ писалъ на вывѣскѣ: „А. Гуммель, бывшій Гиршъ“. Когда г. Гуммель умеръ, вдова его уступила право на фирму мужа г. Гертелю. Между тѣмъ послѣ смерти г. Гирша вдова его уступила право на фирму мужа г. Кернеру. Прошло больше десяти лѣтъ, и вотъ г. Кернеръ жалуется суду на г. Гертеля, зачѣмъ онъ пишетъ на вывѣскѣ: „Гуммель, бывшій Гиршъ“. „Гуммель“ онъ еще оставить позволяетъ, но „бывшій Гиршъ“ — ни за что. Въ чемъ тутъ обида: не все-ли равно г. Кернеру, стоитъ-ли на вывѣскѣ „бывшій Гиршъ“ или не стоитъ, когда магазинъ принадлежитъ не ему и часами торгуетъ другой? Но г. Кернеръ, какъ видно, тонкій юристъ, онъ не желаетъ допустить нарушенія права и приносить жалобу суду. Коммерческій судъ рассудилъ такъ: такъ-какъ вдова г. Гирша больше десяти лѣтъ не протестовала противъ прибавки „бывшій Гиршъ“, то и за г. Кернеромъ нельзя признать права протеста и потому „бывшій Гиршъ“ имѣетъ право красоваться на вывѣскѣ г. Гуммеля. Вы скажете, что это нѣмцы. Можетъ быть. Позвольте вамъ представить факты, гдѣ фигурируютъ русскіе. Курьезовъ въ этихъ фактахъ вы не встрѣтите, но за то встрѣтите не мало мерзостей.

Содержатель гостинницы Соболевъ взялъ изъ магазина г. Марикса разнаго рода матеріи на обивку мебели и не заплатилъ денегъ. Г. Мариксъ подалъ на него жалобу въ судъ. Сущность вопроса, значить, въ томъ, чтобы заставить г. Соболева заплатить деньги. И вотъ судъ собирается и разсуждаетъ, кто такой г. Мариксъ и кто такой г. Соболевъ съ коммерческой точки зрѣнія, и что произошло между ними съ точки зрѣнія торговаго права. Ока-

зывается, что сдѣлка со стороны г. Марикса, производящаго торговлю мануфактурными товарами, представляется торговой; со стороны-же г. Соболева эта сдѣлка вовсе не торговая, ибо, хотя содержаніе гостинницы и причисляется къ торговымъ дѣйствіямъ, но покупка матеріи на обивку мебели въ гостинницѣ торговымъ дѣйствіемъ признать нельзя, потому что г. Соболевъ купилъ матерію не для перепродажи. Такимъ образомъ, сдѣлка оказывается лишь торговой со стороны г. Марикса, а не г. Соболева, и потому искъ Марикса съ Соболева слѣдуетъ оставить безъ разсмотрѣнія. Такъ и осталось неизвѣстнымъ, отдасть-ли г. Соболевъ деньги г. Мариксу и кто можетъ принудить его уплатить долгъ. Говорятъ, у г. Соболева очень большая гостинница; говорятъ, въ ней останавливались персидское, японское и др. азійскія посольства; говорятъ, г. Соболевъ беретъ съ останавливающихся прістойныя деньги. Почему-же онъ не заплатилъ г. Мариксу и заставилъ того жаловаться суду? Конечно, г. Соболевъ поступилъ по своей совѣсти. А г. Мариксъ?.. Такъ и остался безъ денегъ? Впрочемъ, это, можетъ быть, наказаніе г. Мариксу, потому что, какъ вы увидите дальше, у него тоже своя торговая совѣсть.

Содержатель типографіи колежскій совѣтникъ Владиміръ Головинъ задолжалъ разнымъ лицамъ больше 800,000 рублей, а имущества у него не болѣе 200,000 рублей. Г. Головинъ обратился къ петербургскому окружному суду и просилъ признать его несостоятельнымъ должникомъ. Судъ, сообразивъ ст. 1,855 и 1,858, не принялъ просьбу г. Головина. Тогда г. Головинъ пожаловался на окружной судъ судебной палатѣ и доказывалъ, что его несостоятельность, какъ несостоятельность содержателя типографіи, не можетъ быть признана торговой, ибо онъ не торгуетъ. Одинъ-же изъ кредиторовъ, напротивъ, просилъ признать несостоятельность г. Головина торговой. Судебная палата рѣшила, что г. Головинъ подсудимъ окружному суду. Тогда статскій совѣтникъ Новицкій обратился съ жалобой къ гражданскому кассационному департаменту правительствующаго сената. Было спрощено заключеніе товарища оберъ-прокурора и сенатъ утвердилъ постановленіе судебной палаты. Такимъ образомъ, несостоятельность г. Головина не была признана торговой. Но, можетъ быть, вы хотите знать, на-сколько это помогло кредиторамъ Головина получить съ него деньги; можетъ быть, вы хотите знать, отчего г. Го-

ловинъ такъ усердно хлопоталъ, чтобы несостоятельность его не была признана торговой, а кредиторы, напротивъ, хотѣли, чтобы ее признали торговой? Объ этомъ нужно спросить у совѣсти г. Головина и его кредиторовъ; но очевидно, что кредиторамъ было бы невыгодно признать несостоятельность не торговой, а г. Головину—торговой. Получили-ли кредиторы съ г. Головина деньги и по сколько за рубль—мы этого не знаемъ, и недоумѣваемъ только надъ тѣмъ, что послѣ того, какъ первая печатня явилась у насъ еще при Иванѣ Грозномъ, мы до сихъ поръ не знаемъ, по какой совѣсти нужно судить несостоятельность типографщиковъ—по торговой или по не торговой, и почему у этихъ двухъ совѣстей разные законы,—иначе изъ-за чего-бы стали пререкается г. Головинъ и его кредиторы? Впрочемъ, изъ дѣла г. Печаткина съ г. Соколовымъ видно, что издателямъ газетъ сходитъ не всегда такъ легко, какъ сошло г. Головину. Г. Печаткинъ пожаловался на г. Соколова коммерческому суду за то, что тотъ не платитъ ему за бумагу, отпущенную въ кредитъ. Г. Соколовъ предъявилъ отводъ. Онъ доказывалъ, что изданіе газеты не принадлежитъ къ числу торговыхъ оборотовъ и потому коммерскій судъ не имѣетъ права заставить его заплатить г. Печаткину долгъ. Коммерческій судъ возразилъ, что получка товаровъ въ кредитъ не для личнаго употребленія заключаетъ въ себѣ свойство торговой сдѣлки, и потому долгъ г. Соколова есть торговый. Но почему-же долги г. Головина не торговые? Ничего не понимаю.

Г. Эрберъ нанялъ къ себѣ купоромъ г. Крышевскаго, срокомъ на 5 лѣтъ, съ жалованьемъ 2,000 руб. въ годъ. Г. Крышевскій обязался исполнять свою должность честно и добросовѣстно, соблюдать всѣ интересы г. Эрбера, а г. Эрберъ обязался не отказывать г. Крышевскому отъ мѣста безъ уважительныхъ причинъ, а иначе онъ платитъ неустойку въ 3,000 рублей. Ровно черезъ годъ г. Эрберъ отказалъ г. Крышевскому за то, что тотъ отпуская вина изъ склада безъ росписокъ и являлся въ складъ неаккуратно. Г. Крышевскій возражалъ, что онъ не принялъ на себя обязанности вести счетоводство по складу. Коммерческій-же судъ рѣшилъ, что если г. Крышевскій принялъ винный складъ, то этимъ самымъ взялъ на себя обязанность счетоводства, и что поэтому г. Эрберъ неустойки платить ему не обязанъ. Отчего-же г. Крышевскій жаловался суду на г. Эрбера, когда зналъ, что ведетъ неточную отчетность,

не ходить аккуратно въ складъ и не исполняетъ условія, заключеннаго съ Эрберомъ? Конечно, это опять вопросъ совѣсти; но вѣдь, должно быть, у г. Крышевскаго были-же какія-нибудь основанія рассчитывать на получение 3,000 рублей, если онъ обратился къ суду? Или это, можетъ быть, частное недоразумѣніе? Въ такомъ случаѣ, вотъ вамъ еще фактъ недоразумѣнія общаго. Нѣкто г. Кельхъ пожаловался на русское общество механическихъ и горныхъ заводовъ комерческому суду и просилъ судъ заставить общество уплатить ему условленное жалованье за два года, всего 5,000 рублей, признать за г. Кельхомъ право на занимаемую имъ квартиру, а въ случаѣ отказа общества, взыскать съ него по 100 рублей въ мѣсяцъ. Отчего-же г. Кельхъ такъ разсердился? Онъ разсердился оттого, что ему отказали отъ службы безъ всякой причины и общество не могло представить никакихъ доказательствъ, чтобы Кельхъ хотя въ чемъ-нибудь обнаружилъ неисправность. Судъ рѣшилъ, конечно, въ пользу г. Кельха и заставилъ общество заплатить все то, что слѣдуетъ. Какимъ-же образомъ „Русское общество механическихъ и горныхъ заводовъ“ безъ всякихъ причинъ выкидываетъ человѣка на улицу и ни съ того, ни съ сего отказываетъ ему отъ мѣста? Чѣмъ гарантированъ человѣкъ отъ подобнаго выкидыванія, если онъ не заключилъ никакого письменнаго договора? Да, это вопросъ очень щекотливой совѣсти. Хозяйка нанимаетъ себѣ кухарку и затѣмъ отказываетъ ей отъ мѣста, когда ей вздумается; купецъ нанимаетъ прикащика и гонитъ его въ шею, когда онъ ему не нуженъ; редакторъ нанимаетъ журналиста и точно также, по личнымъ причинамъ, проситъ оставить сотрудничество. Добирайся тутъ до совѣсти. Все это разные виды сдѣлки, въ которой одна сторона не гарантирована ничѣмъ, и никакой комерческой судъ не станетъ разбирать подобныхъ дѣлъ, а между тѣмъ эти дѣла на каждомъ шагу: вѣчно кто-нибудь выталкиваетъ кого-нибудь; бродятъ люди съ мѣста на мѣсто, и никакой совѣстью не примирить ихъ и ни въ какомъ нравственномъ законѣ выталкиваемый не найдетъ защиты. Или спасеніе въ контрактахъ, въ роспискахъ? Но и отъ контрактовъ и росписокъ каждый отлыниваетъ.

Есть у насъ, напримѣръ, очень почтенныя общества: „Двигатель“ и „Надежда“. Вотъ нѣсколько фактовъ объ нихъ. Если

кто-нибудь сдастъ компаніи „Надежда“ свои вещи въ хорошемъ видѣ, въ какомъ видѣ она должна ихъ возвратить? Конечно, въ томъ-же, отвѣчаете вы; но „Надежда“ разсуждаетъ иначе: она взяла отъ г. Немытаго владь, дала ей промокнуть отъ дождя, и когда отправитель потребовалъ отъ компаніи денегъ, „Надежда“ платить ихъ отказалась. Къ счастью, дѣло на этотъ разъ оказалось подсуднымъ комерческому суду и онъ, этотъ мудрый судъ разсудилъ, что перевозчикъ, принявшій товаръ отъ отправителя въ неповрежденномъ видѣ, обязанъ принять всѣ мѣры, потребныя для предохраненія товара отъ дождя. „Двигатель“, плѣвившійся примѣромъ „Надежды“, не захотѣлъ платить г. Лассу за владь, попорченную, положимъ, и не дождемъ, но тоже водою. Владь была сложена въ амбаръ общества. Случился пожаръ и при тушеніи огня владь была вся перепорчена. По какой совѣсти ни разбирайте это дѣло, ясно, что „Двигатель“ долженъ заплатить. Но „Двигатель“ сталъ увѣрять, что онъ заплатить ничего не обязанъ. Г. Ласса жалуется комерческому суду. Комерческій судъ, который и на этотъ разъ нашель, что дѣло ему подсудно, рѣшилъ, что „Двигатель“ только тогда имѣлъ-бы право не заплатить, если-бы принявшій владь не предъявилъ иска въ *надлежащемъ порядкѣ* и втеченіи шести мѣсяцевъ; но такъ-какъ г. Ласса все это сдѣлалъ, то „Двигатель“ обязанъ вознаградить его убытки. Судъ, конечно, правъ. Но если-бы г. Ласса о попорченномъ товарѣ заявилъ не въ *надлежащемъ порядкѣ* и не втеченіи шести мѣсяцевъ? О, конечно, въ этомъ случаѣ и испорченный товаръ оказался-бы неиспорченнымъ, и „Двигатель“ могъ-бы сколько ему угодно портить все то, что онъ перевозить, и никакая земная сила не заставляла-бы его платить. По своей совѣсти „Двигатель“ былъ-бы, конечно, правъ.

Этотъ „Двигатель“ вообще очень курьезное учрежденіе и ему и „Надеждѣ“ въ „Практикѣ“ с.-петербургскаго комерческаго суда посвящено нѣсколько весьма любопытныхъ фельетоновъ. Взялъ разъ „Двигатель“ владь отъ г. Тарсиса и потерялъ ее. Г. Тарсисъ пожаловался суду, но „Двигатель“ приерлся своей квитанціей, въ которой сказано, что владь считается пропавшею лишь по истеченіи одного мѣсяца съ того времени, когда она должна прибыть на мѣсто назначенія. Такъ-какъ г. Тарсисъ поспѣшилъ, то ему отказали, и получилъ-ли онъ, наконецъ, свою

кладъ—мы не знаемъ. Тотъ-же г. Тарсисъ жаловался на тотъ-же „Двигатель“, что онъ не хочетъ платить ему полную страховую сумму за совершенно пропавшее товарное мѣсто. Такъ-какъ „Двигатель“ очень тонкій юристъ, то онъ возражалъ, что мѣсто было принято безъ внутренняго осмотра и что поэтому не угодно-ли страхователю доказать, что въ мѣстѣ заключался товаръ на ту самую сумму, въ которой мѣсто принято обществомъ на страхъ. Комерческій судъ нашель, однако, что „Двигатель“ идетъ уже совершенно не туда, и рѣшилъ, что осматрѣль-ли „Двигатель“ или не осматрѣль, что было въ мѣстѣ, но если мѣсто пропало, за него заплатитъ слѣдуетъ.

Если вы посылаете съ „Двигателемъ“ что-нибудь, положимъ, и не особенно срочное, но все-же оно должно придти когда-нибудь къ мѣсту своего назначенія, а „Двигатель“ будетъ везти вашу вещь 10 лѣтъ, онъ за это все-таки ничѣмъ не отвѣчаетъ и ваша жалоба на него будетъ признана юридически неосновательною. Взялъ разъ „Двигатель“ кладъ отъ г. Бакши. Сколько времени онъ везъ ее, мы не знаемъ, но, должно быть, очень долго, потому что у г. Бакши, наконецъ, лопнуло терпѣніе и онъ потребовалъ неустойку. Хитрый „Двигатель“, зная свои русскіе порядки, въ своихъ квитанціяхъ обошелъ этотъ вопросъ, конечно, молчаніемъ, и комерческій судъ нашель, что г. Бакши жалуется неосновательно и „Двигатель“ не обязанъ платить ничего. Но вѣдь „Двигатель“ ввель-же его въ убытки? Кто-же долженъ вознаградить за эти убытки? „Двигатель“ говоритъ, что не онъ, комерческій судъ тоже говоритъ, что не онъ, а бѣдные отправители, не зная, что имъ дѣлать, по-прежнему обращаются къ той-же „Надеждѣ“ и „Двигателю“, весьма основательно соображая, что должна-же быть у этихъ обществъ какая-нибудь совѣсть.

Нѣкто г. Редель сдалъ „Двигателю“ въ Варшавѣ, для доставленія ему-же, въ Нижній-Новгородъ, ящикъ съ пушнымъ товаромъ, застрахованный въ 1,000 рублей. Когда ящикъ прибылъ въ Нижній, на немъ оказались наружныя поврежденія, а по вскрытіи ящика г. Редель вмѣсто пушного товара нашель хламъ. Г. Редель потребовалъ, чтобы „Двигатель“ заплатилъ ему 1,000 рублей, а „Двигатель“ отвѣтилъ, что онъ платить ему не будетъ. Дѣло поступило въ комерческій судъ, который нашель, что когда г. Редель принималъ свой ящикъ, то онъ не сдѣлалъ никакого за-

явленія о пропажѣ товара и поврежденіи мѣста, не выполнилъ 1 п., напечатаннаго на оборотѣ квитанціи, и потому, если ему угодно, онъ можетъ привлечь „Двигатель“ къ уголовной отвѣтственности, а на коммерческую права никакого не имѣетъ. Тутъ опять сущность спутывается съ формами, и г. Редель долженъ принять хламъ за пушной товаръ только потому, что не соблюдъ известную форму. Мы не противъ формъ, и если-бъ ихъ не существовало въ судебной практикѣ, то, конечно, дѣлъ, подобныхъ ределевскому, могли явиться цѣлые миліоны. Одинъ, получивъ деньги, но не сосчитавъ ихъ, сталъ-бы увѣрять, что ему выдали менѣе; другой отправилъ-бы кирпичъ или песокъ и сталъ-бы увѣрять, что у него пропалъ драгоценный товаръ. Но здѣсь вопросъ не въ этомъ; здѣсь вопросъ въ томъ, что ни въ чемъ и ни на кого нельзя положиться, что каждый отлыниваетъ, что у васъ пропадаютъ вещи и дѣло приходится разбирать по одной формѣ и ни въ чемъ и нигдѣ вы не добьетесь толку; что повсюду въ коммерческомъ мірѣ идетъ война всѣхъ противъ всѣхъ, каждого противъ каждого, и въ то-же время каждый правъ и убытокъ несетъ тотъ, кто не соблюдъ формы, точно форма—все, а сущность—ничего. Еще-бы не плодиться юридической ловкости и не процвѣтать софизмажъ!

Съ тѣмъ-же „Двигателемъ“ завелъ процессъ нѣкто г. Левинсонъ. Онъ сдалъ обществу ящикъ съ янтарею подъ знаками $\frac{A. L.}{+ 15}$, вѣсомъ 4 п. 8 ф. Ящикъ былъ принятъ въ Ригѣ и долженъ былъ прибыть въ Петербургъ. Когда ящикъ прибылъ, то въ немъ оказалось 1 п. 30 ф. вѣсу менѣе противъ обозначеннаго въ квитанціи, а между тѣмъ внѣшнихъ повреждений не было. Спрашивается, пропало-ли что-нибудь изъ ящика или не пропало? Г. Левинсонъ говоритъ, что пропало, и признаетъ ящикъ не тѣмъ, который онъ сдалъ, а „Двигатель“ увѣряетъ, что это тотъ самый ящикъ, и платитъ отказывается. Г. Левинсонъ доказываетъ, что онъ вовсе не обязанъ принять ящикъ, а „Двигатель“ утверждаетъ, что г. Левинсонъ пропустилъ шестимѣсячный срокъ. Но вѣдь срокъ былъ-бы пропущенъ, если-бы г. Левинсонъ принялъ ящикъ, а онъ его не беретъ. Если г. Левинсонъ своего ящика не беретъ, то вѣдь „Двигателю“ должно доказать, что это тотъ самый ящикъ, который онъ отъ него принялъ, а „Двигатель“ этого не дока-

заль. Комерческій судъ рѣшилъ, что такъ-какъ въ ящикѣ оказалась большая разница въ вѣсѣ и вѣшнихъ поврежденій никакихъ нѣтъ, а „Двигатель“ не доказалъ, отъ какихъ причинъ уменьшился вѣсъ въ ящикѣ, то г. Левинсонъ долженъ получить отъ общества 2,000 рублей.

То, что случилось съ ящикомъ г. Левинсона, явленіе въ русской комерціи очень обыкновенное. То вы получите совсѣмъ не то, что отправили, то въ меньшемъ вѣсѣ, то не того качества, и ни одно дѣло никогда не кончается просто, и всегда приходится прибѣгать къ суду, и всегда нужно быть юристомъ, и всегда всѣ споры и недоразумѣнія сводятся къ формамъ. Что дѣлается на сухомъ пути „Двигателемъ“ и „Надеждой“, повторяется на каждомъ шагу и на морѣ. Шель разъ въ Петербургъ грузъ хлопка. Шкиперу нельзя было слать грузъ непосредственно получателю и онъ сдалъ его въ тамошнѣ. Потомъ оказалось, что 112 кипъ хлопка пропало. Получатель предъявилъ искъ къ шкиперу; шкиперъ отвѣтилъ, что онъ сдалъ; судъ нашель, что получателю не возбраняется ставить отъ себя артельщиковъ для присмотра за товаромъ, начиная съ самой выгрузки, — а 112 кипъ хлопка все-таки пропали. Иногда эти пропажи достигаютъ грандіозныхъ размѣровъ и совершаются неизвѣстно гдѣ, хотя иностранцы въ то-же время утверждаютъ, что вороватостью отличаются преимущественно русскіе. Такъ николаевская биржевая артель нагружала пароходъ хлѣбнымъ товаромъ, и въ Амстердамѣ, когда грузъ прибылъ, оказалось его гораздо меньше. Артель говоритъ, что она нагрузила въ пароходъ то самое количество кулей, которое приняла отъ продавцовъ въ Петербургѣ. Когда товаръ былъ нагруженъ, надзоръ артели прекратился и, слѣдовательно, за пропажу она отвѣчать не можетъ. Такъ-же рѣшилъ и судъ. Кто-же выкралъ хлѣбъ? Можно, конечно, думать, что его выкрали нѣмцы; но гг. Шмитъ и Кюзель, хозяева товара, указываютъ на одно обстоятельство, придающее дѣлу иной цвѣтъ. Недостатокъ въ товарѣ оказался на разныхъ пароходахъ и у разныхъ шкиперовъ. Хлѣбъ доставлялся купцами счетомъ кулей. Мы не утверждаемъ, чтобы купцы позволили себѣ какое-нибудь отступленіе отъ комерческой совѣсти, но знаемъ и такіе случаи, когда въ куляхъ съ русскимъ хлѣбнымъ товаромъ, по прибытіи ихъ за границу, оказывалась примѣсь известки, и поэтому дума-

емъ, что, конечно, не на пароходахъ и не въ Амстердамѣ убавился вѣсъ кулей, проданныхъ петербургскими хлѣбными торговцами гг. Шмиту и Кюзелю. Николаевская артель, конечно, не виновата; но скажите, чѣмъ виноваты гг. Шмитъ и Кюзель, что они купили одно количество хлѣба, а получили другое, и куда дѣлся этотъ хлѣбъ? Конечно, гг. Шмитъ и Кюзель должны были перевѣсить товаръ и не принимать его такъ легкомысленно, какъ они это сдѣлали. Но гдѣ-же коммерческое довѣріе, что это за особенная коммерческая совѣсть, которой нельзя вѣрить ни въ чемъ?.. И мы-же еще такъ громко разсуждаемъ о кредитѣ и довѣрїи!

Купецъ Бондаревскій былъ преданъ суду таганрогскаго окружнаго суда, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, за то, что онъ, желая обмануть страховое общество „Надежда“, вошелъ въ соглашеніе со шкиперомъ судна „Св. Николай“, застраховавъ большее количество товара противъ дѣйствительно нагруженнаго, а шкиперъ съ матросами сдѣлали злоумышленную аварїю и судно пошло ко дну. Бондаревскаго присяжные оправдали и тогда его повѣренный предъявилъ въ коммерческой судъ искъ. Повѣренный „Надежды“ возражалъ, что истецъ не доказалъ, чтобы „Николай“ погибъ отъ морскаго несчастїя. Правда, уголовный судъ оправдалъ г. Бондаревскаго, но изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы гражданскій судъ отказался разсмотрѣть возраженіе повѣреннаго. Затѣмъ повѣренный начинаетъ выкапывать разныя мелочи о нагрузкѣ товара, о срокахъ, и на основанїи всего этого выводитъ, что „Надеждѣ“ платить не слѣдуетъ. Повѣренный ухитряется до того, что заставляеть г. Бондаревскаго, кромѣ росписки шкипера о принятїи груза, представить еще доказательства, что товаръ былъ дѣйствительно нагруженъ, и сводить, такимъ образомъ, дѣло къ тому, что „Надежда“ не принимала отъ г. Бондаревскаго никакого товара и, слѣдовательно, ничего утонуть не могло. Это даже и не остроумно, даже и не юридическій софизмъ, а ужъ Богъ знаетъ что такое! Понятно, что „Надежду“ приговорили къ уплатѣ г. Бондаревскому 14,000 рублей. Очень можетъ быть, что шкиперъ и матросы въ чемъ-нибудь и виноваты, потому что судно погибло оттого, что его оставили шкиперъ и два матроса. Можетъ быть, и „Надежда“ права, что она не захотѣла немедленно платить убытки, не разрѣшивъ вопроса, от-

чего погибло судно. Но зачѣмъ-же пускаться въ юридическіе софизмы и въ то-же время толковать о коммерческомъ кредитѣ и кричать о чистотѣ въ коммерческихъ отношеніяхъ? Такъ, взявши товаръ отъ г. Геллера, „Надежда“ не доставила этого товара, потому что корабль „Три святителя“ потерпѣлъ аварію. Компания ссылается на то, что въ полисѣ стоитъ условіе: „свободенъ отъ поврежденія, кромѣ кораблекрушенія“. А такъ-какъ „Три святителя“ погибли отъ кораблекрушенія, то она платитъ не намѣрена. Что это, юридическое остроуміе или подлогъ? Будто-бы „Надежда“ не знала, что случилось съ „Тремя святителями“, будто она не знала, какъ у корабля открылась течь, которую, впрочемъ, удержали помпами, какъ корабль зашелъ въ синопскій портъ, вынулъ якорь и починилъ свои поврежденія. „Надежда“ называетъ это крушеніемъ, хотя въ то-же время знаетъ, что въ сущности это не крушеніе. Или тутъ путаница? Можетъ быть, и путаница, потому что коммерческой судъ сталъ на сторону „Надежды“. Но чѣмъ-же виноватъ г. Геллеръ, товаръ котораго подмокъ? И вотъ онъ ведетъ дѣло дальше и дѣло принимаетъ утонченный юридическій оттѣнокъ, разбираются всѣ случаи морскихъ несчастій, обсуживается, что такое поврежденіе груза. Всевозможные морскіе случаи притѣняются въ частности къ „Тремъ святителямъ“ и въ концѣ-концовъ оказывается, что корабль „Три святителя“ не потерпѣлъ крушенія. Если-бы онъ потерпѣлъ крушеніе, онъ не прибылъ-бы въ синопскій портъ, онъ не былъ-бы признанъ годнымъ для починки; теперь-же онъ оказался только неспособнымъ къ плаванію безъ капитальнаго исправленія. И вотъ опредѣленіе коммерческаго суда признано неправильнымъ и „Надежду“ заставили заплатить г. Геллеру полную страховую сумму.

„Надежда“, какъ и „Двигатель“, отлыниваютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они разыгрываютъ роль молота, но когда они являются наковальной, тогда они кричатъ гораздо громче, чѣмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда сами обижаютъ другихъ. Разъ „Надежда“ отправила кладъ по орловско-витебской желѣзной дорогѣ. Кладъ должна была идти изъ Рославля въ Петербургъ, но не дошла, а пропала гдѣ-то, и „Надежда“ потребовала отъ компаніи желѣзной дороги 3,926 руб. 39 коп. съ процентами. Орловско-витебская желѣзная дорога, придерживаясь того-же самаго

юридическаго начала, котораго держится во всѣхъ случаяхъ „Надежда“, отвѣтила, что она не намѣрена платить убытковъ, потому что владѣ пропада не на орловско-витебской, а на динбургско-витебской желѣзной дорогѣ; что компанія „Надежда“ пропустила установленный двухмѣсячный срокъ и поэтому права на вознагражденіе не имѣетъ. Орловско-витебская желѣзная дорога побывала „Надежду“ ея-же оружіемъ. Но всѣ эти юридическія лукавства не повели ни къ чему, потому что было доказано, что орловско-витебская желѣзная дорога нигдѣ не упоминала о томъ, что ея отвѣтственность прекращается, если владѣ будетъ передана на примыкающую желѣзную дорогу. Было доказано также, что „Надежда“ не пропустила срока, и орловско-витебской желѣзной дорогѣ пришлось заплатить.

Любопытно, что во всѣхъ подобныхъ дѣлахъ всегда повторяется одно и то-же, все вертится или на срокахъ, или на обвиненіяхъ во лжи и обманѣ, и всякое разрѣшеніе сводится къ простымъ уловкамъ, въ которыхъ противники стараются перещеголять одинъ другого. Любопытно, что самыя богатныя и сильныя компаніи нисколько не смущаются спорить о копейкахъ, выдумываютъ уголовныя отвѣтственности, прибѣгаютъ ко всякимъ софизмамъ, и все это для того, чтобы отжалить чужой грошъ и свалить съ себя отвѣтственность. Всѣ эти компаніи существуютъ десятки лѣтъ, изъ года въ годъ повторяютъ старыя исторіи, и вѣчно читаешь въ ихъ дѣлахъ одно и то-же, и вѣчно наталкиваешься на тѣ-же уловки и на тотъ-же безпорядокъ, противъ которыхъ никто не принимаетъ никакихъ мѣръ. Вотъ ужъ, поистинѣ, земля наша велика и обильна, а... Желѣзныя дороги, перевозочныя компаніи, какъ „Надежда“ и „Двигатель“, пароходныя общества точно только о томъ и хлопчутъ, чтобы эксплуатировать чужіе карманы.

Вотъ, напримѣръ, камско-волжское пароходное общество приняло отъ г-жи Безпаловой для перевозки изъ Нижняго-Новгорода въ Самару 1,634 мѣста разнаго товара, въсомъ 10,944 пуда. Но вмѣсто 1,634 мѣстъ пароходное общество доставило только 1,406, да и въ нихъ весь товаръ оказался испорченнымъ совершенно отъ подмочки; остальные-же 228 мѣстъ сгнули безслѣдно, и г-жа Безпалова потребовала отъ общества 75,808 рублей. Конечно, сумма большая, но вѣдь пожарныя страховыя общества

платять миліоны, каждый годъ случаются большіе и малые пожары, а между тѣмъ въ практикѣ коммерческаго суда мы не находимъ ни одного процесса съ страховыми обществами, а только съ желѣзными дорогами, съ пароходными обществами, съ „Надеждой“ и съ „Двигателемъ“. Отчего-же не кляузничаютъ пожарныя страховыя общества, а кляузничаютъ „Надежда“ и „Двигатель“? Да еще какъ, и въ дѣлахъ совершенно безспорныхъ и ясныхъ, какъ день. Если пропало 228 мѣстъ и совершенно испорчены всѣ остальные, то какъ-же не признать, что убытокъ этотъ не долженъ быть вознагражденъ? Но камско-волжское пароходное общество ухитрилось прикрыться такимъ невообразимымъ толкованіемъ, что только разводишь руками. Камско-волжское общество говоритъ, и это подтвердилось дознаніемъ, что баржа, на которой былъ нагруженъ товаръ г-жи Безпаловой, шла на буксирѣ парохода „Дельфинъ“. Дойдя до осельскаго переката, командиръ остановилъ пароходъ, отчалилъ баржи и поручилъ лоцманамъ перевести ихъ черезъ перекатъ. Перейдя перекатъ, на разстояніи полверсты, баржу отбросило на отмель, гдѣ она и затонула. Когда осмотрѣли мѣстность, то оказалось, что отмель состояла изъ мелкаго и рыхлаго наноснаго песку, а когда осмотрѣли баржу, то въ днищѣ ея нашли проломы; думали, не пробилъ-ли якорь, но якорь оказался невиноватымъ; тогда пришлось искать другой причины, а причиной оказалась карша. Въ самый день приключенія затонула только $\frac{1}{3}$ товара, черезъ два дня затонулъ весь товаръ, нагруженный внутри баржи, а къ вечеру того-же дня затопилась и палуба. Любопытно, что для спасенія товара были посланы два парохода и на одномъ изъ нихъ находилось до сорока рабочихъ, которые ни за какія предложенія не соглашались выгружать затопленную баржу. Интересно-бы знать, какія имъ дѣлали предложенія и почему они были такъ несговорчивы, когда извѣстно, что съ русскимъ чело-вѣкомъ столковаться вовсе не такъ трудно? Можетъ быть, несговорчивость должна была служить оправданіемъ камско-волжскому обществу, а въ такомъ случаѣ, конечно, виноваты во всемъ рабочіе. И дѣйствительно, виноваты рабочіе и карша, а камско-волжское общество не виновато; его уполномоченный сдѣлалъ все, чтобы спасти товаръ, онъ даже прислалъ два парохода, но только не спросилъ рабочихъ заранѣе, стануть-ли они спасти товаръ

или нѣтъ. Поэтому какъ камско-волжское общество, такъ и коммерческій судъ нашли, что доводы г-жи Безпаловой не заслуживаютъ никакого уваженія. Правда, г-жа Безпалова доказывала, что проломъ баржи произошелъ не отъ карши, и представила еще другія неосновательныя возраженія и даже сама лишила себя права на вознагражденіе, потому что, принявъ мѣста, она распорядилась ими и этимъ сдѣлала невозможнымъ опредѣлить убытки. Но вѣдь, кромѣ того, у ней пропало 288 мѣстъ,—неужели и за нихъ камско-волжское общество не обязано платить? Нѣтъ, потому что и тутъ виновата г-жа Безпалова,—она не показала, какой товаръ заключался въ этихъ мѣстахъ и какого онъ вѣса, а сдѣлала расчетъ по средней сложности вѣса и цѣнности всѣхъ 1,634 мѣстъ. Ясно, что во всемъ виноваты г-жа Безпалова и карша, а камско-волжское пароходное общество невиновато ни въ чемъ. О, милая логика права, всегда выгодная только одной сторонѣ! Она готова даже отрицать факты, если не въ силахъ справиться съ ними. Вѣдь 288 ящиковъ пропали? Пропали, отвѣчаетъ камско-волжское общество. Слѣдуетъ за нихъ заплатить? Слѣдуетъ. Отчего-же вы не платите? Мы хотимъ заплатить, но скажите, что стоятъ ваши ящики? Я могу сказать, отвѣчаетъ г-жа Безпалова,—только по среднему расчету. Но мы средняго расчета не признаемъ, отвѣчаетъ камско-волжское общество. Странное общество: средній расчетъ признается всѣми, признается даже компаниями желѣзныхъ дорогъ, которыя платятъ по 5 р. съ пуда... Конечно, коммерческій судъ могъ-бы разобрать это дѣло по общей совѣсти и тогда, можетъ быть, камско-волжскому обществу не пришлось-бы такъ гордиться своею силою и своею беззащитностью съ довѣрителями.

И какъ-же за то наши компаніи сами надъ собою издѣваются! Въ практикѣ коммерческаго суда нѣтъ ни одного случая, когда-бы камско-волжской компаніи былъ данъ урокъ по общей совѣсти. Урокъ этотъ, конечно, предстоитъ ей еще въ будущемъ, но за то тамъ есть случаи съ другими компаніями, и невольно злорадствуешь, когда читаешь, напримѣръ, процессы „Надежды“, „Двигателя“ и желѣзныхъ дорогъ съ подобными-же имъ компаніями. „Надежда“ старается вести себя такъ-же ужасно, какъ камско-волжское общество; она какой-же вристъ, математикъ, логикъ и купецъ. Но такъ-какъ всякій долженъ погибнуть отъ

своего оружія, то хотя „Надежда“ до сихъ поръ отъ него и не погибла, но нельзя-же сказать, чтобъ она и не получила нѣсколько чувствительныхъ царапинъ, хотя въ сущности онѣ ни къ чему не ведутъ. Но все-таки пріятно позлорадствовать и пожелать, чтобы наши компаніи еще больше перепутались между собою, побольше-бы завели процесовъ за обоюдную неакуратность, побольше-бы поспорили по своей торговой совѣсти, и, можетъ быть наконецъ, онѣ убѣдятся, что двухъ совѣстей нѣтъ на свѣтѣ и что торговая совѣсть и не торговая—одна и та-же.

„Надежда“ отправила изъ Кишинева въ Петербургъ черезъ русское общество пароходства и торговли и одесскую желѣзную дорогу 42 п. табаку. Табакъ пропалъ дорогой и „Надежда“ пожаловалась комерческому суду. „Надежда“ требуетъ, чтобы желѣзная дорога и пароходство заплатили ей 507 руб. 22 коп.; а тѣ отвѣчаютъ, что они ей заплатятъ по 5 р. съ пуда, т. е. 210 руб. Казалось-бы, „Надеждѣ“, дѣйствующей по тѣмъ-же правиламъ, слѣдовало-бы взять эти 210 р. и не поднимать никакого шума. Но „Надежда“ шумитъ; она, вѣчно обижающая другихъ, отличающаяся постоянными неисправностями и процессами, считаетъ себя необыкновенно обиженной, хотя и должна-бы знать, что никакой судъ въ мірѣ не признаетъ правильнымъ ея требованіе. „Надежда“ отправила грузъ незастрахованный, и она это знаетъ. Въ квитанціи, которую она получила, сказано, что если незастрахованная кладь пропадетъ, то вознагражденіе выдается по 5 руб. съ пуда. „Надежда“ училась грамотѣ, конечно, прочитала квитанцію, которую ей дали, и, конечно, поняла, что въ ней написано. Чего-же она хочетъ, о чемъ она проситъ, зачѣмъ она заводитъ процессъ, зачѣмъ она напрасно обременяетъ судъ, зачѣмъ она доводитъ себя до непріятности получить отказъ, когда ранѣе должна была знать, что кромѣ отказа ей ничего не придется получить?

Съ какимъ-же злорадствомъ мы читали отказъ російскому обществу транспортированія и страхованія кладей, отыскивающему подобныя-же убытки съ харьковско-никалаевской желѣзной дороги! Процессъ этотъ насъ радовалъ больше еще по его почтенной цифрѣ—14,000 руб. Судъ отказалъ, хотя, конечно, могъ-бы и приговорить къ вознагражденію. Наши компаніи желѣзныхъ дорогъ похожи немножко на волка въ „Красной шапочкѣ“; онѣ

стараятся принимать нѣжный видъ, говорятъ очень ласково и вѣрадливо, но волчьи зубы ихъ видны всякому, что хочетъ ихъ видѣть. Въ „повѣсткахъ“ и „квитанціяхъ“, которыя онѣ выдаютъ, стоитъ такой пунктъ: „въ случаѣ утраты или поврежденія вѣды управленіе дороги даетъ вознагражденіе дѣйствительной цѣнности ея, если таковая не превышаетъ 5 руб. за пудъ товара и если притомъ утрата или поврежденіе произошли по винѣ дороги или ея агентовъ“. По этому пункту едва-ли кому-нибудь придется получить вознагражденіе. Подобнымъ-же щитомъ приерилось и камско-волжское общество въ процесѣ съ г-жей Безпаловой, гдѣ во всемъ оказались виноватыми карша и мужики, нехотѣвшіе выгружать баржу. По этому пункту ни вы, ни я, ни третій, ни десятый, путешествующій по желѣзной дорогѣ, если пропадутъ наши чемоданы, не получимъ ничего, потому что гдѣ-же заводить дѣла и судебный процесъ да разбирать вину агентовъ! А если-бы вознагражденіе и выдали, то за чемоданъ, въ которомъ было все ваше платье и всѣ ваши вещи, цѣною, можетъ быть, рублей на 100—200, вы получите всего только 5 руб. Одни хлопоты стоили-бы дорожѣ! Конечно, вы махнете рукой. Но вѣдь вы не одинъ, на желѣзныхъ дорогахъ ѣздятъ миліоны, и отношенія всѣхъ этихъ миліоновъ къ желѣзнымъ дорогамъ остаются такіа-же. Рискъ только на ихъ сторонѣ, желѣзныя-же дороги ничѣмъ не рискуютъ и ничѣмъ не отвѣчаютъ, несмотря на то, что наибольшіе безпорядки, наибольшее пренебреженіе къ публикѣ, послѣ „Надежды“, „Двигателя“ и пароходныхъ обществъ, встрѣчаются только на желѣзныхъ дорогахъ. Онѣ считаютъ себя силой, а публику дойной коровой. И какъ это ни обидно, а все-таки придется сознаться, что мы съ вами не больше, какъ жалкіе нули, а благодѣтельствующія намъ компаніи, акціонерныя банки и всякія другія акціонерныя предпріятія—дѣйствительные господа.

Да, законы торговой совѣсти совсѣмъ особенные законы, а если они опираются еще и на логику права, то получается нѣчто такое, противъ чего окажется бессильнымъ всякое отдѣльное лицо. Есть, наприимѣръ, въ Петербургѣ магазинъ г. Марикса, того самаго Марикса, у котораго г. Соболевъ взялъ матерію для своей гостиницы и за нее не заплатилъ. Г. Мариксъ торгуетъ подъ фирмою: „бывшій домъ Бастиль С.-Жунвенъ“. Въ декабрѣ 1869 г.

нанялся прикащикомъ къ г. Мариксу г. Лафонъ, на слѣдующихъ условіяхъ: г. Лафонъ принимаетъ на себя веденіе дѣлъ „по отдѣленію бѣлыя“ и продажу этого рода товаровъ. На волю г. Лафона предоставляется, по истеченіи срока договора, заключить съ г. Мариксомъ новый контрактъ, но если подобное возобновленіе не окажется удобнымъ по какой-либо причинѣ, то г. Лафонъ обязуется выѣхать изъ Россіи съ тѣмъ, чтобы не возвращаться для дѣлъ этого-же рода ни за свой счетъ, ни за счетъ третьяго лица, а въ противномъ случаѣ обязуется заплатить г. Мариксу 10,000 р. въ видѣ неустойки. Если-бы втеченіи срока условія г. Лафонъ, по причинамъ, лично до него касающимся, или по желанію г. Марикса, долженъ былъ-бы прекратить условія, то онъ, Лафонъ, обязанъ возвратиться за границу и въ Россіи никогда не торговать. Договоръ этотъ былъ заключенъ 15 декабря 1869 года, а въ іюль 1871 Лафонъ оставилъ занятія у г. Марикса, получилъ отъ него расчетъ и деньги на обратный проѣздъ во Францію. Въ сентябрѣ-же г. Лафонъ, въ качествѣ главнаго прикащика сестры своей Эми Лафонъ, открылъ въ Петербургѣ магазинъ подъ фирмою: „Grande maison de blanc“. Г. Мариксъ, конечно, началъ дѣло и потребовалъ съ Лафона условленную неустойку въ 10,000 руб. Судъ призналъ право Марикса, а Лафонъ подалъ апелляціонную жалобу. Кромѣ юридическихъ возраженій, Лафонъ указываетъ на то, что обязательства, которыми связалъ его Мариксъ, навсегда лишаютъ его права распоряжаться свободно своими дѣйствіями, закрываютъ для него навсегда Россію, а такое ограниченіе свободы противозаконно и безнравственно.

Мы не скажемъ, чтобы у г. Лафона не было пушка на рыльцѣ и чтобы онъ не прикидывался сиротой. Нанявшись на 5 лѣтъ и выдержавъ условія только втеченіи одного года съ небольшимъ, Лафонъ очень хорошо знаетъ, что онъ дѣлаетъ. Очень можетъ быть, что онъ, весьма лукаво сообразилъ все заранѣе и уже ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы вынырнуть отъ г. Марикса и торговать у сестры. Для насъ даже торговое лукавство г. Лафона—фактъ очень выгодный, потому что прибавляетъ еще новую характерную черту къ торговой совѣсти. Лафонъ знаетъ, конечно, очень хорошо, чего требуетъ отъ него Мариксъ, и все-таки онъ подписываетъ условіе, обязуется заплатить неустойку и черезъ полтора года, даже меньше, нарушаетъ контрактъ. Когда-же съ него требуютъ неустойку, то

онъ начинаетъ ссылаться на коммерческіе законы, говоритъ она ршеніи 2,214 ст., разсуждаетъ о свободѣ, о нравственности, и старається всѣми средствами отлынять отъ исполненія договора, который при заключеніи онъ не считалъ ни противозаконнымъ, ни безнравственнымъ. А Мариксъ? Что за странная кабала, которою онъ связываетъ своего прикащика; почему человѣкъ, торгующій въ его магазинѣ, долженъ отказаться на-вѣки отъ права торговать? Или это боязнь конкуренціи? Но вѣдь кромѣ Лафона есть множество и другихъ людей на свѣтѣ, которые могли открыть магазины бѣлья въ Петербургѣ. Нельзя-же со всѣми заключить подобное условіе. Значить, опасна не конкуренція вообще, а именно Лафонъ, именно его боялся г. Мариксъ. А можетъ быть, у Марикса была тайная боязнь, что, по царящей у насъ повсюду торговой практикѣ, прикащики обыкновенно черезъ нѣсколько времени открываютъ подобныя-же магазины, какъ и у ихъ хозяевъ. Но развѣ не все равно, откроеть-ли прикащикъ на экономію, сдѣланную на счетъ хозяина, магазинъ въ Москвѣ, въ Петербургѣ, въ Нью-Йоркѣ, — убытокъ хозяина во всякомъ случаѣ остается тотъ-же. Ничего не поймешь... Споръ Лафона съ Мариксомъ подвергся высшему юридическому разсмотрѣнію и, конечно, не окончился въ пользу Лафона. Съ юридической точки зрѣнія вопросъ и не могъ быть рѣшенъ иначе. Лафонъ явно нарушилъ контрактъ и за нарушеніе контракта долженъ отвѣтить. Что-же касается беззаконности и безнравственности, на которую сослался Лафонъ, — хотя все это не его ума дѣло и не ему было-бы разсуждать объ этихъ высокихъ матеріяхъ, — то на основаніи юридическаго разсмотрѣнія въ договорѣ не оказалось никакой безнравственности. Предметомъ договора, разсуждаютъ юристы, могутъ быть или имущества, или дѣйствія лицъ. Договоръ можно признать недѣйствительнымъ только въ такомъ случаѣ, если побудительная причина его запрещена закономъ; если-же законъ молчитъ и договоръ заключается по обоюдному согласію, то въ этотъ договоръ можетъ быть включено все и въ этомъ не будетъ ничего безнравственнаго. Нельзя не уважать законъ, предоставляющій такую свободу лицу. Но вопросъ о нравственности, о свободѣ и о всѣхъ тѣхъ высокихъ матеріяхъ, на которыя ссылается Лафонъ, остается все-таки вопросомъ нерѣшеннымъ. Онъ остается вопросомъ личной

совѣсти и торговой совѣсти и кончается той путаницей, которая разрѣшается потомъ практикой комерческаго суда.

Судебная лѣтопись кліентовъ комерческаго суда особенно любопытна въ томъ отношеніи, что вы чувствуете себя точно въ первый день творенія, точно вы попали между людьми, которымъ неизвѣстны ни формы жизни, которые не знаютъ, что бѣло, что черно, что можно и чего нельзя, что обидно, что безобидно, и все это продолжается не какими-нибудь дѣтьми, не подонками общества, не людьми безграмотными, а людьми нерѣдко съ громкими фамиліями, людьми, торгующими подъ извѣстными и пользующимися репутаціей фирмами, людьми высшаго образованія, цивилизованными, нерѣдко даже учеными. Напримѣръ, съ г-жи Вистромъ, не только страждущей разстройствомъ умственныхъ способностей, но даже и признанной сумасшедшей юридически, и при освидѣтельствованіи которой въ губернскомъ правленіи оказалось, „что ей 70 лѣтъ, что она находится въ такомъ состояніи умственнаго ослабленія, что не въ состояніи управлять ни собою, ни своимъ имуществомъ, что такое состояніе умственнаго ослабленія обусловлено, съ одной стороны, прежнею болѣзнію души, а съ другой—вліяніемъ старости на душевную дѣятельность“,—съ такой больной берется не только вексель, но по векселю начинается еще и судебный процессъ. За безграмотнаго подписываетъ вексель другое лицо и никто не удостовѣряетъ этой подписи—и снова судебный процессъ. Дѣвушка, неотдѣленная отъ родителей, даетъ векселя—и от нея эти векселя берутъ. Повѣренный выдаетъ отъ имени довѣрителя своего, не имѣя на это особенной довѣренности. На вексель, принадлежащемъ другому лицу, третій, не будучи векселедержателемъ, пишетъ наоборотъ свое имя, званіе и фамилію. Вексель безъ всякихъ передаточныхъ надписей переходитъ черезъ руки многихъ лицъ и должникъ не считаетъ себя обязаннымъ платить своего долга. По уплаченному разъ векселю требуется вторая уплата. Изъ двухъ лицъ, давшихъ общій вексель, одно оказывается несостоятельнымъ и другой долженъ платить за него всю сумму. Вы пропустили двухгодичный срокъ для взысканія по векселю—и этого совершенно достаточно, чтобъ долгъ оказался несуществующимъ, точно онъ уплаченъ. Векселедатель подписалъ свое имя, отчество, но не написалъ фамилію, и на этомъ основаніи отказывается отъ платежа денегъ. Въ вексель пропущено

выраженіе „кому онъ прикажетъ“—и на этомъ основаніи должникъ отказывается отъ платежа новому векселедержателю. Дочери одного тайнаго совѣтника берутъ въ долгъ безраздѣльно 5,000 рублей—и потомъ отказываются платить, ссылаясь на разныя нотаріальныя мелочи и на то, что одно изъ лицъ не имѣло права на довѣренность, потому что оно монашествующее. Вексель выдается несовершеннолѣтнимъ и по довѣренности его подписывается его опекуномъ. Для васъ не ясно, что это значить? Это значить то, что попечитель, обязанный беречь имущество несовершеннолѣтняго, не можетъ быть его повѣреннымъ. Нижній чинъ беретъ въ долгъ 1,000 руб., не платитъ долга, вексель протестуется и должникъ отвѣчаетъ, что онъ не обязанъ платить, потому что во время выдачи векселя состоялъ унтеръ-офицеромъ, а воинскіе чины всѣхъ вѣдомствъ не могутъ обязываться векселями. Противникъ возражаетъ, что хотя должникъ его и былъ нижнимъ чиномъ, но по рожденію онъ принадлежитъ къ привилегированному сословію и поэтому едва-ли можетъ быть уволенъ отъ платежа. Привилегированный человѣкъ все-таки не заплатилъ. Повѣренный по дѣламъ, получивъ извѣщеніе объ уничтоженіи довѣренности, дѣлаетъ долги отъ имени довѣрителя. Купецъ дѣлаетъ заемъ у англичанина, даетъ ему векселя на англійскомъ языкѣ, и затѣмъ отказывается платить, потому что для него англійскіе законы необязательны. Должникъ признаетъ протестъ векселя недѣйствительнымъ, потому что нотаріусъ не нашелъ его въ мѣстѣ жительства, показанномъ въ самомъ векселѣ, и потому не оставилъ письменнаго извѣщенія о требованіи уплаты. Прикащикъ, оставивъ лавку, увѣряетъ, что онъ сдалъ купцу товаръ, когда онъ этого товара и не думалъ сдавать. Другой торгуетъ въ чужой лавкѣ, на чужое имя, и отрицаетъ всѣ права настоящаго хозяина.

Мы выписываемъ, можетъ быть, только десятую часть всѣхъ фактовъ, составляющихъ лѣтопись с.-петербургскаго коммерческаго суда. Всѣ эти факты, конечно, мелки, но потому-то они и любопытны. Конечно, могутъ быть недоразумѣнія, могутъ быть неясности, могутъ встрѣтиться непредвидѣнныя обстоятельства, запутывающія отношенія. Но развѣ подобные факты представляютъ какую-нибудь запутанность: поставщикъ берется доставить вашу владъ изъ Шлиссельбурга въ Ригу. Въсто того, чтобы сейчасъ нагру-

жать ее, онъ затягиваетъ время, наступаетъ ледоходъ, хозяинъ товара отправляетъ его съ другимъ поставщикомъ, а первый требуетъ уплаты за доставку, которой онъ не исполнилъ. Или вы думаете, что вся эта путаница и неясность дѣлается только подонками общества? Въ такомъ случаѣ мы вамъ представимъ съ нѣкоторою подробностію факты изъ взаимныхъ отношеній болѣе элегантныхъ слоевъ общества. Жена генералъ-лейтенанта графиня Т. выдала мужу своему, графу Т., вексель на 6,000 р., срокомъ на 12 мѣсяцевъ. Графъ Т. передалъ вексель съ надписью купцу Бергману. Бергманъ, не сдѣлавъ никакой надписи, передалъ вексель надворному совѣтнику Бухаринову. Бухариновъ передалъ вексель коллежскому совѣтнику Константину Мушинскому, а Константинъ Мушинскій передалъ его Феликсу Мушинскому. Наступаетъ срокъ платежа. Графъ Т. вноситъ деньги въ с.-петербургскую управу благочинія, куда отъ Феликса Мушинскаго былъ предъявленъ вексель, а г. Бергманъ предъявляетъ въ коммерческомъ судѣ искъ и объясняетъ, что онъ передалъ вексель г. Бухаринову не въ собственность, а только для того, чтобъ показать вексель лицу, желавшему его дисконтировать. Дѣло запутывается, доходитъ до сената и кончается тѣмъ, что г. Бергманъ получаетъ отказъ. Конечно, г. Бергманъ долженъ былъ знать это и раньше. Но чего онъ хотѣлъ и почему, передавъ свой вексель другому, онъ считаетъ себя хозяиномъ денегъ графа Т.? Коммерческій судъ, конечно, не разъяснилъ, да и разъяснить-бы не могъ. Должно быть это, вопросъ психологическій, а не юридическій. Или губернской секретарь Николай Кисляинскій потребовалъ съ артиста Германа Михельсона 140 руб. по утерянному векселю. Г. Михельсонъ отъ векселя отказался. Какъ доказать, кто правъ, кто неправъ? Коммерческій судъ навелъ справки въ общемъ германскомъ вексельномъ уставѣ и по справкѣ оказалось, что въ немъ, какъ и въ нашемъ уставѣ, нѣтъ положительныхъ по этому предмету правилъ. По справкамъ во французскомъ вексельномъ уставѣ оказалось, что французами подобный вопросъ предусмотрѣнъ. Они требуютъ, чтобы выдача векселя была доказана торговыми книгами. Но къ дѣлу гг. Кисляинскаго и Михельсона французскій уставъ примѣненъ быть не могъ, и тогда коммерческій судъ прибѣгнулъ къ русскому средству. Онъ постановилъ, что г. Михельсонъ можетъ быть освобожденъ отъ платежа только въ томъ случаѣ, если

приметь присягу, что векселя не давалъ. У г. Михельсона дрогнула душа и къ выполненію присяги онъ не явился. Этотъ фактъ насъ радуетъ, но, конечно, коммерческій судъ прибѣгнулъ къ средству очень рѣшительному и едва-ли примѣнимому ко всѣмъ подобнымъ случаямъ. Не знаемъ, какое могущество обнаружилъ-бы присяга въ очень крупномъ денежномъ дѣлѣ и между крупными денежными людьми. Былъ, напримеръ, такой случай. Нѣкто г. Маркъ прислалъ въ петербургскій учетный и ссудный банкъ письмо слѣдующаго содержанія: „С.-Петербургъ, 15 марта 1873 года, въ с.-петербургскій учетный и ссудный банкъ. Завтра открывается подписка въ здѣшнемъ обществѣ взаимнаго кредита на акціи общества голубовской каменноугольной промышленности; покорнѣйше просимъ банкъ подпираться за нашъ счетъ на 7,520 акцій и сдѣлать по нимъ 10-рублевый взносъ, равно какъ и по публикаціи о разверствѣ 15-рублевый взносъ, и получить изъ общества временныя свидѣтельства. Мы-же, съ своей стороны, обязуемся 15 мая сего года внести вамъ затраченныя вами суммы, равно какъ проценты и комисію. Подписано: учредитель почетный гражданинъ Генрихъ Альбертовичъ Маркъ. По довѣренности учредителей барона Антона Антоновича Фремкеля и титулярнаго совѣтника Андрея Яковлевича Павлова, коллежскій совѣтникъ Александръ Егоровичъ Ридигеръ“. Получивъ это письмо, банкъ сейчасъ-же купилъ акціи, ему заказанныя, внесъ за нихъ 75,200 рублей и открылъ компаньонамъ текущій счетъ. Затѣмъ онъ внесъ еще по 15 р. на акцію и занесъ на счетъ еще 112,800 руб. Во все время, по разсчету банка, имъ затрачено за счетъ компаньоновъ 188,000 руб. Когда пришла пора уплаты, компаньоны банку не заплатили и банкъ предъявилъ на нихъ искъ. Въ отвѣтъ на него Павловъ и баронъ Фремкель и Маркъ возразили, что письмо отъ 15 марта 1873 г. для нихъ вовсе необязательно, что банкъ не исполнилъ даннаго ему порученія, что, принявъ отъ голубовскаго общества 7,520 акцій, онъ распорядился ими какъ своею собственностію и тѣмъ освободилъ отвѣтчиковъ отъ обязанности внести банку затраченныя на подписку деньги. Павловъ и баронъ Фремкель возражали, что размѣръ процентовъ и комисіи для нихъ тоже необязателенъ и что они платятъ банку ничего не намѣрены. Но эта храбрость не повела ни къ чему.

Конечно, 188,000—такая сумма, ради которой даже и барону Фремкелю, несмотря на миллионы, можно похрабриться; особенно если акціи не обѣщаютъ такихъ выгодъ, на какія отъ нихъ разсчитывали; но, съ другой стороны, комерческій судъ обнаружилъ большое мужество и рѣшилъ вопросъ, конечно, въ пользу банка, на томъ основаніи, что, не признавая права Ридигера, отвѣтчики все-таки не оспариваютъ разсчета банка.

Мы понимаемъ, когда недоразумѣнія возникаютъ между маленькими и темиными людьми,—по крайней мѣрѣ, это можно объяснить ихъ необразованностью и невѣжествомъ; но чѣмъ объясняются недоразумѣнія подобныя дѣлу гг. Фремкеля и Марка; чѣмъ объяснить дѣла, въ которыхъ участвуютъ баронъ Притвицъ, академикъ Пранкъ, князь Витгенштейнъ, на которыхъ жаловался Мейснеръ за неплатежъ ему комисионныхъ денегъ; какъ объяснить, что поручикъ Шнейслеръ жалуется на дѣйствительнаго статскаго совѣтника Путилова за неплатежъ ему жалованья 5,098 р. 97 к.; какъ объяснить, что такіе великіе люди, какъ Александръ и Иванъ Мясниковы и Дмитрій Бенардаки, начинаютъ встрѣчные процессы: одни требуютъ отчета въ завѣдываніи откупомъ, другой представляетъ встрѣчный искъ въ 44,000 р., будто-бы излишне поступившихъ къ Мясниковымъ отъ Дмитрія Бенардаки? И почему возникло это дѣло, почему сильные міра сего внезапно озлобились одинъ на другого и пошли съ жалобой къ суду, черезъ 10 лѣтъ послѣ того, когда Бенардаки управлялъ откупомъ Мясниковыхъ и когда онъ успѣлъ давно умереть? Намъ правится коротенькое рѣшеніе комерческаго суда, нелишенное, несмотря на свой юридизмъ, нѣкоторой ироніи. Комерческій судъ опредѣлил: Мясниковымъ въ искѣ отказать; наследникамъ Бенардаки въ искѣ отказать“. Изъ какихъ побужденій люди тягались? О, tempo, o, mores!

Мнѣ кажется, что „Заурядный читатель“, сдѣлавшій мнѣ возраженіе за предыдущее „Внутреннее обозрѣніе“, только прикинулся, что онъ меня не понялъ, а въ сущности онъ понялъ меня хорошо. Мой вопросъ заключался въ томъ-же, въ чемъ онъ заключается и теперь. Съ какимъ ликующимъ восторгомъ мы праздновали свое тысячелѣтіе и какой мы поставили ему памятникъ, и какими символическими фигурами украсилъ этотъ памятникъ г. Микѣшинъ! На памятникѣ мы видимъ только творцовъ нашей исто-

ри, творцовъ нашего прогрессивнаго движенія, мы видимъ только однихъ интеллектуальныхъ работниковъ, соль русской земли, пионеровъ русской цивилизаціи, творцовъ русскаго ума, творцовъ гражданственности. И ничѣмъ мы такъ не гордимся, какъ своими людьми мысли, и ничѣмъ намъ такъ не хочется быть, какъ умными, какъ быть Европой, какъ сложить изъ себя гражданское общество, сформировать себѣ руководящее, передовое общественное мнѣніе. И мы, дѣйствительно, что-то сформировали, но прочтите фельетоны г. Суворина, прочтите фельетоны петербургскаго коммерческаго суда—и передъ вами возникаетъ картина нравовъ, которая заставитъ васъ развести руками и спросить: неужели это соль русской земли, неужели русская почва не создала и не могла создать ничего другого и не могла выработать себѣ дома той общественной совѣсти, которая-бы держала людей въ предѣлахъ общественной и личной порядочности? Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ критерій для нашего поведенія, какимъ аршиномъ долженъ каждый себя мѣрять и на какой держать себя веревочкѣ, чтобы не считать все для себя дозволеннымъ, чтобы не залѣзть беззастѣнчиво въ чужой карманъ, не располагать другими, какъ безответной вещью, и выработать для себя хотя маленькое человѣческое достоинство? Нравственная статистика и не существуетъ, и невозможна. Поэтому сравнить нашу коммерческую совѣсть съ коммерческой совѣстью Европы нельзя, хотя едва-ли можно допустить, чтобы коммерческая практика Англіи, Франціи, Германіи была хоть чѣмъ-нибудь похожа на коммерческую практику нашихъ торговыхъ людей и дѣльцовъ. Когда говорятъ о безнравственности нашего простонародья, то ее приписываютъ обыкновенно бѣдности. Но безнравственность народа—не больше, какъ клевета. Народъ, незнающій грамоты, живетъ и до сихъ поръ на честное слово и всѣ свои сдѣлки кончаетъ на словахъ, попросту, и вѣритъ своему и чужому слову. Путаница наступаетъ тогда, когда простой человѣкъ дѣлаетъ шагъ выше и превращается въ коммерческаго человѣка. Повисившись въ деревнѣ, онъ сейчасъ-же дѣлается кулакомъ и міроѣдомъ. Въ городѣ онъ превращается въ плутующаго и отлынивающаго приказчика; еще дальше—онъ становится коммерческимъ юристомъ и начинаетъ тягаться безбожно по судамъ, не признавая никакой другой совѣсти, кромѣ торговой, и сводя все свое умственное развитіе къ

уловкамъ и надувательству. Нѣтъ сомнѣнія, что по торговой практикѣ, переходящей въ силу одной рутинѣ отъ дѣдушки къ внуку, еще нельзя судить обо всемъ обществѣ, но если-бы вмѣсто трехъ томовъ комерческаго суда былъ только одинъ томъ, и тогда-бы пришлось пожалѣть, зачѣмъ существуетъ и этотъ одинъ томъ. И не количество дѣлъ играетъ здѣсь главную роль, а ихъ качество, не недоразумѣнія огорчаютъ насъ, потому что недоразумѣнія всегда и вездѣ возможны. Тутъ смущаетъ завѣдомость и полное отсутствіе нравственныхъ убѣжденій и элементарныхъ понятій объ условіяхъ общественныхъ отношеній. И когда не понимаетъ ихъ мужикъ, мы извиняемъ ему ради его невѣжества, но когда миліонеры не держатъ своихъ письменныхъ обѣщаній и прибѣгаютъ къ юридическимъ уловкамъ, тутъ приходится только пожалѣть, что миліоны въ карманахъ не создаютъ еще миліоновъ въ головѣ.

Общественная совѣсть—очень заманчивое слово, и было время, когда оно насъ очень плѣняло. Но вѣдь общественная совѣсть—не больше, какъ правильныя общественныя понятія, живущія не въ одной, двухъ, трехъ головахъ, а въ такой массѣ мыслящихъ людей, вліяніе которой является сдерживающей силой для каждаго отдѣльнаго человѣка. А такой вліятельной массы мыслящаго мозга мы еще у себя не только не создали, но мы не создали даже и тѣхъ вышнихъ условій, которыя-бы помогали росту этого мыслящаго мозга. Докажите, что это не такъ, и тогда вы можете говорить, что я говорю не дѣло. Наше высшее интеллектуальное представительство, какъ и тотъ громадный слой, который представляетъ изъ себя мускульное представительство, находится почти въ одинаковыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ. И совершенно понятно, почему нашъ наиболѣе утонченный мыслящій мозгъ такъ сочувствуетъ мускульному представителю. Промежутокъ, ихъ раздѣляющій, великъ и заполненъ тѣми крутящимися песчинками, путающимися, толкающимися, которыя выдаютъ себя за умственную силу. Прочитайте фельетоны г. Суворина, посмотрите, какъ онъ отразилъ эту умственную пустоту, эту претензію на интеллигенцію, прочитайте практику комерческаго суда—и вамъ, конечно, сдѣлается больно и обидно за ваше безсиліе, за вашу безвліятельность и за то, что ваши принципы и начала, купленные вами цѣною размысленій цѣлой жизни, не могутъ имѣть ни-

какого руководящаго общественнаго значенія и тянуть за собой только отдѣльныя единицы: Видите, къ чему пришелъ вопросъ. Но развѣ общество можетъ разсчитывать только на людей съ искрой Божіей въ душѣ? Ихъ, какъ и героевъ и фанатиковъ, существуетъ немного. Обществу, по его бѣдности, нуженъ выработанный обычай, нужны порядочныя привычки и, такъ сказать, механическая честность и механическая человѣчность отношеній. Общество состоитъ не изъ пророковъ. Вотъ почему въ жизни народовъ дороже всего потребность на мыслящій мозгъ, потому что только мыслящій мозгъ, если за нимъ признаны право и сила, сотретъ всѣ шероховатости жизни, выработаетъ формы, отношенія, установитъ привычки и порядокъ въ частныхъ и общихъ отношеніяхъ. Докажите, что моя мысль неправильна и что я говорилъ не то. А если я говорилъ то и если мы съ вами служимъ одному и тому-же дѣлу, намъ слѣдуетъ понимать другъ друга и служить этому дѣлу. Серединный интеллигентъ разросся теперь до громаднаго размѣра и вноситъ въ жизнь такую практику, для которой нужно имѣть не одинъ, а нѣсколько коммерческихъ судовъ и для которой не достанетъ даже и десяти такихъ фельетонистовъ, какъ г. Суворинъ. Нашъ срединный интеллигентъ даетъ теперь такое направленіе русской мысли, плоды котораго будутъ очень печальны и отразятся не на одномъ поколѣніи. А вы увѣряете, будто я говорю не дѣло, и точно защищаете этого срединнаго человѣка, который-бы и изъ васъ вынулъ вашъ мыслящій мозгъ, если-бы видѣлъ, что вы ему врагъ. Ну, и протягивайте ему руку, и будете отворачиваться другъ отъ друга!

Н. Ш.

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНѢ

І. ЮРГЕНСОНА,

коміسیونера московскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества, С.-Петербургъ, Вольная Морская, № 9 (на углу Невскаго проспекта), ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ:

Новое дешевое изданіе классической музыки и оперъ:

Для фортепіано. Полныя оперы: Фиделіо, Эгмонтъ, Афинскія развалины, Норма, Ромео и Джульета, Сонамбула, Пуритане, Бѣлая дама, Калифъ Багдадскій, Водовозъ, Лючія, Любовный напитокъ, Орфей, Четыре времени года, Сотвореніе міра, Мессія, Цампа, Іосифъ, Донъ-Жуанъ, Свадьба Фигаро, Волшебная флейта, Реквиемъ, Stabat Mater, Севильскій цирюльникъ, Otello, Волшебный стрѣлокъ, Оберонъ, Эврианта, Преціоза. Новое переложеніе Мендорфа въ форматѣ альбома каждая опера 60 к.). Эти-же оперы въ 8-ю долю листа (по 50 к.)

Для фортепіано въ четыре руки. Полныя оперы: Фиделіо (1 р.), Эгмонтъ (50 к.), Норма (1 р.), Сонамбула (1 р.), Цампа (1 р.), Донъ-Жуанъ (1 р. 25 к.), Фигаро (1 р. 25 к.), Волшебная флейта (1 р. 40 к.), Севильскій цирюльникъ (1 р.), Волшебный стрѣлокъ (90 к.), Оберонъ (1 р.), Эврианта (1 р. 25 к.), Преціоза (50 к.), Фенелла (1 р. 50 к.), Бѣлая дама (1 р.), Лючія (1 р.), Марта (3 р.), Орфей (1 р.), Мессія (1 р.), Сотвореніе міра (1 р.), Реквиемъ (50 к.), Трубадуръ (3 р.)

Для фортепіано. *Шопенъ*, всѣ вальсы (1 р.), всѣ этюды (1 р. 50 к.); *Мендельсонъ*, всѣ 48 пѣсень безъ словъ (2 р.); *Дюбокъ*, 40 избранныхъ мелодій Шуберта (2 р.); 50 малороссійскихъ пѣсень (2 р.); *Келлеръ*, дѣтскій альбомъ (75 к.); второй дѣтскій альбомъ (50 к.); 150 мелодій всѣхъ народовъ земного шара (1 р.); то же въ 4 руки (1 р.); 120 танцевъ всѣхъ народовъ земного шара (1 р.); 60 народныхъ танцевъ въ 4 руки (1 р.); „Lanner-Album“: 10 любимыхъ вальсовъ (50 к.); 20 любимыхъ вальсовъ въ легкомъ переложеніи (75 к.), 8 вальсовъ въ 4 руки (75 к.); 12 вальсовъ для фортепіано со скрипкою (75 к.); 20 вальсовъ для одной скрипки (50 к.); *Огинскаго* 14 польскихъ (50 к.); *Орегн-Album*: 50 мелодій изъ любимыхъ оперъ (50 к.); *Шубертъ*—80 мелодій, переложенныхъ Р. Мендсорфомъ, 4 выпуска (по 50 к.); то же въ 4 руки, 4 выпуска (по 50 к.)

„Mandolinata“. Souvenir de Rome. Для пѣнія съ русскими, итальянскими и французскими словами, для высокаго, средняго и низкаго голоса (каждое 30 к.). То же для одного фортепіано, переложеніе Паладиле (30 к.), то же Спиндлера (35 к.). То же легкое переложеніе (15 к.). То же въ 4 руки Лейбаха (50 к.). То же въ четыре руки Руммеля (30 к.)

За пересылку прилагается особо и взимается съ общаго вѣса посылки. Каталогъ дешевымъ изданіямъ высылается бесплатно. Требования гг. иногородныхъ исполняются съ первоотходящею почтою. Въ этомъ-же магазинѣ можно получить всѣ музыкальныя сочиненія, кѣмъ бы они ни были изданы и объявлены.

Здѣсь же принимается подписка на дешевый журналъ для фортепіано „Die musikalische Welt“, издаваемый Г. Литольфомъ въ Брауншвейгѣ и содержащій ежемѣсячно отъ 5 до 6 новѣйшихъ пьесъ. Годовая цѣна подписки 2 р. 70 к., съ пересылкою 4 р.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

ПЛАТОНА ЕВГЕНІЕВИЧА КЕХРИБАРДЖИ,

Спб., Невскій просп., домъ № 32,

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ СЛѢДУЮЩІЯ НОВЫЯ КНИГИ:

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВѢКА. Соч. Германна, изд. 2-е, перев. съ 4-го нѣм. изд. подъ ред. профессора Съченова. Спб. 1875 г., цѣна 2 р. 50 к.

СИРІЯ И ПАЛЕСТИНА, подъ турецкимъ правительствомъ, въ историческомъ и политическомъ отношеніяхъ. Соч. К. Базили, изд. 2-е, Спб. 1875, цѣна за 2 тома 4 р.

У ОКЕАНА, жизнь на крайнемъ сѣверѣ. Соч. Немпровича-Даченко, Спб. 1875 г., цѣна 2 р. 50 к.

ЧУЖОЕ ПРЕСТУПЛЕНІЕ. Соч. Лѣтнева, романъ въ трехъ частяхъ. Спб. 1875 г., цѣна 1 р. 50 к.

СПИРИТИЗМЪ, МІРЪ ДУХОВЪ

или

ЖИЗНЬ ПОСЛѢ СМЕРТИ.

Соч. Одуаръ.

Переводъ съ французскаго Самариной.

Содержаніе: Различные роды медиатизма.—Объ ощущеніяхъ души.—Счастливые и несчастные этого міра.—Шекспиръ-спиритъ.—Что дѣлается съ душой въ случаяхъ сумасшествія, паралича и идиотизма?—Мнѣніе нѣкоторыхъ ученыхъ о спиритизмѣ. Спб. 1875 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Книжный магазинъ П. Е. Кехрибарджи снабженъ большимъ выборомъ книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Гг. Иногороднымъ высылаются всѣ книги, кѣмъ бы онѣ ни были опубликованы. Пересылку книгъ магазинъ принимаетъ на свой счетъ.

Магазинъ принимаетъ подписку на слѣдующіе журналы и газеты на 1876 г.:

цѣны съ пересылкою.

Дѣло	16 р.	Собраніе Иностран. Роман.	12 р.
Вѣстникъ Европы	17 „	Переводы Отдѣльн. Роман.	9 „
Отечественныя Записки.	17 „	Библиотека для чтенія	7 „
Недѣля	8 „	Модный Свѣтъ	7 „
Знаніе	13 „ 50 к.	Сынъ Отечества.	8 „
Русскій Вѣстникъ	17 „	Модный Магазинъ	8 „
Русская Старина.	8 „	Новый Русскій Базаръ.	8 „
Древняя и Новая Россія.	13 „ 50 к.	Голосъ	17 „
Всемирная Иллюстрація.	16 „	Биржевыя Вѣдомости.	17 „
С.-Петербургск. Вѣдом.	17 „	Пчела.	7 „

Магазинъ передаетъ подписку на журналы въ Редакціи на другой день по полученіи таковой.

ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЮТСЯ:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВАРИ:

ФРАНЦУЗСКО-РУССКІЙ и РУССКО-ФРАНЦУЗСКІЙ

ДЛЯ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Н. П. МАКАРОВА.

Одобрены ученымъ Комитетомъ Минист. Народ. Просвѣщенія и рекомендованы ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО предъ другими. Цѣна 4 р. с.

РУССКО-НѢМЕЦКІЙ и НѢМЕЦКО-РУССКІЙ ПЕЧАТАЮТСЯ
и скоро поступятъ въ продажу.

ОСНОВАНІЯ БІОЛОГІИ. Г. Спенсера (полное и оконченное изд.), въ двухъ том., подъ ред. А. Герда. Ц. 4 р. с.

РУКОВОДСТВО КЪ СОЦІАЛЬНОЙ НАУКѢ, соч. Кэри, съ портретомъ автора. Ц. 4 р.

РОМАНЫ И ПОВѢСТИ Вольтера. Пер. Дмитріева. Ц. 2 р. 50 к.

ИСТОРІЯ КРУПИНКИ СОЛИ. Пер. съ франц., съ политип. въ текстѣ. Ц. 1 р. с.

ТЕПЛО и ХОЛОДЪ. Тиндала. Пер. пр. Петрушевскаго. Ц. 75 к.

СОЧИНЕНІЯ Людвига Берне, въ перев. П. Вейцберга, въ 2-хъ т., со статьей о жизни и литературной дѣятельности автора и его портретомъ. Ц. 3 р. 50 к.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКІЯ ПИСЬМА Карла Фогта, съ 72 рис. въ текстѣ. Ц. 1 р. 70 к.

ТЕОРІИ ВОСПИТАНІЯ. Соч. Жанъ-Жака Руссо, съ при-
бавленіемъ статей „О кормленіи грудью“ и „О содержаніи кор-
миллицы и ребенка“, проф. Флоринскаго. Ц. 3 р.

ИСТОРІЯ ВУСОЧКА УГЛЯ. Пер. съ франц., съ политип. въ
текстѣ. Ц. 75 к. с.

Складъ изданій: у Знаменья, д. Фридерикса, мѣстн. № 9, кв. 30. В.
Шереръ.



This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

